

**МИНУВШЕЕ**

**МИНУВШЕЕ**

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

**19**

**19**

# МИНУВШЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ



---

*Редакционная коллегия:* Николай Богомолов, Жан Бонамур, Эльда Гарэтто, Александр Добкин, Джон Мальмстад, Ричард Пайпс, Марк Раев, Дмитрий Сегал, Анатолий Смелянский

*Главный редактор:* Владимир Аллой

---

# МИНУВШЕЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

# 19

ATHENEUM — ФЕНИКС

МОСКВА — С.-ПЕТЕРБУРГ

1996

---

ББК 63. 3(2)  
М-62

М-62      **МИНУВШЕЕ: Исторический альманах. 19.** — М.;  
СПб.: Atheneum; Феникс, 1996. — 525 с., илл.

ISBN 5-85042-001-0  
ISBN 5-85042-024-X

В настоящем выпуске читатель найдет: воспоминания о литературной жизни Москвы и Ленинграда 1920-1960-х гг. (среди персонажей — М.Волошин, С.Есенин, М.Кузмин, В.Маяковский, В.Луговской, В.Рождественский, Н.Тихонов, К.Чуковский); переписку из архивов И.Е.Репина и П.Б.Струве; документы из следственных дел писателя М.Осоргина и воронежского духовенства. Среди тем — политическая заданность и журнальная реальность в эмиграции, большевики и религиозные секты в 1920-е, нравственный долг интеллигента в контексте истории и др. Все публикуемые тексты подробно откомментированы.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся отечественным прошлым.

М  $\frac{4702010206-003}{Д 20 (03) - 96}$  96 без объявл.

ББК 63.3(2)

ISBN 5-85042-001-0 (Феникс)  
ISBN 5-85042-024-X

© «Феникс», 1996  
World © «Atheneum», 1996

***ВОСПОМИНАНИЯ***



Ольга Грудцова  
**ДОВОЛЬНО, Я БОЛЬШЕ НЕ ИГРАЮ...**  
Повесть о моей жизни  
Публикация Е.М.Царенковой.  
Предисловие и примечания А.Л.Дмитренко

Предлагаемые воспоминания написаны Ольгой Моисеевной Грудцовой (урожд. Наппельбаум, 1905-1982), одной из дочерей известного фотографа Моисея Соломоновича Наппельбаума (1869-1958). Точнее — фотографа-художника, как он сам предпочитал называть себя. Ведь именно талант художника сделал его из скромного «копировщика» в провинциальном ателье — мастером фотопортрета с мировым именем.

У Моисея Соломоновича и его жены Розалии Львовны (урожд. Членовой, 1875-1942) было пятеро детей — Ида (1900-1992), Фредерика (1901-1958), Лев (1904-1988), Ольга и Рахиль (1916/17-1988). Одна из дочерей, Фредерика, вспоминала, что благодаря профессии Моисея Соломоновича, «в доме всегда был жив интерес к вопросам искусства, все усиливаясь вместе с успехами и достижениями отца и ростом детей»<sup>1</sup>. Творческая атмосфера, царившая в семье, конечно, повлияла на развитие детей и в значительной степени определила их дальнейшие судьбы.

Сестры посвятили себя литературе. Старших — Иду и Фредерику — благословил на литературный путь еще Николай Гумилев, в студии которого они занимались в 1920-1921. Впоследствии они были хозяйками знаменитого литературного салона, известного по мемуарной литературе как «понедельники у Наппельбаумов»<sup>2</sup>.

Ида закончила изобразительное отделение Института истории искусств. В 1920-х увлекалась портретной фотографией и на Международной выставке фотографии в Париже была удостоена Малой золотой медали (1925). Всю жизнь прожила в Ленинграде. Писала стихи, занималась журнальной и редакционной работой, переводила. Прошла через сталин-

---

<sup>1</sup> Наппельбаум Ф.М. [Автобиография]. Цит. по автографу: РО ИРЛИ. Ф.172. Ед.хр.3.

<sup>2</sup> См., напр.: Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С.100-111.

ские лагеря, пережила смерть двух мужей. С середины 1980-х начали появляться многочисленные публикации ее стихов и мемуарной прозы<sup>3</sup>.

Фредерика закончила университет и словесное отделение Института истории искусств, где училась на одном курсе с Константином Вагиновым. После неудачного брака с гумилевским студийцем В.Ф.Миллером, в конце двадцатых переехала в Москву, где прожила всю последующую жизнь вместе с отцом. Работала фотографом в ателье в проезде Художественного театра. Писала стихи, которые высоко ценили К.И.Чуковский, В.А.Луговской, Н.С.Тихонов. «Но, — как вспоминала ее сестра Ида, — ни она сама, ни кто другой — не предлагали их в печать»<sup>4</sup>. Большая часть этих стихотворений была опубликована уже после ее смерти. Умерла она в один день со своим отцом — 13 июня 1958 года<sup>5</sup>.

Младшая дочь — Рахиль (Лиля) — родилась уже в Петрограде (семья переехала сюда в 1912-1914 годах). Впоследствии, переехав в Москву, закончила Институт литературы имени Горького. Всю жизнь проработала в библиотеке Союза писателей (на улице Герцена). Выпустила две книжки стихов, третья, подготовленная ею незадолго до смерти, — так и не вышла. «Я не помню времени, когда бы Лиля не писала стихов. Мне кажется, с самого младенчества, перманентно» (И.М.Наппельбаум)<sup>6</sup>.

Лев, закончив московскую Академию архитектуры, впоследствии работал в различных архитектурных мастерских. После смерти отца он посвятил себя изучению и популяризации его творческого наследия. Организовал несколько выставок. Последняя из них — в выставочном зале Союза художников на Крымском валу — прошла в 1988.

И, наконец, — Ольга. По рассказам хорошо знавших ее людей, она была необыкновенно экспансивным, даже чересчур резким и прямолинейным человеком, что, конечно, неблагоприятно отражалось на ее отношениях с «сильными мира сего». По воспоминаниям Е.К.Дейч, «необычная внешность — прямые, белые [седые. — А.Д.], как бы светящиеся волосы, выразительные глаза, выпуклые губы, прямой классический нос — привлекали к ней художников»<sup>7</sup>. Ее домашняя библиотека в однокомнатной квартире на Красноармейской улице в Москве состояла исключительно из «нужных» книг, книг с автографами авторов, которых у нее было огромное количество, а также самых дорогих и любимых книг — никаких собраний сочинений. Над рабочим столом — большой графический порт-

<sup>3</sup> См.: Наппельбаум И. Угол отражения: Краткие встречи долгой жизни. СПб., 1995 (в печати). В предисловии к этой книге В.Г.Перцов подробно освещен творческий путь И.М.Наппельбаум.

<sup>4</sup> Наппельбаум И.М. [Наброски воспоминаний о членах семьи]. Цит. по автографу из архива Е.М.Царенковой (Санкт-Петербург).

<sup>5</sup> Подробнее о Ф.М.Наппельбаум см.: Наппельбаум И. Фредерика Наппельбаум // Наппельбаум И. Угол отражения. Указ. изд. С.50-51; Дмитренко А. «И арф мифическое пенье» // Вечерний Петербург. 1993. 2 декабря. №272. С.3.

<sup>6</sup> Наппельбаум И.М. [Наброски воспоминаний о членах семьи].

<sup>7</sup> Воспоминания Е.К.Дейч о семье Наппельбаумов цитируются по автографу из архива автора (Москва).

рет В.А.Луговского. Она никогда не писала стихов. Любовь к литературе, возникшая еще в юности, сделала ее профессиональным критиком и литературоведом. Свою литературную деятельность она начала поздно: первые рецензии появились в печати в 1942-1945<sup>8</sup>. В 1961 она была принята в члены Союза писателей. В шестидесятые-семидесятые годы, работая литературным консультантом в редакциях журнала «Юность» и газеты «Московский комсомолец», охотно и много помогла начинающим авторам. Кроме большого количества рецензий на произведения текущей литературы, ряда статей о творчестве М.А.Светлова, А.А.Бека, Ю.К.Олещи, К.И.Чуковского, В.А.Луговского и других писателей, отдельным изданием вышли три ее книги: «Александр Бек» (М., 1967), «Сергей Наровчатов» (М., 1971), «Литературные портреты (Луговской, Светлов, Симонов, Наровчатов)» (М., 1977). Характерно, что изучение творчества каждого писателя почти всегда сопровождалось личным знакомством или дружбой с ним. Поэтому Ольга Моисеевна также много работала и в мемуарном жанре. Некоторые из ее воспоминаний напечатаны. Публикуемая здесь книга «Довольно, я больше не играю...» — произведение особого рода. Думаю, что в этом предисловии нет необходимости более подробно освещать биографию Ольги Моисеевны, так как вся ее жизнь теперь лежит перед нами, описанная ею самой. Нет ни одного вымышленного персонажа. Все люди названы своими подлинными именами. Но, тем не менее, это не воспоминания в «фактографическом» смысле, это именно «повесть», лирическое повествование о реальной жизни автора. Характерно, что в рефлексивных размышлениях на страницах книги подспудно присутствует эта тема — определение жанра.

Но вся моя долгая жизнь, вероятно, уместится в одной небольшой книге. Это естественно, ведь я отбираю то, что пронзило, оставило глубокий след, сыграло роль в моей судьбе, остальное отмечаю — будто его не существовало.

Я давно написала воспоминания о Корнее Чуковском для печати, но они до сих пор полностью не изданы. /.../ Но у меня пропал интерес к моим воспоминаниям не только из-за давности времени, в течение которого их не публикуют, но, главным образом, оттого, что он там — не весь. В них лишь частица его, здесь же я написала все. Почти все...

Эта потребность *сказать все* и определила предельно искренний, почти исповедальный характер мемуаров, как и обращение к дорогому человеку — поэту Владимиру Александровичу Луговскому (1901-1957). Память о нем Ольга Моисеевна сохранила до конца своих дней. «Ни о ком я так не скучаю, как о Володе. И все больше и больше», — пишет она в дневнике спустя двадцать лет после смерти Луговского<sup>9</sup>. Эмоциональный,

<sup>8</sup> Первая (?) заметка О.М.Грудцовой «Оборонный кинофестиваль» появилась в газете «Большевистское знамя» в 1942 (11 марта. №30. С.2).

<sup>9</sup> Запись от 3 апреля 1976 года. Цит. по автографу: РГАЛИ. Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.23. Л.29.

доверительный тон повести порой заставляет усомниться — а предназначалась ли она для печати<sup>10</sup>? Однако, как свидетельствует дочь Иды Моисеевны Наппельбаум, Е.М.Царенкова, в конце семидесятых годов Ольга Моисеевна, в надежде напечатать книгу, искала способ пересылки рукописи за границу. Но ни один фрагмент так и не был напечатан при ее жизни.

\*\*\*

Впервые три фрагмента из этой книги были опубликованы Д.Ю.Ше-рихом в 1994 в газете «Вечерний Петербург» (19 мая. №107. С.3; 9 июня. №126. С.3; 30 июня. №143. С.5) — по машинописному экземпляру из архива Е.М.Царенковой. Выбор отрывков и характер редакторской правки был обусловлен здесь спецификой газетной публикации.

Крайне неудовлетворительная во всех отношениях и тоже фрагментарная публикация появилась в 1995 в журнале «Новая Россия. Воскресенье» (№1. С.128-141). Многочисленные сокращения, нигде не отмеченные отточиями, привели к серьезному искажению авторского текста — некоторые предложения оборваны буквально посередине. А после знакомства со вступительной заметкой у неискушенного читателя может, например, создаться впечатление, что О.М.Грудцова жива до сих пор. По нашим данным, публикация эта была осуществлена А.Н.Мишариным по экземпляру машинописи из архива Э.Л.Наппельбаума.

В настоящем издании книга печатается почти полностью (опущен лишь один малоинтересный фрагмент)<sup>11</sup> по экземпляру авторизованной машинописи из архива Е.М.Царенковой (Санкт-Петербург). Имеется адресованное к ней письмо О.М.Грудцовой с просьбой внести ряд изменений в текст книги, которые все учтены нами при подготовке публикации. Известно также о существовании машинописных экземпляров книги в собраниях Э.Л.Наппельбаума (Москва) и А.М.Румянцева (Санкт-Петербург). В РГАЛИ (Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.15) хранится более ранний по времени изготовления экземпляр машинописи, но — с позднейшей авторской правкой, которая тоже учтена (очевидно, что О.М.Грудцова внесла бы эти исправления и в остальные экземпляры, если бы у нее была такая возможность).

\*\*\*

Выражаю сердечную признательность за помощь при подготовке комментариев: И.В.Вайсфельду, Н.А.Гнуни, Е.К.Дейч, А.И.Добкину,

<sup>10</sup> Это касается, например, эпизода о попытке самоубийства из-за любви к В.А.Луговскому. В июле 1995 я встречался в Москве с близко знавшими Ольгу Моисеевну З.И.Трокской и Л.К.Корниловой, которые были очень удивлены, что я осведомлен об этом «тайном» эпизоде из ее биографии.

<sup>11</sup> См. прим. 187 к тексту воспоминаний. Не воспроизводится также непосредственно примыкающий к тексту воспоминаний рассказ, посвященный драматургу и журналисту Александру Николаевичу Мишарину (р.1939), с которым О.М.Грудцова была дружна в последние годы жизни. Эта «вставка» была написана в 1980. Авторизованная машинопись приложена к тексту воспоминаний: РГАЛИ. Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.15. Л.108-121.

Н.М.Кинкулькиной, Л.К.Корниловой, М.М.Кралину, О.В. и Ю.В.Миллерам, Э.Л.Наппельбауму, М.В.Ногтевой, А.М.Румянцеву, М.В.Седовой, С.Л.Соложенкиной, З.И.Трокской и Е.М.Царенковой. Без их всесторонней помощи мои комментарии были бы далеко не полными.

---

Пишу тебе, Володя, через двадцать лет после твоей смерти. Моя жизнь тоже подходит к концу. Я ничего не оставляю после себя — ни художественных произведений, ни научных открытий, не оставляю даже детей и внуков. Между тем, нельзя, чтобы жизнь оказалась напрасно прожитой. Вот я и пишу тебе о своей жизни.

Пишу, преодолевая боль.

Я не люблю вспоминать. Что ушло, то ушло... А все любят. «Неужели вам не дороги воспоминания о детстве?» Но я помню главным образом плохое. Обидное, стыдное.

Мы живем в Минске. У нас большая квартира. Я выхожу из спальни в гостиную. Там все: мама, папа, старшие сестры и братья мое появление встречают оглушительным хохотом. У меня платье разорвано — от воротника до подола. Я оскорблена.

Когда меня спрашивали, кого я больше всех люблю, я не задумываясь отвечала: «Аннушку». Это моя няня, бывшая кормилица.

Она сидит на полу, я ее старательно причесываю. «Ой-ой-ой! — вдруг сердито кричит Аннушка, — ты же мне шпильки прямо в голову втыкаешь». «А как же они будут иначе держаться?» — с обидой думаю я.

Мы — на даче. Мама меня высекла. Вероятно, за упрямство. Она часто жаловалась всем, что я очень упряма. И что у меня волосы неровно растут.

Назавтра пришла тетя, снявшая дачу на другом берегу озера. «Кто это вчера так ревел? Даже мы слышали», — притворным голосом спросила она. До сих пор стыд жжет мою душу.

Мы с братом очень похожи. Только у меня волосы иссиня-черные, у него золотые локоны лежали на плечах. Мама не хотела мальчика и не подстригала ему коротко волосы.

Сидим в кинематографе всей семьей, ждем начала сеанса. У меня на голове финский капор с аппликациями. Лева куда-то выбежал. Ко мне подходит его товарищ: «Здравствуй, Лева!» Я возмущена — спутать меня с братом!..

В Минске, как и во всей стране, благотворительный сбор средств в пользу больных чахоткой — «День ромашки». Дамы продают ромашки на улицах, в театрах, кино. Папа фотографирует меня голой во весь рост с венком ромашек на голове, с лентой через плечо. И выставляет снимок в витрине перед входом в фотоателье. Мальчишки с нашего двора издеваются: «ты — голая!» Какой позор!

Мне было пять лет. Сестры учили брата читать по слогам. Я слушала и вдруг прочитала в азбуке слово. Мама гордилась: «Она уже умеет читать». Тогда же я научилась писать. Мы в гостинной, старшая сестра Ида предлагает: пусть каждый сочинит стихотворение. Раздает бумагу и карандаши. Сестры пишут длинные, красивые стихи. Только я в них ничего не понимаю. Затем Ида читает вслух то, что брат написал: «Сядем на кушетке кушать конфетки». Доходит очередь до меня. «Готова корова» и подпись «Оля». Все в одну строку, без точки. Обиднее всего было, что не только мама, папа, сестры, брат — громче всех — и Аннушка тоже смеялась, закрыв руками лицо.

Примерно через год мы ездили в Петербург, родители повели нас в музей. Я вижу картину: крестьянский мальчик в белой рубашке, в лаптях стоит возле дверей школы. «Смотрите, — кричу я, — это с нашей книжки срисовано!» Хохочет весь зал. В моем глупом сердце остается ранка на всю жизнь.

Ты тоже часто говорил, что я смешная. Я огорчалась, но твоя сестра Татьяна<sup>1</sup> недавно сказала, что тебе нравились смешные.

Но хоть что-нибудь хорошее запомнилось из раннего детства? Затмение солнца. На улицах, на балконах множество людей, все смотрят на небо сквозь закопченные стекла. И я — через обломок негатива, который папа мне дал. Небо очень странное, совсем другое, черно-серое и тусклое. Мне немного страшно и почему-то я счастлива, глядя на него.

Катаемся с братом на трехколесном велосипеде по квартире, он — за рулем, я стою сзади на жердочке. Лева фырчит, кричит, носится из одной комнаты в другую. Весело!

Во время прогулок Аннушка водит меня в церковь. Мне нравятся иконы, огоньки свечей, люди на коленях, щемящий запах ладана и поющие голоса...

В нашем доме не говорили по-еврейски. Кроме отца, никто не знал языка. Мама росла в московской обрусевшей семье, один из ее братьев был крещен. Но папа еще пытался в те далекие времена соблюдать некоторые национальные обычаи. К брату приходил еврей с длинной бородой, в ермолке, с веткой и лимоном в руках. Он читал по-еврейски молитвы и заставлял Леву повторять. Но

брат стал прятаться от него. Старик стоит в столовой, а Левы нет, его ищут по всему дому. Я вижу, у окна торчат его ноги из-под портьеры, но молчу. Еврей уходит обиженный, предупредив, что больше не придет. «Ну и пусть, — говорит мама. — Только деньги зря тратим». Папа огорченно вздыхает.

Пасху праздновали и еврейскую, и русскую. Больше всего я любила куличи, творожные пасхи в деревянных формочках с крестиками. А из еврейских блюд — галушки из мацы. По обряду кусок мацы прятали под скатерть. Отец читал молитву и в какой-то момент начинал искать мацу. А на нас нападал «хохотун». Мы старались сдерживать смех и давились.

В праздник Кушей во дворе строили беседки. Я сижу со своим товарищем Маркушей на бревне. «Ты знаешь, что такое небо?» — спрашивает он. И объясняет: «Это толстое-претолстое стекло голубого цвета. В середине стоит кресло и в нем сидит Бог». — «А как же идет дождь через стекло?» — удивляюсь я. — «Там дырка для этого сделана».

«Хочешь, мы будем жених и невеста?» — продолжает Маркуша. Я соглашаюсь. «Тогда надо пойти в беседку и поцеловаться». Дома я провозглашаю: «Меня Маркуша поцеловал». Снова все смеются. Но мама почему-то недовольна. «Чтоб больше этого никогда не было. А то я не позволю тебе с ним играть».

И еще был Сережа. Мальчик, с которым мы гуляли в сквере. Он носил толстые на вате синие штаны и курточку с серым барашковым воротником. Выходя из дому, я с замиранием сердца гадала — придет сегодня Сережа или не придет?

Мы в Петербурге, рассматриваем Аничков мост, дворец. На углу Невского и Караванной магазин шоколадной фабрики «Эй-нем». Мама дает мне деньги и посылает купить конфет. Я поднимаюсь по лестнице, в магазине протягиваю деньги. «Ой, какая хорошенькая девочка!» — говорит продавщица другой и отвешивает мне в придачу фунт шоколадных пуговичек бесплатно. Этот бумажный мешочек и сейчас у меня перед глазами. Я с гордостью отдаю конфеты маме, которая вместе с папой и сестрами ждет меня на улице.

Почему одни подробности запоминаются на всю жизнь, а другие выпадают из памяти бесследно? Почему мы более восприимчивы к этому, а не к тому? Все загадочно в человеке, начиная от мелочей.

У папы была собственная фотография в Минске, в центре города, я терпеть не могла карточек, — они сушились на столах и стульях, на кроватях и кушетках. Они мешали мне жить.

— Тебе не нравится, что твой папа фотограф? — однажды спросил меня отец.

— Нет, — решительно ответила я.

— А кем бы ты хотела, чтоб я был?

— Пожарником.

О, с каким упоением смотрела я на пожарных в золоченых касках, мчавшихся на тройке со звоном, с гудящей трубой!

Но однажды пришли какие-то люди, папа подписывал бумагу, он дал им деньги. Он стал членом добровольной пожарной дружины.

— Твоя мечта исполнилась, — сказал он мне.

— А где твоя каска?

Нет, это было совсем не то. Не было ни каски, ни ремня с широкой пряжкой, он не тушил водой из кишки огонь.

Когда меня спрашивали, кем я стану, когда вырасту, я неизменно отвечала:

— Миллионером.

Хотя извозчиком мне тоже хотелось быть.

Прошло много лет. После революции фунт хлеба стоил несколько миллионов рублей. И снова отец смеялся:

— Олина мечта исполнилась. Мы все стали миллионерами.

Видно, в человеке не все остается от детства. Став взрослой, я не мечтала о богатстве. Не помню, когда и как это произошло, но на всю жизнь в меня вселилось презрение к деньгам.

Меня хотела украсть цыганка. Я бежала от нее долго, долго. Только на берегу реки Свислочь оглянулась. Цыганки не было. Может быть, она давно уже не гналась за мной? А может быть, и вообще мне это показалось?

Цыгане много раз будили мое воображение, ошеломляли меня. После смерти мужа я сидела в Ленинграде на Литейном проспекте, на приступке и ждала трамвая. Подошла цыганка. Не взглянув ни на кого, обратилась ко мне: «Ой, и красивая же ты! А и несчастливая». И ушла, не предложив даже погадать.

Спустя долгие годы, в Риге меня окружили цыгане. «Положи мне на руку рупь, я скажу, как тебя зовут». — «Как?» — «А на какую букву начинается имя?» — «На "О"». — «Ольга. Угадала? Положи на ладонь еще рупь... Хочешь, чтоб он тебя любил, брось через плечо веревочку в реку и три раза скажи: "Люби меня"...»

Они передавали с рук на руки ребенка, что-то кричали, ссорились, дергали меня за рукав... И мгновенно исчезли, как только я показала им опустевший кошелек. Тотчас стало тихо. Я стояла огорошенная. Все это так быстро произошло... И лишь тогда со-

образила — каким же иным могло быть мое имя, если оно начинается на букву «О»?

Что-то завораживающее было в цыганах. Меня волновали цыганские романсы. Я часто ходила в Цыганский театр в Москве. Моя любимая школьная подруга Тоня Наумова, с длинной и толстой белой косой, вышла замуж за цыгана, это окружило ее тайной в моих глазах. Где ты теперь, Тоня Наумова? С тобой ли твой муж-цыган?

В начале двадцатых годов у старших сестер по понедельникам собирался едва ли не весь литературный Петроград. Иногда приходила и знаменитая тогда цыганка Нина Шишкина. Говорили, что у нее когда-то был роман с Гумилевым<sup>2</sup>. Увидев ее, я изумилась. Шатенка, с длинным и узким лицом, умными карими печальными глазами и... коротенькие ноги колесом. Неужели у Поэта мог быть с ней роман? Но, сидя на подушке на полу, она запела, и все преобразилось, мир наполнился неслыханными звуками, обрел трагическую глубину. Господи, — думала я, — можно ли Поэту не влюбиться в нее<sup>3</sup>?

Как странно, только написала о цыганах, прочла в воспоминаниях Ариадны Эфрон, что ее мать — Марина Цветаева — любила цыган «...за их вольнолюбивость, колдовские речи и песни, царственную беспечность и... ненадежность»<sup>4</sup>. Нет, я их немного боялась, но неизменно ощущала излучающийся от них магнетизм. И сейчас, встречая на улице, с любопытством останавливаюсь и разглядываю их. Кто знает, может быть, в своем прежнем существовании я сама была цыганкой?

Отец переехал в Петербург. Не имея ни средств, ни помещения, ни права на жительство<sup>5</sup>. Он был истинно творческий человек. В провинциальном Минске ему было тесно, недоставало простора.

В Питере он отыскал какого-то бывшего сенатора и в компании с ним открыл фотографию на Невском, угол Садовой<sup>6</sup>. Теперь, когда было где жить, отец выписал к себе брата и отдал его в реальное училище.

Мама с нами — девочками — переехала на окраину Минска в бедный квартал. Сестры ходили в гимназию, я убирала комнату, мела, стелила постели. И мечтала о кукле. Когда мне наконец подарили ее — с темными ресницами из настоящих волос, — я заплакала от счастья.

Случалось, что отец долго не присылал денег, мама негодовала и посылала меня в лавку брать продукты в долг. Однажды, долго простояв в мясной, помещавшейся в подвале, я промерзла насквозь. Когда же лавочница наконец заметила меня, она закры-

чала: «Скажи своей маме, чтобы она платила деньги. Или она думает, я всю жизнь буду вас даром кормить?»

Я вернулась в слезах. Мама вскипела гневом и со словами: «Жидовка! Заморозила ребенка!» — понеслась в лавку. Она возвратилась с мясом, представляю, какой учинила там скандал! А в сущности, разве обязана была хозяйка лавки давать ей продукты в долг?

Наша мама была чрезмерно полная, но очень красивая. Все говорили, что она похожа на Екатерину Великую. Удивительнее всего, что при ее полноте она на редкость легко двигалась, танцевала, у нее были маленькие изящные руки, ноги. Но когда я, упираясь коленом ей в спину, затягивала ее в корсет, то с ужасом думала — неужели я тоже буду так толста, как она?

Нет, толстой я не стала, но вспыльчивость, раздражительность — все это у меня от нее. Отец маму обожал, он прощал ей ее вспышки, постоянные крикливые нападки. «Женщина капризничает, это естественно, — говорил он, — на то она и женщина». О, каким жестоким наказанием обернулась для меня унаследованная от нее несдержанность, поощряемая терпимостью отца!

Идет Первая мировая война, мы едем к папе в Петроград. Уезжаем из Минска навсегда<sup>7</sup>. Пересадка, мама с тремя детьми и корзинками в руках бежит по платформе, уже третий звонок... Вдруг на всю платформу раздается голос: «Мадам, у вас падают бублики!» Начальник станции с баранкой в высоко поднятой руке задерживает отправление поезда и помогает нам всем сесть в вагон. Мама польщена. Мы едем.

Разумеется, я не отрываюсь от окна. Земля бежит мне навстречу — столбы, реки, леса... Недавно я пришла к выводу, что движение несет с собой покой. Именно поэтому испытываешь наслаждение, глядя на воду, текущую в речке, в ручье, на проезжающие мимо тебя поезда...

Поезд останавливается у вокзалов и снова едет... Я громко спрашиваю у мамы: «Почему на каждой станции написано "М" и "Ж"?» В вагоне смеются. Опять я сказала что-то не то?

В Петрограде мы поселились на Невском, сначала напротив Екатерининского сквера, куда мама послала меня каждый день гулять. Ничего не помню, кроме настроенности и беспокойства. Быть может, их вселял чужой город, непривычно широкий проспект, звенящий от офицерских шпор? Или черного цвета памятник императрице с надменным лицом? А может быть, я просто боялась переходить дорогу, по которой мчались извозчики и лихачи?

Счастливая пора детства наступила, когда мы переехали в Новый Петергоф. Отец купил (или арендовал?) двухэтажный дом с фотопавильоном, фруктовым садом<sup>8</sup>. Приходившие к папе сниматься прапорщики, чья школа находилась в Петергофе; пристав, приезжавший с женой в ландо и увозивший родителей в театр; музыка в Нижнем парке, куда по вечерам уходили сестры в шелковых пальто, — ничто не пробуждает ассоциаций. В Петергофе жила царская фамилия, и вот острое чувство жалости, с которым я смотрела на проезжавшего мимо нашего дома в карете наследника, — я помню хорошо. Жалости, оттого что я знала — он, такой красивый, хрупкий, — неизлечимо больной.

Память хранит не события, а связанные с ними чувства, ощущения, детали. Пережитое навечно поселяется в душе, оно существует, затаившись, даже если кажется, что время замело его следы. Малейший толчок — и тебя охватывает твое тогдашнее внутреннее состояние.

В течение очень многих лет я не могла спокойно слушать «Осенний вальс», который ты, Володя, когда-то пел. Кто бы ни исполнял его, в моих ушах звучал твой бас, и я оказывалась во власти тех же самых чувств, которые переживала, слушая тебя.

Когда в сумерках лают собаки, я тотчас переношусь в Переделкино, в дом Корнея Чуковского, вижу ели, чувствую запах хвои, и в душе мой просыпается прежняя тревога за него, а его уже нет на свете.

Помню в Петергофе чувство счастья, с которым ежедневно носилась на велосипеде по Верхнему и Нижнему паркам; запахи аллеи, свист ветра в ушах, виднеющиеся вдаль между деревьев фигуры амазонок. И каждый раз внезапно возникающий при поворотах фонтан — золоченый Самсон, вздымающаяся к небу струя воды, а рядом дворец, стекающий по его ступенькам водопад, беломраморные статуи...

Друзьями моими были дети с соседнего двора. Там стояли каменные, скучные двухэтажные дома, в них жили портнихи, дворники, сторожа и много детей. «Оля, выходи», — несло с утра. Сквозь щели забора смотрели огромные серые глаза девочки Нasti. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», «Энеки-беники си колесо», «В нашей маленькой корзинке есть помادا и духи, ленты, кружево, ботинки, что угодно для души...» Мы прятались, мчались друг за другом, играли в «пятнашки», в школу мячиков, в классы, прыгали через скакалки — мир казался безмятежно-прекрасным!

Правда, чуть-чуть огорчало, что некрасивая девочка Наташа из соседнего дома слева, дочь священника, не старалась позна-

комиться со мной. А когда шла с гувернанткой на озеро, держа удочку в руке, мне тоже хотелось с ней пойти. Но через несколько лет она позвала меня на озеро и стала бывать у меня.

— Вот что значит революция, — смеялся отец, — с Олей дружит дочь попа!

Мы поступили в гимназию Хитрово и, пока родители не нашли квартиры в Петербурге, ездили туда из Петергофа. Мокрый снег, прислуга провожает нас на поезд, у меня за спиной ранец, я горда. Особую радость доставляет пенал и картинки, которые мы приклеивали к ленточкам на промокашки.

В нашей гимназии, на улице Первая Рота, возле Измайловского проспекта, учились, главным образом, дети военных и купцов. Гимназия считалась либеральной. Начальница Вера Николаевна Хитрово<sup>9</sup>, в лиловом, шурующем шелковом платье, хоть и величественно держалась, но была добра. Она воспитала приемную дочь, еврейку, которая стала преподавательницей в старших классах<sup>10</sup>.

Однажды на большой перемене какая-то девочка не впустила меня в хоровод: «Евреек не берем».

Дома, конечно, рассказала, и мама — как когда-то в мясную лавку — помчалась в гимназию. Не знаю, какой там с начальницей произошел разговор, только больше этого никогда не повторялось.

Мне нравилось в гимназии. Там было веселее, чем дома, учителя меня хвалили, девочки дружили со мной. И все же порой я расстраивалась. Иногда мы играли «в статуи». Кто-нибудь становился в середину круга, изображая статую, а затем выбирал другую девочку, — кого хотел. Если меня долго не выбирали, я выходила из хоровода, заявив: «Я больше не играю». Тотчас ко мне подбегала Тоня Наумова, та самая, которая вышла замуж за цыгана впоследствии, и принималась упрашивать: «Ну, еще немножко... Ну, капельку поиграй». На «капельку» я милостиво соглашалась, и очень скоро Тоня, постояв в позе, выбирала меня. Откуда эта девятилетняя, синеглазая, курносая девчушка знала, что происходит в моей душе?

Наумова казалась обыкновенной девочкой, живой, славной, изящной, не более того. Но на одном из уроков, после того, как учительница прочитала нам рассказ про злую мачеху, Тоня сказала: «А мне она нравится!» Учительница удивилась: «Разве ты любишь злых людей?» — «Нет». — «Почему же она тебе нравится?» — «Не знаю, только нравится», — ответила Тоня Наумова. Ее слова произвели на меня сильное впечатление. Вероятно, оттого, что у нее было свое мнение, не такое, как у всех.

С тех пор мы подружились с Тоней, не расставались на переменах. Старшеклассницы смеялись: «беленькая и черненькая».

А игра «в статуи» прошла сквозь всю жизнь. О, сколько раз мне хотелось крикнуть: «Довольно, я больше не играю». Крикнуть всем.

Всем!

К концу Первой мировой войны мы жили в роскошной квартире на Невском проспекте, напротив Троицкой улицы, в ней было девять комнат и фотопавильон в 70 квадратных метров<sup>11</sup>. В парадном стоял швейцар в ливрее, был лифт... Проходя в свою комнату через гостиную с позолоченной мебелью, я видела нарядно одетых заказчиков. Работы отца пользовались успехом у интеллигенции, они привлекали внимание отсутствием «фотографические портреты; его имя приобретало все большую популярность. Фотографию посетила даже Великая княжна, вероятно, вскоре отец стал бы «фотограф Его Императорского Величества». Но... наступил 1917 год.

По фасаду нашего дома тянулся балкон, откуда был виден весь Невский — от Николаевского вокзала до Адмиралтейства. Особенно интересно стало смотреть, когда произошла революция, по проспекту двигались толпы людей со знаменами и лозунгами. Но на улицах стреляли. Как-то утром была обнаружена пуля в стенке над кроватью сестры. В другой день явились дружинники и попросили у мамы разрешения пройти через нашу кухню на чердак, там засели городовые и стреляли в народ. Уводили городовых с черного хода.

Стреляли, а отец, к моему удивлению, то и дело выбегал на Невский. И возвращался веселый, оживленный, с мокрой от дождя бородой. Помню перепись, приносили листки, которые надо было заполнять, предупреждали, что национальность каждый может выбирать, какую хочет. Помню разговоры об Учредительном собрании... Разумеется, я ничего не понимала в разворачивающихся событиях. Мама, видно, разбиралась не лучше меня. Как сейчас, вижу сценку. Утро, вся семья, как обычно, сидит за круглым столом и пьет чай. Папа просматривает газету и что-то читает вслух. «Смотрите, — говорит мама, — этот немецкий шпион во главе государства!» — «Ну, какой же он шпион!» — несколько смущенно возражает отец.

Потом Ленин отменил паспорта, и все восхищались. Затем в нашем доме произошло событие, ставшее историческим, о чем мы, разумеется, не подозревали. Приехал ведающий издательским делом Ионов<sup>12</sup> и повез отца в Смольный фотографировать Ленина

для распространения портретов по фронтам<sup>13</sup>. Ионов и раньше у нас бывал, но на этот раз отец очень уж взбудоражился. Они с трудом втащили фотоаппарат в машину и уехали. А ведь если бы я попросила, они бы и меня взяли с собой! Кому могла помешать тринадцатилетняя девочка?

Папино волнение достигло апогея, когда он по возвращении стал проявлять негативы. Он сделал четыре портрета. Особенно удался один. Его повезли (уже без отца) Владимиру Ильичу, и он прислал папе письменную благодарность, которая хранится в ИМЭЛЕ<sup>14</sup>. Это был первый ленинский фотопортрет, он получил широкое признание, репродукции с него повсюду воспроизводятся и сейчас.

Трамваи стояли без тока часами, мы ходили в школу пешком. Обувь была рваная, ноги всегда мокрые. Страна голодала. В некоторых семьях пекли пироги из картофельных очисток, но мама не умела, а прислуги разъехались по деревням. Из трех — осталась одна — няня родившейся в год революции младшей сестры Лили. Нянька была молчаливая, мрачная, сначала — толстая, но таяла на глазах. Она плохо переносила голод, с жадностью подбирала крошки хлеба в горсть и совала в рот. Мама посылала меня проследить, чтобы она не съела Лилину кашу. Няня занималась только ребенком, а мы с сестрой Фредерикой таскали ведра с водой на шестой этаж (в трубах вода замерзла), стирали белье.

Когда в магазинах выдавали овес вместо хлеба, мама, не пропустив его через мясорубку, пекла лепешки. У меня и сейчас першит в горле при воспоминании о них. Если появлялись деньги, нас с братом посылали купить хлеб из-под полы. Не знаю, как у нас хватало выдержки не съесть его на обратном пути.

Мама была никудышной хозяйкой, я тоже прожила жизнь, так и не научившись готовить. Но она помогала отцу, принимала заказы и деспотично требовала от него выполнения их в срок. Его это обижало и как-то он даже сказал: «Я не сапожник... Мне нужно подумать, нужно быть в настроении...» У него вообще был какой-то свой, особый ход мыслей. Прочитав, например, переписку Чайковского с фон Мекк<sup>15</sup>, — возмутился ею. «Фу, как это некрасиво, что она прекратила посылать ему деньги». — «Разве она обязана была его содержать?» — возразила я. — «Но это же Чайковский!» — негодовал отец.

Удивляло меня и то, что он предпочитал фотографировать некрасивых женщин и не молодых. «Самое важное в лице — это мысль и следы переживаний», — говорил он. И искал красоту в некрасивом лице. Человек малообразованный, но талантливый,

он страстно любил искусство, литературу. Отец был одержим идеей превратить фотографию из ремесла в искусство. Его работы действительно были признаны художественными произведениями. В молодости он ездил в Америку учиться фотографии, не находя в России образцов<sup>16</sup>. Но Америка его тоже не удовлетворила, он вернулся домой.

Высоко ценивший работы отца, Горький включил его в список людей, которым стали выдавать пайки: продукты, дрова и т.п. в Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУЧ). И вот я еду летом по Невскому на велосипеде подруги в Дом ученых за пайком<sup>17</sup>. Город пуст. Тишина. Много лет я прожила в нем, исходила вдоль и поперек, знала все мосты, реки, каналы, памятники, церкви, соборы... Видела Невский вечерний, залитый электрическим светом, с толпами гуляющих людей, и в несказанные белые ночи, при воспоминаниях о которых сердце щемит сладкая грусть... Но таким красивым, каким был Петроград в годы разрухи, он не был никогда. Обреченный, он вместе с тем казался легким, ирреальным, летящим в даль...

В гимназии все переверотилось. Теперь она называлась Единая трудовая школа второй ступени. Начальницу сняли, назначили заведующую, избрали Совет старост из учеников. Так как мы все, в том числе брат, перешедший из мужской гимназии к нам, учились в разных классах, то в Совете старост оказалось четыре Наппельбаума<sup>18</sup>. Мы доставали билеты в театр для школы и ходили каждый день.

В школе появились мальчики, помню Сережу Утченко<sup>19</sup>, с копной выщихся волос. Он слыл талантливым мальчиком, теперь он — крупный ученый. Платон Сюннерберг был сыном поэта, друга Блока<sup>20</sup>. Этот тихий, красивый, дисциплинированный ученик невольно причинил мне огорчение, сам того не подозревая. На уроке рукоделия учительница пристыдила меня: «Смотри, Паша Сюннерберг — мальчик, а штопает лучше тебя». Я взглянула на заштопанную красными нитками пятку носка, натянутого на гриб, — это было истинное произведение искусства!

Школа не отапливалась, мы сидели на партах в пальто. Чернила замерзали, учебников не было. Все равно я любила школу. Новая заведующая, Мария Евгеньевна Левберг, преподавала нам историю<sup>21</sup>. Ее уроки были увлекательны. Она вдохновенно рассказывала о французской революции. Она не была красива, но с незаурядной внешностью. Суховатая фигура, папироса во рту, крупный нос, но притягивали огромные, стального цвета, чуть холодные глаза под темными бровями. Мария Евгеньевна была драматургом. Александр Блок, руководивший тогда репертуаром

Большого Драматического театра, принял к постановке ее пьесу «Дантон»<sup>22</sup>. Мария Евгеньевна пригласила нас на спектакль. От него осталось возвышенное впечатление. Недавно я обнаружила в дневниках и записных книжках А.Блока имя Марии Евгеньевны Левберг, которая, оказывается, бывала у него.

А у Гумилева есть посвященные ей стихи<sup>23</sup>. Тогда я этого не знала. Но мы, почти все ученицы, были в нее влюблены. Провожали, ходили к ней в гости. Одна из учительниц под ее руководством ставила спектакли в школе — «Орленка» и «Принцессу Грезу» Ростана и другие. В «Золушке» я играла одну из злых сестер.

По окончании школы мы пришли к Марии Евгеньевне прощаться. Она предсказывала будущее каждой из нас. Одной сказала, что будет поэтессой, другой — что актрисой, третьей — что отдаст себя семье... На меня же она долго пристально смотрела молча, а потом произнесла: «Не знаю, что сказать... От тебя всего можно ждать. Самого неожиданного». Я была озадачена.

Но, прежде чем я окончила школу, наша семья на некоторое время переехала в Москву. Отца назначили заведующим фотографией ВЦИКа, дали квартиру здесь же, во 2-м Доме Советов («Метрополе»)<sup>24</sup>. Я училась в Леонтьевском переулке и очень скучала по старым подругам, по Петрограду. Москвы я никогда не любила, не люблю и сейчас.

Друзей я не нашла. Летом жила на даче у соседней по дому, у Антонова-Овсеенко<sup>25</sup>. Пригласила меня его жена. У них была забавная маленькая девочка Верочка. Бывала у меня в гостях дочка Воровского<sup>26</sup> — Нина, но со всеми я чувствовала себя как-то стесненно и мечтала о возвращении в Петроград.

Случилось однажды трагическое событие в доме. В гостинице «Метрополь» был зал, высотой во весь дом, со стеклянной крышей. Там, на крыше, под куполом, мы с соседскими детьми нередко играли в мяч. Один мальчик нечаянно продавил стекло и провалился... Это было очень страшно. Только что он стоял передо мной живой, а пока мы добежали все вниз, на первый этаж, — он скончался.

К отцу приезжали сниматься деятели революции, командиры дивизий, полков. Иногда кто-нибудь поднимался к нам в квартиру побеседовать с отцом. Мне запомнились слова одного из революционеров: «Только русский народ, перенесший крепостное право, может нас терпеть. Сколько бед мы ему принесли: голод, холод, разруху...» Не помню, он же или другой деятель революции сказал: «Расстреливать тяжелее, чем быть расстрелянным». «Еще бы, — подумала я, — как бы не так!»

Мой отец был энергичный человек, он развил широкую деятельность, фотографировал съезды, заседания, группы рабочих и т.п. Но вдруг появились какие-то люди, реквизируют все папины негативы, а нас выселили из квартиры. Отец подозревал, что это было сделано по доносу одного из его «соперников» — фотографов. Мы вернулись в Петроград.

Шел 1921-й год. Сестры занимались в Доме искусств, в поэтических кружках у Гумилева и Корнея Чуковского<sup>27</sup>. По понедельникам у нас в доме собирались ленинградские писатели<sup>28</sup>.

Большая комната с венецианским окном, выходящим на Невский, полна людей. Сидят на диванах, креслах, стульях, на полу, стоят... топится маленькая железная печурка «буржуйка», от нее тянется через всю комнату труба. Возле двери — столик с бутербродами — на черном хлебе кусочек колбасы. Поэты по кругу читают стихи.

Входит мое божество — Анна Ахматова! Высокая, плоская, на широких плечах черный платок в красных цветах, чеканный профиль, нос с горбинкой, на лбу челка. Царственно-гордая и вместе с тем тихая, молчаливая. Все встают. Анну Андреевну просят прочесть стихи. Она тотчас соглашается. Чуть отрешенно, монотонно, певуче и драматично читает: «Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король»<sup>29</sup>... Знаю все ее стихи наизусть, но, слушая, испытываю нестерпимое смятение чувств. «И клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенным чадом, я к тебе никогда не вернусь...»<sup>30</sup> Только такая живет в моем воображении любовь. «Радость-страдание» — вот что влечет.

Семейное благополучие уже тогда не манило. В первый раз мне сделал предложение молодой врач, наш сосед по даче в Тарховке. Мне тогда было 16 лет. Вся мою жизнь в семье для меня скрывалось что-то отталкивающее. Особенно, если муж и жена друг без друга ни шагу, теряют свою индивидуальность, независимость... Отсутствие свободы в поведении мужчины я всегда ощущала как фальшь. Не знаю — так воспитало меня время, с представлениями о браке, как о символе мещанства? Или Ахматова, Блок, поэтизирующие боль? А может быть, природная склонность к драматизму. Человек стоит на перепутье, одна дорога ведет к счастью, другая — к страданиям.

Я не спускала с Ахматовой глаз, мне все в ней нравилось — ее движения, жесты, голос...

Однажды папа зачем-то послал меня к ней, вероятно, отнести ее фотопортрет. Она ввела меня в маленькую темную комнату, на стене висело светлое (по-моему, из слоновой кости) распятие.

Я мучительно робела перед ней. Впрочем, я стеснялась всех на «понедельниках». Забиралась в угол и слушала, боясь открыть рот. Меня никто не замечал. Кажется, только Евгений Шварц иногда бросал мне фразу<sup>31</sup>. Как-то подошел и предложил отгадать загадку: «Одна голова, четыре ноги, стоит в хлеве и мычит». Что это такое? Я говорю: «Корова». Он отвечает: «Вы раньше знали!»

Прелестен был его юмор. Без малейшего стремления показать свое остроумие. Лицо при этом всегда серьезное.

На диване Ходасевич и Берберова<sup>32</sup>. Она молодая, статная, у нее прекрасный цвет лица. Он стар и безобразен: пергаментная кожа, лоб в морщинах, маленькие глаза... Но стихи! Прошло полвека, а в моих ушах все еще звучит: «Перешагни, перескачи, перелети, пере-что хочешь...»<sup>33</sup>. Несколько лет тому назад Арсений Тарковский читал мне написанные Ходасевичем в эмиграции стихи.

(Превосходные!)

Ходасевич вместе с Берберовой вскоре покинули нашу страну. В сюртуке и пенсне читает стихи Михаил Кузмин. Рядом с ним, как всегда, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Юркун, Адамович<sup>34</sup>. Кроме Юркуна и Кузмина, они тоже эмигрировали. Я смотрела на Одоевцеву и тоскливо завидовала ей. Нет, она не была красива, у нее рыжеватые волосы, сильно вздернутый кверху нос; зато — длинные ноги. И как она держится свободно, уверенно, на голове ее зазорно сидит огромный клетчатый бант, она пикантно грассирует...

Вот передо мной фотография работы отца — группа молодых поэтов во главе с Гумилевым<sup>35</sup>. Одоевцева сидит у него в ногах. Рядом с ней на полу Георгий Иванов, а вокруг стоят ученики Гумилева — члены поэтического кружка «Звучащая раковина», в том числе и мои сестры. Другая картина у меня перед глазами. У нас в гостиной, перед зеркалом, стоит Николай Степанович Гумилев. Высокий, англазированный, в синем костюме, с яйцевидной формой головы без волос, с косящими глазами, в руках папироса... Он казался мне очень красивым... Само воплощение мужества<sup>36</sup>.

Несколько лет тому назад я прочла изданные за границей воспоминания Ирины Одоевцевой «На берегах Невы»<sup>37</sup>. Нет, мне не понравилась книга, в ней слишком много любования Одоевцевой самой собой. А Гумилева она оболгала... Ведь не проверено, справедливо ли его обвинили в участии в белогвардейском заговоре Таганцева (да и был ли такой?). Говорили, что Горький, спасший многих талантливых людей, добился у Ленина отмены расстрела Гумилева. Но письмо Ленина опоздало, оно пришло уже

после того, как поэт погиб. Кто знает, так это или нет<sup>38</sup>? Но то, что написала Одоевцева про какие-то таинственные деньги в ящике стола Гумилева, про загадочные похождения с мешком за плечами — все это явная чепуха!..

Вижу на «понедельниках» тесно прижавшихся друг к другу Шуру Федорову<sup>39</sup> (подругу сестры Фредерики) и талантливого Костю Вагинова, впоследствии ставших мужем и женой<sup>40</sup>. Оба худенькие, маленькие, болезненные, похожие на беспризорных детей. У Кости во рту корешки выпавших зубов, он во френче защитного цвета, на ногах краги, а на тонких аристократических пальцах старинные кольца. Он очень тихо говорит и так же тихо читает свои стихи. «Да, я поэт трагической забавы и все же жизнь смертельно хороша...»<sup>41</sup> Он был болен туберкулезом и обречен.

Фредерика и Вагинов — любимые ученики Гумилева и Чуковского. На подаренной Гумилевым сестре книжке «Шатер» надпись поэта: «И как доблесть твоя, о единственный воин, так и милость моя не имеет конца»<sup>42</sup>.

Размеренно и четко произносит стихи на «понедельниках» Бенедикт Лившиц<sup>43</sup>. Импозантна его фигура, в голосе — медь. Резко контрастирует с ним весь размягченный Всеволод Рождественский<sup>44</sup>. Длинно и обстоятельно рассказывает о чем-то Павел Лукицкий<sup>45</sup>. Бросается в глаза барственная осанка Михаила Лозинского<sup>46</sup>, подавляет красотой своего крупного, чуть мужского лица Анна Радлова<sup>47</sup>. Бывал в доме и ее муж, режиссер Сергей Радлов<sup>48</sup>, и его брат — художник Николай<sup>49</sup> с женой, тоже художницей, Шведе<sup>50</sup>. Теперь редко встретишь таких породистых и воспитанных людей. «Мы сами стали невоспитанны», — нередко говорит твоя сестра, Володя. Она права, небрежность к другому, отсутствие обязательности, бестактность сделались нормой.

Шведе написала портрет Гумилева, на фоне сине-синего неба и пальм, он напоминает героев Киплинга. Портрет долго хранился у Иды (не помню, подаренный ей или папа его купил), но в период репрессий сестра сожгла его<sup>51</sup>. Увы, это не помогло, в начале пятидесятых годов ее арестовали. Среди предъявленных ей обвинений фигурировал и фотоснимок с этого портрета, сделанный ею. Освободили и реабилитировали Иду в 1954 году при Хрущеве. В лагере — в Тайшете — она возила тачку с водой на себе (вместо лошади).

У старика Радлова, Эрнеста Львовича (отца Сергея и Николая)<sup>52</sup>, я училась в университете. Студенты боялись его, он был язвителен и желчен. Студенток с накрашенными губами он так презирал, что ставил им зачет, даже не спрашивая... Мне нравились его лекции, его костлявое лицо, седая борода. Но на экза-

мене я растерялась и как пример силлогизма привела фразу «все люди — звери». Профессор оживился, долго смеялся, повторяя, что это «совершенно верно», и поставил мне зачет.

Помню Доливо-Добровольского<sup>53</sup>. Седой, розовощекий аристократ в черном берете, он читал изящные, написанные во французском стиле новеллы...

Приходили «обэриуты», «ничевоки»<sup>54</sup>, нелепо, вызывающе одетые, читали казавшиеся заумными стихи. Загробным голосом бубнил Пяст<sup>55</sup>, картаво тянул Аким Вольинский<sup>56</sup>, блистал остроумием напудренный денди Стенич<sup>57</sup>, с серьезным выражением лица острил Евгений Шварц, визгливым голосом умно и талантливо рассуждал о музыке, рассказывал о молодом гении Шостаковиче самый образованный человек в Ленинграде, полиглот Соллертинский<sup>58</sup>. Приходили имажинисты. В архиве отца сохранилась группа во главе с Есениным. На этой фотографии у Есенина галстук завязан бабочкой, поэт какой-то сусальный<sup>59</sup>. Но на портрете, где он один — стоит печальный, с опущенной головой, в накинутой на плечи шубе, обреченный<sup>60</sup>. Отец словно предчувствовал трагический конец, наступивший через несколько дней. Так случилось, что в нашем доме узнали о гибели поэта едва ли не раньше всех. Отцу позвонили по телефону и попросили приехать в гостиницу «Англетер» сфотографировать покончившего с собой Есенина. Отец был чувствителен, все, связанное со смертью, причиняло ему боль. Ехать не хотелось. Лева решил его сопровождать. Они застали поэта висящим на трубе парового отпления, высоко под потолком. Встретивший их в номере милиционер обратился к Лева с просьбой помочь вынуть поэта из петли. Лева рассказывал, что почему-то особенно страшное впечатление на него произвели лакированные полуботинки на мертвых есенинских ногах. Папа отказался от съемки, они вернулись с братом домой.

От Ивана Приблудного<sup>61</sup>, который зимой и летом ходил голый, в трусиках, по улицам, у меня осталась книжка стихов «Тополь на камне», с надписью: «Славной Оленьке Наппельбаум, в надежде, что она недолго будет оставаться Наппельбаум. Апрель 1926 г.».

На «понедельниках» постоянно бывали ученики Гумилева, образовавшие кружок «Звучащая раковина». Иногда появлялись и «Серапионовы братья». Запомнился сильнее всех, разумеется, Федин, потому что он у отца и тогда в Ленинграде, и впоследствии в Москве нередко бывал, дружил с Идой и ее мужем, писателем Фроманом<sup>62</sup>. Надолго сохранилась у Иды дружба и с Михаилом Слонимским, тихим, серьезным, интеллигентным, и его женой<sup>63</sup>. Помню всеобщего любимца, талантливого Льва Лунца<sup>64</sup>

с шапкой волос на голове. Бывал ли Зоценко на «понедельниках», запаматовала, я встречала его гораздо позже в разных домах, на вечеринках, на Невском. Он был удивительно изящен, пользовался огромным успехом у ленинградских дам. Однажды я встретила его у Иды в доме, он как всегда был печален и грустно говорил, что в этом году умрет, потому что ему исполнилось 30 лет. Его отец умер тридцати лет от той же сердечной болезни, что у него. И вообще у них в роду все рано умирали.

С папиной (вероятно, денежной) помощью издавался сборник «Звучащая раковина», альманах «Город», иллюстрированный Самохваловым<sup>65</sup>. По журнальным делам появлялся Корней Чуковский, певуче разговаривал, жестикулировал длинными руками, на каждого пристально смотрел.

Запомнила я и поэта Нельдихена<sup>66</sup>, высокого и странного, который насмешил меня. Он предложил мне выйти за него замуж. А мне нравился Коля Чуковский<sup>67</sup>, у меня замирало сердце, когда я видела его.

Атмосфера была романическая. Я многого не понимала, случайно слышала, как исповедывалась сестрам всегда веселая, живая Ольга Зив<sup>68</sup>. Она плакала оттого, что ее молодой муж Орест Тизенгаузен<sup>69</sup>, надев новые носки, отправлялся к поэту Михаилу Кузмину, не скрывавшему своей любви к мальчикам. По моим представлениям, большой и прямой, словно нескгибаемый, Рогинский<sup>70</sup> был влюблен в Фредерику, но она предпочла другого — искусствоведа Валентина Фридриховича Миллера<sup>71</sup>. Николай Чуковский в шутку назвал его «Фридрих Герман Циммерман» и до конца жизни не мог понять, почему обаятельная Фредерика, которая нравилась всем, выбрала мрачного, истеричного Миллера. Он не принес счастья моей сестре. Она переехала к нему в дом, где он жил с теткой, и спустя некоторое время, не выдержав деспотизма мужа, вернулась домой. Она порвала не только с мужем, но и с поэзией, поняв, что ее лирические, грустные стихи останутся неприкаемыми в наших условиях. Сестра посвятила свою жизнь фотографии, пойдя по стопам отца. Стихи она писала для себя и очень редко. Корней Иванович Чуковский восхищался ими до конца своих дней. От нее осталась тоненькая, изданная в двадцать шестом году книжка и тетрадка с напечатанными на машинке стихотворениями<sup>72</sup>.

Были, разумеется, романы и у Иды, считавшейся хозяйкой «салона».

Тяжелое впечатление оставил эпизод, происшедший однажды на вечеринке у сестер. Собралась вся «Звучащая раковина», ждали Гумилева. Но он не пришел — оказалось — арестован. Почему-то

серьезного значения этому не придали, думали — выпустят скоро, как это нередко бывало с другими. Играли в шарады, загадали слово «Гумилев». Последнюю сцену, означавшую «общее», играли якобы в суде. Роль прокурора исполнял Миллер, свою речь он завершил яростным криком: «Ра-а-с-стрелять!»

Как воронье карканье?

Отец теперь фотографировал, главным образом, писателей, художников, актеров, ученых... Снимал постановки Мейерхольда, помню фото мизансцен из «Ревизора», «Леса», замечательный портрет Всеволода Эмильевича. Широко известны у нас и за рубежом портреты Блока, Ахматовой, Пастернака и другие работы отца. С наслаждением занимался поисками, экспериментировал, пользуясь признанием у людей искусства.

Я окончила школу, но на душе беспокойно. Прежде жизнь катилась сама по себе, и вдруг — надо что-то решать. Ах, как хотелось, чтобы кто-то взял за руку и повел, говорил каждый день, как поступать, учил слушаться разума, а не сердца, думать о последствиях каждого шага. Этому я так и не научилась.

До сих пор.

Я поступила в университет на романо-германское отделение филологического факультета<sup>73</sup>. Французский язык меня с детства пленил, с тех пор, как к нам ходила француженка. Я полюбила французскую литературу, упивалась музыкой стиха, — но в университете скучала. Старофранцузский казался неблагозвучным, языковедение томило. Всемирно известный ученый Щерба<sup>74</sup> смешил, когда тянул: «и-и-и, о-о-о» на лекциях по фонетике. Слушать историка Платонова<sup>75</sup> приходили студенты со всех факультетов, а мне было не интересно. Видно, наука меня не притягивала, да и не доросла я до нее.

Зато дорога в университет и обратно доставляла наслаждение: Дворцовая площадь, Нева, гармония просторов, если можно так сказать, — покоряли. Любила я длинный, длинный светлый университетский коридор. Сам воздух здесь был пропитан запахом науки.

В тот день светило солнце. Я встретила в коридоре Колю Чуковского.

— У тебя есть деньги? — спросил он меня.

Нет, денег у меня не было, конечно.

— А ты хочешь есть?

Разумеется.

— Пойдем собирать по скамейкам. Ты будешь говорить: «Подайте голодным», а я стоять с протянутой рукой.

На скамейках сидели знакомые студенты, они смеялись и давали нам мелочь. Весь коридор оживился. А мы пошли в буфет, поели бутербродов, купили даже конфет. Нам понравилась наша затея, мы повторяли ее несколько дней подряд.

В 1931 году Николай Чуковский подарил мне свою книгу «В солнечном доме» и надписал: «...с любовью в память об университетской столовой».

А через двадцать пять лет, в Переделкине, Корней Иванович Чуковский рассказывал мне о своей женитьбе на Марье Борисовне<sup>76</sup>. После венчания они вышли из церкви и одесские журналисты подносили им цветы. А он сказал: «Что мне цветы? Мне нужны деньги». И снял шапку. Все смеялись и бросали в шапку деньги. Я вспомнила наши давние похождения с его сыном и подумала, что, вероятно, его вдохновил пример отца.

И все же университет сыграл роль в моей жизни. Я нашла в нем подруг, ставших ближе, чем сестры. Их было четверо, они дружили со школьной скамьи, среди них — красавица Мэри Лурье, которую знал чуть ли не весь Ленинград<sup>77</sup>. О, как загадочны судьбы! Могли ли мы с Мэри думать, что нас ждет, когда ходили по Невскому в университет, обе веселые, красивые? Сколько поклонников было у нас, особенно у Мэри, и сколько горя она перенесла! Муж оставил ее и через годы вернулся, молодая обаятельная дочь покончила с собой из-за любви<sup>78</sup>... При одной мысли о ней, о милой Кате, я испытываю нестерпимую боль. Она часто приезжала в последнее время в Москву, занимаясь переводами. Я очень любила ее, более того, иногда мне кажется, что это моя судьба стала ее судьбой, и виновата в этом я. Не выполнила того, что было мне предназначено.

Мэри привела меня на Жуковскую улицу к Киле<sup>79</sup>, у которой они собирались ежедневно по вечерам. С той поры я долгие годы жила не одна на свете, а впятером. Мы всюду бывали вместе, вместе веселились и горевали, что бы ни случилось, мы делились друг с другом. Насколько легче мне именно поэтому тогда жилось! А мой будущий муж, Владимир Грудцов<sup>80</sup>, жаловался товарищам: «Я приглашаю ее в кино, идут все пять!»

Они пронесли свою дружбу сквозь всю жизнь. Вот недавно я была в Ленинграде, устроили мне обед. Они уже матери, бабушки, только я все еще «молодая», потому что — без семьи. Я и пожалела себя из-за своего одиночества, и порадовалась ему. Бесцветными показались мне их интересы, заботы. Наверно, я не права. Будь у меня дети, внуки, тогда кто-либо нуждался бы во мне.

В 1924 году в университете была «чистка», меня исключили из-за «буржуазного происхождения»<sup>81</sup>. Исключили нас всех пяти-

рых, но остальные как-то устроились, одни восстановились, некоторые перешли в другие вузы, а я осталась надолго без высшего образования. Только в конце тридцатых годов поступила в Москве в Литературный институт, сначала на заочное отделение, работая на «Мосфильме», а после войны перевелась на очное и окончила его.

Грудцов появился после моего исключения из университета. Высокий, беловолосый, с курносым носом, обаятельный гуляка, выпивающий стакан водки, как лимонад, — он был весел, остроумен. Его речь пестрила смешными выражениями: «Лхаим бояре», «Мер них!» и т.п. — от него я узнала еврейские слова. А его три друга, евреи, называли Грудцова «христанский мальчик, замученный евреями». «Связался черт с младенцем», — часто говорил он про меня и себя. И еще обо мне: «Вся рота не в ногу, одна ты — в ногу». Увы, это верно. Была у него мудрая поговорка: «Если не хочешь, чтобы тебе врал, не задавай вопросов». Нет, я не научилась следовать ей. О, если бы можно было начать жизнь с начала! Впрочем, покойная жена Корнея Ивановича Чуковского, Марья Борисовна, однажды возразила мне на эти слова: «Уверю вас, вы сделали бы все то же самое». Вероятно, так и было бы.

Но женскую психологию Грудцов знал хорошо. Помню, я спросила его — почему женщина, заведомо зная, что мужчина лжет ей, все-таки верит ему? «Хочется верить», — ответил он.

Грудцов водил меня в рестораны, в кино, а чаще всего в Народный дом. Мы катались на моих любимых «американских горах» и, когда скамейки взлетали на самую большую высоту, — целовались.

Но я периодически уезжала в Москву помогать отцу, он арендовал фотоателье на Петровке<sup>82</sup>, я принимала заказы. А по вечерам ходила в театры — всегда находились поклонники, которые меня приглашали, — и училась актерскому мастерству в получастной киностудии, которая снимала помещение у папы. У меня что-то получалось; однажды наши этюды приехали просматривать режиссеры Преображенская и Правов<sup>83</sup>, они хвалили меня. Но студия распалась.

Два события произошли в период моего пребывания в Москве. Первое — появление Маяковского. Оно не оставило в моей жизни следа, но произвело впечатление. Мэри познакомилась с Асеевым в Крыму; когда он приехал с Маяковским в Ленинград, они отыскиали ее. Стали встречаться со всеми подругами. Одно из своих выступлений Маяковский открыл произнесенными с трибуны словами: «Я посвящаю этот вечер Мэри Лурье»<sup>84</sup>. У Кили

Маяковский увидел фотографию, где мы сняты все впятером<sup>85</sup>, и спросил обо мне, узнал мой номер телефона.

Отец стоял в пальто, он торопился на поезд в Ленинград, в этот момент раздался звонок. Я подошла к телефону и услышала: «Это говорит Маяковский. Я сейчас к вам приду». В нашей семье потом бытовал анекдот, как папа разволновался, не хотел уезжать, а в конце концов оставил старуху-уборщицу сторожить нас с Маяковским под дверью.

Комната при павильоне была крошечная, с высоким порогом и низким потолком. Маяковский пришел с бутылкой шампанского и апельсинами в руках. Он казался великаном. В карманчике пиджака у него торчала оранжевая паркеровская ручка. Он рассказывал об Америке, читал стихи, а я робела. Его поэзию я мало знала и не очень любила. Он возмущался Есениным — как можно покончить с собой? «Жизнь так прекрасна! Хотя бы вот это шампанское в бокале!» Оно действительно колдовски золотилось. Мы целовались, и какой-то горький осадок остался у меня в душе.

Вторым событием был арест отца. Пришли и увели, на моих глазах. Он ничуть не испугался и все уговаривал меня не беспокоиться. Удивительный все же он был человек. Вернулся он через несколько дней, его освободили по ходатайству Луначарского, а взяли, как и многих других, чтобы он отдал золото государству. В нашем доме была одна лишь золотая вещь — мамино обручальное кольцо.

Но вот что примечательно: отец вернулся из тюрьмы в восторженном состоянии. Говорил, как в камере было интересно, какие разные типы людей он там повидал... «Это жизнь, — повторял он, — нельзя, Олечка, бояться жизни!» Увы, я продолжала ее бояться.

Кажется, боюсь до сих пор.

Грудцов писал мне письма, и когда я возвратилась из Москвы в Ленинград, мы поженились.

Случилось так, что мы, все три сестры, в один и тот же вечер сказали маме, что выходим замуж. Я у Грудцова была третья жена. Первая — дочь бывшего купца, по его словам, никогда не мыла посуды, она брала чистую из нового сервиза. Когда же последняя тарелка из сервиза осталась грязной, он ушел от жены. Скорее всего, — он это выдумал, но довольно остроумно. Вторая жена — Татьяна Алексеевна — интересная, эффектная, умная, не выдержав его измен, вышла замуж за другого. Я читала ее письма, которые Грудцов хранил. Она писала, что жалеет его следующую жену.

Почему же я не побоялась? Отчего ни капли благоразумия не дал мне Бог? Ведь у меня были возможности выбрать того, с кем была бы спокойная семейная жизнь!

У Грудцова с Татьяной Алексеевной был ребенок, он перенес менингит и остался дурачком. Мальчик воспитывался в деревне у молочницы. Однажды его привезли к бабушке, Володиной матери, и мы пошли его навестить. Удручающее это было зрелище.

На стуле сидело хрупкое голубоглазое существо с открытым ртом, с тоненькими, беспомощно висевшими ножками. Говорить Алеша не умел, издавая нечленораздельные звуки.

К счастью, он умер через несколько лет...

Грудцов работал на киностудии «Ленфильм» директором труппы. Внешне мы жили хорошо, ходили на просмотры, в рестораны, в Дом искусств, танцевали. Возвращаясь домой, обычно встречали загадочную фигуру мужчины в широком сером пальто. Он то следовал за нами, то обгонял, то рядом шел. Через много лет актер Костомолоцкий<sup>86</sup> сознался, что это он искал знакомства со мной.

При «Ленфильме» была квартира директора студии Альберта Моисеевича Сливкина<sup>87</sup>. У них с женой Марией Павловной часто собирались режиссеры, актеры, операторы. Мы тоже бывали там, встречались с членами «ФЭКСа», возглавляемой Леонидом Траубергом и Козинцевым<sup>88</sup>. Это было удивительно интересное и талантливое объединение; если бы его не раскритиковали впоследствии за формализм, советское кино давно бы опередило итальянское. Не существой таких наших картин, как «СВД», «Новый Вавилон», «Шинель»<sup>89</sup>, не было бы ни Феллини, ни Антониони.

Я так думаю.

Иногда мы играли у Сливкиных в покер. Я очень любила эту игру, но редко выигрывала. Не потому, что карта не приходила, а оттого, что даже самую старшую не умела обыграть. Пугалась, спешила и... сдавалась... Совсем как в жизни. Не умела я свое счастье хранить. Помню, нашла на Аничковом мосту браслет с бриллиантами и рубинами. Отдала его маме на сохранение, а когда отцу понадобились деньги на фотоработу, он заложил его в ломбард и, конечно, не выкупил. О, когда дело касалось фотографии, при всей своей любви к детям, он и нас готов был заложить.

В карточной игре поразительно сказываются характеры людей, а в покере в особенности. Как держит игрок в руках карты, как прикупает, как назначает сумму, жест, каким берет выигранный банк, — во всем проявляется его личность. В покере главное — выдержка. Тот, кто ею обладает, нередко выигрывает большую

сумму денег, имея на руках самую младшую карту. У меня же — как все говорили: «на лице все написано», ни о каком блефе и речи быть не могло.

Но из всей жизни с мужем лучше всего почему-то запомнились не эпизоды, не дни, а мгновения. Вечер. Грудцов едет на съемку. Я стою на балконе, смотрю, как он садится в машину. В темноте белеет его голова. Светят фары, машина срывается с места и уносится по Невскому вдаль. Я — добрая, размягченная любовью к мужу.

Мне всегда хотелось понять, по каким признакам память чувства отбирает в жизни и хранит определенные моменты. Блаженная тишина в ташкентском дворике, в бассейне, огороженном дувалом со всех сторон. Я приехала в гости к работавшему тогда в Ташкенте брату. Кусок чистого неба над головой и верхушки деревьев, лучи солнца проникают в мягкую воду, чуть слышны всплески ее...

Несколько лет я жила на даче у Корнея Чуковского в Переделкино, испытала там множество впечатлений, ощущений, но ничто не вытеснило воспоминания о минутах, когда ночевала в его доме в первый раз. Была зима. На стеклах морозные узоры, освещенные висящим снаружи фонарем. За окном тяжелые заснеженные ели. Тишина.

И недавняя ночь в Москве: я просыпаюсь и вижу — высоко в небе висит освещенное электрическим светом окно. Колдовство? Нет, вероятно, законы отражения: сквозь мои стекла преломилось окно соседнего дома. Но не все ли мне равно? В небе висело окно! Передо мной возникло шемящее сердце чудо.

Сразу после регистрации брака мы сняли дачу вместе с Идой и ее мужем, писателем Фроманом, в Токсово. В даче была одна комната, без кроватей, мы устлали пол сеном и спали вчетвером. Меня вдруг охватило беспокойство — а что, если с Грудцовым что-нибудь случится, я останусь замужней, но девушкой! Как смешно об этом вспоминать сейчас! Больших бы у меня не было забот! Что-то, а это легко поправимо! Но как-то днем меня муж повел в глубокий, заросший цветами и травой овраг...

Вероятно, первый у женщины мужчина определяет всю ее дальнейшую интимную жизнь. С тех пор меня всегда покоряла нежность и ласка, а не сильная страсть. И в тебе я это, Володя, любила.

Была ли я счастлива с мужем? О нет, вероятно, быть счастливой мне вообще не дано. Во всем я вижу что-то плохое для себя, с каким-то извращением ищу его. Вот ты приходил, мне бы радо-

ваться, ликовать, а я вместе с тем — горюю, чувствую себя униженной, вероятно, тем, что ты назавтра уйдешь.

Я ревновала. Ревновала Грудцова к женщинам, к товарищам, к бывшей жене. Даже к книгам. Почему он с увлечением читает, забыв обо мне, если я — рядом? Господи, как это низко! Он возвращался после съемок поздно, усталый, замученный, в моем воображении это были измены. Мне казалось, все что-то знают и скрывают от меня.

Мы ссорились, я его попрекала день и ночь. Он то влюблен, то отчужден, то приезжает с цветами, то не замечает меня. Как же я мучила его! И в конце концов в припадке гнева сказала, чтобы он уехал. А потом изныла душа! И вдруг встретила с ним в филармонии. Он пришел туда с красивой Надеждой Фридланд, которую все в Ленинграде знали<sup>90</sup>. (Кажется, она была ассистентом режиссера). Какое это было горение на медленном огне! Ведь он был частью меня, ее оторвали — с кровью! Невыносимо терять близкого человека! Расстаешься не только с ним, но и с целым миром, который он несет в себе!

Не знаю, Володя, как я могла пережить разлуку с тобой! С твоим многосложным, реальным и призрачным, темным и сказочно-солнечным миром. Он магнетически притягивал меня, обволакивал, вошел в мою плоть и кровь. Говорили: «Луговойской — позер», «Он — бабник»... Господи, но ведь это не имело никакого отношения к твоему миру! А он излучался! Что бы ты ни творил!

Случайно повстречав через некоторое время на улице Леву, Грудцов уверял его, что все равно он будет со мной вместе жить. Но он уехал в киноэкспедицию, заболел брюшным тифом и умер — там, под Киевом. Тело его привезли в Ленинград. Вся студия была потрясена. Его любили.

Надя Фридланд после его смерти пришла ко мне. Мы долго говорили. Вернее, говорила она. Рассказывала, что приезжала к нему в экспедицию еще при его жизни. И когда он заболел, помчалась к нему, но не успела... Чтобы утешить ее горе, его товарищи показали ей письмо Грудцова к другой женщине. Он писал ей те же самые нежные слова, что и Наде. И что, провожая Надежду на поезд в Ленинград, хотел толкнуть паровоз руками, чтобы она скорее уехала. Вот какой он был, Володя Грудцов! Что ж тут удивительного, что я ему не верила?

Маме надоело жить порознь с отцом, она взяла младшую сестренку Лилю и перебралась в Москву, бросив квартиру, фотографию на произвол судьбы. Фининспектор описал имущество, вещи вывезли, в том числе рояль «Рениш», на котором играл, приходя к отцу в гости, Горовиц<sup>91</sup>. Квартиру заселили чужими

людьми. Лева тоже переехал в Москву. Я осталась одна в его комнате с венецианским окном. В гостиной поселился милиционер с семьей в пять человек, в остальных комнатах — разные жильцы, а в павильоне разместилась Ассоциация революционных художников (АХР)<sup>92</sup>.

Как-то ночью раздался звонок. Открываю дверь, быстро вбегает человек, показывает ордер на обыск — ему нужно пересмотреть негативы. Я повела его в длинный коридор, заставленный полками с негативами. Но у него не хватило ни времени, ни терпения — взялся энергично, но скоро остыл. Спросил, нет ли оружия, нет ли запрещенных снимков, и, поверив мне на слово, — ушел.

Жить было не на что, купила по дешевке полусломанную пишущую машинку, научилась двумя пальцами печатать и поступила на работу машинисткой в Дорожно-строительный участок. От жары и волнения копирка таяла, бумага и руки были в черных пятнах. Делопроизводитель Марина Васильевна потом признавалась: «Смотрю, писать не умеет, — что делать? Хорошенькая и старается. Увольнять жалко». Пишу отношения, письма, телеграммы... Инженер Блинов, проходя мимо, напевает: «Целый день в минорном тоне мисс стучит на Ремингтоне». Инженер Рабинович, приезжая с участка, настойчиво ухаживает, водит в театры, дарит цветы и конфеты. Делает предложение, я отклоняю. Скоро его арестовали. То ли за анекдот, рассказанный на участке, то ли оттого, что поругался с уполномоченным ГПУ.

Надо вступать в профсоюз. Отец одно время был лишенцем, даже благодарность Ленина не помогла, потом получил право голоса. Председатель месткома требует справку об отце и объясняет, стараясь не обидеть меня: «Нас Ленин учил не верить». Я недоумевала (конечно, про себя): «Ленин? Но как можно жить, если никому не верить?»

Обменяв комнату, поселяюсь вместо со Спасскими, некогда жившими у нас. Сергей Дмитриевич<sup>93</sup> по вечерам читает мне свои стихи и стихи Цветаевой. В конце концов я тоже переезжаю в Москву. Комната на уровне земли на улице Воровского, во дворе<sup>94</sup>. Нет ни кухни, ни передней, ни ванны, ни отопления. В уборную бегаю на Арбатскую площадь. Молодость! Ей все нипочем.

Мы весело жили, я дружила с Марьей Павловной Сливкиной, компанией ходили на Арбат в подвальчик, кутили на моей широченной (распутинской, купленной Грудцовым в Зимнем дворце) тахте. Работала в самых разных учреждениях машинисткой, секретарем. Часто меняла место работы, служить долгое время в одном и том же учреждении не могла, надоедало. И мечтала ездить,

все равно куда, лишь бы двигаться в поезде, смотреть новые города, видеть новых людей...

Володя, ты знал мою подругу по Ленинграду Зину Троцкую<sup>95</sup>, мы с тобой бывали у нее. Она работала в Главцветмете экономистом и устроила меня в экспедицию на Балхашстрой. Мы жили в пустыне, расселились в палатках. Это было так давно, словно в другой моей жизни. Я помню невыносимую жару, верблюдов и работавших вместе с нами американцев.

Самое сильное впечатление оставил наш с Зиной отъезд. Директор дал ей свою машину. Ночью мы потеряли дорогу в степи. Тьма. Фары освещают тушканчиков, которые спуют перед носом машины. Кругом ни души, ни одного селения на десятки верст. Мы блуждаем, потеряли дорогу. Шофер сообщает, что в баке — бензина на дне. Мы выходим из машины, озираемся по сторонам, не видно ни зги, снова садимся и снова едем наобум. Беспокойство сменяется тягостью в душе. Мы можем погибнуть, и нас найдут через месяцы, годы. Ведь — степь! Никто здесь не едет, не ходит! И эти тушканчики, бегущие в лучах света! Так бывает только во сне. К утру мы натолкнулись на селение. А там, оказывается, уже был близко Коунрад<sup>97</sup>.

Через год я еду работать в Иркутск. У платформы состав из международных вагонов. Экспресс специального назначения отправляется на Дальний Восток. По-моему, пассажиры — одни мужчины, во всяком случае, в нашем вагоне нет женщин, кроме меня. Я оформлена в НКПС ответственным исполнителем в Главном управлении железных дорог ДВК. Организовал это мой давний приятель Борис Германович Каплун<sup>97</sup>, чья сестра была женой<sup>98</sup> Сергея Спасского. Они жили когда-то в нашей квартире. Сам он едет начальником отдела связи. В последний момент меня охватывает растерянность, я готова остаться... Но поздно, дают третий звонок.

Каплун — племянник Урицкого, в первые годы революции был Управляющим Петросвета. Его называли петроградским «губернатором». Он задумал построить в Петрограде крематорий и долго носился со своей идеей. Она принесла ему известность, но не была осуществлена<sup>99</sup>. Впоследствии он был исключен из партии за то, что его жена, знаменитая балерина Спесивцева, уехала во Францию и не вернулась в Советский Союз<sup>100</sup>. Я узнала его позже, когда в нашей квартире жила сестра Каплуна, скульптор Софья Гитмановна, и ее муж, поэт Сергей Спасский. Борис часто приезжал к ним из Москвы. Он увлекался фотографией, снимал нас всех своим новым ФЭДом в разных позах и ракурсах. Мы подружились, и когда я переехала в Москву, бывала у него

в доме, а он — у меня. Жена Каплуна, тоненькая армянка с огромными черными глазами — Марианна Гнуни<sup>101</sup> — училась у известного режиссера и актера Рубена Симонова<sup>102</sup> в театре Вахтангова. Теперь, после возвращения из десятилетней ссылки, она выступает как чтица в разных городах, пользуется большим успехом, но часто болеет.

Борис среднего роста, чуть полноват, высокий лоб, седеющие волосы. На одной руке мизинец согнут и не разгибается, несмотря на это Каплун вечно что-то мастерит, чинит электричество, ремонтирует свой мотоцикл и т.п. Он какой-то уютный, мягкий, интеллигентный, у него тихий голос, доброе лицо. Говорит немного на «о». «Мысленно я всегда с вами», «за мной не пропадет» и др. Дразнил меня тем, что у меня большой рот, насмеялся над моей фамилией, издевался надо мной так остроумно, что я не могла не смеяться. Нередко шутливым тоном разговаривал серьезно. Он знал, что я люблю разъезжать, и повторял: «Все равно от себя никуда не уедете, Грудцова». А мне действительно хотелось от самой себя уйти.

Ему доставляло огромное удовольствие устраивать людей на работу, в институты, оборудовать им жилье. В моей коммунальной квартире он сам переставил телефон (от соседей в коридор), доставал мне дрова, вставлял фотографии в рамки, развешивал на стене и всегда приговаривал: «Девушке надо помочь».

В то время он заместителем консультантом в Комиссариате путей сообщения, при заместителе наркома Благонравове<sup>103</sup>. Группа людей была командирована оттуда в Иркутск выправлять положение на Забайкальской железной дороге. И вот мы едем.

В соседнем купе — бывший заместитель наркома Серебряков<sup>104</sup>. У него коренастая фигура, хитрые, маленькие глаза — некрасивый, но энергичный человек. В царское время он был слесарем на заводе.

«Ленин говорил, что Серебряков самый умный рабочий в России», — объясняет мне Борис. А Серебряков сидит в нашем купе и вдохновенно рассказывает о теннисных состязаниях. Оказывается, его мечта — стать чемпионом по теннису.

Я нередко замечала — человек достиг успеха в одной области, а мечтает о славе в другой. Серебряков приглашает меня к себе. С ним едет сотрудник, они открывают шкаф, угощают меня коньяком, шоколадом, дорогими папиросами... Мы садимся играть в покер. «Только на деньги. Я иначе не играю», — говорит Серебряков. Я прошу играть «по маленькой», он неохотно соглашается, вдруг вижу, что жульничает. Объявляет фуль, открывает карты, быстро смешивает их. Но я успеваю заметить, что у него

был не фуль, а стрит. Мне сразу становится скучно. Кого он хочет обыграть? Меня, у которой единственное платье? И то — ситцевое! Вот так революционер! Я уйду к себе.

Перед сном Борис стелет себе постель на верхней полке и небрежно спрашивает: «Серебряков просил поменяться с ним местами. Что вы на это скажете?» — «Пожалуйста, не надо», — прошу я. «Не надо, так не надо», — спокойно говорит Борис и уходит.

Самое большое наслаждение — стоять на площадке у открытой двери. Ветер хлещет в лицо, мелькают деревья, реки, мосты... Мне беспокойно, я взбудоражена необычной обстановкой, неизвестностью — что ждет меня впереди?..

К нам в купе то и дело кто-нибудь приходит — начальник железной дороги в Чите, друг Бориса, Раскин; начальник аэродрома в Хабаровске — молодой, голубоглазый, и другие. Пришли какие-то высокие — двое, на меня не взглянув, разговаривали с Борисом. Уходя, один что-то шепнул другому, а он презрительно бросил: «Чересчур зелена». Это был Смирнов<sup>105</sup>, кажется, тот самый, который впоследствии фигурировал на процессе как трюксист.

Экспресс идет до Иркутска без остановок. Все же мы приезжаем через десять дней. Не хочется выходить из поезда. Ехать бы и ехать!.. В никуда.

Вокзал. На перроне маячит высоченная фигура в военной форме с туго перехватывающим узкую талию ремнем. «Володя Лазебный встречает», — говорит Борис. Прощание. Большинство спутников едет дальше. Мы с Каплуном выходим на перрон.

Иркутск какой-то тусклый. Одна широкая улица с магазинами, остальные узенькие. Темного цвета приземистые дома похожи на комоды. Они смотрят угрюмо, кажется, что подглядывают за тобой. Хорошо бы увидеть Иркутск сейчас, новый мост вместо понтона, современные дома... Но ехать туда? Жизнь убила во мне любопытство, его сменил страх. Страх перед поездкой, неизвестными местами, людьми...

Нас сажают в машину, и мы едем через реку по понтону с широкими щелями, он весь дрожит, и кажется, вот-вот развалится под тяжестью грузовиков. Наше управление стояло на горке, на другом берегу реки. Позади управления виднелся лес, а внизу — Ангара. Гордо и тревожно течет в ней вода. Каким-то непостижимым образом видно, что она нестерпимо холодна. Сказочны ледоходы и ледоставы на Ангаре. Огромные льдины зеленого цвета плывут, слышны выстрелы, это предупреждения о том, чтобы не ходили по реке. Все равно были жертвы.

Нас расселили в вагонах, состав стоял на путях под горой. Ходят маневровые, по ночам режут паровозные гудки, чуть светят фонари... Я живу в двухместном купе с инженером связи Бертой. Она работает под начальством Каплуна и влюблена в него. Лазебный над ним подтрунивает, а мне ее жаль. Борис мог бы быть с ней не так сух и холоден. Что с того, что она маленького роста и толста?

Каплун и Лазебный вместе занимают салон-вагон. У них два просторных купе, гостиная, кухня, душ... Они понимают, как мне трудно в нашем маленьком купе, и часто приглашают к себе.

Руководители в Главном управлении — работники ГПУ, а инженеры — крупные специалисты, вывезенные из лагерей. Начальник управления, на правах наркома — высокий, седой, с повязкой на глазу, в военной форме — Владимир Александрович Кишкин. Он эффектен, импозантен, и я его побаиваюсь. Когда секретарь Кишкина уезжал по делам, на его место сажали меня. Кишкин вел себя в высшей степени предупредительно, только однажды сделал мне замечание, да и то в любезной форме: «У вас чисто женская манера не датировать бумаг», — улыбаясь, сказал он. С тех пор я всегда ставлю числа на письмах.

Вскоре после приезда начальник издал приказ: управление объявляется военизированным. Часы работы — с 9 утра до 11 вечера с перерывом днем на два часа, ночью немедленно являться по вызову. Установить дежурство по управлению. С местными жителями, с посторонними людьми вступать в контакты запрещено.

Остальных пунктов не помню.

Моим непосредственным начальником был первый заместитель Кишкина, Владимир Михайлович Лазебный, тот самый, кто встречал нас на вокзале. Он был украинец, говорил «х» вместо «г» и часто повторял, смеясь: «Если бы мой батя, дворник, знал, что его сын будет — замнаркома!» У него на груди был орден Ленина, а тогда во всем Советском Союзе только семь человек были им награждены. Мог ли он мне не импонировать? Ведь мне было 27 лет! Лазебный рассказывал, что служил в личной охране Сталина (кажется, начальником), что юношей сражался с белобандитами на Украине и расстрелял священника в комнате, глядя ему в глаза. После этого он попал в психиатрическую больницу, где его преследовали поповские глаза. Разумеется, когда я его выслушала, мне стало не по себе. Вместе с тем, пожалела его: вот ведь, психически заболел, стало быть, не легко ему это далось.

Он был мало образован, о моем кумире — Ахматовой — даже не слышал ничего, но это не развенчивало его в моих глазах, на-

против, придавало особый колорит. В моем представлении это была героическая фигура, образец преданности революции, мужества, честности.

Меня засекретили. В мои обязанности входило сортировать письма, телеграммы по отделам, следить за ответами и т.п. Ежедневно с линии приходило множество телеграмм, отношений, я довольно быстро стала ориентироваться в них, привыкла к железнодорожной терминологии, и — главное — работа в управлении дисциплинировала меня, разболтанную.

Помню, ночью меня будит проводница — Лазебный вызывает к себе в вагон. Встревоженная, тотчас прибегаю, а там — Лазебный, Каплун и второй заместитель Кишкина — Волков слушают патефон.

— Вот это я понимаю, — говорит Лазебный, — как настоящий чекист! — В его устах это была высшая похвала. — Садись, у меня новые пластинки.

Он обожал свой патефон, сдувал с него пылинки, чистил суконкой до блеска. Лишь только он входил в вагон, тотчас заводил патефон. Иногда я смотрю, как у нас во дворе владелец машины моет ее, начищает, и вспоминаю Лазебного...

«Женулечка-жена», «Прощальный ужин», «Попугай Флорбер», «В бананово-лимонном Сингапуре» — я столько раз слушала у Лазебного пластинки Вертинского, что знала их наизусть. И все же иногда плакала. Главным образом, над «украденным счастьем». Странно устроено человеческое сердце, я знаю людей, любящих Баха, Бетховена, и вместе с тем — песни Вертинского. Странно и то, что, слушая «Женулечку-жену», работник ГПУ Волков не мог сдержать слез. Впрочем, жестокость и сентиментальность уживаются легче всего.

Однажды Лазебный приглашает меня пойти с ним в лес погулять. Мне чудится, что я — в России, где-нибудь под Москвой. О, эти запахи русского леса! Они с детства тревожат мою душу... Лазебный обнимает меня. Я услышала громкий стук его сердца и уткнулась носом в его кожаный ремень...

Через год, перед своим отъездом в Москву, Лазебный напутствовал меня: «Никогда не отдавайся мужчине сразу. Не всякий это правильно поймет». Разумеется, выгоднее заставлять добиваться себя, но я всегда считала, что это недостойные «приемы». Да и вообще я — раба своих чувств, впечатлений, настроений.

В управлении совещание, обсуждают очередные вопросы. Лазебный присылает мне записку: «Бориса ночью не будет. Приходи в вагон».

Он встречает меня в салоне и ведет в купе. Какое смуглое лицо у него в полутьме, подчеркнутое белоснежной рубашкой, какие воспаленные глаза и горячие руки!

Но неужели, живя в Иркутске, я не увижу Байкала? Лазебный достает дрезину, и я еду с двумя девушками, вернувшимися из Харбина. Осень жаркая, сухая, воздух в Сибири прозрачный. Дрезина мчится по рельсам. Мир совсем иной, чем когда смотришь из поезда, потому что дрезина открытая и низкая. Девушки звонко поют: «Эй, баргузин, пошевеливай вал...» Я чувствую себя счастливой.

На Байкале растут огромные красные ромашки и сине-зеленые листья. Такой красоты я не видела никогда. Одно лишь Чудское озеро меня не меньше поразило. Но оно — тихое, неподвижное, пастельных тонов. Оно — словно чудо, мираж... На Байкале другая — буйная, взвихренная красота.

В Иркутске становится беспокойно. Телеграммы приходят тревожные — то крушение с жертвами, то недодачи паровозов, то поломка путей. Секретные совещания у Кишкина, частые вызовы шифровальщика будоражат, тяготят. Удручают и ссыльные инженеры. У меня сложное отношение к ним. Захожу по поручению Лазебного в вагон к бывшему профессору, путейцу. Высокий, полный, добродушный, с рыжей бородкой, он сидит на табуретке и раскладывает пасьянс. Вокруг кастрюльки, грязное полотенце, одеяло — все свалено в одну кучу. Возвращаясь, я достаю: «Как в хлеве, хоть бы прибрался. К нему, кажется, приехала жена». И начинаю спор с самой собой: «Разве он виноват, что живет в таких условиях, несчастный. Крупный ученый... До революции, безусловно, был богат... Конечно, виноват, не надо было вредительством заниматься...»

Стараюсь не думать о другом инженере, его судьба особенно угнетает меня. Борис сказал, что он — крупнейший в стране тяговик. Приговорен к ссылке на десять лет! Он похож на Будду, этот стареющий человек. Смуглый, какой-то квадратный, с чуть согбенной широкой спиной. Ходит в кителе, слегка шаркает ногами, держится независимо и замкнуто. У него умное, волевое, угрюмое лицо. Что-то притягивает к нему. По слухам, он совершенно одинок, никого у него нет, кроме племянницы. Мне мучительно жаль его. Хочется, встретив в коридоре, сказать ему доброе слово, спросить о здоровье, чтобы он ощутил хоть каплю тепла. Но Лазебный предупредил меня, чтобы никаких разговоров, кроме служебных, я ни с кем из них не вела. И я не смею... Лишь иногда, вместо того, чтобы послать ему с помощницей почту, приношу сама. Хоть взглянуть в его печаль-

ные, с желтыми белками глаза: фамилии его не помню, кажется, на букву «Ш».

Лазебный хворает, звонит по телефону из вагона и просит принести ему донесение Скворцова.

— Только не читай!

Не скажи он этих слов, мне и в голову не пришло бы прочесть. Но теперь, по дороге в вагон, я разворачиваю сложенный пополам лист бумаги. Ничего интересного — названия паровозов, номера... И вдруг меня словно обжигают слова: «Ш. сказал, что советская власть говно». Так вот чем занимается этот странный человек в нелепой шляпе из планового, если не ошибаюсь, отдела. Скворцов. А Лазебный?..

Он полулежит на диване в халате, когда я вхожу, и рисует: «Смотри, — говорит он, небрежно откинув принесенную мною бумагу, даже не взглянув на нее. — Это мое сердце, пронзенное тобою». Но меня не радует ни его сердце, ни воткнутая в него моя стрела. Лучше бы я не читала скворцовского письма. Только теперь я поняла, почему Лазебный так часто учил меня: «Раньше, чем сказать что-либо, оглянись». А я-то сердилась — что это за жизнь, с оглядкой по сторонам?

Могла ли я предполагать, что только так и придется всем нам жить? И все же я плохо постигала эту науку. Не знаю, какой бог меня спас.

Каплун достает для управления промтовары и распределяет среди работников. Мне выдают темно-синий костюм джерси, я очень довольна, он мне идет. Каплун строит столовую, нас кормят хариусами, омулями, запеченными в тесте. Наконец, Каплун оборудует дом в лесу под интернат для детей рабочих. Он все продумал — каждую деталь, дверные ручки, картины, дорожки на полу, детские пижамы. Детей будут поселять в интернате по-сменно. «Пусть хоть немножко поживут в красоте», — говорит Борис.

В день открытия интерната кабинеты пусты. Уехали все начальники, даже молодые инженеры-москвичи. «А меня не взяли», — с обидой думаю я. В этот момент раздается телефонный звонок: «Борис Германович просил передать, что сейчас из управления пойдет машина в интернат. Садитесь в нее и приезжайте». Господи, если бы все мои желания так исполнялись!

На открытие съехалось все партийное и советское руководство области, города. Играет оркестр, произносятся речи; Лазебный тоже выступает, хотя врачи запретили ему малейшее нервное напряжение. Борис возбужден, взволнован, Кишкин сняет, открываются двери, родители вводят первую партию детей. Это

было поистине благородное дело. На следующий день я написала в стенгазету статью.

Кажется, единственный раз в жизни я проявила внимание к Каплуну! А сколько он душевных сил потратил на меня! Сколько ненужных огорчений я ему причиняла: милый Борис, если бы я могла попросить у него прощения!

Однажды он говорит: «Вы не умеете себя вести. Другая женщина живет с десятью, и никто ничего не подозревает, а вы — с одним, а говорят, что со всеми заместителями Кишкина. Слава о вас дошла до Читы!» Я смертельно оскорблена и расстроена. До Читы? Значит, это от Раскина идет. А вдруг Лазебный поверит этой сплетне? Но мне и в голову не приходит, что тень падает на Каплуна. Ведь это он меня рекомендовал, привез из Москвы.

Еще одна беда! По словам амбулаторного врача, у меня двухмесячная беременность. Каплун и Лазебный отправляют меня в Иннокентьевскую больницу. Снабжают гостинцами, добывают одеколон.

Схожу с поезда, иду с чемоданчиком в руке по дорожке и мысленно прощаюсь с деревьями, небом, травой... Конечно, думаю о себе в третьем лице: бедная, все-таки еще молодая, умирает вдали от родных, в больнице, где-то в глуши, на станции Иннокентьевская. Жалею себя до слез.

В приемной ждут дорожные работницы, служащие, жены рабочих. Я спрашиваю, дадут ли наркоз, они насмешливо переглядываются и даже не отвечают. Меня вызывают в кабинет.

Услышав от врача, что беременности нет и вряд ли когда-нибудь будет, счастливая, вылетаю из комнаты. Женщины смотрят на меня недружелюбно. Мне неприятно, но я на них не обижаюсь, ведь я поняла из их разговоров, как они измучены абортами и детьми.

Лазебный и Каплун встречают меня с изумлением. По-моему, у Бориса даже досада промелькнула на лице. Мне опять невдомек, что забота о больнице, конечно, легла на него. Репутацию Лазебного надо было беречь, он — член партии, работник ГПУ, орденносец, замнаркома, у него — семья! Неудивительно, что Борис слегка раздражен — столько хлопот — и зря!

Наступает зима, сильные морозы. Наши вагончики стоят, словно замороженные. Ангара покрылась льдом, теперь в Иркутск ходят не по понтону, а по реке. Хорошо, что Лазебный и Каплун подарили мне собачью доху, в ней не холодно.

«Сегодня ночью ты мне приснилась в дохе...» — писал из командировки Лазебный. Я и в Москве ее носила, когда вернулась,

только переделала в короткую дошку. «Лермонтовская девушка», — прозвал меня Дзига Вертов<sup>106</sup>, увидев в ней на «Межрабпомфильме», где я работала.

Один из замов Кишкина, приехав из Ерофея Павловича, рассказывает, как тамошние жители жалуются на скуку: «Вот в Жанне — это жизнь!» — говорят они. В Жанне есть кино. Для них Жанна, как для нас Париж!

Интересно, можно ли быть счастливой на маленькой станции в сибирской глуши? Деревянное строение, на нем крупными буквами написано: Ерофей Павлович. А в воздухе висит тоска. И тот, кто выстроил станцию в честь своей дочери Жанны, был вполне удовлетворен. И вообще, кто знает, что такое счастье? Каждому ясно, что такое горе. Это утрата дорогих людей, болезни, разочарование в человеке, в идеалах, нищета... Счастье же — понятие призрачное, неточное, зависимое от душевной конституции человека, от его потребностей, мечтаний... Может быть, оно вообще выдуманно людьми? Для утешения?

Лазебный достает мне ордер на обувь и отправляет вместе с заместителем Кишкина Волковым в Иркутск. Сам он лежит в вагоне больной. В машине я раздумываю — что бы мне ему подарить? Он заботлив, купил не только шубу, но и валенки, теперь ордер на туфли добыл, подкармливает пирожками. Вызывает к себе в кабинет и сует пакет в руки: «Бери, бери, мне жинка прислала посылку». Мне даже неловко. Если б жинка знала, кому она печет пироги. О Борисе я забываю.

На обратном пути прошу заехать в книжный магазин. Покупаю Лазебному «Виринею» Сейфуллиной и по возвращении домой иду прямо к нему в вагон. Он встречает меня в тамбуре со словами: «Виринея моя, Виринея...» Откуда он узнал, что я везу эту книгу? Я никому не говорила и никто не заходил со мной в магазин. О, жизнь моя, иль ты приснилась мне!

Приходят телеграммы — вредительство на линии, в депо. Начальники разъезжаются. Лазебный присылает мне письма из Читы, из Зилово. «Вчера я проводил от себя В.А. и опять остался один, как палец. Приходится разрываться по частям, тысячи вопросов, а помочь некому, ну, я на это не жалуюсь. Пока справляюсь». «В.А. был здесь два с половиной дня, и я с его приезда и до отъезда спать не ложился ни на одну минуту...»; «надоели эти проклятые вагоны, да у меня в 10 такая холодина, что сил никаких нет, сижу почти круглые сутки в районе — депо. Придешь, негде душу отогреть, трясет тебя лихорадкой. Уже затребовал себе другой вагон, а этот ставлю на ремонт»; «ты обижаешься,

что я невнимателен. Нет, я очень внимателен, особенно к тебе, моей славной девушке. Как хочется тебя увидеть, ты себе этого не представляешь!»

Действительно, я никогда не была уверена в чувстве другого ко мне. Но может быть, это — не главное, важнее, чтоб ему было хорошо, чтоб ему легче жилось? Впрочем, человек не в силах отделиться от самого себя. Но почему одни люди уверены в себе, другие мнительны, подозрительны? Жизнь формирует характер, или он от природы такой? Вот ведь Корней Чуковский был красивый, талантлив, богат, знаменит, для женщин неотразим, вместе с тем признавался: «Я никогда не верил, что меня любят». Правда, детство и юность могли развить ущемленность. Незаконно-рожденный «байстрюк», сын прачки, пережитые унижения, наверно, сделали его неуверенным в себе<sup>107</sup>.

«Конечно, скучаю и за семьей, особенно за дочуркой своей маленькой», — продолжал Лазебный. «Конечно», — с горечью замечаю я. «Ну, натура у меня крепкая. 15-20 м[инут] тяжело, грустно, а потом опять весь в работе с головой... Не обижайся, что не передал привет с Борисом, к этому у меня был ряд соображений, а не потому, что забыл, нет, как хотелось это сделать, но воздержался».

Мне грустно. Значит, Борис больше не сочувствует моему роману. Он — на стороне жены. Говорят, она жаловалась наркомку (это тоже называется любовью?). Какой же тогда Борис друг? И снова я не хочу понимать, что Лазебный еще больший, чем я — друг Бориса. И он старается оградить своего друга от беды. Ведь в те годы правительство охраняло семью, как святыню. Сталин сам порой вмешивался в семейные отношения. Неверного супруга исключали из партии, заводили на него персональное дело, силой возвращали к жене. Помнишь, Володя? Слава Тебе, Господи, теперь у нас этого нет.

А обида на Каплуна еще долго жила в моем сердце. Даже история с газетой не раскрыла мне глаза. Я хранила в вагоне номер «Сибирско-Восточной правды» со статьей Лазебного, его портретом и надписью мне. С трепетом берегла, и вдруг обнаружила, что она пропала. В отчаянии долго искала ее и нашла на следующий день на полу с аккуратно отрезанной надписью. Оказалось, в Москве Лазебному показал эту надпись нарком Благонравов, ему кто-то прислал из Иркутска.

Передо мной лежат письма Лазебного и газета с дырой на месте надписи. Лежат, как кусок моей жизни, в конверте. Она вся у меня рваная, вся из кусков. Я смотрю на портрет Лазебного, перечитываю его статью о работе депо Иннокентьевская, Зилово,

Хилок, об эксплуатации паровозов, о диспетчерской службе — как далеко все это ушло от меня! Какое все чужое!

Не знаю — каждый человек переживает много разных жизней за время своего существования на земле или так сложилась только моя судьба? Менялись города, дорогие моему сердцу люди, сама сфера жизни, менялась и я. Разве в Иркутске и в Переделкине я была одной и той же?

Из Иркутска Лазебный уехал раньше всех из-за вспышки туберкулеза. Открытка с дороги, я жду писем из Москвы. Жду тщетно. Забыл? Так быстро? А из Зилово писал: «скучаю до боли». Видно, не сильная была боль. Тоскливо тянутся дни, недели, месяцы... Все мне не мило. Бориса вижу редко, он весь в делах. Жить в Иркутске все труднее.

Кишкин шлет телеграмму наркому: жестокие морозы, голод, эпидемия тифа, люди не в силах больше ютиться в вагонах... Он просит всех отозвать. «Преувеличивает. Просто захотел домой», — решаю я. Впрочем... Морозы — ниже сорока градусов. Голод? Давно уже нет омулей, кормят бурдой. Жить в вагонах, действительно, больше невозможно, негде платье повесить, белье разложить, а как я плакала, застав в тамбуре проводницу, стряхивающую со своего полотенца вшей! Сотрудники, правда, болеют, у одного шизофрения, у других сыпняк... Видно, я вынослива, пока не прочитала телеграммы Кишкина, ни на что не обращала внимания. Наконец мы все выезжаем в Москву. Уже не экспресом и не в международном вагоне. Мне все же достался мягкий, опять постарался Борис.

Без малого год я прожила в Иркутске. По ночам еще долго снились паровозные гудки. И голос Лазебного: «Ольга Моисеевна!» Он катал меня однажды в Москве на своем новом мотоцикле. Мы простились на Кузнецком мосту, я вся была зажата, ни слова не спросила. С тех пор мы как будто не видались. Не помню, кажется, у Бориса — еще раз, Лазебный был с женой.

А ведь я думала, что он — герой! Разумеется, если б даже хотел, он бы не мог ко мне приходиться. Маленькая коммунальная квартира, тонкие стенки, во дворе всегда на скамейках сидят — все на виду. А он — в форме. Глупо было его ждать. Теперь я это понимаю. Но не понимаю другого — почему, почему я всегда все должна была понимать?

А что, если он жив и сегодня? Я встретила на днях на Ленинградском рынке человека, похожего на него, чересчур внимательно взглянувшего на меня. Но нет, последнее, что я о нем слышала, это то, что он — помощник или заместитель начальника ГПУ Ежова. Мог ли он остаться в живых?

Бог с ним, было и прошло. В конце концов, он вел себя со мной даже более чутко и заботливо, чем некоторые другие. При иных обстоятельствах он мог быть хорошим человеком. Но аресты, расстрелы, к которым он приговаривал людей!.. Как я не понимала, что наше управление тоже было лагерем по сути своей?

Впрочем, только ли управление и только ли тогда так было? На днях я пожаловалась одному знакомому, что на фотографии для паспорта я — словно каторжница. «А вы и есть каторжница», — ответил он.

Я не смею не только говорить и писать, что хочу, но и слушать. Зарубежные станции радио нередко заглушают — грохот, множество голосов. Порой хочется взять приемник, выбежать на балкон и швырнуть его вниз с пятого этажа. А вслед за ним бросятся и самой...

И читать мы не имеем права то, что хотим. Когда мне приносят самиздатовскую рукопись или книгу, изданную за границей, я читаю ее украдкой, а уходя из дома, прячу подальше. «Зачем? — спрашиваю я сама себя, — ведь квартира будет заперта». И сама себе отвечаю: «А вдруг... в мое отсутствие войдут чужие люди? Нет, книгу нельзя оставлять на столе. Самое страшное, что начнутся допросы — кто мне ее дал!» При одной мысли об этом у меня мороз пробегает по коже.

После Иркутска дом Сливкиных становится почти что моим. У Марии Павловны я бываю каждый день. Мы ходим в Большой театр (она дружит с Лепешинской<sup>108</sup>), приезжают режиссеры из Ленинграда. Альберт Моисеевич устраивает меня работать на «Межрабпомфильм».

Много лет я работала на киностудиях, в Доме кино, но настоящему искусству кинематографа меня не захватило. Даже сравнивать с литературой я его не могла.

Я привожу Бориса к Сливкиным, Марье Павловне явно нравится Каплун. Когда-то давно, в Париже, Альберт Моисеевич отнял Спесивцеву у Каплуна<sup>109</sup>, теперь он ухаживает за женой Сливкина. Вот какие бывают в жизни повороты! Ну, да ты их, Володя, вероятно, немало повидал.

Идут тридцатые годы, Ленин давно умер, судьбой народа вершит Сталин. Ни тени сомнения в его величии у меня нет. А честно говоря, не так уже интересовал меня тогда наш строй. На ноябрьские и майские демонстрации я ходила, с энтузиазмом рассматривала Сталина на трибуне. Вождь! Мелкие общественные обязанности, которые мне поручали, честно выполняла.

Впрочем, однажды, когда меня назначили агитатором, у меня произошел конфликт с бригадиром — переводчицей, забы-

ла ее фамилию. Услышав накануне выборов от меня, что избиратели, к которым я прикреплена, придут голосовать к 10 часам утра, она вскипела: «Вы сошли с ума! Надо, чтобы не позже 8-ми!» Я возражаю: «Выборы — это праздник для советских граждан, зачем же его портить, заставляя людей чуть свет вставать». — «Наш район выбирает товарища Сталина, — закричала она, — недоспать ради него — это, по-вашему, испортить праздник?!»

«Вот чертова баба, — подумала я, — еще донесет на меня», — и поплелась снова к избирателям.

Советское государство я любила, главным образом, потому, что оно — мое. Одно из серьезных заблуждений людей, мне кажется, состоит в том, что они считают необходимым любить свое. Моя жена — значит я должен ее любить и уважать, мой город Москва, стало быть, мне не пристало любить Калугу, мои родители, мои дети — самые дорогие на свете существа. Но мне навсегда запомнились слова гоголевского Тараса: «Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дети любят отца и мать, это не то, братцы, любит и зверь свое дитя! но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек».

Сливкин болен, лежит в постели. К нему пришла навестить его двоюродная сестра, большевичка Антонова. Некогда она, среди других таких же одержимых, легла на рельсы, когда Троцкого «выдворяли» (как у нас теперь говорят) из СССР.

Антонова присаживается на край кровати и что-то шепчет Альберту Моисеевичу на ухо. «Что-о-о?» — вскрикивает он и садится.

Убили Кирова.

Начинаются аресты. Постепенно все шире разворачиваются, все чаще исчезают люди. Остальные ждут, прислушиваются к шагам на лестнице, к автомобильным гудкам...

Не знаю почему, но я не допускала мысли о том, что меня тоже могут арестовать. Помню, как-то поздно вечером возвращалась от друзей, их родственница меня провожала. «"Черный ворон" у ваших ворот», — заметила она. У меня чуть дрогнуло сердце, но я спокойно простилась с нею и вошла во двор. В ту ночь забрали кого-то из особняка, а не из нашего убогого флигеля.

Борис больше не бывает у Сливкиных, но почти каждый день приходит ко мне. Я недоумеваю: почему он ни с кем не встречается, кроме меня, ведь у него масса друзей — писателей, каких-то ответственных деятелей, актеров... Отчего у него всегда встрево-

женное лицо и он — как загнанный зверь? Почему он хочет поставить свою машину у меня во дворе, в сарае?

— Вам будет далеко за ней ездить с Солянки, — говорю я.

— Ничего.

Он не успел этого сделать. В шесть часов утра меня разбудил телефонный звонок. Звонила Марианна:

— Оля, Бориса только что увезли... Всю ночь был обыск. Почему ты молчишь?.. Оля! Он сказал, что вернется. И один из тех, кто уводил его, сказал: «Не плачьте, он придет».

Нет, он не вернулся, бедный Борис! «Причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад»<sup>110</sup>.

Из Межрабпомфильма мне пришлось уйти вместе с уволенным начальником. Альберт Моисеевич в то время был заместителем директора Мосфильма. Он устроил меня туда, в сценарный отдел. Марья Павловна работала в съемочной группе Михаила Ильича Ромма<sup>111</sup>, дружила с ним и с артисткой Еленой Кузьминой<sup>112</sup>, вышедшей впоследствии замуж за Ромма. Они постоянно бывали в доме, бывал и Тиссе<sup>113</sup>, приезжали из Ленинграда Эрмлер<sup>114</sup>, Москвин<sup>115</sup>...

Но вот начинается вакханалия арестов. Арестовали директора Мосфильма Бабицкого<sup>116</sup>, его заместителя Елену Кирилловну Соколовскую<sup>117</sup>, ушедшую в революцию из генеральского дома, обаятельнейшую женщину, жену наркома Яковлева<sup>118</sup>. Арестовали жену Каплуна, Марианну, жену Бабицкого. Арестовали друга Сливкиных Николая Кирилловича Лозовского, помощника наркома внешней торговли. Это был красивый, седой, с молодым лицом человек. У нас с ним была «любовь». Ты помнишь, Володя, тогда Сталиным был введен порядок: ответственные работники сидели в учреждениях до ночи. Лозовский приезжал ко мне нечасто и поздно. Он всегда был ровен, внимателен и добр, возил меня кататься на своей машине на Красную площадь. Это самое мое любимое место в Москве. По ночам освещенная фонарями Красная площадь особенно хороша.

Он вел себя достойно и тогда, когда выяснилось, что я беременна, предложил оставить ребенка. Увы, мне не суждено было иметь детей, случился выкидыш. Нет, судьба человека зависит от обстоятельств, вовсе не сам он ее «кует». Родился бы у меня ребенок, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Я не стала бы литератором, не встретила бы с тобой, Володя, с Чуковским, продолжала бы служить секретарем и растила бы сына или дочь. А могло быть хуже — меня бы арестовали за то, что я от «врага народа» ребенка родила.

Из больницы меня привезла Фрида, на машине Лозовского, которую он прислал. Дома он навестил меня, все было прилично, мне не в чем его упрекнуть. Но я и сейчас не знаю, как он относился ко мне, и я — к нему. Мы не были душевно близки, жили разными жизнями. Я питала уважение к его работе и интересам, которыми он делился со мной, к жене и сыну, о которых никогда не говорил, он был мил моему сердцу. Но его внутренний мир не стал моим. Он как-то тихо вошел в мою жизнь и так же тихо ушел, когда его репрессировали. Осталась лишь фотография.

Сливкина арестовали, когда они с Марьей Павловной переехали из коммунальной квартиры в отдельную, в новом роскошном доме в Брюсовском переулке. Мне тогда казалось, что прежде всего репрессировали людей, у которых были квартиры, их сейчас же занимали работники ГПУ. Не удивительно, что меня не «взяли», кому нужна была крохотная комната с печным отоплением в доме для прислуги, построенном сто лет тому назад?

Марью Павловну сняли с работы, но она ежедневно приходила на Мосфильм и сидела возле моего стола. Наконец секретарь комсомольской организации по секрету посоветовал мне сказать, чтоб она не ходила. «Это может плохо кончиться для вас». Но как я могла ей сказать? Я почти что жила у нее в доме одно время, она так много сделала для меня!

Она не понимала серьезности происходящего. Марья Павловна привыкла к привилегированному положению, ей все еще казалось, что ее муж по-прежнему пользуется всеобщим расположением, несмотря на то, что сидит в тюрьме! Она пошла на собрание кинорботников, а председатель Комитета по делам кинематографии Шумяцкий<sup>119</sup> начал свой доклад со слов: «жен врагов народа прошу покинуть зал».

Это был сокрушительный для Марьи Павловны удар. Придя домой, она открыла газ. Но, начав задыхаться, испугалась, позвонила директору объединения, а он — Елене Кузьминой. Леля бежала по улице в халате. На лестнице пахло газом.

После этого Сливкина уехала, квартиру запечатали уже без нее. Она долго скиталась, скрываясь от ГПУ, переезжала из одного дома отдыха в другой. Когда иссякли все возможности, она пыталась спрятаться у родителей в Старом Петергофе. Увы, ее тотчас арестовали. В лагере она вскоре умерла. По слухам — от заворота кишок.

У Марьи Павловны были на редкость красивые глаза, фигура, ноги, она была значительно моложе мужа и казалась его дочерью. Альберт Моисеевич — талантливый организатор, до революции бывший дипкурьером у большевиков, замечательный работник;

толстый, забавный, удивительно колоритная фигура, — был вспыльчив и вместе с тем очень добр. В Марью Павловну он был всю жизнь влюблен, называл ее «Мукася», а когда говорил о ней, смешно произносил ее имя-отчество в одном слове: «Марьпална». Говорят, что и в лагере он великолепно работал и по окончании срока мог вернуться в Москву, но, узнав о гибели жены, не захотел. Там, в лагере, он и умер.

Но говорят и другое — сразу расстреляли, как расстреливали всех. Порой меня мучают угрызения совести от того, что я ничего о них не разузнала, не разыскала родных Марьи Павловны в Старом Петергофе, даже фамилию их забыла.

Правда, к моменту ареста светская жизнь Сливкиных — дача, квартира — все это несколько отдалило меня от них. Мне хотелось жить тише. К тому же в те годы выяснять что-либо было опасно, вероятно, мною, как и всеми, владел страх. Но это не умаляет моей вины. Так же, как и то, что, по словам жены брата Марьи Павловны, я была единственной из друзей, кто вернул отданные ею на сохранение облигации. Разве это утешение, что другие оказались еще хуже, чем я?

Арестовали друга Сливкина, работника ГПУ, арестовали жену Спасского, сестру Каплуна. Круг сужался. А я все еще верила, что существует какая-то закономерность во всем этом. По моим представлениям, пусть невольно, случайно, но каждый пострадавший в чем-то замешан. О, святая наивность! «По телефонной книге брали! Ткнул пальцем и хватают наугад», — объясняли мне после смерти Сталина более осведомленные, чем я, люди. «При чем тут замешан, при чем тут виноват?»

А жизнь продолжалась — и работа, и встречи, и дружба, и любовь... В 1939 году я поступила на заочное отделение Литературного института, работая на Мосфильме. В тот период ближе всех я сошлась с домом Михозлса<sup>120</sup>. Его жену Анастасию Павловну Потоцкую<sup>121</sup> я знала по ее первому мужу, одному из друзей Грудцова. Жили Михозлсы близко от меня на Тверском бульваре, в коммунальной квартире, — ты ведь бывал со мной у них. Помнишь, какая Ася была веселая, остроумная, оживленная. Хорошо, что ты не видишь ее теперь. Как она высохла, опустилась, без зубов!.. Сломала ее жизнь, она запыла...

Дом Михозлсов в общепринятом смысле этого слова не был семейным, скорее — богема. Дети Соломона Михайловича от первой покойной жены жили отдельно, в этом же дворе, и ежедневно, а то и по нескольку раз в день, забегали к нежно любящему, целующему их руки отцу. Асина дочь от первого мужа воспитывалась у бабушки. Михозлс возвращался после спектаклей из

театра, и всю ночь у них толпились режиссеры, актеры: пили, спорили, говорили об искусстве. Часто Соломона Михайловича и Асю приглашали в гости то Игнатьевы, то Климовы, то Толстые<sup>122</sup>... Как ты знаешь, приходили Михозлсы и ко мне. В моей 9-метровой комнатухе зачастую собиралось по 20, а то и больше человек. Сквозь папиросный дым трудно было разобрать лица. Ты сидел в кресле и читал свою поэму. Михозлс делился взглядами на искусство актера. А помнишь, как он однажды яростно спорил с Сергеем Наровчатовым<sup>123</sup> о судьбах еврейского народа. Соломон Михайлович считал, что Крым следует сделать еврейской республикой. Наровчатов протестовал... Но это было уже после войны.

Сначала мне казалось странным, что Ася избрала своим мужем Михозлса, ведь он был на редкость некрасив. Широкие плечи и короткие ноги, чуть приплюснутый нос и выпяченная вперед нижняя губа! Но узнав его ближе, я Асю поняла. Стоило ему заговорить, он весь преображался, от него излучалось обаяние, талант, его мысли всегда были глубоки, интересны — правда, Володя? Его движения были четки, ни одного лишнего жеста, речь точной — никаких лишних слов. И сколько чувства собственного достоинства!

Он жил вне суеты. Тщеславие, соперничество, обиды не имели никакого касательства к нему. Он думал о будущем страны, мира искусства, он входил в дом, думая, и покидал его, продолжая размышлять. Соломон Михайлович часто говорил, что подлинный актер несет свою тему жизни, какую бы роль он ни исполнял. Я слушала его публичные выступления, он не прибегал к ораторским приемам, речь его была естественной, свободной, будто он разговаривает дома, за столом. Для примера он нередко обращался к воспоминаниям о своем детстве. Соломон Михайлович вырос в бедной многодетной семье Вовси и был младшим. Он рассказывал, что за обедом, пока до него доходила тарелка супа, старшие уже ели компот. Он оставался без сладкого. Мне казалось, что это детское огорчение сохранилось у него на всю жизнь.

Людей он делил на поэтов и не поэтов. «Не поэт», — печально говорил он об общей знакомой, широко образованной и умной женщине.

Надо мной он часто подтрунивал. «Ну как, вульгарный социологизм или социологический вульгаризм?» Но однажды был зол и раздражен. По моему настоянию он согласился выступить в Доме кино с докладом о Чарли Чаплине. Мы ехали с Асей и с ним в машине, и он всю дорогу ворчал. Ему не хотелось выступать, но до-

клад прошел с большим успехом, и Соломон Михайлович перестал на меня сердиться.

Самой великой страстью он считал страсть к познанию. «В Библии не написано: Яков женился на Рахили, там сказано: Яков познал Рахиль», — говорил он. Для него любовь была познанием, искусство — познанием, сама жизнь — это познание.

Ему трудно было в Еврейском театре, он часто жаловался на необразованность актеров. Но когда я спросила, почему бы ему не перейти в русский, там больше возможностей для него, — он обиделся. Михозэл любил свой народ.

Я смотрела его «Лиру», который прославился на весь мир, смотрела «Тевье-молочника». Ася шепотом переводила мне пьесу, она столько раз бывала на репетициях и спектаклях, что, не зная языка, выучила текст наизусть.

Тевье Михозэлс был не местечковый еврей, а воплощение веками гонимого народа с его терпением и извечным юмором. Я смотрела спектакль и впервые в жизни почувствовала себя дочерью еврейского народа. Тевье казался мне моим отцом, а его дочери незадачливыми дочерьми моего отца.

Соломон Михайлович был мыслитель и — озорной человек. Он любил розыгрыши, насмешки. Мы часто ходили компанией в кабачок у Никитских ворот. Перед входом он снимал орден с лацкана пиджака со словами: «Цацу надо убрать». Я познакомила его и Асю с Зиной Троцкой и однажды повела к ней. Было довольно много гостей. Подали чай, а Соломон Михайлович не мог существовать без черного кофе. Хозяйка же заявила, что кофе в доме нет. Мы шумели, веселились, обсуждали книги, спектакли, а Михозэлс вдруг исчез... Его обнаружили на кухне, где он сидел за столом со старой домработницей и с наслаждением пил дивно пахнущий кофе.

— Кофе нашелся, — с лукавой улыбкой сказал он. — Лизавета Сергеевна меня угостила.

Все же я решила второй раз выйти замуж. Поселившийся в Москве, некогда работавший вместе со мной в Ленинграде Матвей Миронович Рабинович<sup>124</sup> сделал мне предложение одиннадцатый раз, и я согласилась.

— Зачем вам это надо? — спросил меня мой начальник Илья Трауберг<sup>125</sup>, в которого я была втайне немного влюблена.

— Чтобы стакан воды кто-нибудь подал, если заболēju.

— Для этого нанимают прислугу, — резонно заметил он.

Я пыталась обмануть себя. Матвей Миронович человек недалекий, но хороший, заботился обо мне, прокупал продукты, готовил обед, принимал моих гостей, оставаясь в тени. Однажды

он попрекнул меня, вспомнив чеховскую «Попрыгунью». Нет, я не «Попрыгунья» и никогда ею не была, а главное — он-то ведь был — не Дымов.

Может быть, в конце концов я свыклась бы с ним, хотя он раздражал меня, особенно во время войны. Раздражал, несмотря на то, что если бы не он, я потеряла бы комнату в Москве и прописку. Живя в эвакуации, я была уверена, что прежде не вернется и смешно заботиться о московской комнате, об институте. Но муж по секрету посылал в Москву ежемесячно деньги за квартиру, за учение в Литературном институте (на заочном полагалось платить).

Наверно, я бы притерпелась, если бы не встретила, Володя, с тобой. Давным-давно я читала о Лессинге, как он, уже немолодым, женился, должен был родиться ребенок, но жена во время родов умерла, и младенец скончался. Лессинг писал своему другу: «Один раз я захотел жить, как все. Не вышло». У меня тоже почему-то не получалось.

Мы с мужем завтракали, вдруг громко постучали в дверь и соседка крикнула: «Война!» Включили радио, говорил Молотов. В состоянии полного оцепенения я пошла в институт и поразилась — на улице стояли очереди в сберкассы, люди брали свои вклады. Как они могут думать о деньгах в такой момент? — я не могла этого постичь.

Есть во мне какая-то ущербность — сильное впечатление так разит меня, что я решительно не в состоянии думать ни о чем другом. Между тем, люди были правы, уже на следующий день вклады полностью не выдавались, а впереди была эвакуация, четыре года войны... Я смотрела на мужа с презрением, когда он, собираясь в эвакуацию, аккуратно складывал посуду, мои платья, даже новый отрез купил. А не будь этих тряпок, мы бы умерли с голоду на Урале, — это я уразумела там. Мне уже недолго до конца, а я все еще живу под влиянием минутных реакций. Боже мой, как я могла прожить жизнь одна?

В Литинституте был митинг. Заочники мгновенно разъехались по местам жительства, чтобы явиться в военкомат. Москвичи заторопились в наши, районные. Посыпались заявления добровольцев. А я — как во сне, все мимо, мимо... Все гадали, сколько месяцев может продлиться война, о годах никто и не предполагал.

На Мосфильме тоже митинги... Заказываем сценарии на военную тему. Разумеется, о том, как Красная Армия молниеносно побеждает врага! Еще бы! Учимся стрелять, занимаемся после работы ПВХО. Зубрю по учебникам. На одном уроке преподава-

тель спрашивает: «Мосфильм — объект нападения для противника, какими средствами вы будете пользоваться для обороны?» Я отвечаю: «Паяльной лампой». Громогласный хохот. Почему я так сказала — сама не понимаю. Вообще, не понимаю ничего. Печатаю на машинке чье-то письмо с фронта для стенгазеты, встречается слово «язык». С трудом догадываюсь, что оно означает, спросить постеснялась.

Первая бомбежка застала меня с мужем у Зины Троцкой. Мы сидим за столом, пьем чай. Диктор по радио дрожащим, встревоженным голосом объясняет, что надо идти в бомбоубежище. У Зины в коляске новорожденный сын. Она и ее мать отказываются идти. «Если смерть, то все вместе и сразу». До отбоя все молчат.

С тех пор — страх! Страх, не покидающий даже во сне. Ни на секунду не прекращающееся ожидание сигнала тревоги. По утрам еду на студию от Киевского вокзала до Мосфильма на троллейбусе, на набережной заводы — ни одного убежища. Куда деваться, если начнут бомбить? Только бы проехать это место! Только бы не застала сирена! Внутри все сжато в тошнотворный ком. Господи, пусть убьют, только не этот страх!

А на студии Илья Трауберг смеется: «Бойтесь? Вот выведу вас ночью под бомбежку, мигом перестанете бояться. Уверю вас!» — «Нет, нет, только не это!» На обратном пути тот же самый страх. Однажды возвращались со сценаристом Цейтлиным<sup>126</sup>. Лишь только входим в Киевское метро — тревога. Слышен грохот бомб, станция мгновенно наполняется людьми, стоят впритык друг к другу. Как страшно умирать одной! Хоть кто-нибудь знакомый был бы рядом! Ищу глазами Цейтлина, он куда-то скрылся. Скорей бы, скорей бы конец — все равно, какой!

Цейтлин появляется после отбоя. «Я с детства боюсь толпы» (толпы ли он испугался?). Бомба попала косяком в метро и разорвалась, не долетев до станции. Поезда не ходят. Мы выполняем наверх, идем пешком.

Каждый вечер — бомбежки. В нашем доме убежища нет, в соседнем — мелкое, там слышен каждый разрыв. С ужасом смотрю на женщин с детьми. Фрида предлагает прятаться в фотографии, где она работает, в проезде МХАТа, там павильон в довольно глубоком подвале. Отправляемся туда по вечерам, еще до тревоги. Однажды появляется Корней Иванович Чуковский с женой, сестра их пригласила. Поссорились, Корней Иванович вылетел, как пуля, Марья Борисовна следом за ним.

Домой возвращаемся, когда светает, после отбоя. Одним утром возле Никитских ворот видим огромную воронку, а памятник

ник Тимирязеву стоит без головы. Ее нашли через несколько дней где-то на крыше около Арбатской площади.

Дом на Воровского, угол Мерзляковского переулка, где была аптека, разбит. А в соседнем живет брат с женой и сынишкой. Считается, что по теории вероятности дважды в одно и то же место не может попасть. Через несколько дней в разрушенную аптеку снова попадает бомба. Разбомбили Вахтанговский театр, дежуривший ночью артист Куза<sup>127</sup> убит... Дома стали похожи на людей с распоротыми животами. Квартирны оголены, видны кровати, диваны, картины на стенах...

Перед тем, как идти к Фриде в фотографию, часто заходим к родителям на Петровку. Как-то, лишь только пришли — сирена... Папа ведет маму в метро. Мама после инсульта, рука парализована, сообщает плохо. Темно. По улице движется толпа в полнейшем молчании. Слышно лишь шарканье ног... Страшно!

В метро пускают спастись от бомб только стариков и женщин с детьми, а у меня одна мечта — попасть туда. Муж достает разовый пропуск на станцию «Охотный ряд». Я счастлива. На утро приходим к нашим, я оживленно рассказываю, как прошла ночь, кого из знакомых встретила. Отец говорит: «Оля любит общество, она сегодня совсем другая». Фредерика фыркает: «Она просто боится умереть». Сама она не боялась, ходила после тревоги по улицам, прячась от патруля, и уверяла, что такой красоты не видела никогда. Я ей завидовала, мне представлялось, что каждая бомба летит специально для того, чтобы попасть в меня. А ведь в юности я мечтала быть Жанной д'Арк!

Михозлсы предлагают пойти с ними в убежище цыганского театра «Ромэн». Заходим за ними и тотчас сирена. О, этот режущий сердце вой! На людях я держусь спокойно, мы с Асей будим ее спящую дочку Варю, натягиваем ей на ножки чулки... Соломон Михайлович ходит по комнате и насмехается надо мной. «Как фамилия кандидата, за которого вы агитировали? Кажется, Сенькин? Прекрасная фамилия: Сенькин!»

В «Ромэн» не успеваем, уже бомбят. Стоим в коридоре у Михозлсов, там очень толстые стены и каменные своды. Чуть светает, поднимаемся в соседний дом к дочерям Соломона Михайловича.

На Мосфильме назначены ночные дежурства. Правда, в подвале, но я все равно жду своей очереди, как приговоренный — казни. Наступает моя ночь. Сажу одна в полутемной комнате, на столе телефоны. Где-то там, в другой части цокольного, дежурят военные, я туда не захожу. Относительно спокойно. Думаю о Гитлере. Как рождается на свет подобное чудовище? И зачем?

«Бог создал мир совершенным. Это люди его испортили», — говорит, Володя, твоя сестра. Но что это за Бог, если Он позволил изуродовать свое творение?

Принимаю телефонограмму: в 10 часов утра по радио выступит Сталин. Волнуюсь. Что он будет говорить? Надо оповестить начальство. Но еще рано. Надо предупредить друзей и знакомых. Еще рано. Звоню лишь Михозлсам, Соломон Михайлович благодарен.

Снова думаю о Гитлере, о войне, о Сталине — не смею. Я бы не поверила тогда, что придет время, не будет ни Гитлера, ни Сталина, а я буду жива. И сидя в замечательной однокомнатной квартире, из окна которой видно небо, размышлять о трагедии, свершившейся тридцать лет тому назад? И о том, что Сталин во всех, даже в родной дочери подозревавший врага, поверил Гитлеру и позволил себя обмануть? Эту загадку до сегодняшнего дня никто не может разгадать! И еще одну — почему немцы, стоя на пороге Москвы, не вошли в нее? Советские историки, разумеется, находят выгодные для нас объяснения, но...

Дежурство окончено. Я поднимаюсь наверх, выхожу в сад, жмурюсь от света. Спокойное, безоблачное небо! На клумбах пламенеют флоксы, поют птицы! Какая благодать! А там? Изрытая снарядами земля, грохот бомб, скрежет танков, реки крови, страдания, страдания людей... Как это все совмещается в мире?

Речь Сталина мы слушали всем отделом в кабинете начальника. «Дорогие братья и сестры...» Слышно, как стучат его зубы о стакан, когда он пьет воду, как она булькает у него в горле. «Если уж он так волнуется, так мне и Бог велел», — думаю я.

Наша общественница по дому шадит меня и назначает дежурной по утрам, когда светает. Я сидела у решетки дома на камне с томиком Блока в руках. Трамвай еще не шли, я спокойно читала. А окончив дежурство, ехала на Мосфильм, не расставаясь с Блоком, глубоко убежденная, что это он спасает меня от бомб.

К Асе Михозлс приходит ее старый друг — инженер, говорит, что старается устроить сына в авиацию. Я — в изумлении, по моим представлениям, самое страшное на войне — это авиация. «Там хоть чисто — ни крови, ни вшей», — объясняет она.

Мое воображение заболело, я непрерывно вижу залитую кровью землю, трупы, слышу грохот снарядов, вой самолетов и бомб. Я опасаясь, что брата возьмут на фронт. Встречаю давнюю приятельницу, делюсь с ней своим беспокойством. «А почему ты думаешь, что воевать должны все, кроме твоих родных?» — справедливо замечает она. Но брат есть брат... И потом... Я была бы так счастлива, если бы никому не надо было воевать!

А Лева все повторяет, лишь бы не взяли рядовым. Лишь бы не под началом у тупицы и хама.

Москву бомбят ежевечерне, у меня нет больше сил бояться. Уехать! Только бы уехать. На Мосфильме режиссер Голуб<sup>128</sup> выражает мне: «Ольга Моисеевна, вы не знаете, что такое эвакуация, вы не знаете, что значит жить не дома! Я не уеду из Москвы никуда!» Ах, не все ли мне равно, где жить и как жить! Лишь бы не бомбы и не затемнение, которое я не в силах переносить!

На студию приходит Леонов<sup>129</sup>. Он пишет сценарий, часто беседует со мной. В этот раз мы почему-то сидим не в моей секретарской комнате, а в кабинете кого-то из редакторов. В комнате, кроме нас, никого нет. У него дрожащий голос, полные отчаяния растерянные глаза... В этот день от отправил семью в эвакуацию на пароходе... «Пароходы бомбят!.. Увижу ли я когда-нибудь свою жену и детей!..» Он не может сдержать слез, рассказывает, как дежурит на крыше по ночам. Какой крошечный ад у него в душе!

Возвращается из командировки на фронт Николай Николаевич Шпанов<sup>130</sup>. Он — бывший царский офицер, подавлен неразберихой, неорганизованностью, растерянностью нашей армии.

А мой начальник, Илья Захарович Трауберг, всеми силами рвется на фронт. Другие хлопчут о броне, а он — только о том, чтобы на войну. Спекулянты скупают картины, рояль, красное дерево — за килограмм хлеба, я ему об этом рассказываю, а он одно и то же твердит: «Вы не туда смотрите. Не в ту сторону».

Добился, пробыл всю войну на фронте, летал, хотя был политуком. Я виделась с ним в Алма-Ате, он приезжал в отпуск, к брату, затем в конце войны — в Москву. После Победы его оставили в Германии, он прислал мне фотографию. Лежит на траве возле машины, веселый, с бутылкой вина и рюмкой в руке. В письмах просил помочь ему демобилизоваться. Ему так хотелось домой! Но... скончался в Германии во время банкета. Говорят, что его отравили. Это был замечательный, храбрый, красивый человек.

Вероятно, воскресенье. Мы с мужем дома. Звонок, входит моя бывшая любовь Артамонов. Благообразный, внешне подтянутый, но какой-то он всегда был растерянный. Я работала с ним, когда он был директором Дома кино, потом его почему-то сняли, он поступил на одну из руководящих должностей в Центральный парк культуры и отдыха. Помню, в каком отчаянии приехал ко мне как-то ночью — потерял партийный билет! Это грозило исключением из партии, снятием с работы... Чуть свет он снова помчался в парк, отыскался, наконец, билет. Но сколько волнений было пережито!

И вот он уходит в ополчение, не умея держать ружье в руках. Матвей Миронович деликатно оставляет нас вдвоем. Артамонов падает передо мной на колени и плачет. Он предчувствовал, что обречен... Его убили очень скоро.

Уехать! Только бы уехать! С Мосфильма отправляется группа жен, работников студии, стариков, детей... Илья Вайсфельд<sup>131</sup> договаривается о моем отъезде в качестве организатора. Но нет, я не могу позволить себе уехать, пока родители в Москве. Звоню по телефону Михаилу Ромму, прошу его помочь отцу и маме эвакуироваться. Слышу в ответ: «Удивительное дело! Все хотят бежать из Москвы». — «Что тут удивительного? — говорю я. — Разве есть у человека что-либо еще, кроме жизни?» Он смущен: «Конечно, Оля, я понимаю. Но ничего не могу сделать, меня все просят...»

Неожиданно выясняется, что правительство включило отца в список «золотого фонда» — людей, которых необходимо сохранить. Их везут в Нальчик. Это лауреаты, орденосцы, крупные ученые, художники, режиссеры, артисты... Провожаем. Едет отец, полубезумная мама<sup>132</sup> с сопровождающей ее медицинской сестрой и младшая сестра Лиля. Мама смеется, говорит что-то несуразное. Папа смотрит на нее влюбленными глазами. Поезд трогается. Увозит родителей. Может быть — навсегда...

Маму я видела действительно в последний раз. В связи с положением на фронте их всех из Нальчика переправили в Тбилиси. Маму прямо из поезда положили в больницу, и она умерла. А отец, Лилия и прилетевшая к ним Фредерика еще долго странствовали. Командующий Закавказским фронтом генерал армии Тюленев командировал отца в Тавриз, где стояли наши воинские части, — для обслуживания Дома офицеров.

Муж уходит в ополчение, они стоят под Москвой, он пишет мне письма, просит похлопотать, чтобы его отозвали по возрасту. Отзывают.

А с фронта ежедневные сводки, сдают один город за другим «по заранее намеченному плану». Какой-то странный план — отступать. Все время отступать, до самой Москвы. Смоленск уже взят, фашисты у Волоколамска... А Москву все бомбят.

Почему-то я никогда не стыдилась своего страха. Кто-то однажды сказал: «Надо иметь мужество признаваться в своей трусости». Нет, это не мужество, я просто не способна ни притворяться, ни лгать.

К счастью, Лева получил назначение на Урал, в Сухой Лог, на Шапотный завод. Он взял туда свою семью и меня с мужем.

Что осталось в моей памяти от Сухого Лога? Огромные белые пространства. Белое небо сливается с белой землей. От блесков снега больно глазам. Морозы 40 градусов. Хожу за десятки километров в деревни, менять на картошку платья, обувь... Возвращаюсь с мешком за спиной. Иду полем и лесом, шагаю бодро, даже весело. Только бы не распуститься, не думать ни о чем плохом. Останавливаюсь, озираюсь вокруг — громадные толстые деревья, кучи снега на ветвях. Мертвое царство, красиво и страшно в нем.

Уральцы — народ благообразный, особенно женщины. Стройные, длинноногие, ходят быстро, легко. Но суровые люди. Заплутаешь в белизне, спросишь у кого-нибудь дорогу, проходят мимо, не ответив, будто не видят и не слышат тебя. В скольких домах я побывала, но запомнила лишь два. В одном меня ласково встретил старик с седой бородой, выходец из России: «Бедная, посиди, обогрейся». В другой раз, безрезультатно обойдя всю деревню, я постучалась в последний, бедный, без наличников дом. Вышла девочка, одетая в тряпье. «Поменять что-нибудь надо?» — спросила я. «Не, — ответила девочка, — мы сами нищие».

В Сухом Логе мы получили телеграмму о смерти мамы в тифлисской больнице. Туда же мне прислали вызов из киностудии Мосфильм, эвакуированной в Алма-Ату. К тому времени к нам приехала сестра Фредерика, покинувшая Москву 16 октября, в день всеобщего бегства от стоящих на пороге столицы фашистов. Муж мой уехал с Урала куда-то работать по своей специальности инженера. Фрида отправилась со мной в Алма-Ату, Лева взял командировку, чтобы проводить нас. На станции Богдановичи мы ждали поезда три дня стоя. Она была набита людьми, прижатými друг к другу. Я так и спала стоя. В проходящих мимо поездах вагоны были заперты, дверей не открывали. Только на третий день толпа втиснулась, оттолкнув проводницу. Фредерика с негнущейся ногой осталась где-то в тамбуре. На мне лежали люди, я не видела, что с моей сестрой. Не знаю, как я пережила этот ужас, охвативший меня при мысли, что ее вытолкнут, что она упадет... С тех пор я боюсь поездов.

Перед вокзалом в Алма-Ате клумба, на ней огромные красные канны! После холодного снежного Урала Алма-Ата — как волшебство! В центре — европейские дома, на окраинах маленькие домики с садами, цветут яблони, журчат арыки... Меня приветливо встречают на студии, сейчас же оформляют в сценарный отдел. Но с квартирами — безнадежно: «Ищите сами». Я отправляюсь на поиски, захожу в каждый дом и, о чудо! — нахожу комнату. Недалеко от студии, на берегу Алмаатинки домик и сад.

Только много позже я узнала от местных жителей, почему мне так повезло. В этом доме никто не хотел жить, там хозяева — грабители, воры.

Фредерика побыла со мной недолго, за ней прилетел военный на «ТУ» из Тифлиса и увез ее к отцу. Я осталась одна. Перед моей комнатой проходная клетушка, в ней хозяин — немой сапожник целый день чинит обувь. Дверь в мою комнату не запирается. Хозяйка на несколько дней уезжает, по ночам я дрожу от страха. Как тут не верить в судьбу? Я уже вернулась в Москву, когда мне рассказали, что отец немого сапожника приставал к жене второго сына, ушедшего на фронт, и она отрубила топором голову старику.

Живу впроголодь, хлеба дают 400 грамм в день, в столовой жидкую бурду. Гуляя, обнаруживаю обнесенный высоким забором колхозный фруктовый сад. Созревшие яблоки порой падают по эту сторону ограды. Я подбираю и питаюсь ими. Алмаатинские яблоки громадные, красные, вкусные — как в раю.

А рядом со студией стоит каменный дом, прозванный нами «лауреатник». Там жили лауреаты Сталинской премии. Им привозили грузовики с продуктами высшего сорта. И отдельная столовая была для «именитых», где кормили мясом и к чаю — печеньем. Бывшему в то время начальником сценарного отдела Вайсфельду удалось прикрепить меня к ней только на один месяц. Я не очень расстраивалась, ведь война! Хорошо, что нет бомбежек, затемнения, о чем еще мечтать для себя? Но все время хотелось есть.

На Центральной объединенной киностудии в Алма-Ате работают московские и ленинградские режиссеры, актеры, операторы, почти все знаменитости съехались туда. Снимают картины.

И вот в сценарном отделе появляешься ты. Сергей Михайлович Эйзенштейн ставил «Иван Грозный», тебя вызвали писать тексты песен к фильму. Ты и для «Александра Невского» работал с Эйзенштейном, он знал, как ты талантливо умеешь вдохнуть в историю дух современности<sup>133</sup>.

Ты пришел к нам в отдел вместе с драматургом Берестинским<sup>134</sup>, тоже приехавшим из Ташкента. Он начал с жалоб на жесткие матрасы, на негодное помещение для жилья и т.п. Ты стоял в отделении молча. Высокий, с барственной осанкой, в мягкой шляпе с полями, с трубкой во рту и палкой в руке. Но пронзил ты меня не своим артистизмом, а достойным поведением. Вайсфельд спросил, есть ли у тебя претензии, ты ответил, что решительно никаких.

С тобой подписывают договор, начинаются деловые отношения, ты обращаешься только ко мне. Мы начинаем дружить,

гуляем по городу. Исколесивший всю Среднюю Азию, в Алма-Ате ты был в первый раз. Город тебя, так же как меня, очаровал, порой ты стонал от восхищения: «А-аа-х». Стал приходить ко мне в гости, чужая недобрая комната с низким потолком и маленьким оконцем озарялась слепящим светом. Гудел твой низкий голос, ты читал стихи, пел свою знаменитую «Так далеко, так далеко — трудно доехать...»

А помнишь свой рассказ о знакомой девушке, с которой ты когда-то встречался, в чьей комнате стояло восемь раскладушек, потому что у нее было семь сестер? Ты с умилением говорил про эти восемь коек. И мою девятиметровую московскую комнату на улице Герцена ты тоже потом полюбил за ее бедность. Ты умел видеть поэзию в бедности... Вместе с тем — мечтал разбогатеть. И как гордился впоследствии своим новым пальто и костюмом, в особенности машиной. По-детски гордился, не скрывая своего удовольствия, и все спрашивал — нравится ли мне. Но это было уже значительно позже. А тогда ты приходил, а мне даже нечем было тебя угостить.

Возвращаюсь однажды после работы домой и вижу — ты сидишь у окна и читаешь, держа высоко, у самых глаз, из-за катаракты, «Прощай, оружие» Хемингуэя, единственную книгу, которую я взяла в эвакуацию с собой. Спустя много времени, в Москве, ты спросил, помню ли я, с чего у нас начался роман. Я не помнила. Ты сказал: с «Прощай, оружие» Хемингуэя.

Приехавшая в это время из Ташкента твоя сестра художница Татьяна гостила у своего тогдашнего мужа, ассистента режиссера. Они жили в ДOME Советов, отданном под общежитие эвакуированных работников искусств. Ты спал у них в комнате на полу, твоя невзыскательность тоже была мне мила и душевная близость с сестрой — талантливым, интересным человеком — нравилась. Я так и не поняла, доволен ли ты был, что впоследствии Таня ушла от Широкова к Ермолинскому<sup>135</sup>? Ты ворчал то на одного, то на другого. А Таня с Сергеем Ермолинским удивительно дружно живут. Я люблю к ним приходить, слушать размышления Сережи о Грибоедове, Пушкине, Герцене, читать его повести. Он — благородный, подлинно интеллигентный человек.

Таня мне рассказывала, что, когда умирала в Ташкенте ваша мать, самый любимый тобою на свете человек, ты безудержно пил. Татьяна стыдилась писателей, видевших твое непристойное поведение. Боже мой, ты спасался пьянством; как же можно было этого не понимать!

Однажды, поздно вечером, к Тане зашла Ахматова и тотчас заметила ее состояние:

— Татьяна Александровна, вы чем-то расстроены?

— Нет, Анна Андреевна, ничем...

— Неправда, я вижу, вы расстроены...

Таня сказала, что тебя еще нет дома и ты опять придешь пьяным, будешь шататься и валиться в канаву у всех на глазах.

— Татьяна Александровна, — возразила Ахматова, — он поэт! У поэта должны быть падения, иначе не будет взлетов. Не все ли равно, что о нем будут говорить!

Под моим окном цветут чайные розы, двор благоухает... А рядом мелководная Алмаатинка с покрытым камнями дном. Мы сидим на берегу — о чем-то спорим, ты сердисься и швыряешь трубку в реку. Я срываюсь с места и в туфлях бросаюсь в воду, с трудом успеваю поймать. У тебя довольное лицо, я сушу туфли, мы смотрим в воду. Нет, это не вода, а солнце бежит по камням.

У тебя болят ноги, но ты ежедневно приходишь работать к Эйзенштейну, пишешь тексты песен, редактируешь диалоги. А потом кружишь, все кружишь по городу, зачастую остаешься ночевать у меня. Утром перед завтраком я прошу тебя вымыть руки, но слышу один и тот же неизменный ответ: «Медведи тоже никогда не умываются».

«Не знаю, почему, но после ночи, проведенной с одной женщиной, чувствуешь себя счастливым, а с другой — несчастным», — говоришь ты.

Чего только ты мне не рассказывал о своих женщинах! Одна в золотистом парчовом платье танцевала, извиваясь, как змея, другая, с горящими, как пламя, глазами, была упряма и зла... И все знатных родов, голубых кровей! Фантазия твоя не иссякала. Встретили на улице девушку, ты стал описывать ее квартиру, коврик над кроватью; рассказывать, чем она занимается, как живет.

— Разве ты с ней знаком?

Нет, ты все это вообразил.

Ты провожал меня ночью от Тани. Пахло урюком, светила луна. Улицы были пусты. Вдруг откуда-то издали донеслась песня девушек.

— Это надо запомнить навсегда, — сказал ты.

Ты брал в руки обыкновенную чашку и говорил о ее причудливых линиях, переливающихся красках... В твоём восприятии мир обретал первозданную свежесть и новизну, краски становились богаче, светотени глубже, очертания предметов сложнее... «Без сказок в мире правды не бывает...» Даже анекдоты и сплетни в твоих устах обретали сказочный колорит.

Ты заражал своим видением других. Я переселялась в твои сказки...

Между тем ты жил не только в надзвездном мире, тебя интересовали повседневные мелочи, слухи, ты любил юмор. Помнишь, ты рассказывал мне, как в детстве видел Льва Толстого. Об этой встрече ты написал потом в поэме «Москва». Но вот какой [рассказ] я услышала о ней из твоих уст.

«Мы идем с папой по Пречистенке, навстречу движется высокая дама в огромной шляпе. Рядом с ней — маленький, сухой, бородатый старичок. Папа почтительно кланяется им. Дама проплывает мимо, а старик останавливается, разговаривает с отцом. Взглянув на меня, спрашивает:

— Мальчик, ты веришь в Бога?

Но я в это время ковырял в носу».

Перед отъездом ты повел меня к Ала-Тау проститься с горами. Стоял и плакал. Когда тебя в следующий раз вызвали продолжать работу с Эйзенштейном, у меня жила ленинградская сестра Ида с дочкой Катей<sup>136</sup>. Была ранняя и для Алма-Аты необычайно холодная снежная зима. Мы уже не только голодали, но и мерзли без дров. Все стало по-иному. Илья Вайсфельд ушел на фронт. Меня перевели из сценарного отдела в диспетчеры. Я дежурила сутками, рано утром шла домой. Но по дороге становилась в очередь за хлебом. Постепенно прояснялось небо, но окружающий видимый мир был еще во мгле. И вдруг, неожиданно, расцветивался красками. Сразу четко вырисовывались очертания синих гор с белеющими на вершинах снегами, дома заливались оранжевым светом. Как мелки мои обиды, огорчения, раздражения по сравнению с этим чудом — внезапным преображением земли, ниспосланным — не знаю кем? — вероятно, Богом, — думала я каждое утро. И благословляла жизнь.

Перед твоим приездом (еще не наступила зима) на станции Чу скончался любимый ученик Эйзенштейна, художник и режиссер Валентин Кадочников<sup>137</sup>. «Он был, как песня русская, пленительно талантлив», — писал ты в поэме «Город снов».

Директор киностудии Тихонов<sup>138</sup> послал его руководителем заготовок саксаула, а вскоре направил туда и меня.

Жгучая пустыня, земля горит, воздух какого-то апельсинового цвета. Мне отводят палатку, дают талон в столовую. Я спрашиваю о Кадочникове, оказывается, у него тяжелое желудочное заболевание. Почему же он не едет в Алма-Ату, в больницу? Тихонов не разрешает. Наконец появляется Кадочников с измученным, бледно-желтого цвета лицом.

— Он что, с ума сошел, что вас прислал! — говорит он, увидев меня. — Идите к районному врачу и возьмите освобождение.

Мне объясняют, где поликлиника, врач дает справку и отсылает домой. Поезд уходит на завтра утром. Ночью нестерпимый холод. Я собираю обрубки саксаула и зажигаю костер. Вылезаю из палатки и всю ночь сижу у костра.

Одна во всем мире!

А там, за тысячи километров — война!

Рано утром приходит состав, и я со всеми вместе отправляюсь на погрузку. Причудливые, пугающие своим сходством с человеческим туловищем, тяжелые стволы саксаула надо поднимать с земли и бросать вверх, на платформу. А у меня не хватает сил удержать дерево в руках. Распоряжается Кадочников. Я вижу, что ему плохо. «Уезжайте, — говорит он. — Уезжайте». Красное солнце словно застлано дымом, воздух горяч, как кипятки: будто о страшном сне вспоминаю я станцию Чу и саксаул.

Вернувшись в Алма-Ату, сразу же направляюсь на студию, к Тихонову, кладу ему справку на стол со словами:

— Меня-то освободили, а Кадочников там умрет!

— Умрет, похороним, — отвечает директор.

Аудиенция окончена; Валентин Кадочников вскоре умирает на станции Чу.

Ты снова в Алма-Ате. Тебя пронзил мой рассказ. И ты посвятил Кадочникову множество строк в поэме «Город снов».

Освобожденные от фронта по болезни  
Вносили ящики различного размера,  
И между ними был забитый в доски  
Тот перевернутый в дороге гроб.

От этого ты стал мне еще дороже. Я не была коротко знакома с Кадочниковым, но его трагическая кончина на заготовках саксаула осталась в моем сердце, как рана, — навсегда.

В конце войны, возвратясь в Москву и бросив службу, живя впроголодь, я закончила Литературный институт и стала с огромным увлечением заниматься критикой. Сначала все шло прекрасно, Фадеев громогласно хвалил меня на собрании, «Октябрь» печатал по две статьи в одном номере, но потом... Моя статья о романтизме и реализме, в которой я критиковала фадеевскую «Молодую гвардию»<sup>139</sup>, вызвала бурю негодования. С легкой руки Бориса Бялика<sup>140</sup> ее ругали во всех журналах, газетах, на собраниях. Ругали в течение целого года! Я перестала эти статьи читать. Действительно, наивно было ждать, что начинающему

литератору позволят бранить роман первого секретаря Союза писателей!

Несмотря на потоки хулы, у меня не пропала охота писать. Еще в отрочестве я читала работы Белинского, как романы, меня притягивала критика, анализ произведений, с годами у меня развивалась потребность выразить свои мысли, свое мнение, найти в книге то, чего не увидели другие. Между тем самую микроскопическую мою мысль, если она не была общепринята, — вычеркивали. От моей рецензии требовалось лишь одно — чтобы было как у всех. Постепенно я сама стала стремиться к этому. И каждое свое высказывание подтверждать цитатами. Это делалось инстинктивно, вероятно, — от страха. Кто не знал в то время истории с моим другом Ильей Вайсфельдом, случившейся в сорок девятом году? Он процитировал Ленина без кавычек и без сноски. «Литературная газета» привела слова Ленина, полагая, что Вайсфельд от себя говорит, и обвинила его в махизме. Ведь они малообразованны, эти «ревнителы марксизма». Вайсфельд уже фигурировал в «черном списке», ждал ареста. Я встретила его в Союзе писателей, он направлялся к тогдашнему «вождю» Софронову<sup>141</sup> с томиком Ленина в руках. Пришлось «Литературке» публично признаться в своей ошибке<sup>142</sup>.

Но мне теперь противно читать свои статьи, где цитат больше, чем текста. И я потеряла всякий интерес к критической работе, своей и чужой. К тому же, если я раньше «искренне фальшивила», больше я не в силах лгать. Мне решительно не хочется писать.

Одной лишь мне? Конечно, пишут, но некоторые кладут в стол (когда-нибудь напечатают), другие — посылают за границу. Потому, что лучшие произведения литературы и искусства не издают, запрещают. Как например, гениальный фильм «Зеркало» Андрея Тарковского. По его, Тарковского, сценарию и Александра Мишарина.

Сколько унижений я натерпелась с каждой рецензией, сколько раз возвращали работу! Стою в редакции, известного критика принимают с почетом, а меня не замечают даже... А изданные в «Советском писателе» две книжонки цистерны крови мне стоили<sup>143</sup>!

Но, если глубоко вдуматься, они по-своему правы. Я не критиковала нашу власть. Боже сохрани, инстинкт самосохранения природой дан каждому. Более того, я действительно любила ее, долгое время верила ей.

Обиднее всего, что я разлюбила не только критику, но и вообще литературу. А я ею жила. Самым счастливым временем были

институтские годы, именно потому, что я беспрерывно читала, плакала и смеялась над книгами, переселялась в мир Пушкина и Лермонтова, Толстого и Достоевского, Стендаля и Сервантеса, Чехова и Хемингуэя... В Сухом Логе, во время эвакуации, я не только ходила по деревням менять платья на картошку, но вечерами просиживала в маленькой библиотеке, расположенной в сарае, читала, писала работы и посылала их в институт. А получив хвалебный отзыв, чувствовала себя истинно счастливой.

Но в советской литературе я все острее ощущала ее провинциализм. Можно ли сравнить наших писателей с Фолкнером, с Хемингуэем? Поэзия у нас была высокой, слов нет: Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Твардовский... И сейчас есть дивные поэты: Арсений Тарковский, Вознесенский, Ахмадулина... А проза? Так примитивно писали только в XVIII веке, когда в России началась литература. Русских гениев словно и не существовало, современные писатели у них ничему не научились, они остались где-то в стороне. Нашу литературу я всегда читала, преодолевая раздражение, а сейчас — с огромным трудом, за исключением нескольких произведений.

Что ж тут удивительного, если мои статьи и рецензии неохотно публиковали? Пусть я не была откровенна в своих взглядах и симпатиях. Наверно, чувствовалось, что я — чужая.

Более того, Володя, ты, «солдат революции», — тоже чужой. Ты вошел в «обойму», тебя упоминают в числе классиков советской поэзии, но на что только не шла Майя<sup>144</sup>, чтобы тебе хоть посмертно дали Ленинскую премию, — не дали.

Сколько подписей крупных писателей я собрала, просивших, чтобы Дом творчества в Переделкине назвали именем Луговского. Или хотя бы на комнате № 13, где ты в последние годы жил, писал «Середину века», «Солнцеворот», «Синюю весну», — повесили мемориальную доску<sup>145</sup>! Ничего не сделал Союз писателей!

В юности тебя увлекла романтика революции, это естественно, она и Блока увлекла. Но с годами ты увидел, к чему она привела. Но даже самому себе не захотел признаться, что от нее не осталось ни малейшего следа, ни дуновения ветерка и ни единого звука от музыки, которую призывал слушать Александр Блок. Ее заглушили гудки «черного ворона», грохот расстрелов невинных людей, ее задушило мещанство, старательно насаждаемое советской властью, и небывалый в мире бюрократизм. Тебе ли надо об этом говорить?

В Москве ты диктовал мне первые варианты некоторых поэм, составивших впоследствии «Середину века». Полулежишь на тахте с нахмуренными бровями и сочиняешь. Я переносуюсь в какой-

то странный мир, там все сказочно и вместе с тем реально, там звуки выстраиваются в стройный ряд и рисуют картины, там каждое слово значимо и богато.

— Ты присутствуешь при таинстве рождения поэмы. Запомни, — говорил мне ты.

Много горя ты мне принес, Володя, но то были дни, за которые я особенно благодарна судьбе.

Название книги «Середина века» было придумано потом, ты складывал поэмы в красную канцелярскую папку и называл ее «Большой Красный вариант». Никто не надеялся, что поэмы издадут. Ты передавал слова прочитавшего их Фадеева: «Твоя дочка Муха будет миллионершей». Видать, и он был уверен, что они останутся дочери в наследство и когда-нибудь, не скоро, выйдут в свет.

В твоих поэмах и тогда не было ничего антисоветского; «почерность» их состояла в том, что в них не воспевался коммунизм. Это был лирико-философский эпос, исполненный раздумий о времени. А вчера я слушала чтение с эстрады «Средины века». Тенденциозная композиция и чтение выпятили вставленное тобой при редактировании. Ушла музыка содержания и отчасти даже музыка слова. Я была так огорчена, что не дослушала до конца. В моих ушах гремело слово «коммунизм».

Издательство «Просвещение» выпускает мою книгу литературных портретов, в ней есть и твой. Она не радует меня, эта книга, я не могла в ней написать о том, что ты обманул. Мне хотелось, чтобы ее напечатали, чтобы дали денег. О, Господи!

Помню, как создавалась тобой «Сказка о печке» возле моей печурки, в которую ты ночью подкладывал дрова и смотрел на огонь. Ты посвятил эту поэму мне, но Майя после твоей смерти дважды в моем присутствии вычеркнула посвящение на рукописи.

Мы теперь дружим с Майей, на днях она позвонила по телефону и сказала: «Вы вот не христианка, но я вас считаю большей христианкой, чем других, — по вашей отзывчивости к людям. Сегодня у нас день прощения перед Великим постом. Простите меня, если я вольно или невольно причинила вам когда-нибудь зло». Я была растрогана. Могу ли я винить ее за то, что она отняла тебя у меня. Не она, так другая, много их было у тебя. Право каждой женить на себе неженатого, надо только уметь.

Я люблю Майю, несмотря на то, что она утомляет, на несходство наших характеров, стремлений, мечтаний. Она мне подарила много прекрасных часов. Вот и недавно, перед ее отъездом в Ялту, где она после твоей смерти встречает каждый Новый год у скалы, в которой похоронено твое сердце, мы по традиции

поехали на Новодевичье. Уже стемнело, ни одного человека, кроме нас. Памятники покрыты снегом, в небе тоненький серпик луны. Твоя величественно-горькая голова лежит на снегу. Майя зажгла красную свечу. Ее мерцающий огонек даже издали был виден. Мы выпили по рюмке привезенного Майей коньяку, брызнули на могилу, постояли и уехали...

Майя отлично научилась — вернее, заразилась от тебя — делать все романтичным.

Потом мы поехали на Немецкое кладбище, к Майиной сестре, Анне<sup>146</sup>. Там еще больше снега, он лежал на Аниной могиле: как «пуховый платок твоего снегопада»<sup>147</sup>.

Но то, что Майя на моих глазах зачеркнула дважды твое посвящение мне, — этого я не в силах простить. Ты снял все посвящения женщинам в книге, и Майе в том числе. Но кто дал ей право после твоей смерти что бы то ни было в рукописи менять?

Самой глубокой и сложной в «Середине века» я считаю «Сказку о сне». Это — пророческая вещь, она исполнена предчувствия гибели Вселенной. Ты старался это скрыть, завуалировать оптимизмом, обязательным у нас для каждого писателя. Но я не забыла, каким потрясением для тебя было открытие деления урана, каким встревоженным ты пришел ко мне, восприняв его как угрозу всему человечеству.

Однажды ты продиктовал мне завещание: «Я, Владимир Луговской, завещаю право на работу и истолкование моего, так называемого "Большого Красного варианта" поэмы, после моей смерти — Грудцовой Ольге, с теми людьми, которых я лично ей укажу». Потом сказал: «Пусть знают, что у меня было чувство юмора», — и велел написать: «Завещание это войдет в силу в том случае, если она, Ольга Грудцова, не будет без конца реветь после моей смерти. 10 января 1945 г.». И подписался — «Вл. Луговской»<sup>148</sup>. Редактировать ее, разумеется, впоследствии издательство поручило не мне.

Но как же ты был одинок тогда, если только мне мог доверить свою книгу поэм! Я спросила, каких людей ты мне укажешь, ты ответил: «Ахматову». Ты дружил с Анной Андреевной в Ташкенте, читал ей поэмы.

А помнишь ее вечер в писательском клубе, в Дубовом зале, — кажется, то было сразу после войны. Она вошла, и весь зал встал. Поистине то был королевский выход! Не ты ли мне потом рассказывал, что именно этот вечер разгневал Сталина и повлек за собой Постановление ЦК<sup>149</sup>? Это естественно. Мог ли Сталин допустить, чтобы вставали не перед ним, а перед кем-либо другим? Чужая слава тирану ненавистна. Вот передо мной лежит доклад

А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» в 1946 г. Он чудовищно звучит. Про Зощенко там сказано, что он проповедник «безыдейности и пошлости, беспринципный и бессовестный литературный хулиган». Ахматова же «не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой».

Это о великих русских писателях сказано! А разве не чудовищна реакция зала, заключенные в скобки ремарки «бурные аплодисменты», «одобрительный смех в зале»! Вот что делает страх!

А ведь Ахматова тоже умерла, Володя. Через девять лет после тебя, 5 марта 1966 года, хотя была значительно старше, чем ты. Последние годы она болела, неизменно изменилась, неизменно расплнела. Часто жила в Москве — у Ардовых, а иногда у кого попало, кто только мог и хотел ее приютить. Ее не стеснял бивуачный образ жизни у чужих людей. Ты ведь знаешь, какой отрешенной от быта была она. У нее даже не было письменного стола, стихи писала на коленях.

Умерла она в санатории под Москвой, в Домодедове. Представляешь себе, какое это было горе для всех. Я дружила тогда с Арсением Тарковским, он обожал ее, часто бывал у Анны Андреевны. Она тоже была очень расположена к нему (мне думается, даже немножко влюблена), считала его большим поэтом. После ее смерти Арсений написал цикл стихов, посвященных Ахматовой, он подарил мне автограф. Мне с ним было удивительно интересно и весело, до сих пор я отношусь к нему с нежностью, и мне жалко, что нас поссорила его жена, Озерская<sup>150</sup>. Она душевно вульгарный человек (хоть и переводчица), ты б с ней часа не мог прожить. Бедный Арсений — она его даже к Ахматовой ревновала. Тарковский позвонил мне и сказал, что с Анной Андреевной можно проститься в морге больницы Склифосовского. Два дня не прекращались телефонные звонки друзей и знакомых, потому что день и час прощания менялся. Официального сообщения не было. В Союзе писателей гроб не поставили, музей Маяковского хотел провести траурный митинг у себя — не разрешили.

В назначенный час я поехала в морг. Шел дождь и мокрый снег. Грязный двор, серая стена морга, несколько каменных ступеней наверх. В комнате для прощания в открытом гробу Анна Андреевна, похудевшая, почти такая, какой была в пору моей юности. Царственная посадка головы, «горбоносый антиохийский профиль, горький рот», как написал Тарковский<sup>151</sup>.

Перед гробом на коленях стоит вдова художника Бруни<sup>152</sup>, у изголовья склонилась Анечка Пунина<sup>153</sup>, рядом Мария Вениаминовна Юдина истово крестит Ахматову. Рыдает Надежда Яков-

левна Мандельштам, плачет незнакомый мне мужчина. Появляется Тамара Владимировна Иванова, ее сын Вячеслав<sup>154</sup>. Народ прибывает, мы выходим во двор.

Идет дождь и мокрый снег. Сиротливо стоят Вознесенский, Слуцкий, Самойлов, Межиров, молодежь... Приезжает Евтушенко на машине, проходит в зал, через минуту возвращается и уезжает. Появляются ленинградцы: Брауны, Николай Леопольдович, Мария Ивановна и Коля (впоследствии приговоренный к семи годам лагерей<sup>155</sup>).

Ардов открывает коротенький траурный митинг на лестнице. Выступает Лев Озеров, Эткинд<sup>156</sup>, Тарковский... От волнения Арсений говорит бессвязно, и не закончив, плачет.

Ардов объявляет: сейчас гроб оцинкуют («так полагаются») и самолетом повезут в Ленинград. С аэродрома в Никольский собор. Гражданская панихида состоится в ленинградском Союзе писателей, погребение в Комарове. Кто хочет проводить Ахматову в Ленинград, пусть садится в машину с гробом, кто хочет подождать выноса, пусть ждет, «остальные — расходитесь».

Мы остались ждать. Сидели втроем в твоей машине — Майя, Таня и я. А дождь все лил и падал снег. По сугробу рыхлого, мокрого снега шла высохшая, взлохмаченная старуха, в тряпье, с огромной сумкой в руках. Казалось, сама смерть идет в дырявых башмаках. Мы долго не отрывали от нее глаз.

Наконец вынесли забитый в деревянный ящик гроб. Во дворе осталась маленькая кучка людей. Гроб поставили в машину, провозжали Тарковский, Брауны, Эткинд, молодой поэт Найман, Эмма Герштейн<sup>157</sup>, Пунины... Машина тронулась, мы поехали вслед за ней.

На развилке повернули, отвезли Татьяну домой, а мы с Майей и вашим шофером в столовке на Краснопресненской заставе помянули Ахматову. Тяжело было, Володя, ох, как тяжело!

Жизнь часто представляется мне лестницей необратимых ошибок, заблуждений, разочарований, неоправданных надежд. Человек шагает по ступенькам, ему кажется — он поднимается ввысь. На последней осматривается — перед ним — яма и он стоит в отчаянии, потому что — без вины виноват.

Я думаю об этом на Новодевичьем, глядя на твою трагическую голову из серого камня, лежащую на могиле. Как она «унижительно горда»! — Этот орлиный профиль и горькие складки у рта! Зимой, когда в них скапливается снег, да еще в темноте, они особенно рельефны... Позади могилы монастырская стена, слышен звон колоколов и свистки проходящих невдалеке паровозов...

Черное небо, на нем звезды не то с жалостью, не то с насмешкой глядят на нас. Как прекрасна эта мертвая тишина.

Теперь на Новом кладбище похоронен Хрущев. Стоит памятник работы того же Эрнста Неизвестного, что и твой. Как бы ты поиздевался, сравнив свою голову с хрущевской, позолоченной, на узком высоком постаменте в абстрактном оформлении. Шея у него будто отрезана, и бородавка на щеке. Два мира, не имеющие решительно ничего общего между собой.

Эрнст Неизвестный недавно покинул Советский Союз. Сколько потерь, Володя, за это время, сколько потерь! Солженицын, Ростропович, Барышников, Неизвестный... Как говорил герой чеховского рассказа «Скрипка Ротшильда»: «Какие убытки! Ах, какие убытки!»

Я давно уже пишу тебе. О том, как жила до нашего знакомства, и когда ты был, и после тебя, когда тебя не стало. Но вся моя долгая жизнь, вероятно, уместится в одной небольшой книге. Это естественно, ведь я отбираю то, что пронзило, оставило глубокий след, сыграло роль в моей судьбе, остальное — отметаю, будто его не существовало.

А верно ли это? разве сидеть у окна, слушать шум ливня, смотреть, как растекаются лужи по асфальту, как ворона качается на фонаре, — это не жизнь? Что мы хотим от нее? Зачем мечаемся в поисках ее смысла? А что если высший смысл состоит в том, чтобы не искать его? Почему считаем, что жизнь дана лишь для самовыражения, что надо стремиться чего-то достичь, изменить ее, исправлять, преобразовывать? Берите ее такой, какая она есть, радуйтесь солнцу, журчанью ручья, запаху снега. Может быть, тогда мы узнаем, что такое счастье!

Разумеется, «философия» моя не оригинальна и скорее всего — неверна. В натуре человека заложено деятельное начало, в созидании — движение жизни, ее развитие. Растения, а не люди, живут так, как я проповедую. Но ученые дознались, что растения тоже думают и чувствуют. Разве мысль — это не действие? Не следует ли человеку первым делом учиться понимать деревья, цветы, траву? И стремиться постичь законы взаимосвязи природы и человека. У Арсения Тарковского есть строка: «Земное земному на земле полагает предел». Неужели окончательно недоступна человечеству разгадка самой великой тайны: смерти и бессмертия?

Наконец, почему не направляют люди усилия на то, чтобы научиться понимать друг друга? А что если здесь — спасение от зла? Огромную роль, вероятно, сыграет еще не открытая наука — телепатия. В душе каждого каждый сможет читать, как в книге.

Быть может, тогда исчезнут тайны, извечная между людьми вражда.

В твоей поэме написано: «Ты про себя забудь — и победишь»<sup>158</sup>. Забыть про себя — это редкостный дар, ниспосланный свыше. Но тогда ведь нет нужды побеждать. Не здесь ли скрывается благо? Сколько жестокого самодовольства в слове «победа»! Как неблагозвучно оно! Прекрасно пишет Цветаева: «Поэт всегда на стороне побежденного». Могут возразить — тогда на стороне фашиста, что ли? Но потерпевший поражение фашист уже не фашист, он просто несчастный человек.

В победно шествующем по земле человеку есть что-то от талквивающего, близкое к буржуа. А он мне ненавистен. Впрочем, как ненавистен и преуспевающий коммунист.

Казалось бы, преодоление препятствий несет с собой особую радость, удовлетворение, но для меня то, что добыто усилиями, в результате борьбы, не имеет цены. Может быть, потому, что меньше всего я умею бороться и при первой же схватке делаю все самой себе во вред. Не знаю почему, но добиваться чего бы то ни было я терпеть не могу. Один известный хирург страстно мечтал выиграть по займу сто тысяч рублей, у него спросили — зачем? ведь он и без того несметно богат. Он ответил, что заработанные деньги не доставляют ему удовольствия, он хочет «подарка судьбы». Как я его понимаю! Всю свою жизнь я тщетно ждала «подарка судьбы». Может быть, поэтому и не была счастливой.

Зато я искупала свою жизнь страданиями. Я бы сгорела со стыда, если бы жила счастливо в наш век, когда лучшие люди — самые талантливые, самые умные, самые благородные были унижены, растоптаны, уничтожены.

Я теперь старая, Володя, значительно старше тебя. Бывает, не думаю о тебе совершенно, а иногда вдруг слышу твой голос и ты — будто рядом сидишь. Иду недавно к Майе, смотрю на Третьяковку, освещенную фонарями, и вспоминаю, как сердце кололось, бывало, раньше, когда приближалась к твоему дому.

— Майя, мне стал часто мерещиться Володя, наверно, я скоро умру.

— Не говорите мне таких слов, Ольга, я этого не перенесу.

А ты, действительно, за несколько дней до этого вдруг явился передо мной. Стою на остановке троллейбуса возле Краснопресненского метро и вспоминаю: ты едешь от меня домой, я тебя провожаю. Мы ждем трамвая, но почему-то не как обычно у Никитских ворот, а здесь. Темно. Внезапно ты исчез, будто в воздухе растворился, смотрю по сторонам, жду... Наконец ты появ-

ляешься — из забегаловки — и садишься на край тротуара, вытянув ноги на мостовую. Что мне делать с тобой?

— Володя! Пойдем...

— Угу.

Ни с места.

— Встань, Володинька!

— Угу...

Ни с места.

— Во-о-в!

Ты спишь.

В отчаянии я умоляю, сержусь, угрожаю, что уйду, спрячусь, ты пугаешься, но увидев меня, снова засыпаешь. На ногах полуботинки, спустившиеся шелковые носки. «Он замерзнет! Он умрет!» — в страхе думаю я. Поднять тебя не в моих силах. Изредка проходят люди. Попросить кого-нибудь помочь? Но ведь это — позор! «Господи, если ты есть, помоги!» А ты спишь.

«День, как год», — поется в какой-то песне. Не день, а час «как год»... Наконец ты поднимаешься и виснешь на мне, огромный, тяжелый. Спотыкаешься, клонишься книзу. А я в смертельной тревоге — только бы опять не сел.

Переходим Кудринскую площадь (ныне площадь Восстания) — ей нет конца! Теперь самая большая опасность, мы идем мимо Союза писателей. Вдруг кто-нибудь увидит! Ах, какая нечаянная радость для твоих «друзей»: пьяного Луговского тащит женщина на себе! За что они тебя ненавидели? Ты никогда никому не причинил зла. Ты был красив, талантлив и жил, как хотел, — вот что раздражало.

— Володя, Союз писателей, попробуй идти сам.

Нет, чудес не бывает. И все-таки я дотащила тебя до дома, ты рухнул на мою тахту. Распростерся пьяный, но величественный, гордый.

Как я была счастлива, когда в комендантский час раздавался стук во входную дверь. Ты выстукивал палкой один и тот же мотив, и мгновенно исчезала ненавистная мне коммунальная квартира, весь мир покрывался разноцветными блестками, все мелкое, незначительное пропадало, все страшное отступало на задний план.

А однажды пришел и заплакал. Тебе передали, что Сурков в Литературном институте сказал: Луговской на фронте заболел медвежьей болезнью<sup>159</sup>. Как ты плакал! Мягкий, добрый, болезненно воспринимавший зло, ты не вынес грохота бомб, крови, тебя полуживого привезли с фронта. Всем простили спокойную совесть, с которой люди устраивались в тылу, ловкость, с кото-

рой добывали брони, ты же не обязан был воевать, но тебе не простили ничего. Не простили твоих ружей и сабель, выставленных вдоль стены в кабинете, твоих рассказов о борьбе с басма-чами... Они до сих пор считают, что ты их обманул. Где им понять, что ты сам в себе обманулся, и что это больше, чем ошибиться в другом! Кто из них подумал, что тебя сжигал стыд и что поэтому ты пил беспробудно. Они-то ведь никогда не испытывали позора, все они довольны собой.

Но сколько в тебе было детского! Я сказала:

— Володя, ведь только неинтеллигентные люди храбры, у них бедное воображение, они не восприимчивы, поэтому и смелые.

Ты сразу успокоился:

— Конечно! Наполеон ведь был неинтеллигентным.

Суший ребенок! И когда зло причинял, не ведал, что творил. Детская хитрость, детские обиды, детские мечты.

Гуляем в Александровском саду мимо Кремлевской стены. Ты показываешь мне окошко:

— Видишь, это окно Сталина.

Я, как дурочка, верю.

— Представляешь, он увидел нас и зовет: «Заходите, у меня есть замечательное вино». Мы приходим, на столе коньяк, заграничные вина разных марок и сортов...

Я вспоминаю свое детство. Мне было лет шесть, мама послала меня купить газету. Иду по Губернаторской улице в Минске и мечтаю: едет карета, в ней — царь. Карета останавливается, царь обращается ко мне: «Девочка, куда ты идешь?» Я отвечаю: «За газетой». — «Садись, я тебя подвезу».

Конечно, тебе этого не рассказываю, обидишься.

Однажды вдруг задаешь вопрос — кто бы я согласилась, чтоб умер — ты или мой племянник Эрик<sup>160</sup>. Я думаю.

— Ну, говори же скорее.

— Ты.

Рассердился:

— Еврейская тетя!

Господи, ведь Эрику было семь лет! Могла ли я ответить иначе?

По-детски сердился на Елену Сергеевну Булгакову<sup>161</sup>, на Фадеева. Укоряя — ведь он был твоим самым близким другом. «И мама его любила». Оказалось: «Продаст за копейку, выкупит за рубль». Сколько раз так бывало!

На днях перечитывала ахматовские стихи. Ее теперь издают, к счастью. Наткнулась на строку: «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем...», нестерпимо защемило сердце. В глазах

всплыла картина: мы идем по улице Герцена, ты провожаешь меня к Зине Троцкой. Лето, вечер, но еще совсем светло. Визжат трамваи. Наклонившись к моему уху, ты поешь негритянскую песню по-английски. Я улавливаю лишь отдельные слова и смысл. Он — черный, она — белая, «...между ними длинный, длинный мост». Он — на одном берегу реки, она — на другом. Ему не перейти этого моста... Их любовь обречена.

Ты поешь протяжно и печально, душа моя полна «таким невыразимым горем»...

Помню утро. Ты уходишь и, прощаясь, требуешь:

— Поклянись, что бы ни было, ты всегда будешь меня любить.

— Буду.

— Нет, поклянись.

В твою жизнь вошла уже Майя.

Иногда я думала, что ты самый счастливый человек на свете. Для тебя не существовало: нельзя, некрасиво, безнравственно. Живешь, как хочешь. Хочешь — пьешь, гуляешь, любишь женщин, сегодня одну, завтра другую... Хочешь — днем спишь, а по ночам пишешь стихи, читаешь книги, работаешь...

— Ты — кот, который ходит сам по себе.

— Конечно, а что ты думала?

Ты был из породы Пер Гюнта...

Ночью плачешь, а утром, проснувшись, во весь голос распевашь национальные гимны всех европейских народов. О, если бы утро продолжалось всю жизнь! — мечтала я.

По несколько дней не уходил от меня. Ты даже не знал, что, когда у меня было важное дело, я запирала тебя на ключ, пока ты спал. Домой бежала в неопишемом волнении — не случилось ли там чего-нибудь с тобой? Будто у меня в комнате заперт ребенок. Мне, действительно, казалось, что ты — гигантское дитя. Весь какой-то мягкий, с большими пухлыми ладонями. Но нет, ты не был беспомощным, умел добиваться того, что тебе надо, умел устроить свои дела, порой заискивал перед властью имущими. Нестерпимо мне было на это смотреть. Но ты сам страдал, когда унижался, и повторял: «самоуничжение паче гордости».

Я с удовольствием слушала твои рассказы о сиреневого цвета Париже, об Эльзе Триоле, о всегда немножко пьяном Хэмингуэе<sup>162</sup>, о твоей давней возлюбленной, умершей в Ялте... Ты описывал мундиры, которые носили военные в русской армии, разные чины в разные времена. И флаги каждого государства. И кто из великих людей как похоронен. Рассказывал про гроб Грига, качающийся над морем на цепях...

А сколько народных частушек ты мне пересказывал. Твой раскатистый бас гремел на всю квартиру: «...землю взрою». Ты совершенно серьезно уговаривал меня защищать кандидатскую диссертацию о нецензурных частушках.

— Я дам тебе уйму! Почти никому не известных... Пойми, какая дивная тема! Защита будет при закрытых дверях!

Я была счастлива и несчастна. Чувства гордости и унижения так тесно переплелись, что одного от другого не оторвешь. Ты со мной — я живу в волшебном мире. Не знаю, что прекраснее, день или ночь. Днем стихи, песни, сказки, по ночам так ласков и нежен, что хотелось умереть. Ты был настоящий мужчина, Володя. Современным мужчинам недоступно искусство любви, стремление доставить прежде женщине наслаждение, а потом уж себе.

Недоступно подлинно мужское общение с женщиной. Истинный мужчина старается сказать женщине приятное, похвалить, некрасивой говорит, что она красива, ведет себя со старой, как с молодой, чтобы не подчеркнуть ее возраста и не омрачить ей жизнь лишним раз. Современный мужчина боится женщине доброе слово сказать, точно она мгновенно потащит его с милицией в загс. Он всего боится — выйти на улицу с женщиной: кто-нибудь увидит и что-то подумает... Тебя никогда не заботило, кто что подумает, ты ни разу от меня не ушел, не заставив меня проводить себя, порой до самого дома. Наш теперешний мужчина бестактен с женщиной, иногда даже груб. Скорее всего — ради самоутверждения. Жажда самоутверждения превратилась у нас в болезнь.

Да это не удивительно. Когда человека на каждом шагу унижают, внушают, что он — хуже других, у него нет, например, званий и орденов, он стремится утвердить себя хотя бы в постели. Или хоть тем, что он в состоянии испортить чужую жизнь.

Современный мужчина — потребитель, даже в общении с женщиной он соблюдает закон: я — тебе, ты — мне. Это тоже отчасти естественно, таков порядок жизни в нашем обществе. Ты, Володя, не хуже меня знаешь, что в издательствах, например, в журналах — печатают только друг друга. И главным образом тех, кто занимается посты. Чтобы и от них какие-то блага получить. Я спросила как-то в «Юности», где на моих глазах отвергали прекрасные рассказы: «Что надо, чтобы вы опубликовали произведение?» Один из редакторов скептически ответил: «Быть членом правления Союза писателей, только и всего».

Ты несколько дней не приходишь, я терзаюсь — не любит, я ему никто, не скрывает, что есть другие женщины. И не только

Елена Сергеевна, с которой не то расстался, не то нет. Однажды заявил: «У всех евреек кривые ноги. Встань голая, я посмотрю, есть ли просвет между коленями... Чуть-чуть есть. А Люська встала, так у нее целый круг».

Над евреями ты часто насмеялся, рассказывал про них анекдоты, уморительно имитировал Михаила Голодного<sup>163</sup>: «Во-лодя, а Во-о-олодя, давай устроим афинские ночи, а...»

Вместе с тем, ты часто говорил, что евреи делятся на хитрых, ловких, жадных, «торговцы селедками» ты их называл, и на таких рафинированных, тонких, умных, что русским и не снилось. И ты страдал за вечно гонимый еврейский народ. У тебя даже поэма была об этом. Не знаю, где она теперь, осталась ли у Майи в архиве?

Во время так называемой «борьбы с космополитизмом» (ты был уже женат на Майе) вдруг позвонил и попросил срочно прийти к тебе. Майи («мадам», как ты ее называл) не было дома. Вот что ты мне сообщил:

— Только не рассказывай мадам. Если евреев будут выселять из Москвы, я на тебе женюсь. Ведь мы с ней не расписаны... Тебя тогда не тронут.

Я так растерялась, что даже не поблагодарила тебя. А теперь говорю: спасибо, Володя, за эти слова.

Вернусь, однако, к тому, что было прежде. Новый год. Я никуда не иду встречать. Вдруг ты забредешь! Телефон у меня во время войны сняли, сижу дома и жду. Ты, действительно, идя на встречу Нового года к Майе, зашел по дороге ко мне. Мы читали твоего любимого «Тилия Уленшпигеля», у тебя и стихи есть про пепел Клааса, как он стучит в груди Тилия. Выпили, поздравили друг друга, и ты простился со мной. А ночью опять вдруг появился с апельсином в руке! Это было совершенно неожиданно, — словно с неба упала звезда.

Ты был как наваждение. Сам говорил, что загнипотизировал меня. Я ни в чем не могла тебе отказать. Как-то среди ночи ты умолял меня достать тебе водку. А где ее искать? Еще идет война. В магазинах она и днем не продавалась. Вылезла из теплой постели на мороз и... нашла. У дворника, в каком-то подвале.

Иногда я спрашивала себя — чего бы я не могла сделать для тебя. Убить, украсть и доносы писать. Остальное все могу.

Но бывало и так, что я не выдерживала: плакала, злилась на тебя, а потом казнила. Нет большего мучения, чем недовольство собой! Оно меня преследует в течение всей жизни. Не то сказала, не так посмотрела, поссорилась с дорогим человеком, плохо пишу, глупо выступила на собрании, ничего не умею, нет у меня

никакого таланта... Больше всего я завидую людям, не испытывающим таких чувств!

Никто не может наказать меня строже, чем я сама себя за свою несдержанность. И нет границ моей благодарности тому, кто переступает через нее, понимая, что это мгновенная вспышка, а через минуту она пройдет. Помню, наговорила тебе грубостей, назавтра такой тяжести камень лежал на сердце, что позвонила и попросила прощения. А ты добродушно ответил:

— Да что ты! У нас столько вместе пережито, столько ведер водки выпито, я и внимания не обратил.

Как я была тебе благодарна!

Много времени спустя Левина жена<sup>164</sup> передала мне, что ты ей говорил, будто я истеричка, а ты боишься истерик, достаточно их повидал. Нет, я не истеричка, это от вспыльчивости я теряю рассудок и не знаю, что делаю, что говорю. А мне так хочется быть снисходительно-спокойной, выдержанной, скрытной. Я стыжусь своей откровенности, которую не в силах преодолеть, стыжусь всякого проявления темперамента, чувства... Мудры слова поэта: «Учитесь властвовать собой».

Соломон Михайлович Михозлс однажды спросил меня, почему ты не женишься на мне. Что я могла ему ответить? А в другой раз мы с тобой возвращались от Зины Троцкой, у нее были гости, Лева и ее знакомый инженер провожали нас до ворот. Ты пошел ко мне, а инженер спросил у Левы — как это можно жить с Луговским, он же пьяница и он — не муж. И моя старшая сестра Ида, которая очень любит литературные ассоциации, писала мне в письме: «Ты не дочь Мельника, и он не князь». Сказать бы им всем, чтобы не лезли в чужую жизнь, и посмеяться, а я страдала, не умела подняться над пошлыми пересудами за спиной.

Согласилась бы я вычеркнуть тебя из своей жизни? Ни за что. Ты был моей мукой, но и счастьем. Жизнью моей был. Сколько мы с тобой разговаривали о философии, литературе, психологии! Однажды даже запутались, и ты сказал: «Будем вдаваться в тонкости, потеряем суть». И велел записать. У меня лежит эта запись.

У тебя были странности, некоторые даже пугали меня. Например, спускаясь в метро по эскалатору, ты всегда стоял ступенькой ниже, лицом ко мне. Когда я спросила, почему ты постоянно едешь спиной, ты ответил:

— Не могу видеть, как навстречу люди ползут. Мне кажется, это черви.

Говорил, что терпеть не можешь беременных и не можешь продолжать жить с женщиной после того, как она родила. «Я не могу забыть, что из нее что-то вылезло». Милочкина<sup>165</sup> мать по-

этому уехала рожать в экспедицию. Не знаю, правда ли все это? Может быть, сочинял?

Вместе с тем, ты стремился всех возвышать. Про моего отца говорил, что он — библейский патриарх, а я — египтянка. Кто-то из моих предков «согрешил» с египетской царевной. О Майе рассказывал, что она происходит из боярского рода. Я встретила тебя с ней, когда вы еще не были женаты, на просмотре в Доме кино, назавтра ты спросил, понравилась ли она мне. Я ответила, что в моем детстве у нас была домашняя портниха, очень похожая на нее. Ты рассердился, лицо перекосилось, зубы стиснул. Но право же, у нее тогда был довольно простецкий вид. Это попав в литературную среду, она стала так эффектна.

Когда ты мне стал рассказывать о Майе? Сразу же, как только вы познакомились, но скрыл, что это было в вагоне метро. Она мне потом сама призналась, что первая заговорила с тобой. Описывал мне ее домик в Петровском-Разумовском, мужа-профессора. Однажды я тебя спросила, не собираешься ли ты на ней жениться. Ты сказал, что должно пройти какое-то время, ей надо подготовить мужа... Я не очень поверила в серьезность твоих намерений, ты столько мне рассказывал о встречах с женщинами в прошлом и теперь! И сколько там было фантастики! В Майе тебя пленяло, что она — сильный, волевой человек. «Она совсем не такая, как мы. Смелая, решительная, без терзаний». Ты почувствовал в Майе опору. Так это и было. Разве я могла бы так много сделать для твоего благополучия, как она?

Но на этот раз фантастика обернулась реальностью. Ты пришел днем, сел на тахту и заплакал.

— Вы все церемонились, а она взяла вещи и переехала.

В комнате стало темно. Ты еще что-то говорил, но я не слышала. Потом ты успокоился и рассказал, какой Майя роскошный ковер привезла тебе в подарок. Конечно же, ты был влюблен в нее, писал о ней стихи... Ты ушел, а я отправилась на станцию метро «Маяковская» бросаться под поезд. На этот раз я твердо решила: довольно, я больше не играю.

Моя душа устала, дальше писать не могу. Надо передохнуть...

Мне не дали броситься, служащая метро догадалась, схватила за руки и отвела в милицию. Оттуда не выпустили, пока я не сказала, кому позвонить. Примчался Лева и увез меня домой, вызвал тебя. Ты был испуган, я только плакала. Не о чем было говорить.

Спустя неделю я заболела. Лева с сынишкой Эриком зашли меня навестить. Войдя в квартиру, Эрик, со свойственной ему иронией, небрежно сказал:

— У тебя во дворе Луговской валяется.

Ты лежал на куче угля, сваленной возле дома. Лежал, раскинув руки. Мы втроем с трудом втащили тебя по крутой лестнице флигеля ко мне.

Ты пробыл у меня три дня, потом спохватился и попросил позвонить твоей домработнице Поле.

— Скажи, что твой брат встретил меня на улице пьяным и привел к тебе.

Я решительно отказалась.

— Не хочу, чтоб говорили, будто мой брат ловит тебя на улице и тащит ко мне.

Ты обиделся:

— А я не хочу, чтоб говорили, что твой брат нашел меня на помойке у тебя во дворе.

Когда ты в следующий раз явился, я ехидно спросила, как отнеслась молодая жена к трехдневному отсутствию мужа.

— Она лежала на кровати и плакала.

Она скоро перестала плакать, жила своей жизнью, как хотела, с кем хотела, радушно принимала твоих возлюбленных, а ты дружил с ее бывшим мужем, с ее любовниками. Наверно, только так и можно было жить с тобой. Но я бы не могла. Счастье, что ты на мне не женился.

«Не дай нам Бог исполнения наших желаний». Да, да, да, это правда, человек ведь не знает себя, не ведает, чем для него обернется осуществление мечты. Но тогда я этого не понимала, еще долго, не дни, а годы плакала и ревновала. Ты думал, что отношения наши будут продолжаться, — нет, на это я не пошла.

Ты улетел с Майей на юг.

Еще до женитьбы ты начал вести занятия в поэтическом кружке при университете и взял меня к себе литературным секретарем. На одном из собраний прислал мне записочку: «Германия капитулировала». Помнишь? Никто еще об этом не знал, у тебя были сведения из зарубежных источников. Эту великую радость мне не пришлось разделить вместе с тобой. К тому времени ты был уже женат. Ты только проводил меня до дома.

Потом мы встречались случайно: в Ялте, в Переделкине, где ты подолгу жил, как одержимый, писал «Середину века» и «Солнцеворот». Читал мне, советовался, жил тихо, иногда ходил в гости на дачу к Вс.Иванову, к Пастернаку... Не пил. Ты перенес два инфаркта. А раньше брюшной тиф. Тогда я навещала тебя в больнице, получив разрешение Майи. Провожавшая меня в саду к тебе в бокс медсестра успела сказать, что жена тебя спасла, они уже не надеялись на твое выздоровление. Какой ты страшный лежал! И рассказал мне:

— Я был уже мертв. Ты знаешь, что это такое? Длинный, длинный темный коридор, я иду по нему. Иду, иду... И вдруг — свет. Я ожил.

У Майи хранятся записи твоего тифозного бреда. Мне думается, для психологов они очень ценны. Но кому дело до человеческой психологии! Не случайно этот предмет многие годы был для преподавания запрещен. В противном случае я поступила бы в университет на отделение психологии.

Литфонд обещал тебе дачу, ты водил меня в Переделкине показывать ее и говорил:

— Я поселю тебя на даче. И буду привозить девушек тебе на просмотр.

Юрий Олеша<sup>166</sup> тоже часто там жил. Занятный он был. Рассказывал о своих школьных годах: «Учитель диктовал нам задачу: "Я дал одному мальчику пять яблок, другому три..." Мы дальше не слушали задачи, мы были возмущены несправедливостью учителя».

«Я люблю выйти из дому, не зная, куда я пойду», — говорил Олеша. И часто размышлял о непознанном. «Сны! Что такое сны?»

В юности я влюбилась в него, прочитав «Зависть» и услышав в Ленинграде, как он читал свою пьесу «Список благодетелей». Он был тогда в зените славы. Но потом она закатилась, его нещадно ругали в прессе, и он замолчал. Ты помнишь, в конце войны я работала в газете «Московский комсомолец», ты тогда вел у нас поэтический кружок. Я заказывала Олеше заметки о футболе, чтобы он мог заработать хотя бы гроши.

Однажды я встретила его на Ордынке недалеко от вашего дома, он шел в тряпичных тапочках, с красным шарфом на шее, с непокрытой головой. «Нищий, — подумала я, — нищий идет». Я вспомнила его выступление на Первом съезде писателей: «Я представил себя нищим... И вот, спустившись на самое дно, босой, в ватном пиджаке, иду я по стране и прохожу ночью... Я иду босой...»

Я не была на похоронах Юрия Олеси, рассказывали, что за гробом шли все официантки из ресторана «Националь», где он был завсегдатаем. Разве это не романтичнее, чем когда правление Союза писателей провожает в последний путь? А многие именно об этом мечтают. Зачем? Как они не понимают никчемность такого признания! Да еще у нас, где ценится вовсе не талант.

Сталин умер, Хрущев освободил заключенных, вернулась из лагеря моя сестра Ида, повеял ветер свободы, в Переделкине жила возвратившаяся из ссылки Соня Виноградская<sup>167</sup>. Ты познакомил

меня с ней и хотел, чтобы мы подружились. Она действительно была мила, тактична, женственна, писала прелестные рассказы о Ленине. Мы стали большими друзьями. Если бы ты знал, какую муку я переживала, когда она лежала на Каширской у Блохина! Стояла невообразимая жара. От станции метро я ехала на трамвае, он мчался, как поезд, а рядом неслись грузовики. Визжали рельсы, громыхали машины, ревели гудки. Мне казалось, что я обезумела, мое сердце стонало от боли, от шума и духоты.

Остановка у ворот института. Я иду словно на деревянных ногах по аллее, вся внутренне сжавшись, с балкона на меня смотрят больные. Я иду здоровая, а они — обречены. Иные изуродованные, с какими-то ранами на лицах. Я стыжусь своего здоровья и вместе с тем — в паническом страхе — что, если и мне это предстоит?

У Сони болят руки, она вся опухла от химии, которой ее пробуют лечить. Я приношу ей ягоды и отправляюсь мыть их в уборную. Возле раковины стоит женщина с огромным животом и подмывается рукой из-под крана. Меня охватывает маниакальный ужас, мне кажется, что рак в воздухе, во всех предметах, я боюсь дотронуться до крана, рак уже во мне... Я сгорала со стыда до тех пор, пока мне не сказала знакомая писательница, навешавшая Соню, что она больше не в силах идти туда, она потом просидела весь день в ванне. Мне стало легче — не только я, значит, труслива. Все равно, я виновата перед Соней, я должна была сама возить ей продукты, ухаживать за ней, а не посылать свою уборщицу. Соня была мне истинным другом, она искренне любила меня.

Бедная Соня! С каким юмором она рассказывала о тюрьме! О том, как в ее камере сидели две молодые немки, они потихоньку вытягивали из одеяла нитки и вязали кофточки. И неустанно расчесывали свои волосы, чтобы сохранить их красоту. Соня решила обучать немок русскому языку и попросила тюремное начальство купить им учебники. Однажды она проснулась от громкого смеха. Это немки хохотали на нарах, — им принесли учебники, и в каждом — портрет Сталина. «О, гроссе математик!.. О, гроссе грамматик!» Мы-то ведь не смели смеяться, мы ко всему привыкли, нам уже казалось естественным, что даже в азбуке на первой странице — «Он».

Соню я похоронила в своем сердце, когда она была еще жива. Я пошла с ней к врачу, ждала ее в приемной. Вошла жена профессора и сказала, что я напрасно жду, он все равно мне ничего не скажет, займется другими больными, надо завтра ему позвонить. В этот момент из кабинета вышла после осмотра Соня со слова-

ми: «Профессор просит вас зайти к нему». Мне стало ясно — надвинулась неотвратимая беда. Да, у профессора не было сомнений — безнадежный вид рака — яичников. Он все же попытается сделать операцию. Я почувствовала, Володя, что вся мертвею, и спросила — есть ли смысл? Может быть, не нужно лишних мучений? Профессор рассердился, стал кричать: «Человек обязан бороться за жизнь до последнего момента!» Мне и сейчас еще непонятно — почему? Мы возвращаемся с Соней по Арбату, я лгу, будто врач ничего определенного не сказал, предложил положить в свою Яузскую больницу, просил кого-либо из родственников прийти. Я вру, что-то еще говорю, а ее уже нет для меня на свете. Но она спокойнее, чем я, хотя все понимает.

Соня не легла в Яузскую больницу, а по совету своей сестры — в знаменитую, к Блохину. Кто знает, может быть, это была роковая ошибка. У Блохина ей не делали операции, мучили химией, пока она не умерла. Меня в это время не было в Москве, я уехала в Тракай, не отдыхать, как думала Сониная сестра, а нянчить ребенка, внука Иды, с которым она осталась одна. Я ей обещала, выхода не было.

Тракай! С нежностью вспоминаю его до сих пор. Очаровательный маленький, поэтический городок, со старинным замком... Мы жили не в городе, а на другом берегу озера в какой-то грязной халупе. Зато озеро подступало прямо к крыльцу дома. В город добирались на лодке. А сзади дома был огромный лес, в нем масса грибов. Приезжал ленинградский писатель Панич<sup>168</sup>, и мы ходили с ним по грибы, которые я любила собирать с детства. А сколько радости мне доставлял мой внучатый племянник Андриюша<sup>169</sup>, сын Идиной дочки Кати! Ему еще не было года, он только начинал ходить и лепетать. Крошечный, с огромными синими глазами, с темными ресницами длиной в полщеки, курносенький, ласковый... Он кричал ночи напролет, я носила его на руках, это хрупкое, беззащитное существо приносило мне счастье. Однажды ночью загорелся соседний дом, — вот-вот огонь перекинется на нашу избу. Мы с сестрой схватили ребенка, паспорта, деньги и выбежали на берег озера. Вокруг вода и огонь, некуда деваться... Страшно было, вместе с тем спокойно, как всегда, когда надо другого защищать. Откуда только душевные силы берутся! Пожар к утру потушили.

Существование Андриюши, которым я вынуждена была заниматься целыми днями (Ида готовила еду, а Катя работала в Ленинграде), отвлекало меня от боли, от моих обид.

Я и в следующие несколько лет ездила туда, где они жили на дачах, — под Даугавпилс, в Эльву... Мальчик рос, начал

разговаривать, восхищал меня своими забавными словечками, своей добротой, нежностью. Я даже написала рассказик про Андрея и опубликовала его в журнале «Дошкольное воспитание»<sup>170</sup>. Андрюша очень украсил мне жизнь в те годы. А Соня меня простила бы, я уверена.

Был XX съезд партии. В Союзе писателей на собрании читали доклад Хрущева, разоблачающий Сталина. Тягостно было слушать, тяжело понимать, что вся прожитая жизнь была напрасной, ее муки ничем не оправданными.

Но ты еще сопротивлялся. Помнишь, с какой яростью спорил с Фредерикой, которая ненавидела Сталина всю жизнь. Ты защищал его: «Что ж, значит, народ — дурак?»

Но ты уже забыл, как сам над ним потешался, цитируя «Любовь побеждает смерть», и рассказывал, какой переполох был в газетах: исправить им написанное никто не смел, это угрожало тюрьмой. Оставить «любовь» без мягкого знака — это выставить его безграмотность напоказ. Еще больше тебя возмущала фраза: «Эта штука сильнее, чем "Фауст" Гете». «Штука» — зло иронизировал ты.

Люди часто держатся за свои убеждения и симпатии только потому, что у них не хватает мужества признаться, что ошибались.

И вот твои последние дни в Переделкине. Никогда себе не прощу, что меня вдруг покинуло мое всегдашнее предчувствие. Гуляю в саду и слышу твой голос: «Ольга!» Ты высунулся из окна своей комнаты номер 13. Подхожу.

— Я уезжаю в Ялту.

— До свидания, Володинька.

Как спокойно я с тобой простилась, поцеловавшись через окно. Даже в комнату не зашла. Хоть бы на секунду промелькнула мысль, что вижу тебя в последний раз!

Назавтра утром гардеробщица протянула мне только что вышедший твой «Солнцеворот». «Любимому дружку Оленьке...»<sup>171</sup>

— Луговской вчера очень поздно пришел и просил вам передать.

О, Володя, ты понимал, какой ты близкий мне человек, несмотря ни на что, какой родной. Я тебе ничего о себе не рассказывала, но никто меня так хорошо не знал, как ты. «Ольга — это моя совесть», — говорил ты в Алма-Ате.

Я вернулась в Москву, живу спокойно, езжу в Переделкино в гости к Чуковскому, и вдруг доходит слух, что у Луговского в Ялте третий инфаркт. Каждый день звоню Поле<sup>172</sup>, она отвечает: «Плохо». Плохо, плохо, плохо и — конец.

Татьяна полетела в Ялту, они вместе с Майей привезли тебя, гроб стоял в Союзе писателей. Я с самого начала нашей дружбы предвидела, что мне предстоит пережить твою смерть. Может быть, потому, что ты сам об этом часто говорил. Мы с Майей залезли под крышку гроба и рассмеялись. Ты же просил, чтобы веселились, когда ты умрешь.

— Посмотрите на этот кухаркин венок, — сказала мне Майя.

Это одна из твоих последних девушек, косенькая, прислала огромный венок из искусственных белых цветов с лентой: «Милому Володечке от Наташи». Она стояла на эстраде возле гроба в перчатках до локтей и ломала руки. До тех пор, пока Таня не попросила ее уйти.

Что могло тебя привлечь к этой безвкусной девушке? Молодость? Преклонение перед тобой? Вероятно. Я вспоминаю, в Переделкине ты провожал нас однажды с Фридой на вокзал. Мы встретили Наташу, ты ей небрежно бросил: «Подождите меня здесь», — и ходил с нами почти что час.

Когда мы с тобой одновременно жили в Ялте в Доме творчества, перед своим отъездом ты попросил меня сложить твои вещи в чемодан. Мы разбирали кучу присланных тебе от девушек писем, читали, смеялись и рвали их. Но вот я начала читать тебе одно письмо, ты перебил меня: «Не надо смеяться. Она совсем еще девочка». Вероятно, это было Наташино письмо. Ты мне даже жаловался когда-то на Майю, что она устраивает тебе сцены из-за этой девушки. И необычайно жестоко произнес: «Никто в мире не может заставить меня жить в тюрьме».

Так это и было. Жил, как хотел, любил, кого хотел, и умер, как хотел, в своей обожаемой Ялте, где Майя похоронила твое сердце в скале.

Знаешь ли ты, что мой отец скончался через год после тебя, и в один день с ним — Фредерика? У них в квартире стояло два гроба. Легко ли было это пережить? Ночью приехала Майя со своей сестрой Анной. А теперь уже и Анны нет. Она умерла от рака. Майя — как только она одна умеет — долго выхаживала ее.

Ты не ушел из моей жизни и после смерти. Долгое время каждое событие в стране я встречала с мыслью, порадовало бы оно или опечалило тебя. Вскоре после твоей кончины в Москве состоялась первый всемирный фестиваль. Как бы ты восторгался изяществом европейских девушек в прелестных платьях, тогда еще нам недоступных! Как радовался бы колоритной одежде негритянок, кубинцев, эфиопок! С каким удовольствием гулял бы по прибранной, нарядной Москве! Я жалела, что ты не дожил до этого времени нашего приобщения к миру, прежде наглу-

хо запертому Сталиным для всех нас. Лишь один эпизод омрачил меня.

В сумерках площадь Восстания пересекали разукрашенные автобусы с участниками фестиваля из разных стран. Толпа приветствовала каждую машину, неслись возгласы: «Мир, дружба!» Мир, дружба! Но вот показался американский автобус. Наступила мертвая тишина. Мне стало стыдно, ведь сидящая в нем молодежь видела, как дружелюбно встречали других! Я выбежала на середину площади и замахала рукой. В ответ раздались ликующие крики, в открытых окнах появились веселые лица, машущие руки... Я ушла домой.

Я все пишу тебе. Это мучительное занятие. Я окунаюсь в прошлое, оно превращается в сегодняшний день, я вновь переживаю пережитое и порой мне хочется перестать вспоминать. Зачем терзать себя? Но я продолжаю писать.

Я смотрю на твои фотографии с надписями, на маленькую книжку стихов, на которой ты написал: «Сердцу моего сердца. В.Л. 1951»<sup>173</sup>.

А Корней Чуковский в 1966 г., не ведая о том, на книжке «От двух до пяти» сделал надпись: «Душе души моей Ольге Грудцовой».

Оба вы меня бросили. Оба заставили годами гореть на медленном огне. И обоих вас уже нет, а я зачем-то еще живу.

Когда погиб Михозлс, мы с тобой уже не встречались, а может быть, тебя не было в Москве. В этой трагической истории тоже часть моего сердца, и я не могу тебе о ней не рассказать. Ты помнишь, во время войны его посылали в Америку<sup>174</sup>, он много рассказывал, вернувшись, часто выступал. Привез Сталину шубу в подарок от тамошних евреев. Вручил ее Молотову — Сталин не принял его.

Михозлса убили в Минске, в 1948 году. Он поехал посмотреть спектакль как представитель Комитета по Сталинским премиям. Изобразили дело так, будто на его легковую машину случайно налетел грузовик. Между тем, в его мертвом кулаке был зажат клоч чужих волос. Видно, он боролся, сопротивлялся. Ася неоднократно пыталась узнать обстоятельства преступления, наконец тогдашний прокурор (и писатель) Шейнин<sup>175</sup> посоветовал ей по секрету никуда не обращаться, ни у кого ничего не спрашивать, молчать.

Я три дня просидела с Анастасией Павловной возле гроба в Еврейском театре. Три дня звучал реквием и непрерывным потоком шел народ. Очередь растянулась по бульварам до Петровских ворот, несмотря на страшные холода. Шли прощаться с вели-

ким артистом — русские, евреи, грузины, армяне, узбеки, татары, казахи, украинцы... Шли мужчины и женщины с детьми. «Смотри», — сказала какая-то русская женщина в платке и склонилась над открытым гробом ребенка, сидевшего у нее на руках.

В день похорон окрестные улицы были запружены людьми, траурный митинг долго не открывали — Фадееву не удавалось пробиться сквозь толпу. Сидели на крышах, кто-то, примостившись на трубе, играл на скрипке. Похоронную процессию сопровождал на мотоциклах милицейский эскорт.

Раны на лице Соломона Михайловича были искусно заделаны профессором Збарским<sup>176</sup>. Михозэл лежал в гробу такой же, как всегда, некрасивый, но вдохновенный. Художник и борец. Он был словно удивлен. Лежал в гробу и думал.

А теперь о Чуковском. Нет, я не буду тебе рассказывать, лучше приложу мое не отправленное к нему письмо:

«Дорогой Корней Иванович!

Вы часто жаловались, что в своих мемуарах, литературных портретах вынуждены приукрашивать людей. В нашей печати требуют иконописи, если речь идет о выдающихся личностях, от этой фигура теряет выпуклость — сетовали Вы.

Очень давно, в 1919 году в статье "Поэт и палач"<sup>177</sup> Вы не постеснялись сказать про своего любимого поэта, Николая Алексеевича Некрасова, правду. И о его постыдной оде Муравьеву-Вешателю, и о том, что они с Панаевой присвоили имение Огарева (оставленное жене), и что Герцен называл его "гадким негодяем" и "шулером", а Тургенев говорил: "Пора этого бесстыдного мазурика на Лобное место" и др. И что все это не умаляет таланта Некрасова и его искренней любви к несчастному русскому народу. Некрасов был двойственен, но не двуличен — утверждали Вы, объясняя его двойственность социальными причинами. Вы призывали смыть с Некрасова "бездарную ретушь, и тогда перед нами возникнет близкое, понятное, дисгармонически-прекрасное лицо — человека".

Вы всегда были и остались для меня непререкаемым авторитетом в литературе. К тому же моей натуре куда ближе правда, какой бы она ни была, чем конфетное изображение. А может быть, это у меня от отца — создавая фотопортреты, он никогда не ретушировал морщин, складок на человеческом лице, настаивая на том, что именно они придают ему красоту. В них — пережитое — радость, горе, — в них мысль, характер.

Вот я и хочу смыть ретушь с Вас, показать Ваше истинное дисгармонически-обаятельное лицо.

О, вы не "добрый волшебник", как пишут о Вас. Вы и добрый, и беспощадный, и широкий, и скупой, и откровенный, и лицевой. Вы, как Некрасов, — двойной человек. Да какой там двойной — Вы многоликий.

В этом я убедилась, живя в Вашем доме, в Переделкине, на даче Литфонда, в течение почти трех лет. Я прямо говорю — жила, хотя у меня не было ни стола своего, ни стула, ни кровати. Когда Вы оставались один, Вы помещали меня в бывшей комнате Марьи Борисовны, Вашей покойной жены, рядом с кабинетом, когда приезжал Ваш сын, Николай, там обосновывался он, а меня гоняли из одной комнаты в другую вниз.

Вы возмущались: "Зачем он приезжает? Разве он не понимает, что мне нужна эта комната для вас?", "Зачем они все приезжают?" Но Вы говорили это *мне*, сказать же кому-нибудь из своих не смели. Я тоже боялась, что скажете, и просила Вас об одном — не портить моих отношений с Вашей семьей.

Чужой опыт тоже чему-то учит. На моих глазах Ваша семья изгнала вернувшуюся из ссылки писательницу Елену Михайловну Тагер<sup>178</sup>, которую сама же пригласила жить у вас, после смерти Марьи Борисовны, чтобы была возле Вас хозяйка. Изгнали после нее Вашу племянницу Катю, вызванную из Ленинграда, чтобы она работала по специальности в построенной Вами и подаренной поселковому совету детской библиотеке, и распорядилась в доме. Изгнали, а она не уехала. Но дважды пыталась покончить с собой, травмилась. Жила без кухни, еды и питья. Жила вам всем назло.

И с жалобой на Катю в райсовет не обошлось без моей "помощи". Лида<sup>179</sup> послала меня на разбор этого дела. И я пошла, беспокоясь о Вашем здоровье. Как бы Катя своими самоубийствами не довела Вас до инфаркта. Не должна была я так поступать, хоть Катя злобный, мелкий человек. Никогда я не делала людям столько дурного, сколько тогда, когда общалась с Вами и Вашей семьей. Это все моя импульсивность, безрассудство, мне бы поучиться у Вашей секретарши Клары, она удивительно хитро умела оставаться в стороне, какой бы ни был в доме конфликт.

А почему я не сделала выводов из этого всего? Почему никогда в своей жизни не думала о последствиях того, на что шла? Зачем так тесно сблизилась с вашим домом, жила его интересами? Оттого, что Вы меня втягивали в них и мне очень хорошо было с Вами. Вы работали и требовали, чтобы я сидела рядом, читали каждую написанную фразу, советовались, исправляли ее. Я блаженствовала, окунаясь в творческую атмосферу, царящую в кабинете, ощущая в любом Вашем слове незаурядность, талант...

Я любила Ваш кабинет, полки с книгами, старинное, из карельской березы, бюро, которое Вы "грозились" оставить мне в наследство.

Вы постоянно просили меня сопровождать Вас на все Ваши выступления и во время прогулок: "Едем! Едем!.." Вы рассказывали мне о своем детстве, о женитьбе, о поездке в Норвегию, в Англию в молодые годы, о встречах с Горьким, Уэллсом, с Блоком, Маяковским, Куприным... Делились мыслями о Чехове, намереваясь о нем писать, а когда писали об Уитмене, твердили наизусть его стихи...

Вы "просвещали" меня, как сами выразились, готовили для меня книги, которые я должна была читать Вам вслух. Меня поражало, что, помня эти книги — большей частью мемуары — почти наизусть, Вы на редкость внимательно слушали. И дополняли написанное тем, что знали из других источников. А знали Вы много, в особенности хорошо сороковые и шестидесятые годы прошлого века. Много лет занимаясь Некрасовым, Вы так досконально изучили строительство железной дороги в России, что помнили, сколько кто давал чиновникам взятки, чтобы получить подряд. Вы будто сами тогда жили, ходили по петербургским улицам, разъезжали на извозчиках, посещали Английский клуб...

Ваш любимый писатель был Чехов. Вас покоряло в нем глубокое понимание человеческой сложности, лаконичная манера письма. "Другой написал бы пухлый роман о том, что он вместил в короткий рассказ", — говорили Вы, восторгаясь чеховскими образами, подтекстом. Коля однажды сказал, что Чехов не любил Лики Мизиновой. "Он не любил ни Лики, ни Книппер, ни одной женщины не любил. У него была такая сила ума, такая острота наблюдательности, что они мешали ему полюбить", — ответили Вы.

В тот год был чеховский юбилей. Вас всюду приглашали выступать. Вы никому не отказывали и всегда брали меня с собой — в Кунцевский рабочий клуб, в Университет, в ЦДРИ, в Дом писателей... Слушать Вас было одно наслаждение. Вас везде принимали прекрасно. Писательский зал был набит битком. Вы вдруг вышли из-за кулис в зал перед выступлением и растерянно оглядывались. Заведующая Вашей библиотекой в Переделкине, с которой мы вместе приехали и сидели в рядах, шепнула мне: "Он вас ищет, идите к нему". Я пошла. Вы действительно обрадовались и тихо сказали: "Так много народу, я испугался. Идемте за кулисы, причешите меня". Вы любили, когда я Вас причесывала.

В Вашем доме всегда говорили о Чехове, о Герцене и Гервеге, о Суворине и Короленко так, будто все они были Ваши близкие

знакомые, чья жизнь протекала на Ваших глазах. Я блаженствовала, слушая Вас.

И как я Вам благодарна за то, что Вы привили мне вкус к истории литературы, которую я плохо знала! И если я хоть немного научилась писать, это тоже Ваша заслуга. О, попади я в Ваш дом не пятидесятилетней, а двадцати-тридцати, я бы стала писателем. Вы заболели, случился приступ стенокардии. Вы послали за мной сына Николая и не отпускали от себя ни на шаг. Я читала Вам целыми днями, поила лекарствами, ставила горчичники, измеряла температуру, Вы не хотели никого больше видеть возле себя. Вы думали, что умрете, просили держать Вас за руку, из Ваших глаз лились слезы, но Вы уверяли: "Не думайте только, что я боюсь. Я знаю все биографии, я знаю, как кто умирал... Я отношусь к этому совершенно спокойно". А я дрожала от страха и торговалась с Богом, упрашивая Его, чтоб умерла лучше я.

Вы не позволили мне уезжать из Переделкина, когда по графику дежурств, составленному Вашей дочерью, меня должна была сменять жена Николая, Марина<sup>180</sup>. "Вам со мной скучно, вам надоело за мной ухаживать", — говорили Вы. Конечно, я оставалась. Лидия Корнеевна была недовольна, она хотела, чтобы я слушалась ее, а не Вас. Марина же упрекала меня в том, что я плачу, и в том, что берусь за Вами ухаживать, не имея детей, стало быть — опыта в уходе за больными. Но я спросила Вашего врача из Кремлевской больницы Зою Семеновну — не лучше ли к Вам пригласить специалистку, медсестру?

Она ответила: "Ему не нужна медсестра. Ему нужен человек, у которого болит сердце, когда оно болит у него".

Лида наказала мне звать ее, лишь только Вам становится плохо, но Вы запрещали. "Куда вы? Не отходите". Это раздражало Вашу дочь. Но могла ли я послушаться Вас? Ваше слово для меня было закон.

Вы выздоровели, но по-прежнему не разрешали мне ни на минуту покидать Вас. Даже на машинке печатать просили в Вашем кабинете, когда Клары не было, а нужно было что-то для Вас написать.

А теперь, скажу Вам по секрету, я бы не удивилась, если бы узнала, что своим родным Вы говорили, будто я по своей инициативе не отходила от Вас. Впрочем, не все ли мне равно, что Вы там им говорили! Я всю жизнь умаляла свое значение, никогда не была уверена в том, как относится ко мне тот, кого я любила, но не могла не чувствовать, что Вам со мной спокойно и хорошо. Это было слишком явственно видно для всех. Так явственно, что чужие люди мне говорили, чтоб я постаралась скрыть это от

Ваших детей. Сколько раз Вы повторяли: "Олечка, Олечка, мне с вами так легко. С вами можно обо всем говорить. Вы все понимаете без слов. Я не успею подумать о ручке, вы мне уже несете ее".

Некоторые считали, что Вы меня эксплуатируете, они не понимали, что для меня не было большей радости, чем знать, что я Вам нужна. Не однажды Вы сами меня упрекнули: "Нельзя так отдавать себя другому человеку. Ведь из вас можно веревки вить". Да, да, да, Вы были двойственный человек, Корней Иванович! Иногда Вы бывали и со мной резки, и мне хотелось уехать, но я не могла оставить Вас одного. И я не хотела Вас, старого, больного, волновать. Я терпела, проходил день-другой, и Вы снова становились ласковым, повторяли, что нет предела Вашей нежности ко мне.

Когда-то давно у Вас работал секретарем ставший потом известным драматургом Евгений Шварц. После своей смерти он оставил записки. Он писал, что Вы чувствовали потребность кого-то ненавидеть и кого-либо унижать. Вы по очереди ненавидели всех членов своей семьи, щадили только маленькую, больную Мурочку. Евгению Львовичу Вы давали заведомо невыполнимые задания и радовались, когда ему не удавалось их осуществить. Я тоже не раз была свидетельницей того, как уничтожительно Вы говорили о том или ином человеке.

Вместе с тем, Вы с не меньшим удовольствием помогали людям. Искали кому-то дачу, хлопотали о прописке, о квартире, доставали лекарства в Кремлевской аптеке, читали чужие статьи... Вы искренне волновались, примут ли меня в Союз писателей, звонили профессору Гудзию<sup>181</sup>, предлагали мне взять у Вас рекомендацию. Но я сочла это неудобным и попросила у Николая Корнеевича.

Вы часто каялись: "Я ночи не сплю от того, что вспоминаю свои подлости". А жена Гудзия сказала мне: "Никто не знает, сколько добра делал людям Корней Иванович".

В день Вашего восьмидесятилетия я покупала газету в киоске. Рядом стояла посторонняя женщина, заметив статью о Вас, она проговорила: "А! Это о Чуковском. Фальшивый человек!" А телеграфистка, принимавшая у меня телеграмму с поздравлением, сказала: "Чуковскому! Какой прекрасный человек!"

— Вы его знаете? — спросила я.

— Нет, но он так любит детей!

И то и другое было правдой. Все зависело от Вашего настроения, от мыслей и чувств, которые мгновенно сменяли друг друга. Вы сами говорили: "Я никогда не знаю, что сделаю через минуту". И не могли знать, потому что в Вас жило множество людей.

Они даже не боролись друг с другом, как это нередко бывает с человеком, — они мирно сосуществовали.

Вы любили бичевать себя: "Мой первый импульс плохой, добро я делаю пораздумав". В действительности было наоборот. Вы с поразительной живостью и добротой откликались на горести людей, старались поддерживать их, похвалить, ободрить, а потом на себя же досадовали. Как-то написали восторженную статью о маршаковских переводах Бернса, а на следующее утро заявили:

— С какой стати я его так расхвалил? Он старался восстановить против меня Горького...

И умерили свое восхищение в статье.

Вам был любопытен каждый человек. Вы рассказывали, что в молодости, когда ехали в поезде, не могли успокоиться, пока не перезнакомитесь со всеми пассажирами во всех вагонах. В моем присутствии Вы ежедневно ходили в Дом творчества, вглядывались в каждого писателя, беседовали с ним, слушали стихи, многих приводили в дом...

Вместе с тем, Вы не любили людей. Даже своих детей. В начале нашей с Вами дружбы я спросила, помогают ли они Вам жить. Вы взвизгнули:

— Помогают? У них даже органов таких нет! Они только берут.

Это было несправедливо, и я не раз говорила Вам об этом. Но Вы сердились и кричали:

— Я лучше знаю!

Однажды Николай Корнеевич спросил у Вас, можно ли пожить его сыну, Вашему внуку Мите, в Переделкине во время школьных каникул...

— Что ты спрашиваешь?! Конечно! — ответили Вы.

Вы хорошо относились к Мите, но через некоторое время пожаловались мне:

— Митя живет себе спокойно, словно это — его дом.

Я возмутилась:

— Корней Иванович, ведь Коля спрашивал разрешения. Вы пригласили Митю.

— Он пять кусков сахару кладет в чай.

И скупость Ваша была какая-то двойственная. Порой считали, сколько гость хлеба съел за столом, вместе с тем не пожалели тысячу на детскую библиотеку, повторяя: "Я должен отдать детям то, что у них взял". Устраивали для окрестных ребят дорогостоящие костры. У Вас были отложены деньги для возвращающихся из лагерей.

Ваши домашние говорили, что единственным человеком, которого Вы любили, была Марья Борисовна. Я ее мало знала, да и всю Вашу семью, кроме Марины и Коли в давние времена. Но после смерти Вашей жены постоянно от Вас слышала: "Марья Борисовна была красавица", "Это Марья Борисовна распорядилась сделать такую замечательную дорожку в саду", "Она была честный, прямой человек", "Если бы Марья Борисовна понимала, что все мои измены не имели никакого отношения к ней!" И когда Вы болели: "Куда это все девается? Куда ушла Марья Борисовна?" Однажды при сильных болях в сердце, сказали: "Это мне в наказание за Марью Борисовну, она лежала больная, а я к ней в комнату почти не заходил".

Жена была парализована к концу жизни, Вы организовали хороший уход за больной, но видеть ее избегали, это причиняло Вам боль. О, Вы на редкость старательно оберегали себя от всего, что могло Вас хоть каплю огорчить. На какие только хитрые сделки со своей совестью Вы не шли ради этого...

Вы обожали Пастернака, преклонялись перед его талантом, но когда Лида сообщила Вам, что он скончался, Вы пожаловались мне на нее:

— Могла бы до завтра подождать. Я бы сегодня спокойно работал.

Мне казалось, Вы даже рассердились на Бориса Леонидовича за то, что он умер и заставил Вас горевать. Опасаясь расстраиваться, особенно перед сном, оттого, что Вас нещадно терзала бессонница, Вы не читали вечерней почты, не подходили к телефону и т.п. О, мне нередко приходилось наблюдать, как Вы охраняли свое душевное спокойствие, не стоит об этом писать, Вы даже книги с плохим концом, как малое дитя, не хотели читать. А когда я удивилась Вашему пристрастию к оптимистическим произведениям, Вы ответили:

— Когда Вам будет 80 лет, Вы тоже будете не любить трагических вещей.

Может быть, Вы правы, мне нет восьмидесяти лет, но я теперь тоже предпочитаю не знать того, что может меня огорчить. Но в искусстве по-прежнему люблю трагическое, потому что трагична жизнь.

Я прекрасно видела все Ваши недостатки, но слишком снисходительно относилась к ним. Вероятно, это и есть любовь.

Однажды Коля захворал. Я хотела дать ему лекарство. Вы спросили:

— Что вы ищете?

— Аспирин для Коли, он простудился.

— Не надо, не давайте.

— Почему? — удивилась я.

— Вы же за мной ухаживаете, если будете за всеми — мне неинтересно.

Николай Корнеевич кашлял всю ночь.

Больше всех Вы критиковали сына. Разумеется, за его спиной. Вместе с тем с живым интересом беседовали с ним о поэзии, об истории, слушали его рассказы о новейших научных достижениях... Он был удивительно эрудирован, даже шире образован, чем Вы. И, конечно, Вы были привязаны к сыну. Мне запомнился Ваш разговор с ним о "Возмездии" Блока.

— Ты посмотри, как это совершенно, — говорили Вы. — Одна строфа делится пополам, где это надо, другая идет целиком в одном ритме. Каждая разнообразна, у каждой свой ритмический рисунок. И как в музыке, когда ждешь следующую ноту, именно эту, так и здесь предугадываешь ритм.

— В том-то и беда, что у нас стиховедение находится на самом примитивном уровне, — подтвердил Николай Корнеевич. — Если бы ты, со своим слухом к стиху, сформулировал все, что ты слышишь и понимаешь!.. В нашем стиховедении даже терминологии соответствующей нет. Я уверен, что в музыке все поддается анализу. В поэзии то же самое, что в музыке, но тот, кто знает поэзию, не знает музыки, а кто знает музыку — не знает поэзии... А ведь вот что происходит: синтаксис, грамматический строй фразы (это неверно, что слово выражает мысль, мысль выражает фразу) ложится на метрику, это и создает ритм, движение: "Я послал тебе черную розу в бока-а-ле-е..."

— Верно... — радовались Вы и, подталкивая меня под локоть, шептали: — Слушайте, слушайте.

Я не только слушала, я упивалась вашими беседами с сыном о Блоке, Пастернаке, Заболоцком... Но странно, Вы с тончайшим слухом воспринимали звучание слова, ритма, но музыки в ее чистом виде не любили, не слушали, скушали. Непостижимо, как совмещались противоположности в Вас. Они проявлялись на каждом шагу — в восприятии мира, искусства, в быту.

Общение с сыном доставляло Вам явное удовольствие. Но когда я передала Вам слова Николая Корнеевича, что прежде он не так сильно любил Вас, а теперь — больше всех на свете, Вы искренне рассмеялись:

— Ка-а-к? Остальных еще меньше?

Нет, понять Вас можно было только в данный момент, в следующий — Вы были уже другой человек. Ваш врач Зоя Семеновна, обследовав Вас, собралась уезжать. Вы стали упрашивать

ее побыть еще. Пригласили погулять по саду и меня позвали. Читали ей стихи, а когда она взяла Вашу руку, чтобы пощупать пульс — не участился ли он во время прогулки, — Вы произнесли пышную фразу: “Даю Вам руку и сердце“. Вы долго уговаривали ее остаться обедать, но после ее отъезда, сидя за столом, возмущались ею:

— Что это за врач? Ее, может быть, больные ждут, нужна ее срочная помощь. А она здесь гуляет в саду.

Этого я уже не могла стерпеть.

— Вы же сами ее умоляли не уезжать! Чуть ли не в любви ей объяснялись! Зачем же вы так?

— Разве? — с невинным видом удивились Вы. — Я просто думал, что ей хочется побыть на воздухе, отдохнуть...

Может быть, Вы Лиды испугались? Она критическим оком глядела на Вас. Вы часто говорили: “Я Лиды боюсь. Она такая важная!“ А Марина мне все повторяла: “Как он Лиду ни ругает, он делает все, что она хочет“.

У Вас менялось отношение к людям, книгам, явлениям десяти раз в день. То восхищались человеком, то презирали его, то опять восторгались. Вам нравился писатель. “Он замечательно пишет! Какой прекрасный язык!“ И через час: “В повести нет ритма. Он что, глухой?“ Вы решительно отвергли, например, книгу Борового “Путь слова“<sup>182</sup>, делаясь своим мнением со мной, а потом послали ему хвалебный отзыв. В одном из своих писем ко мне Вы уверяли: “В своих писаниях я вижу одни ошибки, одни изъяны и признаю в них единственное достоинство — искренность“. Да, в те часы, когда Вы писали свои статьи, Вы были искренни. Когда-то, очень давно, Леонид Андреев, живший, как и Вы, в Финляндии, прозвал Вас “Иуда из Териоков“. Вы слушали его пьесу, восхищались, а затем появилась изничтожающая ее Ваша статья.

Но Вы не были Иудой, самые противоречивые мнения и суждения об одном и том же предмете преспокойно уживались в Вас — вот в чем была Ваша страшнейшая беда. Я жалела Вас за это, вот ведь, думала, — как это, наверно, тяжело.

Вы признавались:

— Марья Борисовна была права, когда говорила, что я — проститутка. Пойду, бывало, в “Речь“, слушаю, что там говорят, и совершенно согласен. Иду в другую газету — там все иное говорят, я соглашаюсь с ними.

У Вас менялось отношение даже к самому себе. Конечно, Вы знали, что талантливы, самобытны, образованны, но нередко говорили: “Никакого таланта у меня нет, я беру трудом“, “Уве-

ряю вас, что не считаю себя умным“, ”Я — паяц“, ”Я — преступник“ и т.п.

Вы гордились своей повышенной сексуальностью и вместе с тем стыдились ее. ”В молодости, после напряженной работы в газете, все журналисты шли кутить в ресторан, а я — к жене кого-либо из них“. Вы мне рассказывали о своих многочисленных связях с женщинами. Но однажды покаялись: ”Я всю жизнь думал, что это лакомство. В действительности это не так“.

Вы были уверены, что без сексуальности нет таланта, что в ней источник творчества, боялись, что Пастернак после операции предстательной железы перестанет писать. Вместе с тем, Ваша сексуальность Вас унижала, заставляла искательно вести себя, более того — порой недостойно, греховно, выражаясь евангельским языком. Не здесь ли скрывались причины Вашей двойственности?

А может быть, в Вашем происхождении? Мать была прачка, дочь крепостного, красавица, умница, отец — инженер, еврей. Вы скрывали его национальность и до революции и после. Даже мне говорили, что он был сын помещика, но есть люди, которые знали его.

Незаконнорожденный, исключенный из царской гимназии, ”кухаркин сын“, вместе с тем талантливый, влюбленный в поэзию, — несомненно, у Вас с детства был комплекс неполноценности. Не из-за него ли была Ваша подозрительность, стремление унижить людей? Вы боялись, что о Вас плохо скажут, и старались заранее плохо сказать о другом. Я как-то спросила Вас об этом, и Вы признались, что я права.

Вы часто повторяли еще одну фразу: ”Мое добро всегда оканчивается злом“. Это верно, всех, кого Вы приласкали, к кому были внимательны, в конце концов жестоко оскорбляли. Вы умудрились даже обидеть в день ее последнего приезда в Переделкино мою кроткую сестру Фредерику. А после ее смерти казнили и прислали мне письмо: ”...никогда не забуду поэтической, милой, светлой Фредерики, которая всегда вызывала во мне почтительное восхищение — свой душевной чистотой и трагичностью своего бытия». Но что сделали Вы — могущественный писатель, — восхищаясь ее ”благородными по форме“, ”изящными“ (как Вы писали) стихами, чтобы облегчить ее ”трагическое бытие“?

Самобичевание было в Вашей натуре. Однажды Ваш сын правильно сказал, что человека характеризуют не только поступки, слова, но и мечты. Когда он вышел из комнаты, Вы сознались:

— Коля говорит — мечты. А я всю жизнь мечтал об одном: чтобы вышла моя статья и мне заплатили деньги.

О, Вы любили деньги, Вы не верили, что существуют бескорыстные люди, подозревали в корыстолюбии всех, вплоть до своего сына и дочери. Но и без работы Вы жить не могли. Сами о себе говорили:

— Я — рабочая машина. Для меня никто и ничего не существует, кроме работы.

Вероятно, работа давалась Вам легче, чем отношения с людьми. Вы всю жизнь ссорились с друзьями, порывали. А работали с наслаждением, вставая с постели чуть свет и сидя за письменным столом допоздна. Иногда Вы впадали в отчаяние: "Я старый... Я разучился писать... Я никуда не гожусь..." Лида рассказывала, что такое с Вами случалось и в сорок лет.

С особенным удовольствием Вы писали "Серебряный герб". Это естественно, ведь в этой повести для детей Вы рассказывали о себе. А себя Вы любили и старались разгадать до последних дней своей жизни.

— Утром, как проснусь, подумаю, что буду об этом мальчишке писать, веселее жить делается, — говорили Вы. Ваша откровенность трогала меня.

О каждом слове в этой книге Вы советовались со мной и порой острили:

— Ну, вспоминайте же, вспоминайте, что еще со мной было тогда.

Но однажды, после моего двухдневного отсутствия, Вы мне сообщили, что Марине не понравилась книга. И Вы подозреваете — потому, что все будут знать, что Вы — незаконный сын прачки.

Я пишу Вам это письмо, Корней Иванович, и вдруг слышу по радио Ваш голос. Вы читаете детям стихи, рассказываете о подаренных Вам японских игрушках, о говорящем льве: "Он симпатичный лев... Он добрый лев... Он спрашивает: 'Я — царь джунглей?' Он не хочет быть царем... Он любит детей... Вы слышите, он по-английски сказал: 'Я люблю детей'..."

Певучие, обволакивающие интонации... Ведущий говорит, сколько добра Вы принесли детям, если его сложить, получится дорога до самой Луны! Все так. И обаяния в Вас была бездна. Почти все, кто с Вам общался, были очарованы Вами, так же, как я. И все было в Вас неожиданно — вдруг бегаете, прыгаете в свои 75 лет, жонглируете палкой, кричите на всю округу: "Го-го-го-го!" Внезапно делаетесь тихим и грустным. Таким я любила Вас больше всего. Никогда не забуду, как к Вам приезжала одна из дочерей Богдановича<sup>183</sup>. Вы писали об этой семье в очерке о Короленко. Были предвечерние часы. Вы сидели с ней в саду под деревом, на скамейке, и вспоминали ее детство и Вашу молодость.

Потом я проводила ее до калитки и вернулась к Вам. Вы были задумчивый, печальный. И стали тихо рассказывать мне о тех годах.

Ваши остроты тоже были всегда неожиданны. Лежите с приступом стенокардии, говорите о смерти, чуть становится легче — сочиняете шуточные стихи:

Приезжал профессор Вотчал<sup>184</sup>,  
Долго голову морочил,  
Приходила тетя Зоя,  
Говорила: параноя,  
Приходила тетя Лида,  
Говорила: аскариды.

И еще:

Никому я не позволю  
Обижать родную Олю,  
Сам натешусь над ней вволю,  
Но другому не позволю.  
Только маршалу де Голлю  
Одному лишь соизволю  
Обижать родную Олю.

Иногда после завтрака, вместо отдыха, Вы затевали игру в словечки. Один задумывал слово, писал первую и последнюю буквы, а в середине черточки. Все по очереди должны были отгадывать остальные буквы, замененные черточками. Тому, кто ошибался, сооружали виселицу на бумаге. Как это ни парадоксально, в этой детской игре Вы выдавали себя с головой. Как ребенок, волновались, если не знали буквы, подмигивали мне, подталкивали, я Вам подсказывала, и Вы ликовали. А назвав неправильную букву, говорили: "Это я нарочно сказал. Хотел посмотреть, как вы будете виселицу рисовать". Если с нами садился играть Коля, — а он мгновенно угадывал слово, — Вы вставляли из-за стола, заявив: "Безобразие! Столько времени тратим на ерунду!"

Педантичный характер Лидии Корнеевны тоже сказывался в игре. Она подготавливала заранее целый список слов, которые собиралась загадывать, и очень сердилась, когда я Вам подсказывала, словно речь шла о каких-то серьезных вещах. Но стоило Лиде отвернуться, — Вы подсматривали в ее список, а после конца игры, в ее отсутствие ею же возмущались:

— Мы ее открыто обжуливаем, а она ничего не замечает!

Помните, как к Вам на балкон рано утром взобрался по дереву Ваш внук Женя. Вот какой у Вас с ним произошел разговор:

— Дед, у меня родился сын.

Вы сказали:

— Поздравляю! Сколько?

— Пятьдесят. На пленки.

— Хорошо. Только моей крови там меньший процент, чем Дмитрия Дмитриевича. Он — дед, а я — прадед. Скажи ему, чтобы он большую часть забот взял на себя...

— Хорошо.

— Надо послать розы Гале.

— Старик Нилин еще спит, пойду нарву у него в саду.

А как Вы веселились на кострах вместе с детьми! Помню, одна писательница предложила ребятам хором прочитать Вашего "Мойдодыра" и спросила: "Кто лучше всех знает эту сказку?"

Вы истошным голосом закричали: "Я!!!" Это было так внезапно, так смешно!

Остроумны были Ваши насмешки над Катей еще в те времена, когда у Вас были хорошие отношения с ней.

— Когда-нибудь выйдет книга: "Тетя Николая Чуковского".

Представляете себе произведение: "Тетя Достоевского"!

Впрочем, это была издевка не только над Катей, но и над Колей. А как Вы потешались надо мной! И тут же говорили:

— Смотрите, сама смеется больше всех.

А приказы по дому, которые Вы издавали своим "подчиненным дамам". Один из них и сейчас хранится у меня, вместе с Вашим рисунком, подписанным "И.Репин", с письмами, с тетрадкой, в которой Вы писали мне английские слова и перевод.

И как нам весело было читать Ильфа и Петрова, Марка Твена! Даже Лидия Корнеевна говорила, что радуется, слыша наш смех наверху. Но это было в первый год моего пребывания в Вашем доме. Она тогда еще не считала, что оно затянулось.

В работе для Вас самое главное было — открытие. О, как Вы боялись повторять других. Отсюда происходила и парадоксальность, отличающая в молодости все Ваши статьи. Вы были страстным полемистом, каждая Ваша работа вызывала бурю споров, одни взახлеб хвалили, другие беспощадно осуждали, но буквально всеми, начиная от Блока, был признан Ваш незаурядный талант. После революции Вы стали работать серьезнее, но по-прежнему в каждой статье было что-либо новое, никем не найденное до Вас. Вы просто не умели видеть, как видят все, это было самым прекрасным в Вас. Я не очень люблю Ваши старые статьи, хотя они в свое время снискали Вам широкую известность. В них масса блеска, но мало глубины. Зато Ваши последние очерки, литературные портреты, эссе, книга о Чехове — кажутся мне непревзойденными. Они с интересом читаются, написаны прекрас-

ным языком, образы писателей раскрыты в их диалектической сложности.

Вот что еще интересно — о ком бы Вы ни писали, почти в каждом просвечивает Ваша личность. Именно поэтому Вы не только литературовед, но и художник. В течение всей своей жизни Вы неоднократно переделывали одни и те же работы — о Некрасове, о Блоке, об Уитмене и др. С годами несколько менялись образы Ваших героев, потому что менялись Вы.

Часы, когда Вы не работали, Вы считали пропащими. Придет кто-нибудь, Вы рады, а уходит: "Сколько времени зря потерял. Мог много страниц написать!" Вы и от других требовали неутомимого труда. Сердились, если я шла на именины: "Или вы светская дама, или литератор — одно из двух". К чужой работе Вы тоже относились серьезно. Я задумала написать статью об атмосфере в литературном произведении. Вы с увлечением размышляли об этой теме, однажды утром даже сказали, что видели сон, будто беседуете с Чеховым об атмосфере в повести, рассказе...

К столетию основания Литфонда Вы дали мне материал, посоветовали написать статью, читали ее, даже сами предложили в "Литературную газету" и обиделись, когда редактор сказал, что нужен автор с именем. "Я у него спросил: а как же будет имя, если не печатают?" — огорченно передавали Вы мне ваш разговор. Статью все же опубликовали.

Гуляя, Вы останавливались, с удовольствием наблюдая, как в чьем-то дворе пилили дрова. Вы даже муравьями восхищались:

— Смотрите, ни одной секунды без дела... Это они строят себе дом, ташат материал.

Вы не могли налюбоваться на своего шофера, когда он сбрасывал с крыши снег, на садовника, окапывающего деревья и т.п.

У меня и прежде не было склонности к безделью, но Вы внушили мне влюбленность в труд. Как мне было хорошо!

Говорили, что только со мной не испытываете одиночества. Вы называли меня "светлый луч в темном царстве". А однажды прочитали мне стихотворение:

Я так рад уединению!  
Мне нужно самому себе  
Сказать в словах, подобных пенью,  
Как благодарен я тебе

.....

За все доверие ко мне...  
За дружелюбные названья,

За сердце, полное вниманья,  
И тайной, кроткой глубины,  
За полудолгие лобзанья,  
За чувство светлое тишины,

За то, что нет сокрытых терний  
В любви доверчивой твоей,  
За то, что мир зари вечерней  
Блестит над жизнью моей<sup>185</sup>.

И сказали, что эти стихи Огарева Вы посвящаете мне. Готовы подписаться под каждой строкой. Я была растрогана и счастлива, мне больше ничего не нужно было от Вас.

А через несколько лет после разрыва я узнала, что Вы заподозрили меня не то в воровстве, не то что я доношу на Вас. Нет, Вы не могли этого думать, не такой уж Вы низкий человек. Вы внушили это себе, чтобы оправдать себя в собственных глазах.

Выгоняя Катю, Вы подбросили ей свой бумажник с паспортом. О, Корней Иванович, по Вашим словам, Вы терпеть не могли "достоевщины", но сами-то Вы были весь оттуда. В Вас сидел и старый Карамазов, и Иван, и даже Смердяков... И... светился Алексей.

Вы наконец увидели, что я не овечка и веревки из меня не совьешь. Что у меня есть характер (и даже плохой), есть свои убеждения, свое отношение к людям и явлениям. Конечно, я не должна была раздражаться, но я мучительно устала, к тому же Вы говорили: "Кричите на меня, Олечка, кричите, на меня надо кричать".

О, Господи, пластинка Эдит Пиаф! "Какое душераздирающее наслаждение ее слушать! Нет, это не Эдит поет, это раненный в сердце мир молит о счастье, 'несмотря ни на что'. Безумная Эдит Пиаф, она верила, что существует счастье на земле".

Что мне сказать о Вашей дочери, которая сыграла во всей этой истории некрасивую роль? Я ее щадила, ей так хотелось быть Вами любимой! Когда она негодовала на врача, Зою Семеновну: "Как Вам нравится? Она хочет положить Корнея Ивановича в больницу и дать постоянный пропуск *Вам!*", — я смолчала, не сказала, что Вы сами об этом в моем присутствии просили, с этим условием соглашаясь на больницу. Скрывала и то, что Вы не позволяли Лидию Корнеевну звать, когда Вам плохо, что не хотите, чтобы она приезжала и т.д. и т.п.

Я ее жалела за ее честолюбие, деспотизм, за то, что она такая неженственная, сверх меры эротична. Но мне ли было ее жалеть? Она добилась того, что хотела. Смело выступив на защиту Сол-

женицына, она даже прослыла среди некоторых "народной героиней", "Жанной д'Арк". Но какая ж это Жанна д'Арк, если — без костра? Нельзя же считать костром исключение из Союза писателей. Не много ли чести для него?

Долгие годы я не могла без боли слышать Ваше имя, избегала случайных встреч с Вами, не ходила мимо Вашей дачи, отдыхая в Доме творчества. И каждый день ждала Вашего звонка или письма. Мое сердце было словно колючей проволокой опутано. Оно натывалось на шипы при любом упоминании о Вас. Я просыпалась с чувством жгучего стыда, но почему-то не за Вас, а за себя. За то, что я Вам верила, лелеяла, как ребенка, купала Вас в ванне.

"Зачем уметь любить? Зачем с радостью отдавать свободу?" — в отчаянии кричит героиня талантливой повести Аллы Драбкиной. У кого хватит духу ответить на этот вопрос?

Разрыв с Вами был для меня жесточайшим ударом. Если бы я умела продолжать быть с Вами милой и ласковой, мы остались бы в добрых отношениях. Но я не могла. Я не понимала, что произошло. Спросить Вас я стеснялась, ощущала недобрую атмосферу в Вашем доме, настороженность среди Ваших родных. Клара же не захотела мне объяснить. Я только удивлялась, как Вы, так тонко чувствующий каждое душевное движение человека, когда речь шла о литературном герое, ничего не поняли во мне, в человеке, живущем возле Вас. По словам Клары, Вы даже сказали: "Оля, наверно, счастлива, что освободилась от забот обо мне". Нет, Вы просто не хотели постичь силу моей боли. Вам это было невыгодно.

Боль несколько смягчилась, когда в Доме творчества, куда Вы купили мне путевку, появился художник Аксельрод<sup>185</sup> и захотел писать мой портрет. Мы не были знакомы, но, сидя с женой-писательницей в столовой, он то и дело бросал на меня взгляды (сердитые, как мне казалось). Но потом жена его спросила, не соглашусь ли я позировать ее мужу. Марк Моисеевич Аксельрод — прекрасный, чистый человек, чьи работы меня пленили яркими красками, добрым отношением к миру, написал три моих портрета. Один из них находится в Ростовском музее, второй — художник подарил мне. Он висит у меня и радует меня непрерывно. Радует и оттого, что красив, и потому, что облегчил мои тогдашние муки. Отвергнутая тем, ради кого я жила, никому не нужная, ничего собой не представляющая, я почувствовала себя человеком благодаря этому портрету. Хоть капля самоутверждения была мне тогда необходима — как жизнь, как воздух, как умирающему от жажды вода.

Незадолго до Вашей смерти я задумала писать о Вас книгу и несколько раз по Вашему приглашению приезжала к Вам. Но Вы вскоре скончались. Мне тяжело дался Ваш уход из жизни. Я долго вспоминала Ваш голос, Ваши длинные, гибкие руки, вспоминала, как Вас снимали на телевидении по моему сценарию, как записывали на радио мою инсценировку "Серебряного герба", как Вы читали мне стихи...

А теперь, Корней Иванович, я не люблю Вас. К Луговскому сохранилась нежность, я все ему простила, Вам — ничего.

Я пытаюсь разобраться — почему? Луговской нанес мне больший удар, чем Вы. Но он до конца своей жизни был добр ко мне, ласков, дружелюбен. Вы же смертельно оскорбили меня своими грязными подозрениями. Значит, я любила себя больше, чем Вас, если не сумела через них перешагнуть? Быть может, мне просто льстило, что Вы, такой знаменитый, носились со мной, не делали без меня ни шагу? Нет, если бы это было так, я бы не мечтала умереть вместо Вас. Значит, важно — как ты расстался с человеком. "Я изучил науку расставанья" и понял, что главное в этой науке — не уклонение от горя, не дезертирство, не бегство от милых ушедших, а также не замыкание в горе, которому невозможно помочь, но расширение сердца, любовь — жалость — сострадание к живым", — писали Вы в письме ко мне, когда я потеряла в один день отца и сестру.

Но расставаться с живыми Вы так и не научились. Сколько обиженных и униженных Вами! Сколько бесчеловечно порванных дружб с женщинами и мужчинами! И не было возле Вас никого, кто захотел бы Вас вовремя остановить.

"Я не знаю человека, более одинокого, чем папа" — с болью говорил мне Ваш сын. Что ж, в конце концов, каждый не только умирает в одиночку, но и живет.

Прощайте, Корней Иванович».

В нем было немало патологии, в Чуковском. И он это знал. Помню, он меня в чем-то упрекнул, я ему ответила, что он тоже так бы поступил. На это он возразил: «Так у меня же все ненормально». Может быть, надо продолжать его жалеть, как я когда-то жалела, отмести все низкое, что в нем было? Нет, нет, я не могу.

И переделать свою душу я не в силах.

Я давно написала воспоминания о Корнее Чуковском для печати, но они до сих пор полностью не изданы. У нас теперь к нему настороженное отношение, только как детского писателя безоговорочно признают. Ты помнишь, Володя, он уже пережил

«опалу» в конце войны, — его нещадно ругали за сказку «Бармадей», называли «невежей», он ждал ареста. И все потому, что в Финляндии, в доме Репина, нашли письмо Чуковского, советовавшего своему другу-художнику не возвращаться в Советский Союз. Теперь Чуковский скомпрометирован Солженицыным, который одно время, кажется, жил у него на даче и которому он деньги давал. Я тогда уже в доме не бывала.

Но у меня пропал интерес к моим воспоминаниям не только из-за давности времени, в течение которого их не публикуют, но, главным образом, оттого, что он там — не весь. В них лишь частица его, здесь же я написала все. Почти все... /.../<sup>187</sup>

1973 год. Я снова в Переделкине. Теперь я редко там отдыхаю. В Доме творчества все другое, нет ни тебя, ни Олеси, ни Александры Яковлевны Бруштейн<sup>188</sup> с ее искрящимся темпераментом, не приходит со своей дачи Чуковский. Тускло. Куда все ушло? Гуляю по лесочкам, полянкам и думаю, думаю, думаю... Наконец иду в мою любимую церковь, — по традиции купить образок.

Издали вижу, какой-то мужчина пересекает быстрым шагом дорогу и тоже направляется к церкви. Подхожу. Он стоит в меховой шапке, короткой куртке, в руках обтрепанный чемоданчик, и пытается отворить запертую дверь. Я останавливаюсь, он спрашивает:

— Когда у них всеношная?

Я посмотрела ему в лицо — Солженицын! Молодым он мне казался — светлая борода, пронзительные голубые глаза. Легкий, энергичный... Вместо ответа, я почему-то говорю:

— Постучите, она откроет.

Он бежит к боковому оконцу, стучит в стекло, быстро возвращается, сдергивает с головы шапку. Я бесстыдно разглядываю его, он тоже впивается в меня острым взглядом. Служительница церкви отворяет двери. Я жду — пусть он раньше спросит.

— Когда у вас всеношная?

— В пять часов.

— А в какие дни?

— Каждый день.

— А Рождественская когда будет?

— Еще неизвестно. Узнаем позже.

Нахлобучив шапку на голову, он стремительно удаляется по тропинке, я смотрю ему вслед. Как жаль, что я с ним не заговорила!

В первый раз я его видала в Союзе писателей на обсуждении «Ракового корпуса». Он удивил меня светскостью, с которой бе-

седовал с окружившими его писателями, своим мягким выступлением, признанием в том, что в Рязани ему трудно — нет литературной среды. И вот теперь... Я и не подозревала, что не увижу его больше никогда.

Возвращаясь по шоссе, думаю о Солженицыне, о Пастернаке... Пятнадцать лет тому назад, на этой же самой дороге, я мечтала о том, чтобы подарить Пастернаку книгу моего отца, в которой был воспроизведен портрет поэта. Но тираж задержали из-за «Доктора Живаго», из каждой книжки выдерживали портрет.

Господи, можно ли забыть потухшие глаза исключенного из Союза писателей Пастернака? Его искаженное болью лицо, его стихи о том, что он бродит один, как загнанный волк, мимо залитых светом окон? Казалось бы — что ему, великому поэту, до всех людей? Нет, и ему тяжело и больно.

Незадолго до исключения, до громогласной «проработки» в прессе, он приходил к Чуковскому при мне. Приходил веселый, оживленный.

«Я очень случайные письма сейчас получаю... В одном спрашивают, как у нас относятся к Рабиндранату Тагору... Это не осмысленно, это бесплотно... Искусство начинается с плотности. Если бы Пикассо не ограничивало всеобщее признание, он бы продолжал поиски и пришел бы к большей плоти — это украсило бы мир, который наполнен атомной бомбой... В Вагнере — век. Вагнер его создал. А пишут, что век создал Вагнера. Блока ассоциируют с петербургским пейзажем. А создал петербургский пейзаж Блок. Без Блока его бы не увидели...»

Получил письмо от литовского писателя о «Живаго»: «вместо критики послушайте радио, все заграничные радиостанции поют Вам дифирамбы, Вам должно быть стыдно до глубины души!». Борис Леонидович, как ребенок, смеется. И дальше — отрывочно, за мыслью не уследишь — о мещанах. «По-моему, лучше разбойник, чем мещанин».

Однажды я встретила его в Доме творчества, и мы вместе шли по улицам. «Самое лучшее, что я написал — это «Доктор Живаго», все мои стихи перед ним — ничто».

На одном ботинке развязался шнурок. Борис Леонидович жалуется, что ему не ставят телефона, приходится идти в Дом творчества звонить. Певуче бубнит в нос, а я иду в одном страхе — сейчас будет его дом, и он уйдет...

Когда он серьезно заболел, мы с Лидией Корнеевной дважды в день ходили к профессору Асмусу, навещавшему его, узнавать о его здоровье. Оно все ухудшалось.

30 мая в 12 часов ночи в доме Чуковского раздался телефонный звонок. Мы с Корнеем Ивановичем были вдвоем, он только что наконец заснул под мое чтение. Лида у себя в хибарке, прозванной нами «Пиво-воды», на другом конце территории. Я спустилась на первый этаж к телефону. Какой-то иностранец на ломаном русском языке сказал, что он беспокоится, его брат еще днем поехал навестить Пастернака и не вернулся до сих пор. Не случилось ли что-нибудь? Я дала ему номер телефона Асмуса. И, повесив трубку, почувствовала — умер Пастернак.

В день похорон вся семья Чуковского и библиотекарь, и секретарь Клара, и прислуга пошли проводить поэта в последний путь. Корнею Ивановичу идти врач запретил. Коля заискивающим тоном спросил у меня: «Ты посидишь с папой?» Я знала, что никогда себе этого не прошу, но ответила: «Конечно, посижу».

Я отправилась рано утром, пока все еще были дома, к Борису Леонидовичу. Дорога от станции до его улицы была запружена машинами, хотя в газетах не известили о дне похорон! О, Россия! В этой стране всех великих поэтов хоронили потихоньку. На Киевском вокзале кто-то кнопкой приколот записку к столбу — день и час похорон... Народ стекался, сновали иностранные журналисты, щелкали фотоаппараты...

Борис Леонидович лежал внизу, в маленькой гостиной, на диване. Люди входили в одну дверь дачи, проходили мимо него, прощаясь, и выходили в другую. Он стал меньше ростом, похудел, его чуть выдающаяся вперед нижняя часть лица втянулась вовнутрь. Когда-то Цветаева сказала, что Пастернак похож на араба и его лошадь, теперь это было совсем не то. Лежал усталый, замученный, старый человек.

В саду, возле забора, плакала Ивинская<sup>189</sup>, на крыльце стояла ее дочь. Послышалась музыка, играл Нейгауз<sup>190</sup>, а может быть, Юдина... Я спешила к Чуковскому, он остался один. Мы читали верстку, надо было отвлечь его от окружающего, стараться, чтобы он не смотрел в окно. Но вдруг он встрепенулся: «Я тоже пойду». Мне пришлось бежать за Колей, он уговорил его не ходить.

Процессия тронулась, я потихоньку от Корнея Ивановича вышла на балкон. Гроб несли на руках. За ним цепочкой растянулись по всей поляне от дома до кладбища сотни людей.

Когда Чуковские вернулись, я пошла на могилу. Там еще было несколько человек, лежала гора цветов, читали пастернаковские стихи...

К Корнею Ивановичу пришло с кладбища много знакомых; по возвращении я прошла на балкон. Там в одиночестве сидел

Коля, мы молчали. Мне вдруг стало жалко его. Ведь он предал поэта! Корней Иванович возмутился: «Он мог не пойти на секретариат, сказаться больным, мог не выступать... Борис Леонидович когда-то очень любил его...» Но это угрожало Николаю Корнеевичу потерей его положения, а вместе с ним — издания книг, стало быть, денег. О, нет, на такой «подвиг» Коля не был способен. И вот он сидит подавленный, несчастный и курит одну папиросу за другой. Через пять лет после Пастернака Николай Чуковский тоже скончался. Неужели же несколько лет богатой жизни важнее, чем чистая совесть? Если б люди почаще думали о смерти, может быть, праведнее была бы их жизнь. Талант — это самоотдача, все остальное — суэта.

В течение многих лет, Володя, мы с Майей каждую годовщину ходили на могилу к Пастернаку. Она приезжала из Москвы на машине, мы сидели на кладбище всю ночь, слушали шелканье соловьев.

Но я разлюбила Переделкино, не тянет меня туда больше. И этот период моей жизни закончился. Одна моя приятельница отнесла ко мне слова Флобера: «Я тщательно собирал камни для своего ожерелья, но забыл об одном — о нити». Мне самой представляется, что жизнь моя состоит из фрагментов, не связанных между собой. Но это не так. Ничто не уходит навечно и ничто не рождается на голом месте, все продолжается, сцепляется, но только порой невидимыми нитями. Разлучаешься с человеком, это не значит, что он вырван из твоей души. Все, что я пережила с ним, передумала, осталось во мне.

Книги тоже соединяют жизнь воедино. Как отделить воображаемый мир от реального? Могу ли я сказать, что когда ходила на службу или на собрания в Дом литераторов, наконец, к знакомым, — жила, а когда стояла перед судом вместе с Катюшей Масловой, ехала в поезде с Анной Карениной — не жила?

Нет, это все моя жизнь, и ты, Володя, и Печорин, тревоживший мою душу с ранних лет. Разве такой же я была бы без Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Пастернака? Без «Матренина двора» Солженицына, наконец?

Бывает так — все раздражает, всех ненавидишь, даже самых близких людей. И внезапно, без всякой видимой причины, исходит благодать, какая-то внутри тебя тишина. Испытываешь не злобу, а жалость к людям, чувствуешь собственную вину перед ними. Хотя бы перед мужем, Матвеем Мироновичем. Вышла замуж, не любя. На его вопрос по возвращении после войны в Москву, правда ли, что ко мне ходит какой-то поэт, безжалостно ответила: «Даже ночует». Сколько еще пренебрегала любившими меня!

Перед родителями виновата, перед сестрами, перед подругами, которых переросла, и они мне наскучили. Мир плохо устроен. Не злиться надо, а жалеть людей — и несчастных, и счастливых. Ведь счастье их недолговечно: не сегодня, так завтра их настигнет беда.

Любовь к людям, жалость — разве не под влиянием музыки, поэзии, картин? Смотрю на пейзаж Ван Гога, и слезы стоят в глазах. Не будь искусства, человек погряз бы в мелочах, его обуревали бы дурные чувства.

Я окидываю взглядом свою жизнь и вижу, что еще больше, чем люди, книги — ее сцепляла воедино тоска. Тоска по чистому человеку, которому все пошлое чуждо, тоска по возвышенному существованию, с юных лет не покидающая меня. А как я его себе представляла, словами не объяснить. Только не таким, каким было мое.

Хоть и протекала моя жизнь под аккомпанемент стихов моих друзей (твоих, Спасского, Наровчатова, Тарковского и др.) — слишком жестока была проза жизни. Ты посмотри, Володя, — все время войны, аресты, унижения в коммунальной квартире, голод, нищета. Ведь я ни разу не оделась, как хотела. Случайно достанешь хорошее заграничное платье — нет туфель. Есть обувь приличная, нет пальто...

А придуманный Сталиным космополитизм! Собрание в Союзе писателей. На эстраде огромные, тучные Софронов и Первенцев<sup>191</sup> кричат на дрожащего от страха, заикающегося Юзовского<sup>192</sup>.

— Я думал, что я сверхчеловек, — кается он.

— Вы пигмей, а не сверхчеловек, — орет Первенцев.

Из первого ряда несется одобрителный вопль еврея-драматурга Финна<sup>193</sup>. Какой стыд! Зал слушает, затаив дыхание, мороз по коже бежит.

Можно ли вычеркнуть из жизни газету «Культура и жизнь» с перечислением писателей-евреев (якобы прячущихся под русскими псевдонимами) и с раскрытием скобок! Я встретила на площади Маяковского знакомого литератора из истинно интеллигентной русской семьи. «Оленька, в нашем доме считался самым большим позором антисемитизм», — сказал он, и я увидела слезы, бегущие по его щекам.

То был сорок девятый, а сейчас семьдесят шестой год.

И вот — новый очаг ненависти — Израиль! В чудесной книжке «Репетиция — любовь моя» режиссера Эфроса я прочитала: «Самоуверенность — это наша защита против грубости». А у меня никакой защиты нет, я живу, словно в воздухе вишу, у меня нет поч-

вы под ногами, я не уверена в себе, в своей судьбе, буквально в каждом своем шаге. Почему? Человек не в состоянии существовать, если у него нет корней. Корни — главная защита. Как дерево держат корни в земле, так и человека, придают ему силу, опору. Во французском романе я прочла про героя, который был поглощен составлением своего генеалогического дерева. Мой сосед построил дачу специально в тех местах, где когда-то жил кто-то из его предков, увлеченно собирает сведения о них, с горящими глазами рассказывает, что нашел дом, принадлежавший родичам, разузнавал, где кто похоронен.

А я? Знала бабушку, мать папы, и больше никого. О родителях бабушки и дедушки понятия не имею. То же самое по маминой линии. Никогда у меня не было интереса к своему роду. И ни у кого из евреев я его не наблюдала. Не оттого ли, что род каждого рассеян по всей земле, как ты думаешь, Володя? Быть может, потому и стремятся некоторые в Израиль, чтобы обрести свою землю, свои корни, свой народ? Что ж тут дурного? За что их бесчестят, потоки грязи на них льют? Наконец, почему их не выпускают?

Меня не влечет Израиль, мне Франция куда милей. Франция, с ее восхитительным, музыкальным языком, замечательными красками платьев, с изяществом всей этой страны, ее превосходной живописью и архитектурой.

Видно, я вообще космополитка (в истинном значении этого слова). Я бы хотела, чтобы у всех народов был единый язык. Не искусственный, эсперанто, — а один из европейских — русский, французский, английский, немецкий... А родиной была бы вся земля во всем мире. Скажи я об этом вслух, меня бы заклеили антипатриоткой. Но я искренне не понимаю — почему? Мне кажется, было бы гораздо лучше, если бы поменьше перегородок разделяло людей. Они больше понимали бы друг друга, больше любили, жить было бы не так тяжело. Ты не согласен, Володя, со мной?

И вот что хочу еще тебе сказать: Монтень прав, когда говорит, что не следует привязываться к кому-либо или чему-либо «так, чтобы от этого зависело наше счастье. Что у человека должна быть своя клетушка, прибежище, где бы он мог уединиться и вести внутренние беседы с самим собой... Мы обладаем душой, способной общаться с собой», — пишет Монтень.

В самом деле, зачем я всю жизнь искала чужую душу, с которой могла бы беседовать, как со своей? Разве не естественно, что так и не нашла? Двойников не бывает на свете, они только в литературе существуют. А те, кто думает, что нашли, жестоко оши-

баются или сами себе лгут. Теперь я знаю — не надо было даже искать.

У мореплавателей есть молитва: «Пошли мне, Бог, берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять». Вот о чем надо было Господа Бога просить, вступая в жизнь.

1975-1976

## ПРИМЕЧАНИЯ

В примечаниях приняты следующие сокращения: ЖГ. — Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников / Сост. и комм. Ю.В.Зобнина, В.П.Петрановского, А.К.Станюковича. Л., 1991.

МН. — Наппельбаум М.С. От ремесла к искусству: Искусство фотопортрета / Лит. обработка О.Грудцовой. [М.], 1958.

<sup>1</sup> Неоднократно упоминаемая в этих мемуарах *Татьяна* Александровна Ермолинская (урожд. Луговская, 1908-1994) — сестра В.А.Луговского, жена драматурга С.А.Ермолинского (1900-1984), художница, автор воспоминаний о своем детстве в семье московского учителя гимназии: Луговская Т. Я помню: Повесть о детстве. М., 1983 (второе издание: 1987).

<sup>2</sup> *Нина* Алексеевна *Шишкина-Щур-Милен* — «последняя певица из старинного цыганского квартета Шишкиных /.../ Н.А.Шишкина писала музыку на стихи Гумилева и пела их, аккомпанируя себе на гитаре» (Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990. С.6). О глубоком характере ее отношений с Гумилевым свидетельствуют дарственные надписи Гумилева на книгах, подаренных ей в 1920 и 1921. Эти надписи, а также посвященное Шишкиной стихотворение «Цыганский табор» впервые опубликованы В.К.Лукницкой (Там же. С.235-237, факсимиле между С.256 и 257). Н.А.Шишкина была дружна с биографом Гумилева П.Н.Лукницким, которому в 1923 передала многочисленные хранившиеся у нее рукописи поэта. Тем не менее, «в дневниках Лукницкого почти отсутствуют подробные записи (может быть, вырезаны, выброшены?) о знаменитой певице — цыганке Нине Шишкиной и ее судьбе» (Там же. С.236). Отсутствие этих «подробных записей» отчасти компенсируется интерполяциями Веры Лукницкой, в которых (как, к сожалению, и во всей ее книге) трудно отделить фантазии автора от подлинных свидетельств, исходящих от самого П.Н.Лукницкого (См.: Там же. С.6, 236, 237). Павел Лукницкий, *Нина* Шишкина и *Ольга* Наппельбаум запечатлены на групповой фотографии среди участников чествования М.А.Кузмина в доме Наппельбаумов в октябре 1925 (ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.398).

<sup>3</sup> Ср. воспоминание О.А.Савинова (сына известного художника) о поездке вместе с семьей Тихоновых в Лугу и встрече «с двумя цыганками,

матерью и дочерью, последними представительницами знаменитого рода Шишкиных, у которых бывал еще А.С.Пушкин»: «Дочь, женщину лет сорока — сорока пяти, нельзя было назвать красивой, но лицо ее было выразительным и свидетельствовало о твердом характере. Дочь говорила и за себя и за мать. Выяснилось, что она была знакома со многими известными людьми, в т[ом] ч[исле] с Н.Гумилевым, с которым была особенно близка. Одна небольшая гитара составляла весь их оркестр. Три вечера, а вернее, три ночи они нам пели свои песни: слушателями были только супруги Тихоновы и мы с отцом. Пели, но как! Их слабые, негромкие голоса передавали то, что с такой силой описал нам А.Куприн в своем "Фараоновом племени". И мы, потрясенные и очарованные, тогда хорошо поняли тех, кто в старые годы ночами пропадал у цыган, оставляя у них свои души и состояния» (Савинов О.А. Полвека в мире механических колебаний: Записки инженера-исследователя. СПб., 1992. С.38).

<sup>4</sup> Неточная цитата из воспоминаний дочери М.И.Цветаевой, переводчицы *Ариадны Сергеевны Эфрон* (1912-1975). Ср.: Эфрон А. Страницы воспоминаний // Звезда. 1973. №3. С.164.

<sup>5</sup> М.С.Наппельбаум переехал из Минска в Петербург в 1912. В своей книге, написанной спустя сорок лет, фотограф вспоминал, какой рискованный шаг совершил тогда, «приехав в Петербург без средств и знакомств, не имея права на жительство» (МН. С.42). Благодаря фотографу Б.Е.Флаксу он получил все же свидетельство на право жительства в столице как наклещик фотокарточек. По нему М.С.Наппельбаум проживал в Петрограде вплоть до революции.

<sup>6</sup> М.С.Наппельбаум вспоминал: «я выискал какого-то статского советника, обер-прокурора в отставке, который увлекался фотографией. Это была незаурядная личность, впадшая в немилость царя, одержимая самыми фантастическими планами. Мы вошли с ним в соглашение, отыскали фотографию на углу Невского и Садовой, он стал владельцем, а я работал, ютясь в одной из комнатушек» (МН. С.45). Фотография под названием «Пленэр» располагалась на Невском, 52. Если верить справочникам «Весь Петроград», ее владельцем на протяжении 1914-1916 годов являлся сам М.С.Наппельбаум.

<sup>7</sup> Ф.М.Наппельбаум указывает в автобиографии (1923), что переезд в Петербург состоялся весной 1914 (ИРЛИ. Ф.172. Ед.хр.3), то есть еще до начала войны.

<sup>8</sup> М.С.Наппельбаум вспоминал: «одно время я жил в Петергофе, арендуя фотографию умершего фотографа Ясвойна. В это время уже началась Первая мировая война. В Петергофе была школа прапорщиков, она-то и давала мне главным образом средства к существованию: я снимал выпускников школы группами и поодиночке» (МН. С.46).

<sup>9</sup> *Вера Николаевна Хитрово* (в замужестве Самоцет, 1870- не ранее 1923) — получила образование в Смольном институте (выпуск 1886 года) и Санкт-Петербургской консерватории (см.: Черепнин Н.П. Императорское Воспитательное Общество благородных девиц: Исторический очерк.

Т.3. Пг., 1915. С.622). Основала музыкальную школу в Санкт-Петербурге (I рота Измайловского полка, дом 7-9), где преподавала сама с 1899. Несколько позже в этом же здании открылась женская гимназия (условия приема, программы занятий и прочее см.: С.-Петербургская частная Женская Гимназия В.Н.Хитрово со всеми правами Гимназий Мин. Нар. Просв. СПб., 1914). После смещения с поста начальницы в сентябре 1918 продолжала преподавать в этой же школе музыку и ручной труд. О годах учебы в гимназии В.Н.Хитрово см. также воспоминания И.М.Наппельбаум: Петрановская Н. До революции о мальчиках не думала // Ленинские искры. 1990. 30 июня. №26.; Наппельбаум И. У нас в классе были уроки поэзии / Запись М.Рутмана // Вечерний Петербург. 1992. 25 марта. №71. С.3.

<sup>10</sup> Имеется в виду заместительница В.Н.Хитрово Вера Владимировна Ковнер, осиротевшая еще ребенком.

<sup>11</sup> В 1916 М.С.Наппельбаум приобрел в рассрочку фотографию А.М.Лежонова, располагавшуюся на Невском, 72, на шестом этаже. См.подробнее: МН. С.46.

<sup>12</sup> Илья Ионович *Ионов* (наст. фам. Бернштейн, 1887-1942) — поэт и издательский деятель. После революции возглавлял правление издательства Петросвета.

<sup>13</sup> Впервые М.С.Наппельбаум фотографировал В.И.Ленина 31 января 1918. Подробнее о встречах с Лениным см. в его воспоминаниях: МН. С.60-65; Наппельбаум М. Как я фотографировал Ленина // Вечерний Ленинград. 1957. 22 апреля. №95. С.3. Из многочисленных публикаций на эту тему наиболее содержательны следующие: Долинский М., Черток С. История одного ленинского портрета // Смена. 1958. №2. С.4-5; Гак А., Александров Р. Взгляд Ильича // Неделя. 1977. 18-24 апреля. №16. С.4.

<sup>14</sup> Имеется в виду ИМЛ (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

<sup>15</sup> Чайковский П.И. Переписка с Н.Ф. фон-Мекк / Ред. и прим. В.А.Жданова и Н.Т.Жегина. Вступ. статья Б.С.Пшибышевского. Т.1-2. М.; Л., 1934-1935.

<sup>16</sup> Поездка М.С.Наппельбаума в Америку в 1890-е подробно описана в его воспоминаниях: МН. С.23-28.

<sup>17</sup> Комиссия по улучшению быта ученых (КУБУ или КУБУЧ) располагалась в Доме ученых на Миллионной улице, в бывшем дворце великого князя Владимира Александровича (см. подробнее комм. Н.А.Богомолова и С.В.Шумихина к публ.: Кузмин М. Дневник 1921 года // Минувшее: Исторический альманах. Вып.12. М.; СПб., 1993. С.476). М.С.Наппельбаум познакомился с А.М.Горьким и впервые снимал его как раз в период его работы по организации КУБУЧ (МН. С.70).

<sup>18</sup> Ида и Фредерика учились в одном классе (закончили школу весной 1919). Лев перешел во второй класс второй ступени осенью 1918. Классом младше его училась Ольга.

<sup>19</sup> *Сергей Львович Утченко* (1908-1976) — историк античности, специалист по истории Рима, с 1950 — профессор.

<sup>20</sup> *Платон Константинович Сюннерберг* (1904-?) — сын поэта и критика К.А.Сюннерберга. В 14-й Трудовой школе (бывшей гимназии В.Н.Хитрово) учился с 1918 по 1922, в одном классе с Ольгой Наппельбаум. С 1922 — студент этнолого-лингвистического отделения факультета общественных наук Петроградского университета, откуда в феврале 1927 был исключен «как академически неуспевающий». В 1920-е — сотрудник музея ВЧК—ГПУ в Ленинграде.

<sup>21</sup> *Мария Евгеньевна Лёвберг* (урожд. Купфер, в замужестве Ратькова, 1894-1934) — поэтесса, драматург, прозаик. См. о ней: Кушлина О.Б. Лёвберг Мария Евгеньевна // Русские писатели. 1800-1917. Т.3. М., 1994. С.302. В сентябре 1918, будучи эмиссаром при Наркомпросе, была назначена заведующей в бывшую гимназию В.Н.Хитрово.

<sup>22</sup> Премьера спектакля по пьесе М.Е.Лёвберг «Дантон» состоялась в Большом Драматическом театре 22 июня 1919 (режиссер К.К.Тверской, композитор Ю.А.Шапорин, художник М.В.Добужинский).

<sup>23</sup> М.Е.Лёвберг посвящены: стихотворение Гумилева: «Ты, жаворонок в горней высоте...» (между ноябрем 1915 и январем 1916) и первый вариант стихотворения «Змей» (1915). Об отношениях Лёвберг и Гумилева см.: Азадовский К.М., Тименчик Р.Д. К биографии Н.С.Гумилева: Вокруг дневников и альбомов Ф.Ф.Фидлера // Русская литература. 1988. №2. С.185.

<sup>24</sup> После переезда правительства в Москву М.С.Наппельбаум обратился к Я.М.Свердлову с идеей об организации государственной фотографии при ВЦИК и СНК. Эта первая в России государственная фотография занималась главным образом обслуживанием фронта — здесь печатались массовыми тиражами фотоснимки вождей революции, а также большие их портреты для учреждений (см. подробнее: МН. С.80). Уехав в Москву весной—летом 1919, Наппельбаумы возвратились в Петроград осенью 1920.

<sup>25</sup> Владимир Александрович *Антонов-Овсеенко* (1883-1938) — государственный деятель.

<sup>26</sup> Вацлав Вацлавович *Воровский* (1871-1923) — государственный деятель, публицист и дипломат. М.С.Наппельбаум фотографировал Воровского в Москве в 1919 или 1920. См.: МН. С.81-82, илл.№6 (репродукция портрета).

<sup>27</sup> Фредерика Наппельбаум вспоминала: «Осенью 1920 года мы переехали в Петербург /.../ В ту же зиму я записалась вместе с сестрой в студию при ДOME Искусств. Там читали — Шкловский, Гумилев, Чуковский, Замятин, Лозинский, Евреинов и др. Я систематически посещала первых трех, но Шкловский скоро уехал, Чуковский начал вести занятия очень поздно; большинство "новых студистов" сгруппировалось вокруг Гумилева. В ДOME Искусств существовал уже кадр "старых студистов", куда

частью входили Серапионовцы. Из них мы скорее и ближе всего познакомились с покойным Львом Лунцем. Он был любимцем всего Дома Искусств, привлекая всех своим неисчерпаемым, очень беззлобным юмором. Другим "старым студистом", позднее соединившимся с новыми, был Николай Чуковский, тогда еще совсем мальчик. Новые студисты знакомились между собой очень медленно. Только после Нового года устроили кружок, названный по случайному предложению, кажется, Дмитриева, — Звучащей Раковиной. Кружок собирался после лекций Гумилева по средам. Читали стихи и критиковали их, писали доклады. Не имея возможности говорить о каждом члене кружка, я хочу только перечислить их фамилии: Конст. Вагинов, Волков, Горфинкель, Ник. Дмитриев, Столяров, Миллер, Томас Рагинский-Карейво, Н.Сурина, я, моя сестра Ида Наппельбаум, Федорова (она единственная не писала стихи), Вера Лурье, Ольга Зив. Позднее вступил в З[вучащую] Р[аковину] Ник. Чуковский и еще позднее, перед ее распадом, Николай Коварский» (Наппельбаум Ф.М. [Автобиография] // РО ИРЛИ. Ф.172. Ед.хр.3). Таким образом, «Звучащая Раковина» представляла собой дружеский кружок, образовавшийся из бывших студистов (= студийцев), прослушавших к весне 1921 курс «Теории поэзии» Гумилева в студии Дома искусств, но не захотевших расставаться со своим учителем. Корней Чуковский, который параллельно с Гумилевым читал курс критики в студии, стал вести занятия с членами кружка уже после смерти Гумилева. По словам Иды Наппельбаум, «все теперь стало на занятиях легче, веселее и "необязательно". Наши творческие встречи превратились в беседы о литературе, о поэтах, о Некрасове. Мы по-прежнему читали свои стихи, но судили их больше сами студийцы. Потерялась та высокая атмосфера, то ощущение подъема на Олимп, что создавало присутствие, личность самого Мэтра» (Наппельбаум И. Памятка о поэте // Аврора. 1990. №9. С.143).

<sup>28</sup> Первоначально, в 1921, «понедельники у Наппельбаумов» представляли собой собрания членов кружка «Звучащая Раковина», но очень скоро приобрели характер открытого литературного салона. Тем не менее, «первое время дух Гумилева как бы витал над салоном» (Чуковский Н. Литературные воспоминания. Указ. изд. С.104), а «ядро» салона по-прежнему составляли члены гумилевского кружка (см. Тизенгаузен О. Салоны и завсегдатаи Петербургского Парнаса // Абракас. [Вып.1]. Пб., 1922 (октябрь). С.59-62). Под маркой «Звучащей Раковины» проводились также «Открытые литературные понедельники» вне стен наппельбаумовского дома. См., например, объявление об одном из них, состоявшемся в Доме Литераторов 29 мая 1922, с участием «поэтов и беллетристов разных группировок»: Литературные записки. 1922. №1, 1-я с. обложки. На средства М.С.Наппельбаума были изданы два альманаха — «Звучащая Раковина» (Пб., 1922) и «Город» (Сб.1. Пб., 1923, январь) — но в них представлено лишь молодежное крыло «понедельников». К январю 1922 относится грандиозный проект издания альманаха «Литературные понедельники» тиражом 20000 (!) экземпляров. Из писателей старшего поколения предполагалось участие в нем, например, Ахматовой, Кузмина, Сологуба, Ходасевича. Воплощению этого проекта воспрепятствовал

лишь цензурный запрет (см. подробнее: Эльзон М.Д. Из архивно-библиографических разысканий // Н.Гумилев и русский Парнас. СПб., 1992. С.114-115). С осени 1921 «понедельники» стали одним из основных центров петроградской литературной жизни. Наряду с салоном Виктории Чекан, салон Наппельбаумов был наиболее посещаемым — порой на «понедельник» собиралось свыше сорока человек.

<sup>29</sup> Первые строки стихотворения Ахматовой «Сероглазый король» (1910).

<sup>30</sup> Неточная цитата из стихотворения «А, ты думал — я тоже такая...» (1921).

<sup>31</sup> Евгений Львович Шварц (1896-1958) — драматург и прозаик.

<sup>32</sup> Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939) и Нина Николаевна Берберова (1901-1993) познакомились в ноябре 1921 и в июне 1922 выехали за границу.

<sup>33</sup> Неточная цитата из стихотворения Ходасевича «Перешагни, перескочи...» (весна 1921 — 11 января 1922).

<sup>34</sup> Члены «Цеха Поэтов» Ирина Владимировна Одоевцева (наст. имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике, 1895-1990), Георгий Владимирович Иванов (1894-1958) и Георгий Викторович Адамович (1892-1972) эмигрировали в 1922-1923.

Юрий Иванович Юркун (наст. имя и фам. Иосиф Юркунас, 1895-1938) и Михаил Алексеевич Кузмин (1872-1936), по-видимому, довольно часто появлялись на «понедельниках» (см. Чуковский Н. Литературные воспоминания. Указ. изд. С.107-109). Одним из наиболее примечательных событий в доме Наппельбаумов было празднование двадцатилетия литературной деятельности Кузмина в октябре 1925. Инициаторами этого вечера были «хозяйки» салона, старшие дочери Моисея Наппельбаума Ида и Фредерика. Сохранилось письмо Иды Наппельбаум к Кузмину от 5 октября 1925:

Многоуважаемый Михаил Алексеевич.

Нам очень хотелось бы отметить как-нибудь Ваш литературный юбилей. Поэтому у нас с сестрой возникла мысль об устройстве небольшого вечера с Вами во главе. Мы предполагаем собрать у себя людей, которые живо интересуются литературной жизнью и, в частности, Вашей дорогой, чтобы приветствовать Вас и послушать то новое, что мы совсем не знаем и что очень обидно.

Если Вы принципиально сочувствуете нашему плану, то будьте добры, скажите, какой вечер Вам наиболее удобен. Со своей стороны по моим сведениям для большинства желающих быть у нас — воскресенье является наиболее удобным /.../

5/Х-25 г.

ЦГАЛИ СПб. Ф.437. Оп.1. Ед.хр.86.

Этот вечер стал последним крупным собранием в доме Наппельбаумов (см. Чуковский Н. Литературные воспоминания. Указ. изд.

С.110-111). Одно из воспроизведений групповой фотографии, сделанной на этом вечере, см.: Шварц Е. Живу беспокойно... Из дневников. [Л.], 1990. Между С.224 и 225. Перечень участников собрания, составленный И.М.Наппельбаум, см.: ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.398.

<sup>35</sup> Имеется в виду знаменитая фотография «Звучащей Раковины» (в павильоне), неоднократно воспроизводившаяся (см., например, Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. Между С.128 и 129; С.606 — перечень изображенных). Менее известный вариант фотографии (на балконе) воспроизведен в каталоге: Nappelbaum I. Photographien aus den 20er Jahren: Ausstellung 13.9.-14.10.1991. Berlin: Galerie Nathan Fedorowskij. [1991].

<sup>36</sup> В мемуарном очерке «Из ненаписанных воспоминаний» О.М.Грудцова более подробно описывает свои впечатления о встречах с Гумилевым (см.: ЖГ. С.178-179).

<sup>37</sup> Одоевцева И. На берегах Невы. Washington, 1967.

<sup>38</sup> Даже наиболее авторитетные свидетельства о попытках Горького через Ленина добиться освобождения Гумилева противоречат друг другу. См. статью Р.Д.Тименчика «По делу №214224» (Даугава. 1990. №8. С.118-122), а также запись рассказа А.Э.Колбановского, приведенную в комм. к воспоминаниям М.Л.Слонимского о Гумилеве (ЖГ. С.274).

<sup>39</sup> Александра Ивановна *Федорова* (в замужестве Вагинова, 1902-1993) училась в гимназии В.Н.Хитрово на класс младше Иды и Фредерики Наппельбаум. С осени 1920 посещала студию Гумилева в Доме Искусств и затем вошла в кружок «Звучащая Раковина». Для коллективного сборника участников кружка написала два стихотворения, одно из которых было опубликовано (Звучащая Раковина. Пб., 1922. С.81-82). Гумилев говорил о ней: «Федорова — идеальный читатель. Она может даже стихи написать, но она не поэт» (Наппельбаум И. Памятка о поэте // Аврора. 1990. №9. С.144). В конце 1920-х по предложению К.А.Федина занималась организацией библиотеки Дома писателей в Ленинграде и проработала в ней до 1961. Ее воспоминания опубликованы С.А.Кибальником: Ненаписанные воспоминания. Интервью с Александрой Ивановной Вагиновой // Волга. 1992. №7-8. С.146-155; Кибальник С. В гостях у вдовы Константина Вагинова // Русская мысль. 1990. 31 августа. С.11 и 7 сентября. С.11. См. также: Дмитренко А. Светлая к книге любовь // Вечерний Петербург. 1993. 4 октября. №221. С.3; Д.Ш. [Шерих Д.Ю.] Прощание с эпохой // Сегодня (СПб.). 1993. 1-8 октября. №12. С.1.

<sup>40</sup> А.И.Федорова и Константин Константинович Вагинов (1899-1934) заключили брак 18 ноября 1927. Свидетельство о браке — в архиве автора этих строк. В иных известных источниках приводятся неверные даты.

<sup>41</sup> Первые строки «Поэмы квадратов» (июнь 1922). Цитата неточна.

<sup>42</sup> Эти строки из стихотворения Гумилева «Дагомья» здесь несколько отличаются от печатной редакции: «И, как доблесть твоя, о испытанный воин, / Так и милость моя не имеет конца» (цит. по: Гумилев Н. Стихо-

творения и поэмы. Л., 1988. С.306). Именно с таким разночтением («единственный» вместо «испытанный») этот текст приводят в своих воспоминаниях также С.К.Эрлих (ЖГ. С.189) и И.М.Наппельбаум (Нева. 1987. №12. С.200). Сама книга, к сожалению, не сохранилась.

По воспоминаниям В.И.Лурье, Гумилев подарил членам «Звучащей Раковины» в день своего ареста «Шатры» с надписями, был удивительно в духе и каждому надписывал подходящую строчку из сборника же» (Лурье В.И. Воспоминания о Гумилеве / Публ., подг. текста, предисл. и прим. Н.М.Иванниковой // De Visu. 1993. №6(7). С.10). Гумилев не написал книгу только И.М.Наппельбаум, забывшей ее дома. Ср. дарственную надпись Вагинову (строка из «Либери»: «Косте Вагинову. Вы сегодня бледней, чем всегда. Н.Гумилев» (Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана. М., 1989. С.82).

<sup>43</sup> *Бенедикт Константинович (Наумович) Лившиц (1886-1938)* — поэт, переводчик и мемуарист.

<sup>44</sup> *Всеволод Александрович Рождественский (1895-1977)* — поэт, переводчик и мемуарист.

<sup>45</sup> *Павел Николаевич Лукницкий (1902-1973)* — поэт, прозаик, журналист, биограф Н.С.Гумилева.

<sup>46</sup> *Михаил Леонидович Лозинский (1886-1955)* — поэт и переводчик.

<sup>47</sup> *Анна Дмитриевна Радлова (урожд. Дармолатова, 1891-1949)* — поэтесса и переводчица.

<sup>48</sup> *Сергей Эрнестович Радлов (1892-1958)* — театральный режиссер.

<sup>49</sup> *Николай Эрнестович Радлов (1889-1942)* — художник.

<sup>50</sup> Надежда Константиновна *Шведе-Радлова* (урожд. Плансон, в первом браке Шведе, 1894-1944) — художница. Училась у Е.Е.Лансере и М.В.Добужинского в «Новой художественной мастерской», в 1923 закончила Академию художеств. Входила в группу «Шестнадцатая» и в «Общество живописцев». В 1924 вышла замуж за Н.Э.Радлова. Создала ряд портретов деятелей искусства и науки. Среди ее работ — портреты В.В.Маяковского (1930. Музей ИРЛИ), Б.А.Пильняка (1933), Г.С.Улановой (1936. Музей Большого театра, Москва), Н.С.Тихонова (1932), А.Д.Радловой (1921), Д.Д.Шостаковича, О.Д.Форш (1930), Н.С.Гумилева (1919-1920. Не сохранился) (сведения заимствованы из авторского списка работ Шведе-Радловой, составленного ею в 1930-е, — частный архив). В середине 1930-х работала над серией картин, посвященных жизни А.С.Пушкина (см.: [Б.п.] Новые картины о Пушкине // Известия. 1935. 24 декабря. №298. С.4).

<sup>51</sup> Портрет Гумилева (1919-1920) кисти Н.К.Шведе-Радловой более подробно описан в воспоминаниях И.М.Наппельбаум «Мэтр» (ЖГ. С.181-182) и в книге И.В.Одоевцевой «На берегах Невы» (М., 1988. С.300-301). В октябре 1920 он был представлен на отчетной выставке в Академии художеств (см. комм. Н.М.Иванниковой к публ.: Лурье В.И. Воспоминания о Гумилеве. Указ. изд. С.11-12). По черно-белой фотографии впервые

воспроизведен: Панорама искусств. [Вып.] 11. М., 1988. С.186. Хранившийся у И.М.Наппельбаум с 1921 портрет был уничтожен ее мужем, М.А.Фроманом, в 1937. Подробнее об этом см. ее мемуарный очерк «Портрет поэта», который был опубликован дважды: Литератор. 1990. №45. С.6 и Россия. 1922. 4-10 марта. №10. С.5. Сохранился карандашный портрет Гумилева работы Шведе-Радловой с авторской надписью: «На лекции в Инст[иту]те. 1920 г.». На нем поэт изображен в профиль сидящим в кресле (частное собрание).

<sup>52</sup> Эрнст Леопольдович (*Львович*) Радлов (1854-1928) — философ. Много лет занимался преподавательской деятельностью.

<sup>53</sup> Александр Иосифович *Доливо-Добровольский* (1866-1932) — юрист, дипломат, искусствовед, коллекционер гравюр.

<sup>54</sup> «*Ничевоки*» — московская литературная группа, близкая к имажинистам. См.: Никитаев А.Т. Ничевоки: материалы к истории и библиографии // De Visu. 1992. №0. С.59-64.

<sup>55</sup> Владимир Алексеевич *Пяст* (наст. фам. Пестовский, 1886-1940) — поэт, переводчик, мемуарист.

<sup>56</sup> *Аким Львович Волынский* (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер, 1861-1926) — литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства.

<sup>57</sup> Валентин Осипович *Стенич* (наст. фам. Сметанич, 1898-1938) — переводчик и критик. Герой очерка А.Блока «Русские денди» (1918). См. о нем воспоминания Н.К.Чуковского «Милый демон моей юности» (Чуковский Н. Литературные воспоминания. Указ. изд. С.211-244).

<sup>58</sup> Иван Иванович *Соллертинский* (1902-1944) — историк музыки и театра, журналист. Ида Наппельбаум вспоминала: «Ив[ан] Ив[анович] дружил со мной и моей сестрой Фредерикой. Он приходил обычно либо с Шост[аковичем], либо с Львом Васильевичем Пумпянским — философом, философом, полиглотом. Это уже был конец 20-х годов» (цит. по рукописной книге И.М.Наппельбаум «Убегающая даль» — архив Е.М.Царенковой).

<sup>59</sup> Репродукцию портрета и об истории его создания см.: Наппельбаум И. В те двадцатые // Огонек. 1985. №40. С.23.

<sup>60</sup> История создания этого знаменитого портрета Есенина описана самим М.С.Наппельбаумом: МН. С.74-75, илл. №39.

<sup>61</sup> *Иван Приблудный* (наст. имя и фам. Яков Петрович Овчаренко, 1905-1937) — поэт. Подробнее о нем см.: Бишарев О. «Младший брат» Есенина // Радуга. 1991. №11. С.108-111. Ср. в воспоминаниях В.И.Эрлиха «Право на песнь»: «Приехал Приблудный. Ходит по городу в одних трусах. Выходим из дому — Есенин, я и голый Приблудный.

Есенин с первых же шагов:

— А знаешь, я с тобой не пойду! Не потому, что мне стыдно с тобой идти, а потому, что не нужно /.../ Думаешь, я поверю, что ты из спор-

тивных соображений голый ходишь? Брось, милый! Ты идешь голый потому, что это входит в твою программу» (цит. по: С.А.Есенин в воспоминаниях современников. Т.2. М., 1986. С.324).

<sup>62</sup> Михаил Александрович *Фроман* (наст. фам. Фракман, 1891-1940) — поэт, прозаик, переводчик, первый муж И.М.Наппельбаум.

<sup>63</sup> Михаил Леонидович *Слонимский* (1897-1972) — прозаик. Его жена — Ида Исааковна Слонимская (урожд. Каплан-Ингель, р.1903).

<sup>64</sup> Лев Натанович *Луц* (1901-1924) — прозаик и критик.

<sup>65</sup> Александр Николаевич *Самохвалов* (1894-1971) — живописец и график.

<sup>66</sup> Сергей Евгеньевич *Нельдихен* (наст. фам. Ауслендер, 1891-1942) — поэт, критик. См. о нем: Чертков Л., Никольская Т. Стихи Сергея Нельдихена // *Neue Russische Literatur Almanach*. [Zalzburg]. 1978. S.99-100.

<sup>67</sup> Николай Корнеевич *Чуковский* (1904-1965) — прозаик, мемуарист, сын К.И.Чуковского. Литературную деятельность начинал как поэт.

<sup>68</sup> Ольга Максимовна *Зив* (наст. фам. Вихман, 1904-1963) — поэтесса, прозаик. С июля 1920 занималась в литературной студии при Доме литераторов, где прослушала курс лекций М.А.Кузмина и Ю.Н.Тынянова. Затем перешла в аналогичную студию при Доме Искусств и вскоре стала секретарем литературного отдела Дома Искусств. Весной 1921 была принята в члены Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов и вошла в кружок «Звучащая Раковина», руководимый Гумилевым. См. ее письмо мэтру, подписанное «Ваша верная ученица и почитательница»: Лукницкая В. Николай Гумилев. Л., 1990. С.281. Позднее жила в Москве, последние годы — в Малеевке под Москвой. Сотрудничала в редакциях газет, выпустила несколько книг прозы.

<sup>69</sup> Орест Орестович *Тизенгаузен* — литератор. Появился в студии Дома Искусств в начале 1921 и вскоре женился на О.М.Зив. «Под редакцией Ореста Тизенгаузена и при ближайшем участии М.Кузмина и Анны Радловой» вышел первый номер альманаха «Абракас» (октябрь 1922), в котором Тизенгаузену принадлежат две статьи. Здесь же впервые опубликованы стихотворения Кузмина «Артезианский колодец» и «Муза-орешина», которые посвящены Тизенгаузену. По каким-то причинам был отстранен от редактирования следующих номеров альманаха (см. комм. Г.А.Морева к публ.: Гильдебрандт О.Н. М.А.Кузмин // *Лица* [Т.]1. М.; СПб., 1992. С.287). В письме к Кузмину от 24 июня 1924 Тизенгаузен сообщает, что развелся с женой, «уехал на Мурман, Нов[ую] Землю, Архангельск, Москву» (ЦГАЛИ СПб. Ф.437. Оп.1. Ед.хр.133). По воспоминаниям И.М.Наппельбаум, Тизенгаузен уехал «по чьему-то заданию в поисках старины — мебели для обстановки какого-то вновь открывающегося учреждения» (Наппельбаум И.М. Коротко — о членах кружка «Звучащая Раковина». Машинопись — Архив Е.М. Царенковой). Послужил прототипом одного из героев романа К.Вагинова «Бамбочада» — Фелин-

флеина (см. комм. Т.Л.Никольской и В.И.Эрля в кн.: Вагинов К. Козлияная песнь: Романы. М., 1991. С.572).

<sup>70</sup> Томас Георгиевич *Рагинский-Карейво* — студиец Гумилева, входил в «Звучащую Раковину» — стихи его опубликованы в одноименном альманахе кружка. Работал статистиком. Сведений о его дальнейшей судьбе разыскать не удалось. 1 февраля 1924 С.Е.Нельдихен, приглашая своего друга, поэта Л.И.Борисова, поехать в Крым, между прочим, писал: «в Ялте же есть Рагинский-Корейво, который всегда посодействует в первое время по приезде. Знаете Вы Рагинского из Звуч[ащей] Раковины? Он уже год живет в Ялте. Я ему написал» (цит. по автографу — архив В.Л.Борисовой).

<sup>71</sup> *Валентин Фридрихович Миллер* (1896-1938) — искусствовед. Занимался в студии Дома Искусств у Гумилева, входил в кружок «Звучащая Раковина». Кроме трех стихотворений, опубликованных в альманахе кружка, по собственному признанию, больше стихов не писал, а к написанным относился впоследствии иронически (сообщено дочерью — О.В.Миллер). В 1915-1919 — студент инженерно-строительного отделения Петроградского политехнического института (не закончил), дважды призывался на военную службу — в «бессрочный отпуск» уволен лишь в августе 1922. В 1923-1929 — аспирант и научный сотрудник Института Искусств. С 1929 по 1937 работал в Эрмитаже. Автор книги «Гюстав Курбэ» (Л., 1935), статей «Французская живопись XVII-го и XVIII-го в.в. в новых залах Эрмитажа» (Город: Сб.1. Пб., 1923. С.52-82), «Адольф Менцель» (Искусство. 1936. №3. С.27-54) и составитель путеводителя по выставке «Бельгийское искусство XIX-XX веков» (Л., 1937). Первым браком (1926-1929) был женат на Ф.М.Наппельбаум. В 1938 приговорен к расстрелу «за шпионаж против СССР в пользу эстонской разведки».

<sup>72</sup> Единственная прижизненная книга Ф.М.Наппельбаум — «Стихи» (Л., 1926). Уже после смерти поэтессы родственниками было изготовлено несколько экземпляров машинописной книжки с ее неопубликованными стихами 1926-1957. По одному из таких экземпляров (из архива И.М.Наппельбаум) большая часть стихотворений была опубликована в кн.: Наппельбаум Ф. Стихи. СПб., 1993. С.57-83.

<sup>73</sup> Филологического факультета в университете в то время не было. Имеется в виду этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук, куда Ольга Наппельбаум поступила в октябре 1922.

<sup>74</sup> Лев Владимирович *Щерба* (1880-1944) — языковед, с 1916 — профессор Петроградского университета.

<sup>75</sup> Сергей Федорович *Платонов* (1860-1933) — историк, с 1899 — профессор Петербургского университета.

<sup>76</sup> *Мария Борисовна Чуковская* (1880-1955) — жена К.И.Чуковского.

<sup>77</sup> Четыре подруги Ольги Моисеевны учились в одном классе бывшей петербургской гимназии Лохвицкой-Скалон, в 1920-1922 — в 14-й Советской Единой Трудовой школе I Городского района. *Мери Михайловна*

(Менделевна) *Лурье* (в замужестве Козак, 1905-1993) — в 1922-1924 училась на этнолого-лингвистическом отделении факультета общественных наук (ФОН) Петроградского университета, откуда была исключена; в 1926-1930 — на словесном отделении Института Истории Искусств. Впоследствии работала в библиотеках Ленинграда. Рахиль Григорьевна Каценеленбоген (в замужестве Бокк, 1905-1986) — в 1926 окончила Ленинградский университет экстерном по общественно-педагогическому отделению ФОН, до войны работала в библиотеке Арктического института, с 1944 по 1960 — в отделе каталогизации Публичной библиотеки (тема: «Русская книга 18 века»). Эсфирь Григорьевна Эфрос (1906-1992 или 1993) — в 1925 окончила правовое отделение ФОН Ленинградского университета, впоследствии была известным в Ленинграде адвокатом по уголовным делам. Нина Митрофановна Федорова (в замужестве Кинкулькина, 1906-1978) — в 1925 окончила общественно-педагогическое отделение ФОН Ленинградского университета и всю жизнь проработала на историческом факультете Педагогического института им. А.И.Герцена, читала курс русской истории. В юности увлекалась театром, училась в актерской студии Е.П.Карпова, до войны активно выступала в самодеятельности ленинградского Дома ученых.

<sup>78</sup> Екатерина Борисовна Васильева (урожд. Козак) — переводчица с английского.

<sup>79</sup> Речь идет о Р.Г.Каценеленбоген (см. прим. 77).

<sup>80</sup> *Владимир* Константинович *Грудцов* (?-1929?) — окончил школу экранного искусства при фабрике «Киносевер». С 1917 «занимал ответственные административные должности» (сведения заимствованы из личного дела Грудцова — ЦГАЛИ СПб. Ф.257 («Совкино»). Оп.1. Ед.хр.211. Л.4). В мае 1927 был зачислен на должность администратора на ленинградскую фабрику «Совкино», где участвовал в производстве ряда картин, по крайней мере до февраля 1928. Женится на О.М.Наппельбаум, по-видимому, летом 1926.

<sup>81</sup> Имеется в виду «проверка качественного состава ВУЗов и ВТУЗов», централизованно проводившаяся весной 1924. В каждом вузе из числа партийных студентов были образованы местные проверочные комиссии. Официальной причиной исключения служили либо «академическая неуспеваемость» студента, либо «переполнение отделения». Однако ни для кого не было секретом, что истинной причиной и в том и в другом случае являлось «непролетарское» происхождение студента. Отчисленная местной комиссией, Ольга Наппельбаум дважды (в июне и в октябре 1924) ходатайствовала о восстановлении в правах студента в Губернскую проверочную комиссию, но каждый раз ей было отказано (см. ее студенческое дело — ЦГА СПб. Ф.7240. Оп.6. Ед.хр.1523. Л.3,4).

<sup>82</sup> Фотоателье, где работал М.С.Наппельбаум, находилось на Петровке — напротив Пассажа. Во время войны это здание было разрушено. По возвращении из эвакуации и до середины 1950-х М.С.Наппельбаум работал в фотоателье на Арбате, 40, которое существует и ныне.

<sup>83</sup> Ольга Ивановна *Преображенская* (1881, по др. данным 1884-1971) — актриса, режиссер, сценарист. В 1927-1941 работала совместно с режиссером Иваном Константиновичем *Правовым* (1899-1971).

<sup>84</sup> В беседе с автором комментария 15 июля 1995 З.И.Троцкая подтвердила, что этот эпизод действительно имел место. Однако слова Маяковского она слышала в другой формулировке: «Сегодняшний вечер для меня особенно интересен тем, что в зале присутствует Мэри Лурье».

<sup>85</sup> Все пять подруг запечатлены на фотографии работы И.М.Наппельбаум. Без какой-либо аннотации этот портрет опубликован в альбоме: Моисей Наппельбаум: Наш век / Сост. Илья Рудяк. Ann Arbor, 1984. С.8.

<sup>86</sup> Александр Иосифович *Костомолоцкий* — артист Театра имени Моссовета, художник-график (ученик Д.Н.Кардовского). См. о нем: [Б.п.] Два таланта // Театральная Москва. 1967. 21-27 сентября. №29. С.6-7; Костомолоцкий А. История этого портрета [О портрете К.С.Станиславского работы А.И.Костомолоцкого] // Художественная самодеятельность. 1963. №2. С.16.

<sup>87</sup> *Альберт Моисеевич Сливкин* (1886- не ранее 1938) — с 1927 был назначен заместителем директора и заведующим производством ленинградской кинофабрики «Совкино» (с 1936 — киностудия «Ленфильм»). В 1902-1909 Сливкин принимал участие в революционном подполье, четырежды арестовывался, трижды высылался и дважды бежал из ссылки. В 1914-1918 служил в Городском и Земском Союзах. В гражданскую войну занимался снабжением Красной армии. С конца 1918 до 1922 был динкурьером. В 1922, по собственным словам, «организовал» Коммунальный банк и ломбард в Петрограде. В 1922-1924 — заместитель директора «Севзапкино», ездил в командировки в Европу, занимался импортом и экспортом фильмов. В 1925-1926 — заведующий хозяйством и транспортным отделом торгпредства СССР во Франции. По возвращении из-за границы был одним из руководителей «Севзапкино», а затем «Межрабпомфильма». После того, как последний был слит с «Мосфильмом», занимал должность заместителя директора студии «Мосфильм». Подробнее о нем см.: «Краткое жизнеописание /.../ Альберта Моисеевича Сливкина» (ЦГАЛИ СПб. Ф.257. Оп.1. Ед.хр.673. Л.65), а также воспоминания Г.Мичурина «Актер в немом кино» (Из истории Ленфильма. [Л.], 1968. С.63-64).

<sup>88</sup> *ФЭКС* (Фабрика эксцентрического актера, 1921-1926) — творческая мастерская, организованная в Петрограде режиссерами Григорием Михайловичем *Козинцевым* (1905-1973) и Леонидом Захаровичем *Траубергом* (1902-1990). Первоначально — театральная молодежная группа, с 1924 — мастерская внутри ленинградской киностудии.

<sup>89</sup> Фильмы режиссеров Л.З.Трауберга и Г.М.Козинцева: «С.В.Д.» (1927, сценарий Ю.Г.Оксмана и Ю.Н.Тынянова), «Новый Вавилон» (1929, сценарий Л.З.Трауберга и Г.М.Козинцева), «Шинель» (1926, сценарий Ю.Н.Тынянова).

<sup>90</sup> *Надежда Филипповна Фридлянд* — актриса, литератор. По непроверенному сообщению Е.М.Царенковой, ее воспоминания о Маяковском были опубликованы в США. В настоящее время живет в Бостоне.

<sup>91</sup> Владимир Самойлович *Горовиц* (1904-1989) — пианист. В 1925 уехал из СССР и с 1928 жил в США.

<sup>92</sup> Имеется в виду ленинградский филиал Ассоциации художников революции (АХР, 1928-1932).

<sup>93</sup> *Сергей Дмитриевич Спасский* (1898-1956) — поэт, переводчик, прозаик. О его жене см. прим. 98.

<sup>94</sup> Это была комната, дверь которой выходила прямо на улицу, — бывшая комната для прислуги. Ольга Моисеевна прожила здесь недолго и вскоре переехала, поменявшись со своим братом Львом. В 1937 именно в этой комнате (впрочем, уже благоустроенной и «превращенной в квартиру») нередко бывал О.Э.Мандельштам, друживший со Львом Моисеевичем и его женой Людмилой Константиновной Корниловой. Их годовалому сыну Эрику Мандельштам посвятил стихотворение. Автограф стихотворения погиб, но в памяти Людмилы Корниловны сохранилась первая строка: «Кину око удивленное». По ее словам, когда Мандельштам последний раз приходил к ним домой, Лев Моисеевич одолжил ему свое кожаное пальто (было холодно). После этого Мандельштам исчез — его арестовали в этом пальто (подробнее см. запись беседы с Л.К.Корниловой от 17 июля 1995 — архив автора комментария). В квартире дома 12 по улице Воровского семья Льва Наппельбаума прожила до 1970-х. Впоследствии дом был снесен. См. также: Видгоф Л.М. О.Э.Мандельштам в Москве // Литературное обозрение. 1995. №2. С.87.

<sup>95</sup> *Зинаида Иосифовна Троцкая* (с нач. 1950-х Трокская, р.1906) — инженер-проектировщик, специалист по цветным, редким и драгоценным металлам. В 1923 закончила бывшую гимназию М.Н.Стоюниной, где некоторое время училась в одном классе с Д.Д.Шостаковичем. Жила одно время на даче у Н.О.Лосского, дружила с его детьми. Б.Н.Лосский, учившийся на класс старше Троцкой, неоднократно упоминает ее в своих мемуарах «Наша семья в пору лихолетья. 1914-1922» (Минувшее: Исторический альманах. [Вып.]12. М.; СПб., 1993. По указателю). Закончила Ленинградский политехнический институт. С 1928 живет в Москве. С Ольгой Грудцовой была знакома приблизительно с 1925.

<sup>96</sup> *Коунрад* — месторождение меди, недалеко от озера Балхаш. На его основе впоследствии был построен огромный Балхашский горно-металлургический комбинат. Экспедиция, в которой участвовали Троцкая и Грудцова, имела целью выбор площадки для этого строительства.

<sup>97</sup> *Борис Гитманович Каплун* (1894-1937?) — советский администратор, инженер-механик по образованию, учился в Университете в Тулузе. Из состоятельной еврейской семьи (двоюродный брат М.С.Урицкого). О его карьере в первые годы революции несколько противоречивые сведения даны в комментарии к воспоминаниям Ю.П.Анненкова «Николай

Гумилев» (ЖГ. С.268-269) и в биографической справке А.М.Грачевой (см.: Ремизов А. Дневник 1917-1921 // Минувшее. [Вып.]16. М.; СПб., 1994. С.544). Занимая крупные посты в Петроградском Совете, Каплун оставил по себе добрую память как друг и покровитель людей искусства и науки. Так, например, в своих воспоминаниях о Вольфиле Н.И.Гаген-Торн пишет о нем: «меценат и радетель Вольфилы, безмерно интересовавшийся делами русской литературы, почитатель А.Белого и А.Блока» (цит. по комм. Дж.Мальмстада к публ.: А.Белый и П.Н.Зайцев. Переписка // Минувшее. [Вып.]15. М.; СПб., 1994. С.295). Дружба Каплуна с Белым продолжалась и в 1930-е (см. письмо Белого к Каплуну от 1 апреля 1931. Там же. С.288-289). Приблизительно в 1925 Каплун переехал в Москву — по словам его свояченицы Нины Аркадьевны Гнуни, этот неожиданный переезд был как-то связан с «невозвращением» О.А.Спесивцевой (см. прим.100). В 1937 он был арестован и, по-видимому, расстрелян. См. о нем также: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т.1-2. М., 1991. По указателю; Никулин Л. Записки спутника. Л., 1932. С.85-86.

Н.А.Гнуни рассказывала автору этих строк, как в 1938 она пыталась спасти архив Каплуна. Придя в пустую квартиру сестры (см. прим.101) на следующий день после ее ареста, Нина Аркадьевна забрала с собой наиболее ценную часть бумаг — в основном письма. Среди прочих были письма А.А.Блока, Ф.И.Шалапина, адресованные Каплуну, а также записка И.П.Павлова, в которой знаменитый физиолог благодарил за присланный мешок картошки, «который он весь скормил своим собакам» (эту записку Каплун однажды сам читал в присутствии Н.А.). Во время войны Н.А. оставила архив на хранение у одной приятельницы, и он бесследно исчез (запись беседы 16 июля 1995).

<sup>98</sup> София Гитмановна Спасская (урожд. Каплун, 1901-1962) — скульптор. В начале двадцатых годов была деятельным членом Вольной философской ассоциации, участвовала в организации публичных лекций при Всероссийском Союзе писателей (см., например, упоминания о ней в «Записных книжках» А.Блока — М., 1965. С.490-491). Обращенные к ней инскрипты А.Блока и А.Ремизова опубликованы в кн.: Каталог антикварно-букинистического аукциона 20 ноября 1993 г. / Подбор и описание лотов П.А.Дружинина и А.Л.Соболева. М. [1993]. С.12, 76, факсимиле между С.11 и 12 и между С.75 и 76. Была женой С.Д.Спасского и впоследствии, так же как и он, находилась в заключении. О взаимоотношениях семьи Спасских с А.Белым см.: Письма Андрея Белого к С.Д. и С.Г.Спасским / Вступ. статья и прим. Н.Алексеева. Подг. текста В.С.Спасской // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С.642-662.

<sup>99</sup> Подробнее об этом см. в воспоминаниях Ю.П.Анненкова «Дневник моих встреч» (Указ. изд. Т.1. С.100-101). Очевидно, этот замысел Каплуна был инспирирован декретом СНК РСФСР о разрешении кремации, принятым 7 декабря 1918.

<sup>100</sup> Ольга Александровна Спесивцева (1895-1991) — балерина. Уехала во Францию в начале 1924, причем бумаги на выезд были выданы ей Каплуном (см.: Анненков Ю. Дневник моих встреч. Указ. изд. Т.1. С.100). По

сообщению Н.А.Гнуни, вскоре Каплун получил от Спесивцевой записку, что она не вернется.

<sup>101</sup> *Марианна Аркадьевна Гнуни* (сценический псевдоним — Башкирцева, 1906-1972) — актриса, с 1926 — жена Б.Г.Каплуна. Закончила студию Р.Н.Симонова. В 1938 была принята в МХАТ. В том же году была арестована и провела 10 лет в лагерях. Впоследствии — артистка Московской филармонии, выступала с концертами как чтец-декламатор.

<sup>102</sup> *Рубен Николаевич Симонов* (1899-1968) — актер и режиссер. С 1924 — режиссер (с 1939 — главный режиссер) Театра имени Вахтангова. В 1928-1937 руководил театральной студией, носящей его имя.

<sup>103</sup> *Георгий Иванович Благодрагов* (1895 или 1896-1938) — в октябре 1917 — комиссар Петропавловской крепости, откуда по его приказу был произведен обстрел Зимнего дворца; в 1918-1932 — работал в органах ВЧК—ОГПУ; в 1932-1934 — замнаркома путей сообщения.

<sup>104</sup> *Леонид Петрович Серебряков* (1890-1937) — с 1931 начальник Центрального управления шоссейных дорог и автотранспорта. В 1937 расстрелян по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра».

<sup>105</sup> *Иван Никитич Смирнов* (1881-1936) — в 1923—1927 нарком почт и телеграфа СССР. С 1933 находился в заключении по обвинению в антисоветской деятельности. В 1936 расстрелян по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».

<sup>106</sup> *Дзига Вертов* (наст. имя и фам. Денис Аркадьевич Кауфман, 1896-1954) — режиссер, сценарист, теоретик кино.

<sup>107</sup> Ср. с дневниковой записью самого К.И.Чуковского: «А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал /.../ У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец, или хотя бы дед. Это тогдашняя ложь, эта путаница — и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо к кому бы то ни было — я вижу: это письмо незаконнорожденного, "байструка"» (Цит. по: Каверин В. Дневник К.И.Чуковского // Чуковский К. Дневник 1901-1929. М., 1991. С.3-4).

<sup>108</sup> *Ольга Васильевна Лепешинская* (р.1916) — балерина, в 1933-1963 — солистка Большого театра.

<sup>109</sup> Речь идет о первой зарубежной командировке А.М.Сливкина от «Севзапкино» (июль 1924 — 30 января 1925), во время которой он посетил ряд европейских стран (см.: Георгий Н. Письмо из Парижа // Жизнь искусства. 1924. №46. С.16). В течение этой поездки Сливкин какое-то время сопровождал О.А.Спесивцеву (сообщено Н.А.Гнуни и З.И.Трокской).

<sup>110</sup> Последние строки стихотворения А.А.Блока «Девушка пела в церковном хоре...» (1905).

<sup>111</sup> *Михаил Ильич Ромм* (1901-1971) — режиссер и сценарист.

<sup>112</sup> Елена Александровна Кузьмина (1909-1979) — актриса, участвовала в мастерской ФЭКС. Лучшие роли исполнила в фильмах М.И.Ромма.

<sup>113</sup> Эдуард Казимирович Тиссэ (1897-1961) — оператор.

<sup>114</sup> Фридрих Маркович Эрмлер (1898-1967) — режиссер.

<sup>115</sup> Андрей Николаевич Москвин (1901-1961) — оператор, много лет работал с Г.М.Козинцевым и Л.З.Траубергом.

<sup>116</sup> Борис Яковлевич Бабицкий — директор «Мосфильма», был арестован в 1935.

<sup>117</sup> Имеется в виду Софья Ивановна Соколовская (партийный псевдоним — Елена Кирилловна Светлова, 1894-1938) — участница борьбы за советскую власть на Украине, с 1919 — на партийной работе в Москве. В 1935-1937 — директор студии «Мосфильм».

<sup>118</sup> Яков Аркадьевич Яковлев (наст. фам. Эпштейн; 1896-1938) — с 1929 нарком земледелия СССР.

<sup>119</sup> Борис Захарович Шумяцкий (1886-1938) — чл. КП с 1903, революционер и участник гражданской войны, с 1919 — на дипломатической, партийной и государственной работе. С конца 1930 — председатель правления Союзкино. См. о нем: Тейлор Р. Борис Шумяцкий и советское кино в 30-е годы: идеология как развлечение масс // Киноведческие записки. Вып.3.. М., 1989. С.38-67.

<sup>120</sup> Соломон Михайлович Михозэлс (наст. фам. Вовси; 1890-1948) — актер и режиссер.

<sup>121</sup> Анастасия Павловна Потоцкая-Михозэлс (ум. в 1980-е) — с 1934 жена С.М.Михозэлса. По профессии биолог, специалист в области онкологии. См. о ней: Гейзер М. Графиня и король // Литературная газета. 1989. 8 февраля. №6. С.8.

<sup>122</sup> Речь идет о семьях: Алексея Алексеевича Игнатьева (1877-1954) — дипломата, генерал-лейтенанта советской армии и мемуариста; актера Малого театра Михаила Михайловича Климова (1880-1942) и писателя Алексея Николаевича Толстого (1883-1945). Л.К.Корнилова помнит шутку А.Н.Толстого: «Ничего себе компания — бедный еврей и два графа!» (имеются в виду Михозэлс, Игнатьев и сам Толстой). Подробнее об их дружбе см.: Потоцкая-Михозэлс А. О Михозэлсе богатым и старшем // Михозэлс: Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михозэлсе. М., 1981. С.476-488.

<sup>123</sup> Наровчатов Сергей Сергеевич (1919-1981) — поэт.

<sup>124</sup> Более подробных сведений об этом человеке разыскать не удалось. В раннем варианте воспоминаний Грудцова заменила его имя вымышленным «Яков Ефимович Гольдберг».

<sup>125</sup> Илья Захарович Трауберг (1905-1948) — режиссер, сценарист, киновед.

<sup>126</sup> Марк Захарович *Цейтлин* (1901-1971) — сценарист, работал в историко-документальном жанре.

<sup>127</sup> Василий Васильевич *Куза* (1902-1941) — актер, с 1921 работал в Студии Вахтангова (Третьей Студии МХТ).

<sup>128</sup> Лев Владимирович *Голуб* (р.1904) — режиссер, с 1946 работал в белорусском кино.

<sup>129</sup> Леонид Максимович *Леонов* (1899-1994) — прозаик.

<sup>130</sup> *Николай Николаевич Шпанов* (1896-1961) — прозаик.

<sup>131</sup> *Илья Вениаминович Вайсфельд* (р.1909) — критик, теоретик кино, педагог. С 1946 и по сей день работает во ВГИКе (профессор с 1967). Автор многочисленных статей и книг по теории, истории и практике кино.

<sup>132</sup> Розалия Львовна незадолго до смерти заболела склерозом мозга.

<sup>133</sup> Подробнее об этом см. очерк О.М.Грудцовой «Луговской и киноискусство» (Литературная газета. 1969. 10 июля).

<sup>134</sup> Михаил Исаакович *Берестинский* (р.1905) — драматург, киносценарист.

<sup>135</sup> Сергей Александрович *Ермолинский* (1900-1984) — сценарист. В кино работал с 1925. Автор сценариев многочисленных фильмов, в том числе — «Неуловимые мстители» (1967, совместно с Э.Г.Кеосаяном), «Эскадрон гусар летучих» (1981).

<sup>136</sup> *Екатерина Михайловна Фракман* (в замужестве Царенкова, р.1932) — дочь И.М.Наппельбаум и М.А.Фромана, по профессии инженер.

<sup>137</sup> *Валентин Иванович Кадочников* (1911-1942) — режиссер и художник кино. См. некролог С.М.Эйзенштейна «Валя Кадочников» и комм. к нему в кн.: Эйзенштейн С. Избранные произведения: в 6 тт. Т.5. М., 1968. С.451-453, 577. Судьбам погибшего художника и его учителя в значительной мере посвящена поэма В.А.Луговского «Город снов».

<sup>138</sup> Михаил Васильевич *Тихонов*. Более подробных сведений о нем разыскать не удалось.

<sup>139</sup> Грудцова О. О романтизме и реализме // Октябрь. 1947. №8. С.180-185.

<sup>140</sup> *Борис Аронович Бялик* (1911-1988) — литературовед.

<sup>141</sup> Анатолий Владимирович *Софронов* (1911-1990) — поэт, драматург. В 1948-1953 — секретарь Союза Писателей СССР, в 1953-1986 — главный редактор журнала «Огонек».

<sup>142</sup> В 1947 в журнале «Искусство кино» был опубликован очерк И.В.Вайсфельда «Заметки о революционном романтизме» (№7. С.17-21). Спустя год в «Литературной газете» появилась откровенно доносительская статья «Космополиты в кинокритике и их покровители». Анонимный критик, обрушившись на журнал «Искусство кино», в частности, ци-

тировал строки из статьи Вайсфельда: «И.Вайсфельд, например, формулирует ленинские положения в таком чудовищно искаженном виде: "Ленин учил, — безапелляционно заявляет он, — что сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его"» (№7. 1947). Под формулировкой Вайсфельда охотно подписался бы любой идеалист, любой махист» (Литературная газета. 1949. 16 февраля. №14. С.2). В беседе с автором комментария 18 июля 1995 И.В.Вайсфельд вспоминал: «"Литературная газета" процитировала положение моей статьи как космополитическое, не ведая, что раскавыченный текст взят мной из "Философских тетрадей" Ленина. Самое страшное, что это была редакционная статья — фактически, это было "приглашение за решетку". Я написал заявление в секретариат Союза Писателей о том, что нападки были на Ленина, и если "Литературная газета" не извинится, вопрос будет передан в Президиум ЦК КПСС. В следующем же номере появилась заметка "Исправление ошибки" — это был единственный случай такого рода за всю космополитическую кампанию... Автор же "редакционной" статьи, встретив меня в Малеевке в 1993 году, преподнес мне оттиск своей новой статьи в журнале "Огонек" с дарственной надписью, заканчивающейся словами: "в знак уважения и с запоздалым покаянием"».

<sup>143</sup> Имеются в виду книги О.М.Грудцовой «Александр Бек» (М., 1967) и «Сергей Наровчатов» (М., 1971).

<sup>144</sup> *Майя* Луговская (наст. имя и фам. Елена Леонидовна Быкова; 1914-1993) — прозаик, поэт, по специальности инженер-гидролог, кандидат наук. Выпустила три книги стихов. Как прозаик печаталась под своей настоящей фамилией. Жена В.А.Луговского, была с ним до последних дней его жизни, но брак их не был официально оформлен. В 1980-е увлеклась живописью. В Центральном Доме литератора в 1993 была устроена небольшая посмертная выставка ее работ.

<sup>145</sup> Подробнее об этом см. мемуарную заметку О.М.Грудцовой «Мемориальный листок» (Авторизованная машинопись (1971) — РГАЛИ. Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.10).

<sup>146</sup> *Анна* Леонидовна Быкова (1905-1975) — экономист и преподаватель.

<sup>147</sup> Цитата из стихотворения В.А.Луговского «Жестокое пробуждение» (1929).

<sup>148</sup> Автограф этого завешания сохранился — РГАЛИ. Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.80. Л.5.

<sup>149</sup> Явная контаминация. 2 апреля 1946 Ахматова действительно выступала в Дубовом зале Московского Дома писателей. Но выступление, вызвавшее, якобы, неудовольствие Сталина, состоялось 3 апреля в Колонном зале Дома Союзов. Ахматова выступала здесь в составе большой группы писателей, и ее выход на сцену — вместе с Пастернаком — публика встретила стоя (о реакции Сталина на это см., например: Боров Ю. Сталиниада. М., 1990. С.287). По словам З.Б.Томашевской, Ахматова, показывая фотографию, где она снята вместе с Пастернаком на этом вечере,

каждый раз сопровождала ее следующей фразой: «Это мы с Борисом Леонидовичем зарабатываем постановление».

<sup>150</sup> Татьяна Алексеевна *Озерская-Тарковская* (1907-1991) — переводчица с английского, вторая жена А.А.Тарковского.

<sup>151</sup> Строки из стихотворения А.А.Тарковского «Все без нее не так. Приоткрывая...» (1967-1977).

<sup>152</sup> Нина Константиновна *Бруни* (урожд. Бальмонт; 1901-1989) — дочь К.Д.Бальмонта, жена Л.А.Бруни.

<sup>153</sup> Имеется в виду Анна Генриховна Каминская (р.1939) — дочь И.Н.Пуниной от первого брака.

<sup>154</sup> *Тамара Владимировна Иванова* (урожд. Каширина, 1900-1995) — жена писателя Вс.Вяч. Иванова (1895-1963) — режиссер; Вячеслав Всеволодович Иванов (р.1928) — филолог.

<sup>155</sup> Поэты *Николай Леопольдович Браун* (1902-1975) и *Мария Ивановна Комиссарова* (1904-1994). Их сын *Николай Николаевич Браун* (р.1938) был приговорен к семи годам лагерей и трем годам ссылки по статье 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»), которые отбыл с 1969 по 1979.

<sup>156</sup> *Лев Адольфович Озеров* (р.1918) — поэт и литературовед; Ефим Григорьевич *Эткинд* (р.1918) — филолог.

<sup>157</sup> Анатолий Генрихович *Найман* (р.1936) — поэт, переводчик, в 1962-1966 — секретарь Ахматовой; *Эмма Григорьевна Герштейн* (р.1902) — литературовед.

<sup>158</sup> Заключительная строка поэмы В.А.Луговского «Первая свеча».

<sup>159</sup> В июне 1941 Луговской в качестве военного корреспондента выехал на Северо-Западный фронт. Под Псковом на его глазах был разбомблен поезд. Это повлекло за собой нервный стресс и осложнение болезни (тромбофлебит, полиневрит). В начале сентября Луговской был демобилизован и положен в Кремлевскую больницу, откуда после лечения направлен в эвакуацию в Ташкент 14 октября 1941. Подробнее об этом см.: Левин Л. Владимир Луговской: Книга о поэте. М., 1972. С.167-170.

<sup>160</sup> *Эрик Львович Наппельбаум* (р.1936) — сын Льва Моисеевича Наппельбаума и Людмилы Константиновны Корниловой. По профессии — инженер-кибернетик.

<sup>161</sup> *Елена Сергеевна Булгакова* (урожд. Нюренберг, в первом браке Неёлова, во втором Шиловская, 1893-1970) — вдова М.А.Булгакова. «Романические» отношения Луговского с Булгаковой (в начале 1940-х) нашли отражение в поэме Луговского «Крещенский вечерок» (сообщено М.В.Ногтевой).

<sup>162</sup> Более авторитетные свидетельства о встречах Луговского с Хемингуэем неизвестны. Луговской был в Париже с группой советских поэтов в конце 1935. Новый 1936 год они встречали в доме Эльзы Триоле.

Подробнее об этой поездке см.: Левин Л. Владимир Луговской: Книга о поэте. Указ. изд. С.128-129.

<sup>163</sup> Михаил Семенович *Голодный* (наст. фам. Эпштейн; 1903-1949) — поэт.

<sup>164</sup> Людмила Константиновна Корнилова (р.1912) — жена Льва Моисеевича Наппельбаума (с 1932), художница.

<sup>165</sup> *Милочка* — Людмила Владимировна Голубкина (р.1933) — дочь В.А.Луговского от второго брака.

<sup>166</sup> Воспоминания О.М.Грудцовой о *Юрии Карловиче Олеше* см.: РГАЛИ. Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.6 (Авторизованная машинопись).

<sup>167</sup> *София* Семеновна *Виноградская* (1901 или 1904-1964) — прозаик и драматург.

<sup>168</sup> Михаил Семенович *Панич* (1903-1990) — прозаик.

<sup>169</sup> Андрей Игоревич Царенков (р.1963) — сын Е.М.Царенковой.

<sup>170</sup> Грудцова О. Андрюшин день // Дошкольное воспитание. 1968. №9. С.39-41.

<sup>171</sup> Полный текст надписи: «Любимому дружку — Оленьке от высокоодаренного и крайне почтенного ее верного друга. Владимир Луговской. Переделкино. Самый конец апреля, когда уже летают первые бабочки и стрекозлы. Год 1957» (печатается по «Списку текстов дарственных надписей писателей...», составленному О.М.Грудцовой. Машинопись — РГАЛИ. Ф.2812. Оп.1. Ед.хр.151. Л.21).

<sup>172</sup> Пелагея Александровна Орел (1910-1967) — домработница в семье В.А.Луговского.

<sup>173</sup> Эта надпись сделана на обложке книги: Луговской В. Стихи (Библиотека «Огонька». №36). М., 1951. Хранится в библиотеке РГАЛИ.

<sup>174</sup> В 1943 Михозлс был делегирован (вместе с И.Фефером) Еврейским антифашистским комитетом в США, Канаду, Мексику, Великобританию (см.: Краткая летопись жизни и творчества С.М.Михозлса / Сост. Р.М.Брамсон // Михозлс. Указ. изд. С.553).

<sup>175</sup> Лев Романович *Шейнин* (1906-1967) — прозаик и драматург. Писал главным образом в детективно-приключенческом жанре. В 1923-1950 годах работал в суде и прокуратуре СССР. Принимал участие в работе Нюрнбергского трибунала.

<sup>176</sup> Борис Ильич *Збарский* (1885-1954) — биохимик, академик АМН СССР (1944). Бальзамировал тела Ленина и Г.Димитрова.

<sup>177</sup> Имеется в виду монография К.И.Чуковского «Поэт и Палач (Некрасов и Муравьев)», выпущенная отдельным изданием в конце 1921 (на тит.л.: Пб.: Эпоха, 1922).

<sup>178</sup> *Елена Михайловна Тагер* (1895-1964) — прозаик, переводчица. Проведя 10 лет в лагерях и 6 лет в ссылках, приехала в Москву в 1954, «где два

года прожила без прописки, добываясь реабилитации и рискуя вновь очутиться в лагере или ссылке. Она была реабилитирована в 1956 году и смогла вернуться в Ленинград» (Гелих А. Георгий Владимирович Маслов (1895-1920) // Русская мысль. 1990. 31 августа. С.13).

<sup>179</sup> Лидия Корнеевна Чуковская (1907-1996) — редактор, прозаик. Дочь К.И.Чуковского.

<sup>180</sup> *Марина* Николаевна Чуковская (1905-1992) — переводчица. Жена Н.К.Чуковского.

<sup>181</sup> Николай Каллиникович *Гудзий* (1887-1965) — литературовед, академик АН УССР (1945).

<sup>182</sup> Имеется в виду кн.: Боровой Л.Я. Путь слова: Очерки о старом и новом в языке русской советской литературы. М., 1960 (2-е, доп. изд.: 1963).

<sup>183</sup> Вероятно, речь идет о Татьяне Ангелиевне Богданович, писательнице, дочери литератора А.И.Богдановича (1860-1907). О семье Богдановичей К.И.Чуковский писал в статье «Короленко в кругу друзей».

<sup>184</sup> Борис Евгеньевич *Вотчал* (1895-1971) — терапевт, академик АМН СССР (1969). Посещал К.И.Чуковского.

<sup>185</sup> Искаженная цитата из стихотворения Н.П.Огарева «Мой русский стих, живое слово...», обращенного к Мери Сэтерленд.

<sup>186</sup> Меер Моисеевич *Аксельрод* (1902-1970) — художник.

<sup>187</sup> Нами опущен небольшой фрагмент, в котором идет речь о дружбе с театральным критиком Инной Люциановной Вишневской (р.1925) и о туристической поездке в Лондон и Париж.

<sup>188</sup> *Александра Яковлевна Бруштейн* (1884-1968) — прозаик и драматург.

<sup>189</sup> *Ивинская Ольга* Всеволодовна (1913-1995)— литератор.

<sup>190</sup> Генрих Густавович *Нейгауз* (1888-1964) — пианист, педагог, профессор Московской консерватории (с 1922).

<sup>191</sup> Аркадий Алексеевич *Первенцев* (1905-1981) — прозаик.

<sup>192</sup> Иосиф Ильич *Юзовский* (1902-1964) — театральный и литературный критик.

<sup>193</sup> Константин Яковлевич *Финн* (наст. фам. Финн-Хальфин; 1904-1975) — прозаик и драматург.

***ИЗ ИСТОРИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ  
НАСТРОЕНИЙ***



**СУДЬБА ЮРИЯ НИКОЛЬСКОГО\***  
(Из писем Ю.А.Никольского к семье Гуревич  
и Б.А.Садовскому. 1917-1921)

Публикация С.В.Шумихина

«Это был нескладный, но искренний и талантливый человек. Он погиб рано, в безрассудной и трагической аванюре», — написала о Юрии Никольском в автобиографической повести «Одна судьба» О.Г.Морозова<sup>1</sup>.

О том, что за «авантюра» стала причиной гибели, в книге Морозовой ничего не сказано. П.Б.Струве за полстолетия до Морозовой тоже коснулся конкретных обстоятельств смерти Никольского в некрологе в «Русской мысли» очень осторожно, в завуалированной форме. Ясно, что в 1922 делалось это для того, чтобы не повредить оставшимся в Советской России людям, причастным к этой истории. Книга же Ольги Морозовой вышла в свет уже после смерти автора, и не исключена возможность редакторского или цензурного вмешательства в ее текст (впрочем, никаких фактов на этот счет у нас нет). «Авантюра», которой закончилась жизнь Никольского, напоминала финал набоковского «Подвига», — но об этом будет сказано ниже.

П.Б.Струве хорошо знал Никольского, дружившего с его сыновьями, неоднократно помещал в эмиграции в своем журнале «Русская мысль» его статьи. В некрологе он писал:

В нем было еще много незавершенного и даже незрелого, в нем, как в писателе, была какая-то мешковатость и угловатость, может быть, непоправимая. Но в нем, как писателе и как историке, была и какая-то неутолимая жажда свершения, какой-то неутишимый интерес к жизни духа и к жизни слова, к человеческой личности, как к сосуду человеческого духа, единого и в то

---

\* От редакции альманаха «Минувшее»: Пользуемся случаем поблагодарить редакцию журнала «De Visu», предоставившую нам эту публикацию, а также помещенные в наст. выпуске статьи И.А.Доронченкова и М.А.Колерова.

<sup>1</sup> Морозова О. Одна судьба. Л., 1976. С.97.

же время единственного и потому множественного. /.../ Может быть, для «эрудита», каким по профессии должен был быть или стать Юрий Никольский, нужно было хоть немножко педантизма и суровости, эгоизма и черствости. Но ничего этого не было в нем. В Юрии Никольском как-то странно и в то же время неизъяснимо-прелестно сожительствовали эпикуреец, которому хотелось как можно полней и глубже напиться жизни и ее радостей, и святой, от которого исходили лучи какого-то бескорыстно изливаемого света доброты и кротости. Он хотел взять как можно больше от жизни и знания, и был в то же время расточительно, до самозабвения, любовен и наивен.

Так он и погиб. Он удовлетворительно устроился в Белграде /.../ Но любовь к России потянула его на родину, к любимым людям — разделить их тяготы, утешить и обласкать их, и свою душу наполнить ответной нежностью и лаской. Так жертвенно и в то же время влекомый жаждой жизни и любви свершил он свой короткий жизненный путь<sup>2</sup>.

Кем же был этот «подававший надежды» молодой историк литературы и поэт, самоуверенно взирающий на нас сквозь пенсне с плотной картонки старой карточки?

Детство Юрия Никольского прошло на юге. Родился он в Елизаветграде в 1893, жил в Одессе. Отец был довольно известным: публицист, депутат Государственной думы, по политическим убеждениям тяготевавший к кадетам. Мать, как упомянула в своей книге О. Морозова, жила в Швейцарии на положении эмигрантки (?), и Юрий ездил туда ее навещать. В Петербурге он учился в Выборгском коммерческом училище, где совместно обучались юноши и девушки — пример для учебных заведений дореволюционной России едва ли не исключительный. Впоследствии в этом же училище занимался его младший брат Сергей. В Петербургском университете Никольский стал активным участником Пушкинского семинария профессора С.А. Венгерова. Вокруг него, обладавшего свойством объединять людей, как вспоминала Морозова, сплотился небольшой кружок: Борис Эйхенбаум, Глеб Струве, Василий Комарович. Тесная дружба связала Никольского с двумя большими семействами, оставившими свой след в русской истории. В Петербурге это были Гуревичи и Андрониковы (адвокат Луарсаб Николаевич — отец известного литературоведа и рассказчика Ираклия Андроникова и физика, академика АН Грузии, Элевтера Андроникашвили — был женат на Екатерине Яковлевне Гуревич). В Крыму это была семья князя Оболенского, породнившаяся с общественными деятелями и виноделами Винбергами.

Писательница, переводчик, историк театра и критик Любовь Яковлевна Гуревич (1866-1920), редактор-издатель выходившего в 1890-х журнала «Северный вестник» и редактор литературного отдела журнала «Русская мысль», стала для Никольского важнейшим авторитетом, как кем он мог обсуждать самые сложные вопросы жизни. В семье председа-

<sup>2</sup> Русская мысль. 1922. №6-7. С.303-305.

теля Таврической земской управы князя В.А.Оболенского, детям которого Никольский давал уроки, он нашел свою любовь, которую называл в переписке «тихой и кроткой», «Беатриче». Эта любовь в конечном счете и стала причиной его гибели...

Окончание университета, при котором Никольского оставили кандидатом для приготовления к профессорскому званию, совпало с Февральской революцией. Он принял ее, как и его кадетские друзья, восторженно. Эйфория, впрочем, продолжавшаяся всего две-три недели, много — месяц, охватила едва ли не поголовно всю российскую интеллигенцию. Но самостоятельность и неординарность суждений никогда не оставляли Никольского. Видя, как при первом соприкосновении с жестокой реальностью идея мгновенно опошляется, он уже 31 марта 1917 написал Л.Я.Гуревич:

О, дай Бог, дай Бог нам столько страсти к идее, столько любви к идее, как в инквизиции, столько страха за то, что идея исчезнет. Дай Бог! Это выражалось в дикое время дико — убийства и пытки. Но разве этого они хотели? И вот интеллигент Бокль, умный «кадет» стоит перед инквизитором и говорит: «Почему они так моральны и чисты в своей частной жизни?» Додуматься: почему? — он не может. Я бы мог привести еще примеры: Савонаролу и Робеспьера. И как я буду ругать все это?! Конечно, я за свободу совести и веры, как только можно, но ведь растолковать всю мою идеологию можно ли на 10-16 страничках?<sup>3</sup>

8 мая 1917 он сообщал Л.Я.Гуревич об одном очень заманчивом, но неосуществившемся проекте:

А.В.Винберг предлагает мне такое дело, ради которого я готов просидеть все лето в Питере. Именно — редактирование допросов заключенных (Чрезвычайная следственная комиссия). Но, кроме того, что он рекомендует, — желательно еще кого-нибудь, и он называет Вас. Нужно об этом сказать или сенатору Иванову, или Ольденбургу, или Родичеву, или Щеголеву. Лучше всего — первым. Все зависит от Муравьева, который приедет в среду утром из Москвы. Говорят, что будто кроме меня будут редакторами Блок (!) и Вы (!!!) То-то нам было бы всем хорошо вместе!<sup>4</sup>

Надежды на обновление России, на скорую победу над немцами свободной, сознательной русской армии рука об руку с благородными союзниками, рассеялись, как утренний туман. Распад империи, превратившейся в республику (отделение Финляндии, а затем и Украины, которые ре-

<sup>3</sup> РГАЛИ. Ф.131. Оп.1. Ед.хр.163. Л.14об. В предисловии цитируются не вошедшие в настоящую публикацию письма Никольского.

<sup>4</sup> Там же. Л.20. Анатолий Владимирович Винберг — присяжный поверенный, сын В.К.Винберга, тестя князя В.А.Оболенского, директор правления акционерного общества «Э.Ф.Биеринг». Личное знакомство Никольского с Блоком так и не состоялось.

шили, что не следует дожидаться ни созыва Учредительного Собрания, ни окончания войны), анархия в деревне, повальное бегство с фронта целых армий, подлая жестокость полчищ дезертиров в тылу, равная лишь их трусости на фронте<sup>5</sup>, зверства матросов Кронштадта, а потом и Севастополя, бросившихся истреблять офицеров... Все это — на фоне бездействия Временного правительства, истерики Керенского, открыто ведущейся большевистской пораженческой агитации — и т.д. и т.д. На обложке №21 журнала «Барабан» за 1917 год художник Н.Э.Радлов изобразил «тобольского узника» Николая II, читающего за утренним чаем суворинское «Вечернее время». Картинка называется «Прочел с удовольствием» — известная резолюция, которую ставил император на некоторых документах. Под карикатурой подпись: «Погромы, беспорядки, резня... Право, иногда мне кажется, что я все еще на троне...»

В журнале «Бич» (выходил под редакцией А.В.Амфитеатрова) поэт, укрывшийся под инициалом В. (Евг. Венский?) поместил четверостишие «Контрреволюционное»:

Как пришествия Мессии  
Ждали воли на Руси.  
Получили (гран мерси!!)  
И... остались без России.

Российская трагедия не была привнесена в результате масонского заговора, не могла объясниться только лишь результатом пропаганды большевиков. Значительна доля объективной вины русского самодержца за гибель России. Вот что писал Георгий Петрович Блок (литератор и историк, двоюродный брат поэта) о последнем царствовании Б.А.Садовскому 22 октября 1921:

Я помню отчетливо: каждый раз «тревога ожидания» и каждый раз потом упадок. Ведь такое для всех несчастье, что за великими ризами ничего, ничего не сумел сложить своего. Только хорошей голос и великолепная манера кланяться, вернее сказать, как-то слегка вскидывать голову. А все остальное — Чеховское. Помните, прадед его говорил про кирасир: «Какой прекрасный цветник!» А тут мысли не о цветнике, а о *low n tennis*<sup>6</sup>.

В октябре 1917 Никольский со своим младшим братом Сергеем ушли добровольцами на фронт — навстречу бегущим в тыл дезертирам. В основе этого шага была, конечно, и обостренная боль за Россию, но и жела-

<sup>5</sup> Еврейские погромы, устроенные русскими дезертирами в Галиции, в Калуше в июле-августе 1917, многократно превосходили по жестокости любые «немецкие зверства».

<sup>6</sup> РГАЛИ. Ф.464. Оп.2. Ед.хр.55. Слова Николая I приводит А.А.Фет в «Моих воспоминаниях». Целиком комплекс интересных, чрезвычайно фактически и идейно насыщенных писем Г.П.Блока к Б.А.Садовскому 1921-1922 года готовится к печати автором этих строк.

ние разобраться в своих сложных идейных исканиях. Вот что писал Никольский Л.Я.Гуревич в недатированном письме, отправленном незадолго до ухода в добровольцы:

Жить действительно удушливо, но от обмана и призрачности пониманий. Почти все люди не на своих местах, а так как место они ценят больше всего на свете, то уж конечно ничего не выходит. Я думаю о [Глебе] Струве, с которым третьего дня ехал в трамвае. Это мог Вам Борис Михайлович [Эйхенбаум] рассказать. Мне смешно и мучительно стало от мысли, что это l'homme politique 12-13 лет! Жизнь сложна до чрезвычайности, а государственность основана большей частью на внешних и неосновательных до глубины признаниях. И вот ухватываются за понятие, обычно неопределенное, ускользающее, думая, что этим все решено, все трудности жизни совершенно обеспечены. Так у меня, по крайней мере, с социализмом в 12 лет было. Когда я говорил Струве, что, по-моему, Шевченко и малорусский театр выражают нечто такое, что теряется от перевода, он соглашался со мною так доверчиво-детски, но потом вдруг подымал голову и говорил упрямо и тупо, как нашаливший ребенок: «Но ведь это *локальное* наречие». Как будто «локальное» нельзя сказать про польский язык, или лучше сербский, где, например, литература значительно беднее украинской. И знаете, я даже понимаю, что надо или орусить, или обукраинить, иначе будет ублюдок /.../ и ведь простое рассуждение говорит: или украинцы не сила (что я откровенно думаю), тогда с ними считаться не надо, либо уж сила, тогда надо серьезнее отнестись. Всё до смешного ребячески и плоско, все эти Керенские, все эти удушливо глупые в политическом люди, думающие об идее. Еще на днях видел поэта Тинякова, восхищенного Добролюбовым, в народ хочет итти. Я не знаком с ним, а то бы дураком назвал. Это все равно, что на войну итти, может, меня эта самая война за ноги схватит и куда-то вытащит<sup>7</sup>.

С фронта он писал Л.Я.Гуревич:

В том зле, в котором мы живем, как-то особенно, в высокой степени, ценят сближения, и оттого так болезненно, так несдержанно остро бывает несогласие. /.../ Главное, все-таки, война, и даже не «надвигающаяся реакция», о которой говорила Анна Яковлевна так искренне и горячо. Я не могу все-таки спокойно думать о забастовках, — может быть, у меня примитивные чувства, зато и не рассудочность, — когда думаю об оторванных руках, ногах — где-то там, и когда думаю о России, как о живом теле. /.../ Боюсь я анархии, что придет не революция,

<sup>7</sup> РГАЛИ. Ф.131. Оп.1. Ед.хр.163. Л.85-86об. Тиняков Александр Иванович (1886-1934) — поэт. Добролюбов Александр Михайлович (1876-1945?) — поэт, в 1906 ушел в «странники».

а «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Но и это сможем пережить, только бы прогнать как-нибудь, прогнать немцев, это самое насущное<sup>8</sup>.

Октябрьский переворот и «похабный мир» с Германией усилили это чувство боли за Россию. «Известие о мире даже не вызвало почти реакции. Она будет, когда увидишь немцев на улице; что бы ни говорили рационалисты о Германии, несущей порядок, непосредственное чувство переживает с трудом это зрелище. Горечь, обида за наш народ и боль, боль», — писал Никольский Гуревич. Расстрел красными захваченного в плен младшего брата, служившего в Добровольческой армии, обусловил бесповоротный переход Никольского на антибольшевистские позиции. Картинки московского быта при новых властях отразились в написанном в октябре 1919 стихотворении:

### Старухи

Русский Сахар Фунт Сотни Рублей  
(Р.С.Ф.С.Р.)

(Народное остроумие)

Пьют чай, на улицах торгуют  
И Сухаревкой все живут.  
Обжорной лавкой именуется  
Москву интеллигентный люд.

Обжорной лавкой. А скелеты  
Старух с плакучими глазами —  
У них и корки хлеба нету,  
Забыты Богом, бродят сами.

У них ни корки хлеба. Бродят  
По улицам, как по кладбищу;  
Зонтом в вонючих кучах водят:  
Себе отыскивают пищу<sup>9</sup>.

Воспользовавшись командировкой от Наркомпроса в Одессу, Никольский сумел перейти линию фронта и пробрался во врангелевский Крым, к Оболенским. В ноябре 1920, вместе с частью семьи Оболенских (два сына Оболенского Сергей и Андрей, незадолго до того, в ноябре 1920 бежавшие из большевистского плена, и дочь Ася, некоторое время бывшая сестрой милосердия в Белой армии) на французском броненосце «Вальдек Руссо» он покидает родину.

Дальнейший путь Никольского повторяет судьбу тысяч беженцев. Вначале — Константинополь, затем, через Болгарию, в Белград. Изучение литературы южных славян было его давним увлечением. В Белграде Никольский не расстается со ставшими ему родными Оболенскими,

<sup>8</sup> РГАЛИ. Ф.131. Оп.1. Ед.хр.163. Л.85-86об. Письмо не датировано, но по содержанию должно быть отнесено к октябрю 1917.

<sup>9</sup> Там же. Л.69.

поселяется вместе с детьми Владимира Александровича. Вот запись от 12 февраля 1921 из дневника их общего знакомого:

«Вчера весь день провел у молодых Оболенских. Живут они все трое (т.е. сын и дочь Владимира Александровича и Юрий Александрович [Никольский]) на окраине города, в узкой и грязной улице, носящей странное имя Капаоничка. Во дворе маленький домик, в котором они занимают одну комнату. Ход к ним через хозяйскую кухню. Обстановка убогая, керосиновая лампа. Уютно и тепло у них. Говорили про местные учебные дела. Вечер прошел незаметно»<sup>10</sup>.

Никольский получил в Белграде звание приват-доцента местного университета и работал преподавателем в русско-сербской гимназии. Он продолжал научную деятельность, публиковал работы (в основном написанные еще в Петрограде и Москве) в «Русской мысли», печатался в сербских академических изданиях, помещал статьи в парижском «Общем деле» В.Л.Бурцева. Жизнь, казалось, как-то налаживалась. Но в советском Крыму, откуда доходили страшные вести о массовом терроре, оставалась его «Беатриче».

Летом 1921 Никольский встречается с приехавшим из Константинополя В.В.Шульгиным. Бывший депутат Государственной думы собиравший нелегальную экспедицию в Крым. Шульгин намеревался отыскать своего сына (о котором ясновидящая в Константинополе сказала, что он жив), жену и брата Димитрия. (Шульгин не знал, что тот умер от сердечного приступа, когда его вели на расстрел большевики еще в 1920, после первого взятия Крыма красными). В Варне собралось 10 участников экспедиции: среди них спутница Шульгина М.Д.Сидельникова (Марди) и его племянник В.А.Лазаревский, снабженный советским паспортом для того, чтобы пробраться в Одессу и найти там сына и жену Шульгина. (Сын умер в сумасшедшем доме, а Екатерину Григорьевну Шульгину Лазаревскому, как это ни покажется невероятным, удалось тайно вывезти из Советской России). Остальные члены экспедиции преследовали собственные цели, о которых сейчас трудно сказать что-либо определенное. Собирался ли Никольский вывезти из Крыма свою невесту и остающихся там Оболенских или просто хотел убедиться, что они живы, — тоже сейчас сказать трудно.

Экспедиция отплыла из Варны вечером 30 августа 1921. Сильно потрепанная в первый же день плавания, потерявшая мачту, шхуна стала в виду крымского берега, правее Аю-Дага, на 5-й день. Ночью на байдарке Никольский и Шульгин высадились на берег. День наступил дождливый, туманный. Юрий Никольский добрался до имения — и тут был арестован нагрянувшими чекистами. Как пишет биограф Шульгина Д. Жуков, Крымская ЧК о предприятии Шульгина знала заранее и устроила засаду<sup>11</sup>. Возможно, это явилось результатом предательства кого-то из десяти участников. В Болгарию 9 сентября возвратились Шульгин и еще четверо участников экспедиции.

<sup>10</sup> На чужой стороне. Прага, 1925. Вып. XII. С. 140.

<sup>11</sup> Жуков Д. Таинственные встречи. М., 1992. С. 93.

Юрий Никольский был схвачен как шпион, едва успел ступить на крымский берег. Арестовали также всех, находившихся в имении. «В 1921 году моя жена и часть детей, оставшихся в России, были арестованы по обвинению в "шпионстве", за что им грозила смерть», — вспоминал Оболенский<sup>12</sup>. Мужчин отправили в харьковскую тюрьму. Там в январе 1922 Никольский умер от сыпняка. Весной 1922 в этой же тюрьме умер В.К.Винберг. «Этому честному и чистому либералу и народолюбцу пришлось глубоким старцем испытать величайшие личные несчастья для того, чтобы еще после этих ударов, на исходе дней своих (ему было около 85 лет) пережить и ужасные общенародные бедствия, разрушение общественных связей, озверение людей, господство разнузданного произвола. Все это, до тюремного заключения включительно, обрушилось и на него лично», — писал П.Б.Струве в некрологе Винбергу в своем журнале «Русская мысль» (1922. №6-7). Некролог Никольскому помещен рядом.

Женской части семьи Оболенских (то есть его жене, дочери Ирине и двум маленьким дочерям Людмиле и Наталье, 10-ти и 12-ти лет) удалось выйти на свободу. Больше того, со временем они смогли перебраться за границу, где в Париже вся семья воссоединилась. Ася (Александра) избрала монашеский путь под именем мать Бландина. Там же, в Париже, умерла в возрасте 89 лет «Беатриче» — Ирина Владимировна Оболенская (в замужестве Зандрок). Случилось это не так давно, в 1987 году.

Публикуемые письма хранятся в РГАЛИ (Ф.131. Оп.1. Ед.хр.163; Ф.464. Оп.2. Ед.хр.147). Общее количество писем Никольского к семье Гуревич и Б.А.Садовскому значительно превышает отобранные для публикации 33 письма. При публикации исправлены явные описки. Индивидуальные особенности авторской орфографии сохраняются. Подчеркнутые Никольским слова даны курсивом. Авторские датировки унифицированы.

## 1. Л.Я.Гуревич

17 мая 1917

Милый, милый друг! Люленька<sup>1</sup> тут как-то сделала внушение мне, по дружбе, и с тех пор страшно даже написать Вам несколько слов. А когда видишь Вас, то так усердно думаешь об Вас, чтобы не помешать, не быть лишним, что готов съежиться как только можно, вобрать в себя голову, руки, ноги, превратиться в математическую точку... Я превратился совершенно в какую-то фабрику, изготавливающую к каждой субботе — какие-то подозрительные изделия. Все силы ушли на это, а жизнь требует к ответу каждый день, с каждым газетным листом, и чувствуешь срыв в душе, невозможность пойти за этой жизнью сейчас же, как надо, как умеешь.

<sup>12</sup> Оболенский В.А. Моя жизнь, мои современники. Париж, 1988. С.654.

Умные люди со всех сторон судачат, что пришел конец России, где-то демонстрации за Михаила<sup>2</sup>, все эти темные, злые слухи, как змеи, ночами выползают из логовищ, из-под каждой деревяшки, мостовой или камня, и ползут, свиваясь кольцами, и готовы задушить свободу. А главное — армия, армия! Пойдет ли она? Или Керенский будет, обессиленный, падать на стул, а за ним большевик будет сеять смуту в темных, не привыкших к воле, головах?!

...И мир — он страшен для меня...  
И в каждом сердце, в мысли каждой —  
Свой произвол и свой закон...  
Над всей Европою дракон,  
Разинув пасть, томится жадой<sup>3</sup>.

Я, как и все мы, но в раннем детстве, когда все впечатления может быть ярче и глубже освещены, пережил гибель революции — той. Это так было ужасно, что нельзя вспоминать. Но какая то́ была детская игрушка, по сравнению с сейчасним. Что это за несчастный народ такой природно коммунистический, что у него в крови нет чувства собственности, и, прежде всего, собственности на отечество, вечно витающий в какой-то мечте!? И опять, как аккомпанемент, из Блока:

Не ведаем: над нашим станом,  
Как встарь, повита даль туманом  
И пахнет гарью...

И, как в первые дни войны, я вдруг начинаю чувствовать со всей жуткой чуткостью заботливое и строгое лицо Бога, склонившегося из небес, смотрящего на все дымы, на заблудших этих букашек своих, с невыразимой печалью. Какая-то такая эпоха, вроде как когда жил Данте, среди кипения, волнений и теней, бродящих над землей, и железного, судорожного упорства в каждом из нас, и труда, кто еще не теряет своей линии, среди лязга еще не окровавленного, но уже готового к тому оружия.

Все споры о Константинополе и «мире без аннексий» кажутся детскими при шелесте переворачиваемых листов книги судеб, но, видно, надо иногда бывает говорить маленькие, сравнительно, слова, чтоб поступки были в иных планах и размерах.

Что будет с нами со всеми через год, что будет со мною, смиренным Юрием, в такое время ставшим «большим» и окончившим Университет кандидатом? Только одно и есть: героическое бесстрашие и совершенно новые, небывалые, творческие пути для жизни.

Ю.Никольский

Кадеты схоластизируются, как социалисты после 905 года: головные принципы без связи с жизнью! Шаблоном.

Отца моего могут, все-таки, назначить комиссаром в Од[ес-су], тогда я туда проеду — ненадолго.

20-го — 3 экзамена	}	на хороший конец
27-го    "    "		
"    "		

---

Итого, с выдерж[анными] 5-ю — 11.

Осенью — 2 полукурсовых из оставшихся (Новая философия и франц[узский]). Только бы продержаться<sup>4</sup>!

<sup>1</sup> Дочь Л.Я.Гуревич — Елена Николаевна.

<sup>2</sup> Вел.кн. Михаил Александрович, брат царя, в пользу которого Николай II отрекся и который отказался от престола, предоставив избрать образ правления для России Учредительному Собранию.

<sup>3</sup> Эта и последующая цитаты из «Пролога» к «Возмездию» Блока.

<sup>4</sup> Приписано на полях.

## 2. Л.Я.Гуревич

3 авг[уста] 1917

Как я рад, что услышал Ваш голос. Не звонил к Вам, потому что так этого боюсь, еще после Люленькиной проборки.

А я сделался гадкий и совсем прямо гадкий. Даже с Борисом Михайловичем<sup>1</sup> чуть не поссорился. У него брат приехавший, анархист-пораженец<sup>2</sup>, и у нашего Бори пошло сомнение со всех сторон, и в войне, и в отечестве. А я — уже это не головой беру, а в костях у меня что-то переворачивается и в крови переливается, когда что-либо близкое к пораженчеству. Каждый Божий день встаешь утром и спрашиваешь себя, цела ли еще Россия, а она гибнет и гибнет, как-то фатально. Мой брат говорит, что радовались на фронте, когда была введена смертная казнь. Чего не поймешь теперь. Ведь Робеспьер тоже спасал отечество и — вот — «больше любви никто же не имать, аще кто душу свою положит за други своя». Как странно: итти на убийство, грех смертный, а иначе нельзя. Каждому человеку на своей ладони надо подымать пуды греха, чтобы суровой строгостью ожесточить любвеобильное сердце, чтобы спасти, если не поздно уже.

Вот с войны пишет Ашурков<sup>3</sup>:

«Вот мы с Вами (и еще так многие, вероятно) всё перебра-сывались высокими словами о Святой Руси и великом народе и всюду оправдывали его темнотою. Полно, полно, друг! Не пора

ли посмотреть правде в глаза и ужаснуться от собственной мерзости. Ибо нет оправдания тем, что отступают у Тарнополя. При чем тут "исторические условия". Для того, чтобы знать, что честно и что бесчестно, не нужно кончать Тенишевского Училища. Вот оно что!

Ведь и мы-то с Вами русский народ. Что же мы всё хвалимся, зажмутив глаза? Ох, тяжело и стыдно... "Общее наступление революционной армии"! И ведь верили, верили, многие старые офицеры верили. А какая тут артиллерийская подготовка шла 4 дня — такой мы от себя за всю войну не видели. Ну вот, а теперь немцы в своих окопах кофий пьют и хохочут, а ночью нас химическими снарядами травят. Уж мы им и не отвечаем. Стрелять стыдно».

Не знаю, какие могут быть еще разговоры (эти всегда разговоры!) о том, что война продукт капитализма и пр. И Боря эти чужие слова повторяет! Ну да, тысяча капитализмов, пускай мной руководит «инстинкт» (слова Бориса Мих.), но это инстинкт самосохранения, но это еще Тиртей понимал в VII веке до Рождества Христова и раньше его, что надо умереть, а очистить родину от врагов, если те на нее напали. Тогда мыслили правдивее и без экивоков мышления. Вы знаете, что я чту социализм, хотя вожди его наши — все почти — никуда не годятся. Я встретил коммерсанта-выборжца<sup>4</sup> и спросил: «Почему вы кадет» (теперь среди молодежи много кадет), а он мне ответил, потому что сейчас самое главное патриотизм и война, а социалисты из-за Интернационала не сумели у нас этого до глубины понять. Вот почему, между прочим, молодежь за кадетов (не видя другого), а еще потому, что она не хочет уже жить по навязанной программе, где все до конца распределено, а еще потому, что к.-д. самые культурные люди, а нам важна культура. Вот что разъяснил мне кадет из VII-го класса.

Я потерял всякую терпимость и философское отношение к вещам. Жизнь как-то берет человека «под зебры». Я счастлив, что в этом, основном, главном — Сережа<sup>5</sup> думает как и я. Как он, мой Сергейчик, ушел тогда, со всеми, из этого мешка, в ночь на 14-е! Прямо чудо. А еще они со Струве<sup>6</sup> встретили там изумительную гадалку. Это я Вам потом расскажу. У нас в доме был «преждевременный траур», папа ходил на свою статистику, приходил сумрачный и говорил, что вернется на фронт. Очень тоже беспокоился. Я жил как-то, как в тумане, с воскресными промежутками в Финляндии, с работой здесь, пока вот не простудился. А затем я твердо решил. Если будет все как сейчас (т.е. я не свалюсь совсем), то я после государственных, в октябре, будучи уже — даст Бог — «оставлен» — поступлю в артиллерию. Уже намечена дивизия и пр. Прошу Вас, как друга, не распространять этого дальше

самой себя. Пожалуйста. Я давно думал об этом, что не нравственно так говорить о войне, будучи в тылу. Посмеет кто-нибудь остановить меня, когда я буду в солдатской форме. Может быть, я не много сделаю, может быть, это неправильно, но у каждого свои пути. Вы со мной об этом лучше и не говорите, а будем так доживать здесь последние деньки, любя друг друга и тихо смотря в глаза. Когда я решил, а решал я долго и длинно, то сразу все стало ясно и просто, и силы душевные придут, я уверен. Все это подымет массу разговоров: «здоровье», «ведь вас же оставили» и пр. Поэтому я и хочу объявить все это только в последний день, а пока сказать только тем, кто не будет мне говорить лишних слов. Рассказывают, что один современный юноша, который собирался жениться, все это до времени скрыл, а потом залез в ванну, чтобы никто не пришел, и кричит оттуда: «Тетинька, приготовь мне чистое белье, а то я сегодня женюсь». Это лучший способ избавления от пересудов.

Кажется, соберусь я сдавать немецкий язык вместо французского. Знаю я оба — хуже. Вдруг, просто Гёте захотелось почитать. В восьмом классе я его читал — шесть лет тому назад...

Как я счастлив, что Любовь Ивановне<sup>7</sup>, котикам-братикам лучше. То, что они вечно голодны, Леля так написала. Я Лелю иногда чувствую совсем вроде младшей своей сестры, вроде как девочек Винберг. Какой славный, чуткий и преданный, привязчивый она человек. Это ей будет очень тяжело в жизни так привязываться. Ведь люди этого — до смешного — не оценивают, просто проходя мимо. А в сердце такая боль потом остается.

Если бы мне до зимы переработать мои «Эстетические взгляды Тургенева». Вы знаете, мне так хочется недельки две над этим просидеть, да в Эрмитаж походить. Я часто вспоминаю великое изречение Луарсаба Николаевича<sup>8</sup>, что перед защитительной речью, которая не очень выходит, — надо до утомления походить по Эрмитажу. Жаль, что это не все понимают.

До Угреши<sup>9</sup> надеюсь увидеть Вас. Я бы и в Крым не прочь махнуть недельки на две, к Катерине Николаевне<sup>10</sup>. Там солнце, море, вероятно, чудесный август с «кавунами». Больно туда ездить трудно, да вот экзамены.

Сереза здесь «производится» (в прапоры), т.е. свободен недель целых на 5.

Целую нежно руки Ваши.

Не чужой Вам Ю.Н.

P.S. Передайте Луарс[абу] Н[иколаевичу], что как только получу оттиски «Русской мысли», то ему — перво-наперво<sup>11</sup>. Пускай он только снисходительно примет мой душевный дар.

Папа хочет вместе с Гронским<sup>12</sup> соединиться в левых к.-д., если тот захочет, с социалистическим оттенком.

<sup>1</sup> Эйхенбаум *Борис Михайлович* (1886-1959) — литературовед, историк литературы. Близкий друг Ю.Никольского.

<sup>2</sup> Волин-Эйхенбаум Всеволод Михайлович (1882-1945) — анархист, до революции в эмиграции в США, во время гражданской войны — председатель реввоенсовета повстанческой армии Н.Махно и редактор газеты махновцев «Путь к свободе», затем — в эмиграции во Франции.

<sup>3</sup> Об *Ашуркове* см. прим. 1 к письму 9.

<sup>4</sup> То есть студента Выборгского коммерческого училища.

<sup>5</sup> Младший брат Ю.Никольского (см. прим. 1 к письму 13).

<sup>6</sup> *Струве* Глеб Петрович (1898-1985), соученик Сергея Никольского по Выборгскому коммерческому училищу, впоследствии — литературовед, профессор Калифорнийского университета в Беркли (с 1947), автор книг «История русской литературы», «Русская литература в изгнании», осуществивший первые научные издания собраний произведений О.Мандельштама, Н.Гумилева, М.Цветаевой, Б.Пастернака, Н.Заболоцкого и др. См. о нем также в предисловии.

<sup>7</sup> *Любовь Ивановна* Гуревич (урожд. Ильина) — мать Л.Я. и Я.Я.Гуревичей. Последний написал о ней повесть «Тихенькая мама» (РГАЛИ. Ф.131. Оп.3. Ед.хр.321, 322. Не опубликована).

<sup>8</sup> Андроникашвили *Луарсаб Николаевич* (1870-1939) — адвокат, впоследствии профессор Тбилисского университета. Был женат на сестре Л.Я.Гуревич Екатерине Яковлевне (1870-1942?), погибшей во время блокады в Ленинграде.

<sup>9</sup> Николо-Угрешский монастырь в Подмоскowie, куда ездили отдыхать Гуревичи.

<sup>10</sup> *Катерина Николаевна* — вероятно, жена В.К.Винберга.

<sup>11</sup> Речь идет об оттиках статьи Ю.А.Никольского «История одной дружбы: Фет и Полонский» (Русская мысль. 1917. №5-6).

<sup>12</sup> *Гронский* Павел Павлович (1883-1937, в эмиграции) — государствовед, профессор Петербургского университета, преподаватель Политехнического института, с 1916 — член ЦК партии кадетов.

3. Л.Я. и Я.Я.Гуревичам

6 октября 1917

За Одессой

На ступеньках вагона II класса. Я и братец. Пишем письма. Под ногами движущаяся земля, песок, травка. Впереди степь. Унылая и пустая. День хмурый.

Застали вчера таки папу в Одессе. Одесса! По карточкам только сахар. Белого хлеба, мяса вволю. От грязи и сора и оттого, что я не был тут давно, этот город *понизился*, стал вконец провинциальным, со своими трехэтажными домиками и облезлыми, какими-то гоголевскими извозчиками.

Местный кадет, которого мы видели, спешил на собрание, где он желал столкнуть высших землевладельцев с низшими и, играя низшими, получить прибыль для своей партии. Мне очень хорошо знакомо это отношение к политике, как к скачкам, где хороший игрок ставит на *ту* лошадь. Я немного сам спортсмен по духу, и такие вещи, такое «искусство для искусства», у людей преданных ему, меня трогает. А там, смотришь, пробежит жизнь этот честный кадет, который в уютной обстановке своего буржуазного кабинета столько поработал над «комбинациями», а там заколотят крышку его гроба и напишут некролог даже в столичной газете...

Но ведь он, правда, поработал в жизни, этот милый, суетный человек.

Я не писал ничего, относящегося к войне. Кадет и булки выбили из головы все другое.

Вот что Вам скажу. Чем дальше, тем больше я проникаюсь *офицерской* психологией и думаю, что патриотическая психология есть офицерская, а не иная. Солдатской психологии — нет и не может быть, потому что, если она есть, как противовес офицерской, то она большевистская или же толпяная начисто. Офицеру ничего не стоит сказать солдату: «Бросим воевать, пойдем домой». Такого офицера целые полки понесут домой на руках, потому что они измучены и темны. Но офицер умрет при своем долге, а России не выдаст. Вот потому офицерская психология — патриотическая психология. Она говорит: все для войны. И это почти единственный класс людей, который не только говорит, но и делает все для войны (это и понятно). А вот вам фактики. Возьмите карту и посмотрите расстояние между Одессой и Болградом (Трояновым Валом) — ю[г]-600, угол Бессарабской губернии. Ветка стратегическая, которой держится рум[ынский] фронт. А мы едем от Одессы до Троянова Вала *больше 30 часов*, т.е. больше, чем от Одессы до Киева и больше, чем Петроград — Москва *aller et retour!* При этом идет один поезд в сутки. Чем объясняется такой способ передвижения, напоминающий скорее XVIII век? Тем, что там, в Петрограде, кто-то не подумал, что нельзя в тыл ставить паровозы, идущие не шибче хорошей скаковой лошади, что сюда надо ставить *настоящие паровозы*. Ведь тут же люди не зря ездят, ведь здесь все «по казенной надобности». Пускай в тылу спекулянты или простые смертные ездят тише. Ах, спеку-

лянты! Ими кишат кафэ в Одессе — эти Фанкони и Робине. Один съел несколько брильянтов, когда его накрыли там за работой...

А еще я видел «большевика» — ехавшего с Дем[ократическо-го] Совещания<sup>2</sup> солдата. Я никогда не видел такой физиономии. Это ужасное — «лицо без лица», когда вы смотрите в глаза другого человека, вы встречаете упор, а тут взгляд ваш теряется, уходит в эти мутные хляби души. Я убежден, что он сумасшедший, ходящий между нами (и даже выбираемый в Дем[ократические] Совещания!) У него руки выродка или алкоголика и такие же неопределенные ужасные руки<sup>3</sup>. Старый партийный работник. Вспоминаю Караваева<sup>4</sup>, которого знал, что-то похожее на нежность мелькнуло в его лице. И погасло. Он — ни минуты не молчит. Он — всё говорит, всю ночь, металлическим, никчемным голосом, с митинговыми интонациями, побеждающими и стук колес, и все голоса. И, как многие ненормальные люди, он логичен и убедителен, но у него есть «пункт». И из этого пункта выходит основное положение. Из революции и родины он берет только революцию. Родина — звук пустой для него. Вот она, работа наших партийных организаций, во всей красе ее. Стыдно, стыдно, стыдно. Этот человек похвалится тем, что солдаты не будут воевать. А вы знаете, что они отказываются от полушубков<sup>5</sup>? Нет, дело совсем плохо, Любовь Яковлевна. Сережа сказал вчера: «Я скоро буду за поражение. Чтобы нас высекли хорошенько. Бывает так, что лучше, чтобы высеки, а не жить». Да, думайте больше о нас. Все. Вис[сарион] же Яковлевич особенно<sup>6</sup>. Думайте о войне. Чтобы были поезда и паровозы. Чтобы офицерство знало, что там их понимают и не отзывалось о Керенском с горечью.

Я жалею, что Вы не были на фронте. Только там можно понять все, я в этом уверен, и этого-то понимания не выдерживает слабая, темная голова.

Привет всем

Ваш Юрий.

P.S. Все проходы заняты, и это всё офицеры. Как же у солдат? Д[ействующая] Армия, 40 Арт[иллерийская] бригада, адьютанту 2-го Дивизиона подпор[учику] Ашуркову, для Ю.А.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Туда и обратно (*фр.*).

<sup>2</sup> Всероссийское демократическое совещание работало в Петрограде 14-22 сентября (ст. ст.) 1917.

<sup>3</sup> Вероятно, описка вместо «глаза».

<sup>4</sup> Имеется в виду известный кадет В.Д.Кузьмин-Караваев (1859-1927), либо, что менее вероятно, его сын Дмитрий Владимирович (1886-1959).

<sup>5</sup> Отказ от полушубков означает, что армия не собиралась продолжать боевые действия грядущей зимой.

<sup>6</sup> В.Я.Гуревич (1876-1939, США), брат Л.Я.Гуревич, правый эсер, член Исполкома Всероссийского совета Демократического совещания (сент. 1917), в эмиграции — первый управляющий Русским Заграничным историческим архивом в Праге (с 1923 по 1928).

<sup>7</sup> Адрес приписан на полях.

#### 4. Я.Я.Гуревичу

20 октября 1917

40 Артил[лерийская] Бригада,  
5 батарея, разведчику  
вольноопр[еделяющемуся] Ю.Н.  
Прошу писать!!!

Дорогой мой Яков Яковлевич!

Не взывайте, что любовь моя к Вам отрывает Вас, быть может, от какого-нибудь примечания к примечанию параграфа №... свода законов Российской республики!. Уж такая моя доля, чтобы личное ставить выше общего в решительные моменты жизни!

Живем мы тут — как Вам сказать — вроде, поди, ваших дворников, а то, пожалуй, хуже. В землянке. С «потолка» сыпятся полевые мыши, пополам с песком. Спим все в ряд. Должен сказать Вам, что я понимаю, отчего простому человеку не всегда любо ходить в баню. Пошел я в баню, а потом такая неохота на нары лезть... Но — велик дух, побеждающий бранные запросы тела. Вот, когда в духе червячок заведется — тогда плохо. А он в моем духе есть.

Так я понимаю, что войны нам этой для себя хоть как-нибудь прилично не кончить. Разве чудо придет, но это уже вне законов естественных. Армия заражена социальным стрептококком, горит в лихорадке от нового этого своего Эроса, везде видит буржуазные козни. И все с чистотой и неопытностью только начавшего жить сердца.

Самое большее, простоим лбом к лбу неприятеля, до тех пор, пока не выпишут нас из держав великих. А там будем лет десяток маяться, до новой, до уже освободительной и патриотической окончательной войны... Все это прожекты, и дай Бог, чтоб все обернулось иначе, но шансов мало. И это неверно, что «страна так устала, что совсем не может воевать». Ведь хватает этой самой страны на митинги, на социализм; если б полная была усталость, то по всем бы фронтам. Просто дитя тянется к печке, не

зная, что горячо. Нет воли к войне, потому что у большинства нет идеи родины, да и неоткуда ей было особенно появиться.

Собираюсь писать Луарсабу Николаевичу «юридическое письмо». Хочу сказать ему, что «народный суверенитет» для России нач. XX века — *non sens*. Если думают, что Временное Правит[ельств]во — выражает народный суверенитет, то это не верно. Я убежден, что *большинство* России воевать не хочет, и убежден также, что, во имя хотя бы будущих, не родившихся еще людей и национального нашего лица меньшинство — ставши «просвещенным абсолютом» — должно подчинить себе большинство. Просвещенный абсолютизм всегда силен организацией, которая дается идеей (просвещением) и которая противопоставляется неорганизованной темной массе, о которой слишком часто можно сказать: «Паситесь, добрые народы, вас не разбудит чести клич»<sup>2</sup>.

У кого есть воля к войне, она должна быть столь сильной, чтобы заставить с револьвером в руках идти другого вперед. Да. Именно с револьвером в руках. Здесь смешно, больно и стыдно, когда следуют по неудачному пути Керенского, пути убеждения. Надо же понять, что *так войны не ведутся*. Это что-то вроде прекраснотушия благотворительных дам, обливающих одеколоном одного-двух безногих в лазарете, когда тысячи погибали.

Так это дело рисуется отсюда. Все эти вещи окончательно разбалтывают дисциплину и дух войска. Теперь всякий румын может говорить о нашем войске с невыразимым презрением:

— Это банда разбойников. Мы каждый день думаем, не возьмут ли нас в плен в нашей собственной стране.

А солдаты наши тоже «ученость хотят показать». Прибыл сюда французский лютенант-социалист. Так они ему: «Покажите свои мандаты, что вы от народа, а не от правительства». Мол, и мы не лыком шиты, разбираем, что народ, а что правительство. Не проведешь!

Француз обиделся и уехал.

Много тут порассказать можем. Немцы 3 раза в неделю снабжают нас «Русским вестником»<sup>3</sup> из бомбомета, так что мы хотели бы такой аккуратности от нашего русского почтового ведомства и Никитина<sup>4</sup> (я до сих пор не получил ни единого письма от моих близких). Обмениваемся и прокламациями. /.../<sup>5</sup> Немецких прокламаций к русским под рукой нет. Там уверяют, что немцы хотят мира на русских условиях, но мирные предложения с их стороны всячески отвергаются. В «Рус[ском] Вест[нике]» даже рассказ Ф.Крюкова (писавшего в сб[орниках] «Знания»). Интересно, с ведома автора или нет?

Солдаты ко мне относятся чудесно, т[ак] ч[то] я просто этого не заслуживаю. Вчера беседовали об Учр[едительном] Собр[ании]. М.б. наладятся «лекции». Тогда нужны будут книги. А так как папа (возможно) эвакуируется с Мин[истерст]вом Вн[утренних] Дел, то придется просить Вас. Особенно (лично мне) хочется франц[узских] книг. М.б., к Вам зайдет солдат за брошюрками. Тогда ему передайте. А вообще, книги можно присылать и в посылках (*не бандеролью*). Что я здесь — я не жалею. Но тоска от всеобщего разрушения, тоска от гибели нашего величия и самобытности — тут не пройдет. Целую Вас крепко, мой милый. Приветствую всех. Не забывайте Юрочку.

Ю.Н.

Иду сегодня на сутки наблюдать. Немец через реку. Хочется его убить (странное чувство!). Здесь сахару много и еда ничего себе<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Имеется в виду работа Я.Я.Гуревича в должности зам. председателя Бюро комиссии по народному образованию при Министерстве народного просвещения Временного правительства, где разрабатывались предполагаемые изменения российской начальной и средней школы. Я.Я.Гуревич (1869-1942?) — брат Л.Я.Гуревич, писатель, драматург (лит. псевд. Яков Крюковский), переводчик, педагог, сын директора петербургской частной гимназии Я.Г.Гуревича и сам директор этой гимназии, дядя И.Л.Андроникова. Был гимназическим и университетским товарищем кн. В.А.Оболенского (о семье Оболенских см. в предисловии и прим. 1 к письму 30). Погиб во время блокады в Ленинграде.

<sup>2</sup> Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» (1823).

<sup>3</sup> «Русский вестник» — пропагандистская газета, издававшаяся германским командованием для русских войск и забрасывавшаяся через переправу.

<sup>4</sup> Никитин Алексей Максимович (1876-1939, расстрелян) — социал-демократ, меньшевик; министр почт и телеграфов с 24 июля 1917; кроме того, со 2 сентября 1917 — министр внутренних дел.

<sup>5</sup> Опускается переписанная Никольским румынская прокламация к немцам на немецком языке.

<sup>6</sup> Приписано на полях.

5. Л.Я.Гуревич

22 окт[ября] 1917

Милый друг! Я пишу Вам, но Вы можете вычитывать из этого письма другим; особенно же моим дорогим друзьям Лизику и Леле<sup>1</sup>. (Мне трудно сейчас писать отдельные всем письма).

Прежде всего хочу сказать Вам одну вещь про себя. Я уже писал Вам, что хожу на Наблюдательный Пункт в качестве разведчика, где и провожу сутки. Этот пункт находится впереди всего, и если случится, паче чаяния, наступление немцев, и если я буду в это время на пункте, а пехота *драпанет*, т[ак] ч[то] пятки засверкают, то мы останемся наедине с немцами, тем более, что его снаряды будут падать позади нас, вряд ли мы сможем проникнуть сквозь них, да и наш долг воинский «оставаться на своем посту». Очень просто тоже, что и телефон прервется. Одним словом, шанс выйти из такого положения очень небольшой. Конечно, может и ничего не случиться, но на всякий случай говорю Вам это. Говорю и прошу. Не забудьте тогда моего папу и видьтесь с ним. Он уже совсем старенький душой, и ему это будет очень тяжело. Он на войне так постарел, на этом общем несчастье жизни нашей. Потом еще тяжело будет очень Екатерине Николаевне Винберг.

Вчера мы долго ходили с Сережей по полям. Делали свои реверансы ракеты, и от всех этих звуков выстрелов, разрывов, и т.п., казалось, что кто-то строил большой дом, вколачивал балки, трахал по железу кровли. Или это был дом с привидениями, где были таинственные шорохи, неведомые звуки, беспричинно хлопающие двери...

Мы бродили вместе, два брата, и думали горькую думу:

— Да, войну продолжать нельзя, война кончилась.

Я не говорю это солдатам, выбравшим меня на агитационные курсы, но это мое убеждение, крайнее убеждение:

— Война проиграна.

И с краской в лице читаем мы, как солдаты, около Риги, выдали Вильгельму своих офицеров. Проходя мимо них, Вильгельм, с трудом подбирая слова, сказал по-русски:

— Я был бы горд, если бы у меня в армии были такие офицеры.

А проходя мимо солдат предателей, этих «большевиков» — бросил:

— Какие мерзавцы.

Здесь начнешь уважать врага, не «наглого» и «дерзкого», а врага, который говоря А — говорит и Б. Русский народ удивительный. У него глаза Божьи, но вы заметили, какие бывают рты? Рты дегенератов, челюсти пещерных людей, растянутые, чувственные и жадные, наглые. И вот говоришь с ним по-хорошему, по-человечески, и вдруг стенка, какая-то передвижка, и уже смотрит тот, другой, «предок», и ничего не поделаешь тогда. И добродушные малые (из пехоты) могут сообщать офицерам известия о

большевиках, нагло ухмыляясь, или говорить, не стесняясь, в присутствии о том, что хорошо бы с ними бы, с офицерами...

Да. За все это будет возмездие. Пускай! Мы будем рабами и наше имя славян будут производить от *Slaves*<sup>2</sup>. И мы встретим такую муку, такое унижение, какого не испытывал ни один народ! Будем каяться и поздно будет. И если Бог даст нам час искупления, то тогда мы пойдем в новую, в патриотическую войну за свободу, через 10-15 лет. И с радостью пойдем, как шли за Гарибальди.

Тут царство эсеров. Я за оборонцев-социалистов, но если нет, то буду лучше за Шульгина и Струве, чем за Чернова.

Погубили они родину, Черновы, Горькие и все, все. Какой казни для них мало, о Господи?

Ваш Ю.Н.

Целую руку бабуленьки и маленьких моих Андронят<sup>3</sup>. Румыны палят сегодня. Об Изонцо<sup>4</sup> мы узнаем раньше из газеты «Секрет», издающейся немцами для нас. Ни одного письма ни от кого до сих пор!<sup>5</sup>

<sup>1</sup> *Лизик* и *Леля* — дочери Л.Я.Гуревич Елизавета и Елена (см. прим. 9 к письму 12).

<sup>2</sup> *Slaves* — искаж. нем. *Sklave* — раб.

<sup>3</sup> *Бабуленька* — вероятно, бабушка Л.Я.Гуревич. *Андронята* — братья Ираклий (1908-1990) и Элевтер (1910-1989) Андроникашвили.

<sup>4</sup> *Изонцо* (*Isonzo*) — река в Северо-Восточной Италии. Ее пойма с прилегающими отрогами Альп и Карсо была театром боев между итальянской и австрийской армиями. Ю.Никольский имеет в виду взятие в октябре 1917 немецко-австрийскими войсками Плеццо и отход итальянцев с рубежей Изонцо к Таляменто.

<sup>5</sup> Приписано на полях.

6. Л.Я.Гуревич

28 октября 1917

Милый мой друг!

До нас дошли какие-то слухи, что в Петербурге плохо и даже арестовали Керенского и Прав[ительств]во. Неужели это правда? Не верится этому.

А у нас пока всё готовится к Учредительному Собранию. Я принял окончательное решение голосовать за эн-эсов-трудовиков, если они выставят не очень слабый список. Я хочу, кроме того, чтобы Вы меня как-нибудь официально вписали в партию и имели бы в виду. Теперь это так выходит, что не из партии дело, а из дела партия, и это естественно. Меня могут рекомендовать и

Дзюбинские, и Френкель, и Вас.Вас. Хижняков<sup>1</sup> (мне важно, раз уж я «решился», стать действительным активным членом. Хорошо бы и здешний комитет (который где-то есть, но где, не знаю) известить обо мне).

Может быть, мне ближе была бы Кускова<sup>2</sup> и ревизионисты, но с-д так, все-таки, не выделены еще от пораженцев, плехановская группа сомнительна в отношении личном, одним словом, остаются н-с'ы — «наименьшее зло». Кроме этого, я думаю, что к партиям можно относиться *прагматично*. Это же не то, что двух- или трехперстное крестное знамение, не символическая высшая реальность!

У нас в окопе все прежнее. Когда летят гуси или бежит несчастная собака, хватают ружье и бегут палить. Молодость! Она и в ругательствах, без которых жизнь теряет краски.

Вечерами горланят песни.

Писал ли я Вам, как приезжал какой-то безрукий с-д из Москвы делегатом и с герцогским жестом обещал мир через две недели (не преувеличиваю). Что мы поставим свой ультиматум капиталистическим правительствам Англии и Франции (почему не Германии??). Вынесен был почти на руках и сказал: «Москва не забудет вашей поддержки». Что за нахал!

Господи, сколько дряни.

Проведем ли выборы тут?

Ну, спаси Вас там Бог.

Я Вас люблю, мои любимые, я тревожусь об Вас всех. Не забывайте. Вчера первая от папы открытка. Шла 13 дён. Целую руки Ваши.

Ю.

P.S. Сделался какой-то скверный нарывчик — от него страдаю. Еще страдаю муками холода на наблюдалке и душевно — за все вокруг.

<sup>1</sup> Имеется в виду семья члена Трудовой группы партии эсеров Сибирской области Владимира Михайловича *Дзюбинского* (Никольский одно время жил у них на Таврической — см. адрес в письме 23); *Френкель* Захарий Григорьевич (1869-1970) — санитарный врач, член «Союза освобождения» и кадетской партии, депутат 1-й Государственной думы, сотрудник журналов «Начало», «Новое слово», «Жизнь», «Мир Божий», после Февральской революции — зам. председателя Центрального врачебно-санитарного совета при Временном правительстве; *В.В. Хижняков* (1871-1949) — народный социалист, сотрудник газеты «Наша жизнь», журнала «Русское богатство», в 1917 — товарищ министра внутренних дел Временного правительства. Позднее работал в советской кооперации.

<sup>2</sup> *Кускова* Екатерина Дмитриевна (1869-1928, в эмиграции) — публицист, экономист, одна из организаторов Комитета помощи голодающим. Выслана из РСФСР в 1922.

7. Л.Я. и Я.Я.Гуревичам

2 нояб[ря] 1917

Дорогие друзья! Еще вчера я писал Лизе и Леле. Сегодня пользуюсь оказией, пишу несколько строк.

До нас вести доходят смутные, неопределенные. Были слухи, что Кер[енский] взял Петерб[ург], а сейчас пришла какая-то телефонограмма от Троцкого. В войсках смятение. Пехота большевистит, мы — артиллерия — кренимся на эс-эров (с немедленным миром), но и тут смятение. Я — всегда проповедывающий деятельность — могу сказать, что сейчас она невозможна дальше бесед в собственной землянке. Бригадный Комитет не пожелал моих услуг, т.к. я не эсэр и не большевик. Господь с ними. Природные и продовольственные условия, если сравнить с Вашими, пожалуй, превосходны.

Но хуже всего, что я заболел. Доктор настаивает на эвакуации, я — креплюсь, но, вероятно, слам. Оказывается... начало гемороя! Я полагал, что это болезнь государственных советников, но вот... С офицером (он снесется с папой) можно передать мне какую-нибудь интересную книгу. Условия жизни, хотя и тяжелые (робинзонские), но здоровые и даже поэтические. Ночи под открытым небом, костер, землянка. Что-то будет?

Но главное, как вы? Беспokoюсь, очень беспokoюсь о бабушеньке, о Вас, Любовь Яковлевна, о котиках-братиках, о Луарсабе Ник[олаевиче], который горяч и пламенен, и обо всех, всех. Жду встречи. Храни Вас Бог.

Юрий

8. Л.Я. и Я.Я.Гуревичам

[8 декабря 1917]<sup>1</sup>

40 Артиллерийская бригада,  
5 батарея

Сообщите обо всех. Исхожу весь от беспokoйства. Как бабушенька, Любовь Яковлевна?? Как котики-братики? Не арестован ли Вис[сарин] Яковлевич? Сведения доходят скудно, на 5-й-6-й день, а письма идут 2 недели. Пишите, голубчики мои дорогие, вы не представляете, как тут жить с тревогою об Вас и обо всей жизни.

Сейчас в землянке споры с.р.-ов с всепобеждающими большевиками и раздача избирательных бюллетеней. Я — за трудовиков, как за наименьшее зло. (Единства нет, за к-д никто не пойдет, да и я не очень — кандидаты всех партий плохи). Шатанье ужасное. Полная неуверенность в завтрашнем дне (особенно у офицеров). Я всё разведчиком. Вчера немного пострелял немцев-наблюдателей, к неудовольствию пехоты, но с войной — кончено. Жду вестей. Ради Бога. Юра.

Неужели кто-либо из социалистов войдет в соглашение с Ленинцами?! Ведь это гибель социализма.

<sup>1</sup> Датируется по почтовому штемпелю.

9. Л.Я. и Я.Я.Гуревичам

31 янв[аря] 1918

Ашурков — всё в моей жизни — и Сережа подвергаются смертельной опасности<sup>1</sup>. Я не могу простить себе, что я не с ними. Глебика С.<sup>2</sup> предали казаки, его хотели раньше утопить, потом расстрелять — минуты приговоренного — потом взяли в тюрьму заложником. Я не могу примириться с мыслью, что я не с ними, а после поздно будет.

Мне не хочется иногда никого видеть, хотя Вы ближе других.  
Ю.

Б.Вульфова, 2а, кв. 65.

<sup>1</sup> Ср. в воспоминаниях кн. В.А.Оболенского о несколько более позднеем времени: «Нелегко было нам с женой отпускать на фронт двоих сыновей, из которых одному было 19, а другому 17 лет. /.../ Мы препоручили наших мальчиков артиллерийскому офицеру Ашуркову, скрывавшемуся у нас в первый период большевистской власти, и он определил их вольноопределяющимися на бронепоезд, на который сам был назначен» (Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники // Всероссийская ме-муарная библиотека: Серия «Наше недавнее». Париж, 1988. С.649).

<sup>2</sup> Г.П.Струве.

10. Л.Я.Гуревич

[23 апреля] 1918

2-й День Св. Пасхи

Христос Воскресе, дорогая Любовь Яковлевна! Я был в церкви, деревенской, новенькой, где одни почти бабы. И еще не вошел крестный ход, не наступило «оно», как я не то что помыслил, а ду-

ховно почувствовал Ваше и Любовь Ивановны приближенье. Видно, и Вам подумалось обо мне. Будто Вы мимо прошли и дуновение платья дрожало на руках моих, и я был с Вами, и я захотел, чтобы Вам было хорошо, как только можно это сейчас, и Господь Вас не оставил. Милые. Иногда мне кажется, что в тяжестях безмерных жизни, в хроническом этом недоедании, Вы забудете, что я Вас люблю и издалека живу с вами. Но не забудьте. Как бы хотелось мне прильнуть к Вашим рукам, я не имею больше даже языка боли, чтобы воскликнуть что-либо, только каменные уста, только молчание и склеп, да черная вереница монахинь. И в то же время всем существом испытываю невозможность такого житья. У меня оказалась болезнь не одна, а другая, и все это причиняет лишние страдания в путешествиях, но я либо заруюсь в книгу, либо замешаюсь в толпу народную и двинусь на юг. Мне необходимо сейчас широкое пространственное прямодвижение для спасения души своей. Я тут еле выдаюсь с людьми. Все они заползают в кончики нервов и там делают неверный жест, от которого всё пропадает. Кускова даже, но особенно Гершензон<sup>1</sup>. Я все больше уверяюсь (самостоятельно), что *еврейское начало* сыграло трагическую роль в судьбах дорогой мне по февралю — русской революции. Еврейское начало, в лучшем случае, это Гершензон, это «человек без пейзажа» (т.е. Интернационал). Под пейзажем я понимаю всю совокупность того, что не человек, сюда — родина, природа, война, то, без понимания чего сейчас жизнь окончательно непонятна, ибо человек мерзок и есть отрицание самого себя. Для меня ясно: кто духовно положительно не пережил несказанное величие лика войны, тот уже мертв в веках; он и для революции оказался мертв, и вот она из орлиной стала вороньей, без взмаха, без пафоса, хотя бы дикого, с мелким низменным торгашеством. Национальный быт еврейского народа — Интернационал. Откуда было взяться «пейзажу» у народа без отечества? Но от этого произошло омертвление духа, талмудизм, что-то застывшее, мертвое, сложное, что когда-то горело и жило. И мы с нашей безмерной восприимчивостью подпали этому богу и ставим памятник Карлу Марксу. Это не одно, но и это. Не одно, потому что сейчас, как всегда перед лицом Смерти, все связано со всем и одно что-нибудь не решает всего. Кускова пишет в пасхальном № газеты о несчастных людях земной религии: «Счастливы религиозные люди. Неугасимый огонь их лампад *горит всегда ровным светом* и царство Божие внутри их». Ведь умный человек, глубокий. А какое невежество беспросветное! Религия — какая-то сладкая конфетка деистических умников XVIII века. Ну что делать с этими людьми? Как на грех, я только что прочитал у Княжнина

(в замечательной по материалам книге<sup>2</sup>), как Ап. Григорьев додумывался до Христа, как, пьяньский, он переругивался с Богом. Да, ругался! Боже, какая вера. Вот он — «ровный огонь»... Я не христианин до конца (хотя, может быть и верно, что «всякая душа христианка»), я шел в церковь, а лесом, каким я шел — свистал леший. Ну, да все равно. Но я не могу вынести, когда весь ад религиозной подлинно жизни, весь нерв Достоевского и Августина, понимают до сих пор не лучше, как в шестидесятых годах (и тут же цитируют Тютчева!). Я с одним человеком схожусь здесь духовно (и расхожусь во взглядах), это Струве. Понимаете ли Вы, как можно чувствовать заодно и жить одним, не разделяя «воззрения». Он — дитя, хотя капризное иногда или хитрое, но это правда, а не кажется так только. Его несчастье, что, при всей религиозности, он даже чуточку не мистик. С другой стороны, это хорошо, потому что — здоровье. В то же время, при всем эгоизме, страшно душевно-обаятелен и ногами знает (точно у него мозг в этих ногах) верную дорогу. Гораздо он глубже, чем может показаться, и тоньше, и чутче, за всюю многосонностью и внешне мечтательным характером.

Получаю от одного разведчика (почти большевика) Фомы — письма. Человеку вдруг скучно стало, хотя не голодно покамест, но вот скука. Не знаю, не передать, но в этой черте, в этом сознании, я вдруг почувствовал все благородство его нравственного характера, которое ощущал и раньше. А с другой стороны, физическую ему близость моего духа. Если бы не хотелось на юг ради мальчиков, хотя бы следы разыскались... поехал бы к нему. Интеллигентство надо бросить. Хочу, по слову старины, «из чаши божественных писаний устремиться, как лев, чтобы когтями растерзать внутренности скверных еретиков», когда думаю об интеллигентах. Горячо Ваши руки целую. Не смейте забывать. Люблю Вас.

Ю.

Узнал сейчас из письма Лизы, что Вы больны. Что с Вами? Неужели Анд[рониковы] не могут покинуть Пб. (с детьми-то)? Везде лучше, чем там. Воображаю, как живет. Где Леля? Лизе напишу<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Гершензон Михаил Осипович (1869-1925) — историк культуры, литературовед, философ и публицист.

<sup>2</sup> Имеется в виду книга: Аполлон Александрович Григорьев: Материалы для биографии / Под ред. В.Княжнина. Пг., 1917.

<sup>3</sup> Приписано на полях.

[Апрель 1918]<sup>1</sup>

Ст[анция] Сходня Н[иколаевской] ЖД,  
 Моск. Губ., Марьино-Знаменская  
 больница, врачу Смирновой. Для  
 Юр. Алексан. Никольского

Простите, не знаю Вашего отчества (узнаю от Гершензона). Михаил Осипович велел мне обратиться к Вам, чтобы Вы мне помогли в работе над Фетом. Я специалист-тургеневист (и обижен на Вас за Тургенева<sup>2</sup>), но сейчас многое меня толкает к Фету, которым предполагаю заняться. Из обложки *Русской Камены* знаю, что Вы готовили книгу о Ф[ете] с хронологической канвой<sup>3</sup>.

1). Когда Вы выпустите (и будете ли выпускать) эту книгу?

2). Могу ли я воспользоваться пока что Вашей канвой. Вообще, если по отношению ко мне Вы последуете поговорке: «охотно мы дарим, что нам не надобно самим», то сделаете доброе дело. Меня соблазны приоритета не прельщают, но книжку о Фете, небольшую, но содержательную, я бы хотел написать. Скажу Вам, чем я обладаю, в смысле матерьялов, а Вы рассудите — чем я должен обладать.

I. Библиография Федины<sup>4</sup>.

II. Источники моей статьи *Фет и Полонский*<sup>5</sup>. NB. Архивы Полонской.

III. Остроухов<sup>6</sup>.

IV. Остроухов обещает устроить с фетовским архивом (у Боткиных), которым занимался Черногубов<sup>7</sup>.

V. Историч[еский] Музей (неважная переписка с Гр[афом] Ал. Толстым и мелочи).

VI. Собираюсь в Румянц[евский] Музей и Университет.

Теперь, не знаете ли Вы:

3). Где архив Майкова??

4). Есть ли что-нибудь в архиве Вас. Петр. Боткина и где он (в Петербурге?)

5). Какие еще архивы необходимы для моей монографии?

6). Где-то было напечатано (знаю по рецензии на Федину, см. *Бюллетени литературы*<sup>8</sup>, лет 12 назад, о происхождении Фета, наиболее точные данные (Гершензон говорит — Вы в этом вопросе осведомлены).

7). Хорошо, если бы Вы перечислили лиц, около которых может быть что-либо (хотя бы уже напечатанное, напр. Вл. Соловьев) о Фете.

Все, что я пишу Вам, по соображениям, даже не столько лично моим, я прошу хранить пока в секрете. Ах, право, если бы Вы знали, как *объективно* мне хочется написать работу о Фете. Я бы даже в Нижний готов съездить, если б надо было.

Вам Михаил Осипович кланяется.

Познакомьтесь с моим приятелем, «достоевцем» Комаровичем<sup>9</sup>. Я его к Вам посылаю. Мне кажется, что если мы по пяти раз будем открывать открытое (из-за того, что нет библиографии, не опубликованы архивы), если не будем помогать друг другу, то, право, история литературы не сдвинется с места.

Очень будет приятно получить честный и правдивый отзыв специалиста о моей последней (фетовской) работе, которую — что мне было приятно узнать — Вы затребовали в *Русской Мысли*<sup>10</sup>. Жду Вашего письма с нетерпением, а если что — то передайте с Комаровичем, который будет в Москве на Фоминой (Мистровская, С[обственный] Д[ом] — его адрес), но лучше бы раньше от Вас хоть открытку, а то он человек ненадежный, может и не выбраться. Простите мое обращение, может быть, не очень уместное...

Всячески готовый к услугам

Ю.Никольский

<sup>1</sup> Письмо датируется по содержанию открытки Никольского к Садовскому от 30 апреля (ст. ст.) 1918, где тот, в частности, писал: «Я просил своего приятеля В.Л.Комаровича зайти к Вам и передать мое письмо /.../ Я хочу по-настоящему начать изучать Фета, а для того первым делом хочу начать с того, что собрать Матерьялы о нем /.../ М.О.Гершензон велел мне обратиться к Вам» (РГАЛИ. Ф.464. Оп.4. Ед.хр.9).

<sup>2</sup> В сборнике статей «Ледоход» (1916) Садовской поместил работу «И.С.Тургенев. Опыт историко-психологического исследования», где резко критически (и вряд ли справедливо) оценивались характер Тургенева и его творчество.

<sup>3</sup> Хронологическая канва жизни А.А.Фета, над которой долго работал Садовской, несмотря на неоднократные объявления о скором выходе в свет, издана не была. Включение ее в число изданных книг Садовского в словаре Е.Ф.Никитиной «Русская литература от символизма до наших дней» (М., 1926) ошибочно. Подробнее о возможной судьбе этого труда Садовского см. в прим. 6 к письму 35 в публикации писем А.А. Кондратьева Садовскому (De Visu. 1994. №1/2(14). С.37-38).

<sup>4</sup> *Федина* (наст. фам. Ильяшенко) Виктор Степанович (1887-1970) — автор первого биографического труда о Фете «А.А.Фет (Шеншин). Материалы к характеристике» (Пг., 1915). Садовскому принадлежит рецензия на книгу Федины (Биржевые ведомости, 1916. 5 янв. Утр. вып. №15306),

в целом положительная. Никольский отрицательно отозвался о книге Федины, оценив труд, за исключением библиографического раздела, как «ремесленное рукоделие» (Русская мысль. 1916. №3. С.2, 2-я пагинация).

<sup>5</sup> Имеется в виду статья Никольского «История одной дружбы. Фет и Полонский»

<sup>6</sup> *Остроухов* Илья Семенович (1858-1929) — художник и коллекционер, родственник Фета (был женат на сестре его жены). На основании принадлежавшего ему экземпляра «Стихотворений» Фета (М., 1850) с поправками И.С.Тургенева (хранится в Отделе рукописей Гос. Третьяковской галереи), Никольский написал работу «Материалы по Фету. I. Изправление Тургеневым фетовских "Стихотворений"» (Русская мысль. 1921. №8-9, 10-12).

<sup>7</sup> *Черногузов* Николай Николаевич (1873-1942?) — коллекционер, искусствовед. Сын коллежского секретаря из Чухломы. Окончил Московский университет, некоторое время учительствовал в Новиковском начальном училище. С 1902 — помощник главного хранителя Третьяковской галереи, с 1913 — главный хранитель. Владел архивом Фета, вывезенным из его имения Воробьевки (остатки этих бумаг в ОР РГБ). Отличался стойким антисемитизмом. После революции оставил службу в Третьяковской галерее. Дальнейшие сведения о его жизни не проверены и полуполюбопытны. По одной версии, он работал в Киевском государственном музее русского искусства, по другой — эмигрировал, открыл в Париже антикварную лавку. Свою Фетовскую коллекцию бросил в Москве в своем домике на Девичьем поле, и она сильно пострадала. После занятия Киева немцами в 1941 вновь появился там и якобы был назначен смотрителем Киевско-Печерской лавры. Был найден убитым в Киеве при невыясненных обстоятельствах.

<sup>8</sup> Вопрос, который Никольский задает Садовскому, относится к процитированной в «Бюллетенях литературы и жизни» (1915-1916. №19/20. С.392. 2-я пагинация) рецензии на книгу Федины из «Исторического вестника», подписанной криптонимом Т.М.: «Автору, по-видимому, остался совершенно неизвестным очень важный для интересовавшего его вопроса документ — выдержка из письма отца Шарлотты, Беккера, Шеншину, появившаяся у нас в печати уже более десяти лет назад. /.../ Отсюда, мы, между прочим, узнаем, что Шеншин похитил не девушку-невесту из-под венца, а замужнюю (беременную уже будущим нашим поэтом) женщину, которая ради него решила покинуть отца, своего "обожяемого" мужа Фета и даже первого своего ребенка; та же выдержка дает, кажется, нам право сказать, что наш поэт, скорее всего, "чистокровный", настоящий Фет — и шеншинской крови в его жилах совсем не было» (Исторический вестник. 1916. №4. С.260).

<sup>9</sup> *Комарович* Василий Леонидович (1894-1942) — литературовед, писатель. Вместе с Никольским с 1913 занимался в венгерском Пушкинском семинарии.

<sup>10</sup> Вероятно, имеются в виду «Материалы по Фету» Никольского, (см. прим. 6 к наст. письму).

12. Б.А.Садовскому

16 июня [19]18 н. с.

Каюсь:

Шел я к Вам с предубеждением, милый Борис Александрович, почему-то боясь, что Вы эстет. Господь, кажется, меня миловал, слава Богу; а Вы мне полюбились. Теперь этот эстетический психоз сходит, конечно, но ведь у этих сукиных детей эта их сальериевская порода где-нибудь, да и выскочит. Впрочем, мне на них наплевать в полной мере, их ведь — извините меня — всех соплей перешибешь, как говорится, до того они негодяжи. Очень только у нас много сору, по всем комнатам, по всем углам. Сор — ничто, прах, а как заведется, то квартира твоя превратится будто в «трахтир». Знаете ли, я очень понимаю, что Пушкин побил лакея, когда тот крикнул: «Карету господину сочинителю». Они все сочинители: бездарные, даровитые, а Пушкин был — Александр Сергеевич. Вот *Ваши* Гершензон — представьте, рассказывает со смаком: приходит к нему Бальмонт, видит Чехова на столе и «с истинно-королевским жестом» (ну как они могут иначе?): «Не люблю, — говорит, — читать *беллетристики*». А ведь сам-то как, мошеник, сбеллетристил! Гершензон в упоенье, на булавку посадил «жест гения», в мемуарах помянет, дай ему Бог здоровья. И опять же... Когда это Венгеров-старик занесет к себе в книжку, то тут даже сам его бороду в чернильнице, и тот простодушно улыбнется. А Гершензон когда-то к «Вехам» предисловие писал! И хотя мы далеко уехали от этого полустанка, но нельзя вспоминать без благодарности...

Прочитал Вашу Камену, представляя себе Вас. Про некоторых мало написали. Лучшее о Денисе (и новое)<sup>1</sup>. Кстати, читали ли вы о Державине в *Аполлоне* Эйхенбаума (теперь томского профессора) мне посвященную статью?<sup>2</sup> Около нее душа моя витала, поэтому не худо было бы для меня, если б прочли. Но мы с ним не знали Вашей статьи<sup>3</sup>. Когда я читаю хорошее, то мне хочется о том же сказать *свое* слово и вмешаться. Когда-то в испанском театре у Лопе де Вега кто-то бесчестил женщину и альгвазил из публики бросился ее защищать. Я или так читаю, или над книгой вяну. Вот и мне хотелось кое-где в Ваши дела с этими поэтами вмешаться, только не подумайте, что я за Бенедиктова! Ну вот. А еще мне когда-то раскрылись Ваши стихи — «Крым», и хотя

фетовские в них, на нестерпимом зное ползающие ящерицы, но стихи — понравились мне. Раскрыл с вопросом: где я буду летом? И вот попалось. Наверное буду в Крыму! У меня там друзья.

Вкратце хочу поведать смысл своего «Тургенева и Достоевского»<sup>4</sup>.

*Достоевский*: 1). Тургенев оскорбил меня своими убеждениями.

2). Убеждения: атеизм (пантеизм) — религия и Дым — политика.

*Тургенев*: Достоевский сумасшедший.

Доказываю или, вернее, показываю цитацией и пр., что Тургенев детерминист, а Достоевский индетерминист. Тургенев одушевляет (психизирует) матерьяльное, но к духовному от душевного не приходит. Его религиозное состояние: воля минус. И когда «воля плюс», как Достоевский, то клеймит его сумасшедшим. Entbehren sollst du<sup>5</sup>! Качайся на разлитой по миру душевности и вот единственный (бессознательный) выход из кантианства, опутавшего его мозга еще в 1845 г. и жившего в нем. Поэтому в истории — процесс. Все, и «genus Euroraem», и пр. — тоже воля минус (личность минус). Но что такое «воля»? Лосский<sup>6</sup> различает 3 момента: 1) мое стремление, 2) чувствование активности, 3) перемена от первых двух. Детерминист думает, что перемены в мире не зависят от «моих стремлений». Такое определение важно и для психологии: безвольный человек тот, у кого нет стремлений, а если они и есть, то нет чувствования активности. У Тургенева нет. Тургенев безволен. Тургенев не только детерминист, но еще баба, Кармазинов, да вдобавок кокетка (ведь это по Дарвину: нет одного качества, дается другое; у женщин кокетство). Достоевский. Достоевский индетерминист. Свобода воли в Легенде о великом инквизиторе и пр. и пр. (потому что христианин, право-славный). Но политик: Константинополь *должен* быть наш! (форма на «ndus»<sup>7</sup>!) Статья против среды<sup>8</sup>. Вот и столкнулись. Мне говорят: можно быть разных убеждений и друзьями. Да, если они как молочные ручейки, головны. А если лава? — Я разорвал с другом-пораженцем, я знаю, что говорю.

Здесь, в Москве, был хороший для меня момент. После уже всего: и реферата, и прений — в Об-ве Ист. Литературы подходит одна («оставленная»). Так. Толстуха и все. Говорит:

«В первый раз за все время в этом обществе, в первый раз, правильное я вижу отношение к религиозным вопросам». — А потом: «А Вы как думаете: Тургенев ведь мучался тем, что не дошел, ведь он мог прийти?» — «Да, — отвечал я, — у каждого свои пути к Богу, и он, даже своим, мог прийти, потому, что это неиз-

вестно, как подстерегает, что вдруг приходишь». — «Это очень хорошо, что Вы так думаете...» — (и хорошо улыбнулась).

Я это все не к тому привожу, Борис Александрович, чтоб хвалиться. Я к тому, что мне дороже этот момент всяких речений ихних. Я сам знаю, что кроме одной главы или двух — остальные требуют многого, исправлений, но больше не могу, стал записывать. Когда-нибудь это войдет в диссертацию мою, если напишу, и тогда не такую рудою. Худо то, что я еще так мало знаю, а я не могу, как крыса, грызть в одном и одном углу. Я-то грызу в одном углу, но сюда же и весь мир подавай. До этой весны я ставил «личное» выше раз в сто — всего того, что пишу (да и всегда так будет), но сейчас меня и это как-то захватило под зебры (*личное* я считаю жизнь, т.е., значит, и война, куда я попал к шапочному разбору, но — застал незабываемо прекрасный лик уже отходящего существа). Сейчас хочу одного: солнца, чтоб море как синька (пускай Ваши ящерицы и фетовские) и головокружительный, очищающий жар...

Ну, будет. Не для коллекции Вашего же архива я стараюсь. Никак не решу, сейчас ли в П-бург, хоть дней на 5; есть рго и сонга, а от того зависит наше свидание. Прочли ли мои статьи о Лиге и о Григорьеве<sup>8</sup>? Еще увижу Вас, даже если в Петербург.

Юрий Никольский.

Пожалуйста, поправляйтесь.

<sup>1</sup> Имеется в виду очерк Садовского «Д.В.Давыдов» в его книге статей о поэтах XVIII-XIX вв. «Русская Камена» (М., 1910).

<sup>2</sup> Имеется в виду статья Б.М.Эйхенбаума о Державине, к 100-летней годовщине смерти поэта (Аполлон. 1916. №8).

<sup>3</sup> Речь идет об очерке Садовского «Г.Р.Державин» в «Русской Каме-не» (перепечатан в приложении к книге В.Ф.Ходасевича «Державин» — М., 1988. С.342-350).

<sup>4</sup> Книга Никольского «Тургенев и Достоевский. (История одной вражды)» (София, 1921) писалась в 1913-1917.

<sup>5</sup> «Отречься!» («Отречься [от своих желаний] должен ты, отречься» — Гете. «Фауст». Ч.1). Эта цитата взята эпиграфом к «"Фауст"». Рассказ в девяти письмах» И.С.Тургенева. Тема самоотречения значима для психологической характеристики, дававшейся Никольским Тургеневу: «В Тургеневе были лермонтовские порывания. В раннем письме к П.Виардо он отдает предпочтение Сатане и Прометею — "типам возмущения" — перед кальдероновскими героями, но у него не было байронической, хотя бы и надломленной, воли и путь отречения от "я" сделан един-ственным для него путем ("Entbehren sollst du, sollst entbehren" — эпиграф к "Фаусту"; "renoncer" и "la resignation" в письмах Флоберу)» (Тур-

геновский перевод «Мцыри» на французский язык // Сборник филологических и лингвистических студий. Белград, 1921. С.154. — Эта работа Никольского была написана, по авторскому указанию, еще в 1916, в Петрограде. Ср. разработку этой темы в «Тургеневе и Достоевском...».

<sup>6</sup> Лосский Николай Онуфриевич (1870-1965) — философ.

<sup>7</sup> Речь идет о латинских глагольных формах — герундивах (страдательных причастиях будущего времени), означающих долженствование. Напр.: *delendus* — долженствующий быть разрушенным.

<sup>8</sup> Рассказ Достоевского «Среда» («Дневник писателя» за 1873 год), где говорится о мужике, садически избивающем жену, направлен против только что учрежденного в России суда присяжных и излишне мягких, по мнению Достоевского, и оправдательных приговоров этого суда. «Среда» цитируется Никольским в «Тургеневе и Достоевском...»

<sup>9</sup> Эти статьи Никольского, по-видимому, остались ненапечатанными и нам неизвестны. В открытке от 25 мая 1918, адресованной Елене Гуревич, он писал: «Кое-что обо мне Вы знаете от Лизы. Стребуйте у ней мои статьи, а статью о Лиге прочтите бабусеньке, маме и дяде Яше. /.../ Статью об Ап. Григорьевенесите потом Эйхенбаумам». Что за «Лига» здесь имеется в виду, неясно. Весьма вероятно, что статьи Никольского основывались на материалах департамента полиции, с архивом которого он непродолжительное время знакомился летом 1917. «Я получил место в "Былом", — писал он Л.Я.Гуревич 2 июня 1917. — Литературная обработка различных "дел" из охранки, судов и пр. 350 р. в месяц. Дела интереснейшие. Работаю уже 2-й день». Опубликовал Никольский только «Дело о похоронах И.С.Тургенева» — Былое. 1917. №4 (26). С.146-156.

13. Б.А.Садовскому

18 сент[ября] 1918

Много времени, как мы расстались, дорогой Борис Александрович. Не ведаю, дойдет ли до Вас этот ответ на Ваше милое, дай Вам Бог доброго здоровья — письмо. Вы, может быть, узнали, отчего я так ускакал скоро. Что даже не повидались. Это из-за брата моего. Приехав на юг, я узнал, что он принял мученическую кончину, узнал его гибель в ужаснейших подробностях, закончившихся расстрелом. После этого я остался; как будто от дома осталась одна стена, остальное все разрушено в крошки, уничтожилось. Я видел такую стену раз в Галиции. Он был тонкий, ужасно тонкий и 19-ти лет. Говорят, об нем некролог был в «Речи» (Б.М.Эйхенбаум) и хотят издавать его стихи<sup>1</sup>. Он был гораздо цельнее меня и во многом все для меня. Вот все, что могу написать Вам, милый Борис Александрович, да и этого, видите, много. Нашему поколению суждено пройти через великие испытания, как всем, посетившим «сей мир в его минуты роковые».

Может быть, я через месяц буду на севере. Попробуйте написать по прежнему адресу: Ст. Сходня Моск. Губ., Марьино-Знаменская больница.

Не сердитесь, что мало написал и примите мою любовь.

Ю.Никольский

P.S. Теперь скажу — мне как-то не понравилась полемика в Ваших книгах. Но, впрочем, может быть, теперь прошло много времени и теперь бы Вы не так написали<sup>2</sup>.

Ю.Н.

Написал здесь стихотворение:

И.Об[оленск]ой

Шум, стрекотанье и звон  
Лягушек древесных в роще.  
А Вы — белье все полощите,  
Погруженная в розовый сон.  
Точно звезды блещат никому  
Ваших глаз чудесное пенье  
И глициний немых испаренье  
В огнедышащем этом Крыму.  
Плещет ярко, как море радо, —  
Красоты молодое вино.  
Увидать и умершим дано  
Его за тенистой оградой.

Ю.Н.

Июль 1918. Саяни.

Биюк-Ламбат<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Сергей Александрович Никольский (1899-1918) — выпускник Выборгского коммерческого училища, где преподавал Б.М.Эйхенбаум, писал стихи (его посмертный сборник, готовившийся Эйхенбаумом, остался неизданным). Ушел на германский фронт добровольцем сразу после окончания училища, но не в составе формировавшихся «ударных батальонов», а обычным порядком, что для тех месяцев было явлением несчастным. 14 июня 1917 Ю.Никольский писал Л.Я.Гуревич: «Мой братик — Сережа — едет на фронт, даже рядовым, по собственному желанию. Там его произведут, после первых же боев, которые — надо полагать — будут же наконец. Сережа это то, что нам с папой осталось после нашей мамы. Не скрою, что я тревожусь за него, такого юного, с детской рожцей на великанистом своем туловище. Ведь он такой еще мальчишка — для того, чтобы уметь бояться, когда это необходимо». Некролог Эйхенбаума был помещен в газете «Наш век» (бывш. «Речь»), 1918. 28 (15) июля. №129 (153).

<sup>2</sup> Имеются в виду книги статей и заметок Садовского «Озимь. Статьи о русской поэзии» (1915) и «Ледоход. Статьи и заметки» (1916), местами

полные острой полемики на злобу дня (подробнее см. прим. 1 к письму 17).

<sup>3</sup> Стихотворение посвящено *Ирине Владимировне Оболенской* (в замужестве Зандрок; 1898-1987), дочери В.А.Оболенского, невесте Никольского. *Саяни* — имение тестя Оболенского В.К.Винберга на южном берегу Крыма. *Биюк-Ламбат* — татарская деревня по соседству.

14. Л.Я.Гуревич

29 сент[ября] 1918  
Саяни

Дорогой мой, дорогой голубчик! Ваше письмо дошло до меня. А мое, значит, не получено, в котором я пишу про Серезину смерть. Как-то до сих пор не отойду от этого, да и всю жизнь, должно быть, не отойти. Как представить себе — не раны, не расстрел даже, а то, что сапогами били по милому прекрасному личику, и другие мелочи. Он все боялся, что он «некрасивый» и на него неприятно смотреть окружающим.

Сегодня опять он мне снился. Будто еду в трамвае, а он бежит рядом. Высокий. Я не знаю, он ли (голова как в тумане), но он хватает рукою за ручку, и я узнаю эти маленькие пальчики и хватаюсь целовать их без конца. Я с ним все время, особенно ночами, а в жизни моей, я уже ощутил твердо: началась другая половина, закат, хотя бы было много еще хорошего кругом, но забыть ушедшее невозможно. И тоже, только ощущая вечное, непрестанное руководство Божье, свою греховность и — хуже — мировую, можно еще жить и действовать. Если бы работа была адекватна силам. Мне хотелось бы, как верблюду, нагрузить себя тяжестью.

Планы мои крайне неясны, т.к. ничего не знаю об отце своем. Он хотел ехать на юг и тут поселиться. Не знаю. Почта почти не доходит. Как его тут оставить? А там, с другой стороны, под Москвою, — одинокая, совсем одинокая тетя Поля — для которой Сереза был всем. Если б что-нибудь активное на Севере — поехал бы туда, но боюсь прозябения, какое было последние месяцы в Москве. Ну, если не дело «отечественное», то тогда наука остается, нужен университетский город. Сейчас выдвинут на сцену Нежин, куда едут жить Ашурковы (там Историко-филологический институт и гоголевские бумаги). Киев и Харьков, и Одесса — переполнены и дороги не в меру. Но сейчас я остаюсь в Саяну у Винберг, ждать чего-либо от папы и еще того — как Ляля Ст.<sup>1</sup> Он приехал сюда ко мне, слег в ревматизме (рецидив) и весь на моих руках; родители неизвестно где. Хотелось бы до поселения в Нежине, буде оно состоится, съездить в Москву и Питер. Не пред-

ставляю себе: возможны ли там книги? Ведь я сговорился с Задругой об издании Фетовских матерьялов! Потом Сережины друзья хотели издать стихи его, а этого нельзя без меня.

Передайте записочку Боре<sup>2</sup> и содержание этого письма, чтоб не повторять.

Молю Вас — храните себя, храните, ради Бога. Эти потери, эти смерти, которые так легки теперь, просто невозможно переносить. Целую Вас, родной мой друг, и думаю о Вас с самой большой любовью. И всех ваших. Где они и кто где? Пишите пока сюда.

Ю.

<sup>1</sup> Вероятно, речь идет об Алексее Петровиче Струве (1899-1976), впоследствии — библиографе и книговеде. Умер в эмиграции во Франции.

<sup>2</sup> Б.М.Эйхенбауму.

15. Б.А.Садовскому

22 мая 1919

Москва, Садовая-Самотечная,  
6, кв.3.

Вчера приехал на Сходню, дорогой Борис Александрович. Что-то нереальное: Москва, и я хожу по ней — *la vida es sueño*<sup>1</sup>. Да, милый. И жизнь наша какая-то странная, непонятная и все же отмеченная Богом, чудесная. Всего о Крыме не напишешь. Пошлю стихи, как безвинное, хотя я и не поэт, как Вы. Всего было, и политики, и поэзии, и любви, а главное солнца, солнца.

Не помню, что писал 18 Сентября — Вам. Никогда не помню, чего пишу, но Вас будто вижу (то есть — виноват — не вижу, чувствую). Знаете, должно быть, что брат мой был расстрелян и замучен. И если я не сумел написать (от 18-го), то не потому, что не хотел, или худо к Вам. У меня осталась от Вас какая-то улыбка Вашей души, а я таких вещей забыть не умею, и то, что я воровски уехал год назад, с Вами не простившись, Вы простите меня: ездил на поиски за братом, будучи, впрочем, почти уверен, что не найду его.

Я уеду, несколько только дней, в Петроград — устраиваться. Вернувшись, хочу Вашего письма: «много и подробно». Мы *должны* познакомиться.

А чтоб Вам не было очень скучно от меня, то вот стихи, не как стихи, а как я. /.../<sup>2</sup>

По дороге сюда был арестован в Мелитополе за то, что вез письма от добрых знакомых и на одном стояло «Е.В.» — *en toutes*

lettres<sup>3</sup>. Еще хорошо отделался. Было публичное матерное обруганье на дворе участка, и ввержен в погреб без единой дырочки, сырой, мерзко холодный (я — без пальто), в углу на угольях грязная рогожа, еле нашел. 14 часов там провел, но к жизни относился философски и великодушно, как автор карамзинской автобиографии: игра китайских теней<sup>4</sup>! Ну-ка, «життя», что еще покажешь? Потом находится человек в лице председателя ревкома, и я чудесно спасаюсь, как в романе.

Все мне как-то надоело, Борис Александрович. В Симферополе живут несколько девочек и мальчиков лет 20-ти и все мы дураем: ну вот мы служим, некоторые занимают некоторые должности и пр. Но когда станем большими и взрослыми? Очень печально, что оно не стается. Я не прикидываюсь вовсе, и Вы меня не выдавайте (Комаровичу-то!). Я когда с большими и с издателями о своих («трудах», то как бы на театре. Комарович большой, взрослый, оттого чужой. А Вы в креслице были не совсем большой, оттого я Вас немного как будто полюбил. Но кто его знает и все разберет? Привет. Вы мне верите? Только верьте.

Юр. Никольский

И не обижайтесь, слышите, ежели я глуп! Читал по-итальянски, по-испански, не зная ни одного языка! Жил в самом чудесном месте на свете — Саяни, имение Винберга и Оболенских. Но — читайте стихи! Фета издавать хочу. И забыл Вам про это! *Ненорменно*. Хоть в Комиссариате Нар[одного] Пр[освещения]. Ну их к лешему. Вообще, Ф[ет] и Тургенев *страшно на очереди, и я рвусь к работе* (после стихов-то). А потом, даст Бог, опять в Крым на виноделие. (Литература — quantum satis<sup>5</sup>).

(Мне однако 26 лет; совсем стыдно).

Пусть К[омарович] изобразит свою жизнь и пр. Жду.

Ю.Н.

<sup>1</sup> «Жизнь есть сон» — название пьесы Кальдерона.

<sup>2</sup> Опущено стихотворное «Приложение» из 17 стихотворений. Стихотворение «Ахматовой» было опубликовано Н.А.Богомоловым (Литературное обозрение. 1989. №5. С.42).

<sup>3</sup> Буквально (*фр.*). «Е.В.» — сокращенное обращение на письме, означает «Его высокоблагородию».

<sup>4</sup> Неточная цитата из повести Н.М.Карамзина «Моя исповедь»: «...я родился философом — носил все равнодушно и твердил любимое слово свое: "Китайские тени! Китайские тени!"». «Письма русского путешественника» также оканчиваются упоминанием «китайских теней» воображения.

<sup>5</sup> «В полную меру» (*лат.*) — лозунг Бранда, героя одноименной драмы Г.Ибсена. Цитируется в третьей главе поэмы А.Блока «Возмездие» (окончание главы публиковалось как отдельное стихотворение «Когда ты загнан и забит...»). Приписка после подписи сделана на полях.

16. Б.А.Садовскому

4 июня 1919

Понимаете, совсем сдал себя в сенат, дорогой мой Борис Александрович, — мудрейшие мумии (не исключая самого божественного Вячеслава<sup>1</sup>) избрать пожелали каким-то театральным вроде архивариусом при Каменево-Троцкой (Розенфельд-Бронштейн)<sup>2</sup>, покровительствующей искусствам, как в старые годы великие княгини. Вдруг подул живой ветер с Волги! Пишу Васеньке<sup>3</sup> — пусть хлопочет: летний семестр в Нижний, в Университет (а на осень к мускату! — как я теперь без Крыма и всех там моих, кого люблю?)

Привезу Вам (к пятнадцатому) стихи моего покойного брата Сережи. Сейчас я в Марьине, где мы много вместе жили. Он такой тонкий, серебряный, тонкий и недоступно высокий, чем я. Сегодня нечаянно написалось, — про него:

Зелень шевелится за стеклом  
Небо и зяблики — прежние.  
Отошедшего ходит нежно  
Смех по дому: брата. Светло.

Под тюками ноши свалюсь я.  
Кто разделит за гробом с тобой?  
Не станет Россия рабой! —  
Белые в Старой Руссе.

Так вот. Всю жизнь пока — тратил на хождения по знач[ным] местам, то в поисках мест, то в увилвании от служения отечеству. Завтра еду в Петроград, а почему — не знаю хорошо. Совсем как сомнамбула. И все верно. В субботу на вокзал: опоздал к поезду; оказывается, нужных людишек повидать удалось и досада моя ни к чему, «все благо», «все действительное разумно». А только держит меня какая-то сила за белую ниточку судьбы, с самого Крыма; если это та самая мудрость, про которую Ваши милые слова, то она не от меня, не от меня: я — сомнамбула.

Был у нашего общего друга Гершензона. Он все же, это правду говорю, — «добрый еврей», хотя и злой. По гершензонологии, ежели не соскучитесь: *der Mensch von Natur böse ist Kritik zur praktischen Vernunft*<sup>4</sup>, но категорический императив: «ты должен!» —

(от природы добрый не штука!). — И я ценю — воление к добру еврея. И затем, как женщина и еврей материально заботится: «деньги есть?..» Это тоже высоко: слишком духом прогнили: «Не говорите мне о духе: дурно пахнет». Смирненно проводил до двери — Еврей, и тут, в полутемной передней что-то было, в унисон, какое-то мгновение молчания. (О, это не так просто, как Комарович). Но он не купил меня, хотя я за что-то стал к нему хорошо. Судить надо человека по его собственным законам...

Господь с ним, с Гершензонами. Боже, как все надоело: искать какой-то бумажки переулочками хождений и без интимной души! Москва меня хорошо принимает, издает Фета, все потому, что не знает *какой я* (и не интересуется знать!). Эти отношения приятны как свобода, как независимость от всякого, но разве это *отношения*. Мир должен перестроиться, и я вижу шевелящихся новых. Про меня будто сказано: «Он не был Свет, но был послан свидетельствовать о Свете».

Чувствую себя предтечей.

Довольно. До свиданья. Я не верил реально из Крыма, что пойду по московским бульварам и Самотеку, а вот пошел. Не верю с Нижним, и посылаю прошение, и, может быть, с Вами. Скоро<sup>5</sup>. Теперь, кажется, все. За все спасибо. Я так рад, что Вы есть.

Ваш преданный

Юрий Никольский

Москва.

Садовая-Самотечная, 6, кв.3.

Писать адрес на всяком письме — еще Тургенев учил!!

Ю.Н.

<sup>1</sup> Иванов Вячеслав Иванович (1886-1949, в эмиграции) — поэт, теоретик символизма.

<sup>2</sup> Каменева Ольга Давидовна (1883-1941, расстреляна) — сестра Л.Д.Троцкого и первая жена Л.Б.Каменева, заведующая Театральным отделом (ТЕО) Наркомпроса со дня его организации по июль 1919, председатель бюро театрального совета при Наркомпросе.

<sup>3</sup> В.Л.Комаровичу.

<sup>4</sup> Человек по натуре зол, говорит «Критика практического разума» (нем.).

<sup>5</sup> Летом 1919 Никольский читал лекции в Нижегородском университете (открыт 25 июня 1918), куда был принят профессором (см. письмо 19 наст. публикации). В Нижнем Новгороде он встретился и лично познакомился с Садовским.

Милый поэт, Ты победил меня своим талантом, в то время, как гроза за *Ледоход* и *Озимь* готовилась на Твою бедную голову! Я уничтожаю написанную ругань. Господь с Тобою! Одно только замечанье: никогда не надо издавать ворох своих газетных статей видимою книгой и прилагать «Библиографию» и «Именной Указатель». Это, и «Хутор Садовской тож» — та же брусовщина, с которой мы боремся<sup>1</sup>. Надо писать вечные книги (аеge perennius<sup>2</sup>), а эстетствующую отвратительную небрежность манеры заметок, где как бы шагаешь по высям творенья (ничем, в сущности, не отличаясь от своих супротивников), все это безжалостно к черту! Меня возмутило — чем кичится! И это интеллигентское без разбору: руши, дави. Безобразие! Но сейчас я уже простил душой ту обиду и горечь за Вас, какую нанесли мне эти Ваши сборники.

Basile любит Вас «гулякой праздным». Тó я ценю, выделяя из богемства и понимая нарочитый излом и николаевскую шинель. Но кого я уже люблю — это гимназистика того на карточке, с припухлыми губами (или первокурсника). Мне почему-то думается, что за всем успехом у женщин, он страшно таил преданность «А.М.Д.»<sup>3</sup>, настоящей небесной Афродите, о которой тогда и молвить было как-то не по себе. Болезнью освободился тихий, по-своему близкий тому мальчику и мне. «Не прорастет, аще не умрет». Всегда жаль умершего. У татар самый всякий разбойник, если убьют его, святой, а здесь убийство. И все-таки благо, что Вы освободились от «слюны бешеной собаки», не вяжетесь с Ауслендерами, а... дружитесь со мной! За это пошлются Вам стихи; все к Ней же.

Тебе из Северной Пальмиры  
Ея вечеревых садов,  
К уже иссохшему Салгиру<sup>4</sup>  
Я тихий отсылаю зов.  
Твой город, кажется, приснился:  
Неможется от зноя вам —  
Ведь белый камень накалился  
И всплыл по огненным струям.  
Средь полок пыльных библиотек  
Ты лазишь<sup>5</sup>. В голове остро  
Мерещится стрелчатой готики  
Расцветенное витро.  
Да, всё мне память о Париже,  
Где тени бродят меж зеркал.  
Минуты беспокойно ниже  
Нам время вереницей зал.

Мы вышли из Музея. Мимо  
Прошла Ты в Люксембургский Сад;  
У Медичис неутомимы  
В бассейне тешились няяды.  
Герба старинный отпечаток:  
Париж и Сена, крыша вдаль...  
Той милой (и тогда в перчатке)  
Рукой Ты подняла вуаль.  
Я — я неузнан!

Больно сушит  
Слезу мне ветер от Невы.  
А там — там янтарятся груши!  
Вот Симферополь. — Воздух душен  
И клочья выжженной травы.  
К Тебе на берега Салгира!  
Тобою воскресает дух!  
И, чуткий напрягая слух,  
Поет измученная лира.

Хорошо бы нам взять в обычай (точно, будто мы Ф[ет] и П[олонский]) поправлять за-слово — всякий наш труд.

Я уезжаю в среду и с Васильем Леон[идовичем], если не сбежит, как в «Женитьбе». Получено от папы отчаянное письмо: привезти как можно скорее какой-нибудь с-ъедобности. Пока, значит, не увидимся. В «вечном времени» своем буду помнить заросшую милую Щербинку, особенно добрые глаза щербинской Мамы, и молоко с пентаграммой, и бледные ночи у постели, и его.

Онагр.

Писать до августа: Петроград, Таврическая, 25, кв. Дзюбинской; затем: Сходня Ник[олаевской] Ж.Д. (у Москвы), Марьино-Знаменская больница. Ю.Никольскому.

Если приведет Бог на зиму в Нижний, мне бы лучше всего хотелось жить с Вами, если бы не затруднительно. А как Крым? (вместе!) Я скоро не выдержу и пешком пойду туда! «К Тебе, на берег Солнца». «Там живет для меня княжья дочка» (целых две)<sup>6</sup>. На моих белых крыльях так много какой-то железной житейской пыльцы — *не моей* жизни (Н.Новг[ородской?]).

23/VII. Я не выношу пошлости и по мелочам скабранных рассказов (паука Дост[оевского]). Я люблю живое солнце. (НВ. Гавририада [нисколько?] не скабрная. [Билеты суть?])<sup>7</sup>

P.S. Все-таки посылаю это письмо и после Вашего. Простите, если я что не так.

Ю.Н.

<sup>1</sup> Книгу своих статей и заметок «Ледоход» Садовской заключил полемикой с С.А.Ауслендером, неодобрительно отозвавшимся статьей «Книга злости» в газете «День» о его предыдущей книге «Озимь». Ср. в письме В.Ф.Ходасевича к Садовскому от 17 мая 1916: «За "Ледоход" спасибо. /.../ Книга приятная, но кое-каких заметок я бы в нее не включал. Лермонтов, Фет и... Ауслендер. Не стоило» (Письма В.Ф.Ходасевича Б.А.Садовскому. Апп Argov, 1983. С.34). Предисловие к «Озимь» было подписано: «Хутор Борисовка (Садовской тож)», что в очень малой степени отвечало действительному положению вещей (поместий у Садовского не было), но играло на образ ультрареакционного «зубра-крепостника», как и упоминаемая Никольским ниже в письме «николаевская» шинель с пелериной, как «дворянская фуражка с красным околышем», в которой, по словам Ходасевича, Садовской «являлся в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре» (Последние новости. Париж. 1925. 3 мая. №1541).

<sup>2</sup> Прочнее меди (*лат.*).

<sup>3</sup> Аббревиатура означает «Ave, Mater Dei» («Радуйся, Матерь Божия»). Этот девиз начертал у себя на щите пушкинский «рыцарь бедный».

<sup>4</sup> *Салгир* — река в Симферополе.

<sup>5</sup> Ирина Оболенская, к которой обращены стихи, служила при крымском правительстве в университетской библиотеке в Симферополе.

<sup>6</sup> *Две* [княжых дочери] — Ирина и ее старшая сестра Ася (Александра) Оболенские. А.В.Оболенская служила в Министерстве труда крымского правительства. Ей посвящено стихотворение Никольского:

Княжна Ася  
(Портрет)

Морские смычки  
Зовут весну.  
Нырнуть под очки  
В Твою глубину!

Алуштинский пляж  
Как шолк песок,  
Это он для  
Ея маленьких ног.

Хрупче души  
Не знаю окрест.  
Из веточек крест,  
Песок; ни души...

См. также прим. 4 к письму 32.

<sup>7</sup> Читается предположительно. Заключительные два абзаца написаны синим и красным карандашом на полях письма, судя по дате, на следующий день, и плохо разборчивы. Постскрипту приписан чернилами на полях 1-го листа, по-видимому, еще позднее. Упоминание о «Гавриилиа-

де» может быть отголоском каких-то споров с Садовским. Последний считал поэму, после революции вышедшую одновременно несколькими изданиями, непрощаемым грехом Пушкина. См., напр., оценку этого произведения Пушкина в эссе Садовского «Святая реакция» (1923) в его сборнике «Лебединые клики» (М., 1990. С.434-435).

18. Б.А.Садовскому

31 августа 1919

Глупый, конечно я не показывал твоего письма Комаровичу, а что он ёрничает — шут с ним (про записку — неосторожность моя; неужели он прочел? Не поверю). Если бы знал, что обо мне *двадцатилетнем* говорили, мне было не все равно, т.к. двадцать лет, но я чертополох из Хаджи Мурата, и палка человеческой пошлости и тупости не скоро обломает защищающих нежность колючек. Теперь я приеду, верно, всего дней на пять. Прямо к Лесбосу в соседство, т.е. к Тебе (действительно на бедных баб...!). Спасибо, подзатыльник оценил. Люби меня как следует. Мне больше, чем всегда, сейчас это надо, я как от солнца расправляюсь от всего доброго.

Un grand soleil noir  
Tombie sur ma vie<sup>1</sup>.

Все разберется по моем приезде.

У меня сон, еда, созерцание, еще что-то и *dolce far niente*<sup>2</sup>, даже Феты нейдут. С сегодняшнего дня началось бабье лето.

Яков Петрович<sup>3</sup> — нет-нет, да и поэт самоподлинный (из-под бурьяна), такой ему дает Бог причудливый и истинно поэтический выверт, невольно задумаешься. А человек мелкого стиля. Это его — «моя супружница», «Ergo — я прав» и пр.

Беспокоит меня твой знахарь, как бы он там тебя не переиндеил<sup>4</sup>. Будь, милый, осторожнее.

Ну вот, «кусака-собака»! Приехал сюда отец вечером на денек и проплутал всю ночь в лесу, хоть живем не в таких уже дебрях, среди сырости, русалок и светляков. Хочется, как и мне, ему южности.

Приеду к Тебе, окончив фетополонщину (с нею), а то так «не имею нравственного права». Никак не пойму, как это делают комментарий. Оказалось, не так это малое дело, как воображалось, чтобы соблюсти художественный масштаб.

Леность у меня ужжжасная. Прости, это рука пишет, а голова что-то не живет, что-то льется там, льется, и тихое, и тревожное, и непонятное.

Студено ключевые ласки  
Их невозможно понимать.  
Как зори северные гаски,  
Они потухнут ровно в пять.

Не взором бешеным ревнивца  
— Хоть Грузией пылает кровь —  
Восточной негою ленивца  
Пьянит мечтательно любовь.

Прозрев в природы сердцевины,  
По медленным качу волнам  
Мою хрустальную лавину  
К спаленным, солнечным ногам.

Знаю, что «гас-ки» от «гас-нуть» вызовет недоумение, и «солнечные ноги», но sic volo. Пиши, радуй меня и не сердись за легкомыслие любящего Ю.Н.

Отец просит передать, что читает «Русскую Камену». Поклон маме твоей.

<sup>1</sup> Большое черное солнце  
Опускается на мою жизнь (*фр.*).

<sup>2</sup> Сладкое безделье (*итал.*).

<sup>3</sup> Я.П.Полонский (1819-1898) — поэт, прозаик, друг Фета.

<sup>4</sup> Нижегородский «народный целитель» Петр Демин, который какое-то время пользовал Садовского. Его безграмотные рецепты, написанные на открытке с портретом «целителя» в окладистой бороде, сохранились в фонде Садовского.

19. Б.А.Садовскому

2 сент[ября 19]19

«Воздайте кесарю кесарево» — Книжная Палата посылает (Венгеров, как Гершензон под Бориса Сад[овского], подпал под мои чары; гордись победой, Никольский!) в Орел, описать Тургеневский Музей для Тургеневианы. Это откладывает Нижний. Слух есть, что я преподаватель *Петроградского* Универс[итета]. Это понимаю так, что (если верно) стипендию сохраняют 2 1/2 тысячи, не сведут на 1000, как полагали. Ну, тогда ваш университет к черту! Передо мной переписанная статья Фета о Тютч[еве], а сбоку стишки — чисто личное обращение к одной пятнадцатилетней девочке, которая мне все равно как сестра (она кузина Оболенских, необыкновенной красоты, внучка Коропчевского, который ведь тоже красавец). Ну, слушай:

Грустная ты Ляля!  
Золотые ножки.  
Помнишь ли? Едва ли —  
Мы играли в блошки.

Кистью богомаза  
Писанная гибко  
Расцвела алмазом  
Мне твоя улыбка.

Все огнем пылало  
В крымский день зноящий.  
Все — как покрывало  
Жизни настоящей.

(С страстию нездешней  
Шитое рубином).  
Брошены, конечно,  
Гвельфы, гибеллины.

Ты о них читала  
В яркий день. И сине  
Море взбушевало  
Радостью пустыни.

Где-то мы встречались  
На путях предмирных.  
Ладу привечали  
Древние кумирни.

Хороводы, море,  
Кони с Борисфена.  
Никакого горя!  
Никакого плена!

Помнишь ли? Едва ли!  
Тут уже не блошки,  
Золотая Ляля!  
Золотые ножки<sup>1</sup>.

Опять ἀνάμνησις<sup>2</sup> Платона (я ведь страшно-страшно платоник, по существу). Открытки посылаются за удручающей безконвертностью. Очень затруднительно на Сходне без пособий иных. А душа мысленными ногами ходит по Крыму.

Ю.Н.

<sup>1</sup> В письме к Л.Я.Гуревич от 19-23 октября 1919 приводится другая редакция этого стихотворения, датированная 1 сентября 1919, с посвящением: «Лялечке Винберг от братика». Это одна из внуков В.К.Винберга. Кн. В.А.Оболенский писал в воспоминаниях: «На южном берегу мы жили не семьей, а целым кланом. Население его, в зависимости от обстоятельств, увеличивалось и уменьшалось, колеблясь в пределах от

20 до 35 человек. Кроме моей личной семьи, состоявшей из 10 человек, в наш "клан" входили: мой тесть, еще совсем бодрый старик 78-ми лет, его дети и внуки (вместе с моими детьми младшее поколение линии тещи состояло из 16 человек), подруги и товарищи этих внуков, случайно застрявшие у нас знакомые и родственники и два скрывавшихся от большевиков офицера» (Оболенский В.А. Указ. изд. С.583).

<sup>2</sup> Воспоминание (*греч.*).

20. Б.А.Садовскому

10 сентября 1919

Борис.

Пишу несколько строк.

Пиши сюда, в Москву.

Сегодня всю ночь поголовный обыск во всем доме. Это 5-й на моем веку (4 — старорежимных), и мерзее ничего [не] выдумать. Мы — тертые калачи с отцом. Если бы они тронули мою интимную переписку, я бы взвыл полным голосом, но *omnia mea carissima tescum porto*<sup>1</sup> и это спасло эту часть вещей. Впрочем, очень помогает мое философическое умонастроение. Я подписываю под картиной: «Россия в 19-м году» и читаю как «93-й год». Это помогло мне в путешествии из Крыма, помогло и сейчас.

Во мне на неглубоком дне лежит вдруг *такая* невозмутимость и *такое* все равно! Это, как сера в Черном Море (серные бактерии) — всё из внешнего мира дохнет на этой глубине.

Есть анекдот: шесть шек целую толстый кот. — Six joux. Baise. Gros chat. — Си-жу без гро-ша. Я пока что — без сапог. Потому что развалились все, и разом, и метафизик (думающий о Фете) впал в яму.

В метафизическом беснуясь размышленьи<sup>2</sup> —  
мне это нравится!

Нижние и Орлы зависят от какого-то сапожника. (Еще встретил молодого профес[сора] Кайлинского-пышку, и он туда же, попутчик; пишет «Тургенев и античность»).

Будь благ и пиши мне в Москву.

Юрий Н.

Привет своей маме.

P.S. Я стал мулом своих чемоданов (книг) и кляню телегу жизни.

Ю.

<sup>1</sup> Все самое дорогое ношу с собой (*лат.*). — перефразированное изречение греческого мудреца Биаса «все мое ношу с собой».

<sup>2</sup> Цитата из басни И.Дмитриева «Метафизик».

1 окт[ября] 1919

Вчерашний день не похож на сегодняшний: вчера не отпылал еще, не притушенный и дождем, пожар Твоих кленов. Щербинка издалека мерещится концом мира или блаженной ассирийской горкой праведников, откуда так рукой подать до голубого неба. Я понимаю, что для Тебя не может быть смерти иначе, как продолжения жизни: вечность тут, она за картофельным полем.

В городе я прежде всего осекся на препятствия: занятий в Университете — ни, Базиля — ни, один злюковатый немец, которого пшеном Васька мою тетку скормил (а в ответе я); и отпуска — ни (немец запрещает).

У Комаровичей пустошь для души, Тебя нет, а я привык. Ну вот.

Помнишь минуту слабости, вечером? Это — «колебание Карла перед Полтавой», а не интеллигизм, голубчик.

Учитель один говорил, что мои руки — руки интеллигента. Да. Я интеллигент, но себя превзошедший, как были дворяне, себя превзошедшие. Я «оправдание» отчасти интеллигентства и «мозглячества», той стороны — не замеченной Вехами. За минуту слабости стыжусь, но для меня непереносимы казни людей, которых видал, и над всем этим Сережа, даже не расстрел, а что были каблуками по лицу. И вот теперь врозь — мы оба. И вот ребяческое бессилие и слабость стряхнуты, как пепел. Теперь я, как дробинка: сжат, железная чешуя, стреляет. Я иду в Совдеп и достаю командировку в Петроград, как «Преподавателю П[етро]градского Университета, едущему к месту служения». Пшеновому немцу (секретарю факультета) — нос. И завтра поезд; жаль, не сегодня. Насчет Орла вот, придется в Москве, да ухнуло это дело: бои под Орлом уже, и если счастье не переменится — туда не проехать. День уходит на хлопоты из-за жалования и хлеба, с собой. Прочел Биографию Достоевского Миллера-Страхова — 350 страниц<sup>1</sup>. Сейчас присосежусь к энц[иклопедическому] Словарю для Фета, а вечером у себя студенческую вечеринку, грустно, что даже без чаю! Они мне свои стихи, я же буду любоваться черными вишенками-глазками Верочки Чехихиной, от которых (*entre nous*) — я, как чуточку от рюмки вишневой наливки. Пусть, пусть «младая жизнь» — около моего гробового входа!

Эти 2 недели пробуду, верно, на Сходне, куда прошу ваших каракулек<sup>2</sup>. Там Достоевского напишу — ежели не поздно, и «Фета и Пол[онского]» статью, а остальное — комментарий — доберется и после. Буду в Москву ездить — удить Фета и Тургенева

(это если не Орел). А через 2 недели то ли обратно в Нижний, то ли еще Питер, дофетить до конца. И Вы там в город скоро.

Да, дорогой мой, я к тебе приобык. И бездомная душа витает моя около Твоих костылей. Пиши, не беспокойся. Храни Тебя Христос. Целую. Юрий.

2 окт[ября]

Золото мое! Я бездонно виноват (лекарство!). Черт украл у меня 2 часа (вернее, не черт, а студенты, которым я раздавал сегодня темы для семинария). Вчера вечеринка была с Возмездием Блока.

Прости меня. Но опаздываю. Виноват. Прости же. Слышу твой укоряющий голос. Прости.

Твой беспутный

Ю.Н.

Посылаю без спроса С[еверные] Зап[иски], а ты верни В[асилию] Л[еонидовичу].

Перечел Обитель Смерти (с ревностью к В[асилию] Л[еонидовичу] — политически стихи хороши (Цари и поэты и последнее)<sup>3</sup>. Расстрел[яны] Щепкин, Астровы, Черносивиты, Кн. Андроников и др., 67. Протопопов нет<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Имеется в виду «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.Достоевского, с портретом и приложениями» (СПб., 1883), изданная как 1-й том первого посмертного собрания его сочинений. В нем находились материалы для жизнеописания Достоевского, сгруппированные Ф.Ф.Миллером (доведены до 1861 года) и «Воспоминания о Ф.М.Достоевском» Н.Н.Страхова.

<sup>2</sup> Ср. в письме Пушкина П.А.Вяземскому из Кишинева 1 сентября 1822: «Посуди сам, сколько обрадовали меня знакомые каракули твоего пера» (так называл Пушкин своеобразный почерк кн. Вяземского). Парализованный Садовской с трудом выводил дрожащей рукой буквы, напоминающие почерк малолетнего ребенка или дряхлого старика.

<sup>3</sup> «Обитель смерти» — сборник стихотворений Садовского (М., на тит. листе — Нижний Новгород: изд. автора, 1917). Вышел тиражом 250 экз.

<sup>4</sup> Речь идет о расстрелянных по делу «Национального центра». 23 сентября 1919 ВЧК опубликовала обращение «Ко всем гражданам Советской России!», в котором сообщалось о раскрытии московского и петроградского отделений организации и о расстреле 67 человек, по партийной принадлежности преимущественно кадетов: Н.Н.Щепкина, Н.И.Астрова, К.Д.Алферова, В.И.Штейннигера, М.М.Махова, Н.П.Крашенинникова, К.К.Черносивитова и др. (Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии: 1917-1921: Сб. документов. М., 1958. С.321). Андроников Михаил

Михайлович, кн. (1875-1919) — чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел, числившийся по ведомству без жалования, а только с правом носить вицмундир. При допросе в Чрезвычайной следственной комиссии 8 апреля 1917 аттестовал себя как гражданина, «желающего как можно больше принести пользы» (см.: Падение царского режима, по указателю; особенно 2-е, испр. и доп. изд.); *Протопопов* Дмитрий Дмитриевич, член ЦК кадетской партии, брат расстрелянного 9 сентября 1918 министра внутренних дел царского правительства А.Д.Протопопова. Ср. упоминание об этих расстрелах, с попыткой их если не оправдать, то «понять», в письме Никольского Л. Я. Гуревич от 19-23 октября 1919: «Да, я понимаю, казнить Щепкина, Астровых — á la guerre comme á la guerre — пускай и Шенье, и Лавуазье, если "государственные преступники"; пускай, перед смертью все одинаковы. Но работая над классиками требовать ручательства, что новый работник не белый (как Колобаев от Бориса Михайловича [Эйхенбаума] про меня) — это низость. Охранка пронизала всю жизнь, а такие благодущные люди, как Боря, — спокойно об этом говорят» (РГАЛИ. Ф.131. Оп.1. Ед.хр.163. Л.68, 69об.).

## 22. Б.А.Садовскому

5 октября [19]19, н.с., веч.

Пишу наскоро, со Сходни. Украли бумажник с деньгами, всеми документами и еще с Твоими 2-мя карточками к Балиеву!. В трамвае. Ежели возобновить, то шли скорее 2-е экземпляры на Садовую-Самотечную 6, кв. 3. Но торопись. Ибо я уезжаю в Питер, может быть, в конце этой недели.

Борис, Борис! все пред Тобой трепещет.  
Никто Тебе не смеет и напомнить  
О жребии несчастного младенца<sup>2</sup>.

Жребий — ехать в Петербург. Кстати, рифма: Петербург — упруг. А? Это вроде, как Щербина и Полонский в Одесском Театре...

Почему? в Питер??

Я говорил — неделю уедешь, и все иначе.

1-е: часть, где Твои братья, — переформируется (не послали бы их на фронт!), папа в Каз[ань] не едет. 2-е: получены 2 (две) телеграммы от Владимира Гиппиуса<sup>3</sup> с предложением преподавать в Тенишевском Училище и Гимназии Таганцевой (лучших среднеучебных заведений Питера!), жалованье 4 1/2 тысячи, вместе с 2-мя из Университета — что-либо. Вот еду все раззнать, да проклятая кража (вот пропуск<sup>4</sup>).

Милый. Если я там, то не увидимся до Рождества. Милый. Я так рад: повидались, пожили вместе. Ты мне напиши что-ни-

будь, вроде того, что Тебе было хорошо со мной. Порадуй старика. Понимаешь — всё старая погудка — я без Крыма, это не я, это полчеловека, это Ты без ног, только без «ног души», может быть даже хуже, без Твоих, напр., рассказов. За то, чтобы поцеловать руку, отдал бы все царства земные. Но не везет в любви — везет в деньгах (не про покражу: то даже справедливо: я признаю в жизни поликратовы перстни). Вот. Москва безотраднa (террор). Я сбежал. Отец что-то удручающе мрачен, и я боюсь за него; мечется, хочет в Туркестан, даже хоть Сиа́м... ну, точно ищет какой-то Нирваны. Я ему больше не нужен. Я сделал свое, приехав, а жить вместе, как мечталось, — не нужно. Я бы или Крым (Тебе скучно, золотой, от *припева*), или «делать карьеру», выражаясь по-старинке: какое уютно-правдивое с собой слово!

Напиши на Москву, папа до 15-го, я до 10-го — 12-го (как пропуск). Целую твою щеку. Привет родителям душевно. Мне хотелось как-то еще что-то высказать и не вышло. Опять дробинка, замкнутая для своих дел, стреляет в пространство. От Васеньки нежное тут посланье, а приехать не приехал в Щ[ербинку]. Вот и разбери!

Юрий.

Читал статьи и стихи Тютчева; захотелось дипломатом в славянские страны<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> *Балиев* Никита Федорович (1877-1936) — создатель и руководитель театра «Летучая мышь». Садовской писал для его театра стихи и драматические сцены, по большей части 15-20-минутные интерпретации классических произведений Пушкина, Гоголя, Грибоедова (некоторые совместно с В.Ф.Ходасевичем).

<sup>2</sup> Цитата из «Бориса Годунова» Пушкина.

<sup>3</sup> *Гиппиус Владимир* Васильевич (1876-1941) — критик, литературовед.

<sup>4</sup> Вероятно, имеется в виду пропуск для проезда по железной дороге.

<sup>5</sup> Приписано на полях.

23. Б.А.Садовскому

[10-26 октября 1919]

Петроград, Таврическая, 25,  
кв. Дзюбинских — мой адрес.

Милый, от Тебя ни звука, а в Москву, верно, не напишешь.

О делах: в выкраденном бумажнике была Твоя карточка к Балиеву, ухнула. Я «ищу его повидать» 2-й день (4-й раз) в Мыши.

Он либо занят, либо в отсутствии. Я, может быть, сгруппировал, оставив ему подробную записку и подписавшись «профессор», как бы он не стал от того еще неуловимее.

С большим трудом нашелся «Опасный Сосед», я подарил его себе и посылаю Тебе<sup>1</sup>.

Теперь мое дело. Я забыл у вас или Комаровичей ремень для перевязки моего мешка. Главное, он отцовский, и отец пилит меня второй день за его пропажу. Будь другом и перешли его. Едет сюда ветеринар Навашин (Покровка, Вет[еринарная] упр[ава]), либо еще как, а то 2-й день туча на мою голову. Много обяжешь и облегчишь.

Прошу в Питер (еще раз!) выслать имена-отчества Юнгеров<sup>2</sup>. Вообще, нимало не медля, пиши туда о себе. Не сердись ли Ты за неуспешность мою с знахарем?

В архиве М[осковского] У[ниверситета] с большим трудом найдены дела Фета и Тургенева (огромная выписка из геральдич[еской] книги о его роде; подписка, что он не будет принадлежать и не принадлежит к масонам). Сегодня сверю с чернотуб[овской] статьей<sup>3</sup> — всё ли выбрал. Ал. Як. Полонский<sup>4</sup>, у которого тоже украли бумажник, обещает отыскать неизданные стихи отца Александру II-му и К.Р. Пока все, кажется. Конец стихов про Щербинку:

Октябрьским картофельным полем  
Встретить вот-вот Христа.  
Тешишь себя невольно  
Пыланьем бегучим листа.

Второе, «про руку», тоже совсем изменено<sup>5</sup>. Но стынет кофе. Vale, родненький. Не гневайся на твоего непутевого. В Питер — в понедельник.

Ю.Н.

10-26 окт. 1919. P.S. Прочел 5 твоих поэм. «Слабо, как Алексей Толстой» (еще хуже его). Ты — «рассказчик» — это несомненно. Всякому свое.

<sup>1</sup> Речь идет о книге: Пушкин В.Л. Опасный сосед / Вступ. статья и примечания Бориса Садовского / Приложение: Путешествие NN в Париж и Лондон, соч. И.И.Дмитриева. М., 1918.

<sup>2</sup> *Юнгеры*: Владимир Александрович (1883-1918) — поэт и художник, друг Садовского, и его жена Зоя Викторовна Дроздова.

<sup>3</sup> Имеется в виду статья Н.Н.Черногубова «Происхождение Фета» в журнале «Русский архив» (1903. №8. С.523-536).

<sup>4</sup> Полонский Александр Яковлевич (1868-1934) — сын поэта Я.П.Полонского. Подробнее о нем см. в предисловии к опубликованной Г.Л.Медынцевой и З.В.Гротской переписке А.А.Фета и А.Я.Полонского (Новые материалы по истории русской литературы: Сб. научных трудов / Гос. литературный музей. М., 1994. С.60-63).

<sup>5</sup> Посланный Садовскому листок со стихами («Все сочинено в теплушке, темной ночью 3-го октября МСМХІХ, между Нижним и Москвою, стиснут красноармейцами») не публикуется.

24. Б.А.Садовскому

29 окт[ября 19]19

Прости английскую банальность<sup>1</sup>. Снова — бесконвертье. Черт его знает. Моя мятежная душа связалась с Тен[ишевским] Уч[илищем], но... «жизнь обнаживает», как говорит Щеголев<sup>2</sup>, картошка 80 и пр. (фунт), хлеб 400, масло 1500 р., — никаких 7-ми тыс. не хватит. Сегодня таскал дрова на 7-й этаж и измучен. Не знаю, выйдет ли Фет. Хорошо, когда спишь (в комн[ате] 8°). Я не герой, и ты был, верно, прав. Хочу к «тихой и кроткой» и м.б., в отчаянии, через месяц, когда Учил[ище] закроют из-за холодов, пушусь на это дело. А вообще — упадок, упадок и упадок души. Это личное. В Питере везде окопы. Белые отступают — слабеньки, скоро отпразднуем 2-ю годовщину<sup>3</sup>. Детям икру выдают. Рес-публика — мощна. Только матерьяльная жизнь — не ладится.

М.б., приеду к тебе на Рождество. Загрустил. Люблю тебя. Привет маме и отцу.

Писать: Тен[ишевское] Уч[илище], Моховая, 33, преп[одавателю] Ю.А.Н. Есть стихи Фета в *Руси* Аксакова (не добрался)<sup>4</sup>. Много хочется сказать, но дойдет ли письмо?

<sup>1</sup> Открытка, изображающая девушку в морской форме, с подписью «All's well», судя по выходным данным, издана в США, а не в Англии.

<sup>2</sup> Щеголев Павел Елисеевич (1877-1931) — историк, пушкинист.

<sup>3</sup> То есть 2-я годовщина Октябрьской революции.

<sup>4</sup> «Русь» — газета, основанная в Москве в ноябре 1880 И.С.Аксаковым и выходившая под его редакцией. «Газета была по преимуществу личным органом Аксакова, служила выразительницей его славянофильских воззрений и в остальных своих отделах была мало интересна» (Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Т.53. СПб., 1899. С.367). Б.Я.Бухштаб в комментариях к изданию Фета в большой серии «Библиотеки поэта» отмечает только одно его стихотворение, опубликованное в «Руси» («Ныне первый мы слышали гром...») 1883. №6).

Ты ничего не понимаешь. Ты никогда этого не поймешь! (У меня делается горькая складка у губ). В Крыму думали, что в Питере едят собак, но собак не едят, и в то же время нечто мерзее, чем съедобные собаки. И вот — лучше быть пастухом на некой земле, чем царем на Елисейских полях Петрограда. Ты не понимаешь — сытый и лежащий у себя, что человек (незаметно для себя) может дойти до того, что ему «голодная лень» шевелить рукой, что захолодалые пальцы не могут держать перо, а главное, слезы наворачиваются уже на душу, а не на тело, потому что тела как бы и нет. Дорогой, Публичная была закрыта, единственное место, где можно справиться об умерших. Кажется, открыли. Постараюсь узнать.

Через неделю выяснится о поездке моей к Твоему сыну<sup>1</sup>. А Ты адреса не записал, негодный! Ежели нет, то — еще комбинация: Ташкент. Но именно «на край света», меньше не помирюсь (и экзотика).

Знаешь об открытии писем Афанасия Аф[анасьевича] к Борисову — елисаветградского периода? Фет сватался тогда!<sup>2</sup>

Я валюсь с ног, хотя и электричество. Завтра может произойти одно приключение по амурной части, но — sic lentirim<sup>3</sup>. Да вот. А если б путешествие увенчалось успехом! Как бы не мобилизовали. «Как бы», потому что сейчас всё всё равно. Можно написать бы сказку про спящего царевича, которого будит «сияняя, проходящая мимо». Разбудит ли??

Если все не удастся, то останется с позором в Нижний и в твои милые объятия. А ты не смей, не смей забыть никогда блудного своего Юрия.

У матери поцелуй руку, отцу привет. Спать ложусь. Еда и сон, сон и еда — c'est la vie. И темно.

<sup>1</sup> Сын Садовского Александр (Алик) остался после развода с его первой женой Л.Я.Саранчевой. В годы гражданской войны их следы затерялись на юге. Направляемые Садовским в середине 1920-х запросы в адресный стол Баку результатов не дали.

<sup>2</sup> Имеются в виду письма Фета к И.П.Борисову, часть которых была позднее опубликована Е.Покровской (Литературная мысль. Кн.1. Пг., 1923). Елисаветградка — село Херсонской губ., где стоял Кирасирский Военного ордена полк, в котором служил Фет. Поэт сватался к свояченице богатого ремонтера полка Ильяшенко.

<sup>3</sup> Тише (*лат.*).

7 января 1920

Мое золото №2. Я беспокоюсь о №1. Слушай. Я решил. Ну его все к черту. Слушай. Я к Вейнемейнену (где ты у Корнейчука жил). Затем заниматься сербс[кой] литературой<sup>1</sup>. Понимаешь? Да. Узнал от одного комиссара. Отсюда прямо на Юг нельзя, да и все сыпняки эти! Будь здоров и Христос с Тобою. А мне ни пера, ни пуха. Зубубенная я. Пафос пространства одолевает, а крепост[ное] право невоготу. Получил бумагу от Ак[адемии], что я «ученый исследователь» и т.д. Целую. А родителям привет. Ю.

На лекции о Тург[еневе] Кони разобрал твою статью<sup>2</sup> и хаял. Поделом.

<sup>1</sup> *Вейнемейнен* — владелец дачи в Куоккале, которую снимал К.И.Чуковский (наст. фам. Корнейчуков) и где у него в 1915 жил Садовской. Никольский завуалированно пишет о задуманном им бегстве из Советской России (вначале в Финляндию, а затем в Сербию).

<sup>2</sup> См. прим. 2 к письму 11.

27. Б.А.Садовскому

4/17 февр[аля] 1920

У Наполеона, как у меня — руки, ноги, нос и глаза, и однако я не Наполеон. У других людей тоже ноги — ими ходят, руки — работают, голова — тоже. У меня — все это есть и этого сейчас нет. Это называется малокровие.

Милый, опытный, старый! — ты был тысячежды прав, остерегая меня от этой ямы, от помойной ямы — от Петрограда. Я туда не вернусь, или вернусь не раньше, как через несколько лет. Холод — минус в комнатах. Ютились в кухне. Я и две дамы. Чтобы соблюсти приличие, протягивали веревку и вешали на нее какую-то тряпку — *aux Messieurs et aux Dames*. Мне это сильно напоминал[о] тот «лес», который, по легенде, будто бы писался на дощечке шекспировского театра: с обеих сторон тряпки видно было все, что угодно. Но видеть было и нечего, отчего я тоже хохотал. В этой Эскимосии спят одетыми. Я ложился обыкновенно на спину, сложив колени на грудь, — как младенец в утробе матери. Затем создавалась самая «утроба». Валилось одно одеяло, другое, шуба. Тогда из младенца я превращался в паровоза и — дышал. Надо было скорей надышать теплоты. Я был самопечью. Только потом было почти хорошо, и сны.

Я терпел голод, терпел холод. Знаешь, бывает, что хочется помочиться, ну до того, что бежишь опрометью во двор и готов зарезать всякого препятствующего. Представь то же с голодом. Вдруг «нужно» — до зарезу. И вот, бежишь, бежишь, сломя голову, бежишь от Марсова поля на Литейный, угол Бассейной, где крохотные лепешки за пятьдесят. Чертова жизнь. Это «обедоискательство», это лепешкоискание.

Но вот стала вода, стали уборные.

Тогда люди стали все, что не надо, завертывать в бумагу и бросать в форточку. Тогда стали отводить одну комнату в доме «под», и когда она наполнялась, тогда ее забивали и очередь была за другой. Тогда я, со своим катарром, среди ночи, с седьмого этажа, и где-нибудь в подворотне... Что будет весной? Какие болезни?

Я, как Иштар, выбравшаяся из ада.

А там профессорский паек. 1 1/2 фунта хлеба, 1/2 ф. мяса, etc., etc. — в день. Это великий инквизитор, мой милый, только без его величия. Жрите! Два профессора — вчера — «большевики — сукины дети...» — сегодня — «ничего, они идут нам навстречу, еще можно одному прожить... и чего вы уезжаете?» — Анекдот. Мережковский чем-то недоволен на Зиновьева, Мережковский обижен, писатель... — «Выдать ему повидла, ну, полпуда» — это малый инквизитор, это великий политический сердцевидец. Замазали рот. Повидлом<sup>1</sup>. Я это уже писал Тебе? Может быть.

У меня уже бьется сердце, уже кружится голова. Привет родителям и сестре. Где братья? Мой отец в Тюмени. Сейчас же садись и пиши адрес сына. Я еду в Крым через Киев. Командировка в Киев, Одессу и Крым — изучать архивы. Я бы хотел выехать в начале первой недели великопостной, но меня крепко держит Тетя Поля, и я без сил. Я весь день лежу, весь день сплю. Тут тепло. Кроме этого, я читаю несколько десятков страничек «Vovagu»<sup>2</sup> в день — и все.

Меня беспокоит. У вас там тиф. Берегись. Напиши хоть строчечку. Ведь ты №2, ведь я люблю Тебя. А если я был скотиной и не исполнял поручений, то видишь — я инвалид. Я спешу ехать, т.к. в Киеве надо передать деньги семье одного моего друга.

Да, комбинация «на Вейнемейнена» провалилась, а следующей ждать бы недели 3. Я не мог. И я метнулся на юг. Я боюсь пути и даже сыпняка (в первый раз в жизни). Я так беспомощен и не могу (надоело!) — эта борьба за существование, этот практический марксизм.

Я не оставил мысли экссоветироваться при первой возможности, напр., летом (снятие блокады!). Я грежу о моей Сербии,

где я — кафедру рус[ской] литературы, и изучать лирику Дубровника, влияние Петрарки и — на берег Адриатического Моря, где поет солнце. Только солнце спасет меня. И, как аист, инстинктивно ищущий юга, так я — прямо бессознательно — *dahin, dahin wo die Zitronen blühen*<sup>3</sup>. Спасать свою живую душу и умирающую плоть!

Фет едет со мною. Письма Борисову, Энгельгардт. Мне спсали «Вне Моды» — ты был дурачок, что не оценил<sup>4</sup>! Там, что ни строка — важность огромная. Посылаю французский текст стихотворения Ольги Н-Энгельгардт<sup>5</sup>. Узнаешь? О какой статье про статую Ты еще говорил? Остались в Публичной не спсанными письма к Нагуевскому об Энеиде и 3-4 Шевыреву<sup>6</sup>, которых Бычков<sup>7</sup> не мог достать сразу, а после я уж не мог — при -4° — там.

Любовь к Фету не растопила мороза, и опухшие пальцы отказывались служить. Быть может, за гр[аницей], если попаду туда, — издам кое-что по Фету. До Киева уже ходят санитарпоезда, если б летом ты смог в Крым! Как Твое здоровье? Если забудешь меня — не прошу, и хоть Ты на том свете будешь на лоне Авраамовом, но со своей адской сковороды я покажу тебе свои грузинские кулаки. Я — ревнив. Нежно целую и жду письма, либо телеграммы: «Сходня, Марьинознаменская больница, дослать письмами». Ну, будет.

Да, о тебе душевно вспоминал Модзалевский<sup>8</sup>.

Юрий.

/.../

P.S. Какая у меня пышная бумага от Ак[адемии] Наук!!!! «Известен Отд[елению] Р[усского] яз[ыка] и сл[овесности] как ученый исследователь (sic) рус[ской] лит[ературы], всецело преданный науке, и стремящийся к увеличению и обогащению своих знаний». «Он заслуживает всякого внимания и помощи со стороны ученых учрежд[ений] и отд[ельных] ученых».

<sup>1</sup> Анекдот этот вряд ли правдив, но мог доставить удовольствие Садовскому, давнему литературному противнику Д.С.Мережковского. К тому времени, когда Никольский написал это письмо, Мережковский, З.Н.Гиппиус, их секретарь В.А.Злобин и Д.В.Философов уже больше двух месяцев как бежали из РСФСР (через Вильно в Варшаву), оставив в Петрограде вещи, книги и рукописи, — кроме тех, которые Д.В.Философов, служивший в Публичной библиотеке, еще в апреле 1919 передал в библиотеку вместе со своим архивом.

<sup>2</sup> «Госпожа Бовари», роман Г.Флобера.

<sup>3</sup> «Туда, туда, где цветут лимоны» — перифраз из песни Миньоны в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (кн.3, гл.1).

<sup>4</sup> В своей статье «Проза Фета» (Современник. 1912. №7), включенной в сборник «Ледоход», Садовской так отзывался об упомянутом рассказе: «Склонность Фета описывать все, кажущееся лишним и не идущим к делу, особенно заметна в последнем рассказе его "Вне моды" ("Нива", 1889, №1). Трудно даже назвать этот кусок прозы рассказом: это простое описание того, как Афанасий Афанасьевич и Марья Петровна Шеншины (в рассказе — старосветские помещики Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна) едут на своих лошадях из Воробьевки в Мценск и по дороге ночуют в Орле. Здесь ценны интересные рассуждения и мысли Фета, в самом же начале он описывает собственную наружность и привычки».

<sup>5</sup> *Энгельгардт* Софья Владимировна (1828-1891) — писательница (писала под псевдонимом Ольга N.), сотрудница «Отечественных записок» и «Русского вестника». Знакомая Фета (он посвятил ей стихотворение «Тихонько движется мой конь...»). Учитывая текстологическую важность сообщения Никольского, приведем выписку из комментария Б.Я.Бухштаба к стихотворению Фета «Толпа теснилася. Рука твоя дрожала...»: «Первая публикация — в составе повести Ольги N. (С.В.Энгельгардт) "Не одного поля ягоды", где Фет выведен под его настоящим именем. Повесть начинается описанием литературного вечера, в котором участвует Фет. Ст-ние, озаглавленное здесь "После бала", введено след. словами: "Фет заключил чтение стихотворением, переведенным им накануне с французского из альбома одной из его приятельниц". Это указание источника, совершенно излишнее по ходу повествования, свидетельствует скорее всего о том, что С.В.Энгельгардт — действительно приятельница Фета — напечатала ст-ние по своему альбому. Если это так — приобретает особый интерес разночтение третьего стиха в ее редакции:

"Я помню, завтра" ты невнятно прошептала...

так как тогда становится вероятным, что окончательная редакция третьего стиха должна быть:

"Я знаю, завтра..." ты невнятно прошептала...

Замена "помню" — "знаю" не удивительна, но передача этой реплики автору была бы странна. Не имея документальных данных, подтверждающих эти соображения, печатаем по тексту "В[ечерних] о[гней]", 1» (Фет А.А. Стихотворения и поэмы. Л., 1986. С.671-672).

Стихотворение Ольги N. в письме Никольского находится перед постскриптумом (в том месте, где в нашей публикации стоит знак купюры). Приводим его текст, с указанием на источник, которое дает Никольский:

Après le bal

La foule se pressait... votre main pâle et frêle  
Rassemblait les longs plis du manteau de satin.  
«Demain, avez-vous dit, oui, je me rappelle...»  
Puis, vous avez rougi, puis, disparu soudain.

Et lui? Ses bras croisés sur sa large poitrine  
Broyèrent le bonheur dans son coeur interdit;  
L'horloge avertissant de l'heure qui décline  
Du char qui vous emporte accompagna le bruit.

La nuit d'été passa, mais ses heures ailées  
Tinrent vos yeux brulans ouverts jusqu'au matin,  
De folles visions de silphes et de fées  
Dansaient autour de vous en répétant: demain.

[Poésies de M-me Olga N\*\*\*, dédiées a M-r A. de L.....,  
Moscou. Imprimerie W.Gautier, 1860. Page 14].

Эта книга осталась неизвестной Б.Я.Бухштабу, во всяком случае, на момент подготовки им 3-го издания «Стихотворений и поэм» Фета в большой серии «Библиотеки поэта». «Je me le rappelle» переводится именно, как «Я помню», т.е. вариант, приведенный С.В.Энгельгардт в своей повести, дает фетовский точный перевод.

<sup>6</sup> *Нагуевский* Дарий Ильич (1845-1918) — заслуженный ординарный профессор кафедры римской словесности Казанского университета, нумизмат и археолог, музыкальный критик (писал под псевдонимом «Бемоль» в «Ведомостях одесского градоначальства», «Рижском вестнике», «Волжском вестнике». Издал в 2-х томах свое «Введение и объяснения к переводу Энеиды Виргилия А.Фета» (М., 1888; СПб., 1908 — см. №60 и 148 в изд.: Список трудов Д.И.Нагуевского, заслуженного ординарного профессора [1871-1911]. Казань: Типолитография Императорского университета, 1911). Пять писем Фета к нему за 1887 были опубликованы в приложении к газете «День» — «Литература, искусство и наука» (1913. 14 октября. №2 и 28 октября. №4). См.: История русской литературы XIX века: Библиографический указатель / Под ред. К.Д.Муратовой. М.; Л., 1962. С.754. №17431 (из-за множества опечаток в фамилии и инициалах корреспондента Фета, допущенных в газетной публикации писем Д.И.Нагуевского, он проходит в указателе Муратовой как Д.П.Нашевский). В этом же указателе отмечены всего 2 опубликованных письма Фета к С.П.Шевыреву (С.753. №17430).

<sup>7</sup> *Бычков* Иван Афанасьевич (1858-1944) — археограф, библиограф, сын директора Публичной библиотеки А.Ф.Бычкова, многолетний заведующий Отделом рукописей этой библиотеки, член Археографической комиссии, чл.-корр. АН.

<sup>8</sup> *Модзалевский* Борис Львович (1874-1928) — историк, пушкинист, старший ученый хранитель Пушкинского Дома, зав. архивом АН.

28. Б.А.Садовскому

17 апр[еля] 1920  
М[арьино]-Зн[аменская]

Не могу дожидаться, миленьш, от Тебя даже строчки! Жив ли ты? — Теперь так легко уехать ad patres<sup>1</sup>. Не сердись? Конечно,

я не то что свиньей, но цельным кабаном и бегемотом оказываюсь перед Вашей светлостью, но гадюка любит, даже виноватая, зачем ее обижать? не писать? Я обратился здесь в лошадь. Ем овес во всех видах (овсянка, кисель, лепешки etc.), меня с него раздуло и физиономия приобрела благородно-дипломатический вид. Хвостик тоже подживает<sup>2</sup>. Поганцы не берут Крыма (давно пора). Я же теперь решил, что начинать надо с этого места. Книги (Сербия) подождут, любовь же ждать не может. Вот если б «вольнo-любивую княжну» в карманчик, да увезти «к лимонам». Но боюсь, тут говорит во мне поповская древняя кровь:

Очи завидушие, руки загребушие.

Как бы ни было, на зеленом диване, который тоже воспет, снятся влюбленному сумасшедше-душеспасительные сны. Я говорю всем, что весной в Крыму, а летом, к осени — dahin, — так я говорю всем, но — ты нишкни! — кто знает? — может быть, сторожем на виноградниках — пленительней, чем «сокровища мира сего»? Т.е., наверно, пленительней, речи быть не может, но если будет опять радость — страданье<sup>3</sup>, с очень перевесом на последнее, то сбегу! Знаешь, мне давно следовало отцать эту кишку, у меня сразу от этого душа как-то оздоровела, и если полечить остомак, чтоб не дойти до Шопенгауэра, то и вовсе буду великолепен. Мне совестно, что я пишу это Тебе, но, во 1-ых, Ты мой старший брат, должен из побратимства эго — под одеяльце спрятать, во 2-ых, ты в жизни столько напрыгал, что мне ввек за Тобой не поспеть, может, меня к сорока-то годам еще хуже кондрашка хватит. Наконец, ты теперь лежишь, а я все детство пролежал старичком, в болезнях всяких, теперь моя молодость пришла и я хочу танцевать.

Я знаю глубоко (Ницше — Geburt der Tragödie<sup>4</sup> и пр.), что жизнь — сволочная штука, но я «поэт в душе» — хочу есть, пить, веселиться и ловить день. Красота — иллюзорна? — пожалуй, это утончает ее, делает какой-то трогательной, тонкой. Аполлона. Я вне себя от остроты мысли — что как должны были страдать греки в темном Дионисе, чтобы создать беломраморную Элладу! Вообще, тот же Ницше (и Бисмарк) правы: — «когда я думаю — я много ем». Я много думаю. Может быть, мои стихи, мои мысли отдают немного лошадкой? — влияние овса на умонастроение еще не привлекало внимания психологов, они всё в эмпириях? Мне надоело, но я запою, как в каждом письме: адрес жены! Что братья? Как здоровье и знахарь, не послал Ты его еще к матери? Не знаю, что меня — откровенно сказать — больше тревожит — Ты с знахарем или ты без знахаря. Т.к. Ты всякую вещь кушаешь, то по-

сылаю всякого вздору. Ей Богу, я не виноват в нем, клянусь святой Марией и Иосифом. Бог отнимает ум и т.д. по Платону. Нарочно посылаю и про какаду («в те дни, как был я соловьем») — глуповата, глуповата *Madam la Muse*<sup>5</sup>. Но ты у меня золото, не оставишь потомству, сожги на свечке. У меня ноги выше головы (на зеленом диване) и скоро захотят по-паучиному ходить по потолку. Что ли меня тиф скушает, отчего это какая-то *предсмертная дурь* лезет в голову? Ничего, небось! — долго еще проживу. Внукам же надо будет рассказать, как овес ел? Но для внуков нужна жена. Опять сначала! Перо вырвалось из моих рук и пляшет, как вакханка<sup>6</sup>. Ты не слушай! Целую. Привет дома.

Ю.Н.

L'adresse de lettres s'il vous plaît — Москва, Мясницкая, Архангельский пер., 8, кв. 2, Эмме Алдр. Коробковой. Для (если застанут) меня.

Все хотел прислать стихи брата, да некогда было переписать. Как творчество???

<sup>1</sup> К праотцам (*лат.*).

<sup>2</sup> В предыдущем письме, не включенном в публикацию, Никольский писал об открывшемся у него геморрое, которым страдал уже давно, и операции: «Фета каленым железом надо мною же, шабес-гоем, совершили обрезание и ныне я как бы отчасти иудей с другого конца и "обезгеммо-роидален"».

<sup>3</sup> Парафраз Блока — «Радость — Странанье одно!» (из стихотворной драмы «Роза и Крест»).

<sup>4</sup> Имеется в виду труд Ницше по философии культуры «Рождение трагедии из духа музыки» («Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik», 1872). 24 марта 1920 Никольский писал Л.Я.Гуревич: «Ницше "Трагедия" — это, кажется, самая моя книга. Я весь Дионисен, весь "мрачные потоки сознания" и среди них *principium individuationis* — плавающая неправда — Аполлон, режущая и целующая Красота из лучей».

<sup>5</sup> Упомянутое «послание» отсутствует.

<sup>6</sup> Письмо, впрочем, написано карандашом.

<sup>7</sup> Приписано на полях.

29. Б.А.Садовскому

3 июля 1920

Мое золото!

Если бы не поезд Луначарского, я не добрался бы до Одессы. Здесь я заведую всеми Музеями, читаю лекции рабочим и буду в

Университете, но дело не в том. Со мной случилось несчастье. «№1» — погиб, так же, как и мой брат<sup>1</sup>.

В Одессе нашлись братья «тихой и кроткой» — заботы о них и ожиданье дома наполняют.

Как Ты, мой светик?

Напиши мне. Что родители? где братья? как сестра, которую я знаю?

Здесь юг. И даже мою измученную душу точно будто бы он ласкает.

Храни Тебя Господь.

Одесса, Гаванная, 6, кв. 14, Геккер. Не предавайся дурным мыслям, помни обо мне.

Юрий.

<sup>1</sup> Предположительно, под «номером первым» подразумевается Ашурков.

30. Б.А.Садовскому

3 авг[уста] 1920

Жив ли Ты там, старик мой? Доходят ли мои, в пространство посылаемые, письма?

Завтра я и кн. Андрей едем в Тирасполь, а его младший брат Гуля (Сергей) уже там<sup>1</sup>. Командировка по музейной части и пр., но Бог его знает, найду ли я там хотя бы тень от певца Тристиций и Artis amandi<sup>2</sup>? Вернусь ли сюда несолоно хлебавши, либо же что из того выйдет?

Здесь сейчас желтые дыни и индиговое море и евреи. Не радуясь солнечному пеклу и думаю даже — ежели бы сюда перенести твои тоскующие кости, то из этого выйдет больше толку, чем от знахаря с Нижегородской ярмарки.

Голубчик, скоро ли увижу Твоих и своих, Твоего наследника? Но вот еду в Тирасполь.

На берегу днестровских волн  
Стоял он, дум великих полн  
И вдаль глядел.

Не знаю, доходили ли предыдущие письма, а потому — как ни скучно, повторю фабулу одесской жизни. После двух недель в бесплодной одинокости, я — случайно — встретил мальчиков Об[оленских], после тифа (что их и спасло от худшего). Через еще неделю я встретил Сомовых. Он — мой старинный товарищ по училищу<sup>3</sup>, она тоже, и моя первая любовь (так в жизни бывают

казусы). Сомовы были на одном поезде с Об[оленскими], но моих мальчиков оставили раньше на станции, из-за тифа. С ними же был мой №1. Его расстреляли. Это мне сообщил Сомов с подробностями, о которых холодно вспоминать. Может, случайно мне придется проезжать и сейчас мимо местечка, где погибло мое второе я, лучшее и большее меня во много. Говорю «случайно», т.к. — помнишь, мы говорили, — я не терплю безобразия могил и живой образ во мне погибшего протестует. Мы жили все 5 коммуной. Теперь я, с мальч[иками] Об[оленскими], к которым у меня настоящее отцовство, — уезжаем.

Целую тебя, мой старичок. Не забывай Юрия.

<sup>1</sup> Кн. Андрей Оболенский (1900-1979), и его брат Сергей (1902 — после 1988), оба офицеры Белой армии, только что бежали из большевистского плена и всего за 5 дней до эвакуации прибыли в Крым (см. прим. 1 к письму 19). Вместе с частью семьи Оболенских Никольский эвакуировался из Севастополя 14 ноября 1920 в числе 500 беженцев на французском броненосце «Вальдек Руссо» (см.: П.Б.[Бобровский?] Крымская эвакуация // На чужой стороне. Прага, 1925. Вып. XI-XII). В посадке на броненосец им помог представитель французской военной миссии при Врангеле Зиновий Пешков, приемный сын Горького и брат председателя Совнаркома Якова Свердлова, однорукий офицер французской армии. Кн. В.А.Оболенский писал в воспоминаниях: «Когда я с двумя сыновьями и дочерью пришел на вокзал, то застал там уже Бобровского и Арбузова. Мы с ними и еще с тремя нашими молодыми друзьями — Ю.А.Никольским, офицером П.О. Сомовым и В.Н.Андрусовой составили тесную компанию, которая под моим водительством объединилась на все время эвакуации» (Оболенский В.А. Указ. изд. С.742). Кроме двух сыновей Оболенского, которым грозил расстрел как белым офицерам, и старшей дочери Аси, служившей на фронте сестрой милосердия, остальная семья Оболенского — его жена Ольга Владимировна (урожд. Винберг) и пятеро младших детей, в том числе и невеста Никольского Ирина, — временно оставались в Крыму.

<sup>2</sup> Имеется в виду Публий Овидий Назон и его произведения: «Скорбные элегии» и «Искусство любви» (последнее название правильное писать «Ars amatoria»).

<sup>3</sup> Офицер врангелевской армии Павел Осипович *Сомов*, друг семьи Оболенских.

31. Б.А.Садовскому

1 сент[ября] 1920

Неужели Бог отнимет у меня еще Тебя? Судьба Иова. Крепись как-нибудь, не уходи из жизни, когда «бесследно все и так легко не быть». Из духа противоречия хотелось бы зацепиться зубами.

Сегодня утром пришло письмо — чудо из чудес — пересланное из Одессы в Тирасполь, где я устраиваю Музей. Может быть, вечером сегодня\* вырешится дальнейшая судьба жизни. Подумай обо мне из своего далёка, может быть, душевная помощь как-то поможет и на расстоянии, если есть любовь.

Здесь читал лекции о новой лирике, достали мне Чтеца-Декламатора, и в нем (стёртоватая) Твоя гимназическая рожица<sup>1</sup>. Я свиснул.

Вся моя судьба в материнских заботах о братиках «тихой и кроткой» (и моих), их жизнь подвергалась опасности, но Бог не без милости, надеемся и впредь.

Жизнь тут совсем иная. По моим наблюдениям, интеллигенция скорее контр-револ[юционна] и саботирует, власти трудно, террор, чека. Вранг[ель] двигает на Дон и, кажется, в Кубани, одним словом, котел подземный.

Что еще, старый дружище. Получил ли стихи? А я посеял Твое ко мне послание «бонз» — «Полонс[кому?]»<sup>2</sup>. Так жалко! Как бы я хотел к Тебе перенестись (а потом опять dahin).

Ну, обнимаю Тебя, мой хороший. Ежели скоро увижусь с сыном, то передам отцовское благословение и буду его дядькать.

Дома сердечный привет. Где братья? Мой отец все в Тюмени, ул. Республики, 20. Тут юг, помидоры, арбузы. Осень беспокоит — босы.

Твой всегда Юрий.

<sup>1</sup> В IV томе сборника «Чтец-декламатор. Антология современной поэзии» (Киев, 1909), на с.634 была помещена фотография Садовского 1908 года, в студенческом (не гимназическом) мундире. В этом же сборнике на с.638 напечатано его стихотворение «Крым», о котором Никольский писал 16 июня 1918 (см. письмо 12 наст. публикации).

<sup>2</sup> О каком *послании* Садовского идет речь — неизвестно.

### 32. Б.А.Садовскому<sup>1</sup>

2 мая 1921

Дорогой мой Борис!

Непременно поступай, как нужно для Твоего здоровья.

Я живу ничего. После суровой школы закаленности последних лет — физические условия никакие не страшны, живешь духом и тоской по тем, с кем разлучился. Это мучает.

\* опять отсрочка, ох! (Прим. Ю.Никольского).

Здесь Юр. Льв. Р[акитин]<sup>2</sup> — твой друг — во всем мне готовый помогать, он режиссер театра и недавно читал на каком-то вечере Твои стихи о Репетилове<sup>3</sup>. Ты знаешь, милый, что «тихая и кроткая» — там, далеко. Я живу с ее сестрой и братом<sup>4</sup>. Но Пасха — принесла настоящее Христос Воскресе: пока еще косвенное известие о них, а перед тем твои каракули. Если б Папа, или моя Тетя врач — могли быть при Тебе — как бы я был спокоен.

Я боялся уже, что Ты не выживешь. Знаешь ли о сыне? М.б., наши могут помочь.

Слишком много надо сказать, стихи прочитать. И еще без конца. Привет родителям.

Целую и люблю.

Юрий.

«Сбудется, что суждено  
Сердца закон непреложный  
Радость — страданье — одно».

<sup>1</sup> Письмо написано в Белграде и переслано через границу с оказией, нелегально.

<sup>2</sup> *Ракитин* (Ионин) *Юрий Львович* (1880-1952) — актер, режиссер. Многолетний сотрудник В.Э.Мейерхольда; принимал участие также в «Летучей мыши».

<sup>3</sup> На вечере старого водевиля в московском Литературно-художественном Клубе 28 января 1911 трем водевилям («Дон Рандо де-Калиброс», «Вицмундир» и «66») в постановке Ю.Ракитина и оформлении Н.Сапунова предшествовал специально написанный Садовским пролог «Монолог Репетилова», в котором рассказывались театральные злобы старой Москвы (см.: Русские ведомости. 1911. 30 января).

<sup>4</sup> С кн. Андреем Оболенским и его сестрой Асей (Александрой; впоследствии приняла постриг, в монашестве — мать Бландина; 1897-1979) Никольский делил одну маленькую комнатку в Белграде (см.: П.Б. Крымская эвакуация. Указ изд. Вып.ХІІ. С.140).

33. Б.А.Садовскому

24 июля 1921  
Тихоновская, 27.  
Нижн. Новгород

Дорогой мой Борис! Одно письмо только долетело случаем от Тебя. Я отвечал. Здесь Юрий Львович режиссером театра, и он просит передать, что пылает к Тебе всякими чувствами, т[ак] ч[то] в неизменности его Ты можешь быть уверен, хотя на меня он зол:

я ему в лицо разругал его постановку Смерти Тентажиля Метерлинка.

Спасибо за известие об отце. Как бы я был счастлив, если б он к Тебе приехал и вы вместе потом отправились куда-нибудь на солнышко лечиться. Ему 61 год скоро. Я мучаюсь, как он там, старенький. Еще моя тетка под Москвой, а затем Беатриче на черноморском берегу. Друже, узнай обо всех. Я внешне благополучен и содержу 2-х — брата и сестру моей Радости, а она далеко.

Как Твое здоровье, милый, оставшийся у меня!?

Научная работа наладилась еще мало. С чужим языком дело тужее, чем я думал. Главное же — «отходил» — отходил от всего пережитого, в тихой пристани. И второе главное, что ее нету со мной. И отца. И тетки. И Тебя. Грущу.

Привет твоим хорошим старикам. Отзывайся.

Крепко целую тебя

Юрий<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Дрожащей рукой Б.А.Садовского карандашом на письме написано: «Умер в 1922».

Л.Поликовская  
М.А.ОСОРГИН В СОБСТВЕННЫХ РАССКАЗАХ  
И ДОКУМЕНТАХ ГПУ

М.А.Осоргин (наст. фам. Ильин, 1878-1942) облегчил работу своим биографам — почти все его художественные произведения в той или иной степени автобиографичны. А кроме того, он оставил мемуарную книгу «Времена»<sup>1</sup> и десятки очерков, воспроизводящих те или иные эпизоды его жизни<sup>2</sup>, предельно богатой событиями. Впрочем, сам Михаил Андреевич полагал, что причина такой автобиографичности не в особенностях его характера и темперамента, а в тех самых *временах*, которые, как известно, не выбирают. («Наше поколение находится в чрезвычайно выгодных мемуарных условиях: не успев состариться, мы прожили века»)<sup>3</sup>.

Осоргин, уроженец Перми, всегда считал себя простым провинциальным русским человеком, но — волею судеб, а точнее, правителей России — большую часть жизни провел за границей. Эсер и участник первой русской революции, он в 1906 вынужден был бежать из России — царские жандармы приговорили его к ссылке в Нарым. Вернуться удалось только спустя десятилетие — Михаил Андреевич думал, что навсегда. Оказалось, на шесть с половиной лет. Осенью 1922 Осоргин вместе с группой других писателей, философов и ученых был выслан из СССР — на сей раз уже своими соратниками по борьбе с самодержавием.

---

<sup>1</sup> Первое издание — посмертное: Париж, 1955. В России впервые: Екатеринбург, 1992.

<sup>2</sup> Очерки публиковались в различных эмигрантских изданиях — большинство в парижской газете «Последние новости». Некоторые из них собраны в кн.: Осоргин М. Воспоминания; Повесть о сестре. Воронеж, 1992.

<sup>3</sup> Из очерка «А.К.Маликов и В.Г.Короленко». Цит. по: Осоргин М. Воспоминания... Указ. изд. С.73.

Об этом, быть может, важнейшем в своей жизни событии Осоргин-мемуарист рассказал по крайней мере дважды: во «Временах» и в очерке «Как нас уехали»<sup>4</sup>. Так надо ли верить гармонию лирической прозы Осоргина сухой алгеброй документа?.. Документ всегда любопытен, и сам по себе и в проекции на литературное произведение. Конечно, никакие открывающиеся «разночтения» не умаляют художественных достоинств, но *доверие* к мемуаристу, особенно в некоторые времена, может существенно повлиять на эстетическое восприятие текста.

«Получив доверенность вдовы писателя<sup>5</sup>, я в начале 1993 направилась в тогдашнее Министерство безопасности РФ. Выдать дело Осоргина мне, однако, поначалу отказались... на том основании, что М.А.Осоргин НЕ РЕАБИЛИТИРОВАН. Все же потом выдали. Так что в некотором смысле могу считать себя причастной к реабилитации Михаила Андреевича.

...Последнее российское лето Осоргин проводил в деревне Барвиха. Вместе со своим другом Николаем Бердяевым. «Почтенному философу /.../ пришло в голову побывать в Москве /.../ Ждали его обратно вечером, но он не вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров. /.../ Поэтому, ночь переспав на даче, с утра я засел в камышах — может быть, и за мной придут /.../ Адресных столов в деревне не водится, а местный совдеп за рекой. Когда я с удочками проходил мимо перевоза, там слезали с автомобиля приметные фигуры с наганами и в суконных шлемах, созданных по рисунку художника Бертрама»<sup>6</sup>, — вспоминает Осоргин в очерке «Как нас уехали».

М.Осоргин никогда не считал себя объективным и беспристрастным летописцем — такую роль он считал недостойной художника. Казалось бы, тщетно искать у него точности в мелочах, не определяющих идейно-художественного содержания произведения. Но выясняется: не только «канва» очерка, но даже отдельные мелкие эпизоды, вроде вышеописанного, не выдуманы — срисованы с натуры.

«Приметные фигуры с наганами и в суконных шлемах» действительно приезжали в Барвиху — по душу Михаила Андреевича. В деле Осоргина, которое выдали мне на Лубянке, хранится

<sup>4</sup> Впервые: Последние новости. 1932, 28 августа.

<sup>5</sup> Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина (1904-1995) — библиограф, исследовательница русского масонства. С 1924 — жена М.Осоргина.

<sup>6</sup> Бертрам Мейстер (ок. 1340 - ок. 1415) — немецкий художник. В церкви Св. Петра в Гамбурге 24 его панно с изображением евангельских сюжетов.

## РОСПИСКА

Я, Председатель деревни Барвиха Московского уезда и гурьнии Игнатий Никитин даю настоящую подписку ГПУ в том, что посещение меня из ГПУ 18 августа обязуюсь никому не разглашать — так как оно связано с арестом Осоргина Михаила Андреевича, проживающего в деревне Барвиха.

В чем и подписуюсь  
18 августа 1922 г.

И.Никитин

Днем раньше работники ГПУ побывали в московской квартире писателя. На «законном» основании.

## ОРДЕР №1724

Выдан сотруднику Оперативного отдела ГПУ Семенову.  
Производство: арест и обыск Осоргин (Ильин) Михаил Андреевич. Б.Чернышевский пер., д.11, кв.2.

Подробных, с описанием каждой бумажки, протоколов обыска тогда еще, видимо, не составляли. Во всяком случае в деле следующий документ —

## ПРОТОКОЛ

На основании ордера Государственного Политического Управления за №1724 от 16 августа 1922 произведен обыск у гр. Осоргина Михаила Андреевича, в д. №11, кв.2 по ул. Б.Чернышевского.

При обыске присутствовали [Подписи неразборчивы]  
По заявлению супруги г-на Осоргина — Гинцберг<sup>8</sup> ее муж находится на даче, но адрес ей неизвестен.

На квартире Осоргина не оказалось.

Опись всего конфискуемого или реквизируемого — личная переписка.

Обыск начался в 11 ч. 30 мин., окончен в 4 часа 15 мин.

За пять часов работы поживиться удалось немногим. «Личная переписка» — это в основном письма к Р.Гинцберг-Осоргинной от ее друзей и родственников, в один голос уговаривающих Рахиль Григорьевну уехать самой и увести мужа за границу. Однако сотрудники ГПУ не были обескуражены — ведь ордер на арест был выписан одновременно с ордером на обыск, и, стало быть, результаты последнего ни на что не влияли. Гораздо важнее — арест самого Михаила Андреевича, в чем должны были помочь люди, сотрудничавшие с органами «на общественных началах».

<sup>7</sup> ЦА ФСБ. Архив ГПУ. Н-1557. Дело №15652.

<sup>8</sup> Гинцберг-Осоргина Рахиль Григорьевна — общественная деятельница, журналистка, 2-я жена М.Осоргина.

## ПОДПИСКА

Мы, нижеподписавшиеся, даем настоящую подписку в том, что по возвращении М.А.Осоргина-Ильина домой обязуемся его направить в 4-ое отделение СО ГПУ к тов. Решетову, предварительно уведомив его по телефону ГПУ.

17.VIII.22 г.

Пред. правления жил. товарищества [Подпись неразборчива]

Осоргин, разумеется, ничего не знал ни об обыске, ни об обязательствах, взятых на себя соседями по дому. Но понимал: коль скоро известное учреждение заинтересовалось его персоной — так или иначе «достанут». «Не вечно же жить в лесу?»<sup>9</sup> Тем более: «из Москвы сообщили, что некоторые из арестованных уже выпущены, и всех высылают за границу». И Михаил Андреевич, дважды успевший побывать на Лубянке<sup>10</sup>, решает явиться туда «добровольно» — «Быть высланным за границу, так недолго прожив на родине, хотя и успев вкусить ее пьяно и обильно, — совсем не улыбалось. /.../ Все же Европа лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, Корабль смерти<sup>11</sup> и прочее».

«Арестоваться» оказалось не так-то просто. Патруль упорно не пропускал в здание — «Без разрешения нельзя». В конце концов это затруднение было успешно преодолено, и началось то, что формально называлось допросом, а на самом деле было пустой формальностью, которой ни следователи, ни подсудимые не придавали особого значения — участь «чуждых элементов» была предрешена — на более высоком уровне.

«Я спросил у Решетова [память Осоргина совершенно верно сохранила фамилию следователя. — Л.П.]: "Собственно, в чем мы обвиняемся?" Он ответил: "Оставьте, товарищ, это не важно! Не к чему задавать пустые вопросы". Другой следователь подвинул мне бумажку: "Вот распишитесь тут, что вам объявлено о задержании"».

Вот эта «бумажка»:

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1922 год, августа 22 дня я, Помощник Начальника IV Отделения СО ГПУ Бахвалов Б., рассмотрев дело №15652 об Осоргине Михаиле Андреевиче

<sup>9</sup> Все цитаты, кроме особо оговоренных, из очерка «Как нас уехали».

<sup>10</sup> В первый раз — в 1919 — несколько дней, освобожден по ходатайству Союза писателей и Ю.К.Балтрушайтиса, во второй — в 1921 вместе с другими членами Комитета помощи голодающим, пробыл в тюрьме полгода, после чего был выслан в Йошкар-Олу.

<sup>11</sup> Корабль смерти — камера в Лубянской тюрьме, в которой Осоргин сидел в 1919 (название одной из глав романа «Сивцев Вражек»).

Постановил: привлечь его в качестве обвиняемого и предьявить к нему обвинение в том, что он с Октябрьского переворота и до настоящего времени не только не примирился с существующей в России Рабоче-крестьянской властью, но ни на один момент *не прекратил своей антисоветской деятельности*, причем в момент внешнего затруднения для РСФСР свою контр-революционную деятельность усиливал, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 57-8 Уголовного Кодекса РСФСР<sup>12</sup>.

Как меру пресечения уклонения от суда и следствия гражданина Осоргина избрать содержание под стражей.

22. VIII-22 г.

Пом. Нач. IV Отделения ГПУ

Бахвалов.

Согласен

[Подпись неразборчива]

Настоящее постановление мне объявлено.

Мих. Осоргин

Как явствует из воспоминаний Осоргина, он поначалу отказался подписать этот документ: Решетов предварительно, по телефону, пообещал ему, что ареста не будет. Но следователь поспешил успокоить: «Да вы только подпишите, а там увидите, я вам дам другой документ».

«Другой документ» действительно был заготовлен и дан Михаилу Андреевичу на подпись, но предварительно понадобилось сочинить еще одну бумагу, которая в воспоминаниях не упоминается:

#### ПОКАЗАНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА

По поводу предьявленного мне обвинения заявляю, что не только не признаю себя виновным, но совершенно не понимаю, чем вызвано данное обвинение и почему могло обо мне, литераторе, давно уже политической деятельностью не занимающемся, составиться такое мнение. Антисоветской деятельностью я не занимаюсь и не могу заниматься, занимаюсь же исключительно художественной литературой, чуждой политической окраски<sup>13</sup>.

По поводу меры пресечения уклонения от следствия и суда должен сказать, что я, едва узнав о вызове меня, немедленно *сам* явился к следователю. Несмотря на свое крайне болезненное состояние (туберкулез позвоночника). Содержание под стражей

<sup>12</sup> Ст. 57 УК РСФСР (1922) трактовала понятие «контрреволюционных действий» и не имела подразделения на пункты.

<sup>13</sup> В 1922 Осоргин жил в основном переводами итальянских пьес. В том числе и пьесы К.Гоцци «Принцесса Турандот», которая была поставлена театром Е.Б.Вахтангова и шла более десяти лет, с указанием имени переводчика.

могло бы меня убить. В подтверждение этого прилагаю находящееся при мне свидетельство лечебницы, где мне предписано наложить гипсовый корсет<sup>14</sup>.

В виду этого, решительно отвергая обвинения, прошу не применять в отношении меня мер пресечения. По поводу вызова явлюсь сам.

Мих. Осоргин

Очевидно, только после получения этих «показаний» следователь и вручил Осоргину «другой документ», где, вспоминает Михаил Андреевич, было «просто сказано, что на основании моего допроса (которого еще не было) я присуждаюсь к высылке за границу на три года. И статья какая-то проставлена».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По делу №15652 гр-на Осоргина Михаила Андреевича.

Арестован 18 августа 1922 года, содержится во Внутренней тюрьме ГПУ.

По наведенным справкам в Уч. РО ГПУ о прежней судимости: имеется дело 1921 г., проходит по следственному делу Всероссийского комитета помощи голодающим.

1922 г., август, 25 дня, я Помощник Начальника IV Отделения СО ГПУ Бахвалов, рассмотрев дело №15652 о гр-не Осоргине Михаиле Андреевиче 44 лет, происходящем из б. дворян г.Уфы, временно проживающего в г.Москве<sup>15</sup>, нашел, что с момента октябрьского переворота и до настоящего времени не только не примирился с существующей в России в течение пяти лет Рабоче-Крестьянской властью, но ни на один момент не прекратил своей антисоветской деятельности, причем в момент внешних затруднений для РСФСР свою контр-революционную деятельность усиливал.

А посему на основании п.2 лит. Б Положения о ГПУ от 5.2. с.г. в целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельности Осоргина М.А., полагаю выслать его из пределов РСФСР за границу бессрочно.

Принимая заявление, поданное гр-ном Осоргиным в коллегию ГПУ с просьбой разрешить ему выезд за границу за свой счет, освободить его для устройства личных и служебных дел на

<sup>14</sup> Приехав из Барвихи в Москву, Осоргин прежде всего направился в частную лечебницу А.Бакунина, своего друга и будущего тестя, — и там запаса необходимых справками. (См. «Как нас уехали»).

<sup>15</sup> Осоргин вернулся в Россию не совсем легально, и потому получил разрешение лишь на временное проживание в Москве. Это распоряжение царской власти сохраняло свою силу, как видим, и при большевиках. Подробности см. в очерке «Дым отечества».

7 дней, с обязательством по истечению указанного срока явиться в ГПУ и немедленно после явки выехать за границу.

Помощник Начальника IV отделения СО ГПУ

Бахвалов

25 августа. 1922 г.

Согласен. Зам. Начальника IV отделения

[Подпись неразборчива]

«Документы врут, как люди», — говорил Юрий Тынянов. Дата, стоящая под «Заключением», и дата ареста, безусловно, неверные. Пребывание в советской тюрьме, хотя бы и в течение нескольких дней, — не такая малость, которую можно легко забыть. И «арестован» и «освобожден» Михаил Андреевич был в один и тот же день — теперь мы точно знаем в какой: 22 августа.

Чекисты, очевидно, полагали само собой разумеющимся, что всякий нормальный человек мечтает вырваться из той страны, «безопасность» которой они обеспечивают, и потому считали нужным получить согласие только на определенные условия отъезда.

«Вы как хотите уехать? Добровольно и на свой счет?» — «Я вообще никак не хочу». Он изумился: «Ну как же это не хотеть за границу! А я вам советую добровольно, а то сидеть придется долго». Спорить не приходилось: согласился «добровольно».

В Коллегию ГПУ

гр-на Осоргина

### ЗАЯВЛЕНИЕ

В виду постановления Коллегии ГПУ о высылке меня за границу прошу вашего распоряжения 1. выехать за мой собственный счет. 2. выехать вместе со мной моей жене Гинцберг-Осоргиной. 3. освободить меня на 7 дней для устройства личных и служебных дел.

Есть в деле и еще один документ, который Осоргин называет «третьим», в котором «кратко сказано, что в случае согласия уехать за свой счет освобождается с обязательством покинуть пределы РСФСР в пятидневный срок; в противном случае содержится в Особом отделе до высылки этапным порядком».

Воспроизведем и его:

### ПОДПИСКА

Дана сия мною, г. Осоргиным М.А., СО ГПУ в том, что обязуюсь: 1. выехать за границу согласно решению Коллегии ГПУ за свой счет. 2. в течение 7 дней после освобождения ликвидировать все свои личные и служебные дела и получить необхо-

димые для выезда документы. 3. по истечению 7 дней я обязуюсь явиться в СО ГПУ к начальнику IV Отделения тов. Решетову.

Мне объявлено, что неявка в указанный срок будет рассматриваться как побег из-под стражи со всеми вытекающими последствиями, в чем и подписуюсь.

22 августа 1922

Мих. Осоргин

Некоторые разночтения между документами и воспоминаниями, написанными десять лет спустя, конечно, есть — это понимает и сам М.Осоргин: «Может быть, передаю не точно — но смысл таков».

Теперь можно сказать, что неточности минимальны. Ну, не пять, а семь дней было дано Михаилу Андреевичу на устройство личных дел — что с того? Важнее другое: не документы заставляют нас по-иному посмотреть на мемуары Осоргина, а наоборот, тексты Осоргина — ключ к его «делу», без которого в нем было бы труднее разобраться и восстановить истину. В том числе и в самом интересном, что есть в «деле» — ответах на анкету, именуемую «Протокол допроса», которая была ему вручена *после* всех постановлений и заключений.

На недоуменный вопрос Осоргина: «Вы еще не допрашивали?» — чекисты ответили: «Вам-то ведь все равно». Ответы Михаила Андреевича ничего не могли изменить в его судьбе, и потому мало интересовали следователей.

### ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1. Фамилия — Осоргин.
  2. Имя — Михаил.
  3. Отчество — Андреевич.
  4. Возраст — 44 года.
  5. Происхождение — б. дворянин Уфимской губернии.
  6. Род занятий — писатель.
  7. Семейное положение — женат.
  8. Имущественное положение — живу литературным трудом, ничего не имею.
  9. Партийность — беспартийный.
  10. Политические убеждения — аполитичен.
  11. Образование — окончил Московский университет, юрист.
  12. Чем занимался и где служил
    - а) до войны 14 г. — не служил, занимался исключительно литературным трудом. С 1905 по 1916 г. жил за границей (политическим эмигрантом).
    - б) до Февральской революции
    - в) до Октябрьской революции
    - г) с Октябрьской революции до ареста
- } литературным  
} трудом  
} в Москве

13. Сведения о прежней судимости — в 1905 г. привлекался к делу о московском восстании.

Мих. Осоргин

Вопрос: Скажите ваши взгляды на структуру Соввласти и систему пролетарского государства.

Ответ: Вообще я сторонник федеративной республики, как человек, чуждый политике и занимающийся уже более 25 лет исключительно литературой, затрудняюсь детально обсудить такой сложный и большой вопрос, как структура власти в пролетарском государстве. Лично был всегда лояльным в отношении власти советов и считаю ее прочной и укрепившейся.

Вопрос: Ваши взгляды на задачи интеллигенции, так называемой «общественности».

Ответ: Считаю, что интеллигенция может и должна работать во имя культуры народа, каждый на своем поприще. Знаю, что она не всегда это осуществляет.

Вопрос: Ваши взгляды на политические партии вообще и РКП в частности.

Ответ: Как писатель решаю вопрос о партиях и партийности для себя отрицательно и потому очень мало интересуюсь программами и тактикой партий и совершенно не берусь судить о правоте и преимуществах партийных программ. Считаю бы вообще лучшей ту партию, при которой лучше живет народ.

Вопрос: Ваше отношение к сменовеховцам<sup>16</sup>, савинковцам<sup>17</sup> и к процессу ПСР<sup>18</sup>.

Ответ: Думаю, что «сменовеховцы», поскольку о них читал, не вполне искренни и садятся между двумя стульями. О «савинковцах» не слышал, а процессом эсеров совершенно не интересовался, читал некоторые отчеты в газетах, но, живя по болезни в деревне, редко имел газеты и следить за ходом процесса не пришлось.

Вопрос: Ваши взгляды на политику Советской власти в области высшей школы и отношение к реорганизации ее.

Ответ: Совершенно с этим вопросом не знаком.

Вопрос: Ваши отношения и перспективы к русской эмиграции за границей.

<sup>16</sup> *Сменовеховство* — общественно-политическое течение в среде русской интеллигенции (главным образом эмигрантской). Возникло с введением нэпа. Симпатизировавшие укреплению государственности идеологи сменовеховства надеялись на перерождение советской власти в нечто более цивилизованное, призывали интеллигенцию к сотрудничеству с ней.

<sup>17</sup> Савинков Борис Викторович (1879-1925) — политический деятель. Во время советско-польской войны (1920) был председателем «Русского политического комитета» в Варшаве, участвовал в подготовке военных отрядов против советской власти. В 1922 остатки этих отрядов совершали набеги на территорию Советской России.

<sup>18</sup> Процесс «правых» эсеров проходил в Москве в июне—августе 1922.

Ответ: Отрицательное отношение. Считаю, что большая часть эмигрантов, потеряв связь с родиной, крайне деморализовалась и о России имеет самое превратное представление.

Подпись:

Мих. Осоргин

Допросил:

Бахвалов

22.VIII-22

Нельзя не заметить, что во всех ответах Михаил Андреевич всячески подчеркивает свою беспартийность и аполитичность. А между тем известно: с 1904 М.Осоргин — социалист-революционер. Камуфляж? Но, во-первых, к августу 1922 партии эсеров уже практически не существовало. И это обстоятельство само по себе давало право писать: беспартийный. Но главное другое: к этому времени Осоргин *действительно* не разделяет идей ни «своей» партии, ни какой-либо другой.

В свое время за политическим эмигрантом Осоргиным было установлено негласное наблюдение. И полицейский агент сообщал в Москву: «...проживая за границей, никакой партийной деятельности не проявляет, в революционных кругах пользуется плохой репутацией... многие революционеры не подают ему даже руки»<sup>19</sup>. Еще в 1911 в парижской эсеровской газете «Известия Заграничного комитета партии социалистов-революционеров» появилась статья Осоргина «Личное мнение»<sup>20</sup>, где Михаил Андреевич не скрывал своего разочарования в тактике эсеров, да и вообще в революционной деятельности. А когда через несколько месяцев после Февральской революции (которую он поначалу приветствовал как свершение идеалов своей молодости) к власти пришли большевики, он больше не сомневался: подлинные социальные перемены в обществе могут происходить только эволюционно — не революционно. И даже отсутствие особого интереса к эсеровскому процессу — не уловка арестованного человека. Вдова писателя Татьяна Алексеевна подтвердила, что так и было в действительности<sup>21</sup>.

«Лично был всегда лояльным в отношении власти советов и считаю ее прочной и укрепившейся» — тут только слово «всегда» не совсем точно. После Октябрьских событий Осоргин-публицист неустанно разъясняет массам «бандитский характер власти», убедительно доказывая, что «большевики — враги трудовых классов»<sup>22</sup>, призывает интеллигенцию к тотальному бойкоту всех

<sup>19</sup> ГА РФ. Ф.102. Оп.6Д. 1916. 2 отд. Ед.хр.9965.

<sup>20</sup> 1911. №13.

<sup>21</sup> В письме к публикатору. Хранится в моем личном архиве.

<sup>22</sup> Осоргин М. Писатель Серафимович // Власть народа. 1918. 13 января.

правительственных мероприятий. Но уже в начале 1918, убедившись, что власть стала «прочной и укрепившейся» и сбросить ее в обозримом будущем не удастся, Осоргин действительно выступает за лояльное к ней отношение. Ибо не хочет «к великой, уже свершившейся разрухе» добавлять все новые и новые разрушения.

Он действительно призывает интеллигенцию «работать во имя культуры народа, каждый на своем поприще», ибо бойкотировать уже установившиеся структуры неразумно и недостойно: «кто бы ни был правителем, какими бы страстями ни кипел политический котел, а жить нужно, поддерживать жизнь государства кто-то должен, работать нужно»<sup>23</sup>.

И в «Протоколе допроса» и в «Показаниях» Осоргин всячески подчеркивает, что он писатель и занимается художественной литературой, «чуждой политической окраски». После того как осенью 1918 была задушена вся оппозиционная печать, легально могла существовать только «красная» литература — таких произведений Осоргин не писал. В 1922 он работал над «Сивцевым Вражком» — романом, принесшим ему впоследствии мировую славу<sup>24</sup>. Таким образом, документы только укрепляют доверие к Осоргину-мемуаристу.

---

<sup>23</sup> Из очерка «Н.Н.Кутлер». Цит. по кн.: Осоргин М. Воспоминания... Указ. изд. С.226.

<sup>24</sup> «Сивцев Вражек» выдержал подряд два издания (Париж, 1928; Там же, 1929), был переведен на иностранные языки, в США получил премию Книжного клуба.

**И.А.Доронченков**  
**ПЕТРОГРАД—КУОККАЛА.**  
**Через границу. 1920-е годы<sup>1</sup>**

Проблема «границы», «рубежа», «межи» — одна из центральных в русской культуре нынешнего века. Дело не только в том, что культура оказалась разделенной политически и географически, и разрыв этот — начало которого принято достаточно прямолинейно связывать с Октябрьской революцией — так или иначе сохраняется, приобретая с каждым днем новые черты. В первые десятилетия советской эпохи разнообразные границы получили специфическое значение. Начавшись под знаком разрушения границ (многочисленные вариации идеи Интернационала), эта эпоха в значительной мере строилась на противопоставлении, разделении, то есть на чрезвычайно активном установлении и осознании новых пределов — государственных, хронологических, возрастных, национально-административных, классовых и пр.

Ни один из предшествующих этапов отечественного развития не знал такого массового соприкосновения русского человека с границей, влекущего за собой драматические последствия и перерастающего в культурную проблему. В Новое время преобладали либо регулярные поездки за рубеж представителей высших общественных слоев, либо перемещения широких масс при военных походах (например, в 1757-1762, 1799, 1813-1814, 1848). Причем в

---

<sup>1</sup> Считаю приятной обязанностью поблагодарить Марину Юрьевну Любимову, передавшую мне копию хранящегося в Праге письма И.Е.Репина к В.Б.Шкловскому; Елену Пантелеевну Яковлеву за помощь в сборе материала для этой публикации, а также сотрудников Музея-усадьбы И.Е.Репина «Пенаты» и Научно-библиографического архива Российской Академии художеств (С.-Петербург). Исследования в Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета (Нью-Йорк) проведены при поддержке The Getty Grant Program.

данном случае значимы именно походы в Европу. Войны на Востоке и Юге не в счет — не случайно российские рубежи были там достаточно условными и тяготели, в отличие от западных, к естественным географическим пределам (океан, горные массивы Кавказа и Памира, река Амур). Специфическую проблему в данном случае представляет и эмиграция, в которой следует различать переселение конфессиональных или этнических групп (как правило, в Новый свет, на Юг или Восток) и эмиграцию политического свойства.

В двадцатом же веке в течение ряда десятилетий государственные границы, с которыми традиционно связывается представление о незыблемости и непроницаемости (но которые при этом не бывают закрыты абсолютно), не только катастрофически меняли свои очертания, отрезая сотни тысяч российских граждан от метрополии, но и пропускали сквозь себя огромные массы людей, преодолевавших их сознательно или стихийно, зачастую без возврата.

В этом отношении особый интерес приобретают события, происходящие в переносном и в буквальном смысле «на рубеже», когда демаркационная линия на местности словно физически олицетворяет иные, умоглядные, не только пространственные, но и временные, границы. Так, для «советского» путешественника переезд в Европу или Америку оказывался разочаровывающим шагом в прошлое: «Я стремился за семь тысяч верст вперед, а приехал на семь лет назад» (В.Маяковский). Для людей иной политической и культурной ориентации, напротив, бегство из коммунистической страны могло означать уход из трагического настоящего.

Потому вблизи границы, в приграничной полосе, важно многое: быт, определяемый близостью кордона, формы легальных и тайных связей через границу, способы ее преодоления и методы адаптации в новых условиях. Существенны «механические», внешние аспекты проблемы, например процедура пересечения границы или юридическое оформление вида на жительство, и их отражение в сознании, поведении и самоощущении человека, преодолевающего рубеж. Это преодоление обостряет переживание идентичности, принадлежности к той или иной общности, равно как и сознание собственной индивидуальности.

Одной из наиболее быстро и естественно установившихся послереволюционных границ стал финляндский рубеж вблизи Петрограда. 6 декабря 1917 Великое Княжество Финляндское провозгласило независимость от Российской империи. После скоротечной гражданской войны и падения просоветского правительства в апреле 1918 граница с Россией закрылась. В последующие несколь-

ко лет на территории Финляндии действовали учреждения армии Юденича, отношений с Советской республикой практически не было.

Некогда оживленная дачная местность на Карельском перешейке, жизнь которой питалась близостью к столице империи, оказалась теперь пограничным районом и быстро пришла в запустение. Но граница, закрытая на государственном уровне, оказывалась тем более привлекательной для множества людей. Она стала источником доходов для местного населения, лишившегося «дачных» заработков. Теперь в окрестностях пограничного перехода Белоостров—Райяйоки распространенным промыслом стали контрабанда, нелегальный перевод беженцев через границу и пр. Наконец, в большей мере, чем прежде, условный рубеж метрополии и протектората теперь пробуждал в аборигенах пограничной полосы дерзость и азарт. Очевидцы рассказывали, что молодежь переплывала пограничную речку из чистой «любви к искусству»<sup>2</sup>.

С каждым годом росло число русских граждан, бежавших в сопредельную страну. Осенью 1918 их было три тысячи, к концу 1919 — пять. Кронштадтское восстание привело в Финляндию восемь тысяч человек (многие затем вернулись)<sup>3</sup>. К 1923 на финской территории скопилось до 15 тысяч русских беженцев, в том числе 11 — в Выборгской губернии, «больше половины которых в сильной нужде»<sup>4</sup>. Многие из перешедших границу содержались в специальных лагерях для интернированных, но, как правило, эмигранты проходили обязательный двухнедельный карантин, во время которого власти осуществляли санитарный и политический контроль.

Опасаясь наплыва русских, финское государство выстроило систему иммиграционных барьеров, которая существенно ограничивала возможности вновь прибывших в страну людей (в сущности, лишь русские, жившие в ней до 1914, пользовались реальными правами). Эта политика сознательного отторжения русской «волны» имела как политические основания (массы народа из не-

---

<sup>2</sup> См.: Baschmakoff N., Leinonen M. Из истории и быта русских в Финляндии: 1917-1939: По печатным материалам, воспоминаниям и рассказам самих русских. Часть I // *Studia Slavica Finlandensia*. Т. VII. Helsinki, 1990. С. 13.

<sup>3</sup> Там же. С. 15. Численность русского населения Финляндии, приводимая различными источниками, может существенно колебаться — порой в нее включаются беженцы, русские граждане, жившие в Финляндии постоянно, равно как и военно-служащие армии Юденича.

<sup>4</sup> З[ееле]р В. Путевые впечатления. VII. Ревель—Гельсингфорс—Выборг—Куоккала // *Последние новости*. (Париж). 1923. 3 октября. №1057. С. 2. См. также: Baschmakoff N., Leinonen M. Указ. изд. С. 15.

стабильной страны с непредсказуемым отношением к финляндской независимости), так и этнические — об официальной антирусской тенденции режима и напряженности в отношении финнов к русским в 1920-1930-е годы свидетельствуют, в частности, современные финские исследователи<sup>5</sup>.

В то же время в Финляндии существовал ряд организаций, призванных гармонизировать русско-финские отношения и облегчать жизнь соотечественников в новом государстве. Наиболее важную роль играл располагавшийся в Выборге Особый комитет по делам русских в Финляндии. Он был утвержден финляндским Сенатом 5 ноября 1918. Его председатель отмечал в 1925, что Особый комитет «/.../ является как бы скрытым под вывеской благотворительного учреждения — Консульством, занятым ныне почти исключительно правовой помощью не признающим советского правительства русским»<sup>6</sup>. В то же время комитет осуществлял функции политического контроля. А.Н.Фену информировал дипломата М.Н.Гирса 23 сентября 1922:

/.../ сего числа президент Финляндской Республики утвердил форму и порядок выдачи русским политическим эмигрантам, желающим выехать за границу, — особого удостоверения личности, применительно к постановлению Лиги Наций. /.../ Выдаваться оно будет Финл[яндской] Центральной (политической или сысской) полицией, исключительно за подписью ее начальника. Последний негласно будет сноситься со мной для контроля показаний желающего получить удостоверение в особо установленных опросных листах и во избежание (по возможности) получения этих удостоверений лицами, признавшими Сов[етскую] власть и зарегистрировавшимися в здешнем большевистском представительстве<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Baschmakoff N., Leinonen M. Указ. изд. С.21 и далее.

<sup>6</sup> Письмо А.Н.Фену капитану 2 ранга Г.К.Графу, сотруднику канцелярии Его Императорского Величества в г.Кобурге от 4 июля 1925 // Библиотека редких книг и рукописей Колумбийского университета, Нью-Йорк. Бахметевский архив. (Далее: БА). Фонд Особого комитета по делам русских в Финляндии. Коробка 6. Александр Николаевич Фену — бывший полковник Пажеского корпуса, представитель Совещания российских послов и секретарь, а затем — Председатель Особого комитета по делам русских в Финляндии. О семье Фену см.: Бенау А. Мои воспоминания: В пяти кн. Кн.1, 2, 3. М. 1980. С.573-574.

<sup>7</sup> БА. Фонд особого комитета по делам русских в Финляндии. Коробка 1. А.Н.Фену продолжал: «Я лично считаю, что выработанный в министерстве Внутр[енних] Дел порядок выдачи удостоверений далеко не совершенен. /.../ Напр[имер], при заполнении опросного листа сведениями о себе — получающий удостоверение письменно заверяет своим честным словом, что все показанное им соответствует истине. При таком порядке и при современном низком уровне морали — женатый человек может показать себя холостым и вновь вступить в брак, может присвоить себе то или другое вымышленное звание и т.д. У нас требовалось, кроме

О процедуре, которую проходили эмигранты из советской России, свидетельствует письмо А.Н.Фену — С.Д.Боткину:

Лица, прибывающие нелегально (скрытно от Сов[етских] властей) в Финляндию, опрашиваются на границе полицейской властью и сдают таковой свои советские документы, если таковые не были уничтожены ими раньше, отказываясь впредь ими пользоваться и оставляя при себе лишь документы, выданные им во время Царского или Временного правительства, буде таковые у них имеются. Тут же беженцы снабжаются представителем финляндской власти временными удостоверениями их личности. Если вновь прибывшие предполагают и имеют разрешение на длительное пребывание в Финляндии, то таковым финские власти выдают особые свидетельства на право проживания в стране (на 6 месяцев), причем лица, имеющие наилучшие референции, подтверждающие их политическую благонадежность и лояльное отношение к Финляндии, — получают право свободного передвижения, в то время как другие для переезда из одной губернии в другую должны на каждый раз иметь особое разрешение Губернатора той губернии, куда они хотят переехать<sup>8</sup>.

Среди русских, оказавшихся в Финляндии после революции, самой значительной фигурой был И.Е.Репин. В 1917 ему исполнилось 73 года. Он практически безвыездно жил в своей усадьбе «Пенаты» в поселке Куоккала. После провозглашения независимости Великим Княжеством Финляндским и закрытия границы с РСФСР в апреле 1918 Репин оказался за рубежом, хотя так и не принял иностранного гражданства, что, однако, не мешало финскому обществу и властям с почтением относиться к художнику. Вместе с Репиным жила его душевнобольная дочь Надежда (1874-1931). Сын Юрий (1877-1954), занимавшийся живописью, обитал со своей семьей в доме по соседству. Младшая дочь Татьяна (1880-1957) в эту пору поселилась в репинской усадьбе Здравнево близ Витебска, старшая — Вера (1872-1948) оставалась в Петрограде, где работала в труппе Александринского театра, брала уроки пения в музыкальной школе им. М.П.Мусоргского.

Репин категорически не принял установленный на родине порядок. Это, впрочем, не исключало весьма эмоционального, даже восторженного отношения его к отдельным советским деятелям

---

предъявления документов (если таковые сохранились) еще обязательное письменное ругательство двух *известных* Комитету лиц за верность сведений в опросном листе».

<sup>8</sup> Письмо А.Н.Фену С.Д.Боткину от 6 мая 1922 // БА. Фонд Особого комитета по делам русских в Финляндии. Коробка 1. Правила выдачи документов русским гражданам и их права перемещения по стране постоянно корректировались.

(Луначарскому, Ворошилову) или к оставшимся в России друзьям, ученикам, особенно же — к молодым художникам. Но при этом Репин всегда противопоставлял талант и жизненные силы народа большевистской системе. Так, он писал Вере в октябре 1921: «/.../ в Выборге /.../ дивная церковь (очень похожа на чуговскую, и все образа такого же стиля), а хор певчих восхитительный; регент беженец из Кронштадта, *талант* и хохол родом. Ах, как он управляет! Только на юге России у архиереев такие дивные певчие и с таким вкусом поют. Нет, думалось, куда куцым "коммунистам" сломить душу народа! В этом не только душа его жизни, но и посмертная вечность владеет им как неизбежное предопределение»<sup>9</sup>. Несколько позже он снова писал дочери: «Да и правда, пора нам вернуться в Россию и начать созидательную работу. Черт бы побрал все политические бредни!! Твое письмо было оплачено 15000 рублей!!! Куда же идти дальше этого падения!!!»<sup>10</sup>. И все же художник неизменно отвергал все официальные и полуофициальные предложения о почетном возвращении или хотя бы временном приезде в СССР.

Близость границы постоянно напоминала о себе появлением беженцев, группами и поодиночке проникавших в Финляндию. «Сегодня я был в Териоках — вымороченный край и там; а все еще строится. Эмигранты все прибывают; все больше и больше рассказов неутешительных /.../, — сообщал Репин дочери в Петроград в октябре 1921. — Недавно был у меня сын Бори Молаас — Николай, такой же бойкий и способный, как отец его, с плюсом художественной наклонности. Он бежал из Питера вместе с Амфитеатовым; ему побег стоил 6 миллионов рублей; правда, теперь рубль равняется уже ценностью с опавшим осенним листом»<sup>11</sup>.

Поражение Кронштадтского восстания весной 1921 вызвало массовый переход его участников на финский берег. Вспоминая об этих днях, Репин писал: «/.../ пожалуйста, денег сюда совд[е-повских] не посылай — они здесь не ходят. Тут, когда из Кронштадта пришли моряки, умирали с голоду, просили Христа ради!

<sup>9</sup> Письмо И.Е.Репина В.И.Репиной от 15 октября 1921 // Сектор Рукописей Государственного Русского музея. (Далее: СР ГРМ). Ф.119. Ед.хр.4. Л.12-12об.

<sup>10</sup> Письмо И.Е.Репина В.И.Репиной от 8 января 1922 // Там же. Л.16об.

<sup>11</sup> Письмо И.Е.Репина В.И.Репиной от 15 октября 1921 // Там же. Л.12-12об. *Н.Б.Молаас* — сын *Бориса Николаевича Молааса*, сотрудника Академии наук, и внук друзей Репина — певицы *Анны Николаевны Молаас* (урожд. Пургольд, 1845-1929) и заведующего типографией Императорских театров, художника-любителя *Николая Павловича Молааса* (1843-1917). Письмо Н.Б.Молааса И.Е.Репину от 19 сентября 1921 см.: Научно-библиографический архив Российской Академии художеств. Санкт-Петербург. (Далее: НБА РАХ). Ф.25. Оп.2. Ед.хр.335.

А у них были миллионы этих бумажек. Когда одному за пятьдесят тыс[яч] дали три марки, он с радостью купил кусочек хлеба и отвел душу. Некоторые бросали на дорогу н-н'ное количество, и никто не подымал, все затаптывали, и солдатам давали и баранки, и папиросы, и булки, и крендели — даром...»<sup>12</sup>

Именно к Репину обращались русские беженцы из литературно-художественной среды, нелегально пересекшие границу в начале 1920-х, или люди, стремившиеся покинуть родину законным образом. Порядок легализации иностранцев, путь, который проходили русские граждане в чужой стране, позволяет воссоздать переписка художника, связанная с судьбой Лидии Николаевны Яковлевой, бывшей сотрудницы критика В.В.Стасова. По-видимому, в 1921 она попросила Репина помочь ей перебраться в Финляндию под предлогом разбора обширного архива, сосредоточенного в «Пенатах»:

Вы же единственный человек, который может извлечь меня из того душевного и телесного плена, в котором мы находимся. /.../ Говорят, что можно как-то проехать нелегально, но я этого не хочу, да и не смогу сделать, ибо денег не хватит. Говорят, что это очень дорого стоит, а ведь у меня денег-то ни гроша нет. Я надеюсь, что в Куоккале или где-нибудь в Финляндии или даже вне ее, мне удастся найти потом какое-нибудь занятие, а первое время решаюсь просить Вас поддержать меня, а я могла бы, действительно, разобрать Вам Ваши книги, журналы, письма, вырезки из газет и пр. /.../ Если я буду иметь Ваше согласие помочь мне, я уверена, что мне удастся выхлопотать право выезда из России, так как у меня много знакомых среди влиятельных большевиков, которые к тому же знают о наших хороших отношениях и смогут принять к сердцу наш план<sup>13</sup>.

Приехавшая в Финляндию весной 1922 Вера Репина также настойчиво просила отца помочь своей знакомой. Осенью, когда Яковлева уже получила советский паспорт, позволявший в течение ограниченного времени выехать за рубеж, вмешательство Репина стало необходимым:

Консул в Москве мне сказал, что мне дадут визу только тогда, когда Вы напишете в Гельсингфорс в паспортное отделение Министерства Иностранных Дел, что я Вам нужна для разбора Вашего архива, и перешлете эту бумагу через какого-нибудь Вашего знакомого финна, который бы поручился за меня. Будьте

<sup>12</sup> Письмо И.Е.Репина В.И.Репиной от 7 января 1922 // СР ГРМ. Ф.119. Ед.кр.4. Л.14об.

<sup>13</sup> Письмо Л.Н.Яковлевой И.Е.Репину [Без даты] // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.кр.582. Л.5-6об.

добрый, сделайте это: так жаль терять право выезда, о котором хлопочу уже полтора года. Консул мне сказал, что Вас так уважают финны, что я сейчас же получу разрешение, когда Вы напишете. В анкете, посланной в Гельсингфорс, я написала, что еду разбирать Ваш архив, но нужно Ваше подтверждение этого<sup>14</sup>.

Планы Яковлевой рухнули неожиданно:

Дорогой Илья Ефимович, подумайте, какой ужас, — мне отказали в финляндской визе. Сейчас я говорила с магистром Тойкко, и он советовал мне написать Вам, чтобы Вы еще раз похлопотали обо мне. /.../ Вы не поверите, в каком я отчаянии! /.../ Я до такой степени предана Финляндии, никогда ничего, кроме самых лучших чувств, к Финляндии не питала и никакого отношения к большевикам никогда не имела. У меня есть ужасная однофамилица, боюсь, что нас с ней спутали<sup>15</sup>.

В 1923 Л.Н.Яковлева снова предприняла попытку выбраться из СССР: «Я уже имела телеграмму из Гельсингфорса, что виза есть, — писала она Репину 1 августа, — очень быстро мне выхлопотала Софья Владимировна Фортунато заграничный паспорт, но... в Петрограде визы нет и мой отъезд опять провалился»<sup>16</sup>. 27 октября 1923 художник обратился в Особый комитет по делам русских в Финляндии с ходатайством о разрешении на въезд своей протеже. В ответ он получил от управляющего делами комитета барона Б.Н.Гревеница письмо, где, в частности, говорилось:

/.../ для представления дела об испрошении разрешения на въезд из России в Финляндию Л.Н.Яковлевой в Министерство Иностранных Дел необходимо заполнить два опросных листа со сведениями о ней и приложить письменное удостоверение двух финских граждан в ее политической благонадежности. В случае, если г-жа Л.Н.Яковлева предполагает остановиться в Финляндии и, в частности, в Куоккала более двух месяцев, необходимо предварительно представления ходатайства в Министерство Иностранных Дел испросить согласие Выборгского губернатора на ее проживание в Куоккале<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Письмо Л.Н.Яковлевой И.Е.Репину. Конец сентября — начало октября 1922 (датируется по содержанию) // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.582. Л.1-1об.

<sup>15</sup> Письмо Л.Н.Яковлевой И.Е.Репину. До 10 декабря 1922 // Там же. Л.2-2об. *Ужасная однофамилица* — Яковлева Варвара Николаевна (1884-1941), член РСДРП с 1904. Входила в Боевой партийный центр по руководству вооруженным восстанием в Москве осенью 1917. Принадлежала к руководству «левых коммунистов». В сентябре 1918, после убийства М.С.Урицкого, стала заместителем председателя, а затем председателем петроградской ЧК (по декабрь 1918). В 1922 — заместитель наркома просвещения РСФСР.

<sup>16</sup> НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.582. Л.15об. *Фортунато С.В.* (по первому мужу Медведева; 1850-1929) — дочь В.В.Стасова.

<sup>17</sup> Письмо от 30 октября 1923 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.1 Ед.хр.348. Л.1.

Письмо означало, что финские власти в очередной раз усложнили иммиграционную процедуру. Это заставило пожилого художника отказаться от своих намерений. 30 октября он было уже написал В.Ф.Зеелеру в Париж: «Только на днях отправлены мною письма Александру Николаевичу Фену и бар[ону] Бор[ису] Ник[олаевичу] Гревеницу (с заполненным анкет[ным] листом) о Л.Н.Яковлевой. Разумеется, систематизация архива это только предлог. Ей хочется проехать к Софье Владимировне Паниной. — Помогите, дело доброе».

Но, получив ответ из Особого комитета, сделал приписку: «Беру назад все мои просьбы о проезде г.Яковлевой сюда: получил от бар[она] Гревеница большие осложнения условий, при которых возможно *разрешение*. — Я отказываюсь. Извиняюсь особенно перед Вами, глубокоуважаемый Александр<sup>18</sup> Феофилович — Вам этим разрешением причинено столько хлопот... Желал бы знать, насколько гр[афиня] Панина заинтересована *приездом к ней г.Яковлевой?*»<sup>19</sup>

Но и на этот раз усилия остались тщетными. 11 февраля 1924 Репин писал своей знакомой в Ленинград: «Авось, к лету солнце принесет нам и свободу передвижения, и Вы, наконец, посетите нас?»<sup>20</sup> В следующем году Яковлева признавалась, что «/.../ совершенно потеряла надежду получить финскую визу»<sup>21</sup>, но планов своих не оставила. Покинуть страну ей, впрочем, не удалось.

Между тем Репин по мере возможности помогал знакомым и родным, стремившимся попасть в Финляндию. Так, в 1924 Особый комитет извещал художника, что его ходатайство о предоставлении двухмесячного срока для проживания в Финляндии Н.К.Анчутиной удовлетворено, а в 1925 обращался к нему с просьбой сообщить дополнительные сведения о прибывших из России В.М.Архипове и Г.А.Тальма, которым Репин давал рекомендацию<sup>22</sup>. Помог художник переехать в Финляндию и своему племяннику Илье Васильевичу Репину, офицеру армии П.Н.Врангеля, ушедшему в 1920 из Крыма и жившему затем в Болгарии.

Естественно, к помощи Репина прибегали прежде всего художники и литераторы, оказавшиеся на территории Финляндии

<sup>18</sup> Описка, должно быть — Владимир.

<sup>19</sup> Письмо И.Е.Репина В.Ф.Зеелеру от 30 октября 1923 // БА. Фонд В.Ф.Зеелера. Коробка 2.

<sup>20</sup> ОР РНБ. Ф.898. Ед.хр.4. Л.4.

<sup>21</sup> НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.582. Л.30об.

<sup>22</sup> См.: Там же. Оп.1. Ед.хр.348. Л.2-3. Н.Анчутина гостила в «Пенатах» летом 1924, после чего возвратилась в Ленинград.

нелегально. Среди них был Василий Иванович Шухаев (1887-1973), воспитанник Д.Н.Кардовского, в свое время учившегося у Репина. Выпускник Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств, он в 1918 стал преподавать в Петроградских государственных художественно-учебных мастерских (ПГСХУМ), возникших вместо упраздненной Академии. Мастерская Шухаева, художника молодого, зарекомендовавшего себя не только строгой школой, но и своеобразной «классицистической» живописной бравадой, принадлежала к числу самых популярных. В сентябре 1918 к нему записалось 39 человек, и даже 1 января 1920, когда в мастерских не было ни дров, ни красок, у Шухаева еще числилось 28 студентов.

Впрочем, в этом году их руководитель, похоже, и не приступал к занятиям. О событиях зимы 1920 рассказала в своих воспоминаниях Мария Федоровна Гвоздева, чья сестра была замужем за художником:

И вот Шухаев и с ним еще кто-то (помню Ваню Пуни<sup>23</sup>, других не помню) пошли домой к Луначарскому и честно спросили: что им сейчас делать? Работы-то нет. Луначарский ответил: а вы поезжайте пока за границу, совершенствуйте свое мастерство. А когда здесь немножко образуется, мы вас позовем обратно. Сказано — сделано. И Шухаев, и Пуни стали собираться в дорогу с женами.

Они и ушли. Из Петрограда пешком по Финскому заливу в Финляндию, зимой в белых халатах с проводником до какого-то места. Молодые, веселые, хихикали сами над собой, в них даже стреляли наши пограничники, тогда они валились на спину и дрыгали ногами, просто так, из озорства. Устали, говорят, безмерно. Прилягут на снег отдохнуть на минуту и в ту же минуту заснут. Наконец выбрались на берег. Уже на финский берег. И тут Вера — сестрица<sup>24</sup> узнала: вышли туда, где была наша дача (Куоккала — Репино). В Репино жил постоянно отец И.Пуни, к нему и пошли, чтоб хоть первые дни где-то приютиться. Как будто он был не очень рад таким гостям. Тогда у нас было модное слово «комиссар». На ком кожаная куртка или даже кожаный пояс, тот и комиссар. И какой-то «благожелатель» донес финским вла-

---

<sup>23</sup> Пуни Иван Альбертович (Pougnu Jean; 1894-1956) — сын музыканта Альберта Цезаревича Пуни. Родился в Куоккале. Живописец. Организатор и участник ряда наиболее радикальных выставок русского авангарда. После революции руководил мастерской в ПГСХУМ. После бегства из России со своей женой художницей Ксенией Леонидовной Богуславской (1892-1972) жил в Берлине. В 1923 Пуни и Богуславская переселились в Париж.

<sup>24</sup> Шухаева (урожд. Гвоздева) Вера Федоровна (1895-1979) — вторая жена В.И.Шухаева, художник по ткани.

стям, что в Репино пришел-приехал советский комиссар. И Ваню Пуни арестовали<sup>25</sup>.

Вера Шухаева вспоминала об этой поре:

В Куоккала жил Ваня Пуни, влюбленный в В[еру] Ф[едоровну] [то есть в автора воспоминаний. — *И.Д.*], писал очень остроумные письма, с стихами /.../, с карикатурами. Пуни и Ксану [Богуславскую. — *И.Д.*] сослали в лагерь в Тавастгуст, будто бы за то, [что] он отказался принять финское подданство /гл[авным] обр[азом], по доносу арх[итектора?] Б./<sup>26</sup>. Отец Пуни был фин[ским] подданным и жил в Финляндии /.../ Некот[орые] письма Ваня рвал в клочки и так посылал В[ере] Ф[едоровне]. Визу дала им Греция, транзитом застряли в Германии /.../ Письма отобрали у В[еры] Ф[едоровны] в Гулле, когда мы ехали из Финляндии в Париж на пароходе, и велели придти за ними в Скотланд Ярл, что задержало нас в Лондоне на целую неделю<sup>27</sup>.

Находясь в карантине, который располагался тогда в городе Териоки (Зеленогорск), Шухаев написал письмо Репину:

карантин Териоки  
26 февраля 1920 г.

Многоуважаемый Илья Ефимович!

К Вам обращаюсь с просьбой посодействовать о принятии Финляндией меня и моей жены. Мое имя Василий Иванович Шухаев, а жены Вера Федоровна. Вы меня, вероятно, помните еще по ученическим выставкам в Академии художеств, когда я был учеником в маст[ерской] Д.Н.Кардовского, после конкурсной выставки в 1912 году, на которой я, выставив картину «Вакханалия», уехал за границу, в Рим [так. — *И.Д.*], где работал над большой картиной «Карусель», одновременно писал картину «Сусанна и старцы» и делал подготовительные рисунки к картине «Поклонение волхвов». Лето проводил на Капри, где работал вместе с художником Александром Яковлевым<sup>28</sup> над автопортретом и рисунками со скал и растений. Все перечисленные работы выставил по приезду в Петербург на большой выставке «Мир искусства» в Академии Художеств в 1918 году. С 1916 по 1918 год я работал над большим портретом «Офицеры 4 гусар-

<sup>25</sup> Воспоминания М.Ф.Гвоздевой. Рукопись // Собрание М.Г.Овандер. Москва.

<sup>26</sup> Данный фрагмент в косых скобках вписан над строкой, а затем зачеркнут. Фамилия доносчика в рукописи названа полностью.

<sup>27</sup> Шухаева В.Ф. Комментарий к картинам В.И.Шухаева. Черновая рукопись // СР ГРМ. Ф.154. Ед.хр.146. Л.2об.-3.

<sup>28</sup> Яковлев Александр Евгеньевич (1887-1938) — живописец, рисовальщик, театральный художник. Окончил Высшее художественное училище при Академии художеств в Петербурге (1913, мастерская Д.Н.Кардовского). Пенсионер Академии в Европе (1913-1914) и на Дальнем Востоке (1917-1918). С 1919 жил во Франции и США.

ского Мариупольского полка». Портрет состоял из 65 лиц. Подготовительные рисунки были выставлены на той же выставке «Мир искусства». Сама картина в то время была еще не закончена, во время большевизма ее, конечно, выставить было нельзя<sup>29</sup>. С 1917 года состоял профессором-руководителем в Академии Художеств. Совершенно невыносимое положение, создавшееся при большевиках, вынудило бежать из России вместе с моей женой Верой Федоровной и художником Иваном Альбертовичем Пуни. В настоящее время сидим в карантине, ожидая решения своей судьбы. Буду чрезвычайно Вам признателен, если похлопочете обо мне и моей жене, занимавшей место ассистента в Институте истории искусств графа Зубова.

Крепко жму руку.

В.Шухаев<sup>30</sup>

Сейчас трудно утверждать с уверенностью, принял ли Репин участие в судьбе Шухаевых<sup>31</sup>. Реальную же помощь оказала им старая петербургская знакомая: «Без угла и денег они остались буквально на улице. Спасение явилось в лице Анны Федоровны Гейнц, актрисы студии Мейерхольда, с которой Шухаев и Яковлев были знакомы по Петербургу и даже вместе играли в пантомиме "Шарф Коломбины" на сцене Дома интермедий в 1910-1911 годах. /.../ Анна Федоровна помогла Шухаевым устроиться в усадьбе своей матери в местечке Мустамяки»<sup>32</sup>. По словам художника, в Финляндии он провел десять месяцев<sup>33</sup>. Получив от Александра Яковлева из Парижа деньги и визы, семья Шухаевых в начале 1921 уехала во Францию.

Другой ученик Д.Н.Кардовского, приобретший популярность накануне революции Борис Григорьев, покинул родину в начале

---

<sup>29</sup> Картина не завершена. Находится в запасниках Государственного Русского музея.

<sup>30</sup> НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.571. Л.1-2об. Письмо написано химическим и простым карандашами на двойном листе линованной бумаги по старой орфографии.

<sup>31</sup> Сохранилось еще одно краткое письмо от 6 декабря 1920 из Mustamäki—Neuvola, в котором Шухаев просит разрешения посетить Репина в ближайшую среду и жалеет, что «не имел до сих пор этой возможности» (НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.571. Л.3).

<sup>32</sup> Яковлева Е. Шухаев и Яковлев: Новая встреча // Советский музей. 1990. №3. С.48-49. *Мустамяки* — ныне ст. Горьковская Ленинградской обл. *Гейнц Анна Федоровна* (1885-1927) — актриса студий В.Мейерхольда, «Старинного театра» и театра «Летучая мышь» Н.Балиева. В 1920-1921 жила в Мустамяках у своей матери П.Ф.Линде. Возвратилась в Россию. См.: Яковлева Е. Три мастера // Аврора. 1989. №2. С.146-147.

<sup>33</sup> См. письмо В.И.Шухаева Д.Н.Кардовскому от 12 декабря 1923 из Парижа: «Мы Ваши ученики» Письма А.Е.Яковлева и В.И.Шухаева Д.Н.Кардовскому (1923-1934) / Публ. и прим. Е.Яковлевой // Искусство Ленинграда. 1991. №1. С.79.

ноября 1919: «Когда условия более не позволяли мне продолжать мою работу в России, я решил бежать от хаоса голодающей страны. Я должен был пересечь Финский залив с моим маленьким сыном, в ту пору четырехлетним, ночью на крохотном ялике. Море было бурным, но большие волны защищали нас от пулеметов, стрелявших с фортов вдоль берега. Мы не пострадали, но наша лодка была пробита многими пулями»<sup>34</sup>. Прибывший в Финляндию Григорьев встречался с Репиным в карантине, о чем свидетельствует следующее письмо:

Berlin, Wilmersdorf,  
Darmstädterstr[asse], 3.III.  
27. III.[1]1920

Дорогой, глубокоуважаемый Илья Ефимович. Как трудно, как тяжело прожито было последнее время. Я и моя жена совершенно разболелись нервами. Большевики нас измучили. Там, в Териоках, в Карантине, где Вы меня видели, мы были как зачарованные, совершив опасный путь. Но потом нам зачлось наше спасение. Мы все свалились, сын мой 5-ти лет стал заикаться.

Только недавно стал работать, пришел в себя. Устроил маленькую выставочку и кое-как устроился пока в Берлине.

Выставлял один раз на Berl[iner] Sezession'e 4 вещи, все продал. Меня выбрали в члены<sup>35</sup>.

Это немножко утешило.

Тут выходить стал плохонький русский журнальчик: приходится ему помогать, поддерживать его, давая свои работы. Больше никого нет здесь из художников. Может быть Вы, Илья Ефимович, что-нибудь прислали бы для напечатания, фотографии хотя бы, я беру на себя ответственность все возратить в целости. Местная русская колония жаждет увидеть и услышать русское.

Еще будучи в Териоках, я с женой собирался Вас посетить в «Пенатах», но нам не было разрешено этого и мы немедленно уехали в Германию.

Как сон мне кажется сейчас и карантин, и Ваша бодрая, здоровая фигура. Увы, мне кажется, мне уж никогда не излечиться от навязанных мне большевиками нервов и недугов.

А отдохнуть и полечиться тоже некогда, надо работать и много, чтобы не заморить голодом дорогую жену и сына, столько переживших на проклятой родине.

<sup>34</sup> Письмо Б.Григорьева С. Briton'у от 4 декабря 1922. Цит. в переводе с английского по: Stommels S.-A. [with A.Lemmens] Boris Dmitrievich Grigoriev. A Biography. Nijmegen, 1993. P.45.

<sup>35</sup> Григорьев стал первым зарубежным членом Берлинского Сецессиона. Четыре его картины были показаны на выставке в ноябре 1919 — январе 1920. (Ibid. P.51).

Горячо любимый Илья Ефимович, Ваш портрет, который Вы с меня сделали у Чуковского в 1915 г[оду], я привез с собою, и он служит для меня здесь лучшей рекомендацией. Благодарю Вас за него<sup>36</sup>.

Чуковский в СПБ не горюет, не горюют многие, но я, очевидно, слабее их, и не выдержал. Вера Ильинична, как я говорил Вам, устроена хорошо в театре, а кроме того Ваши картины большевики, как и все люди, очень высоко ценят.

Я не знал адреса Ермакова<sup>37</sup>, а он, как мне передавали через князя Оболенского, знает куда уехали моя сестра с мужем Гутт, которые перешли границу вскоре после нас. Не будете ли Вы добры спросить об этом у Ермаковых.

Ваш Борис Григорьев

[Приписка:] Многие немецкие журналы хотели бы напечатать Ваши произведения<sup>38</sup>.

Сходный способ бегства избрал А.В.Амфитеатров (1862-1938), направлявшийся в Италию. Он пересек границу 21 августа 1921<sup>39</sup>. Мотивы его обращения к Репину, однако, были иными, нежели у Шухаева:

Глубокоуважаемый Илья Ефимович, мы с Вами лично незнакомы, но, вероятно, Вы меня заочно знаете, как я Вас, конечно, отлично знаю заочно с раннего моего детства. Мне очень неловко, что приходится начинать знакомство просьбою о значительном одолжении. Наконец, после четырехлетнего плена, арестов, обысков и пр. мне с семьею (всего 6 человек) удалось вырваться на волю. Мы едем прямо к себе в Италию, где у нас, к счастью, уцелела вилла со всем нашим имуществом. Сейчас находимся в Териоках в карантине, где сделали некоторое неприятное открытие, а именно, что при промене русских денег на финские мы получили на 1500 марок в протестованных бумажках и, таким образом, временно остаемся без гроша. У меня имеются довольно крупные деньги в Стокгольме, но для получения их нужны некоторые формальности и время, а покуда не знаю, как быть. Телеграфировав в Стокгольм, я вместе с тем решил обратиться к Вам с просьбою снабдить меня на несколько дней, пока не по-

---

<sup>36</sup> Рисунок Репина, изображающий Б.Григорьева, воспроизведен на обложке журнала «Русь» (Берлин). 1920. №2. В том же номере — очерк П.Щеголева о Григорьеве.

<sup>37</sup> Ермаков Николай Дмитриевич, коллекционер, художественный деятель, в 1911-1913 председатель правления художественного общества им. А.И.Куинджи.

<sup>38</sup> НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.176.

<sup>39</sup> См.: Амфитеатров А. Горестные заметы: Очерки красного Петрограда. Берлин. 1922. С. V. Входящие в книгу очерки «Вымиравший Петроград», «Сенсация и гласность», «Расстрелянные музы» помечены териокским карантинном и датированы соответственно 4,7 и 18 сентября 1921.

лучу перевода из Стокгольма, некоторою суммою на расходы по имеющейся у Вас возможности. Было бы желательно обеспечить 1000-1500 марок, т[ак] к[ак], хотя в карантине хорошо питают, но мои оголодавшие и обносившиеся в Петрограде ребята решительно во всем нуждаются, а один из них, младший, кроме того, ухитрился в дни отъезда заболеть мышечным ревматизмом в очень тяжелой форме. Пожалуйста, если можно, исполните мою просьбу, чем премного и на век обяжете искренне Вас уважающего

Александра Амфитеатрова

Териоки. Карантин. Александру Валентиновичу Амфитеатрову<sup>40</sup>.

Известные мне документы пока не позволяют установить, в какой мере Репин принял участие в судьбе Шухаева, Григорьева или Амфитеатрова. Но авантюрный эпизод из биографии Виктора Шкловского можно воссоздать достаточно полно. Он характерен не только как один из примеров пересечения границы, но выявляет иные — культурные — рубежи, разделившие русское общество революционной поры.

В середине марта 1922 по окрепшему после отошедшей оттепели льду залива Шкловский ушел из Петрограда в Финляндию. После того, как он был назван в числе деятельных участников вооруженного антибольшевистского подполья в провокационной брошюре бывшего руководителя Военной организации ЦК партии социалистов-революционеров Г.Семенова (Васильева), ГПУ попыталось арестовать Шкловского. Некоторое время он скрывался в городе, затем, 14 или 15 марта, бежал за границу<sup>41</sup>. "В общем, — сказал он о переходе через финскую границу, — это было легко. Из Киева — труднее", — вспоминал рассказ друга В.Каверин и добавлял: — Это было легко, потому что в нем ключом билась легкость таланта...»<sup>42</sup>. «Непринужденный» переход границы, с одной стороны, вполне соответствовал созданному и поддерживаемому Шкловским литературному образу, который непросто отделить от человека. С другой стороны, очевидно, что побег в сопредельное государство не был задачей неразрешимой:

<sup>40</sup> Открытое письмо датируется по штемпелю 27 августа 1921 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.57.

<sup>41</sup> Семенов (Васильев) Г. Военная и боевая работа Партии Социалистов-Революционеров за 1917-18 гг. Берлин, 1922. С.16, 24. Подробнее см.: Шкловский В.Б. Письма М.Горькому (1917-1923 гг.) / Примеч. и подгот. текста А.Ю.Галушкина // De Visu. 1993. №1; Шкловский В. Письма; Статьи / Вступит. ст., подгот. текста и примеч. А.Ю.Галушкина // Тыняновский сборник: Пятое Тыняновские чтения. Рига; М., 1994.

<sup>42</sup> Каверин В. Эпилог // Нева. 1990. №8. С.15.

На льду было туманно. Я вышел к рыбацкой будке. Потом отвели меня в карантин.

Не хочу писать о всем этом.

Помню: легально приехала в карантин одна старуха 60-70 лет.

Она восхищалась всем. Увидит хлеб.

«Ах, хлеб». На масло и на печку она молилась.

А я спал целый день в карантине.

Ночью кричал. Мне казалось, что в руке у меня рвется бомба.

Ехал потом на пароходе в Штетин<sup>43</sup>.

Строки эти выдержаны в стиле повествования о приключениях на фронтах Галиции, Закавказья, в поволжском подполье. Они почти не диссонируют с настойчиво создаваемым Шкловским представлением о спокойном, ироничном мужестве умного брете-ра, отступающего, сохраняя достоинство, перед силой, которой он не может противостоять.

Две недели после перехода границы Шкловский провел в карантине на станции Kellomäki (Жомарово), затем несколько месяцев без права передвижения по железной дороге — у дяди Александра Шкловского в поселке Raivola (Рошино). Эти месяцы интеллектуального вакуума, вынужденной пассивности после интенсивной литературной деятельности в Петрограде и перед погружением в берлинский котел были периодом кризисной резиньации и не случайно оказались одним из наименее беллетризованных эпизодов биографии Шкловского.

Подобно многим другим беглецам, Шкловский оказался в хорошо знакомой местности — до революции его семья владела дачей в ближайшем к Сестрорецку финском поселке Ollila (Солнечное). В то время, благодаря К. Чуковскому, состоялось знакомство Шкловского с Репиным. К помощи Репина он и обратился теперь:

Илья Ефимович.

Пишет Виктор Борисович Шкловский. Вы рисовали меня в Чукокало Корнею Ивановичу и звали меня «Лермонтовым». В Питере я знал Веру Ильиничну по «Дому Искусств»<sup>44</sup>. Сейчас я сижу в Келломаякском карантине. Мне пришлось бежать из Рос-

<sup>43</sup> Шкловский В. Сентиментальное путешествие: Воспоминания. 1917-1922. М.; Берлин. 1923. С.384-385. Ср.: «Когда я переходил через лед из России в Финляндию, то встретил в рыбацкой будке на льду одну даму; дальше пошли вместе, когда мы с ней попали на берег и нас арестовали финны, то она все время хвалила Финляндию, от которой видела сажен десять». (Там же. С.229).

<sup>44</sup> В сентябре 1921, при помощи К.И. Чуковского и М.В. Добужинского, В.И. Репина получила комнату в Доме искусств. 12 декабря 1921 в Доме искусств состоялся вечер в честь художника, подготовленный Чуковским (при участии Н.Э. Радлова, И.Я. Гинцбурга, В.И. Репиной).

сии, так как меня хотели расстрелять. Для того, чтобы жить в Финляндии, мне нужно поручительство, за которым я к Вам и обращаюсь.

Я думаю, что русский художник не откажет в просьбе русскому писателю.

Поручительство может иметь такой вид: я, художник Репин, знаю лично писателя Виктора Шкловского и удостоверяю, что он не большевик.

Ваши воспоминания выходят в Питере в издательстве «Солнце»<sup>45</sup>.

Виктор Шкловский  
20 марта 1922 г.

Kellomäki Karantenin.

Непременно ответьте.

Я думаю ехать дальше в Германию.

Если Финляндия меня не примет и пошлет обратно в Россию, то там меня убьют. Ответьте непременно<sup>46</sup>.

Письмо начиналось со своего рода «пароля»: Шкловский напоминал Репину его слова, о которых, вероятно, знали немногие, и тем сразу удостоверял свою личность. Летом 1914 Чуковский записал в дневнике: «8 июня. Пришли Шкловские — /.../ Виктор похож на Лермонтова — по определению Репина. /.../ 15 июня. Сегодня И.Е. пришел к нам серый, без улыбок. /.../ Кроме Бориса Садовского и Шкловского у нас не было никого. /.../ Потом мы с Садовским читали пьесу Садовского «Мальтийский рыцарь», и Репину очень нравилось, особенно вторая часть. Я подсунул ему альбомчик, и он нарисовал пером и визитной карточкой, обмакиваемой в чернила, — Шкловского и Садовского»<sup>47</sup>.

Художник, однако, отказал Шкловскому в поддержке и без обиняков сообщил о своих мотивах:

2. III.[19]22.  
Куоккала

— О милый Виктор Борисович —

конечно, я Вас хорошо знаю и люблю. Но что это Вы упражняетесь в «*новой*» безграмотной орфографии!!!?

<sup>45</sup> Репин И. Воспоминания / Под ред. К.И.Чуковского; Бурлаки на Волге. С рисунками автора. Пб.: Издательство «Солнце», [1922]. На этой книге «/.../ деятельность издательства прекратилась ввиду катастрофического положения, создавшегося в то время на книжном рынке» (Письмо издателя А.Е.Эйслера К.И.Чуковскому от 8 сентября 1922 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.1. Ед.хр.2519. Л.67).

<sup>46</sup> НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.560. Л.1-2об. Письмо написано карандашом на двойном листе линованной почтовой бумаги.

<sup>47</sup> Чуковский К. Дневник: 1901-1929. М., 1991. С.65-66. Воспроизведение портрета Шкловского см.: Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. [М., 1979]. С.67.

Что же вы боитесь своего начальства? Ну как же я могу ругаться, что вы не большевик?

Да, вы были похожи на Лермонтова, и не только я — Чуковский находил, что вы талант.

— Мои воспоминания не могут выходить там, где нет ни бумаги, ни печати, ни грамоты русской, где могут жить только грабежом и фальшивыми бумажками.

Но это уже кончилось: *никто* больше не берет их фальшивых изданий.

Ил.Репин<sup>48</sup>

Странная на первый взгляд фраза о невозможности публикации мемуаров в Петрограде становится ясной, если учесть, что о многочисленных издательских перипетиях художнику сообщал из России не только стремившийся обнадежить пожилого мастера Чуковский, но и дочь живописца, склонная драматизировать ситуацию. К тому же в Петрограде вокруг рукописи шла борьба, в которой участвовало Общество поощрения художеств, пытавшееся получить права на издание и явно находившее сочувствие у Веры Репиной.

«Фальшивые деньги» фигурировали в переписке Репина с Чуковским. Часть гонорара, переданного художнику из России, как можно предположить, была в банкнотах, подобных тем, которые вынудили Амфитеатрова прибегнуть к помощи Репина. Это недоумение произвело тяжкое впечатление на художника и заставило его корреспондента с особой тщательностью следить за качеством денег, пересылаемых в Финляндию<sup>49</sup>.

Уже в Берлине, выступая против политического толкования вопроса о реформе русской орфографии, символизирующего косность эмиграции, Шкловский придал гласности мотивы репинского решения:

15 марта 1922 г. перебежал я из России в Финляндию. Посадили меня в карантин. Не имел никаких бумаг. Очень нервничал, не знал, кто может установить мою личность. Вспомнил, что рядом в Куоккала живет Илья Репин. Я с ним был знаком. Послал письмо, сообщил ему, что в России выходят его воспоминания. Репин ответил тотчас же. Вот копия письма:

«22 марта 1922 г. О милый Виктор Борисович — конечно, я вас хорошо знаю и люблю. Но что это Вы упражняетесь в "новой" безграмотной орфографии!!!?»

<sup>48</sup> Slovanská knihovna Ministerstva Zahraničních Věcí. Praha. Oddělení rukopisu. R 091/5. Репин. Дар Р.О. Якобсона 6 октября 1930. (Помета карандашом рукой неустановленного лица).

<sup>49</sup> См.: И.Е.Репин и К.И.Чуковский. Из переписки (1917-1924) / Публ., вступ. заметка и примеч. Е.Левенфиш // Звезда. 1994. №8. С.163-169.

Что же Вы боитесь своего начальства?

Ну как же я могу поручиться, что Вы не большевик?

Да, Вы были похожи на Лермонтова...»

Дальше идут комплименты.

Поручительство я достал из Англии, но все же сильно испугался<sup>50</sup>.

Репин, впрочем, и не скрывал причин своего отказа, хотя, как видно, не придавал ему большого значения. Спустя месяцы после побега Шкловского он писал Чуковскому: «Да Вас тут все знают и вспоминают. А я еще вчера, проходя в Оллила, с грустью посмотрел на потемневший дом Ваш, на заросшие дороги и двор, вспоминал, сколько там было приливов и отливов всех типов молодой литературы! Особенно футуристов, дописавшихся уже до твердых знаков и полугласных мычаний! Ну и Алекс[ей] Толстой, и Бор[ис] Садовской, и Берлин, и так похожий на Лермонтова, живший у вас некоторое время — захудалый юноша; еще недавно он нашумел своими парадоксами в печати. Ко мне еще раньше обратился он с удостоверением, что он не большевик, но так к[ак] его письмо было по нов[ой] орф[о]графии, то я почел это явным признаком рабства большевизма, — отказался»<sup>51</sup>.

Вопрос о старой орфографии, едва не ставший для беглеца роковым, в эти годы особенно волновал Репина. Можно утверждать, что после революции эмоциональное отрицание нового порядка концентрировалось у Репина, главным образом, вокруг двух моментов. Помимо конфискации весьма значительных вкладов в русских банках, лишавшей средств к существованию не только самого мастера, но и его детей, вторым «пунктом», неизменно выводящим художника из равновесия, была новая орфография. В предреволюционные годы его отношение к правописанию было далеким от педантизма. Но в письмах к Чуковскому, связанных с публикацией в советской России своих мемуаров, Репин постоянно настаивал на хотя бы частичном сохранении старой орфографии: «А Вам я уступаю *твердый знак*, без него я обхожусь уже около сорока лет /.../. Зато, милый, дорогой талант, уже похлопочите мне Ъ, без этой красивейшей буквы — лицо без носа и чте-

---

<sup>50</sup> Шкловский В. Оглум // Голос России (Берлин). 1922. 15 октября. №1085. С.5. Получению поручительства способствовал живший в Англии дядя Виктор — Исаак Владимирович Шкловский (1864-1935), известный публицист, писавший под псевдонимом Дионео. Ср. рассказ Шкловского и свидетельство Р.Якобсона: Якобсон-будетлянин: Сб. материалов / Сост., подгот. текста, предисловие и коммент.: Б.Янгфельдт. Stockholm, 1992. С.49.

<sup>51</sup> Письмо от 15 (2) июля 1923 // И.Е.Репин и К.И.Чуковский. Из переписки. Указ. изд. С.170.

ние так затруднительно, что я с остервенением бросаю и топчу /.../<sup>52</sup>. Вышедший в Петрограде стараниями Чуковского фрагмент воспоминаний печатался по старой орфографии. В 1924 Чуковскому даже удалось добиться разрешения на издание книги в соответствии с давно отвергнутыми нормами<sup>53</sup>. Вышла она, однако, лишь в 1937, когда о выполнении авторской воли речь уже не шла.

Взгляды Репина на орфографию, выражаемые с неизменной резкостью и зачастую в одних и тех же выражениях (что позволяет заподозрить своего рода *idée fixe*), не были лишены вместе с тем рациональной основы. Об этом свидетельствует, например, письмо художника И.М.Степанову, деятелю Общества поощрения художеств: «Зачем же в угоду швейцара, поставленного ректором Университета, мы обречены вечно носить его вонючий вкус... Можно издохнуть от досады... довольно останется потомкам этой темной макулатуры. — Без буквы ъ, русская грамота не возможна. Мир и мир — как смешивать! Всѣ и все. Это так путает и затрудняет чтение! А рядом стоящие *и и и без точек!!!* И кому все это нравится. Кто все это потребовал. — Вот издевательство! Вот унижение нашей грамоты!! О! невежи»<sup>54</sup>. Надо иметь в виду, кстати, что новое правописание, устранив ъ, фактически наделило Репина новой фамилией, с чем он, естественно, не мог согласиться.

В те дни, когда Шкловский скрывался от преследования и сидел в карантине, Вера Репина тоже готовилась пересечь советско-финскую границу. После ряда отказов, в январе 1922, при помощи М.А.Вербова, когда-то бывшего «подмастерья» в Пенатах, она получила предварительное разрешение на выезд из страны<sup>55</sup>. Официальное разрешение датируется, очевидно, 13 марта. В этот день дочь писала отцу: «Я получила сегодня разрешение русского правительства на выезд, но надо получить разрешение от финляндского на въезд. Для этого надо, чтобы (Мининдел) Министерство Иностранных дел в Гельсингфорсе сделало распоряжение на границу финскому коменданту ст[анции] Райяйоки о беспрепятствен-

<sup>52</sup> Письмо от 15 (2) июля 1923 // И.Е.Репин и К.И.Чуковский. Из переписки. Указ. изд. С.169.

<sup>53</sup> См.: Левенфиш Е.Г. «...В Куоккала Вы были мне самым интересным другом...»: И.Е.Репин и К.И.Чуковский: Из переписки и дневников // Панорама искусств. Вып.4. М.,1981. С.113.

<sup>54</sup> Письмо от 8 февраля 1926 // СР ГРМ. Ф.5. Ед.хр.18. Л.2 (машинописная копия).

<sup>55</sup> См. письмо В.И.Репиной И.Е.Репину от 30 января 1922 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.425. Л.7об.

ном пропуске моем через границу. Паспорт действителен только до 4-го апреля /.../. Паспорт мой *без финской визы*<sup>56</sup>. 20 и 22 марта при деятельном участии Чуковского Вера Ильинична оформила документы в финской торговой делегации в Петрограде<sup>57</sup>. 3 апреля она пересекла границу в Белоострове и попала в тот же карантин в поселке Келломяки, где незадолго до этого обитал Шкловский. Он так описывал свои впечатления в письме к Горькому:

Сию в карантине в странной компании: 40% карантина — старухи 70 лет, которые переехали границу нелегально.

Потом беглые офицера, жены, ищущие своих мужей, женщины, едущие в Италию, и два мальчика, которые убежали за границу так, как раньше убежали бы к индейцам.

Белья у них с собой нет, а есть учебник географии на немецком языке и логарифмы. /.../

Сейчас сюда приехала баронесса Искюль, передала мне, что жена моя арестована<sup>58</sup>.

Письма Веры из карантина также воссоздают обстановку, в которой оказывались беженцы из России в первые дни пребывания за кордоном. Первое письмо датировано 4 апреля 1922. К этому времени Шкловский уже покинул Келломяки, но едва ли нравы в карантине изменились.

Вчера в Белоострове пережила неприятную сцену, когда мне не отдавали паспорт товарищи! Просто издевались, и я побежала на товарный поезд, чтобы уехать как-нибудь в Райяйоки, но они догнали меня на дрезине, говоря: «Что вы думаете, и мы люди, садитесь, довезем, вот ваш паспорт». Перед этим я думала, что я сойду с ума от ужаса! Но вот в Райяйоки меня встретил Стольберг<sup>59</sup>, заказал мне обед в буфете, кофе с пирожными, один финн (вроде Таламайя [?]) — тебя знает и придет, дал мне 50 марок, ибо в Белоострове отбирают все деньги, кроме 100 000 р[ублей], что составляет — 0). /.../ Была в бане, чудно кормят, прекрасно, мясной суп! Молоко!!! Хлеб. — Все здесь проехавшие — *нелегально*, одна я — *легально*, в числе приехавших Варвара Ив[анов-

<sup>56</sup> Письмо В.И.Репиной И.Е.Репину от 30 января 1922 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.425. Л.13-13об. Приписка рукой неустановленного лица: «Вере Репиной разрешение на въезд в Финляндию имеется у коменданта Райёки. 23.3.22» (Л.13об.).

<sup>57</sup> См.: Чуковский К. Дневник. Указ. изд. С.196-198.

<sup>58</sup> Шкловский В.Б. Письма М.Горькому. Указ. изд. С.30-31. Письмо от 24 марта 1922.

<sup>59</sup> Очевидно, имеется в виду чиновник финской пограничной администрации, знакомый Репина В.Стольберг. Ср. его письмо И.Е.Репину от 3 апреля 1922 о встрече им В.И.Репиной в Райяйоках: НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.486. Л.1.

на] Искуль<sup>60</sup>. На 5-й день со мной можно будет повидаться в канцелярии, и только через 2 нед[ели], как раз к Пасхе /.../ меня выпустят домой!<sup>61</sup>

Здесь сегодня нападает на меня какая-то сонливость, верно, от воздуха и хорошей еды /.../.

Здешняя маркитантка Ида приносит сахар, булки, свечи /.../. Еще, что бы я просила, это: хотя бы пару носовых платков, хотя бы пару или 1-дну рубашку и панталоны, в крайнем случае, как-нибудь обойдусь! Сестра милосердия приходит каждый день справляться о здоровье, — говорит по-немецки<sup>62</sup>.

Здесь очень чисто, симпатично и аристократично в смысле окружающих, но все люди симпатичные — пострадавшие в Советии и бежавшие нелегально через лед с трепетом, что за ними гонятся. Варвара Иван[овна] Искуль уже завтра уезжает в Териоки, оттуда в Ригу и Париж. Еще тут была польская графиня и сейчас с женой сын одного из Великих Князей. Все пришибленные, измороженные и полубольные люди, перенесшие голод, болезни и тюрьму в России, спасшиеся от расстрела. Теперь они отходят и поправляются — как зайцы. /.../ За удовольствие пребывания в карантине в конце надо заплатить в канцелярии 140 марок! А вчера нас снимали для полиции и пришлось заплатить 30 марок. /.../ Здесь есть книги, читаем /.../. Затем можно шить, вышивать и рисовать. Пробовала зарисовывать здесь одну хорошенькую блондинку, которая одна храбро перебежала через лед из Питера, ее мать в Гельсингфорсе<sup>63</sup>.

Вчера в саду нашли распутившуюся вербу. Дальше ограды идти нельзя. Водят в канцелярию и баню под конвоем. За чаем и обедом рассказы, кто как спасся из России. Варвару Ив[ановну] неожиданно спас сын Григорий Ник[олаевич]<sup>64</sup>, который в Париже (Иван Ник[олаевич] умер в прошлом году от язвы желудка). Варвару Ив[ановну] везли на лошадях до Белоострова и перевели через реку, а потом она попала на стражников, которые к ней отнеслись очень хорошо<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> Баронесса *Искуль фон Гильдебранд Варвара Ивановна* (урожд. Лутковская, в первом браке — Глинка-Маврина; 1852-1928) — общественная деятельница, хозяйка известного в Петербурге литературно-художественного салона, где в 1890-е бывал Репин. Ее портрет (1889, Государственная Третьяковская галерея) принадлежит к числу наиболее эффектных женских портретов репинской кисти. Перед бегством за границу жила в Доме искусств.

<sup>61</sup> Письмо от 4 апреля 1922 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.425. Л.35об.-36об., 41-41об.

<sup>62</sup> Письмо от 5 апреля 1922 // Там же. Л.39-40об.

<sup>63</sup> Письмо от 6 апреля 1922 // Там же. Л.50-51об., 52об.-53, 54-54об.

<sup>64</sup> Глинка-Маврин *Григорий Николаевич* — сын В.И.Искуль от первого брака, морской офицер. В 1890 был спутником А.П.Чехова при его возвращении с Сахалина.

<sup>65</sup> Письмо от 7 апреля (25 марта) 1922 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.425. Л.55-56. Ср. изложенную В.Ходасевичем версию: «Варвара Ивановна, не до-

Вчера неск[олько] человек оставшихся здесь, собрались в одну комнату и читали 12 евангелий /.../. Я так рада, если удастся быть в субботу у заутрени и на Пасху дома!! После ада (Питера) — чистилище — карантин, и рай — домой! Здесь прибыл один ненормальный тип, из Дома литераторов, который всех заговаривает словоизвержением и своими стихами, но довольно говорит о Совдепии. Живет здесь также с женой брат Мте Екат[ерины] Ник[олаевны] Корево<sup>66</sup>, которая и высвободила его из России, скоро он едет к ней в Рим, где она живет с новым мужем Персиани<sup>67</sup>.

Многословные письма Веры не только погружают в повседневность карантина, восстанавливая его исчезнувший быт, но, в известной мере, воссоздают психологическое состояние беженца, миновавшего государственную границу, остановившегося в буквальном смысле на рубеже, на пороге новой жизни. Естественно, что подобные промежуточные эпизоды неопределенного ожидания, как правило, не сохраняются в памяти и не анализируются в дальнейшем. Обычно запоминается, а затем изучается более устойчивая ситуация — жизнь и деятельность русских колоний в той или иной стране или городе, политические или религиозные союзы, различные кружки или учреждения. Самая грань перехода к новому этапу жизни, момент, определяющий смену самосознания, — ускользает.

Психологический и культурный рубеж в данном случае олицетворяется политическим кордоном. Повышенная значимость, можно сказать, семантическая напряженность границы естественно возрастает в пору, когда рубежи — государственные, стадильные и т.п. — приходят в движение, зыбятся, растворяются и застывают вновь.

---

ждавшись паспорта, ухитрилась бежать зимой, с мальчишкою-проводятам, по льду Финского залива пробралась в Финляндию...» (Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991. С.367).

<sup>66</sup> Л.А.Шевцова-Споре, племянница первой жены Репина, писала: «Вспоминаю нашумевший в Петербурге портрет красавицы Корево. В столице знали, что на портрете запечатлена незаконнорожденная дочь великого князя Николая Николаевича. Возможно, что именно этим объясняется ее девичья фамилия — Николаева. Портрет был выполнен замечательно и всех пленял» (Новое о Репине. Л., 1969. С.153). Этот портрет, написанный в 1900, был показан на XXIX Передвижной выставке в 1901, а в 1904 демонстрировался на Всемирной выставке в Сент-Луисе (США). Был продан в Америке. Воспроизведен: Художественное наследство Репин. Т.1. М., 1948. С.241.

<sup>67</sup> Письмо от 14 апреля 1922 // НБА РАХ. Ф.25. Оп.2. Ед.хр.425. Л.57об.-58об. Персиани Иван Александрович — дипломат, музыкальный деятель. В 1916 — советник российского посольства в Риме. В 1927 — переводчик Министерства иностранных дел Югославии.

Русское правописание также оказалось рубежом, разделившим соотечественников. Он не был явно политическим: и Репин, и Шкловский в тот момент — противники Советской власти. Шкловский представляется даже более радикальным ее врагом, поскольку обвиняется в причастности к военному заговору. Он, однако, признает революцию как историческую неизбежность, отделяя правила правописания от политических вопросов<sup>68</sup>. В восприятии же Репина реформа орфографии, подготовленная до 1917 года и лишь введенная в действие большевистским правительством, превращается в символ национальной катастрофы, упрощения культуры и потому отодвигает на второй план такие чувства, как сострадание или солидарность. Личное предпочтение пожилого художника, которое при желании можно было истолковать как причуду, очевидно приобретало более глубокий смысл, поскольку фактически проводило многозначную границу между развитием органическим и катастрофическим, между эволюцией и революцией.

Самая значимость проблемы границы — как политического и культурного рубежа, как фактора, обостряющего переживание индивидуальной, социальной и национальной идентичности, не позволяет завершить публикацию выводом общего свойства. Скорее, есть смысл обозначить возможное поле дальнейшего исследования этой проблемы — материалов, связанных с пересечением государственного рубежа, и проблем — бытовых, поведенческих и психологических — возникающих в этот момент.

---

<sup>68</sup> См.: Шкловский В. Оглум. Указ. изд. С.5.

**М.А.Колеров**  
**РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И «РУССКАЯ МЫСЛЬ»**  
**(1921-1923)**  
**Новые материалы**

Настоящие заметки вводят в научный оборот материалы семейной переписки и частной документации П.Б. (1870-1944) и Г.П. (1898-1985) Струве, а также ранее не атрибутированную корреспонденцию, отложившуюся в фонде Струве из «Пражского архива» в ГА РФ в составе сборных (фактически — рассыпных) дел, в подавляющем большинстве не исследованных специалистами. Эти материалы касаются истории возобновленного Петром Струве в эмиграции журнала «Русская Мысль» (София: 1921; Прага: 1922; Берлин: 1923; Париж: 1927), ближайшими сотрудниками редакции которого были: с января до декабря 1921 — П.Н.Савицкий, с мая до февраля 1922 — К.И.Зайцев, с начала 1922 — Нина Александровна Струве, весной и с осени 1922 — Г.П.Струве. Осенью 1922, по окончании оксфордского Balliol College, Глеб Струве переселился в Берлин и в Берлин же решено было перенести из Праги издание журнала.

**1. И.А.Бунин**

Недавно Р.М.Янгиров опубликовал и откомментировал 18 писем И.А. и В.Н.Буниных к П.Б., Н.А. и Алексею П.Струве по материалам ГА РФ<sup>1</sup>. Однако упомянутые выше материалы Струве, оставшиеся вне пределов исследовательского внимания, содержат еще несколько эпистолярных единиц, принадлежащих Бунину, и ряд дополнительных сведений по истории взаимоотношений Струве и Бунина в первые годы эмиграции.

---

<sup>1</sup> Письма Буниных Струве // De Visu. 1994. №3/4 (15). С.33-44.

В качестве главы Управления внешних сношений правительства П.Н.Врангеля (до 21 января 1921), в конце 1920 эвакуированного из Крыма, Струве задержался в Константинополе. Жена Струве, Нина Александровна, вместе с тремя сыновьями в сентябре 1920 нелегально эмигрировала из Петрограда и в октябре поселилась в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз. Оттуда она и сообщила сыну Глебу о первых встречах четы Струве с Буниными. 24 ноября 1920 она писала: «Вчера мы с папой были у Petit. Там были Мережковские, Бунины, которых я видела в первый раз». 25 ноября, говоря, очевидно, о том же, она прибавила к списку гостей Пэти А.В.Карташева. И 29 ноября: «Сегодня я обедаю с папой у Буниных»<sup>2</sup>. Из Константинополя в Париж 2-3 января 1921 Струве направил жене для рассылки по парижским адресам ряд своих писем, в том числе «/.../ И.А.Бунину»<sup>3</sup>. Уже два дня спустя, 5 января, Струве сообщал: «Здесь возник проект основания и возрождения в Софии "Русской Мысли" со всеми (принципиально) отделами. Об этом намерении я прошу тебя немедленно сообщить Ив.Ал. Бунину и А.И.Куприну с приглашением их сотрудничать, причем я хотел бы, чтобы Бунин взял на себя создание и редактирование беллетристического отдела. /.../ Как только вопрос о возрождении "Р.М." будет решен, я пришлю телеграмму Бунину. Желательно, чтобы он заранее обдумал вопрос и приступил к подготовке материала. Кроме того нужно, чтобы Бунин, Карташев и ты подумали, кого следует теперь же привлечь к сотрудничеству»<sup>4</sup>. 16 января 1921 Н.А.Струве, уведомляя сына Глеба о возобновлении журнала, писала: «Завтра еду к Бунину по папиному поручению, просить его организовать и заведовать беллетристическим отделом Русской Мысли»<sup>5</sup>. 17 января из Софии (где находилось Российско-Болгарское книгоиздательство, взявшееся за издание журнала), уведомляя о том, что технические вопросы издания «Русской Мысли» решены (в тот же день, когда они были решены<sup>6</sup>), Струве напоминал: «Переговорила ли ты, Нина, с И.А.Буниным и А.В.Карташевым о "Русской Мысли"»?<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.165. Л.60, 50об. Письма С.Балаховской-Пэти к Струве см.: Там же. Оп.1. Д.143. Л.31-33.

<sup>3</sup> Там же. Оп.2. Д.98. Л.14.

<sup>4</sup> Там же. Л.16.

<sup>5</sup> Там же. Д.165. Л.74об.

<sup>6</sup> Колеров М.А. Братство Св.Софии: «веховцы» и евразийцы (1921-1925) // Вопросы философии. 1994. №10. С.144-145.

<sup>7</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.98. Л.19об. 18-19 января Н.А.Струве в письме к Глебу цитировала телеграмму Струве: «Сообщи Бунину и Карташеву, что возобновление Русской Мысли дело решенное. Прошу энергической поддержки» (Там же. Д.165. Л.77).

18-19 января Н.А.Струве сообщала наконец о результатах своих переговоров с Буниным: «Вчера и сегодня вела разговоры по поводу Русской Мысли, вчера с Буниным, сегодня с Антон Владимировичем. Оба очень рады возобновлению Рус. Мысли, думали, кого еще пригласить в ближайшие сотрудники»<sup>8</sup>. В конце января Струве уже был в Париже и смог навестить свою семью в Фонтене-о-Роз. Из Парижа в его пригород Фонтене-о-Роз 30-31 января 1921 Бунин и направил ответ на письмо Струве от 29 января: «Весьма рад сотрудничать в "Русск. Мысли". Но необходимо нам с Вами поговорить по этому делу — необходимо повидаться. /.../ свидание, а не переписка, потребно и по другому делу — по делу о переезде в Чехию»<sup>9</sup>. В феврале Н.А.Струве информировала сына об итогах личных бесед Струве и Бунина: «Первая книжка почти набрана и скоро выйдет. Но огорчил папу здесь Бунин. Он на слишком денежную почту ставит этот вопрос, требует для беллетристики оплаты в 500 fr. лист. При такой цене издавать Русскую Мысль нельзя»<sup>10</sup>. В недатированном закрытом письме (по почтовому штемпелю — от 10 февраля) Бунин приглашал Струве на собеседование:

Среда

Дорогой Петр Бернгардович,  
не будете ли добры позавтракать у нас с устрицами в пятницу (после завтра) или в субботу — в 1 ч. дня? Будет один очень милый господин, желающий поговорить с Вами по делу (не политическому!) Если можете, известите, какой день — пятница или суббота — Вам удобнее. Поклон Вашему дому!

Ваш Ив. Бунин<sup>11</sup>

Проступившая в этом послании сдержанная ирония писателя по поводу чрезвычайной политической активности Струве в Париже, думается, не была случайной и не осталась незамеченной. Как бы то ни было, 15 февраля 1921 Струве писал сыну Глебу о его стихотворениях: «Я выберу для "Русской Мысли". Давать их Бунину, не судя, я не буду. Я с ним в оценке многого совершенно не схожусь. Веяния новой жизни ему чужды в значительной степени»<sup>12</sup>. Впрочем, под «веяниями» Струве вполне мог подразумевать не только политическую ангажированность, но и своего рода подвижническое нестяжательство. Два дня спустя Н.А.Струве

<sup>8</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.98. Л.79об.-80.

<sup>9</sup> Письма Буниных Струве. Указ. изд. С.35.

<sup>10</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.98. Л.104.

<sup>11</sup> Там же. Оп.1. Д.143. Л.39. По рекомендации Бунина в Париже Струве встретился и с Марией Константиновной Пилкиной. Там же. Л.271.

<sup>12</sup> Там же. Оп.2. Д.164. Л.131об.

заметила: «Папу очень смущает вопрос о беллетристике, т.к. Бунин положительно смотрит на Р.М. только с точки зрения гонорара, а она больших гонораров давать не может»<sup>13</sup>. Разница во взглядах на гонорар, вероятно, и положила конец проектам бунинского руководства литературным отделом журнала.

Тем не менее Бунин не оставил планов привлечения к «Русской Мысли» симпатичных ему сотрудников. В феврале — марте 1921 А.Н.Толстой называет его свидетелем своей усиленной работы над обещанным журналу сочинением «Повесть, рассказанная вечером на улице Ренуар», впоследствии озаглавленным «Посрамленный Калиостро», и, значит, поручителем при выдаче Толстому аванса («Бог свидетель и Иван Алексеевич, что я всю неделю был болен и валялся»). 10 марта Толстой писал о своей повести: «[В] воскресенье я могу сдать ее Вам, хотя мне было бы особенно приятно прочесть ее вслух Вам и еще кому-нибудь, напр. Ивану Алексеевичу»<sup>14</sup>.

25 февраля 1921 (по штемпелю, закрытое письмо) Бунин писал Струве:

<sup>13</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.164. Л.114.

<sup>14</sup> См.: Толстой А.Н. Посрамленный Калиостро: Повесть // Русская Мысль (София). 1921. Кн. V/VII. С.78-114. А также письма А.Н.Толстого к Струве: ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.143. Л.344-351. Расписки Натальи Толстой на общую сумму 1000 франков: Там же. Д.174. Л.18-19. Вскоре после этого А.Н.Толстой ступил на сменеховский путь и стал для «Русской Мысли» и Струве образцом политической ненадежности и предательства. В глазах семьи Струве даже сам факт чьего-либо общения с А.Н.Толстым был исчерпывающей отрицательной характеристикой. 1 ноября 1922 Глеб писал брату Константину о некоем писателе: «якшется с Василевским и Толстым, этими прихвостом и хамом из "Накануне"» (Там же. Оп.2. Д.289. Л.70об.). Опыт сотрудничества с Толстым повлиял и на перспективы отношений между журналом и Андреем Белым. Еще в 1921 (Кн. III/IV, V/VII) журнал поместил отклики Юрия Никольского и К.Мочульского на труды Белого. А 1 марта 1922 Глеб Струве рекомендовал отцу известную статью Белого в первом номере «Новой русской книги» (ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.112. Л.12об.). 29 марта 1922 он же сообщал из Берлина: «Сегодня я был у Андрея Белого по поводу моих стихов и имел с ним довольно любопытный разговор. Вот тебе от него что-нибудь для "Р.М." получить, а то художественная часть там действительно "schwach" (а он был бы рад заработку в чешской валюте)» (Там же. Л.28-28об.). Pendant этому сообщению, формируя апрельский номер журнала, и Н.А.Струве писала мужу: «Нельзя ли у Белого взять какую-нибудь беллетристику или стихи, Глеб у него был и Андр. Белый очень одобрил его статьи [в "Русской Мысли"], т. что Глеб думает издавать сборник. Некот. стихи взял Ан.Белый для своего журнала» (Там же. Оп.1. Д.122. Л.255об.). 8 апреля 1922 Струве так отвечал на это предложение: «Я совершенно не имею никакого доверия к А.Белому. Купить его две книги "Русская Мысль" не может, а вот ведь Алексей Толстой взял да и продал себя Ключникову. Сейчас нужна величайшая осмотрительность. Если Глеб напишет Андрею Белому — я ничего против этого не имею» (Там же. Оп.2. Д.99. Л.59-59об.). Стихотворения Глеба Струве, впрочем, тоже не появились в «Эпопее». См. также: Там же. Оп.1. Д.294. Л.428.

Дорогой Петр Бернгардович,  
дней десять тому назад я дал Вам рассказ Кн. В.В.Барятинского. Сообщите, пожалуйста, как решили Вы его судьбу? *Интересует меня также, чем кончилось дело с моим рассказом.* Не заедете ли как-нибудь к нам? Хочу поговорить с Вами, не желает ли «Рус. Мысль» напечатать в 3-4 книгах мои записки о русск. революции (что я видел с марта 1917 г.) с большим количеством художества. Лучше всякого романа, а дешево!

Поклон Вашему милому дому.

Ив. Бунин<sup>15</sup>

По-видимому, в те же дни Бунин (в недатированном письме) рекомендовал и произведения иных авторов:

Дорогой Петр Бернгардович.

Был у меня Гребенщиков, говорил, что он согласился бы отдать весь роман за 4000 фр. чохом, если бы Вы ему дали авансом тысячи 2. Докладываю Вам об этом.

Наш низкий поклон Нине Александровне и Вашим детям.

Ваш Ив. Бунин

Известите меня о судьбе моего рассказа, пожалуйста<sup>16</sup>.

О судьбе своего рассказа «Исход» Бунин волновался совершенно напрасно — еще 23 февраля представитель редакции в Софии П.Н.Савицкий сообщал Струве: «Рассказ Бунина сдан в набор»<sup>17</sup>. «Исход» вышел в первой же (сдвоенной: январь-февраль) книжке журнала, а 24 марта автор получил за него 500 франков гонорара<sup>18</sup>. Вскоре Бунин напомнил Струве и о знакомом Г.Д.Гребенщикова Е.Н.Чирикове

8 Апр.

1, rue Jacques Offenbach, Paris XVI

Дорогой Петр Бернгардович, у Вас начало повести Чирикова «Исповедь». Чириков прислал мне окончание ее. Если эту повесть Вы для «Рус. Мысли» не берете, будьте добры возможно скорее доставить мне ее начало: такова просьба Чирикова, который поручает мне передать «Исповедь» в «Совр. записки», если,

<sup>15</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.143. Л.38. См.: Бунин Ив. Исход: Рассказ // Русская Мысль (София). 1921. Кн. I/II. С.191-199. «Окаянные дни» в журнале так и не появились.

<sup>16</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.143. Л.40.

<sup>17</sup> Там же. Д.169. Л.193.

<sup>18</sup> Расписка о получении: ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.174. Л.16. 30 марта директор-распорядитель Российско-Болгарского книгоиздательства П.П.Сувчинский напоминал Струве: «Обращаем Ваше внимание, что Иван Алексеевич Бунин, по-видимому, не получил [авторского] номера "Русской Мысли"» (Там же. Д.169. Л.172об.).

повторяю, она не пойдет в «Рус. Мысли». Наш поклон Нине Александровне.

Ваш Ив. Бунин<sup>19</sup>

Подобными же хлопотами была вызвана и «закрытка» от 30 апреля 1921 (по штемпелю): «Дорогой Петр Бернгардович. С праздником Вас, Нину Александровну и всех Ваших сынов. Черкните словечко — взяли ли стихи В.Сирин (Набокова)? Ваш Ив. Бунин»<sup>20</sup>.

Почти год спустя, в начале 1922, Н.А.Струве, приступая к редакционным обязанностям, писала мужу: «Нам очень нужна хорошая беллетристика. Возьми у Бунина»<sup>21</sup>. Но журнальные взаимоотношения Струве и Бунина застопорились, а писатель вспоминал о редакторе по совершенно иному поводу. В конце января 1922 из Парижа в Прагу Бунин обращался к Струве с просьбой: «Мережковский говорил с Вами, как трудно положение некоторых из писателей, живущих в Париже, и отправил Вам письмо на имя К.П.Крамаржа с просьбой передать это письмо и снабдить его Вашим ходатайством. Помогите, дорогой, помогите, пожалуйста!»<sup>22</sup> Струве откликнулся на просьбу Бунина и снабдил письмо

<sup>19</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.143. Л.37. См. материалы о хлопотах Е.Н.Чирикова и получении им гонорара за опубликованную «Опустошенную душу (Исповедь)» (1922. Кн.1/II-III) и др.: Там же. Оп.1. Д.143. Л.133об., 355-356; Д.169. Л.174; Д.174. Л.220.

<sup>20</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.143. Л.41. Достаточно регулярное сотрудничество В.В.Набокова в «Русской Мысли», однако же, вовсе не сразу приобрело собственную, независимую от бунинской рекомендации, инерцию и было подкреплено откликом Глеба Струве на его перевод из Л.Кэррола. В письме к матери от 26 октября 1922 Глеб признавался было: «Сирин очень милый, но /.../ я стихов его не люблю», но уже 17 ноября сообщал: «Я познакомился с Сириным, и он оказался очень славным мальчиком. И стихов у него много неплохих» (Там же. Оп.2. Д.89. Л.70, 86). Новый импульс сотрудничеству придало берлинское сближение (ноябрь 1922 — апрель 1923) с Набоковым Глеба Струве, внутренне и в силу жизненных обстоятельств родственного если не самому Набокову, то, по крайней мере, герою его «Подвига»: покинув Россию в декабре 1918, Глеб учился в одном из оксфордских колледжей и практически не видел гражданской войны. Поэтому в 1919-1920 и отдал существенную дань и национал-большевизму, и моралистическому возвращенчеству. По эпистолярному свидетельству Глеба Струве от 31 января 1924, и сам «Сирин нашел, что он ужасно похож на меня» (Там же. Д.90. Л.180б.). См. также: Там же. Оп.1. Д.122. Л.250; Д.172. Л.55; Д.174. Л.28; Оп.2. Д.289. Л.89.

<sup>21</sup> Там же. Оп.2. Д.122. Л.255об.

<sup>22</sup> Письма Буниных Струве. Указ. изд. С.36. Р.М.Янгиров ошибочно датировал письмо апрелем 1922. Особая дотошность, проявленная Струве в хлопотах за Мережковских, разумеется, предопределялась не просьбой Бунина, а активным и тесным журнальным сотрудничеством Струве с З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским в 1921-1922. Уже 12 февраля 1921, месяц спустя после возобновления журнала, Н.А.Струве сообщала сыну Глебу, что Петр Струве «получил от Гиппиус очень интересный Дневник "Большевистские дни", записанный в Петерб. в 1919 го-

Д.С.Мережковского к Крамаржу своим ходатайством<sup>23</sup>. Примечательно, что немедленно по получении бунинского прошения Струве решил использовать ситуацию в интересах журнала и на списке книг, 26 января 1922 направленных в редакцию берлинским гессеновским издательством «Слово», — против сборника рассказов Ремизова, Замятина и др. «Собачья Доля» надписал: «Дать отзыв прошу И.А.Бунину»<sup>24</sup>. Разумеется, тщетно.

После этого и после нового приезда Струве в Париж<sup>25</sup> (9 февраля 1922 Глеб Струве писал матери из Парижа в Прагу: «Вчера в день папиного рождения мы обедали у Нольде, а вечер провели у Мережковских /.../ Были уже у Бунина, у Petit /.../»<sup>26</sup>) — преобла-

ду, кот. она привезла с собой» (ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.98. Л.112об.). В этом деле Струве пришлось, однако, преодолеть сопротивление своего тогдашнего сотрудника П.Н.Савицкого. Тот осторожно писал Струве 18 февраля: «Творение Гиппиус — очень неровное» (Там же. Оп.1. Д.169, Л.194). Тем не менее 29 марта Струве, должно быть, принял окончательное решение о публикации Дневника. Это вызвало редчайшую по резкости реакцию Савицкого в письме от 5 апреля: «Быть может, я ошибаюсь и заранее готов каяться, но ничего за последние месяцы не вызывало у меня большего отвращения, чем чтение "Дневника" Зинаиды Гиппиус: вот женщина, готовая метать жребий о ризах России — для того, чтобы сделать из них новые для себя портьеры — старые отняли большевики! (Это не значит, что ее дневник не интересен; но в моральном смысле он подлинно мерзостен!)... Ей, так же, как Павлу Милюкову, я не взялся бы писать аполוגий!» (Там же. Л.174-174об.). Публикация Дневника Гиппиус началась в первой же книжке возобновленной «Русской Мысли». 7 мая 1921 Гиппиус жаловалась редактору: «Я уже потеряла надежду увидеть "Русскую Мысль" и собираюсь, по примеру Бунина, купить ее. Я думаю, скоро уже выйдет следующая книга?» Еще большие претензии автора вызвала задержка (по вине директора-распорядителя издательства Н.С.Жекулина, что стоило ему должности: Там же. Оп.1. Д.169. Л.94) гонорара (Там же. Оп.1. Д.143. Л.107-109, 191-192, 193, 307; Д.169. Л.239, 241, 242; Расписки о получении: Там же. Д.174. Л.262, 13, 14, 214). И все же хлопоты о чешской стипендии имели своим следствием и чисто журнальные проекты: 20 февраля Струве писал жене: «Завязал переговоры с Мережковским о напечатании большой его рукописи об Египте, Вавилоне и Греции (философия религии!)» (Там же. Оп.2. Д.99. Л.3об.; Письма Буниных Струве. Указ. изд. С.42, прим. 5 к письму 1). Специально письма Д.С.Мережковского к Струве см.: ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.80.

<sup>23</sup> См. копию сопроводительного ходатайства Струве: Там же. Д.69. Л.1.

<sup>24</sup> Там же. Оп.1. Д.148. Л.9.

<sup>25</sup> Очевидно, именно перед этим приездом Струве из Праги в Париж он получил от приват-доцента М.А.Циммермана недатированное письмо с просьбой напомнить (в Париже) Бунину и Мережковскому об их «предположенных лекциях» в пражском русском Народном Университете в конце февраля — начале марта 1922: Там же. Оп.1. Д.140. Л.23.

<sup>26</sup> Там же. Оп.2. Д.89. Л.20. В парижский круг общения Струве вошел и В.Б.Ельашевич. В указанной публикации Р.М.Янгиров без достаточных оснований написание фамилии Ельашевича дает через Э. В.Б.Ельашевич — коллега Струве по экономическому отделению СПб. Политехнического института, экстраординарный профессор по кафедре гражданского права. См. современное В.Б.Ельашевичу общепринятое написание его фамилии: Там же. Оп.1. Д.295. Л.60, 62; Д.118. Л.21.;

дающей заботу парижан была, конечно, не «Русская Мысль». В тот же день, 9 февраля, жена Крамаржа Наталья Петровна Крамарж по поручению мужа отвечала на ходатайство Струве по его парижскому адресу: «Министр-президент Швегла (Svegla) определил следующие пособия: Мережковскому вместе с женой Гиппиус в месяц три тысячи чешских корон. Бунину две тысячи и Шмелеву две тысячи ч[ешских] к[орон]. При этом министр выразил пожелание, чтобы означенные лица переехали на жительство в Прагу<sup>27</sup>. Надо, чтобы все они коллективно по означенному поводу обратились письменно к Швегле, причем муж просит эту бумагу адресовать ему (т.е. моему мужу), а ни в каком случае не Бенешу, тоже не по адресу Швегле. К[арел] П[етрович] сам бумагу передаст министру Швегле»<sup>28</sup>. Требуемое письмо, за подписями Д.С.Мережковского, И.С.Шмелева и З.Н.Гиппиус (без Бунина) было составлено и отложено в архиве Струве<sup>29</sup>. 4 марта 1922, пересылая пи-

Оп.2. Д.90. Л.30об.; Русская Мысль (София). 1921. Кн. VIII/IX и мн. др. Есть, однако, и единичные примеры противоположного толка (Эльяшевич): Возрождение (Париж). 1926. 21 февраля. №264. О Ельяшевиче см. также: Испытание революцией и контрреволюцией: Переписка П.Б.Струве и С.Л.Франка (1922-1925) / Примечания М.А.Колерова // Вопросы философии. 1993. №2. С.138: прим.56. И еще несколько замечаний. В опубликованном Р.М.Янгировым письме В.Н.Буниной от 18 июня 1924 (№17) идет речь о некой Полине Львовне. В прим. 3 и 4 к письму публикатор ошибочно определяет ее в супруги В.Б.Ельяшевичу. Жену последнего, однако, звали Фанни Осиповна, а Полина Львовна была лишь родственницей этой четы. Ф.О.Ельяшевич — переводчица, ее переводы из М.Даунтеней и К.Фибих см.: Русская Мысль. 1911. Кн.4-12. Об этом письме см.: ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.101. Л.7об. См. также письмо Н.А.Струве к мужу от 20 апреля 1923: «Посылаю тебе письмо Буниной, Веры Никол., к тебе и ко мне» (Там же. Оп.1. Д.119. Л.27).

<sup>27</sup> К этому месту примечание Н.П.Крамарж: «Но это не обязательно».

<sup>28</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.69. Л.12-12об.

<sup>29</sup> См. его недатированный текст: Там же. Д.137. Л.53. История с чехословацкими стипендиями имела свое продолжение. В бумагах Струве сохранилось следующее письмо (второй экземпляр машинописи) к К.П.Крамаржу:

13 Авг. 1924 г.

Глубокоуважаемый Карел Петрович.

Месяцев семь тому назад мы, группа писателей, живущих во Франции, — И.Бунин, З.Гиппиус, Д.Мережковский и И.Шмелев, — обратились к Вам с просьбой исходатайствовать нам помощь от Чехо-Словацкого Правительства. Вы были так добры, что согласились это сделать, и в скором времени мы получили через П.Б.Струве известие, что помощь нам будет оказана, что распоряжение о ней уже сделано. Но вот прошло семь месяцев, как мы не имеем никаких известий по этому делу. Недели же две тому назад нами получено письмо от П.Б.Струве, что и Вы удивлены, что дело не исполнено. Это дает нам смелость еще раз обратиться к Вам лично и напомнить, как важна нам эта помощь, как мы благодарны за обещанную поддержку Вам и Вашей стране и как мы продолжаем надеяться на нее. Мы не сомневаемся, что та мертвая точка, на которой наше дело остано-

сьмо Н.П.Крамарж жене в Прагу, Струве поручал ей дополнительно выяснить условия чешского правительства: «Я получил прилагаемое письмо от Н.П.Крамарж, но оно не включает ответа на мой вопрос относительно Бунина. Нужно было бы узнать, чем будет пользоваться Бунин в Чехословакии, куда его пригласило правительство. Н.П. ответила на это совершенно неопределенно и бестолково /.../ Бунину следует послать кн.1 "Русск. Мысли" по адресу: 1 Rue Jacques Offenbach, Paris 16e»<sup>30</sup>. На следующий день, 5 марта, Струве вновь упоминал имя писателя: «Вчера был у Petit. Были Д.С.Мережковский, З.Н.Гиппиус, И.А. и В.Н.Бунины, Бунаков-Фондаминский. Все, поскольку вообще чего-нибудь ожидают, ожидают близкого падения большевиков или смены их другими близкими к ним "левыми" (по отношению к ним более правыми) элементами, что равноценно падению большевиков и вообще крушению революции»<sup>31</sup>. Струве продолжал беспокоиться и о материальном положении Бунина и, наверное, именно поэтому поручал жене (как секретарю редакции «Русской Мысли») 21 марта 1922: «Можно теперь же назначить даровые экземпляры следующим лицам: /.../ 8) И.А.Бунину 1 экз.»<sup>32</sup>.

Лишь 1 ноября 1922 возник касающийся «Русской Мысли» новый литературный план Бунина, когда писатель предложил Струве «немедленно взять гениальный рассказ», но 18 декабря Струве вынужден был от него отказаться, оказавшись не в силах «немедленно» заплатить за «гениальный рассказ» 1000 крон<sup>33</sup>.

---

вилось есть только простая случайность и что Вам будет легко ее преодолеть. Вы знаете, как тяжело наше положение.

Ждем Вашего ответа, глубокоуважаемый Карел Петрович, и просим принять уверение в нашей преданности Вам. (ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.272. Л.74).

См. также: Янгиров Р.М. Письма Буниных Струве. Указ. изд. С.39.

<sup>30</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.83. Л.22об.

<sup>31</sup> Там же. Д.99. Л.24об.

<sup>32</sup> Письма Буниных Струве. Указ. изд. С.36, 42.

<sup>33</sup> Алексей П.Струве (Ляля) оставался единственным из всей семьи Струве парижским посредником в ее отношениях с Буниным. 21 февраля 1924 Глеб Струве в письме к матери из Берлина, сообщая о финансовых затруднениях накануне поездки в Париж, рассказывает о своем обращении к брату: «Я просил Лялю — не мог ли бы он достать мне некоторую сумму от Парижского союза писателей — они дают такие суды на переезд. Просил его сделать через Бунина» (ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.90. Л.20об.). 25 февраля 1924 Глеб вновь писал матери — теперь уже из Парижа о свадьбе Алексея П.Струве с Екатериной Андреевной Катугар: «Со стороны Ляли были кроме Ал.Вас. [?] и нас [сыноией Струве, кроме Льва] — Оболенские, Карташевы, Бунины (И.А. был свидетелем и с удовольствием расписался как потомственный дворянин и академик Императорской Российской Академии)» (Там же. Л.34об.; см. также: Л.35об., 37об.). Об этой свадьбе — письмо В.Н.Буниной к Н.А.Струве от 25 февраля 1924: Письма Буниных Струве. Указ. изд. С.39-40.

Может быть, об этом плане полгода спустя вспомнил Глеб Струве: он сообщил отцу 18 апреля 1923 из Берлина в Прагу: «О рассказе Бунина я писал Ляле [Алексею П.Струве в Париж<sup>34</sup>]. Он ответил мне, что скоро увидит Ив.Ал. и поговорит об этом. С тех пор я ничего не получил. Обещал ли Бунин наверное? /.../ Указывал ли Бунин размер своего рассказа?» И об этом же ровно месяц спустя, убеждая отца отказаться от надежд на бунинское сочинение (и не резервировать для него место в конце номера, набирающемся в последнюю очередь): «Ляля пишет, что Бунин уехал на юг Франции и что достать от него рассказ будет теперь нелегко. Ляля полагает, что Бунин обидится, если его вещь пойдет одной из последних»<sup>35</sup>.

Новым предметом консультаций Бунина со Струве становилось соревнование за нобелевское лауреатство, подробно исследованное в упомянутой работе Р.М.Янгирова. Приведенные в ней сведения дополняются еще одним документом. 7 декабря 1922, накануне обращений к Струве самого Бунина, из Парижа к нему апеллировал и А.В.Карташев:

Дорогой Петр Бернгардович!

Пишу по экстренному вопросу, требующему срочного разрешения до 31-го декабря. Возникла мысль о выдвигании на Нобелевскую премию к январю 1923 года вместо рекламируемого с большевистской стороны Горького кого-нибудь с нашей стороны из русских писателей. Прямо говоря — Бунина. По статуту премии могут выдвигать кандидатов: 1) Академии Наук, 2) Лавреаты премии и 3) профессора литературы и истории. Мы могли бы в известной мере использовать все эти возможности. По пункту 3-му, напр., П.Г.Виноградов и Н.П.Кондаков могли бы подписаться на представлении или порознь или вместе. По пункту 2-му можно было бы обратиться к Ромэну Роллану, хотя и «другу» Горького, но все вероятно достаточно джентльмену, чтобы не отказать в посредстве представить на премию достаточно ценного им Бунина. По пункту 1-му может быть нам следовало бы иметь дерзновение выступить или от лица всего академического Союза или от Русского института в Праге. А для верности может быть нужно было бы соединить все эти три способа вместе. Пусть бы Кондаков и Виноградов представили Бунина от себя, одновременно Парижская Академическая Группа уговорила бы Р.Роллана представить Бунина от его имени. И — наша Пражская «Академия Наук» сделала бы независимое представление в Стокгольм.

<sup>34</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.172. Л.55, 66об.

<sup>35</sup> Там же. Оп.2. Д.99. Л.38.

Активизация взаимоотношений корреспондентов имела и некоторое издательско-политическое продолжение. Убедившись, что гонорарные запросы Бунина для «Русской Мысли» невыполнимы, Струве не отказался от проектов политического с ним сотрудничества. Так, А.В.Карташев же напоминал Струве о ходе составления (с участием Струве, М.И.Ростовцева, В.Л.Бурцева, Д.Д.Гримма) так называемого «Сборника "непримиримых"» [к большевизму] и сообщал: «Бунин, хотя и въздыхает, но хочет написать»<sup>36</sup>. А весной 1923 организованное при «Русской Мысли» одноименное издательство (Berlin W. 15, Bayerischestr. 9) объявило о готовящемся по инициативе Русского Национального Комитета выходе в свет сборника статей «Межа» — «при участии И.А.Бунина, Д.Д.Гримма, А.В.Карташева, А.И.Куприна, П.И.Новгородцева, П.Б.Струве, И.С.Шмелева и др.»<sup>37</sup>.

Список авторов проектированного сборника хорошо дополняется недатированным баллотировочным списком руководящих членов «Русского национального комитета», также сохранившимся в фонде Струве, с указанием количества набранных ими голосов. Наибольшее число голосов в этой правой эмигрантской организации (сто шесть) досталось, наряду с В.Л.Бурцевым и Ф.И.Родичевым, Струве. За ним следовали Бунин (вместе с наиболее активным организатором Комитета А.В.Карташевым он набрал сто пять голосов) и А.И.Куприн (сто четыре)<sup>38</sup>.

Лишь 14-27 июля 1923 Бунин вспомнил о «Русской Мысли» как о журнале. Из Грасса, где он проводил лето, Бунин писал Глебу Струве:

Дорогой Глеб Петрович.

Давно обещал П.Б. дать что-нибудь для «Рус. М.» и вот посылаю наконец несколько стихотв[орений]. Поручаю их Вашей заботливости, очень боюсь корректорской невнимательности, невежественности и своевольности, прошу воспроизвести оригинал точнейшим образом, с сохранением каждой *моей* запятой и каждого моего маленького и большого тире.

Гонорар — по мере Вашей силы и возможности. Рассказ надеюсь дать немного позднее. Напишите, как теперь выходит «Рус. М.» — правильно ли — и каково ее будущее?

Ваш Ив.Бунин

<sup>36</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.63. Л.13-13об. См. также: Материалы к творческой биографии П.Б.Струве / Сост., публ. и прим. М.А.Колерова // Вопросы филологии. 1992. №12. С.109: прим.7.

<sup>37</sup> Русская Мысль (Берлин). 1923. Кн. III/V.

<sup>38</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.294. Л.419-421. См. также материалы расширенного собрания Бюро Временного Русского Комитета Национального Объединения в Париже 8 марта 1921: в качестве «членов союза литераторов и ученых» на нем присут-

Р.С. У меня проводит лето Иван Сергеев[ич] Шмелев. Он уже сжег свои корабли, уже написал яростную статью для сборника А.В.Карташева. Немедля просите его дать статью или рассказ для «Рус. Мысли». И дайте ему пристойный гонорар — он оч[ень] беден, а «Р.М.» не разорится, потратив неск. лишних крон<sup>39</sup>.

Полученные стихотворения были немедленно включены в очередной номер журнала, но бунинского рассказа он не дождался<sup>40</sup>.

Лишь в конце 1924 — начале 1925 возобновляется активное общение Бунина со Струве, когда последний, в связи с проектами издания газеты, все чаще бывает в Париже и вскоре возвращается туда на постоянное жительство. 15 января 1925 он сообщает жене из Парижа: «Из знакомых видел пока только /.../ Трубецких, Бернацких и Буниных, т.к. всех их мне нужно было видеть по делу»<sup>41</sup>. Впрочем, на продолжение «Русской Мысли» тогда уже мало кто рассчитывал — и это заставляет считать приводимые сведения лишь косвенно относящимися к теме настоящих заметок.

## 2. А.М.Ремизов

Сочинения Ремизова были знакомы читателям еще дореволюционной «Русской Мысли». Однако, как известно, это стало возможным исключительно благодаря настойчивым рекомендациям близких сотрудников Струве по журналу — сначала Ю.И. Айхенвальда, З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского, а затем А.В. Тырковой и С.В. Лурье<sup>42</sup>.

---

ствали И.А.Бунин, А.И.Куприн и А.А.Яблоновский (ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.297. Л.322 — печатный материал).

<sup>39</sup> Там же. Д.171. Л.82. Об этом также: Д.172. Л.78об.

<sup>40</sup> См.: Русская Мысль (Прага; Берлин). 1923. Кн. VI/VIII. С.3-7 («Семь стихотворений»).

<sup>41</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.101. Л.34. Живший в Париже с начала марта 1924 Глеб Струве с Буниными практически не общался. Лишь на Пасху этого года 27 апреля он написал матери: «Мы отправились к Буниным, не рассчитывая на их приглашение, а желая проститься, т.к. они во вторник на Святой уезжают в Grasse на 6 месяцев; Ив.Ал. собирается писать там роман» (Там же. Д.90. Л.57об.).

<sup>42</sup> См. журнал, начиная с апрельской книжки 1911 года («Чертыханец»). Помимо известных мемуарных свидетельств Ремизова о своих покровителях в старой «Русской Мысли», см. письма к Ремизову: ОР РНБ. Ф.634. №91. Л.21об., 25 (Гиппиус); №87. Л.3 (М.О.Гершензона). П.Б.Струве свидетельствовал в письме к писателю 15 ноября 1912: «Мне с разных сторон мои друзья указывали, что Вы по живому духу Ваших произведений "должны" состоять сотрудником "Русск. Мысли". Несмотря на то, что мне приходилось уже, в качестве редактора, высказываться критически о некоторых Ваших произведениях, я вполне согласен с теми, кто настойчиво мне указывает на желательность Вашего сотрудничества в "Рус-

Едва начав приобщаться к непосредственному редактированию журнала, Глеб Струве подверг критическому анализу его материалы, и в особенности его «беллетристический отдел», совершенно несопоставимый по качеству не только с общественно-философской частью журнала, но даже с его рецензионным отделом, в 1922-1923 вступившим в период максимального разнообразия и представительности. «Нельзя принять меры, — писал Глеб отцу о журнальной беллетристике уже 7 апреля 1922, — к привлечению чего-нибудь интересного, напр., от А.Белого, Ремизова, даже Дроздова? Все эти господа в отличие от гг.Буниных и Мережковских будут рады гонорару в чешских кронах, ибо в марках это даст им очень много»<sup>43</sup>. Прогрессирующая гиперинфляция и катастрофическое падение немецкой марки в самом деле превращали жительствующих в Берлине писателей в более сговорчивых, по сравнению с парижанами, сотрудников. Как известно, именно относительная дешевизна типографских работ обусловила недолгий расцвет русского издательского дела в Берлине (основной капитал свой составившего из твердой валюты — в первую очередь, английского фунта), а также перенос издания «Русской Мысли» в Берлин на рубеже 1922-1923 годов.

30 сентября — 2 октября 1922 окончательно переселившийся из Оксфорда в Берлин Глеб вновь уговаривал отца: «Ар.Влад. [Тыркова] сказала мне, что Ремизов имеет большой роман, который он — полностью или часть — охотно напечатал бы в "Русской Мысли"; он боится лишь, что в "Р.М." его не любят, сам же он против нее ничего не имеет (ты, кажется, так думал). По-моему, во всяком случае нужно, пока он никому не продал романа, попросить у него рукопись на рассмотрение. Ремизова можно любить или не любить, но все-таки он большой писатель и, если роман без "блох", он украсит "Р.М.", художественная часть которой довольно слаба. Мне очень хочется позаботиться об улучшении качества беллетристического и поэтического материала»<sup>44</sup>.

---

ской Мысли» (ОР РНБ. Ф.634. №211. Л.1). Показательно, что Андрей Белый настолько ценил степень информированности Ремизова о делах журнала, что даже выпрашивал у него совета накануне «решительного разговора со Струве» (Там же. №57. Л.29).

<sup>43</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.112. Л.29об.

<sup>44</sup> Далее Глеб писал: «Если ты согласишься, я обращусь к В.Ф.Ходасевичу, находящемуся сейчас здесь, с просьбой дать несколько стихотворений для "Р.М.". Он — один из лучших поэтов современности и принадлежит к "возрожденцам" классицизма и Пушкинских традиций» (Там же. Л.30об.-31об.). 10 октября 1922, посылая-таки стихи Ходасевича, Глеб продолжал пропагандировать: «Сам он считает эти два стихотворения слишком "острыми", недостаточно ортодоксальными и боялся, что они не подойдут. Я считаю, что их следует *принять и пустить*

Примерно в те же дни Глеб писал брату Константину о подробностях того, как в доме своего коллеги и близкого друга, сына известной журналистки А.В.Тырковой Аркадия Альфредовича Бормана «познакомился с забавной четой Ремизовых»<sup>45</sup>. Знакомство это, видимо, оказалось отнюдь не формальным. Именно поэтому Ремизов вскоре после знакомства довольно бесцеремонно адресовался к главному редактору:

5. X. 1922.

Глубокоуважаемый Петр Бернгардович.

Через вашего сына Глеба посылаю вам рукопись «плачужную канаву». Если вы найдете возможным напечатать в «русской мысли», буду просить корректуру. У меня в рукописи сделаны всякие отметки, как печатать, но типографшики всегда склонны делать, как заведено. Корректуру не задержу. Сейчас же все сделаю, исправлять едва ли что буду. Для меня очень важны *пробелы* между строчками, которые обозначаю рогульками» — «разноцветными и очень просил бы, если найдете возможным напечатать, теперь же — в ближайших книгах.

Алексей Ремизов<sup>46</sup>.

На следующий день после этого заявления Глеб сообщал отцу: «Рукопись Ремизова я уже получил и начал читать. Первую часть посылаю тебе. Вещь, по-моему, довольно "синедетиконистская", нудная и тягучая, но все-таки принять — имени ради — нужно. Отдельные места и по началу хороши, конечно, со всеми Ремизовскими выкрутасами»<sup>47</sup>. Не успел Петр Струве ответить на решительное предложение писателя, как Глеб уже 9 ноября отцу и 18 ноября матери жаловался одной и той же фразой: «Ремизов обижен отсутствием ответа об его романе. Что мне ему сказать?»<sup>48</sup> Глеб определенно решил покровительствовать своей дебютной редакторской находке и с некоторым даже энтузиазмом пропагандировал Ремизова в семейном эпистолярии. Этому не помешала даже некоторая «политическая некорректность» писателя с точки зрения круга Струве. Хорошо представлявший себе его требования Глеб так, например, расхваливал в письме к матери

в ближайшей же книжке. У Ходасевича есть, конечно, стихи и лучше этих, но и в них сказывается его сильный и своеобразный дар. И он сам, и его настроение мне понравились. Он уехал из России легально и хочет вернуться, но говорит, что сейчас это бессмысленно: его все равно вышлют, ибо за ним немало "грехов". /.../ Стихи Ходасевича верни мне сейчас же со своей резолюцией» (ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 112. Л. 38-38об.).

<sup>45</sup> Там же. Оп. 2. Д. 289. Л. 66.

<sup>46</sup> Там же. Оп. 1. Д. 142. Л. 26.

<sup>47</sup> Там же. Д. 112. Л. 33.

<sup>48</sup> Там же. Л. 42об.; Оп. 2. Д. 89. Л. 89об.

политический консерватизм С.Кречетова: «Он занимает определенно антибольшевистскую позицию и собирается издавать только здоровую литературу, но так, чтоб это была все же хорошая литература. Даже такие люди, как Ремизов, Андрей Белый — все бывшие друзья его, — для него неприемлемы»<sup>49</sup>. 31 декабря 1922, приглашая братьев Константина и Аркадия на Рождество из Гейдельберга в Берлин, он писал: «Адя, мы непременно поведем тебя к Ремизовым. Во-первых, они сами презабавная чета. Он — маленькая обезьянка с лицом, как печеное яблоко, а она — точно стопудовая московская купчиха. Кроме того, у него вся комната увешана занимательнейшими существами: чортиками, обезьяньими царями, лешими и п[одобного] род[а]. Все они имеют свои имена и функции, а сам Алексей Мих. относится к ним как к живым существам и примечательно о них рассказывает. Тебе страшно понравится. К сожалению, хозяйка гонит их с квартиры. Они открыли, что она главная ведьма и все ждут, что она вылетит в трубу, но пока что этого не случается и им, бедным, плохо»<sup>50</sup>. Жилищные проблемы заставляли Ремизова настаивать на прояснении судьбы своего сочинения и сопутствующего ему гонораара.

1.12.22.

Глубокоуважаемый Петр Бернгардович!

Я писал вам на рус. мыс. и не уверен, дошли ли письма. Я все о рукописи моей: надо мне как-то ее устроить. Если вы находите, что она не подходит к рус. мыс. или должна ждать какого-нб. продолжительного срока, то прошу, пришлите ее мне. Еще что-нб. надумую.

Алексей Ремизов<sup>51</sup>

Настойчивость Ремизова подкреплял и его покровитель — Глеб Струве. «А.М.Ремизов, — настаивал тот, — очень хотел бы *получить назад* свой роман, первая часть которого находится у тебя, если на напечатание его в "Р.М." нет никакой надежды. Ему до зарезу нужны деньги, и он готов продать первому встречному издателю даже за германские марки»<sup>52</sup>. С тех пор Глеб систематически — 3 января, 20 января, 11 февраля, 16 февраля — напоминал отцу о сочинении своего протеже<sup>53</sup>, пока не вырвал согласия на его публикацию и уже 19 февраля не сдал роман Реми-

<sup>49</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.89. Л.86об., и далее: «Может быть можно было бы поручить Кречетову вести литературный отдел при моем непосредственном участии».

<sup>50</sup> Там же. Д.289. Л.72об.

<sup>51</sup> Там же. Оп.1. Д.142. Л.27.

<sup>52</sup> Там же. Д.112. Л.45об.

<sup>53</sup> Там же. Л.52об.; Д.172. Л.2об., 16об., 18.

зова в набор<sup>54</sup>. «О Ремизове ты судишь несправедливо, — разъяснял он отцу. — Романа его я не защищаю: он в общем нудный, хотя в нем есть много интересных мыслей и отдельных очень удачных мест. Но сам он вовсе не гниль, а очень милый человек, немного, правда, трусливый, но этим грешат многие»<sup>55</sup>. Тем не менее Глеб был настолько очарован Ремизовым, что, не боясь раздражить отца, во внутренней микрорецензии использовал образ писателя при оценке художественного сочинения берлинца, близкого публицистического союзника Струве, Лоллия Львова. Глеб писал о его тексте «Сны»: «Временами веет Ремизовым, но хорошим Ремизовым. Можно принять»<sup>56</sup>. Не прошло и нескольких дней со сдачи ремизовского романа в набор, как Глеб предложил отцу выплатить автору весьма солидный (перед лицом обесценивающейся немецкой марки) аванс в размере 2 фунтов стерлингов<sup>57</sup>. Сына поддержала и Н.А.Струве. 23 февраля 1923 она сообщала мужу из Берлина: «Все тут живут ужасно. То тому, то другому угрожает прогоняние с квартиры: и Нюничу [С.Л.Франку], и Ремизову. Бердяев замучен хозяйкой /.../»<sup>58</sup>. 27 февраля Ремизов получил 2 фунта стерлингов — «в счет гонорара за Канаву»<sup>59</sup>. Вершиной близких отношений Глеба с Ремизовыми стало их участие в его венчании с Ю.Ю.Андре 18 апреля 1923 (А.М.Ремизов в качестве свидетеля) и на крестинах их дочери Марины (С.П.Ремизова в роли восприемницы)<sup>60</sup>. Своими заботами Глеб Струве не оставлял Ремизова и позже: о гонораре ему он не раз сообщал в июле 1923<sup>61</sup>. А 1 ноября 1923 он вновь напоминал матери о необходимости выплаты гонораров берлинским авторам: в их числе Ремизову, Франку и др., уже на следующий день сообщал:

<sup>54</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.112. Л.21-21об. См.: Ремизов А. Канавы. Роман // Русская Мысль (Прага-Берлин. 1923. Кн. I/II. С.46-89; Кн. III/V. С.52-75; Кн. VI/VIII. С.62-110; Кн. IX/XII. С.29-60.

<sup>55</sup> Там же. Л.22об. О рукописи романа «Плачущая канавы» см. составленный Н.А.Струве «Список рукописей, принятых и могущих быть напечатанными в первых книгах 1923 г.: А. Рукописи, хранящиеся в Берлине»: Там же. Д.173. Л.30.

<sup>56</sup> Там же. Д.173. Л.33. Л.И.Львов вскоре забрал свое сочинение: Л.60.

<sup>57</sup> Там же. Д.118. Л.49. В качестве материальной помощи можно рассматривать и предоставление Ремизову бесплатных экземпляров журнала: Там же. Д.168. Л.69.

<sup>58</sup> Там же. Д.174. Л.29, 38; см. также: Д.172. Л.51-51об.

<sup>59</sup> Там же. Оп.2. Д.289. Л.91.

<sup>60</sup> Там же. Оп.2. Д.89. Л.111об.; Оп.1. Д.172. Л.55. См. письмо Г.П.Струве матери от 1 мая 1923: «Вечером мы обещали слушать Ремизова в Клубе писателей. Он будет читать с комментариями письма Розанова к себе. Говорят, это очень интересно» (Оп.2. Д.89. Л.118).

<sup>61</sup> Там же. Оп.1. Д.172. Л.80об., 83об., 91об.

«Я на свой страх заплатил Ремизову в счет гонорара по текущей книжке 2 фунта (ему причитается по прежнему расчету). Деньги эти я занял у Арк. Альфр. [Бормана] (лично!) с обязательством вернуть в десятидневный срок /.../ Сделал же я это вот почему: Р[емизовы] послезавтра уезжают в Париж, при этом у них есть билеты до Келма и ни копейки на жизнь здесь, ни на дальнейшую дорогу»<sup>62</sup>. Все остальные русские берлинцы получили гонорары лишь в конце февраля 1924<sup>63</sup>. Весной 1924 в Париже Глеб возобновил свое общение с Ремизовыми, но оно уже не касалось журнала<sup>64</sup>. Лишь в единственной книжке «Русской Мысли» за 1927 год (в высшей степени идеологичной и критически жесткой), в рецензии на первые два номера «Верст», оговоривших «ближайшее участие» Ремизова и Цветаевой, не касаясь сочинений писателя специально, Струве квалифицировал общее направление издания как «особливо упадочное и особливо утонченное ”отложение“ евразийства»<sup>65</sup>.

### 3. М.И.Цветаева

Другим редакторским дебютом Глеба Струве в «Русской Мысли» стали сочинения Марины Цветаевой. Без его дотошного посредничества из Берлина пражские жители Цветаева и Струве не могли сговориться меж собой о сотрудничестве. Как следует из хорошо известных исследователям писем Цветаевой самому П.Б.Струве, первые стихотворения были переданы ею в журнал при посредничестве Глеба еще в июле 1922<sup>66</sup>. Как и следовало ожидать, основным стимулом к дальнейшей эпистолярной активности стала гонорарная проблема — 17 ноября 1922 Глеб сообщал матери: «Я получил письмо от М.И.Цветаевой, которая с отчаянием пишет, что ее выбрасывают с иждивения и что ее и дочь ждет

<sup>62</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.172. Л.190, 192. О двухфунтовых авансах Ремизову см.: Там же. Д.168. Л.76а, 79.

<sup>63</sup> Там же. Оп.2. Д.90. Л.32.

<sup>64</sup> См. письма Глеба матери от 5 и 12 марта 1924: Там же. Л.39об., 41. 17 марта он писал: «/.../ отправился к Ремизовым, где просидел весь вечер. У них очень уютная квартира на Avenue Mozart, почти напротив Катуаров: 3 комнаты, ванна, кухня. /.../ Ремизовы были мне рады и очень милы. Всех своих чудищ он оставил в Германии, за исключением двоих, но в Париже успел уже собрать новую коллекцию, которая развешана у него в комнате. А у Сер. Павл. свой уголок — с иконами, вышитыми бисером картинками и иной стариной» (Л.44). «С Ремизовыми видимся редко, — итожил Глеб 30 августа 1924, — очень уж далеко друг от друга живем, и они к нам никак не могут собраться» (Л.85об.).

<sup>65</sup> П.С. [Рец. на:] Версты. №1. Париж, 1926; №2. Париж, 1927 // Русская Мысль (Париж). 1927. Кн.1. С.109.

<sup>66</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.132. Л.1.

тогда голодная смерть. Выбрасывают потому, что решено помогать только "маститым деятелям пера", причем помощь будет оказываться Борису Лазаревскому и Илье Сургучеву [авторам "Русской Мысли"]. Конечно, М.И.Цветаева как литературная величина гораздо крупнее их обоих и, я думаю, порядочнее второго. Она прибавляет, что за нее Чириков и Ляцкий, и ей нужен голос папы. Где, — я не знаю, — вероятно, в Союзе журналистов. Пусть папа сделает, что может. Я написал М.И.Цветаевой, прося ее зайти к папе и самой переговорить с ним»<sup>67</sup>. Уже 4 декабря Цветаева благодарила Струве за выплаченный гонорар<sup>68</sup>. 20 января 1923, напоминая отцу о ремизовской «Канаве», Глеб также писал: «Между прочим, у меня есть для следующей книжки хорошие стихи М.Цветаевой — санкционируешь?» И в примечании: «Зачем ты принимаешь плохие стихи Дитерихса, Федорова и ужасные стихи какой-то Оксаны К. Нужно делать более строгий подбор. Дезобри и Гриневиц тоже. Предоставь мне ведать стихами. Если неудобно отказать Федорову, можно принять и мариновать. Дезобри, к сожалению, уже написано о принятии. Сейчас достаточно хороших поэтов»<sup>69</sup>. Отбираемые Петром Струве стихи и в самом деле были, как правило, отчаянно плохи. И потому, наверно, он дал сыну согласие на (в известных пределах) заведование стихами и санкцию на стихи Цветаевой, уже 5 февраля 1923 отправленные ему на экспертизу<sup>70</sup>. Глеб не был уверен в положительном исходе этой «экспертизы» и 6 февраля предупреждал: «Отвергнутое — брось в корзину. (Стихи Цветаевой во всяком случае верни)»<sup>71</sup>.

Столь же усиленно Глеб в конце февраля — начале марта 1923 устраивал публикацию статьи Цветаевой о воспоминаниях Волконского, которую М.И. как назло категорически не желала сократить, хотя этого требовали параметры библиографического отдела журнала<sup>72</sup>. К несчастью, Глеб сам неосторожно способствовал углублению и без того явственного отчуждения между Струве-старшим и Цветаевой. Так, например, 2 марта Глеб писал отцу, что, в случае отказа его от печатания упомянутой статьи Цветаевой, та «просит передать рукопись "Геликону" для "Эпопей" (от себя скажу: я думаю — там не возьмут)»<sup>73</sup>. Словно не

<sup>67</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.2. Д.89. Л.87.

<sup>68</sup> Там же. Оп.1. Д.132. Л.2-3.

<sup>69</sup> Там же. Оп.1. Д.172. Л.2об. См. также: Д.112. Л.51об.

<sup>70</sup> Там же. Д.172. Л.10об.

<sup>71</sup> Там же. Л.13об.

<sup>72</sup> Там же. Л.24-24об., см. об этом также недатированное письмо Цветаевой к Струве: Там же. Д.132. Л.5.

<sup>73</sup> Там же. Д.172. Л.27.

помня отчетливо выраженной год назад антипатии Струве к Андрею Белому, журнал Белого, «Эпопею», продолжала связывать с именем Цветаевой и Н.А.Струве, она писала мужу: «Трогательно то, что Марина Цветаева просила Глеба на оставшийся ее гонорар за какие-то стихи подарить "больному брату" [Л.П.Струве] подарок. А это было 1200 мар., т.е. огромная сумма. Глеб купил № журнала "Эпопея" и от себя другой»<sup>74</sup>. Трудно сказать, как реагировал на все эти новости Струве, но рецензия Цветаевой в журнале не появилась, и, чуть ли не одновременно с описанными хлопотами и рекомендациями, Цветаевой опять пришлось апеллировать к Глебу в Берлин для получения гонорара: «М.И.Цветаева пишет, что ей нужны деньги, и спрашивает про гонорар. Разве ты ей до сих пор не выплатил?» — спрашивал он отца<sup>75</sup>.

Лишь однажды — летом 1923 — и, пожалуй, в последний раз столь нейтрально, имя Цветаевой прозвучало в устах Струве. «Забегала как-то Ек.Н.Рейтл[ингер] с Мариной Цветаевой», — писал он жене<sup>76</sup>. Е.Н. и Ю.Н.Рейтлингер были очень близкими и доверенными знакомыми Н.А. и П.Б.Струве, вместе с сыновьями Струве Аркадием и Константином входили в патронируемый С.Н.Булгаковым пражский студенческий «Православный кружок»<sup>77</sup> и в описываемые годы поддерживали весьма доверительные отношения со Струве. Так что появление одной из них в его доме было совершенно естественно. Однако даже это никак не помогло сближению с ним их подруги М.И.Цветаевой. Вся история их дальнейших взаимоотношений — история резкой полемики, «отвратной ненужности» и т.д., в которой краткое сотрудничество Цветаевой в «Русской Мысли» было лишь случайным результатом заступничества Глеба Струве<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> ГА РФ. Ф.5912. Оп.1. Д.122. Л.256.

<sup>75</sup> Там же. Д.172. Л.38; за публикацию: Цветаева М. Стихотворения // Русская Мысль (Берлин). 1922. Кн. VIII/XII. Отд. I. С.5-9. В этом номере имя Цветаевой было даже внесено в список сотрудников журнала.

<sup>76</sup> Там же. Оп.2. Д.101. Л.139об.

<sup>77</sup> Там же. Оп.1. Д.294. Л.433-440; Оп.2. Д.100. Л.36-36об. Письма сестер Рейтлингер членам семьи Струве см.: Там же. Оп.2. Д.297. Л.75-76 (Константину); Д.80; Оп.1. Д.272. Л.24, 113, 96 (П.Б.Струве и анониму); Д.96. Посвященное им стихотворение Г.П.Струве «Я хочу быть простым и мудрым...»: Оп.2. Д.125. Л.3об.-4. 7 мая 1924 Петр Струве выдал рекомендацию Ю.Н.Рейтлингер для поступления в чешскую Академию Художеств: Оп.1. Д.29. Л.27; Ю.Н.Рейтлингер писала Н.А.Струве 31 марта 1924: «Я не помню, показывала ли я Вам портрет Мари[ны] Ив[ановны] /.../» (Там же. Оп.2. Д.80. Л.31об.).

<sup>78</sup> Вот одно из признаний Глеба матери от 31 января 1924 из Берлина, накануне переезда в Париж: «Привет всем пражским знакомым и особенно Мар.Ив. Цветаевой, если ты ее видишь. Расскажи ей про нас и скажи, что я чувствую себя очень виноватым, что совсем не писал и не ответил ей» (Там же. Д.90. Л.18об.).

По практически единодушному убеждению современников и исследователей, беллетристические и поэтические публикации «Русской Мысли» во время редакторства П.Б.Струве до революции (1906-1918, единоличного с 1910) не только не относились к ее лучшей части, но и, за редкими исключениями, носили на себе явные следы художественной посредственности и провинциализма. Качество беллетристики «Русской Мысли» в целом было заметно ниже даже среднего уровня современных ей толстых журналов. Столь же очевидно, что высокая интеллектуальная репутация руководимой Струве «Русской Мысли» создавалась иными, философскими и культур-критическими публикациями самого широкого круга авторов, пределы коего распространялись гораздо далее круга так называемого «религиозно-философского ренессанса», укомплектованного ближайшими друзьями и сотрудниками Струве. Такая представительность интеллектуальных сил «Русской Мысли» не в последнюю очередь обуславливалась исторической ситуацией 1906-1917, когда самая «общая скобка» социал-либеральной политической оппозиционности объединяла большую часть интеллектуальной элиты. И такая «отрицательная консолидация» не требовала от редактора чрезмерных организаторских усилий. К 1921-1923 все изменилось — антибольшевизм сам по себе не мог уже консолидировать столь широкую оппозицию в эмиграции, и круг философско-политических единомышленников Струве катастрофически сузился. В новых условиях, несмотря на целый ряд вполне успешных публикаций В.В.Шульгина и З.Н.Гиппиус, беллетристическая бледность «Русской Мысли» стала еще более тяжелой и нетерпимой для Струве проблемой. Его политические амбиции требовали собрать в «Русской Мысли» все самое лучшее не только из эмигрантской, но и из всей русской культуры в целом. Его редакторская практика по-прежнему строилась на более или менее идеологизированной философской критике. А его собственная растущая идеологизированность чрезвычайно затрудняла сколько-нибудь успешное и равноправное сотрудничество с писателями и поэтами. И прогрессирующая (к 1927) художественная примитивизация «Русской Мысли» — тому ярким примером.

## ТУЛОН... ТАМАНЬ... ТУМАН

(Письмо Георгия Иванова Владимиру Маркову)

Публикация А.Арьева

Письма Георгия Иванова Владимиру Маркову 1955-1958 годов отличает последняя простота и армейская прямота выражений. Перед недалгим лицом смерти у поэта, как и у всякого человека, въяве проступают наследственные черты, раскрывается его архетип. Все предки Георгия Иванова без исключения — и с отцовской, и с материнской стороны — были военными. Первым исключением оказался он сам, в юности, впрочем, тоже прошедший через кадетский корпус.

По семейному преданию, голландские пращурьы матери участвовали в Крестовьх походах. Предание это особенно будоражило воображение поэта, а последние годы жизни он проводил время в местах, где сам пейзаж ежедневно напоминал ему о французском короле Людовике IX, возглавившем седьмой и восьмой походы. Георгий Иванов жил на юге Франции, на Лазурном берегу, в пансионате для престарельх «Beau Séjour» — «Прекрасное пребывание». Оно закончилось одинокой смертью поэта среди каких-то бежавших от Франко испанских коммунистов... Даром что сам поэт бежал от русских большевиков и с 1923 жил во Франции, свято ненавидя режим, установленный на родине.

Городок Йер, неподалеку от Тулона, где находился пансионат, с трех сторон окружают горы и средневековые замки на них. «Отсюда Людовик Святой уходил в Крестовьй поход», — пишет Георгий Иванов 18 января 1956. Понятным становится тогда, почему перед смертью он вновь обращается к стихотворению давних лет (его первый вариант написан в 1924), к стихотворению, уже напечатанному в 1936 и по своему костюмированному убранству не похожему на его позднюю лирику:

Упал крестоносец средь копий и дыма,  
Упал, не увидев Иерусалима.  
У сердца прижата стальная перчатка,  
И на ухо шепчет ему лихорадка:

— Зароют, зароют в глубокую яму,  
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,  
Глаза голубые, жемчужные плечи...  
И львиное сердце дрожит, как овечье.

А шепот слышнее: — Ответ на вопросец:  
Не ты ли о славе мечтал, крестоносец,  
О подвиге бранном, о битве кровавой?  
Так вот, умирай же, увенчанный славой!

Конечно, здесь просматривается и реальный исторический сюжет, повествование о Людовике IX, умершем в расцвете славы от чумы при осаде Туниса, на чем Крестовые походы и завершились (гадательное предположение комментаторов этого стихотворения о том, что в нем содержится «намек» на Ричарда Львиное Сердце, вызвано чисто формальной интерпретацией метафоры «львиное сердце»; вряд ли английский король, погибший через восемь лет после Крестового похода в Палестину, думал перед смертью об Иерусалиме, тем более «забывал» или «не забывал» при своей всем известной гомосексуальной ориентации какую-либо Прекрасную Даму; к тому же у рыцаря, презревшего даже смертельные раны, нащупывать «овечье сердце» нет никаких оснований).

Но главное в стихотворении Георгия Иванова не исторические аллюзии, а пережитое им самим экзистенциальное состояние «страха и трепета», состояние поэта, умирающего

В обладании полном таланта,  
С распроклятой судьбой эмигранта...

И ивановский Иерусалим — никакой не Иерусалим, а Петербург. И Прекрасная Дама говорит его сердцу не о трубадурах, а о лежащем на Смоленском кладбище северной столицы Блоке... Может быть, даже и еще проще — об Ирине Одоевцевой в Летнем саду:

И опять, в романтическом Летнем саду,  
В голубой белизне петербургского мая,  
По пустынным аллеям неслышно пройду,  
Драгоценные плечи твои обнимаю.

Это об этих плечах вздыхалось еще в Петрограде:

Зачем драгоценные плечи твои  
Как жемчуг нежны и как небо покаты!

Говоря словами Георгия Адамовича, понятными большинству поэтов «серебряного века» и в первую очередь Георгию Иванову, признававшему только «петербургское веяние» в русской лирике:

На земле была одна столица,  
Все другое — просто города.

Вполне вероятно, что и предсмертный конфиденгент поэта Владимир Федорович Марков был бессознательно избран Георгием Ивановым имен-

но потому, что явил собой перед ним последнего человека *оттуда*. Его адресат — представитель «второй волны» русской эмиграции, появившейся на Западе в последние годы Второй мировой войны. Подлинность бессознательного выбора была подкреплена поэтической интуицией: Георгию Иванову понравились «Гурилевские романсы» Владимира Маркова, опубликованные в нью-йоркском «Новом журнале», а еще больше — его воспоминания о литературной жизни ленинградской молодежи конца тридцатых годов «Et ego in Arcadia», печатавшиеся там же в 1955. Этим годом и помечено начало переписки.

«И я в Аркадии», — мог бы сказать в это время Георгий Иванов:

Тишина благодатного юга,  
Шорох волн, золотое вино...

Мучение состояло в том, что этот рай, загробная жизнь отзывались не блаженным умиротворением, а могильной тоской.

«Et ego in Arcadia» — это значит: «И я родился и пережил счастливое время...» Но эту же надпись старые художники вычерчивали на могильной плите, на меланхолическом черепе, на гробе пастушки — как у Константина Батюшкова...

Но поет петербургская выюга  
В занесенное снегом окно, —

завершает Георгий Иванов строчки о «благодатном юге».

О своем любимом, с детства любимом, французском художнике Антуане Ватто Георгий Иванов написал: «Как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене тосковал». Эта русская тоска — «...как алмаз. Ничего ей не делается. Стоит в груди и не тает», — говорит у Георгия Иванова в «Петербургских зимах» один поэт.

Лермонтовская тема, с первого поэтического мгновения в жизни Георгия Иванова вплетающаяся в его лирику, возникает и в стихотворении, посвященном Владимиру Маркову, «Полутона рябины и малины...»:

На Грузию ложится мгла ночная.  
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.  
...И лучше умереть, не вспоминая,  
Как хороши, как свежи были розы.

Аллюзии этого стихотворения подробно проанализированы самим Марковым в статье «Русские цитатные поэты: заметки о поэзии П.А.Вяземского и Георгия Иванова». В другой статье с блестящим названием «Georgy Ivanov: Nihilist as Light-Bearer», то есть «Георгий Иванов: нигилист-светоносец у "народа-богоносца"», автор анализирует еще одно лермонтовское стихотворение поэта — его Ирина Одоевцева называла лучшим — «Мелодия становится цветком...»

Маркова привлекает в стихотворении та абсолютная свобода, с которой Георгий Иванов владеет звукописью, при одной ее помощи расширяющая для приятия новых смыслов заведомо жесткую, веками отшлифованную



**Сестры Наппельбаум. Вверху: Ольга; внизу слева направо:  
Ида, Рахиль (Лиля), Фредерика. 1923-1924. Фото М.С.Наппельбаума.  
Архив Е.М.Царенковой.**



Вверху: М.М.Лурье, Р.Г.Каценеленбоген, О.М.Грудцова.  
Внизу: Н.М.Федорова, Э.Г.Эфрос. Около 1925. Фото И.М.Наппельбаум.  
Архив Е.М.Царенковой.



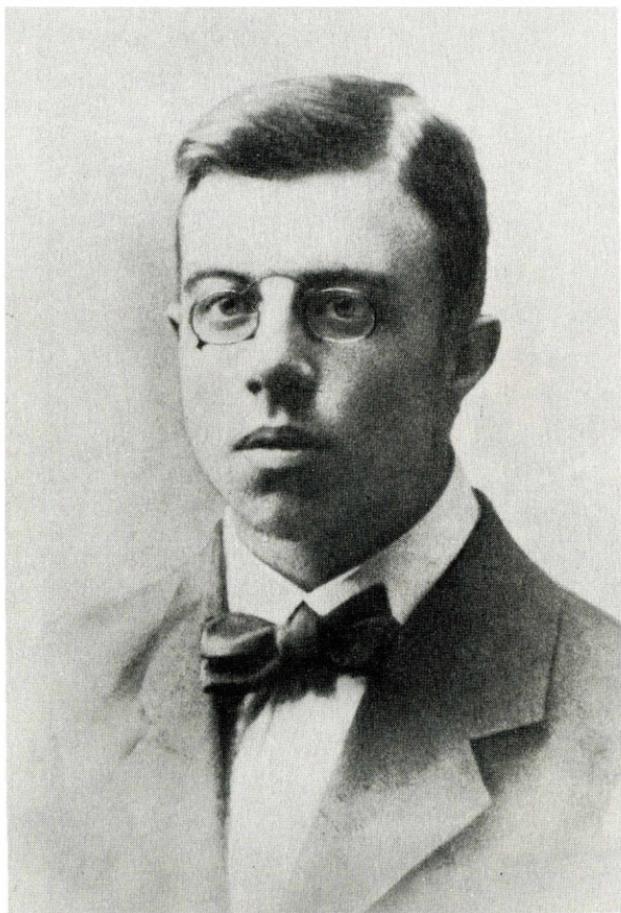
О.М. и В.К.Грудцовы. 1926. Фото М.С.Наппельбаума.  
Архив Е.М.Царенковой.



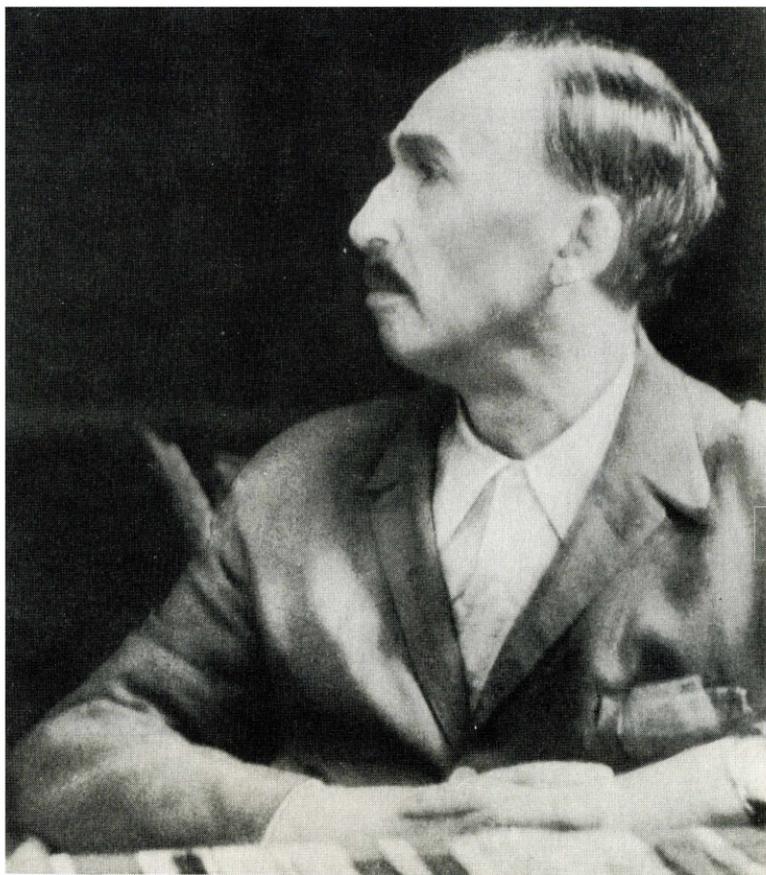
К.И. Чуковский. Переделкино. 1960-е. Архив О.М.Грудцовой.



Е.М.Царенкова и О.М.Грудцова. Конец 1962. Фото И.М.Наппельбаум.  
Архив Е.М.Царенковой.



Ю.А.Никольский. Конец 1910-х.



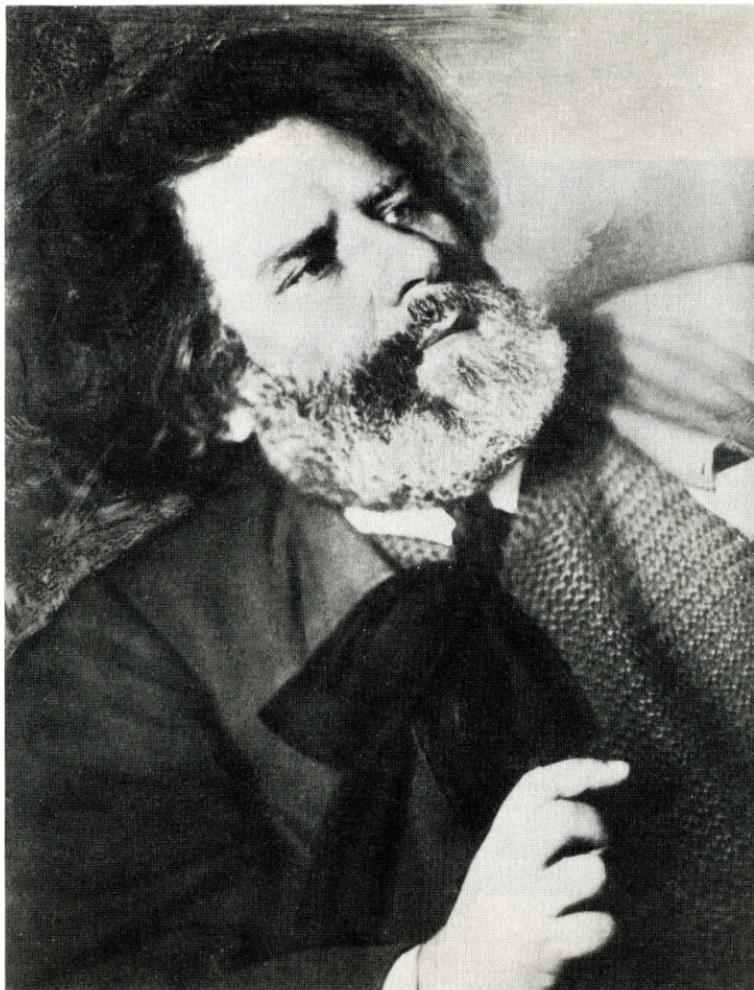
Г.В.Иванов. 1957.



**И.М.Басалаев в своей квартире на ул.Рубинштейна. Весна 1957.  
Фото И.М.Наппельбаум. Архив Е.М.Царенковой.**



Слева направо в верхнем ряду: А.А.Туфанов, И.А.Оксенов,  
В.А.Рождественский, Е.Г.Полонская, К.К.Вагинов; в нижнем ряду:  
А.П.Крайский, М.М.Шкапская, И.И.Садофьев, Г.В.Шмерельсон.  
Около 1927. Фото М.С.Наппельбаума. Архив Е.М.Царенковой.



М.А.Волошин. Середина 1920-х. Фото М.С.Наппельбаума.  
Архив Е.М.Царенковой.





М.А.Кузмин. Около 1925. Фото М.С.Наппельбаума.  
Архив Е.М.Царенковой.



Ю.И.Юркун. Начало 1920-х. Архив Е.М.Царенковой.



Н.С.Тихонов. 1920-е. Фото М.С.Наппельбаума. Архив Е.М.Царенковой.



**И.И.Садоев. Начало 1930-х. Фото М.С.Наппельбаума.  
Архив Е.М.Царенковой.**



Слева направо по часовой стрелке: Н.С.Тихонов, М.А.Фроман,  
Н.Л.Браун, К.К.Вагинов, В.И.Эрлих, В.Саянов. Конец 1920-х.  
Фото М.С.Наппельбаума. Архив Е.М.Царенковой.

ванную, изначально поэту данную сонетную конструкцию. Сейчас обратим внимание лишь на гармоническое полнозвучие последних строк стихотворения:

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.  
— Как далеко до завтрашнего дня!..  
И Лермонтов один выходит на дорогу,  
Серебряными шпорами звеня.

Этот перебивающий правильность размера лишним словом «один» серебряный звон — «динь!» — шпор, волшебно — и в то же время вполне по-земному, как колокольчик на ипподроме — оповещает о выходе поэта на последнюю предсмертную прямую, о мгновении перед побитием «мирового рекорда одиночества», о той летящей вечно стреле, что попала в цель.

К словам этого стихотворения «Туман... Тамань» остается добавить лишь одно слово — «Тулон», более в переносном, наполеоновском смысле, чем в прямом, биографическом.

«Тулон... Тамань... Туман». Такова обратная, но единственно верная перспектива лирики Георгия Иванова. Дальше «все расплывается в безначальный туман» — по слову любимейшего Георгием Ивановым Блока.

Перед тем как умереть,  
Не о чем мне говорить, —

написал Георгий Иванов в «Посмертном дневнике». Но предсмертный разговор «ни о чем» — это и есть для него поэзия:

И полною грудью поется,  
Когда уже не о чем петь.

«Полною грудью», избавившись от всех сдерживающих несчастного человека неважных уз, ведет разговор поэт и в своих последних письмах к Владимиру Маркову. В них видна и усталость от жизни, и затягивающая в смерть болезнь. И в то же время «крайняя необходимость» (слова самого Георгия Иванова) выговориться:

Перед тем как замолчать,  
Надо же поговорить.

Надо, хотя бы потому, что, как горько шутит Георгий Иванов, «...на том свете, я думаю, все глупеют». Слишком много там света и праведников. «Светлые личности всех мастей, — замечает поэт в одном из писем Маркову, — всегда инстинктивно недолюбливал: "светлый", ну и светись на здоровье, а мне скучно любоваться тобой».

Брутальный тон последних ивановских посланий особенно явен в публикуемом письме. Как и все остальные, оно написано совершенно небрежно — с пропуском букв и слов, с недописанными окончаниями, с нарушением правил орфографии и, особенно, пунктуации. В таком виде оно

опубликовано в вышедшей недавно в Германии книге: Ivanov G., Odojevceva I. Briefe an Vladimir Markov. 1955-1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln., Weimar; Wien, 1994.

Письма изданы с полной научной тщательностью, касательно воспроизведения текста, по старой орфографии, которой Георгий Иванов придерживался до конца дней, с «ерами» и «ятями».

Мы публикуем письмо, придерживаясь орфографии и пунктуации, принятой в современной русской грамматике. Многочисленные описки, а также неверно прочитанные публикаторами слова (например, «Козлина Писнь» вместо «Козлиная песнь», «Василевич» вместо «Вагинов», «голонильский» вместо «гениальный» и т.д.) мы исправляем, не комментируя.

Разрешение на публикацию письма получено от В.Ф.Маркова.

7 мая  
1957

Beau-Séjour  
Nyères  
Var<sup>1</sup>.

Дорогой Владимир Феодорович,

Пишу Феодорович по-новому для себя: получил на днях от одного «однокашника» в подарок стихи К.Р., «нашего державного шефа»<sup>2</sup>, и узнал из биографии, что сей Гран-дюк всюду отстаивал  $\Theta$ , храня святыню языка. Не хочу быть его последователем в этом смысле. Хотя, как будто, Феодор правильнее Фёдора.

Этот Гранд-дюк был, кстати, большая душка, и все мы его искренно (и было за что) любили. Он мой, кстати, и литературный крестный отец: в нашем корпусе издавался журнал «Кадет Михайловец» — великолепно издавался на чудной бумаге и т.д. И там я ничтоже сумняшеся напечатал (с его высочайшего поэтического одобрения) пук архидекадентских стихов. Помню одну из строф:

Как девы ночи плывут туманы  
Жемчужным флером над темным морем.  
Они как девы, они как раны.  
Их смех беззвучен и дышит горем<sup>3</sup>.

Каково для кадетского журнала и всякая подобная галиматья, какие «три мудреца в далекий путь ушли» и т.д. Нет, в самом деле — рядом с «Посещением государем Императором Красносельского лагеря» и т.п. довольно пикантно и в смысле декадентщины и в смысле либерального отношения к ней. Этот Гранд-дюк, как я освежил теперь в памяти, был очень недурной поэт, если расценивать по способностям и вспомнить пройденную им школу, — стоит сравнивать с нашими какого-нибудь Штейгера, о котором теперь поднимают такой бум<sup>4</sup>. Что Вы, кстати, думаете

о Штейгере? Мило? Не спорю. Таланту на две копейки. Душонки на три. Как мой Гранд-дюк, уступая ему, плоть от плоти и от Голенищева-Кутузова и ведет через него генеалогию от Майкова<sup>5</sup>, так и Штейгер *via*\* Червинскую<sup>6</sup> целиком идет от Кузмина — Ахматовой, притом от их наиболее уязвимых сторон: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки», с сильной прибавкой специфического «Я сам лежу на том диване, где вы лежали после бани».

На этом специфическом соусе и расцвело, по-моему, нынешнее обожание Штейгера. И мне, как раз поэтому, оно малость противно. Судите сами: какой-то «Вестник педераста» 3/4 последнего № «Опытов». Отчаянная тапетка (никогда его не встречал), Иваск, старый матерый волк сих дел Адамович, трагикомический [нрзб.] роман в письмах «Царь-Дуры» Цветаевой<sup>7</sup>. Великовозрастная Марина Цветаева, захлебывающаяся от истерической страсти к самому недоступному для нее объекту в мире: чистенький, вылизанный всюду, где можно, продушен баронок-жоппничек. /.../ Тут же между ног вьется отнюдь не баронок, а так, подлиза с потными латышскими лапками из того же семейства. Не хочу сказать лично о Штейгере-поэте плохо — он мне скорее нравится. Но этот посмертный триумф одного из наших, «своего», тонко понимающего, по пародии Измайлова<sup>8</sup>, «прелесть губ мужских и усатых» — ощущаю как какую-то профанацию имени поэзии. Всегда вертелся в этом обществе — и сохранил отвращение. Долго объяснять почему. О, не за сам факт. Но так уж устроен мир. Эти люди даже на большой высоте (вроде А.Жида или Пруста) все какие-то мелкие душонки и занимаются своею мелкой душонкою<sup>9</sup>. Ну, нельзя Пушкина вообразить педерастом (хотя он и попробовал сего в Арзерумской бане<sup>10</sup>). Не знаю. Понимайте «по воздуху». Я бедный больной старичок, как отвечал Гончаров, когда у него племянник клячил деньги<sup>11</sup>.

Я вот Вам пишу, что придет в голову, но выразить что-либо не могу. И стихи так и не пишу. Противно рифмовать, противна «собственная интонация», противно, что какой-нибудь дурак восхитится, а другой побранит. Даже в этом совпадаю с Вами. Тянет (как с шампанского на квас) к некоему воображаемому Хлебникову<sup>12</sup>. Не к подлинному — в нем не нахожу ни цутельки. Так, как [к] местному Графу Лотреамону с «Песнями Малдорора»<sup>13</sup> (или как), Вы, наверное, отведали и этого фрукта. И заметьте — та же история: к этому Графу, как у нас к Хлебникову, тянутся инстинктивно «лучшие элементы», вот, вроде Вас. И я это понимаю и такому тяготению втайне сочувствую. Но все это топор во

\* через (лат.).

щах, требуется много, много набрать разного, чтобы сварить щи из такого топора. С другой же стороны [ясно], что и Хлебников и Лотреамон — пища богов для всевозможных жуликов и шарлатанов. И чем больше Вы напишете диссертаций о Великом поэте, тем с большим основанием (и успехом) всевозможное жулье будет им в свою пользу пользоваться. Вот и порочный круг. Здесь, как Вы, м.б., знаете, на Лотреамоне выросли целые плеяды, и, напр., такой прохвост и набитый бездарник приобрел настоящую славу. Кто не знает [имя] Поль Элюар и кто без почтения произносит<sup>14</sup>? И о нем самом уже диссертации пишут. Между прочим, знаете ли Вы, что в Америке обитает «сам» Давид Бурлюк, адреса не знаю — потерял. Он года три кормил меня и Ларионова роскошным завтраком. Стал комической фигурой: «апостол добра», женат на идиотке, американской богачке, которая и научила его быть апостолом. Жалко и смешно глядеть. А был молодец мужчина: как гаркнет бывало:

как я люблю беременных мужчин,  
когда они у памятника Пушкина<sup>15</sup>.

Зал хлебной биржи (3000 человек) дрожал. Вам этот Давид мог бы, м.б., пригодиться — он ведь был ближайший к Хлебникову человек. Бурлюк и снимал коммунальную квартиру кубо-футуристов (на Большой Пушкинской, если не путаю), где они вповалку спали, ели и сочиняли «Садок Судей», ценою 100 рублей, отпечатано на обоях<sup>16</sup>, обложка «под цвет Исакиевска собора» — специально ездили подбирать.

Вот нашли бы Вы в каком-нибудь этаким Вашем University чуткого к прекрасному профессора или кого там и закинули бы удочку: вот, мол, имеется безработная звезда русской поэзии и видела множество звезд на своем веку, и могла бы все это записать для потомства, и было бы (без шуток) много ценного для этого потомства, всяких деталей, которые со звездой этой помрут и сгниют в братской могиле среди олеандров и роз, где нашего брата-богадельца хоронят. Серьезно, если бы примерно так: я исписываю энное количество бумаги, отсылаю, кто-то их оплачивает, приобретая в полную собственность для будущего или как желает, а я пишу и отсылаю опять. Не было бы никакого введения в заблуждение, а я бы за небольшие денежки с жаром бы трудился. И довольно содержательно было бы: «только факты, сэр», никаких «Петербургских Зим»<sup>17</sup> и игр пером — это мне сейчас и не под силу. А вот такое, что глаза мои видели, мог бы. Послушайте, а?

Я сегодня в желчном настроении — и по простой причине: третий день нас отвратительно кормят и хочется есть. Помню,

как в сов[етском] Петербурге в 1919 году некто граф Борх, сенатор, коллекционер, архи-эстет, проживший до рев[олюции] при короткоштаных лакеях в сомптьезном\* особняке на Галерной!<sup>18</sup> и знаменитый гурман (т.е. обжора и пьяница), придя к нам в гости, рассуждал: я был дурак, многого не понимал. Я бы теперь поел — вот как: побольше свиного шпигу и на этом картошечку свеженькую, не мороженую. Что может быть вкуснее. И ел при этом конфеты собственного изделия моей сестры<sup>19</sup> из кокосового масла, добытого из геморроидальных свечек — специально где-то моя сестра их добывала и готовила конфеты — большая была сластена тоже, до войны любила уничтожить сразу фунтик марон глисе (у Гурме — 3 рубля фунт!).

Желчь моя закипела, увидев в каком-то «Life'»е или «Time'»е портрет «новелиста» Набокова, с плюгавой, но рекламной заметкой. Во-первых, грусть смотреть, во что он превратился: какой-то делегат в Лиге наций от немецкой республики. Что с ним стало [нрзб.], ну ... надутый с выраженьем на лице. Был «стройный юноша спортивного типа» (кормился преподаванием тенниса) в эпоху моей заметки, которую Ваш Струве так тактично перепечатал<sup>20</sup>. Но желчь моя играет не из-за его наружности, а из-за очередной его хамской пошлости: опять, который раз, с гордостью упоминает о выходке его папы: «продается за ненадобностью камер-юнкерский мундир». Папа был болван, это было известно всем, а сынок, подымай выше, хам и холуй, гордясь такими штуками, как эта выходка<sup>21</sup>. Вообще заметили ли Вы, как он в своей биографии, гордясь «нашими лакеями», «бриллиантами моей матери», с каким смердяковским холуйством оговаривается, что его мать не из «тех Рукавишниковых», т.е. не из семьи знаменитых купцов-миллионеров, и врет: именно «из тех»<sup>22</sup>. И история с «камер-юнкерским мундиром», которой он не перестал похвастаться, просто смешна (и гнусна). Чтоб получить придворное звание, надо было быть к нему представленным. Чтобы быть представленным, следовало иметь «руку», которая бы представляла, хлопотала и т.п. «Рука» ни с того ни [с] сего хлопотами не занималась — надо было ее просить о придворном звании. Это (т.е. такие звания) была «Высочайшая милость». Болван папа Набоков долго этого добивался. Потом, два года спустя, возомнив себя революционером, хамски объявил «за ненадобностью продается мундир», т.е. плюнул в руку, которую долго вылизывал. Так же противно, как глупо. Но что делал известный глупостью папа, — сынок — знаменитый «новелист» — в качестве

\* пышно, роскошно — от фр. *somptueux*.

рекламы подает американцам. Очень рад до сих пор, что в пресловутой рецензии назвал его смердом и кухаркиным сыном. Он и есть метафизический смерд. Неужели Вы любите его музу — от нее разит «кожным потом» душевной пошлятины.

Хорошо. Кончаю тем, с чего должен был начать, — благодарность за портрет Митурича<sup>23</sup> и за марки. Митурич набросал это в студии некоего Льва Бруни (правнука [нрзб.] Бруни)<sup>24</sup>. Это было в квартире Исакова, ректора Академии Художеств<sup>25</sup>. Этот Лев Бруни, сын хозяйки дома, писал мой грандиозный портрет (не знаю, куда делся); он, т.е. Бруни, был сыном Исаковой от первого брака. Явился во время сеанса обтрепанный молодой человек и набросал эти рисунки — мой и Мандельштама. Потом его пригласили завтракать и выяснилось, что он не владеет ножом и вилкой. Еще потом стали говорить о Митуриче, как о восходящей звезде: он и Татлин<sup>26</sup>. Я его больше не встречал. Что он женат на сестре Хлебникова — узнал от Вас. Портрет удивительно передал меня живым, хотя уши у меня никогда не торчали. Сколько с меня было намалевано портретов — это самый живой.

За марки большое спасибо. Вы, надеюсь, не думаете, что я, идиот, коллекционирую марки! Они для прислуги, которая моет мне ванну и напускает крутым кипятком — мое наслаждение. Но это очень существенно. И если еще наберете, пожалуйста, пришлите.

Посылаю Вам наши карточки<sup>27</sup> здешнего Нуёгского производства. Чтобы Вы убедились, что мы оба не ожирели, как Сирин. Вот будете писать обо мне посмертную статью и напечатайте.

Без шуток. Этот недоебыш Иваск писал мне, что Вы не прочь обо мне написать, пока я еще не подох. Очень бы хотел, серьезно. Сами знаете, обо мне все пишут всякие идиотизмы. Все, что написали бы Вы, было бы мне «лестно». Вы душка и умница, и я Вас «по воздуху» искренне полюбил. Только не думайте, что я хочу дифирамбов. По поводу, то, что думали, почему думали. Ох, слабеет моя голова от длинного, хотя и дурацкого письма.

Хотел бы также сказать, почему я Вас считаю другом, — но до следующего раза. Это и просто, и сложно, и «если надо объяснить, то не надо объяснять», — как сказал мой любимый Григорий Ляндау. Достаньте и прочтите его Афоризмы<sup>28</sup>. Стоит Паскаля или Лярошфуко. И никто этого Ляндау не помнит, а ценят другого, Марка Александровича, цена которому — ломаный грош<sup>29</sup>.

Обнимаю Вас, мой дорогой. Извините за почерк и за чепуху. Я теперь малость получше, буду Вам отвечать, если напишете «как жестока жизнь, как несчастен человек» — эпиграф Зинаиды

Гиппиус к ее статье о Брюсове. Зинаида Гиппиус была великая умница и очаровательнейшая [так! — А.А.] творение<sup>30</sup>. Все было в ее разговоре и в переписке — литература ее была слаба. У меня были ворохи ее писем, сгоревшие на нашей даче в Биаррице<sup>31</sup>, а содержание разговоров испарилось из моей ослабевшей головы. Но ручаюсь — она была необыкновенная.

Обнимаю Вас

Ваш Г.И.

Посылаю Вам одновременно простой почтой редкую группу с Гумилевым<sup>32</sup> и свою [книгу] «Отплывте на о. Цитеру». Цитера целиком написана за школьной партой «роты его Величества», т.е [в] 6-7 классах корпуса. Вышла осенью 1911 года в 200 экз., так что (хотя Вы и не библиофил) настоящая редкость<sup>33</sup>. Возраст мой тогдашний легко высчитать: род. 29 окт. 1894 г. Через месяц после отправки этой книжки в «Аполлон» получил звание члена Цеха поэтов, заочно мне присужденное. Вскоре появились очень лестные отзывы Гумилева в «Аполлоне» и Брюсова в «Русской мысли»<sup>34</sup>. И я легко и без усилий нырнул в самую гущу литературы, хотя был до черта снобичен [и] глуп. Ну, чувствуется ли «талант» или вообще «что-нибудь» в этих стихах. Очень уважите, если напишете свои откровенные соображения, мой дорогой друг. Ваш всегда Г.И.

[Заметка на отдельном листке] Была у меня книга «Совр. Записок» со статьей Кусковой<sup>35</sup> и пометками Зин. Гиппиус. Очень забавными. Помню одну: «Чего ты, дура, хочешь, куда ты, дура, гнешь». Перекликается с Розановым: перечень его доходов и капиталов (кажется, в «Опавших Листьях») — то-то заработал, отсюда-то гонорар — и в конце: «на полемике с дурой Кусковой» столько-то<sup>36</sup>.

[Приложение к снимку]

Снято в конце *апреля 1921 г.* в квартире Наппельбаума, прид[орного] фотографа, две дочки которого были Гумилевскими студистами<sup>37</sup>. У них собирався кружок таких студистов «Звучащая раковина». На карточке Н.Тихонов, которого я, своей властью, только что принял в союз поэтов<sup>38</sup>, в те дни очень скромный и льстивый. Одоевцева<sup>39</sup> на карточке у ног Гумилева, опирается на стул Гумилева. Константин Вагинов («Козлиная Песнь», гениальный поэт, вскоре умерший)<sup>40</sup>. Гумилев очень похож. Не дается коробку никому печатать в журнал [далее на полях] и т.д. напечатать<sup>41</sup>.

Ваш Г.И.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Пансионат «Прекрасное пребывание», Йер, департамент Вар. Здесь Г.И. умер 26 августа 1958.

<sup>2</sup> В 1907-1911 Г.И. учился в Петербурге во 2-м кадетском корпусе. Великий князь, внук Николая I, Константин Константинович Романов (1858-1915) — поэт, драматург, переводчик, печатавшийся с 1882 под криптонимом «К.Р.», с 1910 был ген.-инспектором военных учебных заведений России. С 1899 был также президентом Петербургской Академии наук. При нем в ней учрежден «Разряд изящной словесности».

<sup>3</sup> Г.И. несколько преувеличивает роль К.Р. в своей литературной судьбе. В журнале «Кадет-Михайловец» (1910, №7), действительно, есть его стихи, хотя начал он печататься чуть раньше в журнале с диковинным названием «Все новости литературы, искусства, техники, промышленности и гипноза» (1910, №1). Было ему тогда 15 лет. Своим литературным дебютом Г.И. считал чуть более поздние публикации в студенческом журнале «Gaudeamus» (1911, №6-9, 11), а литературным «крестным отцом» чаще всего называл Михаила Кузмина. Из известных писателей помогали становлению юного поэта также Георгий Чулков и Сергей Городецкий. О последнем, впрочем, ни одного доброго слова Г.И. в поздние годы не сказал. В письме к Маркову от 11 июня 1957 поэт называет также «ментором моей юности» барона Николая Николаевича Врангеля (1880-1915), известного издателя и имитатора русской поэзии XVIII века, сотрудника журнала «Аполлон». В связи с этим понятие становятся и перманентные стилизации под XVIII век в стихах самого Г.И. Под их знаком прошла и поэтическая юность, и поэтическая молодость Г.И. Что касается стихов К.Р., то никакого пиетета к ним он не питал, как и ко всей «водянистой» стихотворной продукции предсимволистской поры. После кратких эскапад под крылом «доктора от футуризма» Николая Кульбина и недолгих эгофутуристических самоутверждений в лагере Игоря Северянина, Грааль-Арельского и Константина Олимова Г.И. по-настоящему ощутил себя литератором в акмеистской среде. Здесь он всерьез признал наставничество Николая Гумилева. Сотрудничество в «Аполлоне» и «Гиперборее» сделало его счастливым. В тот же, что и публикуемое письмо, год Г.И. писал о «высоте» «...казавшегося мне тогда наивысшим в мире, звания постоянного сотрудника "Аполлона", заместителя Гумилева...»

<sup>4</sup> Анатолий Сергеевич *Штейгер* (1907-1944) считался едва ли не самым характерным представителем поэтов «парижской ноты», о которой Г.И. в письме Маркову от 11 июня 1957 высказался так: «...то, что /.../ так называемая "парижская нота" может быть названа примечанием к моей поэзии, мне кажется правдой». Само наименование «парижская нота» приписывается Борису Понлавскому, а ее главным теоретиком стал Георгий Адамович. Эстетика «парижской ноты» понималась как целостное мироощущение. Оно диктовало необходимость простого, без игры, взгляда на мир, соотношения этого взгляда с постижением того прискорб-

ного факта, что каждое мгновение нас осеняет одно крыло — крыло смерти. Стиль «парижской ноты» по-ивановски подчинен благородным принципам неприкрашенного изображения нагой правды и подразумевает понижение канонизированного эпохой уровня поэтичности. Как написал очень поздно оцененный Г.И. Владимир Вейдле: «Умиравшему не пристали пестрые одежды, и в комнате его не принято говорить громко. Парижские поэты исповедуются вполголоса и заботятся больше всего о чистоте». — Последние новости (Париж). 1935. 26 декабря. Определение, очень подходящее к поэзии Штейгера.

<sup>5</sup> Несколько корявое начало фразы Г.И. следует понимать, видимо, в том духе, что К.Р. уступает своему предтече в лирике Голенищеву-Кутузову, в свою очередь находящемуся в прямой зависимости от Аполлона Майкова. Граф Арсений Аркадьевич *Голенищев-Кутузов* (1848-1913) — поэт, с именем которого связана разработка в России концепции «чистого искусства». Он вел свою поэтическую родословную скорее от А.С.Пушкина, чем от А.Н.Майкова. Впрочем, находясь с последним в дружеских отношениях, испытывал и его влияние. Г.И. к «пушкинской школе» конца XIX века в молодости относился резко отрицательно.

<sup>6</sup> Лидия Давыдовна *Червинская* (1907-1988) — поэтесса, с 1921 в эмиграции, жила и умерла во Франции. По свидетельству мемуаристов, сдержанностью она, в отличие от Штейгера, не обладала вовсе. Но это тоже знак: каждый день жить как бы в последний раз. Василий Яновский пишет о ней: «Снобизм ее казался наивным и беспомощным, уживаясь, впрочем, с несомненной внутренней честностью». И в другом месте: «...эмигрантская периодическая печать в целом относилась к стихам с сугубой нежностью. От рижского "Сегодня" до "Нового русского слова" в Нью-Йорке, повсюду тщательно набирали стихи Кнорринг, Червинской, Штейгера...» (Яновский В. Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С.236, 177).

<sup>7</sup> Журнал «*Опыты*» выходил в Нью-Йорке с 1953 по 1958. Юрий Павлович *Иваск* (1907-1986) — поэт, эссеист, историк литературы, сотрудничал в нем, начиная с первого выпуска, а с №4 стал его главным редактором. В письмах к Маркову содержится целый ряд раздраженно-уничижительных реплик Г.И. по его поводу, совершенно несправедливых, вызванных ничтожными причинами (например, допущенной опечаткой в стихотворении «Перекисью водорода...» — слово «драма» вместо «дрёма» — не замеченной, кстати, и всеми последующими публикаторами. Сам Г.И., так же, как и Марков, в «Опытах» печатался достаточно часто. Добавим, что Иваску принадлежат несколько тонких суждений о лирике Г.И., в том числе превосходные замечания о знаменитом стихотворении «Хорошо, что нет Царя...» в «Опытах» (1953, №1). Отношения Г.И. с Георгием Викторовичем *Адамовичем* (1892-1972) — ближайшим другом его литературной молодости, как и Г.И., уехавшим в 1922 в эмиграцию, оказались в конце концов даже не «дружбой-враждой», обычной для людей «серебряного века», но «любовью-ненавистью». 9 декабря 1956 Г.И. писал об этом Маркову так: «Вы знаете, конечно, мы были года в очень глубокой

ссоре — а теперь помирились, вот и обмениваемся иногда вымученными комплиментами, которым грош цена. А когда-то я его очень и слепо любил». Внешним образом историю этой ссоры можно проследить по статье Г.И. «Конец Адамовича» (1950) — в ней Адамович обвиняется в «большевизанстве», непростительном, с точки зрения Г.И., — и его рецензии на книгу «Одиночество и свобода» (1955), достаточно примирительной, но о которой поэт предупреждал Маркова: «Надеюсь, Вы не думаете, что я ценю его комментарии». К *Марине Цветаевой* у Г.И. чувство было тоже амбивалентное. «Цветаеву я и люблю и не люблю, — писал он Маркову в конце июля 1957. — По-моему, она "адски" одарена, но больше занималась вздором, т.к. по свойству своей природы тоже была адской "царь-дурой". Статья Адамовича о ней вызвала во мне омерзение». «Царь-Дурой» Г.И. называет Цветаеву, перефразируя название ее поэмы-сказки «Царь-Девница». Сильно беллетризованный мемуарный очерк Г.И. о Мандельштаме «Китайские тени» (1930) вызвал резкий протест Цветаевой, оформившийся в эссе «История одного посвящения» (1931). Он был прочитан в Париже, но опубликован только в 1964. С Анатолием Штейгером у Цветаевой летом 1936 начался бурный эпистолярный роман, Штейгеру посвящены ее «Стихи сироте». Финал, как обычно у Цветаевой, был ужасающ. 16 ноября 1936 она признавалась Анне Тесковой (Штейгер был летом в швейцарском санатории, откуда и написал Цветаевой): «Я сразу ответила — отозвалась *всей собой* /.../ Мне показалось, что ему от моей устремленности — как будто — лучше, что — оживает, что — м.б. — выживет — и физически и нравственно — словом первым моим ответом на его первое письмо было: — Хотите ко мне в сыновья? — И он, всем существом: — Да. /.../ — Да. Мне поверилось, что я кому-то — как хлеб — нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пельница с окурками: не я, а Адамович и Сопр.» (Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой. СПб., 1991. С.123). Раздраженный отклик Г.И. относится к пятому номеру «Опытов» (1955), в котором напечатаны цветаевские «Письма Анатолию Штейгеру».

<sup>8</sup> Александр Алексеевич *Измайлов* (1873-1921) — литературный критик, пародист, поэт, прозаик, автор, подчеркивавший свою независимость от групп и течений. Его кредо можно передать таким его высказыванием: «Я знаю, что такое импрессионизм, но я знаю также и что такое чепуха». Особенной популярностью пользовались его пародии, собранные в книгах «Кривое зеркало» (1908) и «Осиновый кол» (1915).

<sup>9</sup> О «греческих вкусах» известных французских писателей Андре *Жида* (1869-1951) и Марселя *Пруста* (1871-1922) написано много. Их «изысканность» в этом вопросе хорошо передает фраза последнего: «Оставим хорошеньких женщин мужчинам без воображения».

<sup>10</sup> Это утверждение Г.И. говорит о его решительности и смелости больше, чем о его знакомстве с пушкинской биографией. *Никакими* свидетельствами «открытие» Г.И. о Пушкине в Арзерумских банях не подтверждается.

<sup>11</sup> Один из любимых анекдотов Г.И. В письме Маркову, отправленном 29 декабря 1955, он излагается так: «Вот, например, я Вам все пишу "Дорогой", а Вы неизменно величаете меня "Многоуважаемым". Извините, я ведь "бедный, больной старик", как писал Гончаров племяннику, просившему у него пять рублей».

<sup>12</sup> Имя Велимира *Хлебникова* в письмах Г.И. Маркову встречается постоянно: Хлебников и русский футуризм — одна из главных тем адресата как филолога. Вот изначальный постулат Г.И.: «Ваше общее отношение к сюрреализму-футуризму мне кажется обоснованным, но я считаю, что сам "председатель Земного шара" был тем, что он был: несчастным идиотиком, с вытекшими мозгами /.../ Его выдумал Маяковский для партийных надобностей...» (14 октября 1955). И все же Г.И. вполне понимал хлебниковскую притягательность. Последнее упоминание Хлебникова в письмах Маркову помещено в такой контекст: «Ремизова, м[ежду] пр[очим], я непритворно люблю и всегда любил. Это, в каком-то смысле, с молодости был мой "Хлебников" — что-то, чем и за что стоит бить морду всяческим академиям» (без даты).

<sup>13</sup> Изидор Дюкас (1846-1870) — французский поэт, издавший в прозе под псевдонимом *Граф де Лотреамон* «Песни Мальдорора» (1868-1869), произведение, полное романтического духа злой скорби и иронии. Дюкас оказал известное влияние на французский символизм, на Верлена и Рембо.

<sup>14</sup> *Поль Элюар* (1895-1952) — французский поэт, один из столпов сюрреализма, оказавшийся в конце жизни в коммунистическом лагере, в 1942 вступил во французскую компартию.

<sup>15</sup> *Давид Давидович Бурлюк* (1882-1967) — живописец, поэт, один из лидеров русского футуризма, в 1920 уехал из Дальневосточной республики в Японию, с 1922 жил и умер в США, демонстрируя, однако, вполне лояльное отношение к советской власти, печатался в СССР, одним из первых эмигрантов приезжал на родину в 1956. Жена Бурлюка — Мария Никифоровна Бурлюк (урожденная Еленевская) на «идиотку американскую богачку» никак не похожа. Вместе с мужем она издавала в 1930-1960-е журнал «Цвет и Рифма» («Colour and Rhyme»). Михаил Федорович *Ларионов* (1881-1964) — живописец, график, один из ведущих теоретиков русского авангарда. В 1915 уехал в Париж, где прожил до конца дней. Начало стихотворения Бурлюка «Плодоносящие» (Стрелец. Т.1. Пг., 1917) Г.И. цитирует не совсем точно:

Мне нравится беременный мужчина.  
Как он хорошо у памятника Пушкину...

<sup>16</sup> В 1910 будущие футуристы, еще так не именовавшиеся, напечатали в петербургском издательстве «Журавль» совместную книжку «Садок Судей», действительно, на обоях. С нее начинается печатная история русского футуризма. Название принадлежит Хлебникову, а использование обоев Давид Бурлюк объяснил так: «...под обоями у вас клопы да тараканы водились, пусть живут теперь на них молодые, юные, бодрые стихи на-

ши» (Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб., 1994. С.25). В 1913 тем же издательством был выпущен еще один сб. «Садок Судей».

<sup>17</sup> «Петербургские зимы» Г.И. (1928; второе издание, исправленное и дополненное, — 1952) даже многие искусственные читатели приняли за «мемуары». На самом деле, как признавался Г.И. Нине Берберовой, в них «...семьдесят пять процентов выдумки и двадцать пять — правды» (Берберова Н. Курсив мой. Н.-Й., 1983. С.547).

<sup>18</sup> Из живших в эти годы в Петрограде графов Борхов удалось выявить лишь одного — Бориса Николаевича *Борха*, действительного статского советника, жившего не на Галерной улице, а на Фонтанке, 18.

<sup>19</sup> Старшая сестра Г.И. Наталья Владимировна, в замужестве Мышевская. На ее деньги издан первый сборник Г.И. «Отплыть на о.Цитеру», ей посвящен первый раздел его второго сборника «Горница» (1914).

<sup>20</sup> Глеб Петрович *Струве* (1898-1985) — историк литературы, поэт, с 1918 в эмиграции. В книге «Русская литература в изгнании» (1956) он привел основные положения рецензии Г.И. «В. Сирин. "Машенька"; "Король, дама, валет"; "Защита Лужина"; "Возвращение Чорба"», напечатанной в «Числах» (1930. №1). Рецензия весьма грубая, вызванная, как понял сам Набоков, скорее личными, чем литературными соображениями. В берлинской газете «Руль» (30 октября 1929) под всем известным псевдонимом В.Сирин была напечатана аннотационного плана, но полная яда, заметка о романе Ирины Одоевцевой «Изольда»: «Знаменитый надлом нашей эпохи. Знаменитые дансинги, коктейли, косметика. Прибавить к этому знаменитый эмигрантский надрыв, и фон готов». Дальше следует нечто более принципиальное, отражающее неприятие Набоковым постулатов «парижской ноты»: «Все это написано, как говорится, "сухо", что почему-то считается большим достоинством. И "короткими фразами" — тоже, говорят, достоинство». Что же касается содержания, то рецензент с убийственной беспамятностью комментирует роман так: «Да, я еще забыл сказать, что Лиза учится в парижском лицее, где у нее есть подруга Жаклин, которая наивно рассказывает о лунных ночах и лесбийских ласках. Этот легкий налет стилизованного любострастия /.../ и некоторая "мистика" (сны об ангелах и пр.) усугубляют общее неприятное впечатление от книги». Г.И. не допускал по отношению к жене и тени непочтительности (едва ли не курьезный случай «отповеди обидчику» найдем и в письмах к Маркову. «Вы передаете привет моей "жене", — пишет Г.И. в конце декабря 1955. — С "женой" моей Вы незнакомы и никаких оснований ей, как таковой, кланяться у Вас нет. Очевидно, это в ответ на переданный поэту Маркову привет поэта Одоевцевой. И выходит, что Вы поэта Одоевцеву игнорируете, как заодно и всех эмигрантских поэтов...» Набокову Г.И. ответил особенно резким выпадом, по которому можно составить хорошее представление о его критическом методе в целом. Заключается он в том, чтобы наносить удар по самым сильным сторонам критикуемого дарования, а не по его слабостям.

Осмеянию подвергаются общепризнанные достоинства. Желательно при этом воспользоваться оружием своего обласканного предварительно противника, обратить против него самого доводы, которые тот использует против других. В таком подходе к литературной жизни есть несомненный элемент игры, игры весьма болезненной для критикуемого, которому отводится роль мышки при коте. Так вел Г.И. литературную войну с Ходасевичем, но еще беспощаднее с Набоковым. Зная, например, насколько презираема тем всяческая пошлость, Г.И. дважды подчеркивает: «"Машенька" и рассказы Сирина — пошлость не без виртуозности /.../ Стихи просто пошлы». Известные аристократические амбиции оппонента подвергаются осмеянию столь же обдуманно, сколь и намеренно неvirtуозно: «В кинематографе показывают иногда самозванца-графа, втирающегося в высшее общество. На нем безукоризненный фрак, манеры его "верх благородства", его вымышленное генеалогическое древо восходит к крестноносцам... Однако все-таки он самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд. Не всегда, кстати, такие самозванцы непременно разоблачаются, иные так и остаются "графами" на всю жизнь. Не знаю, что будет с Сириным». С Сириным, как известно, судьба обошлась ласковее, чем с Г.И. Но выпад противника он помнил всегда. Хотя печатно ответил на него лишь через десять лет, «дождавшись часа» и направив жало в любимейший самим Г.И. «Распад атома»: «...Эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров /.../ просто очень плоха. И Зинаиде Гиппиус, и Георгию Иванову, двум незаурядным поэтам, никогда, никогда не следовало бы баловаться прозой». — Современные записки (Париж). 1940. №LXX.

Напрашивается некоторое обобщение: «парижская нота», облагородив эмигрантскую поэзию, не дала чего-либо существенного в прозе, отчасти даже как-то выхолащивала ее. Можно сказать, что программа Георгия Иванова — Георгия Адамовича в поэзии восторжествовала. Зато в прозе отверженец Владислава Ходасевича Владимир Набоков взял впечатляющий реванш. Любопытно, что о предках-крестноносцах Набоков тоже не прочь обмолвиться, как и его противник Г.И. В «Других берегах» он пишет о бабушке, баронессе Корф: она «...находила прелесть в том, что в честь предка-крестноносца был будто бы назван остров Корфу» (глава 3).

<sup>21</sup> Отец писателя Владимир Дмитриевич *Набоков* (1869-1922) — юрист, один из лидеров кадетской партии, депутат 1-й Государственной думы, управляющий делами Временного правительства, погибший уже в эмиграции от руки террориста, очевидно, не заслуживает подобной аттестации. Хотя, разумеется, высота занимаемого в обществе положения ни в коем случае не является залогом высоты интеллектуальной. Эпизод с камер-юнкерским мундиром включен Набоковым-сыном в «Другие берега»: «На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира» (глава 9).

<sup>22</sup> У матери писателя Елены Ивановны Набоковой (урожд. Рукавишниковой; 1876-1939) отец был промышленником. Но сам род, действи-

тельно, купеческий. Набоков пишет об этом так: «Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы» (глава 2). Информация, косвенно подтверждающая тезис Г.И.: староверы, не отказываясь от старообрядчества, выше купеческого сословия подняться в гражданской жизни не могли.

<sup>23</sup> Петр Васильевич *Митурич* (1887-1956) — график, его портрет Г.И. (1916), экспонировавшийся на выставке «Мира искусства» и репродуцированный в «Аполлоне», поэт считал лучшим своим изображением. «Это я как живой той эпохи. Да я и остался таким», — писал Г.И. Маркову 21 мая 1957.

<sup>24</sup> Лев Александрович *Бруни* (1894-1948) принадлежит к известной семье русских живописцев, выходцев из Италии. Его прапрадед Антонио Бруни (1767-1825), а двоюродный прадед — Федор Бруни (1799-1875). Прадед Льва Бруни Константин Бруни (род. в 1801), воспитанник Горного корпуса, знакомый Пушкина. Непрочитанное слово в тексте письма логично прочитать как «пушкинского»: в царскосельском семействе Бруни Пушкин бывал в лицейские годы. В студии Льва Бруни собирались в 1914-1916 многие художники, а также Мандельштам, Хлебников, Маяковский... Сохранились два портрета Бруни знакомых Г.И., относящиеся к той поре, — Артура Лурье и Николая Клюева.

<sup>25</sup> В 1910-е «ректора» в Академии художеств не было. Были президент (вел. княгиня Мария Павловна), вице-президент (с 1905 место было вакантным) и секретарь. *Сергей Константинович Исаков*, женатый на матери Льва Бруни Анне Александровне (урожд. Соколовой), среди предков которой также известные художники Петр Соколов и Карл Брюллов, значился «хранителем музея Императорской Академии Художеств». Он жил в служебном доме Академии: Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 3, кв. 5.

<sup>26</sup> Владимир Евграфович *Татлин* (1885-1953) — художник-конструктор, автор знаменитого проекта памятника-башни III Интернационала (1920).

<sup>27</sup> Одна из этих фотографий напечатана в журнале «Русская виза» (1994. №4).

<sup>28</sup> Два изречения *Григория Адольфовича Ландау* (1877-1941) — философа, культуролога, в 1920 эмигрировавшего в Германию, затем в 1938 в Латвию (от фашистов), арестованного там НКВД в 1940 и расстрелянного в 1941, проходят лейтмотивом через эмигрантскую жизнь Г.И. Кроме приведенного в письме, поэт очень проникся еще одним:

«Бедные люди» — пример тавтологии,  
Кем это сказано? Может быть, мной.

Сказано это Ландау. Интересно, что на любви к Ландау Г.И. сходится с Набоковым (есть и другие примечательные сближения, например, активно отрицательное отношение к русской лирике конца XIX века), назвавшего Ландау в тех же «Опытах» (1957, №8) «тонким философом».

Книга Ландау, которую Г.И. имеет в виду, называется не «Афоризмы», а «Эпиграфы» (1927).

<sup>29</sup> Марк Александрович Ландау, писавший под анаграммным псевдонимом Алданов (1886-1957) — исторический романист, с 1919 живший в эмиграции, столь резких слов не удостоивался ни от своих противников, ни, конечно, от самого Г.И., писавшего в рецензии на алдановский роман «Истоки» об авторской «ледяной иронии высшей марки». Примечательно, что в анализе этого произведения заметен элемент самоанализа рецензента, пишущего, например: «Высшая же — философская — форма ума отличается от рядового тем, что презирает не только себе подобных, но и самое себя. Презрение это основано на самопознании». — Возрождение (Париж). 1950. №10.

<sup>30</sup> С Зинаидой Николаевной Гиппиус Г.И. сблизился уже в эмиграции, неизменно председательствовал на собраниях общества «Зеленая лампа» в парижском доме Мережковского—Гиппиус. Гиппиус, едва ли не единственная, развернуто и положительно откликнулась на ивановский «Распад атома»: «Я не знаю, кто из писателей мог бы с такой силой показать современное отмирание литературы, всякого искусства; его уже невозможность» (Гиппиус З. Черты любви // Круг. Париж, 1938. С.143). Некоторые мотивы поздней лирики Г.И. заметно созвучны миропониманию Гиппиус и мотивам ее стихов.

<sup>31</sup> В 1943 дом Г.И. и Ирины Одоевцевой в Биаррице был разрушен во время бомбардировок.

<sup>32</sup> Речь идет о фотографии, сделанной в квартире М.С.Наппельбаума на Невском пр., 72, где собиралась гумилевская литературная студия «Звучащая раковина». В группе из пятнадцати человек на переднем плане вместе с Гумилевым запечатлены Г.И. и Ирина Одоевцева.

<sup>33</sup> Первая книга «поэз» Г.И. вышла в петербургском издательстве эгофутуристов «Его». На титульном листе стоит 1912.

<sup>34</sup> Степень лестности рецензий Гумилева (Аполлон. 1912. №3/4) и Брюсова (Русская мысль. 1912. №7) Г.И. несколько преувеличивает. Так, Гумилев, наряду с «...безусловным вкусом даже в самых смелых попытках, неожиданностью тем и какой-то грациозной "глуповатостью" в той мере, в какой ее требовал Пушкин», отмечает: «В отношении тем Георгий Иванов всецело под влиянием М.Кузмина /.../ Но, конечно, подражание уступает оригиналу и в сложности, и в силе, и в глубине». Отзыв Брюсова еще резче.

<sup>35</sup> «Современные записки» — самое авторитетное издание русского довоенного зарубежья. На его страницах появлялись все сколько-нибудь крупные литературные имена эмиграции, независимо от их политических и эстетических пристрастий. В частности, Г.И. и Набоков, Гиппиус и Екатерина Дмитриевна Кускова-Прокопович, урожденная Есипова (1869-1958) — публицист, в 1922 высланная большевиками за границу.

<sup>36</sup> Василий Васильевич *Розанов* относится к числу любимых и сильно повлиявших на Г.И. авторов. Два «короба» «Опавших листьев» (1913-1915) пользовались особенным успехом, но в них приведенной фразы о Кусковой нет. Зато есть: «Напрасно я обижал Кускову».

<sup>37</sup> У *М.С.Наппельбаума* было четыре дочери, три из них — поэтессы. Г.И., видимо, имеет в виду Фредерику Моисеевну Наппельбаум (1902-1958), по некоторым сведениям, «любимицу» Гумилева в «Звучащей раковине», и Иду Моисеевну Наппельбаум (1900-1992).

<sup>38</sup> *Николай Семенович Тихонов* (1896-1979) — поэт. Г.И. ревниво относился к его славе автора первых в советское время баллад, отдавая пальму первенства в этом жанре Ирине Одоевцевой.

<sup>39</sup> Ирина Владимировна *Одоевцева*, настоящее имя Ираида Густавовна Гейнике (1901, по ее поздней версии 1895-1990) — поэт, прозаик, ме-муарист, вторая жена Г.И. — с 1921. В 1922 эмигрировала через Латвию, где жил ее отец (Г.И. уехал «в командировку» морем, в Германию). В 1987 Одоевцева вернулась в СССР, жила и умерла в Ленинграде. Ей посвящены все лучшие образцы собственно любовной лирики Г.И.

<sup>40</sup> Константин Константинович *Вагинов* (1899-1934) — поэт и прозаик. «Козлиная песнь» — название его первого романа (1928).

<sup>41</sup> Смысл этой корявой фразы весьма темен. Возможно, уставший и больной автор письма хочет сказать, что фотографии печатать не следует до какого-то — неясного — момента.

***ИЗ ИСТОРИИ  
РЕЛИГИОЗНЫХ  
ДВИЖЕНИЙ***



Александр Эткинд

## РУССКИЕ СЕКТЫ И СОВЕТСКИЙ КОММУНИЗМ: ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА БОНЧ-БРУЕВИЧА

Кончался четвертый год новой власти. В полях голодали крестьяне, в фортах бунтовали матросы, в столицах шли аресты интеллигенции. Те, кому принадлежала власть, искали новых союзников и, как это бывает с людьми в трудной ситуации, с особенной теплотой вспоминали старые надежды.

5 октября 1921 Народный комиссариат земледелия принял воззвание «К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей» (см. Приложение 1). Отпечатанный тиражом 50 000 экземпляров, документ был разослан по местам. Констатирующая часть, описывающая временные трудности сельского хозяйства, сочеталась с необычными предложениями в адрес некоторых религиозных меньшинств, члены которых получали привилегии по отношению к другим категориям населения. Наркомзем предлагал им землю, конфискованную у владельцев во время событий 1917-1921. В *Воззвании* говорилось:

Рабоче-Крестьянская революция сделала свое дело. /.../ Все те, кто боролся со старым миром, кто страдал от его тягот, — сектанты и старообрядцы в их числе, — все должны быть участниками в творчестве новых форм жизни. И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они ни жили на всей земле: добро пожаловать!

О черном переделе как о важнейшей цели русской революции ее деятели мечтали десятилетиями. Но если они обычно соглашались в том, у кого отбирать землю, то другая часть проблемы не получала ясного решения. Как распределять конфискованную собственность? Вопрос был важнейшим; в крестьянской стране он был равнозначен вопросу о смысле и целях революции. В очеред-

ной попытке ответить на него Наркомзем создает новый орган — Оргкомсект, или «Комиссию по заселению Совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами». В функции Оргкомсекта входил прием представителей общин, обработка их заявок и перераспределение земли в их пользу.

Чем отличались те, кто имел право на землю, от старых ее хозяев, которые такого права не имели? Объяснение было идеологическим: русские сектанты издавна живут той самой коммунистической жизнью, ради вселенского торжества которой произошла революция. Текст *Воззвания* проводил аналогию между сектантами и коммунистами в мировой истории и утверждал родство между коммунизмом Советского правительства и коммунизмом русских сект. Старое государство преследовало сектантов так же, как оно преследовало большевиков: поэтому сектанты, подобно коммунистам, ушли в конспиративное подполье или эмигрировали, продолжая везде вести жизнь, соответствующую их взглядам; а теперь их, как естественных союзников и единомышленников, поддерживает Советская, тоже коммунистическая власть. Как говорится в документе:

Мы знаем, что в России имеется много сект, приверженцы которых, согласно их учения, издавна стремятся к общинной, коммунистической жизни. /.../ Народный Комиссариат Земледелия /.../ нашел настоящее время наиболее подходящим для того, чтобы призвать к творческой земледельческой работе эти /.../ сектантские и старообрядческие массы /.../ Относясь к ним с полным доверием, /.../ Наркомзем ждет, что сектантские общины выполнят свой долг перед родиной.

*Воззвание* Наркомзема не было первым признаком особой симпатии большевистского режима к русскому сектантству<sup>1</sup>. В начале 1919 Совнарком принял Декрет об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям<sup>2</sup>. В подготовке Декрета вместе с высшим руководством большевиков участвовал Объединенный Совет религиозных общин и групп (ОСРОГ); компромисс был принят в результате личных переговоров между Лениным и

---

<sup>1</sup> О встречных ожиданиях некоторых сектантских общин после Октябрьской революции см.: Stites R. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. New York, 1989. P.121-122.

<sup>2</sup> Декреты Советской власти. Т.4. М., 1968. С.282-283. Историю этого декрета см.: Поповский М. Русские мужики рассказывают: Последователи Л.Н.Толстого в Советском Союзе. London, 1983; примечания Д.И.Зубарева, А.Б.Рогинского в кн.: Воспоминания крестьян-толстовцев: 1910-1930-е годы. М., 1989. С.465-468; Fodor A. *A Quest for a Non-Violent Russia: The Partnership of Leo Tolstoy and Vladimir Chertkov*. [Washington], 1989. P.164-172.

руководителем Объединенного Совета, лидером толстовского движения Владимиром Чертковым. Практический результат принятого тогда декрета был, однако, ничтожным; позже Бонч-Бруевич, успокаивая своих идейных противников внутри партии, признавался, что на основе этого декрета получили освобождение от военной службы всего 657 человек за 5 лет<sup>3</sup>. Однако ОСРОГУ удалось сформировать централизованную структуру, включавшую сам Совет в Москве, его экспертов и больше 100 уполномоченных на местах.

В 1919 на 7-м Всероссийском съезде Советов был делегат «от сектантов-коммунистов». Им был Иван Трегубов, бывший студент Московской духовной академии, потом один из лидеров толстовского движения<sup>4</sup>. На съезде Советов Трегубов говорил делегатам:

Мы, сектанты-коммунисты, приветствуем вас за то великое и святое дело коммунизма, /.../ которому мы также давно служим /.../ Мы желаем сотрудничать с вами в деле насаждения коммунизма /.../ Мы не будем упрекать вас, а вы не упрекайте нас за то, что вы и мы идем к коммунизму разными путями<sup>5</sup>.

В 1920 из Швейцарии вернулся другой влиятельный толстовец, Павел Бирюков, друживший с Лениным еще во время женевской эмиграции последнего<sup>6</sup>. Когда-то, двадцать с лишним лет назад, все они — Чертков, Бирюков, Трегубов и присоединившийся к ним Бонч-Бруевич — вместе вели кампанию в защиту духовборцев, которая кончилась эмиграцией сектантов и ссылкой их защитников.

---

<sup>3</sup> Приложение к стенографическому отчету о XIII съезде РКП(б): Материалы секций и комиссий. М., 1924. С.83.

<sup>4</sup> Дочь Толстого считала, что Трегубов, в отличие от других толстовцев, был склонен к мистицизму и «до конца жизни оставался убежденным христианином». — Tolstoy Alexandra. A Life of my Father. London, 1953. P.374.

<sup>5</sup> Цит. по: Трегубов Ив. Сотрудничество сектантов в советско-коммунистическом строительстве (вниманию XIII съезда РКП) // Известия. 1924. 27 мая.

<sup>6</sup> Раннюю брошюру Бирюкова о радикальном сектантстве см.: Бирюков П. Малеванцы: История одной секты // Материалы к истории русского сектантства. Вып.9 / Под ред. В.Чертова. Nants, 1905. Бывший глава издательства «Посредник» и автор основополагающей биографии Льва Толстого (Бирюков П. Лев Николаевич Толстой: Биография. Т.1, 2. М., 1911), Бирюков написал позднее любопытную книгу, в которой учение Толстого сближается с восточными религиями (Birukoff P. Tolstoi und der Orient. Zurich, 1925). По отзыву сына Толстого, Бирюков «был и есть самый умный, порядочный и дельный из всех толстовцев». — Толстой Л.Л. В Ясной Поляне: Правда об отце и его жизни. Прага, 1923. С.95.

В ноябре 1920 Бирюков и Трегубов составили проект документа (см. Приложение 2), который должен был дать привилегии русским сектантам уже не в отношении военной службы, но в экономической и политической областях. По-видимому, около года спустя именно этот текст лег в основу *Воззвания* Наркомзема. Авторы констатировали «непреодолимое препятствие в /.../ строительстве жизни на новых коммунистических началах в крестьянской массе», но знали, как его преодолеть. По их словам, крестьянство в целом «принимает Советы, но отвергает коммунию»; но среди крестьян есть «элемент, который охотно идет навстречу коммунистическим замыслам правительства». Элемент этот — сектанты. Именно они дадут пример новой жизни, который увлечет за собой инертное большинство русского народа. По мнению Бирюкова и Трегубова, сектантство — «сознательная, разумно-религиозная часть русского народа», которая «не только не сопротивляется коммуне, но сама создает коммуны и при том образцовые». Революция дала новый толчок развитию русских сект, и они вполне готовы к сотрудничеству с режимом, осуществляющим их чаяния.

Поощряемые теперь коммунистическим строем, они еще энергичнее, чем прежде, стали строить свою жизнь на коммунистических началах /.../ Естественно предполагать, что этот коммунистический элемент крестьянства станет мостом, соединяющим коммунистическое правительство с крестьянством.

1920 годом датируется отдельная *Докладная записка* Павла Бирюкова «Об издании ежемесячного журнала "Сектант-коммунист"»:

Известия, происходящие из различных местностей Российской республики, указывают на вновь возникающее серьезное коммунистическое движение среди крестьянства. По исторически сложившимся условиям жизни русского народа, движение это весьма тесно связано с сектантским движением. В земледельческие коммуны группируются: толстовцы, молокане, добролюбовцы, малеванцы, Новый Израиль, баптисты, евангелисты, трезвенники, мормоны и многие другие /.../ Во многих этих группах назрела потребность федеративного объединения вокруг одного общего центра. Разумным центром этим должна быть Москва. /.../ Слово «Коммунист» не означает, что журнал издается РКП, а лишь то, что группа читателей и издателей, основывая журнал, стремится к коммунистической, общинной жизни. Слово «Сектант» не означает основание какой-либо новой секты, а лишь то, что орган этот объединяет сознательных религиозных людей русского народа, в просторечии именуемых сектан-

тами /.../ Такой орган послужит к объединению сектантских коммунистических групп, окажет могучую поддержку в борьбе с капитализмом<sup>7</sup>.

Действительно ли Бирюков и Трегубов верили в то, что большевики своими делами осуществляют сектантские чаяния? Надежались ли они, что их сотрудничество с не вполне определившимся режимом повернет его в этом благом направлении? Был ли то лишь тактический прием, с помощью которого авторы надеялись облегчить положение толстовских и сектантских общин? В любом случае, информация Бирюкова и Трегубова могла казаться утешительной тем, кто сделал революцию во имя русского народа, а теперь чувствовал свое одиночество в кремлевских стенах. Характеризуя русских сектантов как коммунистов и оценивая их численность в 5-10 млн. человек, Бирюков и Трегубов показывали, какими огромными, тайными, дружественными ресурсами располагает Советская власть. И оценка численности сект, и характеристика их коммунистических убеждений были в равной степени преувеличенными; но в Кремле нуждались именно в такой информации, которая, будь она достоверной, оправдала бы многое.

Практические предложения Бирюкова и Трегубова не оставляют сомнения в том, что идея сектантского «моста» между правительством и крестьянством содержала в себе обдуманную программу действий, направленную одновременно на сближение правительства с сектантскими общинами и на получение последними частичной автономии, а в целом — на превращение русского сектантства в самостоятельный фактор политической жизни страны. Члены реально существовавших сектантских сельскохозяйственных общин (список их был приложен к *Записке* Бирюкова и Трегубова, но до нас, к сожалению, не дошел) должны были получить иммунитет от военной службы и от агитационных программ Наркомпроса, а также некоторые привилегии в области налогообложения. Вместе с тем, *Записка* Бирюкова и Трегубова не акцентировала ту идею, которая станет важнейшей в *Воззвании* Наркомзема — о предоставлении сектантам новых земель. Похоже, что Бирюков и Трегубов больше были озабочены сохранением реально существовавших сектантских и толстовских общин и той собственности, которая им принадлежала с дореволюционных времен. В.Д.Бонч-Бруевич, их партнер и покровитель в Советском правительстве, готов был идти много дальше. В ходе обсуждения этих предложений, занявшего около года, Наркомзем и Совнарком сделали следующий, революционный шаг: пообещали

<sup>7</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.377. Ед.хр.18.

землю не только уже существовавшим сектантским общинам, но и тем, которые еще вообще никак не «обнаружили себя». Понятно, что такое обещание на деле означало призыв к массовому формированию новых сектантских коммун.

Идя навстречу этим радикальным ожиданиям, Бирюков и Трегубов заново переработали свою *Записку*: новый ее вариант помечен 1 августа 1921<sup>8</sup>. Авторы заявляли теперь свою лояльность с большей энергией: «как по мнению правительства, так и по нашему мнению, "коммуна" есть совершеннейшая форма общественного устройства как в экономическом, так и в нравственном смысле, и "коммунист" должен быть лучшим человеком во всех отношениях». Но намерения правительства и желания крестьянства все еще не совпадают. Как же уничтожить их антагонизм?

Среди крестьян есть элемент, который готов идти навстречу коммунистическим стремлениям правительства, имея для этого психологическую предпосылку. Этот крестьянский элемент представляют прогрессивные группы сектантов-коммунистов, то есть сознательная, разумно-религиозная, коммунистически настроенная часть русского народа /.../ Имя им: духоборы, ново-израильтяне, свободные христиане, духовные христиане, всемирные братья и другие подобные течения /.../ Естественно предположить, что этот коммунистический элемент крестьянства станет мостом, соединяющим коммунистическое правительство с крестьянством, если правительство отнесется с доверием и уважением к этому наиболее готовому к восприятию коммунизма крестьянскому элементу русского народа /.../ Живой пример из той же крестьянской среды может легко увлечь и инертную массу на новые коммунистические формы жизни.

Препятствия на этом пути имеют сугубо административный характер, верят теперь последователи Толстого. «Вследствие малозначительности представителей власти на местах очень часто возникают печальные недоразумения»<sup>9</sup>. Новый вариант *Записки* Бирюкова и Трегубова содержал расширенное Заключение, включавшее, наряду с усилением прежней риторики, и некоторые прагматические аргументы:

/.../ всякий, кто знаком с миром сектантов, неизбежно приходит к выводу, что эта среда представляет повышенный культурный уровень по сравнению с рядовым крестьянством. Особенные черты, выгодно отличающие сектантов от остальных крестьян, — это их честность, трезвость и трудолюбие. Как раз

<sup>8</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.377. Ед.хр.19.

от недостатка этих качеств и страдает весь комплекс советского строительства, и потому мы особенно рекомендовали бы пригласить сектантов на те должности, где эти качества особенно ценны, как например в деле продовольствия и на другие подобные работы, не требующие насилия. Таким образом сектанты и с другой стороны, помимо чисто коммунистического влияния, могли оказать бы услугу строительству новой жизни.

Мы не скрываем, что среди сектантов есть и такие небольшие группы, преимущественно анархического направления, которые отрицательно относятся к изложенной здесь и разделяемой огромной массой сектантства идее сотрудничества с Советской властью в делах мирного характера. Но мы надеемся, что и они с течением времени также проникнутся этой идеей, если только Советская власть не будет их гнать за это, а постарается показать им возможность создания совместно с сектантами-коммунистами образца коммунистических форм жизни.

В текст были внесены и другие любопытные изменения. В частности, название предполагаемого издания, в первом варианте звучавшее как *Мирный коммунист* (что, вероятно, резало слух другим, не-мирным коммунистам), было заменено на *Сектант-коммунист*. В пункты о военной службе были внесены ссылки на декреты от 4 января 1919 и 14 декабря 1920. Из раздела III, п.4 были убраны рассуждения о нормах и излишках.

В ноябре 1921 Трегубов комментирует недавно обнаруженное *Воззвание*, стремясь расширить завоеванный плацдарм. Если верить ему, русское сектантство может внести вклад в самую трудную из проблем новой власти — ту самую, которая вызвала к жизни нэп. Именно сектанты в силах остановить стратегическое отступление большевиков. «Известия» публиковали статью Трегубова «в дискуссионном порядке»:

Идея о пользе сотрудничества сектантов с коммунистами-большевиками в деле насаждения коммунизма /.../ получила наконец и официальное признание. Но /.../ сектанты могут принести пользу коммунизму не только на почве Наркомзема, но и в других областях /.../ Самые большие препятствия коммунисты встречают в настоящее время со стороны мелкобуржуазной стихии, состоящей из миллионной массы крестьян /.../ Миллионная масса сектантства есть тоже своего рода стихия и, как таковая, она с успехом может бороться с мелкобуржуазной стихией, побеждая ее тлетворный дух собственности, эгоизма и разъединения своим животворящим духом коммунизма, братства и единения /.../ Для успеха коммунизма Советской

---

<sup>9</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.377. Ед.хр.19.

власти следует немедленно позвать себе на помощь всех сектантов-коммунистов и совместно с ними строить гигантскую и могучую коммуну, которой /.../ не будет страшна никакая буржуазная стихия, и тогда ей не придется менять своей коммунистической политики<sup>10</sup>.

К примеру, иллюстрирует свои рассуждения Трегубов, духоборы создали в Канаде «блестящую коммуну», которая с успехом выдерживает враждебный «натиск»; она — в отличие от большевистской — «нисколько не меняет /.../ своей коммунистической политики» в угоду буржуазии. Примерно того же, но в куда больших масштабах, Трегубов хочет для новой России. Он по-своему воспроизводит идею русских социал-демократов о многоукладном обществе, под их контролем постепенно преобразующемся в «полный коммунизм». По сути дела, он лишь яснее других излагает давнюю народническую фантазию об антибуржуазном союзе государственной власти с сектантскими массами:

В Советской России, как на переходной ступени к полному коммунизму, вынуждены уживаться две политики: одна — для тех, которые не изжили буржуазной, собственнической психологии, и другая — для тех, кто уже изжили ее. Первая допускает в определенных границах капиталистическое производство, /.../ а другая поощряет коммунистическое производство и распределение продуктов без торговли /.../ и денег, как у духоборов. Первое только допускается и постепенно, по мере роста коммунизма, сокращается. Другая всячески поощряется /.../ и, наконец, совсем вытесняет первую, создавая одну всеобщую мировую коммуну. И миллионы сектантов, рассеянные по всему миру, особенно много могут помочь созданию такой коммуны<sup>11</sup>.

Для этого, однако, соответствующие бумаги должны пройти через критику высшего руководства, далеко не однородного в своих чувствах к русским сектам. При подготовке *Воззвания* Наркомзема бумаги Бирюкова и Трегубова были переработаны самим В.Д.Бонч-Бруевичем; в его архиве хранятся как эти подготовительные документы, так и автограф окончательной версии *Воззвания* Наркомзема, написанный его рукой. Имея под руками *Записку* Бирюкова и Трегубова, над конечным текстом *Воззвания* работал человек, который был одновременно профессиональным историком русского сектантства и профессиональным же мастером бюрократической переписки.

<sup>10</sup> Трегубов Ив. Сектанты как строители коммунистической жизни // Известия. 1921. 15 ноября.

<sup>11</sup> Там же.

О взглядах Бонч-Бруевича во время подготовки этого *Воззвания* дает представление его рукопись «О современных сектантских группировках и о том новом, что произошло в этих массах за годы революции», подписанная 30 августа 1921<sup>12</sup>. Сектантов в России самое меньшее 6-7 млн., сообщает он здесь. Бонч-Бруевич рассказывает о секте бегунов, что их насчитывают несколько миллионов (по дореволюционной статистике их едва ли было несколько тысяч) и что они выражают желание сесть на землю и заняться коллективным трудом (то есть собираются отказаться от своего учения, которое требовало непрерывного передвижения как условия спасения). Но есть и негативные явления: на Урале, сетовал Бонч-Бруевич, были арестованы 30 раскольников-немоляк. Для объяснения текущих процессов Бонч-Бруевич противопоставлял две группы сектантов: хлыстов со всеми их ответвлениями (включая духоборов, скопцов, Новый Израиль, питерскую общину чемреков), с одной стороны, и протестантские секты, с другой стороны. Последних Бонч-Бруевич считал настроенными индивидуалистически и мелкобуржуазно; первые же, по его мнению, все имеют огромное значение для новой власти и даже готовы ради нее носить оружие. Так, новоизраильтяне принимали участие в февральской революции, а во время гражданской войны помогали красным войскам.

Новоизраильтяне, имевшие недавно свой всероссийский съезд, на котором присутствовало 300 представителей, твердо и неуклонно решили продолжать свой опыт строительства коммуны, каковыми они уже живут во многих местах, и распространять его на всю территорию России, объединяясь в артели, в колхозы.

Закавказские духоборы, сообщает Бонч-Бруевич, уже образовали 23 коммуны общим числом 6 тыс.; они стремятся переселиться в Донскую область, где к ним присоединятся духоборы из Канады. В Россию вот-вот, с первой же навигацией, вернуться сектанты-новоизраильтяне из Аргентины, причем вместе со всем имуществом и сельхозтехникой. Трезвенники уже имеют организованные коммуны в обеих столицах. «Мы, сектанты, окажем Советской власти неоцененную услугу», — цитировал Бонч-Бруевич письмо «одного из выдающихся вождей сектантов Кавказа». «Для управления всем этим надо создать особый отдел при Наркомземе», — писал Бонч-Бруевич, только что оставивший высокий пост в Совнарком<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.35. Ед.хр.29.

<sup>13</sup> Там же.

Перерабатывая текст Бiryюкова и Трегубова, Бонч-Бруевич избавил его от излишних подробностей в сельскохозяйственной части и вовсе убрал все, относившееся к службе в армии. Зато он, со своей стороны, внес в документ новые важные элементы. В частности, расширился список религиозных меньшинств, которые правительство предполагало охватить новыми привилегиями. Под пером Бонч-Бруевича этот список разделился на два. Сначала были перечислены те секты и старообрядческие согласия, которые, по мнению Бонч-Бруевича, веками существовали в русском подполье и до сих пор из него не вышли, как-то:

/.../ корабли Старого Израиля и Людей Божиих (те, кого ранее ругали хлыстами), скопцы различных оттенков, мормоны и другие, а также из старообрядцев — крайние ответвления Спасова согласия, те, кого в просторечии называют нетовцами, бегунами, скрытниками, и прочие тому подобные.

Всех их правительство призывало расконспирироваться, заявить о своем существовании и получить землю. К этому списку пока не обнаруживших себя сект был дан еще более длинный перечень тех меньшинств, которые, по сведениям Бонч-Бруевича, уже заявили о своем желании «всцело посвятить себя делу устройства общин, артелей, коллективных хозяйств, коммун и поселиться в Совхозах». Это

/.../ духоборцы, молокане всех толков, начало века, иеговисты, новоизраильтяне различных течений, штундисты, меннониты, малеванцы, еноховцы, толстовцы, добролюбовцы, свободные христиане, трезвенники, подгорновцы, некоторая часть евангельских христиан и баптистов.

В этих документах содержалось ядро личной программы Бонч-Бруевича, главная его идея, которую он разрабатывал в течение двух десятилетий своей конспиративной жизни, прикрытой маской историка-сектоведа, а потом пытался осуществлять, находясь у самой вершины власти. В глубинах России скрываются миллионы людей, готовых к иной, коммунистической жизни; этим людям, какими бы странными именами они себя ни называли, надо только позволить выйти из подполья. Тогда они построят свой, давно задуманный ими, особый русский коммунизм.

\*\*\*

Идея о том, что будущее России связано с коммунистическими настроениями радикальных религиозных сект, не принадлежа-

ла Бонч-Бруевичу<sup>14</sup>. Многие названия старых русских сект, которые перечислял он в своих списках, были популярны среди народных, начиная еще с 1860-х, когда природу их «политического протеста» впервые описал Афанасий Шапов. Среди тех или иных из этих сект пропагандировали Василий Кельсиев, Александр Михайлов, Юзов (Каблиц), Лев Дейч, Дмитрий Хилков, Виктор Чернов, Виктор Данилов, Николай Валентинов и другие деятели русского народничества. Социал-демократ Бонч-Бруевич принадлежал к этой традиции так же, как социал-революционер Алексей Пругавин, его многолетний соперник в области академического сектоведения. К этой же традиции, прошедшей сквозь поколения, принадлежали и толстовцы Бирюков и Трегубов. Планы большевиков были, как и в других случаях, лишь более радикальными.

Известен рассказ о встрече в 1890 молодого Владимира Ульянова с двумя сектантами из тех, кого так много было в Поволжье. Между собеседниками оказалось много общего: стремление «перекроить жизнь», сплотить людей «в единую братскую семью» и устроить «рай на земле». Будущий вождь реагировал с увлечением: «Эти силы необходимо объединить и направить к общей цели»<sup>15</sup>. В своих ранних работах Ленин ссылался на рост сектантства, считая его «выступлением политического протеста под религиозной оболочкой»<sup>16</sup> (фразеология, разработанная еще Шаповым). От Бонч-Бруевича Ленин требовал «всякие сведения о преследовании сектантов» и предлагал рассылать сектантам «Искру»<sup>17</sup>, что и делалось: «Сектанты охотно брали и читали революционную социалистическую литературу и распространяли ее. Отзывы о литературе были в общем весьма благоприятны»<sup>18</sup>, — докладывал Бонч-Бруевич в 1903. Разные секты участвовали в доставке «Искры» через Румынию в Россию<sup>19</sup>; весьма вероятно, что это были те «многочисленные в окрестности русские скопцы»,

---

<sup>14</sup> Если типологическое сходство между «коммунистическими» сектами эпохи Реформации и «коммунизмом» советского образца давно замечено и до сих пор интересует историков, то историческая преемственность между ними, проходящая через русские сектантство и народничество, остается неизученной. Классическое исследование «коммунистических» идей радикальной Реформации см.: Cohn N. *The Pursuit of the Millenium*. London, 1957; обзор последних данных на эту тему см.: Schribner V. *Practical Utopias: Pre-Modern Communism and the Reformation // Comparative Studies in Society and History*. 1994. V.36. №4. P.743-744.

<sup>15</sup> Беляков А.А. Юность вождя. М., 1958. С.57-60.

<sup>16</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.4. С.228.

<sup>17</sup> Письмо Ленина Бонч-Бруевичу от 27 ноября 1901 цит. по: Крывелев И.А. Ленин о религии. М., 1960. С.132, 183.

<sup>18</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Избранные сочинения. Т.1. М., 1959. С.178.

<sup>19</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Как печатались и тайно доставлялись в Россию запрещенные издания нашей партии. М., 1924. С.22-40.

с которыми в черноморском поместье Раковского общался в 1913 Троцкий<sup>20</sup>.

Секта хлыстов очень многочисленная. Эта секта тайная, и потому об ее учении очень мало было напечатано в легальной прессе сколько-нибудь правдоподобных сведений /.../ Эта секта наиболее организована, конспиративна и сильна,

— зачитывал Ленин на 2-м съезде РСДПР 1903 года доклад «Раскол и сектантство в России», написанный Бонч-Бруевичем. Учение хлыстов впитало в себя многое из «христианского коммунизма», рассказывал Бонч-Бруевич устами Ленина, а именно уничтожение частной собственности и буржуазного института семьи. В резолюции, написанной Лениным и принятой с поправками Плеханова, сектантство характеризовалось как «одно из демократических течений, направленных против существующего порядка вещей», и «внимание всех членов партии» обращалось на работу с сектантами<sup>21</sup>.

Бонч-Бруевич видел тогда русскую историю так: «из недр порабощенного народа вот уже девять веков почти беспрестанно выступают /.../ народные революционеры»<sup>22</sup>, чтобы идти «широкой, демократической дорогой к идеалу полного социального равенства и человеческой свободы»<sup>23</sup>. Контакты складывались хорошо:

Сектанты нашему товарищу очень понравились. Он ими прямо очарован и говорит, что совсем иначе представлял себе русских сектантов /.../ Они удивительно терпимы и находят, что революция в России неизбежна и чем скорее она произойдет, тем лучше /.../ Сектанты и их движение громадный плюс русскому революционному движению<sup>24</sup>.

В этом — ключ к аграрной политике партии: путь социал-демократов в деревню лежит через давно существующие там «прекрасные сектантские организации»<sup>25</sup>. Особо притягивали Бонч-Бруевича хлысты:

---

<sup>20</sup> Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1991. С.225.

<sup>21</sup> Цит. по: Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России. М., 1965. С.8.

<sup>22</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Значение сектантства для России // Жизнь (Лондон). 1902. №6. С.308.

<sup>23</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Раскол и сектантство в России // Избранные сочинения. Т.1. Указ. изд. С.184.

<sup>24</sup> Там же. С.322-323.

<sup>25</sup> Там же. С.327.

/.../ секта наиболее воинственная по своим воззрениям, наиболее сплоченная и организованная /.../ Хлыстовская тайная организация, охватившая огромные массы деревень и хуторов юга и средней части России, распространяется все сильнее и сильнее<sup>26</sup>.

Бонч-Бруевич говорил даже о сходстве тактики сектантов и социалистов. Личный друг и многолетний сотрудник Ленина искренне верил: стоит развернуться социалистической пропаганде среди сектантов — «и эта народная среда тронется, широко и глубоко, и /.../ под красным знаменем социализма будут стоять новые /.../ ряды смелых /.../ борцов за новый мир»<sup>27</sup>.

Согласно постановлению II съезда РСДРП, Бонч-Бруевич редактировал «Рассвет», пропагандистский листок для распространения среди сектантов. Газета, по-видимому, не пользовалась поддержкой со стороны партийной верхушки, и известные в партии литераторы в ней не участвовали. Бонч-Бруевич рассказывал, однако, что Ленин прочитывал все номера «Рассвета» и призывал коллег в нем сотрудничать<sup>28</sup>. «Кое-что все-таки сделано: связи среди сектантов расширяются /.../ Считаю закрытие "Рассвета" преждевременным и предлагаю продолжать опыт», — говорил Ленин на заседании Совета РСДРП в июне 1904<sup>29</sup>. Совет, тем не менее, постановил газету закрыть.

В своих многотомных «Материалах по истории сектантства и старообрядчества» — роскошном историческом издании, очевидно, пользовавшемся поддержкой необъявленных спонсоров, — Бонч-Бруевич проводил все ту же линию на смычку религиозного и политического диссидентства<sup>30</sup>. Важным для формирования взглядов Бонч-Бруевича была его встреча с Павлом Легкобытовым, вождем новохлыстовской секты чемеков, или «Начало века». Результатом ее стал объемистый 7-й том «Материалов...», вышедший в 1916; он содержит необыкновенно многочисленные, вплоть до разных квитанций, и щедро комментированные Бонч-Бруевичем документы этой маленькой общины питерских сектантов<sup>31</sup>. Архив содержит и многостраничную автобиографию Лег-

<sup>26</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Среди сектантов: Статья 2 // Жизнь (Лондон). 1902. №5. С.197-198.

<sup>27</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Среди сектантов: Статья 3 // Жизнь (Лондон). 1902. №6. С.270.

<sup>28</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Избранные сочинения. Т.1. Указ. изд. С.383.

<sup>29</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.8. С.441.

<sup>30</sup> Современниками «Материалы...» Бонч-Бруевича воспринимались прежде всего в идеологическом ключе; см. характерную рецензию: Философов Дм. Изучение русского сектантства // Русская мысль. 1910. №12. С.195-200.

<sup>31</sup> В октябре 1915, примерно в то же время, когда Бонч-Бруевич готовил к изданию свой роскошный том о чемеках, Пругавин не мог найти 2000 руб. на публи-

кобытова, собственноручно записанную с его слов Бонч-Бруевичем<sup>32</sup>; работа осталась незаконченной и потому, вероятно, не была опубликована.

\*\*\*

Сектантская община чемреков была основана в столице Алексеем Щетининым, о котором Зинаида Гиппиус писала так: «Щетинин, чемряцкий "батюшка" — да его не отличишь от Распутина. /.../ Вел он себя совершенно так же безобразно, как и Распутин»<sup>33</sup>; «Щетинин /.../ только тем от Гришки и отличается, что /.../ к царям не попал»<sup>34</sup>. Плоды деятельности Щетинина ограничились разрушением нескольких рабочих семей, сотрудничеством с охранкой и изданием неудобочитаемых брошюр; судя по последним, главными пунктами его программы были «перерождение человека» (причем мужчин и женщин отдельно и разными способами) и еще объединение под своим началом всех сектантских лидеров<sup>35</sup>. Гиппиус находила влияние Щетинина в самом неожиданном месте: «Книга Бердяева интересна лишь в смысле ее приближения к полуизуверческой секте "чемряков" — щетининцев»<sup>36</sup>, — писала Гиппиус о книге Бердяева «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Ссылался на опыт чемреков и Вячеслав Иванов. «Только у нас могла возникнуть секта, на знамени которой написано: "ты более, чем я"», — с одобрением писал философ в 1909<sup>37</sup>; сравните с этим слова Легкобытова о Щетинине в записи Пришвина: «Я убедился в том, что *ты более я* /.../ и отдался в рабство этому скверному, но мудрому человеку. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и воскреснете с нами»<sup>38</sup>. Иванову, знавшему чемреков понаслышке, они показались одним из ключей к «русской идее»; куда лучше понимавший их Пришвин за лозунгом *ты более я* видел оправдание мрачной тоталитарной утопии:

кацию записок Илиодора о Распутине, впоследствии знаменитых; см.: Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. Вып.1. Париж, 1964. С.201.

<sup>32</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.46. Ед.хр.5.

<sup>33</sup> Гиппиус З. Маленький Анин домик // Гиппиус З.Н. Живые лица: Воспоминания. Т.2. Тбилиси, 1991. С.62.

<sup>34</sup> Гиппиус З. Петербургские дневники // Там же. Т.1. С.257.

<sup>35</sup> Щетинин А.Г. Ключ тайн Завета. СПб., 1910; Щетинин А.Г. Всеобщий Собор о разрешении недоразумений между главарями сектантов и их поклонниками. СПб., 1912.

<sup>36</sup> Гиппиус З. Петербургские дневники. Указ. изд. С.272.

<sup>37</sup> Иванов Вяч. Русская идея // Иванов Вяч.И. Родное и вселенское. М., 1994. С.369.

<sup>38</sup> Пришвин М. Круглый корабль // Пришвин М.М. Собр. соч.: В 8 тт. Т.1. М., 1986. С.793.

Воскреснете! — хихикнул сатир. — Посмотрите на всех нас, как мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану варились, мы знаем не только, у кого какая рубашка, чулки, а всякую мысль, всякое желание знаем друг у друга /.../ — Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало над этими людьми. Пьяница, — узнал я подробности, — не только пользовался имуществом и заработком своих людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен<sup>39</sup>.

Пришвин сравнивал все это с «кораблем невиданной формы», который некий народный строитель решил отправить на Парижскую выставку. Круглый корабль, конечно, утонул<sup>40</sup>, а в общине чемреков произошла революция. У «чучела» Щетинина лидерство перехватил «сатир» Легкобытов. Пришвин рассказывал:

На моих глазах совершилось воскресение их. Однажды они все одновременно почувствовали, что в чучеле бога уже нет, что они своими муками достигли высшего счастья, слились все в одно существо, — и выбросили чучело, прогнали пьяницу<sup>41</sup>.

Впоследствии эту ситуацию, выразительный пример к истории мазохизма<sup>42</sup>, Пришвин готов обобщить до символа русской революции:

Помню, /.../ заинтересовались мы одной сектой «Начало века», отколовшейся от хлыстовства. /.../ Христом-царем этой секты был известный сектантский провокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. /.../ Пьяный он по телефону вызывал к себе их жен для удовлетворения своей похоти. И было им это бремя сладко, потому что им все хотелось жертвовать и страдать без конца. Так и весь народ наш русский сладко нес свою жертву и не спрашивал, какой у нас царь /.../ Мир отражается иногда в капле воды. Когда свергли не хлыстовского, а общего царя, хотелось думать, что народ русский довольно терпел, и царь отскочил, треснул /.../ так и Щетинин отскочил, когда для секты «Начало века» наступило летнее время их жизни —

вспоминал Пришвин в январе 1918<sup>43</sup>. Для него наблюдения за опытом сектантской общины были экспериментальной моделью, с по-

<sup>39</sup> Пришвин М.М. Круглый корабль. Указ. изд. С.793.

<sup>40</sup> Там же. С.794.

<sup>41</sup> Там же. С.793.

<sup>42</sup> Развернутое обсуждение гипотезы об особом средстве «русской души» с «моральным мазохизмом» см.: Rancour-Laferriere D. The Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suffering. N.-Y., 1995.

<sup>43</sup> Пришвин М.М. Дневники: 1918-1919. М., 1994. С.26-27; Щетинин в 1914 попал за решетку по обвинению в совращении несовершеннолетней. Сведения об этом есть в неопубликованных воспоминаниях Веры Жуковской, которая посещала Ще-

мощью которой понималась реальная история. И действительно, сходство было не только типологическим:

Эту секту, после провала старца-Щетинина, подобрал прохвост Бонч-Бруевич /.../ и начал обрабатывать оставшихся последователей на «божественную» социал-демократию большевистского пошиба. /.../ И чего только нет в России! Мы сами даже не знаем. Страна величайших и пугающих нелепостей,

— давая волю чувствам, записывала Гиппиус в ноябре 1916<sup>44</sup>. Пришвин в 1910 стал свидетелем беседы Бонч-Бруевича с Легкобытовым:

Прихожу на Херсонскую к Бонч-Бруевичу. Там Легкобытов. Опять религиозные разговоры.

— Суть не в изменении моего характера, а в отношении друг к другу, — говорит Легкобытов, — восстановление векового, первоначального отношения людей, /.../ не один, а семья, одно живое целое, /.../ а самое главное в семье: равенство. Нужно привести человека в совершенную пустоту и дать ему простое назначение<sup>45</sup>.

Поначалу чемрекская модель позволяла Пришвину прийти к весьма оптимистическому прогнозу:

Я был счастливым наблюдателем: на моих глазах царь и христос секты «Начало века» был свергнут своими рабами: в одно воскресенье /.../ они воскресли для новой жизни, пришли к царю своему и прогнали. Мой рассказ не сказка: /.../ в собственном доме жизнью полной коммуны, с общей детской, столовой, строгих нравственных правил, живут теперь свободные прежние рабы царя и христа А.Г.Щетинина<sup>46</sup>.

Но мирный переворот, произведенный Легкобытовым в хлыстовской общине, во всероссийском масштабе воспроизвести оказалось труднее, и Пришвин довольно скоро признал модель чемрекской революции ошибочной: «чувства мои ошибались: не до конца еще натерпелся народ, и последний час, когда деспот будет свергнут, еще не пробил — чан кипит»<sup>47</sup>.

Другой «счастливым наблюдатель» чемреков, Бонч-Бруевич, опирался на этот лабораторный эксперимент куда дольше. Можно думать, что впечатления, полученные с духоборами и особенно

тинина в тюрьме: Жуковская В.А. Живые боги людей Божьих // ОР РГБ. Ф.369. К.386. Ед.хр.18.

<sup>44</sup> Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. Указ. изд. С.272.

<sup>45</sup> Пришвин М.М. Собр. соч. Т.8. Указ. изд. С.61.

<sup>46</sup> Пришвин М.М. Дневники: 1918-1919. Указ. изд. С.27.

<sup>47</sup> Там же.

с питерскими чемреками, имели первостепенное значение для формирования политических идеалов Бонч-Бруевича. В его восприятии событий Ленин повторял успех Легкобытова: Распутин уступил Ленину в масштабах России так же, как Щетинин уступил Легкобытову в масштабах отдельно взятой общины.

\*\*\*

Бонч-Бруевич держал руку на пульсе событий в отношении самого Григория Распутина. Те, кто пытался бороться с Распутиным, обвиняли его в хлыстовстве. Архиепископ Антоний Волынский писал определенно: «Распутин — хлыст и участвует в радениях»<sup>48</sup>. Епископ Гермоген потребовал отлучить от церкви Распутина и вместе с ним больше ста русских писателей, которых он обвинял в «неохлыстовстве»<sup>49</sup>. В 1911 Николай II, уверенный в православии Распутина, поручил расследовать обвинения в принадлежности его к хлыстовской секте. Царю был представлен доклад, объемом которого он был «поражен» и обсуждать его отказался<sup>50</sup>. Дело чуть было не дошло до отставки председателя Думы и ее досрочного роспуска.

По этому поводу Бонч-Бруевич опубликовал в радикально настроенном «Современнике» резкое письмо «Како веруеши?»<sup>51</sup>, в котором свидетельствовал о строгом православии Распутина. По мнению Бонч-Бруевича, «Распутин принадлежит к типу православного крестьянина глухой деревенской России и решительно не имеет ничего общего с сектантством»; тех же, кто придерживался иного мнения, Бонч-Бруевич обвинял в намеренном запутывании вопроса ради «своих определенных целей». Таких было много; наблюдатели без особых колебаний считали Распутина выходцем из сектантских кругов<sup>52</sup>. Среди специалистов оппонен-

---

<sup>48</sup> В церковных кругах перед революцией: Из писем архиепископа Антония Волынского к митрополиту киевскому Флавиану // Красный архив. 1928. Т.6 (31). С.212.

<sup>49</sup> Пругавин А.С. Бунт против природы: О хлыстах и хлыстовщине. Вып.1. М., 1917. С.9.

<sup>50</sup> Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903-1919 гг. Париж, 1923. (М., 1992. Кн.2. С.41); освещение этих проблем с точки зрения охраны см.: Белецкий С.П. Воспоминания // Архив русской революции. Берлин, 1923. (М., 1991). Т.12. С.19-20.

<sup>51</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Како веруеши? // Современник. 1912. №3. С.356-358.

<sup>52</sup> В хлыстовстве Распутина был уверен М.А.Новоселов, пытавшийся опубликовать на эту тему брошюру «Григорий Распутин и мистическое распутство»; конфискованная в типографии, она оказалась у Бонч-Бруевича, была передана им Пругавину и хранится в его бумагах в Гуверовском Архиве: Фонд Николаевского. Оп.129. Ед.хр.1. Любопытную позицию занимал С.Н.Булгаков, «друзья» которого

том Бонч-Бруевича в этом вопросе был Алексей Пругавин, много лет исследовавший русское сектанство, а для сбора сведений о Распутине подославший к нему красивую даму<sup>53</sup>; Пругавин не сомневался в том, что имеет дело с выходцем из сектантов.

В архиве содержится интересное свидетельство о том, чем была мотивирована своеобразная позиция Бонч-Бруевича. Это черновик письма Бонч-Бруевича от 1912<sup>54</sup>, в котором содержится просьба о содействии в публикации «моей экспертизы в вопросе сектанства Григория Ефимовича Распутина-Нового», поскольку ранее автору отказали в публикации этой статьи либеральные газеты обеих столиц. Письмо адресовано некоему редактору, но какого именно издания — неясно; речь идет о статье «Како веруеши?». Бонч-Бруевич ссылается на «сущую правду, которая ему хорошо известна о Распутине в области его религиозных верований». По мнению автора, ранее Распутин сотрудничал с правыми, но теперь сменил линию; а правые круги, «видя, что Распутин ускользает, если не ускользнул уже совсем из сферы их тлетворного влияния /.../, быстро переменяли фронт и стали валить его всеми силами»<sup>55</sup>.

В своей экспертизе Бонч-Бруевич основывался на изучении печатных материалов, связанных с Распутиным, и на «семи обстоятельных беседах» с ним. Об одной из этих семи встреч между Распутиным и Бонч-Бруевичем мы знаем из интервью, которое Бонч-Бруевич дал газете «День» после первого покушения на Распутина. Читая старца убитым, Бонч-Бруевич называл покушение «трагической развязкой». «Для народушка жить нужно, о нем помыслить», — цитировал он Распутина и рассказывал о его «несомненно привлекательных чертах характера». Будущий управделами Совнаркома воспринимал нынешнего царского фаворита как «человека, на которого пал жребий идти и идти, куда-то все дальше и все выше, и представлять за "крестьянский мир честной"». Посетив Бонч-Бруевича в его кабинете, Распутин стал рассматривать висевшие портреты; один из них привлек особенное

---

вели «скрытую борьбу с Распутиным при дворе», но отказались передать имевшиеся у них материалы в Думу; см.: Булгаков С. Агония // Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С.306.

<sup>53</sup> История эта изложена в: Пругавин А.С. Леонтий Егорович и его поклонницы. М., 1916; Жуковская В.А. Мои воспоминания о Григории Ефимовиче Распутине // Российский архив. Вып.2-3. М., 1992. С.252-318.

<sup>54</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.35. Ед.хр.22.

<sup>55</sup> Ср. недавно опубликованное свидетельство о том, как А.И.Гучков специально искал встречи с Бонч-Бруевичем, чтобы выяснить эту проблему, и Бонч-Бруевич «уверенно» заявлял, что Распутин не сектант; см.: Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С.68.

внимание старца. «Вот за кем народ полками идти должен», — со свойственной ему пронизательностью говорил Распутин и просил познакомиться с оригиналом. Это был портрет Маркса<sup>56</sup>.

Русские марксисты отвечали сектантам чувствами столь же теплыми и, похоже, столь же слепыми. Во времена совместной работы с Бонч-Бруевичем в Кремле Ленин находил время на его коллекцию сектантских автографов:

Владимир Ильич очень интересовался рукописями сектантов, которые я собирал /.../ Особенно заинтересовали его философские сочинения. Как-то раз, когда он особенно углубился в их чтение /.../ сказал мне: «Как это интересно. Ведь это создал простой народ /.../ Ведь вот наши приват-доценты написали простой бездарных статей о всякой философской дребедени /.../ вот эти рукописи, созданные самим народом, имеют во сто раз большее значение, чем все их писания»<sup>57</sup>.

Теперь, в новой государственной должности, бывший сектовед и революционер продолжал реализовывать свою старую программу. Пользуясь властью, Бонч-Бруевич осуществлял то, что много лет готовил как солидный издатель многотомных «Материалов к истории русского сектантства и старообрядчества» и подпольный редактор «Рассвета». С его точки зрения, русская революция совершалась ради всех этих таинственных людей — неговцев, скрытников, чемреков и прочих, издавна живущих при коммунизме. «Не знаю, есть ли другая страна в мире, где столь развита в народе конспиративная, тайная жизнь», — писал Бонч-Бруевич в 1916 в 7-м томе своих «Материалов...»<sup>58</sup> В 1918 в партийном издательстве «Жизнь и знание» выходит его книга о канадских эмигрантах-духоборцах, в которой Бонч-Бруевич осмысляет, в свете текущего момента, свои впечатления более чем десятилетней давности. Многие духоборцы, рассказывает он, живут общинами, среди которых есть такие, которые строят свою жизнь «на принципах полного коммунизма»<sup>59</sup>. Это значит, что в общественной собственности находится не только земля и орудия производства, но и произведенный продукт. Скот у них общий, а к общественным конюшням приставлены выборные люди. Зерно сыпается в общинные склады, и каждый член общины берет себе столько, сколько надо для удовлетворения его потребностей. Есть,

<sup>56</sup> Бонч-Бруевич В. О Распутине // День. 1914. 1 июня, №176.

<sup>57</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Избранные сочинения. Т.1. Указ. изд. С.380.

<sup>58</sup> Материалы к истории русского сектантства и старообрядчества / Под ред. В.Д.Бонч-Бруевича. Т.7. СПб., 1916. С.193.

<sup>59</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Духоборцы в канадских прериях. Пг., 1918. С.207.

впрочем, и совет, который контролирует склады. Никто, кроме этого совета, не имеет права на продажу зерна; но община стремится к натуральному хозяйству и избегает любых обменов. То, что все-таки приходится покупать, раздается, по решению совета, тем, кому нужно. В таких общинах организованы совместные трапезы и такое же воспитание детей. Рассказав о том, как коммунистическая утопия осуществлена русскими людьми на канадской земле, Бонч-Бруевич признавал, что духоборческие общины «несут с собой наибольшее стеснение отдельной личности, подчас совершенное подавление ее». Уже тогда он убедился в том, что «полный коммунизм» осуществим лишь под влиянием сильно-го лидера.

Попытки коммунистической жизни у духоборцев /.../ несомненно возникают под сильным нравственным давлением их руководителя. Но эта форма жизни оказалась слишком для них высокою /.../ Чтобы сохранить эту коммунистическую форму жизни /.../ духоборцы должны все время вести сильную борьбу и со своей «плотью» и друг с другом. Они должны все время поднимать себя и не давать проявляться тем сторонам своей природы, которые на *практике* идут в явный разрез с *теорией* их жизни<sup>60</sup>.

Как видим, Бонч-Бруевич знает о трудностях, которые стерегут утопию на ее пути. Трудности эти — плоть, практика, природа; лишь сильная борьба с плотью и друг с другом помогает людям поднимать себя до собственной теории. Помогают делу и внешние тяготы; с прекращением гонений «сектантская геройская борьба» начинает ослабевать, констатирует Бонч-Бруевич. Может быть, поэтому духоборцы хотели вернуться в Россию? Такова историко-философская модель, с которой работал управделами Совнаркома.

В 1918 другой сектовед, историк и журналист Сергей Мельгунов ходил в Кремль благодарить Бонч-Бруевича за хлопоты по его освобождению из тюрьмы, а заодно просить содействия его отъезду за границу. Бонч-Бруевич встретил коллегу, «как будто ничего не произошло. /.../ Работает-де над выпусками новых томов своих материалов». Завуправделами говорил тогда будущему автору «Красного террора»: «Наша задача умиротворить ненависть. Без нас красный террор был бы ужасен /.../ Мы творим новую жизнь. Вероятно, мы погибнем. Меня расстреляют. Я пишу воспоминания... Прочитав, вы поймете нас»<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Духоборцы в канадских прериях. Указ. изд. С.232.

<sup>61</sup> Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. Указ. изд. Вып.2. С.38.

В своей высокой должности Бонч-Бруевич многого осуществить не успел. Из дел, которые связаны с его личным вкладом в формирующуюся диктатуру, мы знаем два: реквизицию банков в декабре 1917 и переезд правительства в Москву. Против обоих не возражали бы друзья Бонч-Бруевича из сектантов, а перенос российской столицы из Петрограда в прямой форме выражал их «чаяния». Но с какого-то момента, по-видимому, необычные интересы Бонч-Бруевича стали в аппарате неуместны. Ленину пришлось им пожертвовать; но, как бывает в таких случаях, вынужденное расставание не ухудшило личных отношений между ними. Позднее Бонч-Бруевич утверждал, что его отстранение от руководящей работы в 1920 было совершено Троцким против воли Ленина.

\*\*\*

Троцкий был ответственным за антирелигиозную пропаганду в Политбюро; по его собственным словам, он руководил этим делом «в партийном порядке, т.е. негласно и неофициально»<sup>62</sup>, и сразу превратил его в арену внутривнутрипартийной борьбы. Вопрос о сектах был, конечно, в центре этих глухих споров, предвестников генерального сражения. Не способный бороться с сектантской «стихией» на местах, Троцкий обрушился на нее там, где она была ему доступна, — в литературе. «Литература и революция» Троцкого полна обвинений в соучастии сектантам и в прямом «хлыстовстве»; в этих терминах Троцкий рассматривает не только Клюева, но и более сознательных «попутчиков революции». Обвинения адресованы писателям, но понятно, что автора интересует отнюдь не литературная критика.

Их завертело, и они все — имажинисты, серапионы и пр. — хлыстовствовали /.../ Подойдя к революции с мужичьего исподу и усвоив себе полухлыстовскую перспективу на события, попутчики должны испытывать тем большее разочарование, чем явственнее обнаруживается, что революция не радение<sup>63</sup>.

Так, Троцкий выявляет «двойственность» Пильняка: с одной стороны, «сектанты, которым Петроград ни к чему», с другой стороны, фабричные рабочие и большевики в кожаных куртках. Писатель пытается показать их союз, но наркому идея эта совершенно чужда. «Россия полна противоречий», — знает Троцкий и все же вполне уверен: «большевизм — продукт городской куль-

<sup>62</sup> Троцкий Л. Моя жизнь. Указ. изд. С.452.

<sup>63</sup> Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С.68.

туры)<sup>64</sup>. С этим нужно согласиться, но с важной оговоркой: таков большевизм Троцкого. Несовместимость героев «Голого года» Пильняка — сектанта Доната и большевика Архипова — ясна для Троцкого, но не для тех, кто, в глазах Троцкого, стоит за Пильняком:

/.../ если перетянет Донат, /.../ тогда конец революции и вместе с нею — России. Время рассечено на живую и мертвую половину, и надо выбирать живую. Не решается, колеблется в выборе Пильняк и для примирения приделывает большевику Архипову пугачевскую бороду. Но это уже бутафория. Мы Архипова видели: он бреется<sup>65</sup>.

Как мы хорошо знаем, брились далеко не все большевики. После отстранения от работы в аппарате Бонч-Бруевич вполне сосредоточился на своей сектоведческой миссии. 4-м апреля 1924 подписана рукопись его статьи «О работе среди сектантов и раскольников». По его словам, «лучшие статистики России» оценивали число сектантов и раскольников в 35 млн., из них 10 млн. сектантов.

Общая черта, принадлежащая всем им, — это твердая трезвость, хозяйственность, примерное, страстное трудолюбие, стремление к культуре, к новшествам в работе, к механизации труда и общему светскому просвещению и обучению молодежи.

Понятно, что столь доброжелательное описание должно стимулировать новые контакты между сектантами и большевиками. «Воздействовать на эту крайне восприимчивую среду вполне возможно», — считает Бонч-Бруевич. Для этого надо создать журнал, а также вести «практическую работу в области заселения распадающихся Совхозов сектантскими коммунарами, чего так одно время добивался Владимир Ильич». По словам Бонч-Бруевича, «многие сектантские и старообрядческие организации на своих всероссийских съездах и торжественных декларациях подтверждают свое полное признание советской рабоче-крестьянской власти»<sup>66</sup>.

Полемика разгорелась после смерти Ленина и в контексте борьбы за его наследство<sup>67</sup>. Инициатором полемики, кажется,

<sup>64</sup> Троцкий Л. Литература и революция. Указ. изд. С.74-75.

<sup>65</sup> Там же. С.75.

<sup>66</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.36. Ед.хр.8.

<sup>67</sup> О мистических аспектах культа Ленина в связи с его смертью см.: Tamarin N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge (USA), 1983.

вновь был Трегубов. «В этом милом старичке до самой смерти было, как мне кажется, что-то захватывающе юношеское», — вспоминал Трегубова один из переживших его толстовцев, И.П.Ярков<sup>68</sup>. Трегубов настаивал:

Все читающие газеты, вероятно, помнят, что два-три года назад Наркомзем обратился в газетах к сектантам с воззванием /.../ Но, конечно, мало кому известно, что это воззвание было составлено *по предложению В.И.Ленина*, прочтено и одобрено им. /.../ Очевидно, В.И.Ленин считал сектантов, несмотря на чуждую ему религиозность последних, одними из лучших сотрудников советско-коммунистической власти<sup>69</sup>.

По словам Трегубова, сектанты-коммунисты показали свои достижения на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 года и доказали свою полезность в борьбе с пороками социалистического быта — самогоном, табаком и матерщиной; это, однако, далеко не все.

Но главная заслуга сектантов с точки зрения Советской власти и коммунистической партии — это, конечно, заслуга политическая /.../ Сектанты /.../ давно уже ведут борьбу за коммунизм с царями, попами и буржуями /.../ И потому, когда началась революция /.../ и затем началось коммунистическое строительство, то они приняли живейшее участие в той и другом /.../ Главная политическая заслуга сектантов заключается в том, что многие из них давно уже стремятся к коммунистической жизни и живут коммунами, каковы: духоборцы, «общие» молокане, новоизраильтяне, свободные христиане, народные трезвенники, некоторые толстовцы и другие сектанты-коммунисты<sup>70</sup>.

Из этого реестра видно, что и Трегубов, подобно Бонч-Бруевичу, был заинтересован не столь в толстовцах, причислить которых к «сектантам-коммунистам» он мог только с оговоркой, сколько в старых русских сектах с их много раз описанными утопическими общинами<sup>71</sup>. Впрочем, по словам этого автора, «в последнее время» коммунистические устремления замечались и среди

---

<sup>68</sup> Ярков И.П. Моя жизнь: Воспоминания. Часть 5: Скитания. (Рукопись). С.362. // Гуверовский архив. Фонд М.Поповского.

<sup>69</sup> Трегубов Ив. Сотрудничество сектантов в советско-коммунистическом строительстве: Вниманию XIII съезда РКП // Известия. 1924. 27 мая.

<sup>70</sup> Там же.

<sup>71</sup> Ср. одновременную попытку толстовца Михаила Муратова переосмыслить сектантство и другие феномены народной религии (странничество и пр.) как аналог толстовского движения, стирая все догматические различия между ними: Муратов М.В. Неизвестная Россия: О народной вере и народном подвижничестве. М., 1919; Муратов М.В. Русское сектантство. М., 1919.

протестантских сект западного происхождения — евангельских христиан, баптистов, адвентистов<sup>72</sup>.

В большой статье, опубликованной в «Правде» в мае 1924<sup>73</sup>, Бонч-Бруевич увеличивает цифры и вновь повышает тон. Сектантство в СССР — «массовое, громадное, народное явление», — пишет он здесь. «Самое главное — огромные тайные сектантские общины стали было обнаруживать себя, но в виду современных нам преследований этот здоровый процесс жизни, к сожалению, приостановился». Сектантство и старообрядчество в России насчитывает до 35 миллионов; это значит, поясняет он, что «не менее трети населения всей страны принадлежит к этим группам». Из них сектантов, по его оценке, было более 10 миллионов. Таким подсчетам мешали, однако, общеизвестные различия между радикальными сектами и старообрядческими согласиями; на это вероятное возражение Бонч-Бруевич отвечал, что в последние годы старообрядцы-беспоповцы настолько изменились, что их «громадное большинство почти слилось с так называемым сектантством». По своей классовой природе сектанты — выходцы из бедноты, сельской и городской. То, что они называют Богом и его Законом, на деле суть их социально-политические требования. У духоборов, части молокан, сектантов Старого и Нового Израиля, у трезвенников он наблюдает «неизбывное тяготение не только к коллективному способу производства, но и к коммунистическим началам жизни». Поэтому сравнительное благополучие сектантов не должно вызывать беспокойства. «Смешно упрекать сектантов в том, что их хозяйство всегда и везде значительно выше окружающих их православных крестьян. Да ведь тому причиной взаимопомощь в труде, дружный коллективный подъем работы». В рукописи этой статьи были и более сильные формулы: «Живущие до сего дня в России сектанты везде и всюду выделяются своей хозяйственностью, смелой и умелой организацией, настойчивостью, трудолюбием, трезвостью, честностью, стремлением к культуре, стремлением к кооперации, к коллективному и коммунистическому образу жизни и ведения хозяйства»<sup>74</sup>. Сектантские общины, по его мнению, «готовы тотчас же поселиться в разоренные совхозы». Бонч-Бруевич приводил положитель-

---

<sup>72</sup> Трегубов Ив. Сотрудничество сектантов в советско-коммунистическом строительстве. Указ. изд.

<sup>73</sup> Бонч-Бруевич В. Возможное участие сектантов в хозяйственной жизни СССР // Правда. 1924. 15 мая. Рукопись, датированная 1 мая 1924, хранится в ОР РГБ. Ф.369. К.37. Ед.хр.10; вариант этой статьи вновь отредактирован и сокращен автором в 1940.

<sup>74</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.37. Ед.хр.10.

ные примеры таких сектантских хозяйств: коммуны трезвенников в Ленинградской области, баптистов в Тверской, новоизраильтян в Ставропольской губернии. И так, писал Бонч-Бруевич в «Правде», «сектанты в огромном большинстве — передовое население на сельскохозяйственном фронте», и не использовать их «не только странно, но и преступно». По его описанию, сектанты почти поголовно грамотны, у них господствуют чистота, целомудрие и здоровье, у них достигнуто равноправие женщин, у них нет пьянства и аборт. В рукописи сказано сильнее: «Стремлению крестьянских низов к наемному труду надо противопоставить сектантские общины».

\*\*\*

С крупнейшим в этой области ученым и лояльным к партии политиком трудно было не соглашаться. Для тех, кто в аппарате и в партии читал тексты Бонч-Бруевича, было ясно одно: в русских губерниях существуют огромные массы людей с чудными названиями, которые близки коммунистам, мечтают о коллективной жизни и готовы к сельскохозяйственному труду на обобществленной земле. В подготовленных Михаилом Калининым к очередному партийному съезду тезисах «О работе в деревне» появляется специальный пункт, призывавший партию к особому вниманию к сектантам. По мистическому совпадению, вполне отвечающему сути дела, съезд партии и пункт резолюции имели один и тот же номер — 13.

Идея, которую уже полвека вынашивали русские народники, вновь рождалась среди большевиков, поднимаясь по иерархии от Трегубова и Бонч-Бруевича до Калинина и Зиновьева. Но у этой просектантской позиции, и лично у Бонч-Бруевича, были враги. Специалист по антирелигиозной борьбе И.Скворцов-Степанов призывал в отношении 13-го пункта к осторожности. Сектантов надо рассматривать «не в свете возглавленных их далекими предками коммунистических движений, /.../ а в их реальной действительности», — писал он в «Правде». Тогда окажется, что союз большевиков с сектантами приведет к обратному результату: «к установлению и укреплению, при нашем простодушном содействии, смычки крестьянства с формирующейся деревенской буржуазией»<sup>75</sup>. Бонч-Бруевич отвечал Скворцову-Степанову с сарказмом: «Надо же, наконец, знать тот народ, которым управ-

---

<sup>75</sup> Степанов И. Тринадцатый пункт тезисов «О работе в деревне» // Правда. 1924. 25 апреля.

ляешь»<sup>76</sup>. От имени народа на XIII съезде отвечал некий С.А.Бергавинов<sup>77</sup>:

У нас налогов сектанты не платят, в армию не идут, ведут смычку с кулаком, ведут работу по втягиванию бедняцкого слоя /.../ Если мы будем оказывать сектантам внимание, мы создадим стимул к их развитию за счет бедняцких слоев, а этого мы не можем допустить.

Молодые коммунисты, за которыми стоял Троцкий, и партийные специалисты по воинствующему атеизму возражали против заигрываний с сектами. В борьбе с ними Бонч-Бруевич, опираясь на чувства старых большевиков, сформировал такой блок, что его позиция оказалась совпадающей с генеральной линией партии. Серьезная дискуссия вспыхнула на секции XIII съезда по работе в деревне, где за резолюцию ЦК в вопросе о сектах выступили Зиновьев, Луначарский и Бонч-Бруевич, а против линии ЦК — Скворцов-Степанов, Емельян Ярославский, Красиков, Буденный.

Согласно Степанову, «мы пустимся в авантюру» и будем «поощрять прозелитизм», если поддержим сектантов, как предлагает ЦК<sup>78</sup>. Буденный сказал, что специально знакомился с этим вопросом в 1922; к сектантам тогда «стали переходить очень многие, главным образом бедняки, для того чтобы не идти в армию», — говорил Буденный<sup>79</sup>. Среди сектантов «сидят хлопцы более умелые, чем наши живисты и автокефалы», — утверждал Бергавинов, имея в виду текущие расколы внутри православной церкви. Некий Иванов дополнил: «у этих сектантов недавно отобрали 40 миллионов патронов и 10 тысяч винтовок»<sup>80</sup>.

Защиту линии ЦК в этом вопросе неожиданно возглавил Зиновьев. Его аргументам не откажешь в реализме:

Мы живем в крестьянской стране, неграмотной на 70% /.../  
Тут еще надо подойти к сектантам, а ведь их минимум 10 миллионов. /.../ если бы у нас было бы такое количество кулаков, они бы нас давным-давно передушили бы /.../ У нас есть рабо-

<sup>76</sup> Бонч-Бруевич В.Д. Возможное участие сектантов в хозяйственной жизни СССР. Указ. изд.

<sup>77</sup> Тринадцатый съезд РКП(б): Стенографический отчет. М., 1924. С.497; О дискуссии по религиозным вопросам на XIII съезде см.: Luukkanen A. The Party of Unbelief: The Religious Policy of the Bolshevich Party // *Studia Historica*. (Helsinki). V.48. 1994.

<sup>78</sup> Приложение к стенографическому отчету о XIII съезде РКП(б): Материалы секций и комиссий. М., 1924. С.78.

<sup>79</sup> Там же. С.78.

<sup>80</sup> Там же. С.81.

чие, беспартийные сектанты, я лично сам с таким знаком. Он всю революцию прошел с нами /.../ Нам нужно приблизиться к ним, чтобы в деревне и через них иметь некоторую опору.

Луначарский дополнил личные воспоминания Зиновьева солидной исторической перспективой. Только для этого вопроса, близкого наркому просвещения со времен его не столь уж давнего богостроительства, он, наверное, и пришел на секцию работы в деревне. Предупреждая о «недопустимости враждебных демонстраций против русского сектантства», Луначарский характеризовал его как «зародыш реформации в России. Революция делает реформацию ненужной, но эти реформаты разбиваются на многие оттенки, из которых многие близки нам»<sup>81</sup>. Но, конечно, полнее и солиднее всех высказался на этой секции Бонч-Бруевич, который поручился и за то, что сектанты аккуратно платят налоги, и за то, что от армии им уклониться на деле крайне трудно, потому что для этого надо доказать, что и отец, и дед тоже были сектантами. Главным аргументом Бонч-Бруевича являлось, однако, старое *Воззвание* 1921 года. По его словам, «и Наркомюст, и НКВД, и НК РКИ признали в громадных сектантских массах еще в 1921 наличие элементов, которые нам содружествуют»<sup>82</sup>. На пленарном заседании съезда просектантскую позицию старой большевистской элиты поддержал авторитетный Рыков. Аргументы его воспроизводили идеи Бонч-Бруевича времен II съезда:

Сектантство наше в высшей степени разнообразно. Мы знаем, что на почве религиозного движения имели место и революционные движения, проникнутые в большой степени коллективизмом. Мы знаем сектантское движение, которое в период до-революционный иногда сотрудничало с нами /.../ Те сектантские движения, которые под духовным и религиозным соусом проводят революционные задачи, и которые иногда близки к отрицанию частной собственности, нужно использовать всячески и целиком<sup>83</sup>.

Михаил Калинин, пытаясь примирить противников, говорил в своей речи<sup>84</sup>:

История наших коммун /.../ в высшей степени интересная, единственная в мире история. Вначале, в первый революционный период, /.../ эти коммуны росли как грибы, но затем они стали разваливаться. И нужно сказать, товарищи, что нигде в истории

---

<sup>81</sup> Приложение к стенографическому отчету... Указ. изд. С.81.

<sup>82</sup> Там же. С.83.

<sup>83</sup> Тринадцатый съезд РКП(б). Указ. изд. С.591.

<sup>84</sup> Там же. С.462.

нет настолько богатого опыта /.../ Все прежние опыты Оуэна кажутся микроскопическими и смешными перед грандиозной работой, которая проделана нашими коммунами. Главная, основная их работа — это подыскание тех коллективных форм общежития, которые дали бы возможность индивидуалистические стремления человека приспособить к совместному сожительству. /.../ Большинство коммун, которые сохраняются в деревнях, все больше и больше берут на себя культурные обязанности.

Понятно, о чем говорил оратор: сектантские коммуны по-прежнему сохраняются на селе, и их великий опыт общежития надо использовать; религиозные же их «функции», надеется Калинин, под руководством Советской власти заместятся культурными. Альтернативы им в том момент всероссийский староста не видит: «Если принять во внимание убыточность Совхозов и до известной степени слабую надежду на превращение их в прибыльное государственное хозяйство, то нельзя этого сказать по отношению к коммунам»<sup>85</sup>. Идея Калинина в это время состояла в планомерном сращении интеллигентского большевизма с народной религией. Переустройство жизни пора перенести из города в деревню:

Агрономы должны участвовать в организации крестьянских праздников, которые являются существенной частью быта. Почему, например, весенний праздник, приуроченный к Троицыну дню, не сделать праздником урожая, роста хлебов и т.д.? /.../ Надо, чтобы агроном сделался красным жрецом, /.../ чтобы эти праздники сопровождалась музыкой не хуже церковной, пусть облачения, ризы, костюмы всякие придумает не хуже, чем там (смех, аплодисменты)<sup>86</sup>.

По сведениям Калинина, сектантов в России множество: «цифра настолько внушительная, что было бы смешно, если бы наша партия не учла свойственные этим 10 миллионам особенности»; и хотя в этом месте своей речи Калинин сослался на Зиновьева, источником сведений, несомненно, был Бонч-Бруевич. В итоге XIII съезд принял по этому вопросу формулы Бонч-Бруевича, авторство которых теперь приписывалось Калинину:

Особо внимательное отношение необходимо к сектантам, из которых многие подвергались жесточайшим преследованиям со стороны царизма и в среде которых замечается много активности. Умелым подходом надо добиться того, чтобы направить

<sup>85</sup> Тринадцатый съезд РКП(б). Указ. изд. С.464.

<sup>86</sup> Там же. С.472.

в русло советской работы имеющиеся среди сектантов значительные хозяйственно-культурные элементы. В виду многочисленности сектантов работа эта имеет большое значение. Задача эта должна разрешаться в зависимости от местных условий<sup>87</sup>.

Резолюция XIII съезда, подтверждая и развивая *Воззвание* 1921 года, придавала официальный статус сектантской утопии Бонч-Бруевича. Победив на время в конкурентной борьбе за власть, его индивидуальный проект на время становится частью реальной политики. Он дает историческое обоснование государственному утопизму большевиков и обещает им огромные, никем еще не использованные ресурсы. Коммунистическая революция победила в отдельно взятой России потому, что огромные сектантские массы в ней издавна жили по правилам коммунизма; и смысл текущей политики, соответственно, в том, чтобы связать официальный коммунизм верхов с подпольным коммунизмом низов.

\*\*\*

После XIII съезда история шла известным нам путем, и враги сектантской утопии, перегруппировавшись, шли в новые наступления. В справочниках по коллективному земледелию в СССР, написанных А.А.Биценко<sup>88</sup>, той самой бывшей левой эсеркой, а теперь — чиновницей Наркомзема, подпись которой стоит под *Воззванием* 1921 года, сектантские коммуны никак не выделены. В конце 1925 была опубликована резкая статья Т.Ф.Путинцева<sup>89</sup>, направленная против сектантов, а также против давнего воззвания Наркомзема и, неявным образом, против свежей резолюции XIII съезда. Бонч-Бруевич<sup>90</sup> легко отрекался от собственной риторики, чтобы потом вновь возвращаться к ней. «Бесконечные ссылки на Владимира Ильича, помахивание этим документом производят отвратительное впечатление», — говорил Бонч-Бруевич на обсуждении статьи Путинцева по поводу *Воззвания*, обвиняя в этих грехах присутствующего Трегубова. В новой версии Бонч-Бруевича история *Воззвания* была такой:

---

<sup>87</sup> Тринадцатый съезд РКП(б). Указ. изд. С.679 (пункт 17 главы IX «О работе в деревне»).

<sup>88</sup> Сельскохозяйственные коммуны / Под ред. А.Биценко. М., 1924; Биценко А. Хрестоматия-справочник по истории коллективного земледелия в СССР за годы 1918-1924. М., 1925.

<sup>89</sup> Безбожник. 1925. 13 декабря. №50.

<sup>90</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.36. Ед.хр.2.

Владимир Ильич обратил внимание на сектантский творческий элемент и он позвонил в Наркомзем и просил обратить внимание на сектантов. В это время приехали с просьбой переселиться духоборы, молокане, новые израильтяне. И так как это был факт жизненный, то он обратил внимание на это и предложил Наркомзему, чтобы была составлена комиссия. В эту комиссию я был призван, я в Наркомземе не работал. И вот создалась комиссия и было написано воззвание, которое не принадлежит мне. Я знаю лично, и своими глазами видел, что это воззвание дано было на прочтение Ленину, который одобрил его и передал на визу Осинскому.

Со своей стороны в дискуссии продолжал участвовать и Иван Трегубов. В неопубликованной статье 1924 года «Ленин и сектанты»<sup>91</sup> Трегубов напоминал:

/.../ воззвание потом было почти забыто, а между тем оно имеет громадное значение не только для устройства образцовых колхозов, но и как один из заветов Владимира Ильича, обязательность которых усугубилась после его смерти /.../ Вообще «новый быт», о котором мечтает т.Троцкий, среди сектантов давно уже осуществляется,

— развивал Трегубов свои рассуждения; любопытна здесь ироническая ссылка на Троцкого, главного противника сектантских увлечений среди большевиков. Трегубов продолжал:

Из всего этого видно, что вопрос о привлечении сектантов, исчисляемых миллионами, к сотрудничеству с советско-коммунистическим работниками, возбужденный мною в печати еще в 1919 году и в свою очередь поднятый Владимиром Ильичем в 1921 году, заслуживает особенного внимания, беспристрастного обсуждения и разрешения в самом широком масштабе.

Само собой разумеется, что и без такого привлечения сектанты по-прежнему будут служить исповедуемому ими коммунизму, но если бы такое привлечение состоялось, то дело коммунистического строительства пошло бы еще успешнее /.../. Недаром уже в настоящее время за границей в протестантских странах, изобилующих сектантами и самих по себе почти сектантских, коммунизм развивается успешнее, нежели в странах католических. Напротив, в католических странах, в которых почти не имеется сектантов, часто с большим успехом развивается фашизм — заклятый враг коммунизма.

Не очень верный исторический прогноз сочетался с явной политической ошибкой. Бонч-Бруевич знает, что секрет аппарат-

---

<sup>91</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.409. Ед.хр.5.

ной игры в том, чтобы вовремя отдать авторство шефу; Трегубов же продолжает напоминать о своем приоритете перед Лениным. Вопрос о сотрудничестве коммунистов с сектантами, пишет Трегубов в «Известиях», «возбуждался мною в печати еще в 1919 г. и в свою очередь поднимался В.И.Лениным в 1921»<sup>92</sup>. В своей неопубликованной статье «О том, как создавался декрет "К сектантам и старообрядцам, живущим в России и за границей"» (1933)<sup>93</sup> Бонч-Бруевич всю инициативу по этому шекотливому делу вновь отдавал Ленину.

Для большевика Бонч-Бруевич был на редкость последователен. В 1933, как и в 1924, и в 1903, именно в сектантах видел он ключ к политике партии. 26 июня 1945 Бонч-Бруевич вновь обратился к воспоминаниям о давнем *Воззвании* Наркомзема. По собственной ли воле он вдавался в эти объяснения или же кто-то у него об этом вновь спросил — неизвестно. Теперь его версия была такой:

В 1921 г., когда Владимир Ильич особенно усиленно был занят /.../ устройством коллективных хозяйств в национализированных помещичьих имениях, он совершенно самостоятельно обратил внимание на сектантские и старообрядческие общины.

Ленин затребовал сведения через Наркомзем и Наркомат внутренних дел, но там сведений не было, и из обоих мест обратились к Бонч-Бруевичу. Тот сообщил об этом по телефону Ленину. Последний, по словам Бонч-Бруевича,

выразил живейшую радость, что ко мне обратились официально /.../ Я совсем недавно должен был покинуть должность управляющего делами Совнаркома, благодаря невероятной и подлой интриге, которую повели противники — Троцкий, Крестинский, Каменев и их политические друзья.

Согласно новой версии Бонч-Бруевича, при обыске в Госбанке в 1920 он обнаружил золото, припрятанное там Крестинским; в результате против него проголосовали в Оргбюро, так что ему, Бонч-Бруевичу, пришлось уйти против воли Ленина. Все его враги теперь именуется диверсантами, двурушниками и пособниками Гитлера. Итак, узнав от своего недавнего начальника канцелярии, что к тому «обратились официально», Ленин поручил Бонч-Бруевичу доложить ему вопрос о сектантах. Доклад состоялся в конце сентября 1921 в кабинете Ленина; на нем были Дзержин-

<sup>92</sup> Трегубов Ив. Сотрудничество сектантов в советско-коммунистическом строительстве. Указ. изд.

<sup>93</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.37. Ед.хр.2.

ский, нарком юстиции Красиков, нарком земледелия Осинский, его сотрудники Михайлов и Чесунов, член коллегии Главсовхоза Биценко. После доклада возражал Красиков, но его резко оборвал Ленин, сказав: «мы не будем заниматься сектантоедством». В итоге Ленин предложил Бонч-Бруевичу возглавить комиссию по составлению *Воззвания*. В составленный текст Ленин внес несколько поправок и предложил обсудить его с Осинским; тот, внимательно прочтя, распорядился печатать 50 000 экземпляров. *Воззвание* было широко распространено, и уже стали поступать просьбы сектантов о переселении и заявки о возвращении в Россию. «Все указывало на то, что дело должно было хорошо идти и широко развернуться /.../ Однако вся эта весьма плодотворная агитация вскоре должна была круто приостановиться». Сначала Красиков стал возбуждать вопрос о влиянии сектантов на население; Ленин отвечал решительной поддержкой Бонч-Бруевича. Потом стали говорить о политической неблагонадежности сектантов. Начались аресты сектантов, слухи о которых дошли до Америки. Более того, те духоборы, которые вернулись на Украину, после столкновения с местными властями вновь уехали в Канаду, привезя туда недобрые вести. Поэтому переселение прекратилось. Враги сектантов скоро обнаружили себя как враги народа. С наказанием этих вредителей прекратились и преследования сектантов. Но замечательная мысль Владимира Ильича осталась до сих пор неосуществленной», — так заканчивал Бонч-Бруевич эту историю<sup>94</sup>.

\*\*\*

Кажется, однако, что важная попытка осуществить эту «замечательную мысль» все же состоялась. После ухода из аппарата Бонч-Бруевич, используя свои связи как в правительстве, так и среди сектантов, организовал под Москвой образцовый совхоз «Лесные поляны». Здесь, недалеко от подмосковных Горок, где прошли последние месяцы жизни вождя, и осуществился план передачи земли от помещиков сектантам. Согласно позднейшему рассказу Бонч-Бруевича, идея «Лесных полян» пришла Ленину в голову во время их совместной прогулки, когда Бонч еще управлял делами Совнаркома. Вокруг были «соседние имения маленькие», которые конфисковывались; к ним прибавлялась государственная земля. В ответ на ленинское предложение основать на этом месте образцовый совхоз Бонч отвечал немедленно: «я предполагаю все строить на лучших кадрах, для чего пригласить луч-

<sup>94</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.36. Ед.хр.3.

ших специалистов. Я и сам понимаю это дело, поэтому уверен — все будет идти своим порядком»<sup>95</sup>.

Архив доносит до нас более ценные подробности. По словам Бонч-Бруевича, в «Лесные поляны» пошли работать «давно известные мне сектанты "Начала века"», те самые чемреки. Работали они «прекрасно», и поэтому ими, по словам Бонч-Бруевича, интересовался Ленин<sup>96</sup>. Так мы узнаем то, что Бонч-Бруевич шифровал в своих публиковавшихся воспоминаниях под формулами «лучшие кадры» и «дело», в котором он, Бонч-Бруевич, понимал.

Лидером чемреков по-прежнему был Павел Легкобытов. В конце 1900-х Легкобытов бывал на собраниях Религиозно-философского общества, где, по наблюдениям Пришвина, «все признавали его необыкновенным существом, даже гениальным, демоническим»<sup>97</sup>, а Мережковский опознал в нем антихриста<sup>98</sup>. Собрания собственной общины Легкобытова посещали Блок и Сологуб, Ремизов и Пришвин<sup>99</sup>. Вождь чемреков так говорил петербургским интеллигентам:

Жизнь наша — чан кипящий, мы варимся в этом чану, у нас нет ничего своего отдельного /.../ Бросьтесь к нам в чан, умрите с нами, и мы вас воскресим. Вы воскреснете вождями народа<sup>100</sup>.

Блок, однако, отказался броситься «в чан», спрашивая: «А моя личность?»<sup>101</sup>; Пришвин оценивал тогда требование хлыста как непонимание «всей сложности души современного человека»<sup>102</sup>, а впоследствии именно в этих терминах интерпретировал энтузиазм Блока по поводу большевистской революции:

---

<sup>95</sup> Бонч-Бруевич В. Ленин и совхоз «Лесные поляны». М., 1957; Бонч-Бруевич В. Как организовывался совхоз «Лесные поляны» // Его же. Собр. соч.: Т.3. М., 1962. С.330; сектанты здесь, конечно, не упоминаются.

<sup>96</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.36. Ед.хр.3.

<sup>97</sup> Пришвин М. Собр. соч. Указ. изд. Т.1. С.793. Фигура Легкобытова настолько увлекла Пришвина, что он начал писать о нем повесть «Начало века»; история чемреков пересекалась здесь с историей РФО, Щетинин должен был соответствовать Розанову, а Легкобытов — Мережковскому. Планы и черновые наброски «Начала века» хранятся в: Архив В.Д.Пришвиной (Москва). Картон 61. Пришвин возвращался к воспоминаниям о Легкобытове и о его отношениях с Блоком до конца жизни; ср. дневниковую запись от 31 января 1953 в: Блок в дневнике Пришвина и найденное письмо Блока Пришвину / Публ. В.В.Круглеевской, Л.А.Рязановой // Литературное наследство. Т.92. Кн.4. М., 1987. С.329.

<sup>98</sup> Недатированная запись Пришвина // Архив В.Д.Пришвиной (Москва). Картон 61. С.1.

<sup>99</sup> Пришвин М.М. Собр. соч. Т.8. Указ. изд. С.38.

<sup>100</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1918-1919. Указ. изд. С.26.

<sup>101</sup> Пришвина В.Д. Путь к слову. М., 1984. С.188.

<sup>102</sup> Пришвин М. Круглый корабль // Собр. соч. Т.1. Указ. изд. С.793 (впервые: Русские ведомости. 1911. 1 января).

Мы в одно время с Блоком когда-то подходили к хлыстам, я — как любопытный, он — как скучающий /.../ Хлысты говорили: «Наш чан кипит, бросьтесь в чан, умрите и воскреснете вождем» /.../ Чан кипит и будет кипеть до конца. Идите же, кто близок этой стихии, танцевать на ее бал-маскарад, а кому это противно — сидите в тюрьме. Только не подходите к чану с барским чувством: подумать и, если что... броситься в чан. С чувством кающегося барина подходит на самый край этого чана Александр Блок и приглашает нас, интеллигентов, слушать музыку революции /.../ Как можно сказать так легкомысленно, разве не видит Блок, что для слияния с тем, что он называет «пролетариатом», нужно последнее отдать, наше Слово<sup>103</sup>.

По мнению Пришвина, Легкобытов презирал культуру и верил «в какого-то своего бога здесь, на земле, страшного, черного», и по сравнению с его верой деятеля Религиозно-философского общества казались «малюсенькими пылинками»<sup>104</sup>; а когда они отказались «броситься в чан», Легкобытов не очень переживал: «Шалуны! — сказал сатир и куда-то исчез»<sup>105</sup>.

Архив рассказывает о том, кто бросился в хлыстовский чан, и куда исчез Легкобытов. «Удостоверение о служебной деятельности Легкобытова» датировано 10 июля 1927<sup>106</sup> и подписано Бонч-Бруевичем в качестве директора треста «Лесные поляны»:

Легкобытов работал под руководством Бонч-Бруевича в петербургском издательстве «Жизнь и знание», принадлежащем РСДРП; в 1918 переехал вместе с издательством в Москву; издательство было преобразовано в «Коммунист», где Легкобытов работал до 1920 в качестве кассира и агента. С 1921 Легкобытов работал под руководством Бонч-Бруевича в сельскохозяйственном тресте «Лесные поляны» (ст. Болшево) в качестве кассира.

За годы своих занятий сектами Бонч-Бруевич знал разных сектантов — от духоборов, корабль с которыми он сопровождал в Канаду, до Распутина, которого принимал в своем кабинете. Но длительно, годами он мог общаться только с Легкобытовым. В качестве вероятной гипотезы можно предполагать, что именно сведения, полученные от Легкобытова, и сама его личность стоят за вдохновенными строками Бонч-Бруевича о русском сектантстве и его лидерах. Это Бонч-Бруевич согласился на призыв Легкобы-

<sup>103</sup> Пришвин М. Большевик из Балаганчика (ответ Александру Блоку) // Воля страны. 1918. 3(16) февраля. №16.

<sup>104</sup> Там же.

<sup>105</sup> Пришвин М. Собр. соч. Т.1. Указ. изд. С.793.

<sup>106</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.168. Ед.хр.55.

това: «Бросьтесь к нам в чан, и вы воскреснете вождями народа». В отличие от Блока, Бонч не спрашивал Легкобытова с сожалением: «А как же моя личность?»

В той мере, в какой Бонч-Бруевича, человека ищущего и терявшегося в темноте русской истории, можно уподобить Фаусту — Легкобытов был его Мефистофелем. Профессиональным искусством сектантских лидеров было формирование именно таких психологических зависимостей, на которых, собственно, и держалась община. Но в отношениях Легкобытова и Бонч-Бруевича первостепенное значение имела и собственно идеологическая сторона дела. Отношения с лидером чемреков позволяли поддерживать старую веру в народническую утопию, что в условиях победившей при участии Бонч-Бруевича диктатуры было делом сложным.

У женевских эмигрантов в 1910-х был термин «бончить»; это значило строить грандиозные планы<sup>107</sup>. Один из них писал о Бонч-Бруевиче:

Не нужно было только всерьез брать его иногда слишком фантастических и утопических узоров мысли /.../ Но на известный, вполне достойный процент осуществления его утопических планов всегда можно было рассчитывать<sup>108</sup>.

Подмосковный совхоз «Лесные поляны», созданный директором Бонч-Бруевичем и кассиром Легкобытовым, осуществил решения XIII съезда ВКП(б) по вопросу о сектантах, а заодно и стал единственным реализованным образцом великой мечты русского народничества. На рубеже 1920-х Бонч-Бруевич оказывается в уникальной роли посредника между двумя коммунистическими утопиями, сектантской и большевистской, и между двумя утопическими лидерами, Легкобытовым и Лениным. Многолетний свидетель этого союза, Михаил Пришвин записывал в декабре 1919 с раздражением:

Государственная коммуна в государстве, где народ считает издавна власть государства делом антихриста. Между тем религиозная коммуна считается в обществе высшим идеалом. Я хотел показать, как этот советский бык Бонч пытается перекинуть мост через бездонную пропасть этих двух коммун<sup>109</sup>.

Последний раз мы встречаемся с Легкобытовым в письме, направленном ему Бонч-Бруевичем 5 июля 1935 в Теплый хутор

<sup>107</sup> Демиденко Г.Г. Дел у революции немало: Очерк жизни и деятельности В.Д.Бонч-Бруевича. М., 1976. С.59.

<sup>108</sup> Лепешинский П. На повороте. М., 1955. С.222.

<sup>109</sup> Пришвин М.М. Дневники. 1918-1919. Указ. изд. С.333.

Лабинского района Азово-Черноморского края. В качестве директора Литературного музея Бонч-Бруевич предлагал Легкобытову продать имеющиеся у него письма. Из этого ясно, что интуиция и в этот раз помогла Легкобытову вовремя сменить Лесные поляны на Теплый хутор. Впрочем, и сам Бонч-Бруевич мирно закончил свои дни директором Музея истории религии и атеизма. Павел Бирюков в середине двадцатых годов вернулся в Канаду и скончался в 1931 в Швейцарии. Судьба Ивана Трегубова сложилась иначе.

О его смерти, наступившей в конце июля 1931 года, Бонч-Бруевич рассказывает в неопубликованной записке (1946)<sup>110</sup>:

Было получено известие, что И.М.Трегубов, не имея с собой никаких вещей, был отправлен в глубь Казахстана этапом на верблюдах. Это необычное для него путешествие он переносил с великим страданием. Он сильно ослаб от тряски, сидя на верблюде на неприспособленном мешке с сеном. Отчасти от этой тряски, вызывавшей огромное утомление, и более всего от сырой плохой, несомненно зараженной воды, он заболел страшной дизентерией, так что ничего не мог есть. Медицинского ухода за ним не было никакого. Он часто терял сознание, находясь привязанным на верблюде. На одной из остановок на ночь он, покинутый всеми, скончался. Наутро, когда нашли его мертвым, погонщики и стражники, сопровождавшие караван, закопали его в песок недалеко от дороги. Где находится его безвестная могила — никто не знает.

#### *ПРИЛОЖЕНИЕ I<sup>111</sup>*

РСФСР  
Наркомзем  
Главсовхозхоз  
Комиссия по заселению Совхозов,  
свободных земель и бывших имений  
сектантами и старообрядцами

Москва  
Ильинские ворота,  
Старая площадь,  
Боярский двор

К сектантам и старообрядцам,  
живущим в России и за границей

Октябрьская революция, произведенная руками объединившихся рабочих и крестьян, дала полную возможность всем же-

<sup>110</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.47. Ед.хр.156. С.10.

<sup>111</sup> Там же. К.36. Ед.хр.1; тут же автограф рукой Бонч-Бруевича. В несколько измененном виде и с подзаголовком «Из воззвания комиссии по заселению свободных земель сектантами и старообрядцами»: Известия. 1921. 19 октября.

лающим трудящимся приложить свой труд и свои знания к земле. Много веков утесненные помещиками крестьяне сильно увеличили свои наделы и стали распахивать не только все свои земли, но и земли, отошедшие к ним. Однако в нашей обширной стране, имеющей население не соответственно малое к ее пространству, нашлось много пустующих земель, никем не занятых. Эти земли остались за государством и частью отошли под Советские хозяйства, а частью пустуют и до сего времени. Кроме того, после гражданской войны, образовался значительный фонд свободных земель, брошенных на произвол судьбы белогвардейцами. И эти земли также отошли в распоряжение государства.

Советские хозяйства во многих случаях развивались за истекшие тяжелые годы нашей жизни, в силу различных причин, не достаточно хорошо. Одной из главнейших причин было, несомненно, то, что в советских хозяйствах не успел образоваться постоянный кадр рабочих, живущих в Совхозах и смотрящих на советское хозяйство, как на свое хозяйство, где придется жить и трудиться постоянно, может быть, до самой смерти. Многие, наоборот, смотрят на совхозы, как на тихую пристань, где можно временно перебедровать, оглядеться и уйти оттуда, как только появятся свои личные обстоятельства. Создать в Совхозах постоянно живущих работников, стремящихся из всех сил поднять производительность Совхоза и сократить издержки производства, — вот, несомненно, задача наших дней в деле оздоровления Совхозов.

Помимо Совхозов в России до сего времени имеется много пустопорожней земли, которую необходимо как можно скорей заселить земледельцами, дабы увеличить площадь распаханной земли и количество выработанного в России хлеба.

При настоящих условиях жизни нашей страны единоличное хозяйство очень затруднительно, особенно при переселении на новые места.

Сектанты и старообрядцы России, принадлежащие по большей части к крестьянскому населению, имеют за собой нередко многовековой опыт общинной жизни. Мы знаем, что в России имеется много сект, приверженцы которых, согласно их учения, издавна стремятся к общинной, коммунистической жизни. Обыкновенно кладут они в основу этого стремления слова, взятые из «Деяний апостолов»: «и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Многие сектанты строго проводили эти заветы в жизнь и жили общинами, коммунами. Все правительства, все власти, все законы во всем мире, во все времена, всегда шли против такой жизни, и сектантов за это во всех странах, в том числе и в России, жгли на кострах, убивали, му-

чили, гноили в тюрьмах, разрывали их общины и рассылали в ссылки по разным углам земли и всячески преследовали, но они оставались твердыми в своих убеждениях и, умирая, завещали своим братьям продолжать ту же борьбу, ту же общинную жизнь.

Волей-неволей сектантам приходилось скрываться, и устройство их общин очень часто должно было оставаться тайным. Принадлежа по преимуществу к беднейшему классу населения, сектанты в этих общинах находили всю отраду своей жизни, в них теплилась вся надежда на лучшее будущее.

И вот теперь настало время, когда все сектанты, какого бы вероисповедания они ни были, даже самые скрытные из них, до сего времени боящиеся себя обнаружить, как, например, корабли Старого Израиля и Людей Божиих (те, кого ранее ругали хлыстами), скопцы различных оттенков, мормоны и другие, а также из старообрядцев — крайние ответвления Спасова согласия, те, кого в просторечии называют нетовцами, бегунами, скрытниками и прочие тому подобные, решительно все могли себя вполне спокойно обнаружить и твердо знать, что за их учение никто, никогда, никого не будет преследовать.

Рабоче-крестьянская Советская власть обнародовала действительную свободу совести и совершенно не вмешивается в дела религиозного мировоззрения, предоставляя каждому полную свободу веры и неверия.

Как вышеперечисленные, так и многие другие, уже обнаружившие себя, сектантские общины, как-то: духоборцы, молокане всех толков, начало века, иеговисты, новоизраильтяне различных течений, штундисты, менониты, малеванцы, еноховцы, толстовцы, добролюбовцы, свободные христиане, трезвенники, подгорновцы, некоторая часть евангельских христиан и баптистов и многие другие, открыто заявляют, что они по самому смыслу своего учения, своего мировоззрения, всем своим заветным мечтам и общественным стремлениям, желают всецело посвятить себя делу устройства общин, артелей, коллективных хозяйств, коммун и поселиться в Совхозах по особым договорам в качестве постоянно живущей государственной рабочей силы и заняться там, при осуществлении всех видов этого общежития, хлебным трудом, приложив свои силы ко всем отраслям земледелия.

Народный Комиссариат Земледелия, зорко присматриваясь к этим народным группировкам и внимательно прислушиваясь к голосу совести этих народных масс, нашел настоящее время наиболее подходящим для того, чтобы призвать к творческой земледельческой работе эти народные по преимуществу крестьянские и ремесленные так называемые сектантские и старообряд-

ческие массы, уже организованные в свои общины, прекрасно друг друга знающие, слитные и объединенные каждое в своем течении единым стремлением, зарекомендовавшие себя выдающейся трудоспособностью, честностью, исполнительностью, прямотой и искренностью. Относясь к ним с полным доверием и давая сектантам и старообрядцам возможность осуществить давнишние их мечты — сесть на землю, собравшись в крупные общины со всех концов света, Наркомзем ждет, что сектантские общины выполнят свой долг перед родиной и на доверие ответят примерным трудолюбием, постановкой образцовых хозяйств, поднятием уровня сельскохозяйственного производства на должную большую высоту.

Впервые за все время существования России сектантам всех направлений и недавно еще гонимым старообрядческим согласиям, ушедшим достаточно далеко от только что господствовавшей и их угнетавшей государственной православной церкви, предоставлена полная возможность широкого объединения на трудовой почве в сельском хозяйстве, решительно во всех его отраслях.

Рабоче-Крестьянская революция сделала свое дело. Она могучей рукой и железной волей расшатала устои старого общества, старого мира, ниспровергнув его, чтобы при его гибели воздвигнуть новую цветущую, свободную жизнь. Все те, кто боролся со старым миром, кто страдал от его тягот, — сектанты и старообрядцы в их числе, — все должны быть участниками в творчестве новых форм жизни.

И мы говорим сектантам и старообрядцам, где бы они ни жили на всей земле: добро пожаловать! Идите и дружно беритесь за работу и творческий радостный труд.

Несомненно, в этом деле предстоит большое передвижение масс сектантского и старообрядческого населения. Придется потратить много сил и времени для устройства их на новых местах. Для этой большой работы создана Народным Комиссариатом Земледелия при Главсовхозхозе особая Комиссия, которая называется:

*«Комиссией по заселению Совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами»* — сокращенно: **ОРГКОМСЕКТ**.

Все сектанты и старообрядцы, желающие поселиться на свободных землях, в бывших имениях или Совхозах, приглашаются немедленно уведомить об этом комиссию. Для этого нужно или выслать уполномоченного со всеми письменными сведениями, как-то: какой секты или согласия, сколько душ желают сесть на землю или соединиться вместе, в одну общину, чем занимались

раньше, какой имеют инвентарь, каким родом хозяйства хотят заняться, какая нужна помощь, присмотрели ли землю или нет и все тому подобные сведения. Кроме того, необходимо привести с собой примерный договор между общиной и Наркомземом.

Если же почему-либо ходяков послать не могут, то все это надо переслать по почте *заказным письмом* по адресу комиссии: *Москва, Наркомзем, Ильинские ворота, Старая площадь, Боярский двор, ОРГКОМСЕКТ.*

К этой деятельности надо приступить немедленно, дабы за зиму успеть подготовиться к весенней обработке земли и к засеву новых полей.

Все местные органы власти должны оказать самое широкое содействие ходякам этих групп населения к поездке в Москву, выдавая разрешения на проезд. А также необходима самая энергичная помощь для выяснения всех вопросов, особенно земельных, на местах жительства этих представителей, немедленно представляя им все нужные сведения.

Просим газеты и журналы, особенно провинциальные, перепечатать это обращение.

Комиссия по заселению Совхозов, свободных земель  
и бывших имений сектантами и старообрядцами

Член Коллегии Главсовхоза А.Биценко

Член Комиссии Владимир Бонч-Бруевич

Член Комиссии Н.Михайлов

Член Комиссии Наркомзема М.Чесунов

Москва  
5 октября 1921 года<sup>112</sup>

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Докладная записка об отношении Наркомзема  
к сельскохозяйственным коммунам русских сектантов<sup>113</sup>

### I. Вступление

Нельзя скрыть того обстоятельства, что коммунистическое правительство встречает непреодолимое препятствие в распространении своих идей и в строительстве жизни на новых коммунистических началах в крестьянской массе. За три года крестьянская масса выработала известное определенное отношение к новому режиму. Она принимает «Советы», но отвергает «Коммунию».

<sup>112</sup> На обороте: тираж 50 000 экз.

<sup>113</sup> ОР РГБ. Ф.369. К.447. Ед.хр.14.

Однако среди крестьян есть элемент, который охотно идет навстречу коммунистическим замыслам правительства. Этот крестьянский элемент представляют сектанты, то есть сознательная, разумно-религиозная часть русского народа, еще при царе отделившаяся от господствующей церкви, много перенесшая гонений, унижений и всякого рода страданий, закаленная в жизненном бою и смело идущая на новый путь, не боящаяся новых форм жизни. Такого рода сектанты, большей частью свободного, внецерковного, рационалистического мирозерцания, уже с давних пор складывались в общины и жили коммунальной жизнью.

Поощряемые теперь коммунистическим строем, они еще энергичнее, чем прежде, стали строить свою жизнь на коммунистических началах. Таким образом, явился новый крестьянский элемент, не только не сопротивляющийся коммуне, но сам создающий коммуны и при том образцовые и в экономическом, и в социальном смысле. Естественно предполагать, что этот коммунистический элемент крестьянства станет мостом, соединяющим коммунистическое правительство с крестьянством.

Всякий, кто знает русскую народную жизнь, согласится с тем положением, что русский крестьянин консервативен в силу вещей и только тогда изменяет свой образ жизни, вводит новую культуру и проч[ее], когда осязательно, на живом примере убедится в превосходстве того или другого нового строя, орудия или продукта.

И вот живой пример из той же крестьянской массы может легко увлечь и прежде инертную массу на новые коммунистические формы жизни.

## II. Число и место нахождения сектантов

Этот элемент значителен по своему количеству. Точной его статистики не существует. По официальным данным, которые нам удалось собрать, к началу 1914 года в России было старообрядцев и сектантов 20 млн. За шесть лет эта цифра должна была возрасти приблизительно до 25 млн. Из этого числа мы должны отделить около 20 млн. старообрядцев; таким образом, число сектантов определится 5-6 млн. Эта цифра, вероятно, близка к действительности, так как за последние годы возник целый ряд новых сект и многие тайные последователи из боязни преследования стали явны. Исследователь сектантства В.Д.Бонч-Бруевич насчитывает сектантов до десяти млн. Так что действительное число сектантов находится между 6 и 10 млн.

Мы полагаем, что со стороны правительства, опирающегося на конституцию, которая провозгласила свободу совести и свобо-

ду религии и антирелигиозной пропаганды, было бы тактично и целесообразно поддержать всеми мерами эти крестьянские, сельскохозяйственные коммуны, организуемые столь многочисленными русскими сектантами.

Это было бы лучшим, мирным и дальновидным разрешением создавшегося конфликта между Советской властью и крестьянством.

Вся эта шести- или десятиmillionная масса русского сектантства разбросана по всей России, Украине, Кавказу и Сибири. Наиболее значительные группы географически располагаются так: на юго-западе России преобладает штундо-баптизм, род русского протестантизма с левой, коммунистической ветвью малеванщины (в Киевской и Могилевской губ[ерниях]).

Юго-восточная часть России, Донская область, Средняя и Южная часть Поволжья, до Нижегородской и Тамбовской губернии включительно, заселена различными толками молокан, Донская, Кубанская и Терская области покрыты общинами Старого и Нового Израиля, «людей божьих» и др.

Также богата сектантами Оренбургская губерния и Уральская область (дурмановцы, балабановцы и др.). В Пермской губернии по уральским заводам распространена секта иеговистов.

По Волге, кроме молокан, значительные группы представляют: евангельские христиане, баптисты, адвентисты, еноховцы, мормоны, добролюбовцы, толстовцы, меннониты.

В центре и на севере России организовались коммуны так называемых «народных трезвенников», последователей Чурикова и Колоскова.

В последнее время во многих местах России стало усиленно распространяться свободно-христианское и коммунистическое учение, тождественное учению духоборов и Л.Н.Толстого. Называются эти сектанты «свободными христианами», «толстовцами», «духоборами», «свободноверующими», «свободниками» и просто «христианами». Число их велико, но точно неизвестно. Это самое радикальное течение сектантства.

Большая часть переименованных сект уже выделила из себя сельскохозяйственные коммуны, как это видно и из прилагаемого при сем списка известных нам сельскохозяйственных сектантских коммун и трудовых артелей.

К сожалению, вследствие малокультурности и малоосведомленности представителей власти на местах, очень часто возникают печальные недоразумения и конфликты, которые мешают развитию этих сельскохозяйственных коммун, а вместе с тем и коммунизма вообще.

В виду этого правительству, в лице Наркомзема, как более всего связанного с сектантскими коммунами, следовало бы выработать некоторое соглашение с представителями сектантских общин примерно на следующих основаниях.

### III. Проект соглашения между земледельческими коммунами сектантов и Советским правительством

#### а) Права сектантов

1. Русские сектанты свободно-христианского направления, признавая наилучшей формой производительного хозяйства земледельческую коммуну или трудовую артель, готовы подчиниться главнейшим общим положениям нормальных уставов этих организаций с теми некоторыми изменениями, которые вытекают из основных нравственных принципов их внутренней организации.

2. Нормальный Устав трудовых земледельческих артелей может быть принят целиком с теми лишь изменениями и дополнениями, которых потребует опыт и практика дела /.../.

3. Нормальный Устав сельскохозяйственных производственных коммун в общем своем содержании также не противоречит экономическим и моральным принципам свободно-христианских сельскохозяйственных общин, за исключением следующих пунктов:

а) о вооруженной защите коммунистического правительства

б) согласование с постановлениями Наркомпроса в устройстве просветительских учреждений должно быть ограничено применением, что постановления Наркомпроса, как центральных, так и местных его учреждений не должны противоречить основным нравственно-религиозным принципам каждой данной сектантской организации и ее внутреннему распорядку.

4. В Уставе есть два неясные пункта, по-видимому, противоречащих друг другу: а) о сдаче всех *излишков* производства сверх нормы (п.9) и б) о направлении всех доходов на благоустройство и развитие общины (п.11). Требуется более ясное определение как излишков, а стало быть и норм, так и *статей дохода*; в) нормы должны быть пересмотрены и применительно к бытовым условиям сектантских общин. Многие сектантские коммуны в области питания придерживаются вегетарианского режима, и потому нормы растительного и молочного продовольствия должны быть для них повышены сравнительно с животными продуктами и сравнительно с другими коммунами.

5. В виду особенностей преобладающего направления свободно-христианских земледельческих коммун, выражающегося в исполнении заповеди «Не убий» и вытекающего из него отказа от воинской повинности и всякого рода военных работ, члены этих коммун должны быть освобождены от несения военной службы согласно декрету от 4 января 1919 г. с заменой военной службы общепользуемой работой при тех же коммунах. Кроме того, вследствие следования членами коммун вегетарианскому режиму, они должны быть освобождены от скотобойного промысла и от всякой промышленности, из него вытекающей.

6. Принципы трезвой жизни распространяются свободно-христианскими сектантскими организациями и на курение, поэтому члены этих организаций должны быть избавлены от работ, связанных с табаководством и со всеми его отраслями.

7. Вследствие всех этих изменений было бы желательно выработать специальный устав для сектантских сельскохозяйственных коммун, например в духе уже существующей Саввинской коммуны.

#### б) Обязанности сектантов

Пользуясь всеми перечисленными правами, свободно-христианские организации принимают на себя обязанности всеми мерами содействовать развитию свободного и мирного коммунистического сельского хозяйства и другого рода производств, готовы следовать разумным и культурным хозяйственным и техническим указаниям и планам Центра, свободно обмениваться продуктами сельскохозяйственной и обрабатывающей промышленности по установленным нормам и оказывать посильную помощь как личным трудом, так и продуктами своего труда тем организациям, которые находятся во временной нужде или бедствии. Однако такого рода помощь не должна иметь характер принуждения, а мирного предложения. Свободно-христианские сектантские сельскохозяйственные и ремесленные организации всегда с радостью отвечают на такое предложение и окажут поддержку трудом и продуктами страждущим братьям своим, так и государственным предприятиям общепользуемого характера.

#### в) Организация сектантов

9. Сектантские сельскохозяйственные коммуны вступают в экономические союзы с аналогичными организациями, имея свой идейный центр в Москве или ином городе.

10. Для лучшего согласования как своих производственных работ, так и отношения к административным и идейным центрам, сектантские коммуны устраивают периодические съезды по мере надобности, но желательно не менее двух раз в год: осенью по окончании сельскохозяйственных работ около 1 октября и весной перед началом весенних работ около 1 апреля /.../

11. Для более прочного объединения: взаимной поддержки и связи с Центром учреждается литературный периодический орган под названием «Мирный коммунист» /.../

12. В отделколхозе Наркомзема утверждается особый Подотдел сектантских коммун со справочным бюро /.../

13. /.../ Наркомзем, заручившись принципиальным согласием Совнаркома, созывает Всероссийское совещание сведущих людей в Москве в возможно близкий срок.

14. С целью осведомления малокультурных представителей власти на местах Наркомзем издает небольшую брошюру «Сектанты-Коммунисты», с изложением исторических и статистических фактов из жизни сектантских общин и краткой характеристикой выдающихся сектантских руководителей коммунистического направления.

15. С целью более сознательного отношения к сектантским сельскохозяйственным коммунам и трудовым артелям, Наркомзем производит обследование таковых при посредстве особо значенной комиссии из представителей знатоков сектантства, представителей Наркомзема, Наркомюста, Наркомпроса и затем публикует результаты этого обследования, а также издает декрет о содействии сектантским коммунам.

16. С целью облегчения возможностей взаимного общения членам сектантских сельскохозяйственных коммун и других подобных организаций, а также для поддержки их связи с Центром, следует облегчить сколь возможно переезд таковых членов по железной дороге, водным путям и на лошадях со свидетельствами от их организаций о полезности той или иной поездки.

#### IV. Заключение

Вступив на этот путь взаимного доверия, Советское коммунистическое правительство приобретет себе миллионы честных трудолюбивых и опытных сотрудников в строительстве новой жизни в лице сектантов-коммунистов.

Москва. 12 ноября 1920.

Бирюков, Трегубов

## ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХИИ

Публикация М.В.Шкаровского

Вплоть до 1927 попытки большевистской власти подчинить Православную Церковь, поставить ее под полный контроль в целом заканчивались неудачей. Рубежом в этом плане стала «легализация» Временного Патриаршего Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском), потребовавшая значительных уступок со стороны Церкви. «Декларация 1927 года», перемещение епископов по политическим мотивам и ряд подобных актов создавали новую форму взаимоотношений Патриаршей Церкви с государством. Такие далеко ведущие компромиссы были негативно восприняты многими священнослужителями и мирянами. Возникшее в 1927 движение «непоминающих» (гражданские власти и митр. Сергия) было достаточно широко распространено по стране. Всего первоначально насчитывалось около 40 архиереев, отказавшихся от административного подчинения Заместителю Патриаршего Местоблюстителя. Однако большинство из них не было связано между собой. Центральное место занимала наиболее сильная и сплоченная «иосифлянская» группа, получившая свое название по имени формального руководителя — митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых).

Иосифлянское движение представляло собой попытку части духовенства и верующих найти самостоятельный, альтернативный «сергианскому» и катакомбному (тайному), путь развития Православной Церкви в условиях утвердившегося в СССР тоталитарного режима — в форме легальной или полулегальной оппозиции. Иосифляне не претендовали на создание нового центра власти или самостоятельной параллельной Церкви. Их главной тактической целью было привлечение на свою сторону большей части духовенства, прежде всего епископата, и в конечном счете завоевание высшего церковного управления в существующей Патриаршей Церкви. Именно поэтому ленинградские архиереи, выходя за пределы своих полномочий, обращались с архипастырскими посланиями в различные города, рукополагали священников и с мая 1928 совершали хиротонии епископов для других епархий (в общей сложности 28).

В 1930-е годы иосифлянское движение было едва ли не уникальной формой полулегальной оппозиции в стране, по возможности дольше стремясь не уходить в подполье. Подавляющая часть его представителей проходила обязательную для священнослужителей первоначальную регистрацию у районных инспекторов по делам культов, приходские общины избирали двадцатки и т.д. Следует подчеркнуть отличия иосифлян от катакомбников, существовавших к 1928 уже 5 лет. Возникновение обновленчества как господствующего движения в 1922 стало основной причиной появления тайной Церкви, где службы проходили нелегально. Ушли в «катакомбы» в основном те, кто выступал против изъятия церковных ценностей, равно как и крайние ревнители Православия, в чьих глазах патриарх Тихон и митрополит Вениамин (Казанский) были чересчур уступчивы по отношению к безбожной власти. В 1925 катакомбники не признали и избрание митр. Петра (Полянского) Патриаршим Местоблюстителем и продолжали свое служение тайно. Таково одно из главных отличий их от иосифлян: владыка Иосиф вплоть до своей гибели оставался верен митр. Петру. Другим существенным различием было то, что катакомбники категорически игнорировали все советские законы о религиозных организациях. Однако непреодолимой границы между участниками двух движений не существовало. Многие из них были лично близки между собой, находились в молитвенном общении и сотрудничали практически. И те и другие называли себя истинно-православными. Термин «Истинно-Православная Церковь» ввел митр. Иосиф, а «истинно-православные христиане» — катакомбный архиепископ Андрей (Ухтомский). Поставленные перед невозможностью служить легально иосифляне в ряде районов страны уже в 1929 стали уходить в подполье, в 1930-1933 этот процесс развернулся повсеместно. Часть сторонников митр. Иосифа постепенно начала все больше сближаться с катакомбниками, сохраняя, однако, некоторые различия вплоть до середины 1940-х.

Органы ОГПУ, обеспокоенные быстрым организационным оформлением иосифлян и их активной деятельностью, приступили к крупномасштабным операциям против них в начале 1929. В марте—ноябре прошла значительная волна арестов в Ленинграде, Москве, Ярославле, поглотившая примерно 200 человек. Второй этап операций ОГПУ пришелся на осень 1929 — апрель 1930 и коснулся Центрально-Черноземной области, Кубани, Северного Кавказа, частично Украины. Третий, самый значительный, этап, причинивший невосполнимый урон движению, продолжался с апреля 1930 по февраль 1931. Повторные аресты проходили в Ленинграде, Москве, на юге России, настоящий разгром был учинен на Украине, в Белоруссии и т.д. Венчало эти локальные акции карательных органов создание грандиозного 11-томного дела «Весесоюзного центра церковно-монархической организации "Истинное православие"». Следствие по нему велось более года, в Москву свозили руководителей движения из разных мест страны. 3 сентября 1931 Особое Совецательное Коллегии ОГПУ приговорило их к длительным срокам заключения в концлагерь. Всего за март 1929 — февраль 1931 по делам иосифлян было арестовано 4 тысячи человек, в том числе примерно 1600 священнослужителей. По-

следние крупные процессы над остатками легально служивших истинно-православных состоялись в Ленинграде, Москве и Воронеже в 1932-1933.

Признанным центром движения являлась Ленинградская епархия, управляющим которой был архиепископ Гдовский Димитрий (Любимов) — до ареста в ноябре 1929 реально руководивший всей деятельностью иосифлян в СССР. Вторым по значению районом распространения движения стала территория огромной Центрально-Черноземной области (ЦЧО), включавшей нынешние Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую и Брянскую области. Там возникло многотысячное «буевское разделение» — термин образован сотрудниками ОГПУ по фамилии руководителя епископа Алексия (Буя). Истории этого движения и посвящена настоящая публикация. Она базируется в значительной степени на материалах двух следственных дел по процессам «буевцев» 1930 и 1932 годов, недавно рассекреченных и переданных в Центр документации новейшей истории Воронежской области (ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-17699 и П-24705). При всем критическом подходе к этим источникам их использование наложило определенный отпечаток на публикацию.

9/22 января 1928 епископ Козловский Алексей (Буй) обратился с посланием к православному клиру и мирянам управляемой им Воронежской епархии, в котором говорилось: «Своими противными духу Православия деяниями митрополит Сергей отторгнул себя от единства со Святой, Соборной и Апостольской Церковью и утратил право предстоятельства Русской Церкви /.../ Высокопреосвященнейшего Иосифа (Петровых) избираю своим Высшим духовным руководителем» (см. док.1). Послание, подписанное десятками представителей воронежского духовенства, было доставлено келейником еп. Алексия, свящ. Степаном Степановым, митрополиту Ленинградскому Иосифу и получило его одобрение. Встревоженный митр. Сергей уже через 5 дней ответил карательными мерами. 27 января он и Временный Патриарший Священный Синод приняли постановление по делу «о раздорнической деятельности» еп. Алексия, который предавался архиерейскому суду, запрещался в священнослужении и увольнялся на покой, однако результат постановления был невелик.

Инициатором антисергианского движения в Воронеже выступил даже не столько сам еп. Алексей, сколько ссыльное духовенство, которое формировало тогда общественное мнение в городе, — протоиереи Н.А.Пискановский, И.Г.Стеблин-Каменский, И.А.Андриевский, И.Пироженко, Чиликин, П.Новосельев, священники Е.С.Марчевский и С.Д.Гортинский. Согласно свидетельству свящ. Сергея Бутузова, «они создали то твердое настроение массы, которое за собой увлекло все воронежское духовенство»<sup>1</sup>. Поэтому, когда в конце января епископ Богучарский Владимир объявил клиру и прихожанам об «отпадении» еп. Алексия от Церкви и заявил по указанию митр. Сергея о своих претензиях на управ-

<sup>1</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.4. Л.456-457.

ление епархией, за ним последовало явное меньшинство. Еп. Алексей, в свою очередь, «не благословил» общение с еп. Владимиром<sup>2</sup>.

Признанным центром иосифлянского движения в ЦЧО являлся Алексеевский Акатов мужской монастырь в Воронеже. Кроме него в самом городе «буевскими» были Покровский Девичий монастырь и в первой половине 1928 Вознесенская и Пятницкая (Рождества Богородицы) церкви. Всего же в епархии отделилось от митр. Сергия более 80 приходов, в основном в Острогжском, Усманском и Борисоглебском округах. Численность «буевского» духовенства точно установить сложно, но существуют ориентировочные данные ОГПУ. По его сведениям, в 1929 «активных членов» организации насчитывалось около 700 человек, в 1930-1931 их было «раскрыто» до 1 тысячи, в 1932 выявили еще 27 групп общей численностью 202 человека. Сведения о социальной принадлежности в следственных делах 1930 и 1932 гг. имеются на 567 человек, из них 97 были священниками, 120 монашествующими и 1 епископом. В 1928-1929 органы ОГПУ арестовали не менее 50 священнослужителей. Таким образом, общая численность «буевского» черного и белого духовенства, вероятно, доходила до 400 человек.

Весной и летом 1928 движение быстро распространялось по другим епархиям Центрально-Черноземной области. 17 марта в Воронеж приехал посланец духовенства г.Ельца свящ. Сергей Бутузов. Он встречался с еп. Алексием, скопировал у него иосифлянские воззвания и послания. Правда, вернувшись в Елец, о.Сергий смог сделать «буевским» только приход своей Владимирской церкви. Второй священник храм покинул, и еп. Алексей прислал в поддержку Бутузову игумена Питирима (Шумских), который помог в организации монашеской общины при Владимирской церкви, а затем и в отделении от митр. Сергия расположенного вблизи Ельца Знаменского монастыря. Важным очагом движения стал Задонский район Елецкого округа, «буевское» духовенство которого возглавил архимандрит Никандр (Стуров). В начале сентября 1928 еп. Алексей не без успеха сам ездил в Задонск для утверждения там иосифлянства. Немало приходов отошло от митр. Сергия в окормляемом еп. Алексием с февраля 1926 Козловском округе, центральными из них были Никитская церковь в г.Козлове (ныне г.Мичуринск Тамбовской обл.) и храм в с.Избердей. В Тамбове иосифлянкой стала Петропавловская кладбищенская церковь. Весной и летом 1928 к еп. Алексею присоединились: значительная часть приходов Старооскольского округа во главе с благочинным прот. Афанасием Шмигалевым, храмы в селах Дроново и Теребрино Белгородского округа, в г.Курске и на юге Курского округа. В целом движение охватило около 40 районов Центрально-Черноземной области.

Важным рубежом стало 18 марта 1928. В этот день к владыке Алексею, уже прославившемуся среди духовенства юга России в качестве активного борца за «старую веру и порядок», приехал руководитель анти-сергианских приходов в Майкопском, Черноморском и Армавирском

<sup>2</sup> Акиншин А.Н. Церковь и власть в Воронеже в 1920-1930-е годы: Процессы Петра Зверева и Алексея Буя // Церковь и ее деятели в истории России. Воронеж. 1993. С.136.

округах Северо-Кавказского края еп. Майкопский Варлаам (Лазаренко), живший нелегально в горах Северного Кавказа. Перед посещением еп. Алексия он объехал значительную часть восточной Украины, беря под свое окормление разделявшие его взгляды местное духовенство. После обмена мнениями и информацией о положении духовенства в Северо-Кавказском крае и на Украине еп. Варлаам признал еп. Алексия руководителем и идейным вождем. Свой переход в подчинение ему епископ Майкопский оформил рассылкой воззвания к духовенству с указанием, что с этого времени он и все, кто ему подчиняется, переходят под руководство еп. Алексия (см. док.6). Интересно, что на этой встрече еп. Варлаам сообщал, будто бы царь Николай II жив и скрывается в горах со всей своей семьей.

После майского (1928) совещания руководителей движения в Ленинграде еп. Алексей формально стал управляющим всеми иосифлянскими приходами юга России и исполняющим обязанности экзарха Украины. Еп. Димитрий передал епископу Козловскому окормляемое им ранее духовенство Кубани и Ставрополя (см. док.6). Известие об этом вызвало массовый переход летом 1928 к еп. Алексею сергианских приходов юга России и Украины: в г.Елисаветграде (Зиновьевске), Купянском округе, г.Ейске, различных районах Кубани и т.д. Уже упоминавшийся священник С.Бутузов свидетельствовал: «После водворения на жительство в Ельце епископа Алексия началась волна присоединений. Моя квартира стала вроде странноприимного дома, так как каждый день ночевало от двух до трех священников. Большую массу присоединений дал Сумской округ, куда еп. Алексей рукоположил не один десяток священнослужителей»<sup>3</sup>.

Бурное развитие «буевского» движения встревожило власти, и последовали репрессии. В начале мая 1928 ОГПУ запретило еп. Алексею жить в Воронеже, и 20 мая (после возвращения из Ленинграда) он сразу поехал в выбранный им Елец. Своим представителем в Воронеже — епархиальным благочинным — он назначил прот. Александра Палицына, а его помощником прот. Иоанна Стеблин-Каменского. В конце 1927 — 1928 были арестованы и высланы из ЦЧО многие инициаторы отделения от митр. Сергия — протоиерей Николай Пискановский (ставший общим духовником иосифлян в Соловецком лагере), Петр Новосельцев, Илия Пироженко, Чиликин и Иоанн Андриевский. 21 июля 1928 арестовали в Ельце священника Сергия Бутузова и 12 сентября выслали его из города, освободив недели за полторы до этого из тюрьмы. Еп. Алексей направил о.Сергия в Вознесенскую церковь Воронежа, но его там не приняли, храм уже занял сергиевцы, и Бутузов со 2 января 1929 стал настоятелем церкви в с.Нижний Икорец Лискинского района.

В конце 1928 умер прот. Александр Палицын, и еп. Алексей назначил епархиальным благочинным известного церковного деятеля, убежденного иосифлянина, прот. Иоанна Стеблин-Каменского. Сын сенатора, бывший офицер Балтийского флота, он был арестован в Ленинграде в 1924 по

<sup>3</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.1. Л.50.

делу «православных братств» и заключен на 3 года в Соловецкий лагерь. Освобожденный 1 октября 1927, о.Иоанн был выслан на 3 года в Воронеж. Он служил в церкви Девичьего монастыря и фактически руководил им. В обвинительном заключении по делу прот. Стеблин-Каменского (1929) говорилось: «Благодаря распускаемой монашками "святости" Каменского, последний стал пользоваться большим авторитетом среди кликушествовавшего элемента и вообще верующих антисоветски настроенных. К Каменскому не только стали ходить верующие г.Воронежа, но даже много ездили крестьяне из селений ЦЧО с просьбой полечить от головной [боли] и т.п.»<sup>4</sup>.

По данным следствия, «бுவевцы» имели тесную и постоянную связь с иосифлянами Ленинграда и Москвы. Осуществлялась она в основном через прот. Николая Дулова и свещ. Степана Степанова. Последний, например, в сентябре 1928 несколько раз встречался с еп. Димитрием (Любимовым), ездил с ним вместе в пос. Тайцы под Ленинградом, где существовало тайное место хранения иосифлянской литературы. Подобная литература в большом количестве поступала в ЦЧО, размножалась и распространялась среди мирян, встречая горячий отклик. Особенным успехом пользовалась брошюра «Что должен знать православный христианин». Обстановка в воронежских, липецких, тамбовских деревнях в связи с насильственными антицерковными акциями и развернувшимся «колхозным строительством» все более накалялась.

Весной 1929 последовали новые репрессии. 7 марта в Ельце был арестован еп. Алексей, 17 мая он был приговорен к 3 годам лагерей и отправлен на Соловки. В этих условиях для практического руководства «бுவевским» движением в Воронеже вместо легального епархиального благочиннического совета была создана «тайная коллегия» по управлению епархией (или иначе «пресвитерианский совет») из 5 человек. Председателем ее стал прот. Иоанн Стеблин-Каменский, членами — священники Сергей Гортинский, Евгений Марчевский, Иоанн Жидяев и архимандрит Игнатий (Бирюков) — епархиальный духовник, фактически возглавлявший иосифлянское монашество ЦЧО. 2 мая воронежские власти закрыли церковь Девичьего монастыря, одновременно умерла его игуменья Дорогавцева. На ее многотысячных похоронах 4 мая Стеблин-Каменский произнес яркую речь, заявив, что игуменья является жертвой современного гонения на церковь. За о.Иоанном с марта шла постоянная слежка (док.2), и 19 мая его арестовали, отправив затем на 3 года в Соловецкий лагерь. Тем не менее, деятельность «бுவевцев» не прекратилась. «Тайную коллегия» возглавил свещ. Сергей Гортинский, в ее состав в качестве секретаря ввели также настоятеля церкви Алексеевского монастыря свещ. Феодора Яковлева. Удалось наладить связь и с находившимся в лагере еп. Алексием.

Иосифлянская «коллегия» имела в епархии широкую сеть разъездных пропагандистов-связистов, главными из которых были архимандрит Тихон (Кречков), игумен Иосиф (Яцук), иеромонах Мелхесидек (Хухрян-

<sup>4</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Л.1219.

ский), миряне Поляков, Карцев, Карельский. Последний был доцентом Воронежского сельскохозяйственного института и имел широкие связи среди научной общественности Воронежа, многие представители которой сочувствовали иосифлянам. Особенно активно в 1929 — начале 1930 велась работа среди крестьян. Для координации ее в Алексеевском монастыре периодически проводились совещания «буевского» руководства. На одном из них в декабре 1929 священ. Феодор Яковлев, судя по показаниям свидетелей, говорил: «...духовенство и верующие сейчас терпят большие насилия от Советской власти. Церкви закрываются, священники арестовываются, а крестьян насильно загоняют в колхозы. Крестьяне страшно озлоблены против Советской власти, а поэтому духовным нужно еще больше разжечь недовольство крестьян против власти...» После обмена мнениями присутствующие на совещании решили, что самыми удобными способами агитации среди крестьянства являются исповеди и использование монашек. «Поэтому на исповеди духовенство должно внушать верующим, особенно женщинам, что колхозы есть фактическое закрытие церкви, лишение верующих общения с Богом, лишение получения благодати, что колхозы есть не что иное, как дело рук сатаны. Когда же крестьянство будет восставать против колхозов, то неизбежно будет и то, что правительство вынуждено будет пойти на уступки или же ему будет грозить крах»<sup>5</sup>. Решения, принятые на совещаниях, проводились в жизнь десятками сельских священников. Так, о.Петр Корыстин свидетельствовал о получении руководящих указаний архим. Тихона (Кречкова) о необходимости «через монашек и странников растолковывать крестьянам, что колхоз и Советская власть есть дьявольское дело, что у вступающих в колхозы церкви будут закрыты и верующим нельзя будет отправлять религиозные требы, а поэтому надо поднимать крестьян против всего этого, и если крестьяне поднимутся в одном-другом и нескольких местах, то власть вынуждена будет сделать послабление в религиозном вопросе». Игумен Иосиф (Яцук), по словам того же свидетеля, проповедовал, что «теперь наступили времена антихриста, власть борется с Богом, поэтому все, что Соввласть старается навязать крестьянам: колхозы, кооперация и т.д. — не нужно принимать»<sup>6</sup>.

Доведенное до отчаяния насильственной коллективизацией воронежское крестьянство действительно в начале 1930 поднялось на массовые выступления. Только в Острогожском округе с 4 января по 5 февраля они произошли в 20 селах: Нижний Икорец, Песковатка, Капанище, Платава и других. Восставшие громили здания сельсоветов, избивали советских и партийных работников, разбирали колхозный инвентарь.

Одновременно произошли выступления в соседних районах Усманского округа, а затем они перекинулись на Борисоглебский, Козловский, Елецкий, Белгородский и другие округа, охватив в общей сложности более 40 районов области. Большая часть этих выступлений, порой подавленных с огромным трудом, была приписана органами ОГПУ влиянию «буевцев». Это, конечно, не так, однако некоторые действительно про-

<sup>5</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.1. Л.9,10.

<sup>6</sup> Там же. Л.26.

водились при их активном участии. Так, например, в с. Нижний Икорец, важном опорном пункте движения, 21-22 января 1930 сотни крестьян, в основном женщин, разгромили сельсовет, сорвали красный флаг, уничтожили портреты «вождей» и ходили по улицам с черным флагом и криками: «Долой колхозы! Долой антихристов-коммунистов!» Активная участница этих выступлений монахиня Макрина (Масловская) показывала на допросе: «Везде проповедовала Христа /.../ Чтобы граждане боролись с отступниками от Бога, которые являются посланниками антихриста и чтобы не шли крестьяне в колхозы, так как идя в коллективы, они отдадут душу антихристу, который явится вскоре /.../ В с. Н.-Икорец верующие не идут и не пойдут в колхоз /.../ За 1929 г. обошла очень много мест и везде агитирую против коммунистов»<sup>7</sup>.

Активная деятельность «буевцев» осложнялась отсутствием постоянного Владыки. Первоначально после ареста еп. Алексея, с марта по май 1929, их окормлял еп. Серпуховской Максим (Жижиленко), приславший об этом в Воронеж соответствующее послание. В «буевских» храмах стали поминать еп. Алексея за обычным богослужением, а еп. Максима и архиеп. Димитрия на сугубой ектении. Однако 25 мая еп. Максима тоже арестовали. После этого среди воронежского духовенства начались разногласия. Большая часть епархии в августе стала окормляться епископом Бахмутским и Донецким Иоасафом (Поповым) — иосифлянином с ноября 1928 (док.4), который жил в г.Новомосковске быв. Екатеринославской губ. Прощение к нему о присоединении написал епархиальный духовник архим. Игнатий (Бироков) «с братиею». Управлявший же Задонским округом архим. Никандр (Стуров) подал соответствующее прошение архиепископу Димитрию и получил его письменное согласие на управление округом (док.3). Архимандрит ездил в Ленинград, Владыка предложил ему принять сан епископа, но о.Никандр отказался из-за болезни. Архиепископ Димитрий окормлял Задонский округ вплоть до своего ареста в ноябре 1929. В июле к нему из Воронежа за рукоположением приезжали игумен Питирим (Шумских) и иеродиакон Мелхесидек (Хухрянский), но из-за сомнений в некоторых фактах их личных биографий получили отказ. Тогда они поехали к еп. Иоасафу и были возведены им в сан соответственно архимандрита и иеромонаха.

Так как Новомосковск находился значительно ближе, чем Ленинград, то основная часть воронежского духовенства волей-неволей была вынуждена окормляться у владыки Иоасафа, даже иногда против желания. Так, свящ. Федор Яковлев выступал за присоединение к архиеп. Димитрию, активно переписывался с ним, но в августе все-таки согласился с циркуляром еп. Иоасафа о том, что во главе управления делами епархии будут находиться он и свящ. Сергей Гортинский. Епископ Бахмутский и Донецкий подписывался управляющим Воронежской епархией и фактически окормлял основную часть «буевцев» до массовых арестов начала 1930. Так, еще 5 марта Бобровский благочинный прот. Александр Архангельский послал ему письмо с просьбой назначить священников в 6 сельских храмов округа. 7 марта 1930 еп. Иоасаф написал послание к духовенству

<sup>7</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.1. Л.30-31.

и мирянам г. Тамбова и отправил его с рукоположенным им священником Георгием Никитиным. Поначалу деятельность малоизвестного епископа Бахмутского вызвала недоумение и опасение у иосифлянского руководства. По некоторым сведениям, архиеп. Димитрий, формально возглавлявший епархию летом и осенью 1929, даже полагал возможным запретить признавшее того воронежское духовенство в священнослужении. Однако затем конфликт был улажен. Еп. Алексий в декабре из лагеря передал управление еп. Иоасафу (док.5), этот акт санкционировал и архиепископ Гдовский. Но, по свидетельству свящ. Сергия Бутузова, многие воронежские священнослужители все равно стремились ездить к архиеп. Димитрию, «известному на всю Россию своей стойкостью Православия»<sup>8</sup>. Сам Бутузов получил предложение Владыки принять место под его руководством и переехал 6 ноября 1929 в Ленинград. Архиеп. Димитрий хотел отправить о. Сергия в Вятку или Серпухов, но прихожане Моисеевской церкви на Пороховых добились оставления Бутузова в своем храме, где он и был арестован 19 марта 1930 по делу «бுவцев».

Репрессии против воронежских иосифлян продолжались весь 1929 год. Летом арестовывался свящ. Сергей Гортинский по обвинению в присвоении прав управления епархией, но доказательств оказалось недостаточно, и его освободили. Еще одного члена иосифлянской «коллегии» свящ. Иоанна Жидяева арестовали в августе, затем ненадолго освободили, в декабре взяли вновь и под надуманным предлогом «воровства церковных вещей» приговорили к 2 годам лишения свободы. Однако настоящий удар был нанесен в феврале-марте 1930. ОГПУ сфабриковало грандиозное дело церковно-монархической организации «бுவцы», по которому в ходе следствия проходило 492 человека. Согласно обвинительному заключению, эта организация была якобы построена в соответствии с церковно-иерархической структурой: периферийные группы создавались около приходских советов. «Опорные пункты» во главе с местными священниками существовали в большинстве крупных сел и во всех городах области. «Нацеленная в первую очередь против коллективизации» работа проводилась в 3 направлениях: распространение антисоветских воззваний, брошюр и листовок по опорным пунктам; посылка по районам пропагандистов-священников из духовенства; прием с мест руководителей опорных пунктов и снабжение их директивами. И конечно, как уже отмечалось, «бுவцам» приписывалась организация многих десятков крестьянских выступлений. Здесь явно преувеличивались как степень централизации и организованности движения, так и масштабы его практической «контрреволюционной» деятельности.

Всего за 1,5-2 месяца ОГПУ арестовало 134 человека, некоторых в ходе следствия освободили, кое-кто умер, судьба многих долго решалась в верхах. 20 февраля 1930 на Соловках был взят под стражу еп. Алексий (Буй) и вместе с протоиереями Иоанном Стеблин-Каменским и Николаем Дуловым этапирован в Воронеж. С 5 марта они находились в местной тюрьме. Несколько допросов Владыки результатов не дали. На последнем протоколе еп. Алексий собственноручно приписал: «Винновым себя ни в

<sup>8</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.4. Л.446.

чем не признаю)<sup>9</sup>. Обвинительное заключение было составлено на 38 руководителей организации (док.6). 28 июля 1930 Коллегия ОГПУ приняла постановление: 12 человек приговорили к расстрелу, 14 — к 10 годам лагерей, 10 — к 5 годам, 1 был выслан на 5 лет в Северный край и 1 приговорен к 3 годам лагерей условно. 2 августа 1930 11 человек, в том числе прот. И.Стеблин-Каменского, А.Архангельского, священ. С.Гортинского, Ф.Яковлева, Г.Никитина, расстреляли. Приговор в отношении еп. Алексия начальство распорядилось в исполнение не приводить. Его и прот. Николая Дулова привлекли по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие» и до начала сентября 1931 держали в Бутырской тюрьме. Затем Владыку отправили на 10 лет в Свирские лагеря.

Убедившись, что февральско-мартовскими репрессиями разгромить движение истинно-православных не удалось, органы ОГПУ в мае 1930 провели новую серию арестов. Так, 20 мая в воронежскую тюрьму поступил новый настоятель церкви Алексеевского монастыря священ. Петр Струков. В обвинительном заключении говорилось, что он «собирал деньги на заключенных в ИТЛ руководителей из духовенства "буевской" организации, также давал деньги из общей кружки духовенства церкви Алексеевского монастыря и на протесты других /.../ Духовенство Алексеевского монастыря в лице руководителей /.../ Струкова Петра и других было против колхоза и этому учило крестьян, чтобы те не шли в колхозы»<sup>10</sup>. Постановлением Тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 13 июля 1930 Струков был приговорен к высшей мере наказания. Вместе с ним расстреляли еще нескольких священнослужителей, в том числе иеромонаха Мелхесида (Хухрянского), обеспечивавшего связь с еп. Иоасафом.

Однако еще почти год епископ Бахмутский и Донецкий осуществлял руководство воронежскими иосифлянами. Во второй половине 1930 он через назначенных новых благочинных — священников Алексия Попова, Феодора Авдеева, Александра Чуева, Ивана Мазкина окормлял примерно 30 приходов епархии. В апреле-июне к владыке Иоасафу присоединились 12 иосифлянских приходов Кубани. В это время он уже возглавлял и полтора десятка общин на Украине — в Подольской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой епархиях. Большинство же истинно-православных украинских приходов, окормляемых прежде еп. Алексием (Бум), перешло к епископу Старобельскому Павлу (Кратирову), проживавшему в Харькове.

В январе 1931 дошла очередь до украинских иосифлян. Сотни из них были арестованы. ОГПУ сфабриковало огромное дело, состоявшее из 20 томов: один из них состоит из материалов по Киеву, другой — по Харькову, третий — по Одессе и т.д. 16 января арестовали еп. Иоасафа, а 17 января еп. Павла. Обвинительное заключение было составлено на 140 человек. Согласно постановлению Коллегии ОГПУ от 2 января 1932, основных обвиняемых приговорили к 10 и 5 годам концлагеря<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Акиншин А.Н. Указ. изд. С.138.

<sup>10</sup> Справка ЦДНИ ВО №703-716 от 27 июня 1995 (Ф.9323. Оп.2. Д.П-22583).

<sup>11</sup> Центральный государственный архив общественных организаций Украины. Ф.263. Оп.1. Д.42779. Т.10. Л.21-37; Т.20. Л.91.

При аресте еп. Иоасафа у него в сарае был найден спрятанный архив, состоявший в основном из документов по управлению Воронежской епархией. Это не могло самым трагическим образом не сказаться на судьбе иосифлян ЦЧО. Там вновь начались репрессии.

В июне 1931 власти закрыли Алексеевский Акатов монастырь в Воронеже, еще оставшихся в нем монахов частично арестовали, остальных разогнали. Казалось, что с «буевцами» почти покончено. Но скрывшиеся от репрессий и находившиеся некоторое время в подполье воронежские иосифляне с января 1932 снова активизировались. Инициаторами воссоздания руководящего «буевского» центра в епархии выступили иеромонах Вассиан (Молодцкой) из бывшего Алексеевского монастыря и монахиня Анатолия (Сушкова), арестованная в 1929, отбывшая наказание в Свирлаге и к 1932 вернувшаяся в Воронеж. В качестве основной базы был избран приход в с. Углынец, так как он был расположен в глухом лесном месте и в то же время недалеко от Воронежа. Вскоре удалось установить связь со Свирлагом, где находился еп. Алексей. В апреле 1932 к нему ездил монах Серафим (Протопопов).

Согласно показаниям Молодцкого, Владыка «при приеме Серафима поручил нам не падать духом и продолжать дело защиты истинно-православной церкви и вести борьбу с гонительницей православия — Советской властью». В августе уже сам иеромон. Вассиан вместе с мон. Серафимом ездил на свидание в Свирлаг. В ходе этой встречи еп. Алексей наградил Молодцкого набедренником, утвердил постриг в монахи Серафима, назначил настоятеля Углынецкой церкви свящ. Василия Кравцова — благочинным Воронежской епархии и указал продолжать возношение его имени за богослужением. Иеромон. Вассиан свидетельствовал: «Отметив наши достижения, преосвященнейший Владыка Алексей нас благословил на дальнейший тяжелый подвиг по защите и укреплению дела истинного православия и при этом сказал нам, чтобы мы продолжали свою работу и больше привлекали на свою сторону народа, которому надо разъяснять и убеждать в том, что Советская власть /.../ дело творит угодное только антихристу и враждебное истинному христианину, и что истинный христианин не должен смущаться Советской власти, а главное, не идти в колхозы». Кроме того, еп. Алексей заявил, что через 2-3 месяца он вернется в Воронеж и займет положение правящего архиерея<sup>12</sup>.

Воссозданный за короткое время «буевский» епархиальный центр объединил 27 групп — в городах Воронеже и Козлове и 25 селах, в большинстве которых еще легально действовали отделившиеся от митр. Сергия приходы. Воронежские «буевцы» установили связи с киевскими и кубанскими иосифлянами, вели агитацию против создания колхозов, антицерковной политики властей, распространяли соответствующие воззвания. Так, кустарь-портной Е.З. Воронин сочинил 2 листовки, размножил их и раздавал крестьянам. Одна из них приводится нами (док.8).

К несчастью, свящ. Василий Кравцов был завербован ОГПУ и с марта 1932 под кличкой «Мартов» стал давать секретные показания. 4 октяб-

<sup>12</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-17699. Т.1. Л.7, 9.

ря начались аресты участников движения, продолжавшиеся до 4 января 1933. Было сфабриковано второе массовое дело «буевцев», по которому проходило 202 человека. 64 из них в январе 1933 осудила Тройка при Полномочном Представительстве ОГПУ по ЦЧО, на 63 материалы выделили в отдельное производство, и 75 человек прошли по основному делу. 19 декабря на Соловках в очередной раз был заключен под стражу еп. Алексей и отправлен в Воронеж. 21 декабря в местной тюрьме уже состоялся его первый допрос. Сначала Владыка держался стойко, 28 декабря он заявлял посаженному к нему в камеру священ. Кравцову («Мартову»): «Они хотят при моей помощи ликвидировать /.../ истинное православное течение; этого я никогда не сделаю, хотя бы они и пугали меня смертью. Я готов помереть за святую церковь с чистой совестью». Однако затем еп. Алексей все же начал давать показания, видимо, сказало его многолетнее пребывание на Соловках. Впрочем, большинство арестованных по второму делу «буевцев» вело себя стойко. Так, монахиня Анастасия (Сушкова) 3 ноября на допросе заявила: «По своему политическому мировоззрению к существующему строю в России настроена враждебно по следующим причинам: Советская власть есть власть безбожная, которая ведет борьбу с религией и закрывает церкви, репрессирует духовенство и этим самым производит гонение на веру. Мы же, буевцы, ведем непримиримую борьбу с Советской властью и ее мероприятиями, создавая наиболее подходящий кадр истинно-православных христиан, которые могли бы быть стойкими борцами за веру христианскую в России»<sup>13</sup>.

28 марта 1933 Коллегия ОГПУ вынесла приговор 56 обвиняемым, а 2 апреля еще 19: 22 человека приговорили к 10 годам лагерей, 48 — к меньшим срокам заключения или ссылке в Казахстан, 5 руководителей, в т.ч. иеромонах Вассиан, должны были быть расстреляны, но через несколько недель смертную казнь заменили 10 годами лагерей. Многих приговоренных отправили на Соловки, в том числе и еп. Алексия — отбывать прежний срок наказания. Погиб же Владыка 3 ноября 1937, расстрелянный по приговору Трибунала войск НКВД Ленинградского военного округа. Перед казнью его пытали электричеством. Но, несмотря на смерть руководителя и жесточайшие репрессии, уничтожить «буевское» движение до конца так и не удалось.

Последние храмы ЦЧО, отделившиеся от митр. Сергия, были закрыты в 1935. В этом же году в Воронежской епархии арестовали еще одну значительную группу истинно-православных во главе с иеромонахом Иеронимом и монахиней Трифеной из бывшего Покровского монастыря, почти все ее участники погибли в лагерях. Уцелевшие последователи еп. Алексия стали служить тайно. Так, например, в г.Мичуринске (Козлове) действовала катакомбная церковь, обслуживавшаяся жившим нелегально и работавшим печником известным «буевцем» архимандритом Александром (Филиппенко). Приезжими тайными священниками периодически совершались службы на квартирах и в Воронеже. В 1937-1938 по епархии прокатилась новая волна арестов иосифлян. Так, в сентябре 1937

<sup>13</sup> ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-17699. Т.2. Л.42; Т.7. Л.2-3.

по делу «контрреволюционной террористической повстанческой организации на территории Воронежской области» было арестовано 102 человека. «Руководителей» ее — священника Павла Смиренского и иеромонаха Антония из бывшего Толшевского монастыря, как и многих других, расстреляли.

Но даже и в этих условиях продолжали создаваться новые обители. Например, осенью 1937 «Косомольская правда» сообщила, что в Воронежской области «женская молодежь недавно основала "тайный монастырь" — в монахини ушли сразу 15 человек из двух соседних колхозных сел»<sup>14</sup>. Далеко не всегда иосифляне без сопротивления позволяли себя арестовывать и громить их храмы. В 1930-е зафиксирован ряд случаев вооруженного сопротивления сотрудникам НКВД, в том числе в Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях.

Ситуация существенно изменилась с началом Великой Отечественной войны. Значительная часть страны оказалась оккупирована германскими войсками. На северо-западе России истинно-православные предпочитали оставаться «в подполье». Дело в том, что существовавшая в 1941-1943 с разрешения командования группы армий «Север» «Псковская Православная Миссия» принадлежала в каноническом отношении к Московской Патриархии, воссоединяла с ней иосифлян и пыталась выявить тайные общины. В ряде других районов страны германское командование более благосклонно относилось к иосифлянам и катакомбникам, в том числе на территории бывшей ЦЧО. Именно там были созданы вооруженные формирования во главе с истинно-православными — Каминским, Воскобойниковым и другими. После отступления вермахта прогерманская часть «буевцев» ушла на Запад, в том числе и известная бригада Каминского (сам он был в конце концов расстрелян нацистами).

Советские же власти, радикально улучшив отношение к Московской Патриархии, попытались произвести в 1943-1946 полный разгром «катакомб», что им во многом удалось. В 1944 почти все выявленные истинно-православные на неоккупированной Европейской части СССР были депортированы или заключены в лагеря, в последующие 2 года происходило жестокое преследование их на бывших оккупированных территориях. В «особой папке» И.Сталина, хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации (Ф.44), содержится несколько документов о депортации «буевцев» в 1944. 15 июля Л.Берия в секретном письме к Сталину отмечал, что на территории Воронежской, Орловской, Рязанской областей выявлено несколько организаций «истинно-православных христиан», но арест их активных участников не оказал ожидавшегося воздействия на других членов. Поэтому Берия предложил провести массовое выселение этих людей в Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. И вскоре 1673 человека одновременно из 87 населенных пунктов были насильственно переселены на Восток.

\*\*\*

---

<sup>14</sup> Комсомольская правда. 1937. 15 сентября.

Середину 1940-х можно считать фактическим концом иосифлянского движения. Последние его представители окончательно теряют свою обособленность. Некоторые из немногих выживших в лагерях иосифлянских деятелей примирились с Патриархией — протоиереи В.Верюжский, А.Кибардин, В.Венустов, К.Быстреевский, П.Белавский и др. За ними последовала и их прежняя паства. Другая же часть представителей движения, до конца остававшаяся непримиримой, окончательно слилась с катакомбниками, составив в их среде особую традицию. К числу непримиримых относилось большинство бывших «буевцев». Они активно продолжали свою нелегальную деятельность. Как видно из публикуемой справки секретаря Воронежского обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации (док.9), в 1948 на территории области по-прежнему существовало большое количество тайных групп истинно-православных. С 1943 по 1966 катакомбные общины епархии последовательно возглавляли упоминавшиеся в статье, выжившие в лагерях иосифляне — архимандрит Никандр (Стуров), протоиерей Иоанн Андриевский, а также иеромонах Анувий (Капинус)<sup>15</sup>. Последний был арестован в 1951 (док.10), но после освобождения в конце 1950-х вновь вернулся в Воронеж, принял схиму и до своей смерти в 1966 продолжал служить тайно. В целом же именно территория бывшей ЦЧО вплоть до 1990-х оставалась важнейшим районом деятельности Катакомбной Церкви.

Ниже публикуются документы из упоминавшихся уже следственных дел «буевцев» 1930 и 1932 гг., хранящихся в ЦДНИ ВО. Один материал взят из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории и два — из Центрального государственного архива общественных организаций Украины — следственного дела украинских истинно-православных 1931 года. Кроме того, составителю показалось необходимым привести публиковавшееся ранее в книге М.Польского «Новые мученики российские» послание епископа Алексия (Буя) от 22 января 1928. Все остальные документы ранее не публиковались и печатаются в основном по подлинникам. Заголовки в случае необходимости даны публикатором. Тексты документов приводятся, как правило, полностью, в отдельных оговоренных случаях — в выдержках. Купюры заключены в косые скобки, раскрытые сокращения и смысловые конъектуры — в квадратные.

---

<sup>15</sup> Маргарита (Чеботарева), монахиня. Катакомбные исповедники // Возвращение. 1993. №2. С.26-28.

ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ [(БУЯ)]<sup>1</sup>  
 К ПРАВОСЛАВНОМУ КЛИРУ И МИРЯНАМ ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХИИ

«Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в Истине» (3-е Посл. Иоанна I, 4).

Стоя на страже Православия и зорко следя за всеми проявлениями церковной жизни не только во вверенной нашему смиренному епархии, но и вообще в патриархате, мы к великому нашему пригорю и скорбию обнаружили в последних деяниях возвратившегося к своим обязанностям Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Сергия, Митрополита Нижегородского<sup>2</sup>, стремительный уклон в сторону обновленчества, превышение прав и полномочий, предоставленных ему, и нарушение св. канонов (решение принципиальных вопросов самостоятельно, перемещение и увольнение архиереев без суда и следствия и т.п. См. Кирилл. прав. I, Ап. Пр.34).

Своими противными духу Православия деяниями Митрополит Сергей отторгнул себя от единства со Святой, Соборной и Апостольской Церковью и утратил право предстоятельства Русской Церкви.

Православные святители и пастыри пытались всячески воздействовать на Митрополита Сергия и вернуть его на путь прямой и истинный, но «ничтоже успели».

Ревнуя о славе Божией и желая положить предел дальнейшим посягательствам Митрополита Сергия на целостность и неприкосновенность Святых Канонов и установлений церковного порядка и незапятнанно сохранить каноническое общение со своим законным Главою Патриаршим Местоблюстителем Высокопреосвященнейшим Митрополитом Петром Крутицким<sup>3</sup>, — Высокопреосвященнейший Митрополит Иосиф<sup>4</sup> и единомышленные ему православные архипастыри осудили деяния Сергия и лишили его общения с собою.

Будучи волею Божией и благословением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Серафима, Архиепископа Угличского<sup>5</sup> от 16/29 февраля 1927 года, облечен высокими полномочиями быть стражем Воронежской Церкви с оставлением одновременно и Епископом Козловского Округа и вполне разделяя мнения и настроения верных православных иерархов и своей паствы, отныне отмежевываюсь от митрополита Сергия, его неканонического Синода и деяний их, сохраняя каноническое преемство через Патриаршего Местоблюстителя Петра, Митрополита Крутицкого.

Назначенного Патриаршим Местоблюстителем Высокопреосвященнейшим Петром Митрополитом Крутицким, от 6-го декабря 1925 года третьим кандидатом в Заместители Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященнейшего Иосифа, избираю своим высшим духовным руководителем.

Молю Господа, «Да сохранит Он мирну страну нашу», да утвердит и соблюдет Церковь Свою Святую от неверия, ересей и раскола и дарует нам ревность и мужество «ходить в оправданиях Своих без порока».

Управляющий Воронежской Епархией  
Епископ Козловский Алексей

Печать. Январь 9/22 дня 1928 г.

Память св. Филиппа Митрополита Московского.

Воронеж.

*Польский М. Новые мученики российские.  
Т.2. Джорданвиль, 1957. С.68-69.*

<sup>1</sup> *Алексий (Буй Александр Васильевич)* — епископ. Род. в 1892 в пос. Киншевский Ново-Кустовской вол. и уезда Томской губ. в семье крестьянина. В 1916 окончил Томскую Духовную семинарию. 29 сентября 1915 пострижен в монахи, с 11 октября 1915 иеродиакон. 4 апреля 1917 — 1920 иеромонах при архиерейном доме Томска, келейник архиеп. Томского и Иркутского Анатолия. В 1920 - конце 1922 иеромон. в Иркутске. В 1922 по обвинению в антисоветской деятельности 3 месяца провел в иркутской тюрьме, но был оправдан судом. В конце 1922-1923 — настоятель Бугульминского монастыря Самарской епархии. 1 января 1924 хиротонисан во еп. Бугульминского, с 19 июля 1924 — еп. Петропавловский, викарий Омский с правом управления епархией, с нач. 1925 — еп. Семипалатинский, 2 мес. управлял Екатеринбургской епархией. С весны 1925 по февр. 1926 управлял Витебской епархией. С февр. 1926 — еп. Козловский, управлял также Тамбовским и Кирсановским округами. С дек. 1926 — еп. Уразовский, 28 февр. 1927 Заместителем Патриаршего Местоблюстителя архиеп. Угличским Серафимом назначен управляющим Воронежской епархии с оставлением епископом Козловского округа. 22 янв. 1928 отделился от митр. Сергия вместе с большей частью епархии. С 18 марта 1928 управлял также частью иосифлянских приходов Украины и юга России. 27 янв. 1928 постановлением митр. Сергия и Св. Синода предан архиерейскому суду, освобожден от управления епархии и уволен на покой, 27 марта 1928 запрещен сессией Св. Синода в священнослужении. В середине мая 1928 участвовал в совещании руководителей иосифлянского движения в Ленинграде, где архиеп. Димитрий поручил ему управлять всеми отделившимися от митр. Сергия приходами юга страны. Стал исполнять обязанности иосифлянского экзарха Украины. С 29 мая 1928 жил в г.Ельце, так как ОГПУ выслало его из Воронежа. Арестован 7 марта 1929 в Ельце. 17 мая 1929 приговорен Коллегией ОГПУ к 3 годам ла-

герей. С 9 июня 1929 отбывал срок на Соловках, участвовал в катакомбных службах иосифлян. 20 февраля 1930 арестован в Соловецком лагере по делу «бугеуцев» и этапирован в Воронеж. С 5 мая 1930 в Воронежской тюрьме. 28 июля 1930 приговорен Коллегией ОГПУ к высшей мере наказания (ВМН), но приговор в исполнение не приведен. С сентября 1930 по сентябрь 1931 в Бутырской тюрьме Москвы. 3 сентября 1931 приговорен Коллегией ОГПУ по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие» к ВМН с заменой 10 годами лагерей, предыдущий приговор поглощен этим. С 3 октября 1931 отбывал в Свирлаге, в апреле и августе 1932 имел встречи с тайными посланцами воронежских иосифлян. 1 ноября 1932 переведен на Соловки, работал делопроизводителем в канцелярии, 19 декабря 1932 взят под стражу и отправлен в Воронеж для следствия по второму делу «бугеуцев». С 21 декабря 1932 в Воронежской тюрьме. 11 апреля 1933 Коллегия ОГПУ постановила срок заключения не увеличивать, отправить отбывать прежний на Соловки. С 12 марта по апрель 1933 в Бутырской тюрьме. С конца апреля 1933 вновь на Соловках, работал в деревополировочном цеху. Затем переведен на тюремный режим. 9 октября 1937 приговорен Военным Трибуналом войск НКВД Ленинградского округа к ВМН. 3 ноября 1937 расстрелян на Соловках.

<sup>2</sup> *Сергий* (Страгородский Иван Николаевич) — Патриарх Московский и всея Руси. Род. 11 января 1867. Закончил Нижегородскую Духовную семинарию и Петербургскую Духовную академию. С 1893 инспектор Московской Духовной академии. В 1901 хиротонисан во еп. Ямбургского, с 1905 архиеп. Финляндский, с 10 августа 1917 архиеп. Владимирский и Шуйский, 28 ноября 1917 возведен в сан митрополита. В 1922 уклонился в обнелчичество. В 1924 принес покаяние Патриарху Тихону и 18 марта 1924 назначен митр. Нижегородским. С 10 декабря 1925 Заместитель Патриаршего Местоблюстителя. С 10 ноября 1926 по 27 марта 1927 находился под арестом. С 1934 митрополит Московский и Коломенский, с 1 января 1937 Патриарший Местоблюститель. В сентябре 1943 избран Патриархом. Скончался 15 мая 1944 в Москве.

<sup>3</sup> *Петр* (Полянский Петр Федорович) — митрополит. Род. в 1862. Окончил Московскую Духовную Академию (1892). Занимал разные посты в Учебном комитете и Училищном совете при Св. Синоде. В 1920 принял монашество и священство, 25 сентября 1920 хиротонисан во еп. Подольского. Был помощником Патриарха Тихона по управлению Церковью. В 1923 возведен в сан архиепископа, а в 1924 — митрополита, назначен митр. Крутицким. 12 апреля 1925 после смерти Патриарха в соответствии с назначением его третьим кандидатом в Патриарший Местоблюстители (два первых находились в ссылке) приступил к обязанностям Местоблюстителя, был утвержден в должности Архиерейским Собором. Арестован 10 декабря 1925 и впоследствии почти 12 лет находился в тюрьмах и ссылках. Расстрелян 10 октября 1937 в Магнитогорске.

<sup>4</sup> *Иосиф* (Петровых Иван Семенович) — митрополит. Род. 15 декабря 1872 в г. Устюжна Новгородской губ., окончил Устюженское Духовное училище и Новгородскую Духовную семинарию, после окончания Москов-

ской Духовной Академии (1899) оставлен профессорским стипендиатом при академии, с 9 сентября 1900 — исполняющий должность доцента кафедры библейской истории. 26 августа 1901 пострижен в монашество, рукоположен во иеродиакона (30 сентября 1901), во иеромонаха (14 октября 1901). С августа 1903 — магистр богословия и доцент, с 9 декабря 1903 — экстраординарный профессор и инспектор Московской Духовной Академии. 18 января 1904 возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем Яблочинского Свято-Онуфриевского монастыря Холмской епархии (июнь 1906), настоятелем Юрьевского монастыря Новгородской епархии (1907). 15 марта 1909 хиротонисан во епископа Угличского, викария Ярославской епархии, позднее возведен в сан архиепископа. В 1920-1921 — архиепископ Ростовский, викарий Ярославской епархии; временно управлял Новгородской и Старорусской епархиями (1920-1925). Впервые арестован 8 июля 1920 и постановлением Президиума ВЧК от 26 июля 1920 приговорен к 1 году заключения условно за протест против вскрытия мощей. В 1922 арестован по делу о «противодействии изъятию церковных ценностей», вскоре освобожден. В августе 1926 назначен митрополитом Ленинградским, служил в Ленинграде лишь 3 дня, затем жил в Ростове, управлял епархией через викариев (запрет государственных властей на въезд в Ленинград в сентябре 1926 положил начало иосифлянскому движению). В ноябре 1926 вступил в должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя (в послании от 25 ноября / 8 декабря 1926 на случай своего ареста назначил временных заместителей). В декабре 1926 арестован в Ростове, сослан в Никольский Моденский монастырь Новгородской губернии. В сентябре 1927 освобожден, вернулся в Ростов. 17 сентября 1927 назначен митр. Сергием митрополитом Одесским, назначение не принял, продолжал руководить Ленинградской епархией из Ростова. 24 января / 6 февраля 1928 вместе с митр. Агафангелом (Преображенским) и его викариями подписал акт отхода от митр. Сергия и его Синода. 26 января / 8 февраля 1928 в послании к Ленинградским викариям, пастырям и верующим сообщил, что берет на себя возглавление Ленинградской митрополии. Арестован 29 февраля 1928 и вновь сослан в Николо-Моденский монастырь, 14/27 марта 1928 постановлением митр. Сергия и Синода запрещен в священнослужении, а 29 марта / 11 апреля 1928 предан архиерейскому суду, уволен на покой. Арестован в сентябре 1929 в Николо-Моденском монастыре и сослан в Чимкент (Казахстан), служил тайно. Арестован 22 сентября 1937 в Алма-Ате. Расстрелян 20 ноября 1937 вместе с проходившими по тому же делу митр. Кириллом (Смирновым) и еп. Евгением (Кобрановым), также отбывавшими ссылку в Казахстане.

<sup>5</sup> *Серафим* (Самойлович Семен Николаевич) — архиепископ. Род. 19 июля 1881 в Полтавской губ. Окончил Полтавскую Духовную семинарию (1902), назначен учителем уналашинской, а с 1 июля 1905 ситкинской русской школы на Аляске. 25 сентября пострижен в монашество. В 1905-1908 миссионер в Северной Америке. В 1910-1915 настоятель Ярославского Толгского и Угличского Покровского монастырей. 15 февраля 1920 хиротонисан во еп. Угличского, в 1924 возведен в сан архиепи-

скопа. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя с 29 декабря 1926 по 7 апреля 1927. С конца 1927 находился в оппозиции митр. Сергию; был запрещен в священнослужении, но запрету не подчинился. 6 февраля 1928 отделился от митр. Сергия в составе «Ярославской группы». В феврале 1928 арестован и сослан в Буйнический монастырь под Могилевом. В написанном 20 января 1929 «Послании ко всей Церкви» продолжал обличать политику митр. Сергия и 27 февраля 1929 вновь был арестован. Отправлен в Соловецкий лагерь. В марте 1932 был освобожден из лагеря и сослан на 3 года в Северный край, где активно участвовал в движении истинно-православных. Арестован 21 мая 1934 в Архангельске и постановлением Коллегии ОГПУ от 1 июня 1934 приговорен к 5 годам лишения свободы. Расстрелян 9 ноября 1937.

2

*Совершенно секретно*

Областной административный отдел  
Центрально-Черноземного областного  
исполнительного комитета

В Полномочное  
Представительство  
ОГПУ в ЦЧО

№583/с

4 марта 1929

По имеющимся непроверенным сведениям в доме №4 по Введенской ул., проживающий там священник Иван<sup>1</sup>, ставленник архиерея Зверева<sup>2</sup>, сосланного за контрреволюционные действия, ведет ожесточенную агитацию против Соввласти, и вообще в этом доме замечается какая-то группировка, о чем сообщается для сведения.

Помощник Начальника гормилиции  
по Уголовному розыску

Подкопаев

*ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.1. Л.6/н. Подлинник.*

<sup>1</sup> Стеблин-Каменский (Каминский) *Иоанн* Георгиевич — протоиерей. Род. в 1887 в Санкт-Петербурге. Дворянин, внук губернатора г.Вильно и сын тайного советника. В 1908 окончил в Петербурге Морской корпус. В 1909 — нач.1918 служил лейтенантом в Балтийском флоте. В 1919-1921 по мобилизации служил помощником директора маяков Балтфлота. С 1920 в сане диакона, с 1923 — священника. В 1921 ненадолго арестовывался ОГПУ по обвинению в укрывательстве шпиона. Вновь арестован в Ленинграде по делу о «православных братствах» в феврале 1924 и приговорен Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 26 сентября 1924 к трем годам лагерей. В конце 1924-1927 в Соловецком лагере, работал бухгалтером. Освобожден 1 октября 1927 и выслан на 3 года в Воронеж. С октября

1927 до 2 мая 1929 служил в церкви Покровского Девичьего монастыря. В конце 1928 назначен еп. Алексием епархиальным благочинным и после ареста в марте 1929 Владыки фактически возглавил епархию. Арестован 19 мая 1929 и 16 августа 1929 приговорен Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ к 3 годам лагерей. С 6 октября 1929 отбывал на Соловках. По делу «буевцев» арестован в лагере 12 февраля 1930, с 5 мая 1930 в Воронежской тюрьме. Виновным себя не признавал и 28 июля 1930 приговорен Коллегией ОГПУ к ВМН. Расстрелян 2 августа 1930.

<sup>2</sup> Петр (*Зверев* Василий Константинович) — архиепископ. Род. 18 января 1878 в Москве. Окончил Казанскую Духовную академию (1902), состоял на духовно-учительской службе. В 1910-1917 настоятель Спасо-Преображенского Белевского монастыря. 15 февраля 1919 хиротонисан во еп. Балахнинского, с 1920 еп. Старицкий. Арестовывался в 1918, 1921, 1922. С 1922 по июль 1924 в ссылке в Средней Азии. После освобождения назначен управляющим Московской епархией, с 16 июля 1925 еп. Воронежский и Задонский. В декабре 1925 возведен в сан архиепископа. Арестован в Воронеже 16 ноября 1926 и 26 марта 1927 приговорен к 10 годам лагерей. С 1927 на Соловках, с конца 1929 старший архиерей в лагере. Умер 7 февраля 1929 от тифа в больнице на о. Анзер (Соловки).

### 3

#### ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ГДОВСКОГО ДИМИТРИЯ (ЛЮБИМОВА)<sup>1</sup> БЛАГОЧИННЫМ ЗАДОНСКОГО ОКРУГА

24 июля / 6 августа 1929 г.

На рапорте о.о.благочинных Задонского уезда Воронежской епархии долгом считаю уведомить, что никакого изменения в деятельности митрополита Сергия не последовало, и потому ложны уверения, что Первоиерархи Российской Православной Церкви признали его и Синод законоправящим. Призываю на Вас Божие благословение, с любовью принимаю Вас временно в свое молитвенное каноническое общение, о чем и прошу поставить в известность всех православных окружающих о.о.благочинных епархии.

О.о.благочинным предоставляю право в случае необходимости, по своему усмотрению, назначать себе заместителей.

Благочинническим Советам предоставляю право назначения и перемещения церковнослужителей.

Ведение бракоразводных дел при руководстве правилами Собора 1917 и 18 гг. предоставляется также благочинническим Советам.

Да поможет Вам Господь до конца дней Ваших понести крест служения Святой Церкви.

Димитрий Архиепископ Гдовский

*ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.4. Л.115. Копия.*

<sup>1</sup> *Димитрий (Любимов Дмитрий Гаврилович)* — архиепископ. Род. 15 сентября 1857 в Ориенинбауме Санкт-Петербургской губ. в семье протоиерея. Окончил Петербургскую Духовную семинарию и Петербургскую Духовную академию (1882) со степенью кандидата богословия. С 23 марта 1882 — псаломщик церкви при русском посольстве в Штутгарте, с 10 сентября 1884 — учитель латинского языка в Ростовском Духовном училище. 6 мая 1886 рукоположен и назначен священником придворной Пантелеймоновской церкви в Ориенинбауме, в то же время — законоучитель Ориенинбаумского городского училища (с 30 мая 1886). Настоятель Ориенинбаумской церкви Св. Архангела Михаила (с 5 сентября 1895), священник Покровской церкви в Санкт-Петербурге (с 12 сентября 1898). 14 мая 1903 возведен в сан протоиерея, с 14 октября 1915 — помощник благочинного IV благочиннического округа столицы. Май—сентябрь 1922 — настоятель Покровской церкви, поддерживал Петербургскую автокефалию. Арестован в сентябре 1922, отправлен в административную ссылку в Уральск и Теджен (Туркестан) на 3 года. Освобожден 1 марта 1925, вернулся в Ленинград, служил в Покровской церкви. 30 декабря 1925 / 12 января 1926 хиротонисан во епископа Гдовского, викария Ленинградской епархии. 26 декабря 1927 вместе с епископом Нарвским Сергием (Дружининым) подписал акт об отходе от митр. Сергия. После ареста митр. Иосифа фактически возглавлял иосифлянское движение. Постановлением сессии Священного Синода от 30 декабря 1927 запрещен в священнослужении, что было подтверждено новым постановлением от 23 марта 1928. В начале января 1929 возведен митр. Иосифом в сан архиепископа. Арестован 29 ноября 1929 по делу церковной группы «Защита Истинного Православия». Постановлением Коллегии ОГПУ от 3 августа 1930 приговорен к ВМН с заменой 10 годами лагерей. С сентября 1930 по сентябрь 1931 в бутырской тюрьме Москвы, проходил по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие». Позднее срок отбывал в Ярославской тюрьме особого назначения, возможно, и на Соловках, погиб в заключении около 1935 (?).

#### 4

### Удостоверение

Сим удостоверяется, что Преосвященный Иоасаф, Епископ Бахмутский и Донецкий<sup>1</sup>, находится в духовном общении с Православною Церковью, возглавляемую Патриаршим Местоблю-

стителем Петром Митрополитом Крутицким и оставшеюся верною православным традициям.

Временно управляющий Ленинградской епархией  
Димитрий, епископ Гдовский

8/21 ноября 1928 г.

*Центральный государственный архив общественных организаций Украины (ЦГАООУ). Ф.263. Оп.1. Д.65744. Т.10. Л.3. Подлинник.*

<sup>1</sup> *Иоасаф* (Попов Петр Дмитриевич) — епископ. Род. 16 января 1874 в с.Ольховатка Славяносербского уезда Екатеринославской губ. в семье диакона. В 1904 окончил Екатеринославскую Духовную семинарию. Служил в сельских храмах губернии: в 1904-1910 — Карнауховских хуторов Екатеринославского уезда, в 1910-1911 — с.Селидовка Бахмутского уезда, в 1911-1916 — с.Николаевка Павлоградского уезда. В 1916-1920 настоятель храма г.Новомосковска. В 1924 в Харькове хиротонисан во епископа Бахмутского и Донецкого. В 1925, когда рукополагавший его архиеп. Иоанникий отошел к обновленцам, И. ушел на покой. Иосифлянин с 1928, дважды ездил в Ленинград и встречался с архиеп. Димитрием (в ноябре 1928 и июне 1929). С августа 1929 стал окормлять иосифлянские приходы Воронежской епархии, а в 1930 и часть истинно-православных Кубани и Украины (всего около 60 приходов). Арестован 16 января 1931 в Новомосковске. Приговорен Коллегией ОГПУ 2 января 1932 к 5 годам концлагеря. Расстрелян в 1937.

5

Преосвященному Иоасафу  
Епископу Бахмутскому и Донецкому

По причинам, не зависящим от меня, заведование православными приходами Воронежской Епархии на время моего отсутствия передано было Высокопреосвященному Димитрию Гдовскому.

Ныне, ввиду желанья Воронежского духовенства и мирян обращаться за духовным руководством к ближайшему православному Епископу, прошу Ваше Преосвященство принять на себя временное заведование Воронежской Епархией.

Все мои прежние распоряжения по поводу передачи временно заведования Воронежской Епархией Высокопреосвященному Архиепископу Гдовскому Димитрию (Любимову) отменяются, о

чем прошу Ваше Преосвященство поставить в известность Высокопреосвященного Димитрия. Возношение моего имени за Богослужениями остается в силе.

23 ноября / 6 декабря 1929 г.

(День памяти Св.Митрофания Воронежского)

Епископ Алексей,

Управляющий Воронежской Епархией

ЦГАООУ. Ф.263. Оп.1. Д.65744. Т.10. Л.4-4об.

*Заверенная копия.*

## 6

### ИЗ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

По делу контрреволюционной, церковно-монархической организации «Бувевцев» Центрально-Черноземной Области, Северо-Кавказского Края и Украины, подготовлявшей свержение Советской власти и восстановление монархии.

23 июля 1930 г.

### Глава 1

#### История возникновения организации «Бувевцев»

Органами ОГПУ по ЦЧО в начале 1930 года раскрыта и ликвидирована подпольная контрреволюционная, церковно-монархическая организация, именовавшая себя «Бувевцами» и ставившая своей целью поднятие массового выступления крестьянства против Советской власти и восстановление монархии.

Совокупность материалов, собранных предварительным следствием, дает исчерпывающее представление о преступной деятельности контрреволюционной, церковно-монархической организации «бувевцев», личном и руководящем составе ее участников, контрреволюционной монархической платформе и организационных принципах и тактике организации.

Одновременно с этим материалы следствия вскрывают социальную сущность и классовую природу «бувевщины» и определяют ее место в истории борьбы церкви против диктатуры пролетариата.

Контрреволюционная, церковно-монархическая организация «бувевцев» идеологически была неразрывно связана с руководя-

щим центром контрреволюционной, монархической организацией «имяславцев», и действовала, руководствуясь программной платформой, изложенной в брошюре — «Что должен знать православный христианин».

В начале 1928 года, после издания митрополитом Сергием декларации и указа о признании Советской власти и отмежевании церкви «от всего контрреволюционного», реакционные группы церковников в Ленинграде, Москве, Ярославле и др. районах объявили его изменником и откололись от него. Эти группы реакционных церковников организовали новый центр во главе с митрополитом Иосифом Петровых (б. Ленинградским митрополитом) и в дальнейшем раскололись на две категории<sup>1</sup>:

*первая*, т.н. левая, ограничившаяся в то время только объявлением митрополита Сергия изменником и созданием собственного центра во главе с митрополитом Иосифом Петровых и *вторая*, т.н. правая, не только объявившая митрополита Сергия изменником, но и связавшаяся идейно с руководящим центром «имяславия»<sup>2</sup> (проф. Лосев<sup>3</sup>, Новоселов<sup>4</sup>, свящ. Андреев<sup>5</sup>, Прозоров<sup>6</sup> и др.), на основе его программы — свержения Советской власти («власти антихриста») и восстановления монархии.

Вторую группу (правую) возглавлял архиепископ Ленинградский — Дмитрий Гдовский.

Обвиняемый Дулов Н.Н.<sup>7</sup>, близко знакомый с руководителем «имяславия»: Новоселовым, Андреевым и Прозоровым — в Ленинграде, и проф. Лосевым, свящ. Сидоровым<sup>8</sup>, Воронковым<sup>9</sup>, Тихомирным<sup>10</sup> и др. в Москве, показывает об этом:

Некоторые московские священники, как Сидоров, Воронков и др., фамилии которых не помню, стали говорить, что архиепископ Дмитрий не сочувствует позиции, занятой Иосифом и считает ее не конечной. По его мнению, сказав «А», надо сказать «Б», т.е. указав, что советская власть является незаконной, надо указать, какая же власть считается законной. При этом он разумел под законной властью — власть монархическую (л.д.843).

В 1929 г. в эту группу в Ленинграде входили: архиепископ Дмитрий, Новоселов, Прозоров, а также все имябожники (л.д.629, 629об).

Далее тот же Дулов Н.Н. говорит:

...Архиепископ Дмитрий относился к имяславцам покровительно, группируя вокруг себя известных деятелей имяславия — Новоселова, Андреева, Прозорова. Последний был одно время секретарем архиепископа Дмитрия. По своим приемам в разрезе подчинения своему влиянию церкви имяславцы являлись своего рода иезуитской организацией с девизом — «цель оправ-

дывает средства». Церковное и политическое мирозерцание имяславцев тесно переплетается и вытекает одно из другого. Отсюда понятно стремление их через церковь провести свои политические воззрения, т.е. монархические идеи (л.д.688, 689).

В этот период (откола церковников от митрополита Сергия) епископ Алексей Буй — управляющий Воронежской епархией, поддерживаемый ссыльными священниками в Воронеже: Пискановским<sup>11</sup>, Гортинским<sup>12</sup>, Пироженко<sup>13</sup>, Чиликиным<sup>14</sup>, Новосельцевым<sup>15</sup>, Андриевским<sup>16</sup> и др. (все, за исключением Алексея Буй и Гортинского, находятся в настоящее время в ссылке в разных районах СССР), объявил митрополита Сергия еретиком и ориентировался в начале на- [пропуск в тексте. — Публ.] трополите Иосифе Петровых (т.н. левой), но уже весной 1928 г. Алексей Буй пригнул к Дмитрию Гдовскому.

Келейник епископа Алексея Буя, Степанов С.Н., показал:

Будучи еще в Воронеже, у епископа Алексея на квартире часто бывали совещания с адмвысланными священниками: Пискановским, Андриевским, Чиликиным, Пироженко, Гортинским, Каменским, Новосельцевым. Они приносили к епископу Алексею разного рода антисоветскую и религиозную литературу и листки, разбирали их и принимали решения... Еп. Алексей перешел на монархический путь в своей работе среди подведомственного ему духовенства и верующих (л.д.642) /.../

Руководитель контрреволюционной, церковно-монархической организации — епископ Алексей Буй имел тесную связь с руководителями центра «Имяславия». Его же сторонниками (архиепископом Дмитрием Гдовским) был передан Алексею Буй весь юг России и избрана ему резиденция в городе Ельце.

По этому поводу Дулов Н.Н. показал:

Весной в 1928 году я из Москвы ездил с епископом Алексеем, по его приглашению в Ленинград, там мы встретились с архиепископом Дмитрием на квартире протоиерея Федора Андреева; у него в это время был и Новоселов Михаил Александрович.

В это время на квартире Андреева на устроенном совещании епископу Алексею были переданы архиепископом Дмитрием Гдовским весь юг России и здесь решено было избрать резиденцией еп. Алексея — г.Елец (л.д. 628 и 629об.) /.../

В марте 1928 года к еп. Алексею Буй, уже прославившемуся среди монархических церковников Юга России как активному борцу за «старую веру и порядок», приехал руководитель церковно-монархической организации в Майкопском, Черноморском, Арма-

вирском округах и Харьковщине (Сумский округ) — еп. Варлаам Лазаренко<sup>17</sup>, живший в то время нелегально от представителей Советской власти. Свой приезд еп. Варлаам обставил глубокой конспирацией. После соответствующего обмена мнений и информации о положении церковников в СКК и на Украине, еп. Варлаам признал еп. Алексея своим руководителем и идейным вождем и передал ему подведомственные ему (Варлааму) духовенство и верующих. Свой переход в подчинение еп. Алексея еп. Варлаам оформил рассылкой от своего имени воззвания к духовенству с указанием, что с этого времени он, Варлаам, и все, кто ему из церковников подчиняется, переходят под руководство епископа Алексея.

Обвиняемый свящ. Бутузов<sup>18</sup>, находящийся с еп. Алексеем в близких отношениях, показал:

18 марта 1928 года, придя на квартиру еп. Алексея, я застал у него гостя, причем, прежде чем ввести меня в свои комнаты, еп. Алексей в передней осведомился о моей честности и просил сохранить инкогнито своего гостя. Гость был еп. Варлаам Майкопский, скрывавшийся в то время от властей. Объехав юг России, еп. Варлаам объединил на платформе организации целый ряд приходов в Полтавщине, Харьковщине, на юге Курской губ. и, в частности, группу Сумского округа, возглавляемую свящ. Василием Подгорным<sup>19</sup>. Не имея абсолютности самому управлять, Варлаам передал их в полное руководство еп. Алексею. Это было начало объединения вокруг Алексея южных приходов России. /.../

Сам обвиняемый еп. Алексей показал об этом:

Когда ко мне пришел Сергей Бутузов, я в передней сказал ему, что у меня находится еп. Варлаам, который просил сохранить инкогнито. Еп. Варлаам в беседе со мной категорически заявил, что декларации митр. Сергия он не признает... Еп. Варлаам передал мне... послание об отходе от митрополита Сергия и о передаче мне православных приходов своей епархии, состоящих из Харьковского, Майкопского и Сумского округов, в последнем во главе со свящ. Василием Подгорным, которого я назначил благочинным над вышеуказанными двадцатью приходами (л.д.824об.).

Объединив, таким образом, под своим руководством церковников ЦЧО, юга России и СКК, еп. Алексей стал проводить в жизнь монархические идеи «имяславия». Для этого он назначил руководителями отдельных звеньев своей организации стойких монархистов: по Кубани — Перепелкина<sup>20</sup>, в Харьковщине — Подгорного, в горах Сев. Кавказа — еп. Варлаама.

Обвиняемый Степанов об этом показывает:

Ответственными лицами в СКК у еп. Алексея Буй были: в Кубано-Ставропольских губерниях — свящ. Перепелкин, а в горах Кавказа — еп. Варлаам (л.д.183).

В присланном в ПП ОГПУ по СКК обзоре по ликвидированной церковно-монархической организации, возглавляемой еп. Варлаамом Лазаренко, отмечены такие же методы работы церковников, как и у «буйцев» в ЦЧО. Пропаганда была поручена наиболее авторитетным членам ее. Распространение антисоветских брошюр и воззваний и устная пропаганда велась через штаб бродячих монахов и монашек, постоянно обходивших свои ячейки-общины. Содержание их сводилось к тому, что «Советская власть является властью безбожников, уничтожающих собственность и религию, а потому признаваемою монахами сатанинской» (Обзор л.д.7,8) /.../

Эта организация тоже имела связь с еп. Дмитрием Гдовским в Ленинграде и с благочинным — Василием Подгорным (г.Сумы) и его последователями, переданными потом Варлаамом еп. Алексею. Таким образом, организация «Буйцев» объединила к.-р. и церковно-монархические элементы не только ЦЧО, но и СКК и Украины. /.../

*ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-24705. Т.1. Л.1-3, 16-20.  
Подлинник.*

Утверждение следователей ОГПУ о расколе движения надуманно. Его использовали для мотивации различий в мерах наказания: тем, кого относили к «правым», давали в основном 5-10 лет лагерей, а «левых» отправляли в ссылку. Правда, неоднородность состава иосифлян обусловила разнообразие их взглядов на церковные вопросы. Большинство смотрело на митр. Сергия как на иерарха, превысившего свои полномочия и допустившего по этой причине неправильные действия, а часть видела в нем настоящего отступника от Православия, предателя и убийцу церковной свободы. К выразителям умеренных взглядов из руководителей движения принадлежали митр. Иосиф, еп. Сергей (Дружинин), прот. Василий Верюжский, более жесткую позицию, доходившую до отрицания таинств сергиан, занимали архиеп. Димитрий, прот. Феодор Андреев, свящ. Николай Прозоров и профессор М.А.Новоселов. Однако разница во взглядах не повлекла за собой раскола движения. Владыка Димитрий, пока было возможно, до осени 1929 поддерживал постоянную связь с жившим в ссылке в Моденском монастыре митр. Иосифом, с уважением относился к нему и старался исполнять почти все его указы. В январе 1929 владыка Иосиф возвел своего викария в сан архиепископа.

<sup>2</sup> Течение «имяславцев», или «имябожников», сторонников учения о

сушности имени Божиего, возникло на Афоне и в 1910-х распространилось в философских кругах России. Многие «имябожники» полагали, что все напасти, обрушившиеся на Россию, — войны, революции — наказание за «оскорбление» имени Божиего Св.Синодом в 1912. Они резко отрицательно относились к Советской власти, считая Ленина антихристом, а коммунистов — слугами его. Это течение имело некоторое влияние на московских иосифлян, однако вовсе не определяло программу и тактику движения в целом.

<sup>3</sup> Лосев Алексей Федорович (1893-1989) — философ. В 1922-1930 профессор Московской консерватории и МГУ. Арестован 18 апреля 1930. 17 месяцев провел в лубянской тюрьме. 3 сентября 1931 приговорен Коллегией ОГПУ по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие» к 10 годам лагерей. Отправлен в Свирлаг на строительство Беломоро-Балтийского канала. В середине 1930-х был освобожден, после лагеря почти ослеп. В 1938-1941 преподавал в педагогических институтах Куйбышева, Чебоксар, Полтавы. В июле 1941 вернулся в Москву.

<sup>4</sup> Марк (*Новоселов* Михаил Александрович) — тайный епископ. Род. в 1864 в с.Бабые Домославской вол. Вышневолоцкого уезда Тверской губ. в семье директора гимназии. Окончил 4-ю Московскую гимназию и историко-филологический факультет Московского университета. Сблизился с Л.Н.Толстым. Арестован 27 декабря 1887 за издание и распространение нелегальной народнической и толстовской литературы. Освобожден в феврале 1888 под гласный надзор полиции с запрещением проживать в столицах. В 1888 купил землю в с.Дугино Тверской губ. и создал толстовскую земледельческую общину, просуществовавшую 2 года и затем распавшуюся. В конце 1891-1892 по призыву Толстого помогал оказывать помощь голодающим в Рязанской губ. С 1902 публиковал религиозно-философскую литературу. Возглавил издание «Религиозно-философской библиотеки» в Вышнем Волочке, Москве и Сергиевом Посаде. За заслуги в деле духовного просвещения и христианской апологетики в 1912 избран почетным членом Московской Духовной академии. Активно участвовал в деятельности Петербургских религиозно-философских собраний (в 1901-1903) и Московского религиозно-философского общества памяти Вл.Соловьева (1905-1918). Один из организаторов и руководителей «Кружка ищущих христианского просвещения» в Москве. Профессор Московского университета по кафедре классической филологии. В 1918 участвовал в работе отдела о духовно-учебных заведениях Поместного Собора Русской Православной Церкви. Арестовывался в 1923, 1927. В 1928-1929 один из руководителей и главных идеологов иосифлянского движения. Жил в Ленинграде, тайно хиротонисан во епископа Марка. В мае 1928 участвовал в совещании руководителей иосифлян на квартире прот. Феодора Андреева. Арестован в нач. 1929 и 17 мая 1929 приговорен Коллегией ОГПУ к 3 годам лишения свободы. В 1930 в ссылке в Суздале, затем заключен в Бутырскую тюрьму. 3 сентября 1931 приговорен Коллегией ОГПУ по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие» к 8 годам лагерей с поглощением приговора 1929. Отбывал в Ярославской политической тюрьме. 7 февраля 1937 приговорен Особым

Совещанием Управления НКВД к 3 годам лишения свободы. 26 июня 1937 прибыл в Вологодскую тюрьму. За проведение в ней «контрреволюционной агитации» приговорен Тройкой при Управлении НКВД Вологодской области 17 января 1938 к ВМН. Расстрелян в Вологде.

<sup>5</sup> *Андреев* Феодор Константинович — протоиерей. Род. 1 апреля 1887 в Санкт-Петербурге в состоятельной купеческой семье. Окончил в 1905 Петербургское реальное училище, 4 курса Петербургского института гражданских инженеров, в 1909 сдал экзамены экстерном в Московскую Духовную семинарию и в 1913 окончил Московскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1916 преподавал в МДА философию и логику, стал ее профессором, магистром богословия. В 1919 после закрытия МДА переселился в Петроград, поступил преподавателем русской словесности и литературы в быв. Михайловское артиллерийское училище. С осени 1919 стал читать лекции по Ветхому Завету в открывшемся Петроградском Богословско-пастырском училище, преподавал в нем до 1928. В 1921-1923 преподавал также апологетику и литургику в Петроградском Богословском институте. 17 декабря 1922 рукоположен в диакона, а 19 декабря 1922 — во священника и назначен 4-м свящ. в Казанский собор; после захвата его весной 1923 обновленцами временно не служил. Осенью 1923 назначен еп. Мануилом (Лемешевским) младшим священником Сергиевского собора. В 1927 возведен в сан протоиерея. Один из руководителей и главный идеолог иосифлянского движения. Составил «Послание» Петроградской делегации к митр. Сергию от 9-11 дек. 1927, текст и формулу «Отложения» петроградских иосифлян в декабре 1927. Арестовывался 14 июля 1927 ОГПУ по обвинению в «контрреволюционной агитации», но 31 августа 1927 был освобожден под подписку о невыезде. Постановлением от 10 ноября 1927 за недоказанностью обвинения дело было прекращено. В декабре 1927 перешел в собор Воскресения Христова. Арестован в октябре 1928, в тюрьме заболел туберкулезом горла, тюремные врачи определили ему 1 месяц жизни, и в начале 1929 о. Феодор был освобожден без приговора. Умер 23 мая 1929. Похороны на Братском кладбище Александро-Невской лавры превратились в многотысячную демонстрацию.

<sup>6</sup> *Прозоров* Николай Кириакович — священник. Род. в 1897 в Воронеже. Учился в Духовной семинарии, но в 1915 ушел добровольцем на фронт, получил чин подпоручика. В 1918 вернулся в Воронеж, был арестован, обвинен в участии в офицерском заговоре и приговорен к ВМН. Расстрел заменили тюремным сроком. После освобождения рукоположен архиеп. Иоанном (Поммером) в сан священника. Из-за запрещения жить в Воронеже переехал в Петроград. В 1927-1929 настоятель церкви Св. Александра Ошвенского на Пискаревке. Один из иосифлянских идеологов, был секретарем архиеп. Димитрия. Арестован 28-29 ноября 1929. Приговорен 17 августа 1930 Коллегией ОГПУ к ВМН. Расстрелян 20 августа 1930. Канонизирован Зарубежной Русской Православной Церковью.

<sup>7</sup> *Дулов* Николай Николаевич — протоиерей. Род. в 1885 в Москве. В 1906 закончил Археологический ин-т в Петербурге, в 1913 — Александр

ровскую военно-юридическую академию. В годы Первой мировой войны начальник штаба дивизии, подполковник Генерального штаба. С 1920 священник храма Трифона мученика в Москве. Исполнял поручения Патриарха Тихона и в мае 1922 был арестован вместе с ним. Приговорен к 3 годам ссылки. Вернулся в Москву в сентябре 1925 и до 1929 служил в храме Трифона-мученика. В 1928-1929 один из активных помощников еп. Алексия (Буя), помогал осуществлять связи с иосифлянами Москвы и Ленинграда, привозил антисергианскую литературу. Весной 1928 ездил к митр. Иосифу, в мае 1928 участвовал в совещании иосифлянского руководства в Ленинграде. Московские иосифляне предлагали ему сан епископа, но Дулов отказался. К осени 1929 2-й священник в Крестовоздвиженском храме на Воздвиженке, в сентябре назначен архиеп. Димитрием временно исполняющим обязанности настоятеля его. Но 28 октября 1929 арестован в Москве. Вины не признал и 23 ноября 1929 приговорен Особым Советом Коллегии ОГПУ к 5 годам лагерей. С 4 декабря 1929 отбывал срок в Соловках. Привлечен к следствию по делу «бுவцев», с 5 мая 1930 в Воронежской тюрьме. 28 июля 1930 приговорен Коллегией ОГПУ по этому делу к 10 годам лагерей. Переведен в Бутырскую тюрьму. Проходил по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие». 3 сентября 1931 приговорен Коллегией ОГПУ к 5 годам лишения свободы условно и затем освобожден. В 1930-е служил в последнем иосифлянском храме Московской епархии — Благовещения близ ст. Мичуринец до его закрытия в начале 1941.

<sup>8</sup> *Сидоров Александр* — священник. Род. в 1890-е. Настоятель главного иосифлянского храма в Москве — Крестовоздвиженского на Воздвиженке, арестован к сентябрю 1929. В 1931 в лагере в Кеми объявлен повесившимся, хотя накануне его видела жена, прибывшая на свидание.

<sup>9</sup> *Воронков Александр* — священник. Служил в московском иосифлянском храме. Арестован в 1929 и отправлен в лагерь.

<sup>10</sup> *Тихомиров Николай* — преподаватель школы в Москве. Активный иосифлянин. Арестован в 1930. Приговорен Коллегией ОГПУ по делу Всесоюзного центра «Истинное Православие» 3 сентября 1931 к нескольким годам лагерей.

<sup>11</sup> *Пискановский Николай Акимович* — протоиерей. Род. в 1887 в селе Степанок Гродненской губ. До 1914 — священник в храмах Гродненской губ. Летом 1914 с началом Первой мировой войны переехал на Украину и поселился в Александрийском уезде Херсонской губ. В 1914-1922 священник церкви с.Ивановка Александрийского уезда, активно боролся с обновленцами. В 1922 назначен настоятелем Успенского собора г.Александрии, но через несколько недель арестован. После освобождения еще не раз арестовывался и переселялся административно. С 1926 служил в Полтаве, из которой в конце 1927 был выслан на 2 года в Воронеж. Стал одним из руководителей иосифлянского движения в епархии. Арестован 10 мая 1928, приговорен 31 июля 1928 Коллегией ОГПУ к 3 годам лагерей. С конца 1928 в Соловецком лагере, работал в «Рыбзверпроме», плел сети.

Участвовал в тайных службах, общий духовник иосифлян на Соловках, их духовный руководитель и старец. Освобожден 5 декабря 1931 и по постановлению Коллегии ОГПУ от 12 октября 1931 выслан в г.Котлас Архангельской обл. на 3 года. Умер в 1932 от туберкулеза.

<sup>12</sup> *Гортинский* Сергей Дмитриевич — священник. Род. в 1889 в Рязани. В начале 1920-х служил в Рязани. С 1925 свящ. церкви с.Казинка Ставропольской губ. Арестован у конце 1926 и 4 февраля 1927 по ст.58-10 приговорен к трем годам ссылки. Выслан в Воронеж, служил в церкви Алексеевского монастыря. С мая 1928 входил в благочиннический совет. С мая 1929 возглавлял иосифлянский «пресвитерианский совет», управлявший епархией. В конце 1929 арестовывался за присвоение прав Управляющего епархией, но из-за отсутствия доказательств освобожден. Вновь арестован в феврале 1930. Приговорен Коллегией ОГПУ 28 июля 1930 к ВМН и 2 августа 1930 расстрелян.

<sup>13</sup> *Пироженко* Илия Иоаннович — протоиерей. Род. в 1888 в сл.Поповка Харьковской губ. в мещанской семье. В 1923 осужден и отправлен в Соловецкий лагерь. После освобождения 1 октября 1926 прибыл в Воронеж как административно высланный и был сразу же назначен настоятелем Князь-Владимирского собора. Арестован 28 ноября 1927. По заключению заместителя прокурора Воронежской губ. от 30 декабря 1927 изобличался в том, что имел «антисоветское произведение под видом ответа митрополиту Сергию Нижегородскому». Постановлением Особого Сопещения при Коллегии ОГПУ от 17 февраля 1928 выслан в Сибирь на 3 года. В начале 1930-х в ссылке в г.Енисейске, встречался там с митрополитом Кириллом (Смирновым).

<sup>14</sup> *Чиликин* — протоиерей. В 1927-1928 жил в Воронеже на положении административно ссыльного, служил в местных храмах. Арестован в мае 1928. Приговорен Особым Сопещанием при Коллегии ОГПУ 31 августа 1928 к 3 годам лагерей.

<sup>15</sup> *Новосельцев* Петр Иоаннович — протоиерей. Род. в 1883 в с.Смирново Нижегородской губ. Арестован в 1926 и с ноября 1926, согласно постановлению Коллегии ОГПУ, отбывал ссылку в Воронеже. Служил настоятелем Покровской церкви. Арестован 25 октября 1927 и постановлением Особого Сопещения при Коллегии ОГПУ от 17 февраля 1928 вместе с Пироженко выслан в Сибирь на 3 года. В начале 1930-х в ссылке в г.Енисейске, встречался там с митр. Кириллом (Смирновым).

<sup>16</sup> *Андриевский* (Андреевский) Иоанн Ардалионович — протоиерей. Род. в 1875 в с.Гольшовка Воронежской губ., закончил Воронежскую Духовную семинарию. С 1901 секретарь при архиеп. Анастасии в Благовещенском Митрофановском монастыре, после смерти которого в 1913 перешел к архиеп. Калужскому Тихону. С 1920 свящ. в Рождественской церкви Воронежа, затем до 1922 настоятель Воскресенской церкви. За борьбу с обновленцами лишен прихода, служил по квартирам до ареста в конце 1922. К 1925 освобожден, с приездом в Воронеж архиеп. Петра (Зверева) назначен духовником у кающихся обновленцев. До 1928 жил в

Воронеже на положении административно ссыльного, служил настоятелем Воскресенской церкви, один из инициаторов присоединения духовенства епархии к иосифлянам. Арестован 10 мая 1928 и, согласно постановлению Коллегии ОГПУ от 31 августа 1928, сослан в Среднюю Азию на 3 года, в г.Кинимех. После возвращения из ссылки в 1931 в ЦЧО арестован вновь. Всего провел в лагерях и ссылках 28 лет. Окончательно освобожден в 1956 уже сильно больным. Поселился в Воронеже, где возглавлял местную катакомбную общину. В конце 1950-х постригся в монашество с именем Иларий. Умер 26 июня 1961 в Воронеже.

<sup>17</sup> *Варлаам (Лазаренко* Григорий Яковлевич) — епископ. Род. в 1879 в с.Новоселицы Полтавской губ. В конце 1923 в Киеве хиротонисан во еп. Лебединского Полтавской епархии. С середины 1920-х еп. Майкопский Кубанской епархии. В декабре 1926 арестован в Майкопе по обвинению в причастности к контрреволюционной организации и проведении анти-советской агитации. Но следствие состава преступления не доказало, и постановлением Полномочного Представительства ОГПУ в Северо-Кавказском крае от 4 февраля 1928 дело было прекращено. С начала 1928 активный иосифлянин. 18 марта 1928 передал объединенные и возглавленные им отошедшие от митр. Сергия приходы Харьковского, Сумского округов и Кубани еп. Александрию (Бую), а сам стал представлять его в горах Северного Кавказа. Окормлял иосифлян Майкопского, Черноморского и Армавирского округов. Арестован в сентябре 1929, приговорен к ВМН и в конце года расстрелян.

<sup>18</sup> *Бутузов* Сергей Александрович — священник. Род. в 1896 в Москве. Из семьи личного почетного гражданина. Окончил 7-ю Петроградскую гимназию и в 1916 столичную Духовную академию. В сане с 1916, с 1918 до января 1928 служил в Орловской губ. Арестовывался в 1924 за сокрытие церковных ценностей, но был оправдан судом. С февраля по август 1928 настоятель Владимирской церкви г.Ельца, инициатор присоединения 19 марта 1928 ее прихода к иосифлянам. Арестован 21 июля 1928 и 12 сентября выслан из Елецкого окр. ОГПУ по ст.58-10. С сентября по декабрь 1928 жил в Воронеже, со 2 января по 2 ноября 1929 настоятель церкви с.Н.-Икорец Лискинского района. Приглашен архиеп. Димитрием (Любимовым) в Ленинград, с 6 ноября 1929 жил на ст. Всеволожская, с начала декабря 1929 служил в Моисеевской церкви Ленинграда. Арестован 19 марта 1930 и через неделю переправлен в Воронеж. 28 июля 1930 приговорен Коллегией ОГПУ по ст.58-10, 11 к 5 годам лагерей. С 12 сентября 1930 отбывал срок в Соловецком лагере.

<sup>19</sup> *Подгорный* Василий Филиппович — священник. Внук почитаемого старца прот. Стефана Подгорного, после смерти которого его последователи — «стефановцы» на съезде в декабре 1924 избрали о.Василия духовником. С тех пор возглавлял около 20 приходов в Сумском, Харьковском, Белгородском и Артемовском округах. Служил в храме г.Сумы. В начале 1928 «стефановцы» присоединились к иосифлянам и с марта 1928 по март 1929 окормлялись еп. Алексием (Бум). О.Василий являлся благочинным «стефановских» приходов до ареста 16 октября 1930. Про-

ходил по делу украинских истинно-православных и 2 января 1932 приговорен ОГПУ к 10 годам концлагеря. Расстрелян в 1937.

<sup>20</sup> *Перепелкин* Василий Павлович — священник. Род. в 1880 в Херсонской губ. В годы Первой мировой войны офицер. К лету 1928 более 10 раз находился под арестом. В июне 1928 назначен еп. Алексием (Бум) благочинным части иосифлянских приходов Кубани и Ставрополя, награжден им палицей. Служил в г.Ейске. Дважды ездил в Ленинград к архиеп. Димитрию и 1 раз в Моденский монастырь к митр. Иосифу. Из-за конфликтов со сторонниками архиеп. Димитрия на Кубани в октябре-ноябре 1928 снят с должности благочинного. Арестован в начале янв. 1929 и приговорен Полномочным Представительством ОГПУ в Северо-Кавказском крае 26 января 1929 к высылке в Северный край на 3 года. 4 апреля 1932 арестован на месте ссылки как руководитель «монархической контр-революционной организации церковников» на Кубани. 9 сентября 1932 приговорен Тройкой при Полномочном Представительстве ОГПУ в Северо-Кавказском крае к 5 годам концлагеря.

7

*Серия «К»*

Старшему уполномоченному ИСЧ  
2-го Отделения Свирлаг т. Сергееву

В обслуживаемом Вами Отделении содержится заключенный Буй Алексей, являющийся учетником литерного дела «Православное духовенство». Названный является б. Управляющим Воронежской епархией и исполняющим обязанности Экзарха Украины.

Немедленно через имеющееся у Вас спецосведомление окружить его постоянным и непрерывным наблюдением, выявляя его действия и связи с заключенными в лагерях и вне, с кем, когда и где названный имеет разговоры и на какую тему, прикрепив к нему постоянного спецосведомителя «Звезда», через которого и ведите наблюдение.

Сообщите, нам на каком л/пункте Буй содержится и какую выполняет работу. Весь получаемый на него инфматериал немедленно помещайте в очередные меморандумы, которые представляйте нам.

2 февраля 1932  
№315/к

Начальник Инф. Сл. Отд. Усвирлаг ОГПУ  
Николаев  
Врио Уполномоченный ИСО Котенков

*ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-17699. Т.7. Л.40. Подлинник.*

«...ЗАКОН ИИСУСА ХРИСТА ПОБЕЖДАЛ И ПОБЕДИТ  
И ЦАРСТВО ЕГО НЕ РАЗРУШИТСЯ ВО ВЕК»

ВОЗЗВАНИЕ<sup>1</sup>:

Пусть эта статья заронит слово, как горячую искру в сердце каждого человека, который имеет в себе божество и веру во единого Господа нашего Бога Иисуса Христа Спасителя.

Возлюбленные братья! Православные христиане, миротворцы! Не забудьте о своих братьях, которые страдают в затворах, тюрьмах за слово божие и за веру, правды Господа нашего Иисуса Христа, ибо они находятся в страшных темных узах, которые настроены вместо гробов для всех невинных людей. Тысячи, тысячи миролюбивых братьев томятся заживо похороненные в этих гробах, кладбищах, тело на них истлело и душа их болезнует день и каждый час, ни одной благой минуты, они обречены на смерть и на безнадежную жизнь. Это есть Христова меньшая братия, они несут тот крест, который нес Господь. Иисус Христос получил смертное страдание и был похоронен во гробе, привален камнем и охранялся стражей. Пришел тот час, что смерть не могла удержать в своих узах пострадавшего тела Христа, ибо ангел господний, сошедший с небес, отвалил камень от гроба и произошло бегство стерегущих воинов от страха великого. Иисус Христос воскрес из мертвых. Но и по этим замкам, где томится братия за слово божие, ударит гром и разобьет все затворы, где грозит смерть людям.

*ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-17699. Т.7. Л.44. Подлинник.*

<sup>1</sup> Написано летом 1932 воронежским иосифлянином портным-кустарем Е.З.Ворониным.

*Секретно*

Заведующему отделом пропаганды  
управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)  
тов. Ковалеву С.М.

9 апреля 1948 г.

По вашему запросу направляем справку о деятельности религиозных групп и сект на территории Воронежской области, а также

справку об исключенных из рядов ВКП(б) за совершение религиозных обрядов за 1946-1947 гг.

Приложение: упомянутое.

Секретарь обкома ВКП(б)  
по пропаганде и агитации

И.Цедилин

/.../ Наряду с официально действующими православными церквями, в области существует большое количество нелегальных групп верующих православного толка, из которых наиболее распространенным течением является «истинно-православные христиане» (сокращенно «ИПХ»).

«ИПХ» исповедуют православную веру, но не признают ныне действующих церквей, как связанных с «безбожной Советской властью и коммунистами».

Основные кадры «ИПХ» состоят в основном из бывших монашеских, монахов, черничек и религиозно настроенных бывших кулаков.

Течением «ИПХ» более поражены В.Хавский, Молотовский, Боринский, Липецкий, Грязинский, Лосевский, Подгоренский, Новохоперский, Елань-Коленовский, Н.Усманский, Анненский, Лимановский, Папинский, Лискинский районы.

За 1947 год и 3 месяца 1948 г. Управлением МГБ было вскрыто и ликвидировано 11 антисоветских групп «ИПХ» с общим количеством арестованных 50 человек.

В Грибановском районе антисоветской группой церковников руководил проповедник Самойлов Борис Михайлович, 1923 г. рождения, уроженец города Липецка Воронежской области.

Самойлов на территории Грибановского и смежных с ним районов Воронежской области сумел расположить к себе значительное количество верующих из отсталой части населения, среди которых проводил богослужения. Этому способствовало то обстоятельство, что до сентября 1946 г. в Грибановском районе церковь не функционировала, церковные обряды верующими совершались на дому.

Самойлов во время молебствий и бесед с верующими проводил активную агитацию.

Члены группы «ИПХ» систематически участвовали в нелегальных сборищах, где наряду с молениями обсуждали вопросы форм ведения активной деятельности среди населения. Распространяли провокационные разговоры о якобы скорой войне СССР с Америкой и другими капиталистическими странами и гибели в этой войне Советского Союза. В период выборов в Верховные

органы Советской власти призывали население не участвовать в них, не работать в колхозах, отказываться от уплаты налогов и госплатежей. Вели работу по вовлечению в антисоветские группы новых участников /.../

«Иоанниты»<sup>1</sup>

Секта последователей Иоанна Кронштадтского (бывшего протоиерея Кронштадтского собора Ивана Сергиева).

Члены этой секты исповедуют православную религию, но кроме этого Иоанна Кронштадтского признают за святого и в первую очередь поклоняются ему.

Так же, как и «ИПХ», «иоанниты» не признают ныне действующих церквей, как церквей, связанных с Советской властью.

Отдельные группы «иоаннитов» выявлены в городе Воронеже и его окрестностях, а также в Воронцовском районе. Общее количество «иоаннитов» в Воронежской области не превышает 70-80 человек.

Руководители их среди своих единомышленников ведут антисоветскую агитацию с клеветой на Советскую власть и восхваление бывшего царского строя России. Воронежские «иоанниты» через своих «курьеров» связаны с единомышленниками ряда городов Союза, как-то: Новгорода, Калинина, Харькова и других.

Секретарь обкома ВКП(б)

по пропаганде и агитации

И.Цедилин

*РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.593. Л.24, 26-27, 30-31.*

*Подлинник.*

<sup>1</sup> Строго говоря, *иоанниты* сектой не являлись, хотя принимались в Патриаршую Церковь в 1917-1920 через покаяние. В настоящее время о.Иоанн Кронштадтский канонизирован Русской Православной Церковью. Как и «стефановцы», иоанниты в 1928 почти полностью влились в иосифлянское движение. Из-за своих радикальных взглядов особенно жестоко преследовались органами ОГПУ.

/.../ Управлением МГБ по Воронежской области за антисоветскую деятельность 4 января 1951 года был арестован проживавший на нелегальном положении

— Капинус Андрей Антонович<sup>1</sup>, 1887 года рождения, уроженец дер. Краснополка Маловишковского района Кировоградской области, украинец, гр-н СССР, беспартийный, из крестьян-бедняков, грамотный, одинокий, без определенных занятий и местожительства, судимый в 1931 году по ст.58-10 и 58-11 УК РСФСР к 5 годам концлагерей и в 1937 году — к 5 годам ИТЛ.

Из обвинительного заключения:

«...Капинус А.А. являлся руководителем антисоветской организации так называемых "истинно-православных христиан", созданной им в целях саботирования проводимых правительством мероприятий, и занимался активной контрреволюционной деятельностью, направленной на вовлечение в организацию новых лиц и обработку их в антисоветском духе».

Постановлением Особого Совещания при МГБ СССР от 15 сентября 1951 года по ст.ст.58-10 ч.2 и 58-11 УК РСФСР Капинус Андрей Антонович за участие в антисоветской организации и антисоветскую агитацию был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет, считая срок с 4 января 1951 года.

Решением Центральной Комиссии по пересмотру уголовных дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, содержащихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселении от 13 сентября 1955 года, «Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 15 сентября 1951 года в отношении Капинуса Андрея Антоновича было оставлено без изменений». /.../

*ЦДНИ ВО. Ф.9323. Оп.2. Д.П-25437. Т.1-5.*

<sup>1</sup> Анувий (*Капинус Андрей Антонович*) — иеромонах. Род. в 1887 в Херсонской губ. в крестьянской семье. С 1906 служил в лейб-гвардии Семеновском полку, в годы Первой мировой войны на фронте. В период гражданской войны служил у белых. В начале 1920-х принял монашество в Онуфриевском монастыре Херсонской губ. До 1928 служил иеродиакonom в Киеве. С 1928 по ноябрь 1930 — в Покровской церкви Серпухова. В 1929 приезжал в Ленинград к архиеп. Димитрию, который возвел его во иеромонаха. Арестован 15 ноября 1930. Приговорен 5 февраля 1931 Коллегией ОГПУ к 5 годам лагерей. Отбывал срок под Воркутой на лесоповале. В середине 1930-х освобожден, поселился в Астрахани, где в 1937 снова оказался арестован. После освобождения в 1943 поселился в Воронеже, окормлял общину истинно-православных. 4 января 1951 арестован, приговорен к 10 годам лагерей. После освобождения в 1956 вернулся в Воронеж. В конце 1950-х совершил тайный постриг в схиму с именем Амвросий. С 1961 возглавлял Воронежскую и ряд других катакомбных общин до своей смерти в октябре 1966.

**ДНЕВНИКИ  
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ  
МАРГИНАЛИИ**



**Иннокентий Басалаев**  
**ЗАПИСКИ ДЛЯ СЕБЯ**

Предисловие А.И.Павловского,  
публикация Е.М.Царенковой, примечания А.Л.Дмитренко

Это первая большая публикация из книги Иннокентия Мемноновича Басалаева (1897-1964) «Записки для себя»: до нее печатались лишь короткие выдержки, но и они, несмотря на почти полную неизвестность автора, обратили на себя заинтересованное внимание — прежде всего тем, что это хорошая выразительная проза, в ней множество точных портретных зарисовок писателей, черт и событий ушедшей эпохи 20-50-х годов. «Записки...» Инн. Басалаева выполнены острым и верным пером талантливого графика, а иногда как бы с помощью скрытой камеры или «боковым зрением», когда «натура», не подозревая об объективе, ведет себя совершенно естественно, раскрываясь, как говорится, «на пустяках» — на жесте, штрихе, детали или случайном слове. С множеством персонажей своей книги автор «Записок...» был близко знаком, у тех, с кем не был короток, всегда пользовался уважением и доверием. Дело не только в личном обаянии, поэтичности его облика, несколько старомодной учтивой, «петербургской» манере поведения, в открытости и дружелюбии, но, что немаловажно для литературной среды, в которой он всю жизнь вращался, в мимоходом брошенных замечаниях по поводу какого-нибудь стиха, рассказа или чьей-нибудь литературной манеры. Эти невзначай оброненные реплики были так точны, что сразу же запоминались, и с таким человеком уже искали случая поговорить. За несколько десятилетий подобных неожиданных контактов накопилось немало, иные из них переходили в дружбу.

Родился Басалаев в глухом сибирском городке, но чуть ли не половину жизни прожил в Средней Азии — сначала в Фергане, где окончил гимназию, а потом — в Ташкенте. Немало лет работал в ташкентских газетах. Он очень любил этот край, любил называть себя «туркестанцем». Его последней мечтой было поехать в Фергану, и мы иногда обдумывали этот план. Но поехать туда мне пришлось уже без него...

Инн. Басалаев начинал со стихов. Работа в газетах, по-видимому, дала ему известный навык быстрого схватывания жизненного материала и умение точно его подать на минимуме газетной площади. Желая получить профессиональную помощь, он стал переписываться с ленинградскими писателями. Из них наибольшую, если не определяющую роль сыграл в его судьбе Вс.Рожественский: он отвечал на вопросы молодого литератора аккуратно и обстоятельно. Наконец Басалаев стал появляться в Петрограде—Ленинграде, завязал дружбу с Евг. Замятиным, Н.Тихоновым, К.Фединым, М.Фроманом. А в 1931 году, по совету Вс. Рожественского, навсегда переехал в Ленинград. К тому времени у него уже образовалась привычка методично записывать свои впечатления. Трудно сказать, когда именно, но, по-видимому, уже в середине или к концу 1920-х он понял, что его «Записки для себя» не должны быть ни репортерской скорописью, ни даже просто дневником, им необходимо отдать все способности души и таланта, а также все свободное от службы и нелегкого быта время. Когда я с ним познакомился, по совместной работе в «Звезде» (1951), у него шла наитруднейшая полоса жизни. Была арестована и сослана Ида Моисеевна Наппельбаум, ставшая его спутницей после смерти ее первого мужа М.Фромана. Было, по-видимому, так трудно, что, написав ради заработка рецензии, он иногда просил меня опубликовать их в журнале за моей подписью, так как гонорар, по тогдашним правилам, сказывался не то на зарплате, и так мизерной, не то на пенсии. Скорее всего, Иннокентию Мемноновичу не хотелось лишний раз «высываться». Несмотря на трудное существование, грех уныния не был свойствен Басалаеву — какая-то внутренняя веселость сердца постоянно жила в нем, словно жизнелюбивое ферганское солнце не спешило зайти в его душе. Иногда, правда, очень редко, он читал свои стихи, но я так и не знаю, были ли то стихи старые, из молодости, или новые, потому что внутренний возраст у него всегда был молодой. Именно он — в чтении наизусть и наедине — познакомил меня с поэтами того века, какой называют Серебряным. А это был риск — ведь могли слушать и стены.

Мало-помалу мне открывалась своеобразная техника работы над Главной книгой его жизни. Фиксируя впечатления ежедневно (событие, жест, фразу, лицо, обстановку), он затем неоднократно возвращался к своей первоначальной записи. И тут-то, как я понял, и наступала настоящая писательская работа. Не следует думать, однако, что происходило сочинительство. Наоборот, все заключалось в том, чтобы «пришпиленный к бумаге» день выступил на странице с наивозможной рельефностью, в наиболее точных деталях и в той объемной психологической правде, которую при первой записи редко когда схватишь. Он был подлинным писателем-профессионалом, причем из тех редких, что, поставив себе цель, осуществляют ее в течение всей своей жизни. Скорее всего, он пришел к этому во многом стихийно, а постепенно осознав свое призвание, стал ему служить.

Каждая эпоха хочет быть услышанной. Официальная литература обычно не доносит до потомков всех голосов, звучавших когда-то и во время не уловленных даже великими художниками. Инн. Басалаев был

безвестным слушателем и фиксатором не только явных звуков, ярко освещенных лиц, но будничной, изнанковой стороны литературного времени, в котором ему довелось жить. Он был знаком с великим множеством интереснейших людей, которым не приходило в голову таиться от него или тем более позировать, а также внимательно наблюдал еще большее число людей, с ним и вовсе не знакомых, более того, совершенно его — по своей душевной близорукости или номенклатурной высоте — не замечавших. Его портретные зарисовки и тех и других поразительны.

Как-то в шутку (уже незадолго до его смерти) и отчасти боясь невзначай обидеть, я назвал его безвестным Нестором огромной литературной эпохи. Он рассмеялся, потом посерьезнел: «А что ж...»

\*\*\*

«Записки для себя» велись И.М.Басалаевым с 1926 по 1961 и составляют десять «тетрадей». Автор неоднократно читал их в дружеском кругу, в начале 1960-х ознакомил с машинописным текстом «Записок» некоторых писателей — очевидно, не столько на предмет возможной публикации (такая возможность была сомнительна), сколько для того, чтобы узнать их мнение о литературных качествах своего произведения. Познакомившись с текстом «Записок», К.А.Федин писал Басалаеву 27 ноября 1960: «Стилистически записки отличаются от распространенного гладкописания мемуаристов /.../ Вы правы, конечно, что не наступила пока пора для публикации таких работ, как Ваша: у нас нынче еще избегают увлечений мемуарами. Но я думаю, Вам еще рано сдавать "Записки" куда-нибудь в лит. архив: продолжайте пополнять их, и они будут напечатаны — вот увидите — в не очень далеком будущем» (ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.330. Л.1). В письме от 21 июля 1964: «Рад, что Вы не оставляете мысли продолжать свои мемории» (Там же. Л.60б.). Известен также большой и в целом неоднозначный отзыв С.М.Штут, назвавшей «Записки» «трудами и днями некоего литературного сообщества» (ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.339. Л.40б.). После смерти Басалаева последний вариант «Записок» был отпечатан на машинке, и вдовой писателя, И.М.Наппельбаум, был предпринят ряд попыток публикации. Некоторые фрагменты появились в печати: Нева. 1982. №2. С.165-168; Литературное обозрение. 1989. №8. С.103-112 (вступ. слово, публ. и прим. Н.Крайневой и В.Сажина); Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С.566-582; Об Анне Ахматовой. Л., 1990. С.170-172; Ленинградская правда. 1990. 31 октября. №251. С.3; Искусство Ленинграда. 1991. Февраль. С.83-96 и Март. С.98-108 (публ. Е.Царенковой, комм. В.Перца); Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С.21-22.

Для настоящей публикации отобраны первая, третья и четвертая тетради. Текст печатается в последней авторской редакции по машинописному экземпляру, хранящемуся в ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.16.

Пишите просто собственные записки, не гоняясь за фантазией и не называя их романом; тогда ваша книга будет иметь интерес всякой летописи и произойдет еще та выгода, что вас будут читать люди не с намерением читать роман, ибо такое расположение духа в читателе гибельно для всего того, что вы почитаете лучшим в своем сочинении. Не обманывайтесь даже успехами: читатели ищут в ваших романах намеков на собственные имена, когда не ищут романа...

*Пушкинский «Современник», №31*

### Тетрадь первая. 1926 г.

Николай Тихонов дома похож на молодого провинциального учителя. Ходит в блузе, в туфлях. Играет с белым котом. Тот прыгает ему на плечи, и рука, написавшая «железные баллады», неуклюже лаская кота, тут же мягко опускает его на пол. Кот не обижается. Кот и хозяин — на дружеской ноге...

Свои стихи Тихонов читает басом, с сердитым лицом, упершись руками о стол. Мужественная лирика сурового воина, вернувшегося на родину, гремит проклятьями трусу. Его бас рычит, ломая тишину притихшего зала, и вот-вот обрушит стены Дома печати на Мойке<sup>2</sup>. Так мог бы читать стихи молодой мамонт при сотворении мира.

Дикция у Тихонова невыразительна, но его слушают, затаив дыхание.

Слушают, потому что Тихонов — имя и знамя.

---

В одном из стихотворений книги «Поиски героя» он пишет:

Скамейка садовая, зеленый сон,  
Отдых, понятный сразу  
Пешеходам усталым всех племен,  
Всех времен и окрасок...<sup>3</sup>

Не могу представить его на садовой скамейке. Можно угадать, как он сидит на лошади, на верблюде, осле, даже на слоне, но на скамье в саду — нет.

Он весь в поисках. Он заряжен ими — как ружье пульей. Он весь — «езда в незнаемое». Отсюда — характер, привычки, быт.

Одевается скромно и бедно. Теперь, может быть, потому, что денег мало, а скорее всего не придает одежде большого значения и, как всякий русский, сам не «по одежке встречает»; а впоследствии это будет традицией. Неприхотлив в пище. Когда дома его спрашивают: «У нас сегодня купили мяса, хочешь пирожков?» — отвечает: «Мне все равно!»

Курит трубку. Ну, это даже полагается ему — солдату-ски-тальцу. О себе думает много. Самоуверен. Если когда-нибудь слышит — мол, Тихонов злой, он находит, что это так и надо.

Внешним жестом скуп. Руками на размахивает. Низко не кланяется. Ног, сидя, не протягивает. Ходит — не качается, не подпрыгивает. Тверд и не гнется. Таких людей жизнь испытывает в любви. Мы пока ничего не знаем о любви Тихонова.

---

К нему ходит много народу. Приходят. Смотрят. Хотят увидеть северного медведя или какого-нибудь лапового ревуна. Наверное, он не умел с ними сидеть, разговаривать, молчать. Мешала собственная угловатость и неловкость. Сейчас это входит уже в обыкновение. Старается постоянно быть занятым — то курит, то папиросы набивает, то книги перебирает, не сидит на месте.

Когда остается один с бумагой, должно быть, долго не могут сговориться. У музы — давние и хитрые традиции. Он — прямой, упрямый, требовательный. Потому работа идет рывками, с ту-гими паузами.

Муза у Тихонова ходит под крепким бичом. Он ее изнуряет и часто доводит до бешенства. А за каждый неверный шаг — в сторону хоженных дорог — бьет зло и самонадеянно.

---

Как-то звоню поздним утром. Отвечают — он занят. Потом Мария Константиновна<sup>4</sup> разъясняет: Николай Семенович работал сутки, не вставая из-за стола, и только что уснул.

О стихах, о своей работе над ними Тихонов мне сказал: «Стихи — это алкоголь».

Действительно, пьет он их помногу и без удержу.

---

— Печатать первые стихи было трудно, — рассказывает Николай Семенович. — Бумага была серая. Доставали ее с большими хлопотами. Двадцатый год стоял холодный. Бумагу возили в типографию сами, на детских санках. Денег на печатание не было — продавали белье, седла<sup>5</sup>. И все-таки печатали. Наша группа называлась «Островитяне»<sup>6</sup>.

Говорил это как бы в заслугу себе. Сидел на корточках перед книжным шкафом, показывал книги.

— Вот стихи Колбасьева. Это тот, о ком Гумилев сказал в «Моих читателях»<sup>7</sup>.

Книги Тихонов держит в руках осторожно. Ему привычнее держать саблю или повод.

---

Он только что вернулся из поездки в Среднюю Азию. Поехал туда за пышными темами Востока, о котором читал в детстве. А нашел то, чего не ожидал. Удивился и даже рассердился.

Хотя он и сам азиат, но его Азия: северная, многоводная, лесная, горная, каменная. В Туркестане Азия: песочная, глиняная, безводная, безлесная (я не говорю о горной части, где он не был) или садовая.

Он так и сказал о Самарканде и Ташкенте:

— Я там все облазал!

Разве что по старинным самаркандским мечетям, по их развалинам!

Но к чести его, он, «лазая» по мертвой истории, увидел живое, гневное солнце на ее страницах.

Тихонов первый из поэтов взглянул на нашу Азию глазами своего времени: она для него не пышная экзотическая окраина, а своеобразная современная страна, рвущая канаты прошлого. Страна со своей особой природой, людьми и жизнью. Со своей отсталостью и контрастами.

Фельетоны его в «Вечерней Красной газете» об Азии<sup>8</sup> — это удивление иностранца, попавшего в незнакомую страну. Но он еще не знает, чему надо действительно удивляться в Средней Азии.

---

Замятин — хитрый, умный. Как породистый зверь. Уши пригнутые, прижатые — будто он бежит, подняв высоко голову, вглядываясь и вслушиваясь. Высокий, большой. Руки темные, мохнатые. Сухие узкие ладони. На ладонях — не кривые, похожие на отпечаток тонких скрученных ниточек, а прямые линии, ровные и

твердые. Редкий рисунок на ладони — как тригонометрический чертеж, как диаграмма. А может быть, это каприз природы? Увидя эти волосистые пальцы, почему-то не скажешь, что они держали рейсфедер и циркуль, чертили проекты кораблей<sup>9</sup>.

Почерк его — дремучая чаща сухого кустарника — буквы переплетаются, торопятся, одни внезапно переходят в другие, не сразу привыкаешь к этой графике.

Мысль идет, продираясь сквозь этот кустарник, как сильный дровосек: крепкими ударами сравнений, острыми эпитетами, неожиданными образами.

---

На письменном столе — чугунные высокие подсвечники, привезенные им из Англии. Простые, грубоватые, с острыми концами. Колючие. Голые. В них стиль стародавней Англии — крепкий, мужественный, прямой.

На стене у двери кабинета — московская цветная афиша о первом представлении его «Блохи», с рисунками под русский лубок<sup>10</sup>.

---

Зашел разговор о «Блохе», о постановке ее во Втором МХАТе.

Евгений Иванович раздосадованно, но как уже о пережитом прошлом, говорит:

— Они там многое изменили, отступили от текста<sup>11</sup>.

Рассказывал, как режиссер Дикий допрашивал его: «Но ведь все-таки она не запрыгала?» (Это про блоху). «Как же русские мастера оказываются хитрее аглицких?»

Так для Дикого, кажется, и остался неразрешенным вопрос, почему тульские умельцы искуснее аглицких, если блоха у них, после того как ее подковали, — не запрыгала. Вспоминая это, Замятин отшучивается и потом молчит. Что он ответил Дикому<sup>12</sup>?

Видимо, тут не так надо ставить вопрос, а перенести его центр в другую плоскость — подобно тому, как иное военное поражение стоит нескольких побед.

---

Работает по утрам. Иногда утро — в Лесном, на кораблестроительном. Там он преподает. «Не могу оставить...»

— А знают ваши студенты, что вы писатель?

Улыбается: — Кажется, нет!

---

Вот он приехал из Лесного. Черный сюртук. Темно-желтое лицо. Знающая, уверенная улыбка. Завтракает. Ест яйца всмятку. Гречневую кашу — крутую, горячую.

Вечерами — театр, домашний чай, гости — они не переводят: поэты, драматурги, книжники, художники, начинающие писатели.

Начинающих и прежде было много. Одними из них были «Серапионовы братья».

Но о «Серапионах», которым Евгений Замятин в двадцатые годы читал лекции о том, как не надо писать<sup>13</sup>, он говорит неохотно, считает этот опыт малоудачным. Повторять его излишне.

«Потому что, — писал он в письме, — если говорить о том, как надо писать — я знаю одно — первое и главное: всякий должен писать по-своему, всякий должен быть изобретателем, а не усовершенствователем. Тут нужно пролезть сквозь чашу и выйти из нее ободраным, в крови, а не прогуливаться по утопанной и усыпанной песочком дорожке. Художника, поэта такие дорожки губят, они превращаются в эпигонов».

---

«Сказание об иноке Эразме»<sup>14</sup>, рассказывает, написал в один присест — в саду на даче у одних артистов. Какой-то богобоязненный человек сказал ему: «Попадет вам за это на том свете, черти замучают». И Евгений Иванович раздвигает крепкие губы в улыбке. Ему нравится повторять эти слова приятеля.

— Люблю борьбу, — говорит он: — не физическую, люблю бороться словом. — Сильно так сказал.

---

О своей первой книге вспоминает коротко.

— Выслали из Петербурга — за участие в революционных студенческих беспорядках. Жил в глуши. Один. Написал несколько рассказов. Так, сразу. Когда приехал в Петербург, понес в журнал. Редактором его был Арцыбашев. Прочитали. Редактор сказал: вещь принята. Кое-какие изменения потребовал сделать. Я тогда шел прямо. Без всяких рекомендаций.

Последнее сказал — как будто подчеркнул.

— Потом книжка вышла. Шуму много было, споров. Одни защищали, другие — против. Вопрос о деревне шел. Книга называлась «Уездное». Так и началось<sup>15</sup>.

На мой вопрос как-то: «А зачем пишете?» — махнул смущенно рукой, улыбнулся вкось: «Не знаю». Так по-детски, просто.

Нет, он должен знать. Недаром в детстве плакал над «Неточкой Незвановой».

---

Если день за письменным столом и комната плывет в синем папиросном тумане (когда работает, много курит), — Людмила Николаевна<sup>16</sup> говорит:

— Евгений Иванович, вы сегодня не были на воздухе. — (Они друг с другом на «вы»). Он надевает: осенью — круглую коричневую теплую шапочку, зимой — большую с высоким верхом меховую, такую шапку Мономаха, и идет на улицу.

---

Иногда бывает, что жизнь больших писателей и поэтов интересней и значительней, богаче и вкусней, чем то, что они пишут.

Забывая себя, Замятин говорит, что к таким, пожалуй, можно отнести Андрея Белого.

---

Как-то сказал:

— Вы знаете, еще кого сегодня можно встретить? Иванова-Разумника<sup>17</sup>. В Детском Селе живет.

---

Сегодня он собирается в Мариинский.

— Там можно наших встретить.

Так и произнес: «наших». Здесь еще, как у старых петербуржцев, принято ходить в театр не только ради зрелища, но и для встречи с друзьями.

---

Поздно вечером провожал его по Фонтанке до Моховой<sup>18</sup>. Это место его ежевечерних прогулок. На поздней набережной темно, глухо. Редкие фонари под крутыми арками ворот. Тяжелые дома придавили воздух. Моросит. Он идет и молчит, не замечая дождя и снега. Потом неожиданно останавливается и поднимает голову в сторону Невы.

— Весной оттуда ветром хорошо тянет. Морем пахнет... — сказал обрадованно.

Помолчал и, шагая дальше, ответил вслух на какие-то свои мысли:

— Вот возьму и уеду.

— Куда?

— В Америку.

Нет, не надо ему уезжать туда<sup>19</sup>.

---

У Михаила Фромана<sup>20</sup> в комнате тесно, как в клетке. Тесно от вещей, традиций, книг и посетителей.

На стене портрет маслом — Гумилев с маленькой раскрытой книгой в руке<sup>21</sup>. На зеленом ламбрекене глухой двери — белая гипсовая маска Пушкина. Над столом орнаментальные картинки. На круглом столике — большая фотография Иды Наппельбаум в огромных бусах — его жена, поэт. Красный диван растянулся во всю длину стены. Между креслами и столами надо лавировать. Кресло так глубоко, что пока садишься, думаешь: не достанешь дна. Интересно, как ходит здесь прямой негибачаемый Тихонов? Письменный стол согнулся под изобилием письменных принадлежностей, безделушек и книг.

Книгам мало места в шкафах. Они заняли подоконники, все столы и все еще лезут, растут, как деревья. Потому что все его знают, с ним советуются, с ним дружат. Он член кружка такого-то, там в совете, тут в правлении.

Он знает, когда и что надо сказать. Главное — умеет молчать, когда его не спрашивают. О нем говорят: культурный поэт. Мне он кажется похожим на большую грустную обезьяну, знающую повадки приходящих к ней друзей, обезьяну с умным вкусом и большими воспоминаниями.

Его книжка стихов, как сказал он мне по секрету, так и будет называться: «Память»<sup>22</sup>.

Вечером мелькнула зеленой кофтой жена М. Фромана — Ида Наппельбаум. Черные волосы, черные глаза. Уютно сидит на диване. Молчалива.

Свои стихи читает торжественно, спокойно — как будто чужие. А между тем в них такая эмоциональность — боль, гнев, восхищение, что поражаешься их искренностью и откровенностью. Это стихи женщины о любви, ее горьких и трудных путях, о кратком слепом счастье и легкой разлуке. «Никогда еще душа моя такого одиночества не знала...». «Я жду ее, колдунью вековую...», «Но что мне поделать с любовью своей, где место, где дом уготованы ей?», «И мне уже почти совсем легко, почти не

страшно одиночество мое»<sup>23</sup>. Это строчки из разных стихотворений готовящейся ее книги. Но в них все ее сердце.

Рассказывает, что пишет на ходу, на обрывках бумаги. Тетрадей для стихов не любит, и строчки часто забываются.

Служит в фотографии. Улыбаясь, объясняет, что это «семейная традиция». Ее отец М.С.Наппельбаум — довольно известный здесь фотограф-художник. Возвращаясь домой ежедневно лишь к вечеру, она входит в комнату как после богатого впечатлениями путешествия — в ее жестах и на лице ни усталости, ни желания покоя. Она молода, и мир для нее открывается каждый день, как новый. Она копит самое себя и боится растерять. Ее первые стихи напечатаны в гумилевской «Звучащей раковине»<sup>24</sup>.

---

У Вольфа Эрлиха<sup>25</sup> тихий голос, робкие жесты, на губах — готовая улыбка. Он худ и черен. Носит длинные серые брюки, черные грубые ботинки. Немножко хвастается знакомством с Есениным. Был имажинистом. Из-за этого пришлось уйти из университета. Но славы не заработал. Пока издал одну книжку — «Волчье солнце»<sup>26</sup>. Так старые романтики называли луну.

Кто-то сказал: Эрлих из Симбирска.

Пожалуй, верно. Он мало похож на здешних.

---

Анна Ахматова живет в Мраморном дворце. Дворец — грязный и путаный. Старый, беззубый. Впереди него — Нева, позади — Марсово поле. Простор, ветры и небо<sup>27</sup>.

Ахматова живет невысоко. Это не шестой этаж Тихонова на Зверинской. Но подниматься к ней труднее. Три раза поднимался. Стоял перед дверью. Прислушивался, сам не зная к чему. И уходил, чтобы снова возвратиться<sup>28</sup>.

---

Ахматова приветлива. Но сквозь весь ее облик проглядывает что-то вечное, какая-то неподвижность, отдающая уже памятником эпохи. Не знаю, какой она была раньше. Сидит прямо и вытянуто. Внимательна. Привычка и воспитание.

Я никогда не видел северных русских женщин. Знаю их только по книгам. Иногда кажется, Ахматова похожа на такую суровую женщину, долго ожидающую на берегу холодного моря знакомый

баркас: она не плачет, не стонет, лишь молча прикусывает уголок головного платка.

У Ахматовой широкое бескровное лицо. Большой рот. Твердый подбородок. И громадные, взлетевшие брови из русских сказок.

А говорят, Ахматова — южанка. Цвет кожи выдает: смуглый, восковой. На лбу — челка. На своих портретах она постоянно с этой челкой. Эта челка должна быть знаменитой. Длинное, узкое платье.

Живет Ахматова тесно, неудобно. Окруженная плотно вещами. Обыкновеннейшие столы, стулья, диван. На одном столе белая скатерть. Стол этот, вопреки моде на круглые, — четырехугольный<sup>29</sup>. И жизнь ее тесная, неширокая. У ней своя, какая-то нам непонятная жизнь, свои обычаи, свои мерилы восторгов и горя.

Но она скромная и всегда забывает себя. «Стала всех забывчивей». Тысячи людей согрела она своими стихами. Только себя позабыла, только себя не согрела. Вот почему в ее фигуре иногда есть что-то зябнущее.

Она умеет быть застенчивой, что в наше время редко. Высокая. Тонкая. Чуть-чуть горбится, когда не сидит.

У Замятиных мне показывали домашнюю фотографию: Ахматова, а рядом — детскосельская муза с разбитым кувшином. Редчайший снимок<sup>30</sup>! По-видимому она хорошо разбирается в своей биографии и славе.

На людей моложе ее Ахматова смотрит с сожалением. Может быть, хочет сказать, что ее время было лучше, полнее или воспитательнее для людей.

Но все-таки! — нельзя ей жить все время в этом казенном городе Санкт-Петербурге, где душат туманы, деревья — худосочны, а солнце похоже на пресный яичный желток для больного. Однако Ахматова навсегда отравлена классическими ритмами этого города «Медного Всадника», «Белых ночей» и «Незнакомки». Она напоминает мне молчаливую начетчицу когда-то славного, но покинутого всеми скита, оставшуюся в нем, несмотря ни на что.

---

Она создала себя в своих стихах, как Ахматову. Настоящая фамилия ее Горенко. Говорят, отец-моряк обижался: дочь, носящая его фамилию, и вдруг пишет стихи! Пришлось выдумать псевдоним.

---

Михаил Кузмин издал первые стихи, когда ему было уже около тридцати лет<sup>31</sup>. Сейчас ему за пятьдесят.

Всю жизнь ведет дневники. Некоторым современникам не терпится, почему он их не опубликует. «Что ж вы хотите? Чтоб меня заживо съели? Нет, увольте!»

Он прожил длинную жизнь. Создал много стихов. Сочинял романы в прозе. Кто же он — декадент, символист, эпигон классиков? Может быть. Но в первую голову — он поэт.

Как автор стихов Кузмин аристократичен, выдержан, сух и не жалит. Он — мудрец. У него можно было когда-то учиться высокому мастерству поэта. Теперь он весь в прошлом, хотя еще пишет, печатает. И его книг ждут.

У него другое видение мира. И он не собирается его переделывать. И поэтому некоторые поэты-современники не принимают кузминской поэзии.

В.Хлебников, — как передавал мне бродяга-поэт Б.Шманкевич<sup>32</sup>, — сказал о Кузмине: у Кузмина три крови — русская, французская и цыганская.

Мне кажется, у его музы есть что-то англиканское, — если не в крови, то в покрое ее платья. Но это лишь внешнее, поверхностное. А пишет он по-русски.

В молодости он много путешествовал. Бывал в Турции, Египте, Греции. Однако Восток воспринял не по-европейски. Его Азия — Азия древнего грека. А греки умели не только бить варваров, но и понимать их культуру и впитывать ее, обогащая.

Михаил Алексеевич — радушный хозяин. Сам разливает чай гостям. Учтив. Прост. Без предрассудков. Не зазнается. Умен без меры.

Говорит, что стихов не любит, хотя сам пишет давно. Новое понимает. Если иногда иронизирует над новым — в этом слышится практичность деревенской бабы.

Стихи читает легко, серьезно. Проникновенно.

Так встал у чайного овального стола и прочел:

По веселому морю летит паролод.  
Облака расступились, что мартовский лед...

Смотрел перед собой, не видя никого, подняв голову.

Последние строчки: «И в душе моей пусто и сладко» произнес тихо<sup>33</sup>.

Кончил — и в глазах заблестели слезы.

В его чтении стихов есть особая музыкальность — не мелодическая напевность, не песенная эмоциональность, а речитатив,

поддержанный оркестром рифм и ритмов. Он в прошлом — музыкант. Но теперь у него нет инструмента.

Хорошо его нарисовала Кругликова. Теневой рисунок<sup>34</sup>.

Зимой он ходит дома в забавном тулупчике-жилете, грязноватом, теплом, удобном. О нем же говорят в Ленинграде: пожалуй, только один Кузмин и умеет носить платье!

---

Огромная комната в три окна.

Налево на стене кругликовский портрет Михаила Кузмина. Три шкафа с книгами. Старинное бюро — сколочено и склеено, без одного гвоздя, еще при крепостном праве. Ширма, как у кровати девушки, и старинный диван с вычурным рисунком спинки. На одном из шкафов — рюмочка с засохшим цветком. У железной печи посреди комнаты (последний вид «буржуйки») стол с бархатной скатертью. Просторно.

Это комната Всеволода Рождественского.

Мне кажется, комната в некотором роде выражает ее обитателя.

Всеволод Рождественский — человек молодой, живой. Ничто человеческое ему не чуждо. Внешне — он весь в сегодняшнем дне. Люди, живущие настоящим, в большинстве — легкие. Если он пишет о грусти — его грусть светла. В его иронии — безобидная улыбка.

На улице он не носит очков, но в театре обязательно: он близорук. Ходит быстро. Пальто застегивает на все пуговицы. Конец длинного шарфа засовывает назад за пояс пальто. Вид получается молодежавый.

Быт свой он строит соответственно привычкам. Дома не обедает, так как живет один. Днем бегаёт по редакциям, книжным магазинам, по уличным развалам букинистов, издательствам. Вечером — театры, концерты, многочисленные знакомые и знакомки. Над ним весело, беззлобно подсмеиваются, иронизируя над непостоянством его привязанностей, называют его мотыльком: «А наш Всеволод все порхает».

Ему тридцать лет.

Читает свои стихи с удовольствием. Немного картавит. Читает медленно, с пафосом, увлекаясь. Пишет много. Иногда пишет стихи только для печатания, иногда — только для себя. Которые для себя — душевны, искренни, но с ангелами.

Он учится быть крепким в мыслях и не показывать самого главного — нутра. Что у него там — он сам не знает что. Но не-

заметно для самого идет медленная упорная борьба нового со старым. Он то отступает с боем, то наступает, учась и накапливая силы.

Читатели его любят как жизнерадостного поэта. В нем чувствуются необычные запасы энергии и мягкого света жизни. Руки его прошли школу «Цеха поэтов». И у него, как он сам говорит, есть «глаз на стихи».

---

Первая книга стихов Рождественского — «Лето» (не считая ученических стихов, вышедших отдельной книжкой в 1914 году). Она — как новенькая гимназическая фуражка. Незатейливо, искренно, наивно. «Золотое веретено», изданное в 1921 году, — книга франговатая, автор форсит акмеистическим плащом, взятым напрокат у символистов. Но так как он делает все это весьма честно и живо, — ему даже веришь, как подростку.

Теперь он готовит «Большую Медведицу». Отсюда будущие его биографы будут считать новые даты. Здесь голос юноши ломается и начинают расти усы. Поэтому «Медведица» ломаная книга. В ней есть классические традиции, есть строки первых книг, но звучат и новые голоса. Умом познаешь новое скорее, чем сердцем. А «сердце» у Рождественского романтически-теплое, живое и капризное.

---

Иногда Рождественский представляется мне неким хранителем литературных преданий недавнего прошлого.

Блок, наняв извозчика, иногда спрашивал: «А этого вам не мало будет?» Сидя у кого-нибудь в комнате, он мог сказать: «Не нравится мне это окно», — и пересаживался на другое место.

В рассказах Всеволода Рождественского о Блоке — что-то почтительное и в то же время чуточку снисходительное — как отношение к умному чудаку, которого когда-то знал лично и которого еще можно уважать.

---

О Горьком Рождественский рассказывает весело.

— Сидим в большой столовой. Горький с газетой. Утро. Читал, читал Горький, рассмеялся и сказал: «Ну и хорошенькое же житьишко мы вам приготовили, господа молодежь!» Сам похож на фабричного. Усатый, щетинистый, грубоватый.

Всеволод Александрович студентом занимался с племянниками Горького. Бывали там артисты, художники, писатели.

— Как-то поздно вечером раздается звонок. Иду через темную столовую. Навстречу кто-то большой, высокий, в шубе. И басом спрашивает, дома ли Алексей Максимович. Под ноги гостю со звонким лаем бросается комнатная собачка. Шуба неожиданно падает на четвереньки и медленно, с густым рычаньем ползет на собачку. Та, жалко повизгивая, забивается под диван. В эту минуту кто-то входит, зажигает свет. Шуба поднимается: перед нами стоит серьезный, как ни в чем не бывало, Шалапин. До этого времени я его ни разу не видел так близко.

---

Днем Рождественский показывает мне свои книжные богатства.

— Вот книги Иннокентия Анненского.

— А это, — улыбается он, — если интересно, мои детские тетради!

В детстве Всеволод Александрович любил вырезать из журналов иллюстрации и наклеивать их в особые тетради. С белых страниц на меня смотрит седоусый генерал в пышном мундире, длинный крейсер с пушками, бородатый Жюль Верн, то деревенская изба с петушком на крыше или мексиканец в широкополой шляпе, то балерина в пышной пачке.

— Чем они меня пленили — убей бог, не знаю! — весело смеется Всеволод Александрович.

---

Идем с Рождественским мимо б. Владимирского собора.

— Вот здесь мы с Есениным, — с улыбкой вспоминает он, — ходили по карнизу этой решетки: как мальчишки. Кругом обошли. Думали, попадем в милицию. Нет, ничего, сошло. Дело было вечером.

— Очень мне запомнился один случай с Есениным, — продолжает он. — Возвращались откуда-то поздно с большой компанией. Чуть-чуть светало. Есенин незаметно отстал. Оглядываемся. Смотрим — он подходит к сонному извозчику. Медленно-медленно стягивает с руки перчатку и ласково гладит лошадиную морду. Такой жест крестьянского парня! Нет, вы представляете черную морду лошади и белую руку в предрассветной мгле. Так он стоял и поглаживал. Мы молча ждали. Было в этом что-то такое милое, неожиданное.

— И хорошо помню другой случай с Есениным. Это было уже в Москве. Сидим в редакции «Красной нови». В другой комнате Пастернак, Петровский<sup>35</sup>, еще кто-то. Входит Есенин. Пьяный. Ругается. «Почему моих стихов не печатают, а его печатаете?» — и тычет пальцем в Бориса Пастернака. Кто-то ему ответил шутливо — мол, ты пьян, потому и не печатают. Есенин рассвирепел, выругал Пастернака ж..., полез в драку. Те бросились на него. Мы — к двери. Но к ней привалился толстый бухгалтер и не пускает. Есенин кричит. Кое-как ворвались, растащили. В Москве тогда водилось так.

— Тоже вот как-то ночью шли из Дома печати. Слышим милицеские свистки, беготню. Что такое? И чей-то хриплый бас из темноты: «А это поэт Орешин<sup>36</sup> гоняется за милицией!»

Нравы, а?

---

— А видели Маяковского? — спрашивает Рождественский и тут же рассказывает:

— Прихожу в Дом печати. Кто-то торопливо, захлебываясь восторгом, шепчет: «Маяковский здесь!» Бежим, ищем. Он — в бильярдной. И вот мы входим в тот момент, когда Маяковский, сильно ударив шар, выпрямился, и вдруг, не сходя с места, перегнулся через бильярдный стол и воткнул свой кий в пирожное на противоположной буфетной стойке. И так же ловко перенес его в рот. Буфетчица так и застыла!

— Другой раз на вокзале я видел, как он ел мороженое. Перед ним стояла полная вазочка мороженых цветных катышков. Небрежно один за другим он бросал их малюсенькой ложечкой в рот, глотая, как ягоды. Так, может быть, глотал бы мороженое лев.

---

Когда видишь в первый раз Михаила Слонимского<sup>37</sup>, удивляешься: неужели это Слонимский, автор «Машины Эмери» и военных рассказов?

Ничего машинного и военного.

Высокий. Длинный. Глаза черные, круглые. Бегают. Готовая улыбка на лице. Весь, как мышь. Зарылся в «Прибое», спрятался за горы рукописей, книг, шкафов в полутемной комнате издательства. Говорит осторожно, мягко, стараясь никого не обидеть. Голоса его не запомнишь. Скорее уступит, чем поспорит. Может быть, и от жены получает выговоры за свою уступчивость.

Говорят, был секретарем у Горького. Любопытно, чем руководствовался Горький.

Наткнулся я на сцену: Слонимский в редакции «Звезды», здороваясь, целует руку Мариэтты Шагинян<sup>38</sup>. Низенькая, глуховатая женщина, с еле слышным голосом, шевелит губами и приближает свое лицо к говорящему. Он — высокий, ему надо согнуться вдвое. Почтительный и поклонистый.

Повязывает свою шею нелепым зеленым шарфом. Этот вязаный шарф делает его похожим на французского апаша со страниц дореволюционного «Синего журнала» или на обрусевшего иностранца, живущего в провинции. Провинциал-иностранец интересно рассказывает о России и русских.

Рассказы его все хорошо выдуманы. Ловко скроены. Ладно сшиты. Но не живые. Сами не живут. Герои его марионеточные. Обязательно нужна какая-то ниточка от автора к читателю. А иной раз ниточки нет, и кукла молчит, не говорит, не поднимает ни рук, ни ног. Страсти у Слонимского нет. Как будто его герои живут сами по себе, а он встречается с ними только за письменным столом. Он не ест с ними, не пьет, не ругается и не спит с главной героиней.

Но пугать он любит. Пугать судьбой, нелепостью, игрой случая.

---

У Николая Чуковского<sup>39</sup> нет полтинника внести членский взнос в профсоюз. Он пришел к секретарю извиниться. Замечательно!

Николай Чуковский опрятен, вежлив. В черном костюме. Очень молод. Еще застенчив. Бледноват. Но бледноватость его — это особый загар. Загар домашней лампы под семейным абажуром, среди книжных петербургских шкафов и литературных разговоров за стаканом остывшего чая.

Стихи его тоже опрятны, вежливы и скромны. Они грамотны и причесаны по всем литературным правилам. К его несчастью, этим стихам нельзя быть неграмотными и ходить с грязными ногтями — их писал сын знаменитого писателя. Наследство и традиции обязывают. Хотя для молодых поэтов это и вредно.

Вот побродяжничал бы, как Тихонов. И традиции пошли бы на пользу.

Стихам его не веришь. Они выросли в городе, где и травы-то не видно, а птицы только в зоологическом саду или чучелами в музеях. Он увидел природу сквозь бороду русских великанов — Толстого, Тургенева, Фета.

---

О поэте и критике, розовошеком Иннокентии Оксенове<sup>40</sup>, служащем в каком-то рентгенологическом институте, говорят, что рентгенологи считают его писателем, а писатели считают его рентгенологом.

Сейчас он готовит книгу о Ларисе Рейснер<sup>41</sup>. К сожалению, и Оксенов, и Рождественский, и другие их единомышленники и единачувственники представляют Ларису Рейснер романтической героиней в стиле Французской революции. Шаблонизируя ее, они не хотят видеть ее противоречий. А такие люди, как она, приходят к революции от книги, от того, что есть ученый-папа, и от того, что «жить — весело». Сказать, какой она была в действительности, — смелого глаза не хватает. И приходится им в своих ненапечатанных пока работах офранцузивать этот образ, прихорашивать его, приближая к литературному штампу.

---

Ведь только пять лет назад кончилась здесь гражданская война. Ну, старшее поколение дожевывает накопленные запасы. А вот когда же молодежь приобрела старые замашки, когда она успела вдеть в свои литературные петлицы завядшие розы традиций?

---

В Ленгизе у окна, глядящего на б.Казанскую площадь<sup>42</sup>, сидит розовый булочный, в чистеньком галстучке херувимчик. Вот-вот вспорхнет и сядет на купол собора. Но он немного отяжелел: человеческие дела приковали его к редакторскому стулу. И он вежливо принимает посетителей — писателей, поэтов, критиков — и отпускает — кому обещанья, кому улыбку, а то и просто молчаливый кивок или один взгляд небеснодушных глаз. Присутствуя на издательских собраниях, он выступает редко. Частое молчание наложило особый отпечаток на его лицо и сделало его маскообразным. Никто не видел, как он сердится или смеется. Никто не знает, о чем он думает. Известно только, что между делом он собирает биографию Максима Горького. Кстати, это «между делом» сделалось делом его жизни. Материала много. Главное — не надо выдумывать. Сиди, подбирай, вклеивай.

Иногда он раскрывает толстую тетрадь, пишет заголовок критической статьи, задумывается; потом листает двадцать чистых страниц, пишет другой заголовок, опять задумывается; сно-

ва перевернет десятка два белых листиков — еще заглавие. И так всю тетрадь. А писать некогда. А может быть, лень.

Зовут этого ангелоподобного Груздевым Ильей<sup>43</sup>.

Интересно, почему он решил заняться биографией Горького?

---

Об Анне Радловой<sup>44</sup> слышал: «Она сама интересней своих стихов». Любопытно взглянуть на эту женщину.

---

Поэтов Соловьевых — два в Ленинграде: Владимир и Борис<sup>45</sup>. Оба молоды. Владимир — низенький и тучный. Фатоват. Остриг — грубовато, не всегда удачно, больше повторяет чужое. Борис — наоборот: высок, худ, бледен и мечтателен. Этаким «жил на свете рыцарь бедный». Пока что консультирует стихи в редакции «Звезды». Издал книжку своих стихов.

«Есть у меня одна строфа, не знаю, куда ее поставить, и связать не с чем, и ни в какие другие не лезет», — так сказал он мимоходом одному своему приятелю. Может быть, когда-нибудь и выучится «связывать строфы». А сейчас в редакции он не на месте. Какой он советчик для поэтов!

Вообще редакция «Звезды» несолидное предприятие. На тычке как-то чувствует себя. Беспорядочно. Бестолково.

---

Всеволод Рождественский в редакции «Красной панорамы», где он консультирует, неожиданно рассказал, что Л. Чарская жива, вышла замуж за инженера, собирается уезжать за границу и пишет еще стихи. Удивительное всего — стихи у нас печатают! Конечно, под другой фамилией<sup>46</sup>.

---

О Николае Баршеве<sup>47</sup> ходят самые разноречивые слухи. Каждый рассказывающий о нем присочиняет и свое. В итоге целое повествование.

— Баршев — инженер-железнодорожник. Сделался писателем просто. Была как-то раз организована «у них на службе» комиссия по устройству каких-то празднеств. Вошел в эту комиссию и Баршев. Выпало на его долю пригласить одного-двух писателей — выступить, почитать. Баршев пригласил. Так состоялось его

знакомство с живым литературным миром. По всем признакам, оно росло. Баршева узнавали на улице, с ним встречались, как со старым знакомым. К нему ходили, и он хаживал, слушал чужие рассказы и стихи. Тайно и сам писал. Стихи были о пастушках, о фарфоре и прочей дореволюционной ерунде. Стихов своих он стеснялся, а рассказы кое-кому почитывал. Раз послушали. И два послушали. Посоветовали отнести в какой-то журнал. А там напечатали. И сегодня ему звонят по телефону из редакций: пришлите что-нибудь для очередного номера.

Теперь он — писатель, хотя своего инженерства не оставил. Дóма, когда он начал писать серьезно, домашние говорили: «Ну, вот, еще новая затея у Николая». А когда Николай стал отдавать этой затее и сон, и отдых, и гостей — жена испугалась, но остановить уже не могла.

Так Баршев начал свои «Прогулки к людям».

---

Читает Баршев спокойно, выразительно, с одной ему присущей интонацией, чуточку выделяя язык своих героев. А герои у него одни. Это — выбитые революцией из рамок обычного быта мелкие чиновники, железнодорожные телеграфисты, начальники полустанков, провинциальные покорители сердец, доморощенные философы. Все тот же Акакий Акакиевич, но с поправкой на эпоху, — то есть он не только пассивный созерцатель, он не только подчиняется судьбе и начальству. Нет, он хитрит, изворачивается, своеобразно протестует. Однако это все тот же маленький человек, без вдохновенья и без взлетов.

Я слышал Баршева в театральной студии Морозова, что на Стремлянской<sup>48</sup>, куда затащил меня вечером Рождественский. Баршев прочитал «Боязнь пространства» и «Обмен веществ»<sup>49</sup>.

Баршев — черный-пречерный, с усиками под носом. Оживленный. Радушный. Какая-то теплота исходит от всех его движений. Однако черные блестящие пуговички баршевских глаз плотно закрыли вход в его «тайное тайных». Пускает он туда с оглядкой. Лучше не заглядывать. А вдруг там человеческая зависть, недовольство эпохой и разлад с женой...

Он — грамотный писатель, хотя пишет: «Галоши *одевались* туго» («Боязнь пространства»).

---

Вступительное слово перед рассказами Баршева произнес Павел Медведев<sup>50</sup>. Плотный, бритый медведь в очках, довольный всем, а главное — собой. Его толстый рот постоянно набит анекдотами, и он не успевает их рассказывать. Наверное, потому у него такие масляные губы. Расскажет и первый расхохочется таким широким анекдотическим баском.

Перед началом вечера, пока собирались, он разговаривал по телефону, по-видимому, с женщиной. Разговаривал на таком диалекте:

— И дондеже он глаголет невидимым гласом, яко незримый зверь, како вы чувствуете ся сей вечер; да услышит раб ваш великий глас и всем сердцем обнимет вас, поелику облобызать ему ваше чело не вельми лъзя, — и т.д.

Тут было и «сиречь», и «указует», и «именуемый», и прочие когда-то заученные псевдо-церковно-славянские «речения».

Потом начался вечер. Медведев говорил стоя, блестя стеклами очков. Все его вступительное слово состояло из таких принципиальных утверждений: русская литература — великая литература, лошади едят овес, а Волга впадает в Каспийское море.

Возражать против этого никто из студийцев не пытался, да и трудно было бы, — студийцы были заняты своими студийками и жаждали выступления «нашего Севушки», как объявил о Всеволоде Рождественском в конце своего «слова» сам Медведев.

---

К концу вечера в студию пришел Михаил Козаков<sup>51</sup>. Остановился в дверях. Провинциальнейший. С портфелем. Черные маюсенькие усики щекочут ему под носом.

Говорят — общественник. В литературе пока — солдат, но мечтает быть атаманом. Пишет о маленьких людях — уроненных, ушибленных, спрятавшихся, закутавшихся. Никаких выкрутасов со словом. Ни оригинальничанья, ни изобретательства. Честное использование старого наследства. Все чинно, благородно, скучно и бедно. Даже нет художественного беспорядка и неряшливости. Под общую гребенку. В меру сил и возможностей. Старательный, пока молодой.

Сейчас служит в редакции профсоюзного журнала «Ленинградский текстильщик». Эта работа ему помогает чувствовать себя в своей тарелке: ходить на службу, наблюдать, разговаривать, читать рукописи, править статьи и рассказы, делать редакционный день.

Многие ленинградские писатели оторваны от газет и журналов. А некоторые бегут от них. Кто работал в газете или журнале?

Лавренев<sup>52</sup> служил в редакции газеты в Ташкенте, Слонимский был сотрудником «Ленинградской правды», Рождественский консультирует в «Красной панораме», Борис Соловьев — в «Звезде». Раз, два и обчелся.

---

Всеволод Рождественский хочет стать моим литературным гидом. Сегодня подвел к длинной очереди перед окошечком кассы в редакции «Красной газеты» и шепнул: «Здесь можно увидеть Зощенку». Искали. Не было. Почему-то кажется необычным увидеть писателя Зощенку в очереди за деньгами. Но...

---

В Москве — Голодный и Герасимов<sup>53</sup>. В Ленинграде — Панфилов и Саянов<sup>54</sup> — братья Аяксы. Их выпускают вместе на все литературные вечера. Они немного краснят картину, если белоблоковские тона, обычные для Ленинграда, слишком густо пушены в программе вечера.

Панфилов — белобрысый паренек с звонким голосом, в голубой майке. Саянов — немного старше, неуклюжий, держится солидной. Выступает не робея. Литературный апломб держит уже не в кармане, а наружу. Признавать Гумилева учителем не боится.

Саянов и Панфилов — представители ЛАПП<sup>55</sup>. Стихи у них бодрые, молодые, фартовые<sup>56</sup>, как теперь говорят, и немного похожие на другие. Но это пока никого не смущает, и меньше всего их самих. Молодежь учится.

Держатся они скромней и робче по сравнению с недавно выступавшими здесь москвичами — Уткиным, Безыменским и Жаровым<sup>57</sup>. Москвичи — народ разудалый и драчливый. В Ленинграде же — солидность, отстоявшееся, найденное, этакое продолжение великой, хотя и дырявой теперь стены русской литературы. И молодежь растет на этой стене по-иному. Плодов, правда, больших еще не видно. Москва забывает. Но будет время, и не только Тихонов будет в Ленинграде. Молодежь должна будет сказать свое слово.

---

Днем по коридорам «Красной панорамы», пожалуй, часа два битых все ходил Михаил Светлов<sup>58</sup>. В модном пальто. Безусый.

Почти юноша. По виду насмешлив. Самолюбив. Как будто бы прост. А подойди к нему — вежливо улыбнется и сострит. Тоже ждал гонорара. Приехал из Москвы. Вчера выступал. Читал «Гренаду». Ему долго и громко аплодировали.

---

Как-то сижу у Рождественского. Перебираем книги. За окном серый ноябрьский день. В комнате спокойное течение вещей. Всеволод вполголоса рассказывает о прочитанных книгах. И вот через пять минут все остановилось и поплыло в обратном порядке, комната повернулась под углом в 90 градусов. Это было так.

Звонок — и в дверях невысокий человек в тусклом пальто и шапке. Еще с порога он резко, быстро приветствует. На ходу раздается и забрасывает хозяина камнями своих мыслей вслух. Не останавливаясь, он рассказывает обо всем, что его сейчас волнует, интересует, мучит.

Его речь — это разорванная цепь обрывков каких-то снов, происшествий, видений наяву, небывалостей. Он их насаживает одно на другое с такой искусностью и упрямым правдоподобием, — что вы невольно поддаетесь его возбуждению и начинаете видеть и осязать его необыкновенные приключения. Это не экзотические видения поэта, не однообразие одержимого манией фантастика, не схематические фантазии философа-утописта. Нет. Это реальнейшие вещи, повседневнейшие явления трех измерений. Но они сместились, обменялись свойствами, сущностью, природой. Они говорят, двигаются, мыслят. Это и не бред сумасшедшего, ибо в них своя логика и чувство пространства и времени. Скорее — это предбред. У М.Горького в одном из рассказов ходит человек и видит позади себя паука. То же можно было сказать о словах этого незнакомца.

Вот пример его рассказа.

— Сегодня сижу за столом и вдруг вижу, открывается дверь, и в комнату вхожу я сам... — Он рассказывает об этом с явным удивлением и даже не иронизирует.

Или такой:

— Вчера утром в окно влетел жук. Летал, летал по комнате, сел на стол, похлопал себя по ж..., сказал: «Эх, дела, дела...» и улетел...

Нам с Всеволодом пора идти обедать. Выходим все вместе. На углу Рузовской и Загородного незнакомый мне гость останавливается и, показывая на Обуховскую больницу напротив<sup>59</sup>, го-

ворит: «Вот куда скоро, скоро переселюсь». Торопливо целует Рождественского и уходит.

Всеволод наклоняется ко мне и, улыбаясь, полушепчет:

— Это поэт Леонид Борисов<sup>60</sup>, — и добавляет: — Очень странный человек.

---

Илья Садофьев<sup>61</sup> только что прибежал в редакцию «Звезды», сидит и, запыхавшись, говорит вполголоса Борису Соловьеву: «Фу ты (нецензурное слово) их дери, опять зовут выступать. Надоели! Вот литературщики!..»

— Знаешь, вчера... тово, — и Садофьев любовно щелкает себя по ще.

Соловьев кланяется длинным вороньим носом в гранки и не отвечает.

---

Вчера Фроман прислал пригласительную записку на литературный вечер в Доме печати.

Это был вечер сплошных литературных аттракционов с участием всех ленинградских знаменитых и незнаменитых поэтов.

Народу собралось так много, что чтение переносили из комнаты в комнату, и все-таки было тесно.

Гремел Тихонов. Почти пел свои библейские стихи Сорокин<sup>62</sup>. Леонид Борисов рассказывал в стихах о ситцевых занавесках, канарейках, причмокивая, словно он пил чай из блюдечка. Пришел в серой красноармейской шинели Заболоцкий и рубил в стихах стулья, стаканы, людей в пивной «Красная Бавария»<sup>63</sup>. Рождественский приветствовал собравшихся псевдовосточными стихами «Селям алейкум»<sup>64</sup>. Крайский<sup>65</sup> обнажал твердый кадык, вопил о звездах и замученном поэте. По комнатам бегал длинноногий Хармс в своей цветной с хвостиком шапочке квадратом, видимо, обязанной напоминать о каких-то ученых званиях. Фроман шептал свои лирические излияния. Много их было.

Аудитория каждого принимала аплодисментами. Чем громче голос у читавшего, тем громче аплодируют. Больше всего почему-то понравились восточные темы. Ленинградцы вообще любят экзотику. Слушают напряженно, навалившись друг другу на плечи, отдавливая ноги. Жарко. Душно. Но никто не уходит.

И почему такая жажда стихов? Чего ищут здесь? Откровений? Ответов на «проклятые» вопросы?

Одно слово «поэт» покоряет сотни слушателей. Заглядывают в рот выступающим, ловят по коридорам, бегают за ними к ве-

шалке. Поэтам льстит это жирное читательское внимание, и редкие умеют противостоять звону аплодисментов и похвал.

---

Павла Лукницкого все называют запросто «Павликом»<sup>66</sup>. Он и действительно еще мальчик. Пристраивается к литературе. Пока рифмует строчки — безобидно, незатейливо, не мудрствуя лукаво. Для солидности собирает биографию Гумилева: записывает, вклеивает, нумерует. Что из этого выйдет — одному аллаху известно. Во всяком случае не он напишет биографию этого поэта. Но он послушный, услужливый, исполнительный. Что-то вроде мальчика на побегушках у современной ленинградской поэзии.

---

Бориса Лавренева я помню длинноногим танцующим весельчаком в редакции ташкентской газеты в 22-23-е годы. Был он жизнерадостным редактором бесконечных мертворожденных литературных приложений к газете, кончавших свою жизнь от силы на третьем номере.

Теперь у него литературная слава, полнота и охотничье ружье (хотя неизвестно, зачем оно в Детском Селе). Работает над рассказами из гражданской войны. Работает с клеем и ножницами. Когда-то у него была одна большая-пребольшая повесть. Он ее однажды пытался прочесть в одном клубе, но слушатели не дождались конца... Теперь из повести делаются хорошие отдельные рассказы.

Писал он тогда и стихи. Под Гумилева<sup>67</sup>. Даже больше был нам известен как поэт. В стихах были выдуманы путешествия по Босфору, Адриатике, мимо Кипра и Лемноса, с морскими закатами, зеленой водой и огненными облаками. Еще он рисовал неплохо, копировал. Помню альтмановскую Ахматову.

Слава не испортила ему характера. Он остался таким же словоохотливым, безобидным вралем, остроумным и веселым рассказчиком. Показывая памятники бывшего Царского Села, с иронией передавал здешние легенды, сочиняемые старожилками, которые страстно озабочены поисками локального сюжета.

---

В Детском Селе чувствуешь Пушкина.

Умно подобранные, умело посаженные деревья и кустарники. Необычайное равновесие зелени и воды. Живописные аллеи. Ничего лишнего и кричащего. Великолепная мера и сдержанность во всем.

И если правильна мысль, что природа воспитывает человека, она оправдана в Пушкине. Ясность мысли. Полнота и выразительность языка. И главное — чувство меры, большое чувство меры. А отсюда и — противоположное — особая, пушкинская ирония.

---

Ленинградским поэтам надо каждое лето уезжать из этого города туманов, поэзии и библиотек. У них литературное малокровие. И страсти, черт возьми, нет! Откровений нет!

Конечно, была эпоха.

Была желтая кофта Маяковского, был срезанный пиджак Василия Каменского. Однако не это сейчас требуется. Запах нашей эпохи в Москве.

Есенин — больше москвич. Шкловский — московский фокусник. Пастернак больше пахнет Москвой. Сельвинский — из московских цирков. Уткины, Безыменские, Жаровы — Москва. Маяковский — Москва. Пильняк — Москва.

Ленинградские художники слова смотрят в книгу и прошлое. Ленинградцы стерегут наследство столетий. Хотя и это нам нужно. И сейчас, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было. Но ленинградским писателям нужен бунт крови, солнца надо.

За три с половиной тысячи верст этот город кажется могучей сокровищницей, древним хранилищем, горящим гигантским костром истории. А когда приходишь — не узнаешь своих представлений. И долго еще живешь с сознанием двух городов — представляемого и настоящего.

Тетрадь третья. 1929 г.

(В Коктебеле у М.Волошина)<sup>68</sup>

1

Я читал эту книгу с большим удивлением. Произошло что-то необычайное. Книга ожила на моих глазах. Я ходил среди ее героев, слышал их голоса, пил и ел с ними за одним столом и шесть дней и ночей дышал с ними одним воздухом моря и земли. Пере-

плетаясь в самые причудливые образы, на ее страницах живут Париж и княжеская Суздаль, Скифия и наша современность. У нее один автор и главный герой: изысканный декадент, поэт мон-мартрских кварталов, русский студент-бунтарь, строитель «гёте-анума», верблюжий караван-баши в среднеазиатской пустыне, библиофил, живописец, эллин и француз, и трижды русский.

Нет, подумал я, этот живой музей, эту шумную дачу, как старинную книгу, надо привязать железной цепью к здешней ким-мерийской земле, поставить под стекло и показывать любопытным и странствующим.

## 2

Издали он похож на толстую мужиковатую бабу, хозяйски расхаживающую по своему двору. Ближе он кажется седым, полным иереем, переодетшимся в желтую блузу и детские штанишки. Иногда он просто русский бородач-мужик. И однажды он был... Паном. Не врубелевским — болотным, студенистым, волшебным. Нет. Обрусевшим Паном эллинов.

## 3

В первый раз я увидел его в роли заклинателя. У киноактрисы Гали<sup>69</sup> болела голова. Задрапированная в розовую полукупальную комбинацию, Гали с хорошей театральной искренностью держала перед ним на весу свою кинематографическую ладонь. Он — в желтом и длинном камзоле-блузе, в открытых сандалиях, — блестя стеклами пенсне, водил по этой маленькой ладони своими короткими полными пальцами, казалось, знающими все тайны исцеления, и молча заговаривал.

На горячем от августовского зноя дворике было пусто. В воздухе застыла тишина. Случайно проходящие мимо гости не могли сдерживать улыбок. И равнодушно смотрело небо, привыкшее ко всему.

## 4

На другой день вашего пребывания в Коктебеле, когда вы ознакомитесь с окружающими, вас будут знакомить со здешними достопримечательностями природы: поставят спиной к дому и лицом к Карадагу и покажут — направо профиль маски мертвого Пушкина — изгибы горного хребта будто бы создали эту необыкновенную линию. Левее, там, где скалы, казалось, должны упасть в море, — другой профиль — Максимилиана Волошина.

И на скале, замкнувшей зыбь залива,  
Судьбой и ветрами изваян профиль мой<sup>70</sup>.

Впрочем, таких «масок» по южному побережью Крыма разбросано много. В Алуште, например, показывают даже профиль Екатерины Второй.

5

Море в Коктебеле еще не перестроено. Ни ресторанных декораций ялтинской набережной, ни *carte-postal*ных скал Гурзуфа, ни алушкинского львиного уюта. Там по берегу бутафорские нимфы бывшего князя Юсупова, беломраморные графские лестницы — здесь камни, скалы и рыбацьи лодки. Вместо простодушного татарского занавеса Алушты, расшитого трафаретными кипарисами, — здесь только лысые головы гор, да изредка низкорослый кустарник с двумя-тремя сухими графическими деревьями. В Ялте тесное море, такое тесное, что даже есть ванны с пресной и морской водой. В Ореанде и Дюльбере море — подобно нарядной в кружеве женщине. Море в Коктебеле — простое и древнее, как Гомер.

6

В сумерки вышли на берег — Максимилиан Волошин, Всеволод Рождественский, Аскания-Нова, Ася<sup>71</sup>, я, еще кто-то. Прошли мостик через ручей. Под ногами песок. Скатавшиеся, выброшенные на берег морские травы. Галька. Волошин рассказывает один из греческих мифов. Его очень занимает выдумка о пребывании на коктебельских берегах Одиссея, сосланного сюда богами мести за свои проступки. Ася придирается к какому-то слову и начинает задавать один за другим скучные вопросы, все начинающиеся «а почему», «зачем», «для чего». Максимилиан Александрович принужден кончить миф улыбкой и тут же сочиненной концовкой: «А потому, что эти боги мести были созданы для наказания людей, надоедавших им своими неразумными просьбами».

— Надо как-нибудь отвлечь Макса от нее, — шепчет Всеволод. Останавливаемся и меняем путь и разговор.

Темнеет. Вдали в доме зажигается огонь.

Молодежь уходит вперед. Несколько минут идем молча.

Берег пустынен и тих. Слышно, как мерно шумит вода. И на память приходят его строчки:

Я вижу грустные торжественные сны —  
Заливы гулкие земли глухой и древней,  
Где в поздних сумерках грустнее и напевней  
Звучат пустынные гекзаметры волны<sup>72</sup>.

Вот в сумерки он похож на Пана. Неуклюжая фигура. Лохматая голова. Ветер шевелит серой бородой. Голые ноги... в сандалиях. Досадно, что нет легенды.

Ну, конечно, раньше он был Паном. Вылезал вечерами из моря или горного оврага, садился на песок и читал морским водорослям свои стихи. Ветер вот так же, почти не касаясь, тербил ему бороду, вода облизывала его волосатую полную ногу. Горы слушали. Выползала морская луна и, удивленная, присаживалась на одну из вершин Карадага. Однажды Пана поймали в сети рыбаки коктебельские. Прошли годы. Пан постарел, преуспел во многих человеческих науках, ездил в дальние страны. Больше всего ему понравилась Русь и Россия. И он остался тут. Надел на пышную голову сапожный ремешок, как нимб. Луну, море и горы в знак памяти пишет в своих акварелях. Однако уж не сидит по ночам у моря и морская волна не облизывает ему теперь тщательно выбритую ногу. И спит Пан на человеческой кровати.

Замер дух — стыдливый и суровый,  
Знанием новой истины объят...  
Стал я ближе к плоти, ближе людям брат<sup>73</sup>.

## 8

Днем в коридоре мимоходом слышу:  
— Нет, вы не пойдете. Сейчас у вас ванна.  
Его голос: «Да, у меня сейчас ванна».

На секунду останавливаюсь, потрясенный. Оказывается, Пан купается в ванне...

## 9

Он — седой. У него небольшая борода лопатой. Странно выглядит его портрет маслом, висящий над лестницей, — на нем этот написан с медными горящими волосами.

## 10

Он не любит электричества, кино, радио. В кабинете ночами сидит с керосиновой кухонной лампой. Вечера на террасе проводим с фонарем.

А рядом в колхозе резонирует громкоговоритель радиоприемника. Проходя вечером мимо колхозного огорода, мы слышим, как гулкий радиобас рассказывает о пользе коллективного ведения хозяйства.

— Однако как ни старается Макс уйти от новшеств, они наступают на него со дня на день, — говорит, смеясь, Всеволод.

Любит желтый цвет.

Желтый занавес. Желтая рубаха. Желтая ширма.

Утром вижу его в библиотеке, она же — кабинет, она же — «мастерская», как здесь называют это помещение, занимающее почти два этажа, остроумно соединенные архитектором в одно целое, с уютной деревянной лестницей, с высокими узкими окнами — полукругом. Книги здесь заменяют стены; как экзотические растения, они обвили два этажа.

Это одна из богатых библиотек бывшей России. Книги разных веков, на разных языках. Классики русские и европейские. Большое место отдано французам. Конечно, есть «Аполлон», «Весы», «Новый путь», «Золотое руно», «Скифы», русские и французские символисты, собрания журналов. И много старинных русских книг.

Кроме книг — собрание вещей и безделушек всех стран, начиная от Египта и кончая Средней Азией. Выделяется огромный прекрасный бюст «царицы древнего Египта», или как называется его в стихах «тайна-тайн Египта — бледный лик царевны Таиах»<sup>74</sup>, привезенный им лет тридцать назад из своего путешествия в эту страну древних фараонов. Столы завалены рисунками, красками, кистями, бумагой.

Каждый день упорно, систематически, по привычке, выработанной годами, пишет утрами акварели.

Кладет перед собой листик плотной бумаги, прикалывает его кнопками к доске. Плотно садится по-стариковски. На столе расцветают белые фарфоровые чашечки с красками, в стакане терпеливо ждут десятки тонких кисточек.

Иногда сначала набрасывает карандашом легкие контуры гор, развалины береговой стены или гемузской башни. Но в каждом рисунке одна тема — море. Море ночное. Море солнечное. Море лунное. Горное море. Море от светло-зеленого до тяжелого коричневого. Скупой четкий пейзаж гор. Черный абрис голых деревьев. Пренебрежение жирным и сочным. Акварельная графика.

Рисунок начинает легко, не задумываясь. Пишет быстро и машинально. Кончит один, приступает к другому. Этих акварелей за несколько лет накопились многие альбомы. Может быть, по ним когда-нибудь будут изучать душевную настроенность автора.

Но мне кажется, он пишет акварели, не видя их. В движениях его руки часто нет мысли, она ходит привычно — в ее жестах ни задумчивости, ни волненья. Как будто эти утренние акварели выдуманы здесь для того, чтобы убить время, создать спокойный ритм дня. Этими же акварелями одариваются все гости<sup>75</sup>. А гостей бывает много.

К полудню вся комната наполняется солнцем. Тогда он прикалывает к верхней раме высокого окна кусок картона. На бумагу падает тень. Чуть-чуть пахнет вымытым некрашеным полом, свежестью морского утра и пылью множества книг. Устанавливается почти ощутимое равновесие между солнцем, утром и тишиной.

Но это длится недолго. Кто-нибудь приходит. Или надоевшие Далик<sup>76</sup> и Ася с вопросами, стихами и неловким молчанием. Или мы со Всеволодом. Начинаются разговоры о стихах, о литературе, книгах.

## 12

Вечером он читал свои записки о художнике Сурикове<sup>77</sup>. Скорее, это рассказы из жизни художника. Сурикова Волошин помнил еще с дней молодости, когда жил в Москве. Там, в Новой Слободе, художник, писавший тогда «Боярыню Морозову», был его соседом. Детство Сурикова глядит с этих страниц свирепым, медвежим. Многолюдные открытые казни на торговых площадях. Бородатые палачи. Буйные люди, не знавшие, как пользоваться своей энергией. Нравы кулачного права. Быт Красноярска начала XIX века. Суровое, жесткое детство. Детство, воспитывавшее фанатизм Аввакумов.

Кстати, образ этого расколоучителя XVII века, протопопа Аввакума, просидевшего четырнадцать лет в земляной тюрьме Сибири и не отказавшегося от своих убеждений, увлекает Волошина.

Однако его комментарии к суриковским рассказам нам чужды.

## 13

Весь дом после крымского землетрясения опоясан железным кругом, как старая книга в железных застежках. Крепче. Дом большой, двухэтажный, с многочисленными лестницами, балконами, каморками, с жилым чердаком, обросшим пылью, хламом и легендами.

О, эти седые от паутины бутылки, треснувшие глиняные кувшины, кованые бабушкины сундуки, недоломанные кресла и изгрызенные мышами книги, — вас любят дети и поэты!

Одна четвертушка чердака была нам с Всеволодом спальней. Во дворе три флигеля. На чердаке одного из них, по преданию, Николай Гумилев писал своих «Капитанов»<sup>78</sup>.

14

Вот уезжают гостившие на даче старики Котляревские — из семьи знаменитых историков<sup>79</sup>. Во дворе прощание. Степенные поцелуи. Сдержанные объятия. Какие-то дедовские шляпки, баулы. Старомодные сюртуки, похожие на чемоданы. Огромные антикварные дождевые зонты. Женщины в длинных, просторных платьях забытого покроя и цвета. Мужчины с сердитыми толстыми тростями. Заботливые напутствия хозяев, вежливые поклоны гостей. Нелепая трогательная церемония, слетевшая со страниц дореволюционной «Нивы». Вся сцена прощания — как фотография из выцветшего семейного альбома прошлого столетия. Да, тут умеют прощаться — долго и терпеливо. Конечно, тут же и неизменные фотографы.

Обычно каждый приезжающий сюда, кроме одеяла, привозит и «кодак». И без счета, к месту и не к месту, щелкает им, куда попало.

Максимилиан Александрович смеется:

— Снимаемся мы раз десять на дню, а фотографий не видим никогда.

15

Максимилиан Волошин хорошо владеет иронией. Оттого постоянно чувствуется расстояние между ним и объектом. Все рассказы его прошиты иронической ниткой мастера, познавшего богатство и нищету материала. Рассказывает ли он о прошлом Коктебеля, об играх дачных детей, или о греческих мифах, или о своих гостях, — ирония оживляет, сравнивает, снижает, восхищает, но никогда не убивает.

16

Смешно рассказывал о Степке и Сережке, строивших глиняный водопровод на даче и подкопавших стену дома. О том, как подрастающий котенок, растеряв своих братьев и сестер, принял большую чужую кошку за воплощение всех своих пропавших родственников. О том, как старая полубеззубая кошка ходила на берег и играла с набегавшей морской пеной.

По двору в кухню идет высокий, с маленькой головой и как бы срезанным затылком Евгений Замятин. У него налаженные отношения с кухней. Он ходит туда за водой для бритья, заказать обед или поговорить с хозяйкой.

Здесьняя кухня — это скрытый, второй план жизни дома. Подводное течение. Здесь решаются судьбы всего населения дачи. Тут кончаются разговоры, начатые за общим вечерним чаем. Отсюда идут характеристики и репутации гостей. Здесь создаются биографии приезжающих. В кухню перекочевала младшая литературная линия, изгнанная из официального мира столовой. Отсюда могли бы диктоваться письма и дневники современников. Именно тут сделаны незаписанные рассказы о здешних «дачниках»: о Брюсове, Андрее Белом, Л. Гроссмани, Адалис<sup>80</sup> и других.

Андрей Белый, например, все дни проводил на берегу, собирал прославленные коктейльские камешки. И увез их два полных чемодана. Он мечтал творить цветные симфонии. Но эти тяжелые дары коктейльской музыки, по слухам, по дороге в Москву у него украл.

Правит кухней седая, внушительная и малоразговорчивая фигура. Она составляет все балансы здоровья и настроений гостей. Она, как никто в мире, знает, что переваривает желудок Замятина и чего нельзя есть Белому. Держится она строго и тайн своих не выдает никому. В прошлом — говорят, киевская теософка. Может быть, поэтому ей и доверена, так сказать, невидимая, ирреальная жизнь гостя.

Правая рука ее — низенькая, остроносая бывшая суфлерша. Она наизусть декламирует отрывки из ходких дореволюционных пьес. Она когда-то завсегдаятай буйных студенческих вечеров провинциального Харькова или Житомира. У ней опыт взаимоотношений с реальным миром. Потому они живут с теософкой дружно, дополняя друг друга.

Идем с Всеволодом к Евгению Ивановичу.

Замятину нравится, что дверь флигеля можно держать день и ночь открытой. Ни ленинградских запоров, ни ключей, никаких хитростей замочной культуры.

В его прохладной комнате — кирпичный пол, жесткая низенькая железная кровать, деревянная табуретка и окно, заваленное пустыми коробочками, газетами и обрывками бумаги.

Евгений Иванович сидит без рубашки (худой загорелый торс, крепкие мышцы) перед складным зеркальцем и неторопливо, терпеливо — как всегда, что бы он ни делал, — бреется безопасной бритвой.

— Как вам нравится моя комната?

— Комната нравится, — отвечает Всеволод, — но ведь мимо ходят целый день!

(Надо сказать, что тропинка к двум деревянным культурно-нужным домикам, называемым всей дачей «гробами», вела мимо замятинского флигеля).

Замятин в ответ острит:

— Изучаю утробную жизнь наших обитателей.

Сегодня Замятин уезжает в Судак.

Он долго и неловко связывает свой портплед — то книги не входят, то какая-то коробка торчит. Нет, не умеет он собраться в дорогу, — и весело улыбается. Все трое снова перекладываем вещи и, смеясь над замятинской непрактичностью инженера, кое-как связываем злосчастный портплед.

— Я хотел все сложить в одно место, вот оттого он и вышел таким неладным.

— Сколько же у вас вещей?

— А вот еще! — и он бережно поднимает картонку.

Евгений Иванович увозил с собой в Судак в картонной коробке фетровую шляпу. О, суетное человеческое сердце и дальновидность мужа! Везти шляпу из Ленинграда в жаркий Крым только для того, чтобы на обратном пути надеть ее в Москве.

Потом компанией провожаем его до автобусной станции. В ожидании автобуса рассаживаемся на перила маленькой станционной террасы. Едим сочный арбуз.

Молодые женщины интересуются Евгением Ивановичем и настойчиво допрашивают, какая у него жена. Он улыбается, шутит, приводит какие-то литературные примеры. О жене не рассказал.

Дачу он назвал: «Волхоз — волшебное вольное волошинское хозяйство»<sup>81</sup>.

## 19

Днем жарко. С одной стороны степь. Пустынно и тихо. Только изредка пробежит вдали пыльное облачко автобуса или одноконной линейки. С утра до вечера звенят цикады. Где-то высоко-высоко кружит ястреб или горный орел.

И этот тусклый зной, и горы в дымке мутной,  
И запах душных трав, и камней отблеск ртутный,  
И злобный крик цикад, и клекот хищных птиц<sup>82</sup>.

Слева по берегу сухие холмы. Чуть-чуть красноватые, а когда набегаёт облачко — они кажутся лиловыми. Смотри по тому, как стоит солнце, — и вода на море, отражая меняющийся цвет холмов, синь неба и черноту горных вершин, становится то голубой с красной каемкой вдаль, то лиловой, то зеленой с черным, но чаще, мешая то и другое, разливается такой синеющей широтой, таким могучим шумящим ковром, что дух захватывает. У твоих ног дышит, живет, цветет что-то необычайно великолепное. Как будто земля нечаянно раскрыла перед тобой свою тайную лабораторию, мастерскую, один свой рабочий цех, где делаются эти волшебные вещи — горы, вода, облака, которые потом ты уносишь в яркой певучей строке:

Все так же пуст Эвксинский Понт  
И так же рдян закат суровый,  
И виден тот же горизонт,  
Текущий, гулкий и лиловый...<sup>83</sup>

20

По пляжу ходит старик С.А. Андрианов, когда-то сотрудник «Вестника Европы», и его жена Зоя Лодий — певица<sup>84</sup>. Она недавно приехала из гастрольной поездки по Германии. Лодий — маленькая, горбатенькая, порывистая. Ревнивая жена. Он — с белой бородкой, бодрый, в старомодных очках — целый день ходит по берегу в серых трусах, болтающихся на высушенных старческих ногах, в стоптанных туфлях и в полотняной детской панаме, из-под которой торчат седые волосы. Он любит солнце, человеческое общество и часто бывает на общем пляже. Тогда она теряет его из виду и долго, допрашивая встречных и поперечных, разыскивает. Встретившись, они оживленно шепчутся и наконец, взяв один другого под руку, гуляют. Это самая нежная пара на даче.

Один вечер Андрианов посвятил рассказам о жизни дореволюционных русских редакций газет. В другой раз рассказал об Америке. Интеллигенция Соединенных Штатов увлекается Чеховым. Андрианов объяснял это необыкновенное увлечение янки русским писателем, проводя параллель между социальными условиями русского общества чеховской поры и жизнью некоторых слоев современной американской интеллигенции.

21

Аккуратно к каждому чаю, обеду и ужину является археологическая чета Бороздиных<sup>85</sup>. Он — археолог, востоковед. Высокий,

черный, с проседью, похожий на кавказца. Прямой, несгибающийся, несколько угрюмоват. Она — резкая противоположность его: молодая, резвая блондинка, бежит по скалам и тропинкам, как коза, обрадовавшаяся воздуху, простору и немосковскому солнцу. Муж передразнивает, комически изображая ее прыганье. В ответ она смеется молодым смехом очаровательной женщины.

Против дачи на одном из горных склонов начаты раскопки. Бороздин ведет нас туда.

Начинается вечер. Быстро свежеет воздух. Тропинка идет вверх по острым камням.

Холм. Скрытая земля. Узкий коридор глубиной метра два. На дне каменные плиты длинной дорожкой, потом закругление. Камни.

— Вот здесь проходила стена. А это — была колонна. Тут, возможно, стоял небольшой древний храм греков...

С холма — широкий горизонт моря. Справа — темный высокий Карадаг. Влево — первые вечерние огни татарского селенья.

## 22

Не помню, почему зашел разговор о Михаиле Кузmine. Максимилиан Александрович говорил:

— Он мне показывал свои дневники. Правда, это было очень давно. Они главным образом посвящены интимному быту. Но интересные дневники и прекрасный язык, по нему когда-нибудь будут учиться русской прозе.

## 23

Темным вечером с моря шли зарницы, похожие на вспышки выстрелов далекого морского боя. И тишина.

Все высыпали на берег. Это было очень живописно — кто в плаще, кто в рубашке, кто просто в трусах. Лодий и Андрианов стояли тесно обнявшись. Все долго и восхищенно наблюдали за молчаливо развертывавшейся вдали фееричной картиной.

Ночью море пошло в атаку. Наше окно на чердаке засыпали, как снаряды, гром и молнии. Ветер рвал рамы, и волны били о берег с таким треском и шумом, что казалось, море вот-вот обрушится на дом. В нижнем этаже ждали землетрясения. Говорят, перед крымским была такая же буря. Но на этот раз примета не оправдалась.

За вечерним чаем Зоя Лодий делилась воспоминаниями о своем отце, директоре цирков прошлого столетия. Кто-то рассказал о театре. Вспомнили и театральные курьезы. Волошин рассказал случай, который впоследствии Зошенко положил в один из своих рассказов («Случай в провинции») <sup>86</sup>.

Волошин, Алексей Толстой, одна балерина и певица как-то устраивали литературно-музыкальные вечера. В одном из южных городов долго не могли найти свободного зала. Наконец помещение было найдено — зал им был уступлен потому, что предполагавшееся чье-то выступление не состоялось.

Выходит на сцену Толстой. Читает. За ним костлявая певица. Публика при виде ее аплодирует. Потом выступает со стихами грузный Волошин. Аудитория, увидя его, аплодирует еще громче. После Волошина выбегает тоненькая балерина. И не успела она сделать первое па — публика заорала от восторга. А когда балерина уходила — зал грозно молчал. Концертанты недоумевали, но охотно приняли эти перевернутые во времени восторги.

На другой день оказалось, что аудитория принимала концертантов за трансформатора, выступление которого, назначенное в этот день, не состоялось.

Еще из рассказов об Алексее Толстом. Перед войной 14 года в одну из общественных делегаций, выбранных для поездки в Лондон, вошел А. Толстой. На званом обеде в Лондоне услужливые распорядители посадили его с одним важным стариком.

— Сидим. Старичок мой молчит. Вижу, на нем русская андреевская лента. Ага, думаю, он имеет какое-то отношение к русским делам. Я к нему с разговорами. То да се. Но, не зная языка, стараюсь вспомнить что-нибудь из общеупотребительных английских слов — ол райт, о кей, йес, — а больше разговариваю на манер «твоя моя не знайт, ми руссишь приехалъ»... Старичок что-то мычит под нос. Ну, вижу, дело на лад! С такими разговорами проходит весь обед. Потом подхожу к одному соотечественнику, спрашиваю: кто этот симпатичный англичанин — старик с андреевской лентой? Да это, говорит, бывший русский посол Извольский!

Вообще, надо сказать, эти вечерние рассказы более походили на импровизацию. Помню, Всеволод Рождественский, начав рас-

сказывать одну забытую повесть, присочинил свой конец и тут же раскрыл свою затею, насмешив всех.

Словом, из этих побасенок, историйк и анекдотов мог бы выйти любопытный сборник литературных мистификаций, и жаль, что никто их не записывал.

## 27

Первый, кто поселился в Коктебеле, был Юнге, Эдуард Андреевич.

Цитирую Брокгауза и Ефрона: «Юнге Э.А. — известный окулист. Первоначальное образование получил в Рижской гимназии, а высшее — на медицинском факультете Московского университета. По окончании курса (1856 г.) отправился за границу, где занимался изучением глазных болезней в клинике проф. Грефе. В 1860 г. вернулся в Россию и получил кафедру офтальмологии в СПб медико-хирургической академии, которая и обязана ему устройством клиники глазных болезней на новых современных началах... В 1861 году командирован за границу, преимущественно в Египет, где изучал на месте воспаление глаз... Создал на новых началах школу русской офтальмологии, из которой вышло много деятелей, занявших почетные места в европейской медицине»<sup>87</sup>.

Дальше из рассказов Волошина.

Юнге прошел весь север Африки, от Марокко до Каира, в костюме бедуина, с надежным проводником, как арабский знахарь. Шел, притворяясь немым, так как не знал языка. Лечил трахому, катаракту. Собрал редкий и богатый материал для книги, создавшей ему европейское имя. Но он был человек честолюбивый — медицинская работа не удовлетворяла его. Мечтал о министерском портфеле. Был назначен директором Петровской сельскохозяйственной академии. Но и тут остался недоволен. Ушел в отставку и поселился в Коктебеле, купив эти земли тысяч за десять.

Сюда в конце XIX века и переехали родители Волошина. Был построен дом. Когда Максимилиан Волошин вернулся из-за границы, его мать, желая «остепенить» сына, предложила ему это приращение.

## 28

Вот, кстати, и местная легенда, рассказанная с улыбкой самим Максимилианом Александровичем, правда, по другому случаю.

Коктебельское зарождение. Только что образовалось общество благоустройства. Но каждое уважающее себя человеческое

поселение считает долгом иметь своего блюстителя правопорядка. И вот, ради общественного спокойствия решили завести городского. Обратились в высокие инстанции, и городской был прислан. Однако было забыто одно небольшое, но немаловажное обстоятельство: городской, естественно, совмещал и обязанности шпика, о чем, пока он свой досуг посвящал рыбной ловле, добропорядочные устроители местечка не догадывались.

Но с приездом однажды в Коктебель известного писателя Григория Петрова<sup>88</sup>, не так давно снявшего с себя сан священника, произошла неприятность. Перед рыболовом замелькала более лакомая «рыба». Он ловил Петрова днем и ночью, ходил за ним по пятам, дежурил у его квартиры и даже не оставлял на пляже. Петрову это надоело, и он публично высмеял городского. Мать Волошина — женщина независимая и деспотическая, считавшая себя коктебельской «хозяйкой», открыто возмутилась — шпик на службе общества благоустройства! Дальше — больше.

Максимилиан Волошин, известный в те годы как петербургский декадент, приехал провести летний месяц дома. Декадент? Из Петербурга? К маме? Странно!

Видимо, стечение всех этих обстоятельств вызвало появление в Коктебеле исправника. Расшаркавшись перед грозной дамой, задав нахлобучку нижнему чину, исправник, давно мечтавший о жизни в тихом углу, решил не ссориться и посвятить пока всю свою энергию благоустройству рождающегося курорта. На первых порах он поставил на пляже белые столбики с крупными надписями: «Для мужчин», «Для женщин», «Для коров».

Пожав плечами, молодой поэт Волошин замазал надписи. Оскорбленный исправник восстановил. Декадент, рассердившись, разбросал столбики по пляжу. Служака-исправник водрузил их снова. Декадент ночью столбики унес. Настойчивый исправник поставил новые. Декадент упорствовал. Prestиж исправника в глазах населения закачался. Исправник потерял терпение и сообщил рапортом по начальству: мол, известный декадент, вольнодумец Макс Волошин нарушает правила общественного порядка, оказывает властям сопротивление, и пр. и пр.

Как раз на новый курорт прикатила пышная киевская вице-губернаторша, дама светская и хорошо знакомая Волошиным. В первый же день она пошла купаться и выбрала самое дальнее местечко, не заметив коварной надписи «Для коров». Дотошный исправник, желая выслужиться, был тут как тут — стал «во фронт» и, пренебрегая видом снимаемых кружевных деталей дамского туалета, попросил ее превосходительство переменить место, а его непреклонная рука доброжелательно указала на све-

жую надпись. Высокая дама обиделась. Был скандал. Вскоре при-  
был и сам вице-губернатор. Зная Волошина как писателя и как  
своего земляка по Киеву, вице-губернатор однажды за рюмкой  
золотистой «Массандры» возьми да и расскажи у Волошиных ве-  
селым тенорком о «верноподданническом» докладе исправника,  
о поэте — нарушителе общественной нравственности и чуть ли не  
государственных устоев. Исправнику этот разговор стал известен,  
и он понял: карьера его на волоске, а декаденты торжествуют!

И вот как-то подкарауливает исправник у дачи самогó кра-  
мольного поэта, берет его осторожно под локоток и говорит, как  
давний приятель, желающий забыть ссору: «Ну неужели, доро-  
гой, вы обиделись на меня за то, что я в своем официальном до-  
несении назвал вас уменьшительным именем "Макс"? Ну, на-  
зывайте меня, если хотите, просто Миша!»<sup>89</sup>

/.../<sup>90</sup>

Работающая в одном из московских музеев гостя рассказывает  
о своей командировке в прошлом году в Италию, прибавляя:

— Из экономии средств я часто ездила в третьем классе и,  
может быть, поэтому я видела меньше, чем вы.

Максимилиан Александрович смеется:

— А вы думаете, я был богач? Я всегда ездил только в треть-  
ем классе, а то больше ходил пешком. Ездить в третьем классе  
интереснее, не встречаешь, по крайней мере, туристов, путеше-  
ствующих ради скуки. И настоящего итальянца видишь только в  
третьем классе... /.../<sup>91</sup>

---

После книг хорошо выбежать на берег, побродить, полежать.  
Оглянуться на дом. Вспомнить и вслух самому себе прочитать,  
как об этом писал в своем «Земном сердце» Всеволод:

Я камешком лежу в ладонях Коктебеля,  
И вот она плывет, горячая неделя,  
С полынным запахом — в окошке на закат,  
С ворчанием волны и болтовней цикад...  
Здесь, в этом воздухе, пылающем и чистом,  
Совсем я звонким стал и жарко золотистым,  
Горячим камешком, счастливым навсегда,  
Соленым, как земля, и горьким, как вода.  
Крутая лестница... Окошко с хлебной коркой,  
Стропила в извести... (с подобною каморкой

В восторженные дни беседовал уже,  
У муз и нищеты гостивший, Беранже),  
Скрипучий стол, тюфяк, немного звезд и света —  
Все, что классически пригодно для поэта,  
Чтоб муза легкая, когда я захочу,  
Могла ко мне сойти по лунному лучу...  
В закатной «Мастерской», где в окнах мыс и море,  
Пишу иль просто так блуждаю в кругозоре  
И, с рифмой наконец оставив праздный спор,  
Как в тишину пещер, вступаю в разговор,  
Исполненный огня и горечи и меда,  
С сребристым мудрецом в повязке Гезиода,  
В словах которого, порхающих как моль,  
Сверкает всех веков отстоянная соль.  
Он водит кисточкой по вкрадчивой бумаге,  
Он колет мысль мою концом масонской шпаги  
И клонит над столом изваянный свой лик  
Средь масок, словарей, сухих цветов и книг...<sup>92</sup>

Есть что-то по-детски чистое в мелодии этих строк, к ним можно прикоснуться, чтобы нечаянным движением или шорохом вдруг не разрушить этот прихотливой фантазии рисунок, где современность переплелась со стариной. В них есть своя правда поэта — может быть, не всем близкая.

---

Утром на нашем чердаке в маленькое оконце влезает без спору солнце и ползает, как веселый карапуз, нагишом, по некрашеному полу, садится на единственный стул, забирается на стол, трогает паутинку, свисающую с низкого потолка, и наконец затихает в дальнем углу. После обеда на чердаке полумрак. В окошке резче синее море. В доме тишина, и кажется, что и море отдыхает. И только где-то за старым сундуком, который поставлен здесь, наверно, еще в XIX столетии, возится мышь. На днях мы нашли целое семейство прелестных малюсеньких мышат под каким-то ветхим матрацем. Мы живем тихо и дружески. Всеволод часто сидит за столом. Я больше брожу. Когда я три дня назад приехал сюда, я не знал — где и как буду обретаться. Приехал из Феодосии на линейке, тут же на остановке попросил у сторожихи пристанища. Она сначала недоуменно развела руками, потом привела в какой-то нищенский курятник, подмела земляной пол, принесла ведро воды, показала на огромный деревянный

крюк на глиняной стене и сказала: «Ну, вот!» Я умылся, вынул из чемоданчика новую рубашку, старый френч и единственный галстук. Было так жарко, что пот лил с меня ручейками, но мне казалось — нельзя явиться без галстука к такому поэту, какая бы ни была погода. И стал спрашивать, где здесь дача «товарища Волошина». «А вон!» — ответили мне. Дом стоял в двадцати шагах. Через пять минут меня встретил оклик Всеволода из окошка второго этажа. А еще через пять минут я стоял, смущенный, обливаясь потом, перед Максимилианом Александровичем.

Так я стал здесь равноправным гостем. Не только дачи, но и всей природы, которая здесь входит в общий коллектив тоже на равных правах. О ней так и говорят: «А сегодня я вас познакомлю со стариком Карадагом!»

После обеда идем с Всеволодом на Карадаг. Тропинка вьется между скал и редких кустарников, то падает на дно высохших горных ручьев, то взлетает на голые открытые площадки и вдруг пропадает.

Травую жесткою, пахучей и седой  
Порос бесплодный скат извилистой долины.  
Белеет молочай. Пласты размытой глины  
Искрятся грифелем и сланцем и слюдой.  
По стенам шифера, источенным водой,  
Побеги каперсов; иссохший ствол маслины;  
А выше за холмом лиловые вершины  
Подъемлет Карадаг зубчатую стеной<sup>93</sup>.

Карадаг — потухший вулкан. Уже на закате мы добираемся до его вершины. Вершина усеяна тяжелыми камнями черно-серого цвета, напоминающими застывшую лаву. По краю кратера, одной стороной низвергающегося в море, — острые громадные утесы, торчащие как вызов; разрушаясь в течение многих десятков лет, они под действием ветра, снега и дождя приняли фантастические формы какого-то взволнованного доисторического пейзажа с окаменелыми мрачными фигурами, напоминая картины Н.Рериха. У Волошина в стихах о Карадаге есть такая строчка: «напряженный пафос Карадага»<sup>94</sup>. И действительно, кажется, что

...груды валунов и глыбы голых скал  
В размытых впадинах загадочны и хмуры.  
В крылатых сумерках — намеки и фигуры...  
Вот лапа тяжкая, вот челюсти оскал.  
Вот холм сомнительный, подобный вздутым ребрам.  
Чей согнутый хребет порос как шерстью чобром?  
Кто этих мест жилец: чудовище? титан?<sup>95</sup>

С вершины коктебельский залив кажется половинкой разбитого блюда цвета густой сливы. Сверху не знаешь, чего больше — моря или неба.

С нами в горы хотела пойти Овечка — одна из гостей, называемая так между нами за свой тихий и скромный характер. (Некоторым гостям мы давали свои прозвища: так, жену одного из руководителей заповедника «Аскания Нова» называли этим же именем, Зеленскую<sup>96</sup> звали по имени ее маленького сына — Кайкина мать, и т.д.). На первом повороте Овечка раздумала и отстала. Вечером возвращаемся, нас спрашивают об Овечке — она еще не вернулась. В доме поднимается переполох.

Первая мысль всех — заблудилась. В горах, в темноте, без дороги заблудиться легко. Тревога быстро охватывает всех. Но никто не знает, что делать. Максимилиан Александрович заволновался. С зажженным фонарем и палкой-посохом, в коротких синих штанах чуть ниже колен, в сандалиях на босу ногу он собрался идти на поиски. Кричал, распоряжался. Темнота густела. По двору замечались люди. Перекликались голоса. Кто-то звал хозяйку дома: «Маруся, Маруся<sup>97</sup>!» Молча стояли испуганные археологи — их считали прямыми виновниками происшествия: Овечка потом пошла с ними, но дорогой свернула.

Все это было похоже на прекрасно сыгранную сцену из средневековой драмы. Обострившаяся настроженность. Предчувствие опасности. Темнота. Резкие интонации. Быстрые движения действующих лиц на маленькой площадке двора. Фонарь в руках Волошина создавал самые неожиданные театральные эффекты, освещая то пыльные плащи, босые ступни, то худые ноги археолога, то дальний куст или женскую юбку. По всему двору, по стенам дома метались огромные тени, как гигантские крылья мифических птиц. Мы молчали. Казалось, сама темнота, как суфлер, подсказывала слова и паузы. И даже трезвая житейская хозяйка дачи, Мария Степановна, с большим чувством меры провела короткую, сильную роль, успокаивая всех и отговаривая от посков.

Не знаю, чем бы все это кончилось, но через пять минут откуда-то вернулась пропавшая гостья — запыленная, усталая и улыбающаяся нашим испугам.

Но уже пора было дать занавес. Фонарь потух. Зашуршало море, о котором мы забыли. Все с облегчением пошли пить чай.

Потом мне рассказывали, что такие импровизационные спектакли ставятся каждое лето с прибытием новой партии гостей.

— У Макса друзья — ломовики и извозчики, — рассказывает какая-то далекая родственница за столом. — Бывало в Феодосии сидишь с ним в кафе. Подходят странно одетые люди. «Здравствуй, Макс». — «Кто это?» — шепчешь ему. — «Это бывший мой одноклассник по гимназии». Оказывается, в Феодосии доживают свой век ломовиками — бывшие гимназисты.

— Но у Макса было много и ненавистников, — продолжает она. — Даже старые караимы, после репинской истории, писали письма в газеты: «Мы его знаем, он всегда был таким».

/.../98

— А вы знаете, — сказал мне Всеволод, — здесь в Коктебеле живет Вересаев. У него здесь своя дача. Он иногда бывает у Володиана.

Интересно!

Перед заходом солнца играли в лаун-теннис. За флигелями на крепкой площадке, разделенной веревочной сеткой, неуклюже топталась девочка с голыми острыми коленками, подавая мяч в стороны. Незнакомый полулысый мужчина, ниже среднего роста, в пенсне, в светлых брюках с быстротой гимнаста парировал удары, легко бросаясь направо и налево. Он то вытягивался, то сжимался. Какая-то невидимая нить связывала его с мячом. Казалось, эта игра — его стихия. По краям корта на земле сидели, подняв колени, внимательные зрители.

Подошел Всеволод и, сменив ботинки на туфли, выхватил у девочки ракетку, поймал мяч.

Я удивился:

— Разве вы играете?

— Неужели меня нельзя представить играющим в теннис? Напрасно. Я очень люблю такие игры!

Мужчина не уставал. Он по-прежнему, не роняя мяча, подавал его Всеволоду метко и быстро. Играл серьезно, молча. Заходящее солнце освещало рыжеватые волосы его, напоминавшие парик.

Когда партия кончилась, мужчина надел летний пиджак и сразу приобрел домашнюю внешность пожилого человека, неторопливого, точного в словах, без улыбки, довольного игрой, но готового ее продолжать.

Это был 62-летний Вересаев, похожий на человека, попавшего не в свою эпоху или забывшего вовремя уйти.

Поражает среди гостей обилие женщин. Старые и молодые. Но последние, как мы говорили, «с перебитыми лапками». Одна с мужем разошлась. Другая выдохлась. Третья скучает.

Сначала мне почему-то мешали все эти бабушки, девицы, юноши, осаждающие каждый обед и чай. Но потом я понял. В каждой книге бывают пустые полстраницы между концом одной главы и началом другой — страницы перехода, страницы, заполненные всеми теми знаками и нехитрыми виньетками, что на типографском языке носят название «усиков», «кончиков», «волнистых линеек» и пр. Вот и здесь, как во всякой книге, роль «усиков» и «концовок» выполняют все эти ищущие Аси, литературные, ставшие ходячей традицией, старушки-переводчицы, дети талантливых родителей и др. Они заполняют неловкое молчание, громко стучат ложками и стаканами, не вовремя смеются, двигают стульями — это их место.

С бронзовым от загара лицом, в белой чалме и в оранжевом костюме принца из «Баядерки» ходит по даче гибкая Литвинова — художница<sup>99</sup>.

По утрам и после обеда Литвинова пишет Максимилиана Волошина. И тогда вы видите, как она деловита, трезва и проста. Она не ссорится с женщинами, дружна с мужчинами, ласкова с детьми. Легко, молчаливо и весело проводит она свою роль иконографа во всей этой ненаписанной коктебельской книге.

На даче много детей. В день именин маленького сына алюминиевого инженера<sup>100</sup>, как мы называли одного из живущих в доме, отец устроил детский вечер. На дворе была разбита пионерская палатка, зажжен костер. Все выходили посмотреть на этот огонь, на этот необыкновенный в здешних условиях современный праздник.

Днем на пляже дети выделывают уморительные штуки. Особенно любит шалить семилетняя дочь Маризтты Шагинян. Она купается с сыном инженера и ни за что не хочет выходить из воды.

Кроме детей младшего возраста, на даче есть дети старшего возраста — это Ася, Далик и другая молодежь. Иногда вечерами устраиваются чтения стихов молодых.

Максимилиан Александрович принимает в них участие по обязанности хозяина. Сидит, хвалит: «Хорошо, очень хорошо». Потом, загипнотизированный монотонным чтением, закроет глаза и дремлет. Мария Степановна сделает ему тихонько замечание, он вскинет пенсне, что-то промычит протестующе, и опять послышится его ровное дыхание. С закрытыми глазами, опустив голову, сидит тяжелый, сонный, уставший за день, скрестив толстые голые ноги в сандалиях под стулом. Седые волосы перетянуты ремешком. Полные руки на коленях. Бороду на грудь. А кругом беленые стены, освещаемые керосиновой лампой, слушатели вокруг длинного некрашеного стола и даже сидящие на полу, у стены — поблескивающий черный рояль. В раскрытые окна сонно бормочет море. /.../<sup>101</sup>

55

Мы собирались ложиться спать. Шел двенадцатый час. Дом затихал. По далекой гальке тяжело прошуршали последние шаги. Со двора слабо донеслось чье-то «спокойной ночи». Где-то внизу закрыли дверь, и из углов поползла тишина. Только в открытое окно чердака мерно и шумно дышало море.

При свете свечи — ночной свежий воздух колебал ее пламя — Всеволод кончал переписывать написанные днем стихи.

Слева за выступом стены скрипнула дверь и послышались грузные шаги.

— Вы еще не спите? — голос Максимилиана Александровича.

— Пожалуйста, Макс! — привстает Всеволод. — Входи! — (Они на «ты»).

В туфлях на босу ногу (он летом не носит чулок), в рабочей блузе, с маленькой керосиновой лампой в левой руке и с листками бумаги в правой, входит Волошин.

— Мы еще занимаемся стихами...

— А что у тебя тут такое? — ставит лампу на стол Максимилиан Александрович. — Ты мне это читал? А-а... Ну, прочти еще раз.

Всеволод живо: — Я хотел бы тебя, Макс, попросить нам что-нибудь прочесть. Днем ты занят и всегда кто-нибудь мешает...

У Всеволода с Максимилианом Александровичем давняя дружба. Они относятся друг к другу, как равные.

— Да, эти гости, — понимающе смеется хозяин. — Ну, что ж, давайте почитаем. Я принес «Сказание».

Он сел на край кровати, подвинул лампу. (Всеволод потушил свечу). Поднял тонкий, папиросной бумаги лист на уровень лица, ближе к блестящим пенсне, и прочел:

— Сказание об искушении инока Епифания бесами<sup>102</sup>.

Здесь, на чердаке<sup>103</sup>, он показался мне другим. Днем во дворе, в столовой, в кабинете это пышный, гостеприимный хозяин, самовольно заточивший себя поэт, самоуверенно носящий свою седую голову, увенчанную черным ремешком, бывший соратник Бальмонта и Брюсова, немного торжественный, в меру иронический.

Здесь перед нами сидел по-домашнему простой, оживленный старик с короткой полной шеей и толстой спиной, полнота которой ему явно мешала. Его спутанные — в этот час без ремешка — волосы лезли в глаза, он смахивал их со лба легкой рукой, снимая пенсне и становясь на секунду незнакомым. Грузное тело его, осевшее на кровати, было неуклюже и нескладно.

Читает он немного нараспев, протяжно, ровным голосом, как старинное повествование или житие, по-особому выговаривая слова XVII столетия.

«Сказание об иноке Епифании» написано стихами, похожими на белые. Чудовищная тема должна восприниматься в наши дни иронически — так автор в подтексте ее и дает, иначе писать было нельзя. Благодаря наивности, искренности и духу примитива, «Сказание» трогательно живо.

Конечно, оно написано не сейчас, а скорее всего после исторической бури, пронесшейся повсюду, а здесь наиболее резко. Уход в XVII век — это душевная реакция. Желание отдышаться после всего пережитого.

Революция толкнула его к темам истории. Еще в семнадцатом году был им написан «Стенькин суд»<sup>104</sup>. Эпоха Пугачева и Разина не могла его не заинтересовать, но как старый русский интеллигент, воспитанный школой в определенном историческом мышлении, не доросший еще до диалектического понимания истории, он искал в старине мостиков в сегодняшний день.

«Сказание об искушении» — это ироническая шутка, записанная «на полях» книги размышлений и раздумий. В этом есть своя закономерность. Поэт не всегда мог преодолеть инерцию своих вкусов и пристрастий.

Свое «Сказание» он называет современным.

Евгений Замятин сделал такую надпись на своей книге, подаренной Максимилиану Александровичу: «Я не Евгений, а Епифаний, меня тоже бесы одолевают»<sup>105</sup>.

/.../106

Говорят, откуда-то пришел слух: Волошин — коммунист. Максимилиан Александрович смеялся: «Что они, с ума сошли, что ли? Ну, какой же я марксист!»

Всеволод днем читает стихи Сельвинского. Он читает их впервые.

— В Ленинграде некогда было, — объясняет он. — А вы знаете, кто это? — указывает он мне на обложку книги Сельвинского со сложным — двойным наплывом — рисунком, где на заднем плане чей-то портрет в профиль.

— Нет.

— Николай Гумилев.

— Почему здесь, у Сельвинского?

— Я не знаю почему, но это он<sup>107</sup>.

Меня поражает упорство, с каким Всеволод пишет стихи. Он работает каждый день по несколько часов, и если утро — в библиотеке, то стихами занят днем или вечером. Он не ходит по комнате, не бурчит себе под нос, не стоит задумавшись, как иные поэты, — нет, он прирастает к стулу и столу. Единственное, что он себе позволяет, — положить перед собой ветку винограда и время от времени пощипывать ягоды. Здесь он прочитал мне свое «Вино», простые и эмоциональные стихи:

Есть в Имеретии вино.  
Не всем понравится оно...<sup>108</sup>

Утром Всеволод ходит в полосатой синей майке и туфлях. Вечером надевает пиджак.

Иногда в сумерки до ужина собираемся во дворе и играем в «пятнашки», в «горелки». Орем, как маленькие дети. Старики подсмеиваются над нами.

У Всеволода есть сильный бинокль. Из нашего окна на чердаке виден весь женский пляж. Иногда позволяем себе удовольствие направить окуляр в эту сторону.

Перед обедом ежедневно купаемся. После купанья, чтоб согреться, бегаем по пляжу до тех пор, пока не позеленеет.

66

Обедаем на террасе за длинным некрашеным столом без скатерти. Ужин — в «музыкальной» (там стоит рояль). У каждого есть свое место за столом. Каждый гость приезжает со своей чашкой и ложкой. Мужчины по очереди носят к чаю огромный полутораведерный самовар.

67

На руках хозяйки Марии Степановны — весь дом: Максимилиан Александрович, гости, чистота, порядок. Ее часто можно видеть с веником в руках или с иголкой и ножницами. На даче ее называют Марусей. В жаркие дни она надевает серые полотняные мальчишеские штанишки до колен и сразу теряет свою последнюю женственность.

Она не пишет стихов, не рисует, не рассказывает. Она поет. Но это очень своеобразное пение — без готовых канонов, без памяти. У ней свои мотивы, свои законы пения, каждый раз новые, каждый раз вновь придумываемые. Оттого ей трудно повторить одну и ту же песню.

Как-то после ужина она пела «Зарю-заряницу» Сологуба<sup>109</sup>. Несмотря на некоторое однообразие, в ее пении — простом и несложном — всегда важен тон, окраска вещи; она умеет вложить в песню свое отношение к словам, дать в ней свой голос. Это очень самобытное пение. Так поет птица, так поет простоволосая деревенская женщина — для себя, для своего сердца, для своего ребенка. Удивительна была эта песня, такая чуждая роялю, под аккомпанемент которого звучали здесь известные романсы, и так гармонировавшая с природой, небом и ночью.

Она чрезвычайно внимательна к Максимилиану Александровичу. Ее заботливость даже изредка сердит его. Но женщина всегда умеет найти примиряющий тон.

Все-таки, если бы я не знал, что она его жена, — увидя ее впервые, я не поверил бы этому. Хотя в жизни, может быть, всегда так: Зевсы женятся на своих служанках. Существует версия: это затянувшаяся случайность военного времени. Когда-то его женой была М.В.Сабашникова — родственница книгоиздателей бр. Сабашниковых<sup>110</sup>.

Утром приходили болгарки. Приносили шелковые, кисейные, газовые платки и шарфы, вышитые под народные узоры. Долго торговались, присев на корточки. Всеволод выбирал для ленинградок подарки. Узоры в наши дни уже утратили старинную первоначальность. Стилизация с годами выцвела, выветрилась и оскудела. Но для ленинградцев и москвичей эти нехитрые произведения неотразимы. Экзотика.

Днем пришел Х., рассказывал о современной реставрации русских старинных икон.

— Теперь научились снимать с икон наслоения веков. Очищают икону XVI столетия, за ней глядит XV век. Фотографируют, записывают. Снимают дальше. Доходят до XIII и XII века. Иные слои бывает даже жалко снимать, до того хороша, по-своему выразительна живопись. Но всегда интересно дойти до конца.

В каждую свою поездку в Крым считает своим долгом зайти на дачу Василий Десницкий<sup>111</sup>. А в Крым он ездит каждый год, собственно, ездит в Гаспру. Он старожил этих мест, и Гаспра, как он говорит, «рождалась на его руках». Волошин прочитал ему свои стихи — «Сказание об искушении инока Епифания бесами». Тема для коммуниста Десницкого чуждая. Но он молча выслушал все, не хваля, не порицая.

У Десницкого большая литературная культура, годы жизни в Европе, встречи с Лениным, дружба с Горьким, страсть к собиранию редких книг, древних икон и неистребимая любовь к русскому человеку. Он и внешне типичный старый русский человек: худое лицо деревенского старика, реденькая сивая бородка, неторопливый голос, скромная одежда, спокойные жесты и умные, с хитринкой глаза, далеко тебя видящие сквозь простенькие очки.

На Волошина он смотрит так, как будто хочет сказать: «Вот и еще раз встретились. Старики мы с тобой. Однако было и у нас кое-что, о чем можно вспомнить. Революция многое изменила в наших взглядах. Но у нас с тобой одна родина, мы жили в одни и те же годы, хотя и по-разному на них смотрели... Вижу, еще стихи пишешь? Любопытно, но надо ли?»

После его ухода Максимилиан Александрович удивленно поднимает плечи и смущенно полушепотом говорит:

— Удивительный человек...

О Десницком тут рассказывают, что он брат сиамской королевы<sup>112</sup>. Четверть века назад у какого-то сиамского короля была русская жена, сестра Десницкого. Молодой король, тогда еще принц, полюбил ее, когда она была еще киевской гимназисткой, а он кадетом, учившимся в России. Виктор Шкловский рассказал об этой истории в «Гамбургском счете» (а впоследствии расскажет о ней в «Далеких годах» Константин Паустовский).

## 71

На даче несколько групп. Одну из них возглавляет Маруся Гали из кино со своим статным, рослым мужем-зоологом. В иные минуты они задают тон всему дому своим образом жизни, не похожим на пансионное житие других. Они любят в изобилии вино, фрукты, много курят, вокруг них постоянно веселый шум, суета. И когда в это вовлекают Максимилиана Александровича, другая сторона дома косится.

## 72

С нами сидит опрятный, корректный С.С.Заяицкий<sup>113</sup>, в сером пиджаке и темном галстуке. Москвич. Прозаник. Проездом. Сидит загорелый, спокойный, с черными, как ягоды, глазами, и как будто даже к месту среди красок лилового винограда, желтых яблок, оранжевого стакана вина и темной зелени бутылок. Он молчит. Хорошо молчит, приглядываясь к окружающим.

## 73

За вечерним чаем Шервинский<sup>114</sup>, директор Сухумского обезьянника, рассказывает об интересных работах своего учреждения. Но, попадая в общий тон, и он старается подать свой рассказ с юмором:

— Весь этот год жили под тревогой. То печальные, то радостные известия — в роде: «У Григория второй день понос» или: «Манька забеременела». Это про обезьян.

Шервинский представитель старомосковского врачебного мира, человек с традициями вымирающего племени. Про него тут говорят: бывшая глава русской медицины. Он стар, высок, сух. Ест кашу. Носит старомодный чесучовый пиджак и мягкую соло-

менную шляпу. Даже в самый жаркий день на нем стоячий воротничок. У него высохшие узловатые пальцы. В руках палка. Он медлителен в жестах и в походке. Неодобрительно поглядывает на говорливую молодежь. Малоразговорчив. Но, вспоминая о далеком прошлом, бывает словоохотлив и прост. Как-то даже пытался после долгих упрасиваний спеть один романс, популярный в его молодости.

Шервинский-сын<sup>115</sup> — московский переводчик — здесь на правах добровольного затейника. Он устраивает концерты, спектакли, поэтические конкурсы, пантомимы, одним словом, как называют эту роль в обыкновенных домах отдыха, он — культурник здешней дачи.

74

В прошлом году в Коктебель к Волошину приезжали конструктивисты с Сельвинским и Верой Инбер<sup>116</sup>. Шли горячие споры о современном искусстве, поэзии и прозе.

75

Волошину в этом году в мае исполнилось пятьдесят два года. Дни его годовщины на даче каждый год отмечаются шумными и веселыми празднествами — самодеятельными спектаклями, концертами и играми. Больше всего, конечно, веселятся сами гости, ибо приготовления к спектаклю начинаются задолго до самого праздника. К участию привлекается почти все население дачи, и репетиции идут днем и ночью при общем хохоте, с различными курьезами и выдумками. Однако от виновника торжества все это держится в тайне, и хотя он, несомненно, знает, что происходит, но вход на репетиции ему строго запрещен.

— Меня, к сожалению, лишают, — говорит с притворной досадой Максимилиан Александрович, — всех этих удовольствий. Мне приходится в эти дни или делать вид, что я ничего не вижу и не слышу, или сидеть одному в кабинете. Все комнаты в эти дни заняты. В одной комнате пишут декорации, в другой репетируют музыканты, в третьей шьют костюмы. Отовсюду меня изгоняют. И мне оставлено только одно — терпение.

Рассказывают о веселом спектакле, состоявшемся много лет назад, в котором участвовали Андрей Белый и Валерий Брюсов. Была сочинена музыкальная пантомима из японской жизни. Сергей Шервинский, гостящий здесь часто, написал либретто. Композитор Юрий Николаевич Тюлин<sup>117</sup> — музыку. Андрей Белый изображал американского офицера. И, говорят, эффектно. До

сих пор вспоминают его широкие жесты и огромные шаги по маленькой сцене.

76

Музыканты, поэты, артисты, живописцы, писатели, критики, ученые, журналисты, то живущие месяцами, то заглядывающие на два-три дня, — вот здешние гости. Здесь можно встретить людей самых разнообразных мировоззрений, привычек, возрастов, профессий, вкусов. Если летом дачу посещают экскурсанты по Южному берегу Крыма, а в конце июля—августа — писатели, то осенью навещаются летчики-планеристы. Здесь — удобные площадки и нужные воздушные течения.

77

У Максимилиана Александровича двойственное отношение к гостям. Кончается холодная зима — приходит солнце, тепло, люди, которых он любит и без которых ему трудно жить. Но с ними кончается и своя работа. А с октября опять ветры, штормы и одиночество. Наверное, к концу лета надоедают гости и втайне хочется скорее остаться одному, с незаконченными стихами, старыми книгами и новыми мыслями.

78

Три флигеля летом обычно полны.

Своеобразие этой дачи в ее домашнем характере. Никто не чувствует себя тут чужим. Каждый приезжий — скорее всего гость старого поэта. Каждого окружают заботой и вниманием. И эта полусемейная, полудомашняя обстановка располагает к доброжелательности и уюту. И, несмотря на то что все как будто представляют одну большую семью, каждый чувствует себя независимым и свободным.

Только утром в часы завтрака и вечером многолюдно и шумно на дворе, в доме и во флигелях. Днем все разбредаются — кто куда: на берег моря, в горы, в соседнее селение. Если хочешь, поднимись во второй этаж в библиотеку или сиди у себя на чердаке и пиши, сочиняй, рифмуй, если ты сочинитель, или посети знакомых во флигельке, или возьми газету.

На даче газета крепко вошла в быт. Читают «Правду», «Известия», «Вечернюю Москву», местную феодосийскую и, конечно, «Литературную газету».

В этот месяц в «Литературке», в московской вечерней и в других газетах много пишут о всем знакомом здесь — Евгении Замятине как авторе романа «Мы». Естественно, каждый номер газеты нарасхват, каждое новое сообщение о литературных событиях в Москве обсуждается вслух. Да такие события и не могут не волновать писателей, и не только писателей<sup>118</sup>.

Как-то раз Рождественский нашел приклеенный к калитке ограды листок бумаги с протестующими словами, вроде того, что, если, мол, на даче живет писатель Замятин, то что можно сказать о других! Листок, по общему предположению, был написан кем-то из соседнего дома отдыха. Видимо, и там были люди, интересующиеся литературными делами.

А обстановка во Всероссийском союзе писателей в последнее время сложная. «Литературная газета», например, печатает такие письма: «Выхожу из состава правления Всероссийского союза писателей, а также из самого союза... не вижу смысла в его существовании в таком виде, в каком он существует в последние годы», — пишет 19 августа Ефим Зозуля<sup>119</sup>.

Пишут и говорят о чистке Союза, о его реорганизации.

26 августа в небольшой передовице «Литературки» Б.Волин, создатель журналов «На посту» и «На литературном посту», пытается объяснить создавшуюся сложность плохим руководством и ставит в вину руководителю Союза Б.Пильняку опубликование им своего произведения «Красное дерево» в эмигрантской печати. Задом поминает и имя Е.Замятина, чьи отрывки из романа «Мы» девять лет назад напечатаны в пражской белой прессе.

Б.Пильняк 2 сентября отвечает в «Литературной» М.Волину большим письмом.

В том же номере редакция помещает письмо В.Маяковского «Наше отношение». Оно вполне в духе Маяковского:

«Повесть о "Красном дереве" Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал.

К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врага.

В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.

Надо бросить беспредметное литературничанье.

Надо покончить с безответственностью писателей.

Вину Пильняка разделяют многие. Кто? Об этом особо.

Например, кто отдал треть Федерации союзу пильняков?

Кто защищал пильняков от рефовской тенденциозности?

Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?

От РЕФа В.Маяковский».

Идут экстренные собрания писателей. Из номера в номер «Литературная» печатает резолюции, протесты, письма. Протестуют сибирские писатели, украинские, АПП и ЛЕФ, Грузии, совет «Перевала», секретариат Всероссийского общества крестьянских писателей, президиум совета «Кузницы». Новосибирская АПП требует «по поводу явно идеологически чуждых произведений Вс. Иванова, Ив. Новикова, Сергеева-Ценского<sup>120</sup>, напечатанных в "Красной нови", применить высылку за пределы СССР». Ленинградское отделение Союза считает «необходимым указать на то, что писатели, произведения которых перепечатывались в эмигрантской прессе, в большинстве случаев своевременно не протестовали против этого лишь потому, что факт перепечатки им не был известен». И так далее.

Собраний и заседаний было много. О Замятине раздавались голоса и «за» и «против». В конце сентября Пильняк исключается из Союза. Исключают и Замятину.

## 81

Первые газетные сообщения о себе Е.Замятин читал еще здесь, на даче, за несколько дней до отъезда в Судак, и надо отдать ему должное, держался спокойно и уверенно. И во всяком случае не считал себя единомышленником Пильняка.

Уезжая в первых числах сентября, он показал письмо, которое хотел послать в редакцию «Литературной». Письмо было краткое, излагающее суть дела. Видимо, оно претерпело многое, прежде чем было послано в газету. В «Литературной» — уже в октябре — было напечатано другое письмо, длинное и острое. В нем Замятин заявлял о своем выходе из Союза писателей.

## 82

Сегодня я должен уезжать. Шесть дней промелькнули быстро.

В день отъезда у автомобильной остановки встречаем Якубинского<sup>121</sup>. Он едет куда-то дальше. Крепкий, высокий мужчина

с неожиданным для него тоненьким голосом, энергично жестикулируя, рассказывает о московских событиях.

По внешнему виду он напоминает скорее агента для поручений хозяйственного учреждения, чем литературоведа.

Автобуса почему-то нет. Сажусь на одноконную линейку. Поехали.

— Мы еще о многом, жаль, не поговорили, — все отставая от линейки, говорит Всеволод.

Моросит дождь. С холма еще кусок моря, серого, тяжелого. Спускаемся. Оглядываюсь.

Далеко висит скала с выдуманным волошинским профилем. И все.

---

Зимой 1929-1930 года у М.А.Волошина был удар.

В июне 1930 года В.А.Рождественский мне писал:

«Дорогой Мемноныч, это письмо пишу под мою диктовку, т.к. сам я лежу в постели уже семнадцатый день. У меня паратиф — разновидность тифа. Это обстоятельство значительно отодвигает и путает мои летние планы, но все же я могу сообщить Вам, что сейчас же после выздоровления, в конце этого месяца, я выезжаю с писательской бригадой Гипромеза (Дм. Четвериков, Н.Никитин)<sup>122</sup> в район Днепростроя и на Керченский металлургический завод, где проведу весь июль месяц. Возможно, из Керчи на несколько дней я заеду навестить Максимилиана Александровича и уже из Феодосии переброшусь в Сочи, где за мной закреплено место в Доме отдыха печатников на весь август месяц. В сентябре предполагается гастрольная писательская поездка... Предполагено посетить Сочи, Сухум, Батум, Тифлис, Баку и вернуться на север через Ростов. Ядро "труппы" Б.Лавренев, Четвериков, Никитин, Крайский и я.

Спасибо Вам за милое письмо и за память дружбы... Радуюсь успеху Вашей пьесы, надеюсь, она продлит его и при свете ramпы. Имейте в виду — Лавренев в Ваши края не собирается, т.к. проводит лето в Коктебеле, куда уезжает на днях. В Коктебеле все благополучно. Зимние тревоги прошли, и М.А. чувствует себя хорошо.

Евгений Иванович снова начал появляться в литературе. В нашем Александринском театре в будущем сезоне идет его пьеса "Сенсация"<sup>123</sup>. Осенняя история, видимо, рассосалась без последствий.

Н.В.Баршев в конце месяца уезжает с писательской бригадой ГИЗ'а на Верхнюю Волгу и Каму. Сейчас он работает над кино-

сценарием и прикреплен Совкино к резиновой фабрике "Треугольник".

Я кончил свой год с усталостью и с удовлетворением. Правда, писал я очень мало, но много работал по общественной линии и, в частности, очень доволен своим пребыванием в театре. Сейчас я законтрактован Гипромезом и должен буду дать книгу производственных очерков — задача для меня новая и не лишенная интереса. Печатался в этом году очень мало, впрочем, Вы найдете меня в майской книге "Красной нови". М.Зенкевич как-то обмолвился добрым словом о моем "Гранитном саде"<sup>124</sup>, что было для меня большой неожиданностью, т.к. я уже привык ко всяким печатным порицаниям по адресу этой книги. Меня гораздо больше радует успех моей географической лирики.

Впрочем, довольно о литературе. Я очень радуюсь возможности уехать из города, увидеть Днепр и степи, увидеть горячее море.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Всеволод Рождественский<sup>125</sup>.

---

После удара М.Волошин прожил недолго. В августе 1932 года он умер.

#### Тетрадь четвертая. 1932-1938 гг.

Тихонов седеет. Но молод и энергичен по-прежнему. Сегодня он чем-то недоволен. В его уверенном баше ворчливые нотки. В темно-сером домашнем пиджаке, без галстука, он сидит за овальным столом, набивает папиросы и оживленно продолжает:

— А что такое «Тихий Дон»? — и через две секунды: — Степи! — Широкий жест рукой. — Фадеева «Удэге»? Раздвинутый «Разгром»! Роман на пять лет с продолжением. Все то же, только с прибавлениями. Либединский<sup>126</sup> новость открыл — мощная женщина! — Недоумевающая улыбка. — Это же использовано двадцать раз. Вот открываю Маргерита<sup>127</sup> — на-те, вот вам то же!..

Набитая папироса ложится рядом с другими.

— Или Козаков? Кому это нужно? Детализация быта, нищие, калеки?

Трещит телефон. Николай Семенович уходит и через две минуты возвращается.

— Недавно приезжала Ковнатор<sup>128</sup>. Вспомнили. Золотой век был! Откроешь «Звезду» — Форш, Тынянов, Федин. Имена! А теперь что? Вот недавно второй номер «Звезды» делал — одни военные вещи!

Закуривает.

— А как теперь пишут? М-м-м... — Затягивается. — Существуют даже определенные схемы: завод, сомневающийся инженер и лодыри. И вдруг эти прогульщики под влиянием зажигательных речей героя-массовика начинают давать высокие темпы, большую производительность труда. А почему это произошло — автору неизвестно.

Новая набитая папироса падает на стол.

— Другая схема — это вещь на западном материале: рабочее, безработица, буржуазия. И опять такая же нежизненность и неубедительность! И третий тип схемы — это исторический...

Опять звонит телефон.

— Что такое! — быстро встает Николай Семенович и сердито уходит в коридор.

В окнах серый зимний февральский день. Крыши домов. Лес антенн и радиоприемников. Редкий дым из труб.

— Нет, — показываясь в дверях, говорит он, — сегодняшняя тема берется неумело и неостро. Бояться темы. А тем много. У нас, например, до сих пор нет пьесы о профсоюзах; о горняках ни одного романа, о транспорте ничего, о металлстах — основных кадрах нашего строительства — ничего. А между тем материал колоссальный! Его бы теперь хоть накоплять, что ли, заготовки делать, ведь с нас спросят...

Помолчал. Еще папироса полетела в десятку других набитых.

— Косо смотрят на новую книгу и издательства. Знаете книгу Лаврухина «По следам героя»<sup>129</sup>? Ни одно издательство не принимало. Только после слов Федина и еще кое-кого она была издана.

Помолчал.

— А как у нас пишут о писателях? Не успел человек написать две книги — его возносят. Проходит несколько месяцев — и на него уж не смотрят или ругают все подряд. Вот недавно статья в газете «Наступление» — «Патока оранжевых знамен» — о Прокофьеве<sup>130</sup>. Признанный поэт, и вот вам — такая статья!

Раздается еще телефонный звонок. Николай Семенович удивляется:

— Нет, что делается в мире!

Потом возвращается и говорит о недавно вышедшей своей «Войне»<sup>131</sup>:

— Моя «Война» — неверная книга. А вот разошлась в два дня. Восемь диспутов, и все одно и то же. Я уже взмолился: довольно, товарищи! Но на апрель все-таки еще два есть. Я не говорю о тех диспутах, на которых не бываю...

---

Леонтий Раковский<sup>132</sup> снимает пальто и входит в комнату несмелой походкой новичка, стесняясь своего домашнего вида — он без пиджака, в плотной коричневой рубашке: «Я ведь случайно». Войдя, долго обдергивает ее, собирая за спиной в складки, то и дело поправляет кожаный пояс — словно по привычке бывшего солдата. Наконец осторожно садится. Вообще он чувствует себя в чужом доме стеснительно. Но М.Фроман старается не замечать его состояния и незаметно включает в беседу.

Раковский хорошо знает своих героев из белорусских городков — маленьких людей маленьких местечек, их радости, обиды и недоумения. Его жанр — быт. Ему близко знакомо еврейское заходустье, местные события гражданской войны, веселые и грустные историйки семей, захваченных революционной бурей. Он не пишет больших современных полотен, широких исторических картин. Пока — лишь рассказы. Но, говорят, плох тот солдат, который не мечтает о маршальском жезле. Может быть, когда-нибудь, когда он выпьет всю воду из своего мелкого источника, — он найдет другой родниковый ключ, который будет поить его прозаическую музу.

Он из тех упорных старателей, которые умеют промыть каждую песчинку. К сожалению, его добросовестная и трудолюбивая муза не блещет ни красноречием, ни задушевностью, ни острой умной иронией. Она любит поболтать незлобиво и нелукаво о житейских буднях, вспомнить о недавнем прошлом.

Кто-то из «великих» сказал: чтобы много писать, надо иметь крепкое здоровье. У Раковского есть это «длялитературное» здоровье. Большой, выше окружающих, мешковатый — есть в чем хранить здоровье — и в то же время какой-то настороженный: как бы не попасть впросак, не сказать глупость, не сделать лишнего. О нем рассказывают: если надо подписать какую-нибудь бумажку, он старается этого избежать, в лучшем случае откладывает свою подпись на «после». Такой человек, по-моему, должен всегда держаться за свой карман. Не знаю, много ли он зарабатывает, но при таких «привычках» у него есть надежда: к пятидесяти годам накопить себе на старость.

Однако простим ему заурядность за его преданную любовь к книге. Он знает толк в собирании книг. Укажет, где можно приобрести редкое издание. Расскажет историю книги. Правда, давать читать свои книги не любит и, наверное, хранит их в крепких сундуках.

---

Недавно исполнилась вторая годовщина смерти Маяковского. Николай Семенович вспомнил свой доклад о работе Маяковского, который он прочитал однажды в 20-х годах. Это был большой разговор, затянувшийся на часы, шел с перерывом и все-таки, как признается теперь докладчик, не исчерпал полностью темы.

— Я хотел охватить всего Маяковского: и его тематику, и поэтику, и композицию, и язык, и многочисленные сравнения с прошлыми и современными поэтами, ну, словом, все, что лежало, как мне тогда казалось, в этой многообъемной теме, как «Маяковский». И, конечно, я не мог всего сказать. Об этом можно было говорить не час и не два, а несколько дней. Ну, а если вспомнить его выступления? Ведь что главное — он умел приковать к себе внимание любой аудитории... Да! — восхищенно говорит Николай Семенович: — Маяковский — это человек-спектакль!..

Я пришел домой и вспомнил о письме Славы Платоновны<sup>133</sup>, poslanном из Ленинграда два года назад — 16 апреля 1930 года — спустя два дня после смерти Маяковского.

«...»Сегодня в Доме Печати гражданская панихида в 9 ч. Вход свободный».

Иду к 8. Толпа вдоль Фонтанки. Пробралась в середину. Поддали к дверям. Пускают только членов. Скандал из-за объявления. Сорвали большую дверь. Задние не знали — думали, входят. Нажимают. Втиснули в стеклянную мышеловку, но двери-то закрыты. За стеклами испуганные люди. Нажали еще — стало худо, и зазвенели стекла. Кто слышал — сразу остановились. Как-то выбрались обратно. Народу еще больше. Впереди трещит дверь. На балконе появляется Штейнман<sup>134</sup>. Просит унять хулиганов. Хулиганов нет, народ все смирный. Просят вынести на улицу, говорить с балкона. Отказывается. Снова стучат в дверь. Опять выходит. Торгуется: выпустит несколько ораторов. Требуют всех на балкон. Опять уходит. Снова стучат. Наконец согласен. Тишина. Стоят без шапок, ждут. Вдруг автомобиль. Такого еще не вида. Приехала милиция. Осаживает. Возмущаются, но терпят.

Наконец, Штейнман. Один раз сказал: «Владимир Владимирович Маяковский...» — о том, как под влиянием вапповцев получился бы классик из Маяковского.

Потом Майзель<sup>135</sup> признал огромный талант. Вольпин<sup>136</sup>. Трогает затылок и глаза рукой. Такая черная жалкая закорючка.

Штейнман объявил перерыв на пятнадцать минут.

Ждем молча и терпеливо. Стою на досках на набережной. Идет лед. Лыдины закругленные, бахромистые, вода от них черная. Тепло, так странно даже. Уже стемнело. 10 часов.

Вдруг конная милиция. Устраивается между домом и толпой.

Приходят в ярость. "Зачем вызвали?" Кричат: "Долой милицию! Стыдно!"

Опять Штейнман. Умоляет унять хулиганов, которых нет. Кричат: "Убрать милицию!" Выходит еще кто-то и Лавренев. Просит товарищей милиционеров проехать дальше к Невскому. Ни один милиционер не двигается с места. Тогда Лавренев говорит, что все откладывается, что писатели совершили громадную ошибку, не учли всей популярности Маяковского — надо было зал больше.

Прерывают: пойти сейчас всем на площадь Урицкого.

Лавренев убеждает, что все сейчас закрывается, чтобы расходились. Голос у него противный, такого никогда не слыхала. Испугался, наверно, когда кричали: "Долой милицию!"

Уходили очень медленно».

---

На днях обсуждали постановление ЦК от 23 апреля — о ликвидации РАППа и создании единой писательской организации<sup>137</sup>. М.Слонимский и М.Козаков только что вернулись из Москвы.

С широкими жестами адвоката, пересыпая свой рассказ острыми словами и шутками, брошенными в московских литературных кругах, Козаков докладывает о московском совещании.

— Опасность отдельных индивидуальных выступлений в защиту РАППа — налицо. Таковую попытку сделал Клычков<sup>138</sup>. Кто-то сказал, что это только ласточка. Но предупреждаю — ласточка может перелетать. События обрастают анекдотами. Остряки говорили о рапстве-рабстве, о повторении в литературе 19 февраля — освобождении крестьян без земли и пр. Но таких выступлений было меньшинство. С другой стороны, не надо впадать и в другую крайность — мол, меняется лишь название литературной организации: РАПП умер, но дух его живет в «левых» и «правых» настроениях. Нечего скрывать, и у нас они есть. (Вот мы знаем крайне «правого» Петра Губера)<sup>139</sup>. Предлагают объединить всех. Думаю, что нельзя сводить два рода оружия в один отряд. Этого надо было ожидать. Но с этим надо бороться бес-

пощадно. Нам нужна здоровая литературная среда. И голосовать надо не резолюциями, а художественными произведениями. Надо повысить нашу ответственность перед читателями. Литература — не ножницы. Об этом надо помнить не только РАППу и ЛАППу, но и всем. Не буду говорить об отдельных личностях, представляющих собой болото с куликами. Не в них дело...

При этих словах Стенич<sup>140</sup> бросает в зал: «Встаньте, кулики!»

Собрание многолюдное и пестрое. Критики, прозаики, поэты, драматурги. Молчаливый, брезгливый Тынянов, торжественный и толстый, словно дядюшка «Васиздас», Маршак, смуглый, серьезный Зошенко, беззубый, седой Тихонов, полный крепыш Чумандрин<sup>141</sup>, длинный, высохший Либединский в маленьких усиках и бородке и многие другие.

Каждый считал своей обязанностью сказать хоть несколько слов.

Если Н. Рыкова<sup>142</sup> говорила о доверии, которое должно теперь объединить всех писателей, то Лев Савин<sup>143</sup> призвал к общей работе: «А то одни смотрят на все происходящее с радостным злорадством, другие видят все в мрачном свете. Теперь, после закрытия РАППа, с этими настроениями надо бороться решительно».

М. Чумандрин — сегодня уже бывший вождь ЛАППа — сердито прерывает его: «РАПП не закрыт, а ликвидирован... В последнее время тут травили Слонимского, Брауна<sup>144</sup>, Тихонова, а свалили все на лапповцев... Я не позволю передергивать. ЛАПП имел свои принципы... Я не допущу... Я требую... Сейчас идет перестройка всех литературных организаций, а не одного ЛАППа, и недоразумения только начинаются. А если некоторые, вроде голенького Савина, пытаются нас обвинить в пессимизме...»

Вспыхнувший Савин возмущенно кричит: «За такие слова я готов задушить, перегрызть горло. Можно быть лысым, рыхлым. Но к чему этот дидактический тон? Надо говорить не негативно, а позитивно...»

«Дайте слово, дайте слово! — просит Слепнев<sup>145</sup>. — Я считаю неправильным выступление Чумандрина! Окриком тут не возьмешь! В творческом деле ничего не сделаешь администрированием!»

Член сегодняшнего президиума М. Слонимский требует очередного слова: «Нахожу бестактным выступление Чумандрина. О какой травле он говорил? Нам ничего о ней не известно. Савин, может быть, не так выразился. Но угрозам, действительно, не должно быть здесь места. Это ошибка президиума...»

Желая успокоить расхорившиеся нервы, М. Фроман напоминает о большом внимании к жизни литературной организации всей

страны. Спокойный Зазубрин<sup>146</sup> подчеркивает, что сейчас происходит не реорганизация старого союза, а создается новый союз, новое руководство. В.Рождественский раскрывает историческое значение литературного события, оно должно привлечь к литературе новые массы, вовлечь в нашу работу писательскую молодежь: «РАПП ставил эти проблемы, и нельзя огульно осуждать всю его работу, надо учесть и положительные стороны». Свирин, представитель ЛОКАФА<sup>147</sup>, заявляет, что ликвидация РАППа — это экзамен для всех нас, и оттого, как мы его выдержим...» Либединский меланхолично замечает, что теперь уже поздно делать умный вид — мол, не сумели, не разглядели, что «Слонимский срабатывается»... Е.Тагер<sup>148</sup> спрашивает, почему одних писателей называли писателями первого призыва, а других — второго, кому это нужно было? Говорили даже о каком-то хвостизме писателей. С этим надо покончить...

Собрание проходило бурно и кончилось поздно...

---

Весь месяц-полтора идут бесконечные обсуждения, перевыборы, заседания, собрания, поездки в Москву. Вновь избранный секретарь ленинградского правления Союза М.Фроман хлопочет, беспокоится, провожает делегацию писателей в столицу. Писатели перестраиваются, рассаживаются по-новому. Кончается период «попутничества». Создается единый Союз советских писателей.

---

Весной 1933-го в Ленинград приехали московские гости — Асеев и Кирсанов<sup>149</sup>.

Об Асееве Евгений Замятин в 1926 году сказал мне:

— Он похож, — (помедлил, и дым в потолок), — на стального соловья, — так называлась одна из ранних книг Асеева<sup>150</sup>.

В том же году через несколько дней в Москве я видел Асеева.

Низкого роста. Немного сутулый. Втянутая в плечи голова. Прямые полусеребряные волосы. Обиженный голос. Усталая поза.

---

Второй раз я видел Асеева через шесть лет. Это было в Московском доме печати<sup>151</sup>. Шел вечер Кирсанова. Народ толпился до потолка. Слышно было, как на лестнице гремели непопавшие. Зал долго не успокаивался. Асеев председательствовал. Уговаривал. Усовещивал. В комнатке за сценой на черном рояле отды-

хала пышная асеевская шуба, в которой его когда-то фотографировали для сборничка стихов в издании «Огонька»<sup>152</sup>.

Потом он выходил в пустую артистическую. В сером костюме, строгий, седой. Курил. Нервничал. В антракте горячим голосом спорил с прибежавшим со сцены Кирсановым. Махал перед ним дымящейся папиросой. Называл его Семой и Семкой, журил и лез на него, как отец на сына. Маленький, лохматый Кирсанов, в черном пиджаке и нелепом цветном галстуке, разгоряченный, с не остывшим от чтения лицом, оправдывался в чем-то, перебивая его приятельски на «ты», бегал по малюсенькой комнате, ероша волосы. Затем Кирсанов опять убежал в зал. Асеев, заложив руки в карманы брюк, мерил шагами комнату из угла в угол и курил. Молчаливый, озабоченный, раздраженный.

Это было начало 1932 года. Февраль.

---

И вот Асеев с Кирсановым в Ленинграде. Широковещательные афиши, нарочито пышно составленные, должны были пахнуть дискуссионным скандалом. Огромные афиши спрашивали: «Что издавать в 1933 году?», «Нужны ли нам классики?», «Байрон или душка Бенедикт Лившиц?», «Почему мы против?» и прочее в том же роде.

Николай Асеев начал свое выступление прямо с «надеюсь, все поняли — дело не в афише, и не эти вопросы нас интересуют сегодня, мы хотим поговорить о современной поэзии и поэтах». И дальше пошли острые и вежливые безымянные характеристики поэтов и иронические жалобы на оскудение поэтического источника и неграмотность сегодняшней музыки.

Рассказывал, какие стихи присылают из провинции в Гиз.

— Недавно пришлось просматривать целую грудку таких стихов. Бедные стихи. Наш день притянут за уши. Одно стихотворение начиналось буквально так:

Богат и славен комсомол,  
Его дела необозримы...

Другое на колхозную тему:

Буря мглою небо кроет,  
Мужички колхозы строят...

Говорил о засорении поэтического языка долго задержавшимся у нас воровским жаргоном, блатной речью и о «гвардейских» настроениях в чьих-то стихах москвичей.

Потом читал стихи.

Читает Асеев ровным голосом, без надрыва, без крика, не бравирует. Руками не взмахивает. Он именно читает стихи, держа перед глазами листок бумаги.

Прочитал песни — матросские, красноармейские, воспоминающие об Италии и отрывки из поэмы об Оксмани — кавказском партизане гражданской войны<sup>153</sup>. Однако нет в этих стихах ни молодости, ни сердечности, ни еще чего-то горячего — не то от обиды на мир, не то на себя, — что горело в его ранних стихах. Теперь это хорошо сделанные, чистые, холодноватые строчки. Если хорошие стихи мерить пригодностью стать эпиграфом, то эти стихи трудно поставить в такой ряд. После «Лирического отступления» и «Семена Проскакова»<sup>154</sup> Асеев не нашел ничего нового. В его стихах уже пройденные пути и старые изобретения.

Когда стал читать Кирсанов, он начал с крика, вскоре перешел на рык и охрип. Читал, шатался, как будто он взвалил на себя что-то тяжелое и огромное. Поднимает высоко руку. Лохматит волосы. Тянется вверх. И часто обращается к потолку. Читал «Юность Маркса»<sup>155</sup>, стихи о Крыме, о ките и океане и другие мелочи. Нарядные звучные погребушки, неожиданные и задорные. Вспоминает Маяковского. Но даже, если б он и не вспоминал, почему-то кажется, что Маяковский слишком долго гостит в его стихах. И Кирсанов готовит ему халат и туфли.

Аудитория принимает Кирсанова более сочувственно. У Кирсанова — молодость, звон, азарт. Правда, ему недостает острых зубов и злости, украшающих всякую литературную юность. Но темы его — стройка, шахты, природа — близки современному слушателю, хотя взяты и внешне, и неглубоко.

---

Тынянов запомнился мне в день собрания, посвященного правительственному постановлению от 23 апреля о ликвидации РАППа.

Сидит на скамейке, опрятно положив подбородок на пальцы рук, опирающихся на палку. Удлиненное скучающее лицо. Брезгливая гримаса. Прямой лоб. Светлые глаза. Спокойное равнодушие обтекает его ровную, аккуратную фигуру. Он не обращается к соседям, не садится на полы их пальто, не задевает никого ногой, не подает, как Стенич, голоса с места. Просто он не видит соседей. И право же, его напрасно звали сюда! Ему некогда. У него многосложная работа.

Он молча досадует на словесные выступления — горячие и сухие, покаянные и декларативные. Он подчеркнуто молчит. Ибо знает, что именно еще скажет красный, как индюк, Савин или молодой, порывистый, с раздувающимися ноздрями, неуклюжий Чумандрин, и что будет плести и замечать лисьим голосом Либендинский.

Тынянов им посторонний. Все это — живые люди. А он привык иметь дело с мертвецами, куклами, мумиями. Умеет их одевать, причесывать и заставлять рассказывать житейские анекдоты.

Кропотливо и долго он учился читать архивы, сопоставлять, догадываться.

Внимательно присмотрелся к бывшим особам бывшего российского императорского двора. На короткую ногу с императором Николаем I.

Ну и повезло этому императору в русской литературе — и с Грибоедовым ссорился, и с Пушкиным бранился, и Лермонтова ссылал. Так незаметно этот самодержец стал собственностью Тынянова.

По утрам, наверное, сев за рабочий стол, снимает Юрий Николаевич темный чехольчик (чтобы не запыхался!) с фигурки российского страшного царя и, щелкнув его в тряпичное брюшко, говорит:

— Ну здарсьте, Николай Павлович. Как спалось, какие сны изволили видеть и что вы можете сказать сегодня в свое оправдание?

Николай Павлович подобострастно молчит. Ибо знает, что за этим последует обычное:

— А не вспомните ли вы, ваше бывшее величество, такой случай...

Император получает утреннее задание. Для Николая Палкина — порядок и послушание превыше всего. И Николай Романов ходит, командует, ухаживает, изменяет, отдает под суд, ссылает, вешает, сморкается, принимает послов, устраивает парады, молится, спит и ест. Юрий Николаевич смотрит, слушает, записывает.

Потом император почтительно молчит. Если когда-нибудь он, кашлянув по-солдатски в кулак, спросит: «А позвольте, Юрий Николаевич, узнать, что это вы все пишете и пишете?» — можно быть уверенным, что автор «Малолетнего Витушишникова»<sup>156</sup>, не поднимая головы от бумаги, небрежно ответит:

— Ну, это не вашего ума дело, ваше императорское величество.

Может быть, разговор будет другим. Ведь и у писателей бывает хорошее настроение духа, хочется иногда и поделиться с кем-нибудь заветным, своим...

— Так как же, ваше величество, Пушкина-то, значит, того... — скажет Юрий Николаевич и пальчиком этак, как из пистолета.

Николай Павлович Романов хитренько улыбнется и понимающе подскажет, вздохнув: «Что ж, Юрий Николаич, рыскнул, сами понимаете, эпоха требовала».

— То-то, — задумчиво скажет Юрий Николаевич, — эпоха! — И выдохнет с трудом удерживаемое: — Ольга Дмитриевна Форш показала бы вам эпоху, — и вдруг загорится, загорячится: — Не верит! Понимаете, не верит мне, Николай Павлович! Ну что делать с такой женщиной?!

— Пренебречь! — холодно подскажет Николай Романов.

— Легко сказать! Сами понимаете. Теперь пушкинистами хоть пруд пруди...

Так находят язык бывший российский самодержец и современный писатель Юрий Тынянов.

---

У Всеволода Рождественского — опять на Рузовской — сидят осторожный мечтательный поэт Казмичев<sup>157</sup>, обрезавший свои длинные волосы романтического поэта; розовощекий непоседа Мануйлов<sup>158</sup> — пушкинист и лермонтовед, они дружат со Всеволодом еще со школьной скамьи; потом приходит старый приятель Всеволода — математик Извеков<sup>159</sup>. Живая, с веселыми глазами Надежда Александровна командует<sup>160</sup> винегретом и чаем.

Всеволод Александрович читает очередные стихи, замечая, что урожай этого лета небогат — всего три стихотворения.

Затем читает Виктор Андроникович Мануйлов. Он, оказывается, тоже пишет стихи. Это юношеские вздыхания, посвященные «любимой», разбавленные розовой водой книжных мудростей и сентенций, старых и добрых, как немецкая бабушка прошлого века.

За ним читает Казмичев. Голос без выделений, без нажима, одна блестящая струя: ровная, однообразная, узкая. В ней отражаются облака, птицы, небо. С ними ничего не случается. Они без запаха, без цвета, без объема. Это кусок чего-то тающего во рту, такой невесомый, что остается впечатление — как будто ничего и не было. И оттого стихи похожи на выцветший рисунок... Но все же эта тающая без следа легкость и упорное желание автора дать птицам жизнь оправдывают исхоженную и заца-

панную лирическую банальность, на которой автор строит свои стихи.

Стихов Казмичева не издают. Последний, кто просматривал его стихи, был Константин Федин. Он тоже, как и другие, подтвердил их высокое качество и невозможность издания.

Мануйлов сегодня работает над пушкинскими рукописями — сверяет, расшифровывает непонятное, находит новые варианты. Последнее открытие: он нашел корреспондентку, которой адресованы три письма Пушкина. (Письма опубликованы в летнем сборнике «Звенья»<sup>161</sup>). По мнению Виктора Андрониковича — это графиня Воронцова, жена тогдашнего хозяина Крымского полуострова.

— А вы знаете, кто был первым вредителем у нас? — неожиданно спрашивает Виктор Андроникович: — Граф Воронцов! Как же, как же, все факты налицо! Перед севастопольской кампанией англичане, под видом увеселительных прогулок на яхтах, производили тайный обмер крымских берегов. Воронцов не мог этого не видеть. Следовательно, он молчал за соответствующую мзду. Пушкин, вращаясь в кругу Воронцовых, наверное, об этом догадывался. Отсюда новая версия, почему Пушкин уехал, или вернее, его «уехали» из Крыма: об этом позаботился Воронцов.

Виктору Андрониковичу не сидится. Его душат «открытия» и нетерпеливое желание поделиться со всеми. Он вскакивает, бежит к телефону, то снова присаживается, начинает рассказывать и тут же сам себя обрывает:

— Нет, нет лучше не начинать! Этого хватит на целый вечер. Об этом можно говорить без конца...

Уже двенадцатый час, а он торопится на Московский вокзал — кому-то передать о своих «открытиях» в Москву, навести очередную справку — верно ли он разобрал у Пушкина вот это слово...

— Ведь все рукописи Пушкина в Москве, здесь приходится работать по фотоснимкам. А почта в Москву идет три дня, да три обратно. А с оказией — быстрее.

Разговор принимает шуточный характер. «Волнения» Мануйлова принимают несколько другую окраску. Кто-то советует Всеволоду Александровичу спрятать подальше несколько рукописей стихов и доставить своим будущим исследователям радость находки: «А мы в своих воспоминаниях оставим намеки на это».

— Нет, нет, твоим Эккерманом буду я, — заявляет под общий хохот Мануйлов.

— А мне, может быть, уже пора стать твоей стенографисткой? — смеется Надежда Александровна.

---

В другой раз я встретил у Всеволода Рождественского Андрея Венедиктовича Федорова<sup>162</sup>. Молодой филолог. Переводчик. Он входит в комнату с видом человека, только что покинувшего свой письменный стол, — растрепанный вихор, один глаз еще где-то там, дома, у письменного стола. Продолжая свою мысль, он что-то говорит, проглатывая по два-три слова, и старается попасть в общий тон.

Чем он сейчас занят? Переводит Марселя Пруста. Всеволод Рождественский приглашает послушать свои переводы Анри де Ренье. Разговор перелетает от Ренье к символизму, от символизма к акмеизму.

— Но если сравнивать символизм с чем-нибудь, — медлит Всеволод Александрович, — то мне кажется, это яблоко, просто вкусное яблоко...

— А акмеизм?

— Это... яблоко раздора, яблоко от древа познания добра и зла, яблоко Париса... Вообще акмеизм никогда себя не определял. Я помню, как сердился Гумилев, когда Городецкий и Иванов написали статьи об акмеизме, и оба пришли к неожиданным и почти противоположным выводам...<sup>163</sup> Акмеизм — это дама, никогда не поднимающая вуали...

— Подожди, подожди, — смеется Надежда Александровна, — где мой стенографический карандаш?..

Всеволод Александрович отвечает ей смехом.

— Надина ирония постоянно меня разоружает. Я помню вот так же когда-то Монахов<sup>164</sup> спустил меня с неких высот. Шел Шекспир. «Макбет». Монахов играл... ну кого же?

— Макбета, наверное, — подсказывает Федоров.

— Да, да, Макбета. Я стою за кулисами. Только что закончился акт с потрясающей сценой. Я — весь под ее впечатлением. И вот вижу — через всю сцену, уже с закрытым занавесом, идет Монахов в костюме Макбета. Он еще не вышел из роли, шагает решительно, важно. Взволнованный его игрой, я — навстречу. Он, конечно, видит по моему лицу, в каком я состоянии. И вот, подойдя ко мне, он вдруг приседает, раскорячив ноги, и делает мне рожу. Я ошарашен. А он приподнимается и, как ни в чем не бывало, тем же макбетовским шагом проходит мимо. Помню, в первый момент я был очень обижен на него. А потом понял этот урок...

— Ну, а какие новости? — спрашивает как-то Всеволод Александрович.

— Новости? Вот матч Ботвинника с Флором.

— Ничего не знаю о Флоре. Вообще шахматный мир для меня чужой. А вот Алехина я видел, когда он был еще правоведем<sup>165</sup>.

Всеволод Александрович рассказывает, какие это были годы и кого он встречал из известных людей.

— Да, у меня интересные записки были бы. Пора, пора приучать руку к прозе...

— Шаляпина, — продолжает он, — видел, и довольно часто. У Горького. Вот как же — Горький... Помню, как-то в первые дни революции я стоял на карауле в Инженерном замке. Приезжают к нам на митинг какие-то двое. Проверяю пропуска: Керенский и еще кто-то, не помню уж... Мережковского видел... уже в наши годы. Был он какой-то затрепанный, в пальтишке, заискивающий... Ну, конечно, знаю Гумилева, Ларису Рейснер и самое замечательное — Блок...

А читали последние записки Белого о Блоке в летних номерах «Нового мира»?

— Это он там делает переоценку своих прежних воспоминаний?<sup>166</sup> Слышал. Вот Белого мы нынче в Коктебеле встретили... Потом, — продолжая прерванную мысль, говорит он, — встречи с Есениным...

---

Не помню, по какому случаю за чайным столом у Фроманов зашел разговор об Америке — кажется, по поводу книг Дос Пасоса<sup>167</sup>. Николай Чуковский стал рассказывать о своей юношеской привязанности к американской прозе, ее писателях, городах...

— О, как я представляю американские улицы, площади, кварталы. Мне кажется, я знаю, как они выглядят, чем пахнут, что на них случается. Я вижу этих старых Бетси, вяжущих чулки, бритых стариканов, какого-нибудь мистера Джемса 80-х годов. Или возьмем теперешние годы. Нью-Йорк. Я вижу его как свои пять пальцев. Я могу ходить по его улицам с закрытыми глазами...

Потом Николай Корнеевич делится своим времяпрепровождением.

— Когда бывает не по себе, звоню к Бианки<sup>168</sup> и едем куда-нибудь... Но я не люблю эти пьяные русские монологи, риторические вопросы и наигранный трагизм... Недавно, — прибавляет он шепотом, отворачиваясь от жены, — вернулся в таком виде, что Марине<sup>169</sup> было стыдно показаться...

В этом году о книге Николая Чуковского «Повести» пишут: «"Повести" Чуковского — умело написанная книга. Больше того, "Повести" — книга, написанная с достаточным тактом... Такт Чуковского — признак бесспорной писательской зрелости. И тем обиднее, что "Повести" — все-таки серьезная неудача писателя.

"Повести" написаны про очень незначительных и неинтересных людей, так просто это и нужно сказать. Люди эти все те же уродцы, монстры и ущербленные человечки, которых обильно плодила ранняя попутническая литература... Люди, сочиненные Чуковским, не шибко дороги ему самому, оттого-то Чуковский охотней и эмоциональней (!) пишет то настоящее, что у него есть: пейзаж, живую и мертвую природу»...

В статье сравниваются книги журналиста Жестева и писателя Чуковского. Мол, когда Жестев пишет о судьбе директора химкомбината, он обстоятельно рассказывает о том, как производят суперфосфат. Чуковский же «производства удобрений не знает, чувств и судеб людей, которые их производят, не знает тоже».

Статья подписана Сев. Воеводиным и Евг. Рыссом («Веч. красная газета» №285)<sup>170</sup>.

Не знаю, понимают ли сами что-нибудь Воеводин и Рысс в удобрениях и в производстве суперфосфата. Я знаю только одно: большой беды в том, что Николай Чуковский не знает производства удобрений — нет. Пусть уж он пишет о деревьях и о «досках, мохнатых от старости». Это он, видимо, лучше знает и понимает. Уж тут он не спутает, не наврет вроде Пильняка, который в одной из своих статей о Средней Азии утверждал, что Тимур — это полководец, а Тамерлан — это завоеватель, не подозревая, что это одно и то же лицо, словом, получилась такая же ерунда, какую сочиняют о Средней Азии разбитные москвичи Гайдовский и Стонов<sup>171</sup>.

Кстати, Николай Чуковский и Борис Пильняк, оказывается, приятели. Во всяком случае, каждый приезд Пильняка в Ленинград так или иначе известен Николаю Чуковскому. Откуда пошла сия дружба — мне неизвестно. Но вот один эпизод, рассказанный Николаем Корнеевичем за чаем.

— Встречаю как-то Пильняка. Едемте, говорит, за моей машиной в порт. Он как раз привез с собой из Америки автомобиль. Ну что ж, поехали. Приезжаем в порт. Получаем машину. Едем. Встает вопрос о бензине. Где взять? По дороге — какая-то керосиновая лавчонка. Спрашиваем: «Есть бензин?» — «Частным, — отвечает служащий, — бензина не отпускаем». Как быть? «Пройдите к заведующему». Идем к заведующему. Так и так.

Безвыходное положение. Помогите. Я — писатель Пильняк. Фамилии такой заведующий лавкой наверняка не слышал. Но видит — энергичный человек, вежливо просит, интеллигент, да еще по виду барин. Бензин есть. Можно заработать. Отчего не дать! Дал. Пильняк же все расценил по-своему. Садясь за руль, он, довольный, говорит многозначительно: «Вот что значит слава...»

---

В работе Николая Брауна нет поэзии. Есть ремесло. А поэзии нет потому, что нет характера. У настоящего поэта должен быть характер. Иначе он превращается в зайца, в эпигона. Браун — милый человек, добросовестен в работе, честен с товарищами и стихи пишет неплохие. Но только неплохие. Хотя он пережил полосы всяких увлечений, но за много лет ни читатели, ни со товарищи по работе не запомнили ни одной его строчки. Потому что у него нет лица поэта. Есть только Коля Браун.

Когда-то у него были темно-льняные волосы, молодые прыщи и портфель секретаря редакции журнала «Звезда». Он сидел, как невинно осужденный грешник, за высоким бюро, в маленькой комнате редакции, нагруженный сверх головы рукописями. Вокруг него кипели страсти, споры, брань. Иногда он не выдерживал, вскакивал и быстро отсчитывал положенное ему количество слов в виде своего мнения об очередных стихах или литературной сплетне.

Теперь он вырос и воюет незаметно — себе на уме. Можно видеть его улыбку, зато трудно представить его громко хохочущим. Иногда даже встретишь на его лице неудовольствие, но никогда не увидишь его гневным, бранящимся.

У него серо-синие глаза. Легкая походка. Теноровый голос. Какая-то мягкость в жестах, похожая на осторожность. Изредка он умеет войти, нет, даже влететь в комнату — с холода, с дождя, с ветра — без этого пошлого традиционного потирания рук и приговариванья: «Ну и погодка сегодня!» В комнату Фромана он вошел сегодня с улыбкой, как будто хотел сказать: «Приятной жизни!» и сейчас же без абзаца начал:

— Сейчас встретил Корнея Ивановича (Чуковского). Рассказывает: выступаю, и даже с громадным успехом. Но, знаете, тошно от своего «Мойдодыра!» Читаем с Маршаком по радио. Он что! Начнет и пошел — от начала до конца. А я как произнесу свое «Убежало одеяло...» — так самому тошно, нет терпенья, чувствую — больше не могу. Но... приглашают. Утром пришла от не-

кого союза гражданка Фиалкина и... благоухала на десять выступлений...

Браун женат на Комиссаровой<sup>172</sup>. Она — поэтесса. И часто печатается. Когда она говорит в стихах своим голосом, пишет, как сказал М. Фроман, — «бабьи стихи», выходит искренне, сердечно. Но часто она заражается примером своего супруга, и начинаются бесплодные поиски нового слова, оборота речи, что ведет всегда к искусственности, оторванности стиха от жизни, от настоящего сердца женщины. Она мягка, скромна и проста. Пока они — образец дружной пары.

---

Сегодня встретил в магазине юношеской книги на Невском Корней Чуковского. В одной из комнат устроена галерея портретов современных детских писателей. Страшные портреты — какие-то синие, полузадавленные лица, едва напоминающие свои оригиналы. Корней Иванович долго стоит перед своим портретом, ухмыляется и с какой-то озорной улыбкой уходит.

Высокий, выше на голову большинства окружающих, с фигурой почти юноши. Седой пробор. Бритый, легконогий. Не то американец, не то сакс. Вежлив. Предупредителен.

Он издает, редактирует, переводит, докладывает, беседует — например: «Как писать детские стихи» (В Доме художественного воспитания детей). У него большие заслуги по Некрасову, Уитмэну, англичанам. Он — страстный любитель литературных мистификаций. Это он в компании с некоторыми литераторами создал в первые годы революции дневник фрейлины Вырубовой, печатавшийся в журнале «Минувшее».

Вот как журнал рекламировал этот дневник:

«Дневник А.А. Вырубовой, представляющий исключительный интерес и не имеющий ничего общего с вышедшими за границу воспоминаниями этой ближайшей сподвижницы последних Романовых».

Действительно, как говорят, дневник не имел «ничего общего с вышедшими за границу» настоящими воспоминаниями настоящей Вырубовой<sup>173</sup>.

Другая его страсть — он любит обхаживать таланты. Раннего Маяковского приручал в Финляндии. Пытался и Блока. Это было труднее.

---

Однажды у Всеволода Рождественского мы читали вслух «Александрйские песни» Михаила Кузмина.

Некоторые строчки звучали почти прозаически:

Если б я был мудрецом великим,  
прожил бы я все свои деньги,  
отказался бы от мест и занятий,  
сторожил бы чужие огороды  
и стал бы  
свободней всех живущих в Египте.

Или вот еще:

Снова увидел я город, где я родился  
и провел далекую юность;  
я знал,  
что там уже нет родных и знакомых,  
я знал,  
что сама память обо мне там исчезла,  
но дома, повороты улиц,  
далекое зеленое море —  
все напоминало мне,  
неизменное,  
далекие дни детства,  
мечты и планы юности,  
любовь, как дым, улетевшую...

После чтения нескольких стихотворений Всеволод Александрович сказал:

— А теперь я вам покажу источники этой формы, — и, найдя на полке томик Пушкина, прочитал прозаический кусочек из «Отрывков и набросков» 1833-1835 гг., но прочитал так, как если бы строки графически ложились, как стихи. Вот:

Цезарь путешествовал,  
Мы с Титом Петронием  
Следовали за ним издали, не торопясь.  
По захождении солнца  
Нам разбивали шатер,  
Расставляли постели —  
Мы ложились пировать  
И весело беседовали.  
На заре мы снова  
Пускались в дорогу,  
И сладко засыпали  
Каждый в лектике своей,  
Утомленные жарой  
И ночными наслаждениями.

— Или вот другой отрывок, — говорил Всеволод, перелистывая пушкинский томик, — из «Повестей Белкина»:

Мы стояли в местечке \*\*\*  
Жизнь армейского офицера известна.  
Утром — ученье, манеж,  
Обед у полкового командира  
Или в жидовском трактире  
Вечером — пунш и карты...

---

Женщины в прозе Тихонова не запоминаются. Они играют служебную роль. В повести «Клятва в тумане»<sup>174</sup> он сделал новую попытку — показал кавказскую девушку. Этот образ женщины, борющейся за свою самостоятельность, уже использован в современной журнальной и газетной прозе, и Тихонову пришлось бороться со штампом.

Он дал женщине нарядную биографию. Окружил ее горным вычурным пейзажем. Столкнул с патриархальным бытом. Но забыл вложить в свою героиню противоречивое женское сердце. И ее задавили статические горы. В руках читателя оказался кусок камня с выдавленным изображением когда-то живой стрекозы.

Тихонов часто ездит по нашему Востоку. Он видел разные районы Кавказа и Средней Азии — горные, долинные, степные, лесные, пустынные. Бродил и жил среди многих народов. Но он романтик по своей натуре, еще в юности увлекался книгами по Востоку и потому исключает из своих рассказов и очерков житейскую бытовую грязь, косность, невежество; вернее — эти стороны жизни он рисует как нарядные картинки; но это не русская манера — писать вкусно об отсталости и грязи; проклятия старому должны вызывать не любованье силой изобразительности пороков прошлого, а немедленный протест и желание действовать. Восток у Тихонова — как отборное чистое зерно.

Пушкинское «Путешествие в Арзрум» — это точное географическое, этнографическое и историческое описание. В азиатских пейзажах Тихонова есть вымышленное — словно он хочет сказать: пишу не только то, что вижу, но и то, что думаю и представляю. Иначе чем вы объясните рождение такого опуса, как «Точное описание путешествия из Каракалы в Кызыл-Арват в ночь с 25 на 26 мая 1930 года на полутонке системы "Форд"»<sup>175</sup>. Это произведение вошло в сборник *рассказов*. Но надо ли тогда осуждать художников-импрессионистов?

Тихонов ищет свой путь в прозе. Девушки из рассказа «День отдыха»<sup>176</sup> — это пересказ с чужого голоса. Тихонова здесь не слышно. Голос автора «Кочевников» не зазвучал в людях индуст-

риального регистра, хотя автор и проявил осторожность, выключив девушек из обычной производственной обстановки и перенес их в день отдыха.

Машинистка из «Вечного транзита»<sup>177</sup> несколько связана с материалом рассказа, но автор не довел ее до конца. Этот рассказ, так тщательно и умело задуманный, с такой внимательностью сделанный, явно потерял свой конец. Его концовка, несмотря на долго приготовлявшийся эффект, не осветила рассказа новым светом.

Но этот рассказ для Тихонова примечательный. Он неожидан для Тихонова языком, отдельными мыслями, твердыми характеристиками.

«Розовые венки облаков» и «суровый обет» — это не штамп и не случайные находки новичка; это простота, за которой есть долгая борьба и отказ от пышных языковых богатств, накопленных двадцатилетней работой.

Вот характеристика мужского портрета:

«Уходя от мелочей, запретив себе вкус к развлечениям, к изысканной пище и деньгам, к вину, к вещам, к одежде, впадая временами в нищету, не замечая повседневной жизни, он, как хладнокровный воин, тренировался для будущей битвы, для своего романа».

Эти строки просятся эпиграфом к биографии раннего Тихонова. Думается, еще и сегодня он не довольствуется славой поэта и мечтает о такой же мускульной и животрепещущей прозе, как его стихи.

Работоспособность его изумительна. Он умеет работать сутками, не вставая из-за стола, работать на ходу, в трамвае, за обедом. Работа мысли, работа той части сознания, которая ведает у поэтов «системой образов», не прекращается ни на минуту.

Он все замечает. Он все видит, потому что «часть ремесла сыщика входит в ремесло писателя» («Вечный транзит»). Такие люди, как он, умеют долго жить своими темами, длинно рассуждать со своими героями, переодевать их в десятки платьев, примерять им десятки лиц и имен. Тихонов тщательно готовит себя как прозаика.

Евгений Замятин рассказывал мне, как приходил к нему юный Тихонов с первыми рассказами.

А кто теперь помнит, что Тихонов печатался в дореволюционной «Ниве»<sup>178</sup>! Правда, это были плохие рассказы. Но неудачи закаляли.

В моем представлении Николай Тихонов так и идет в жизни упорным воином, пробивающим себе дорогу сквозь свист стрел

и под град камней врагов. Потому его трудно представить в домашней обстановке, в туфлях или в гостях, или целующим руку женщине. «Он чувствует себя дома, — сказал о нем Николай Асеев, — как солдат на постое». А между тем мы видели Тихонова и в туфлях, и в галстуке, и целующим женские руки... Нелепо, но так!

---

Приехал из Москвы Осип Мандельштам. Объявлен его вечер. Мандельштам выступает редко. Прошло много лет с тех пор, как его слушал в последний раз литературный Ленинград.

Мандельштам — бывший петербуржец, оттого в Ленинграде его считают своим. На вечер пришло много поэтов и писателей — от Анны Ахматовой до Виссариона Саянова.

Это было редкое зрелище для Ленинградской капеллы<sup>179</sup>. Вот прохаживается под руку с дамой — маленький, седой, с лисьим лицом Борис Эйхенбаум<sup>180</sup> — умник из умников. Какие-то молодые поэты-кружковцы в юнгштурмовках, подталкивая друг друга, кивают в его сторону. Между стульев пробирается высокий, близорукий, нацепивший большие очки Всеволод Рождественский. Испуганно озирается по сторонам длинноносый Борис Соловьев. Громко шумит в первом ряду ложи потолстевший важничающий Саянов — тоже теперь в очках. Позади опирается на спинку стула скромный, услужливый Павел Лукницкий. По ковровой дорожке идет, вытянув шею, с короткими ручками, смуглый и чистый, в огромных роговых очках Борис Лапин. С ним неизменный его спутник, прилизанный, с головой египтянина, Хацревин<sup>181</sup>. И впереди всех в первом ряду кресел одинокая, в черном платье, высохшая после болезни, с матовыми руками и лицом Анна Ахматова. Она внимательно слушает и небрежно аплодирует. В антракте она сидит за кулисами с женой Мандельштама и виновато улыбается одними губами.

Мандельштам — лысый, с седой бородкой. Ленинградцы изумлены. Здесь привыкли его видеть бритым. Его борода дала право Тихонову на одном из ближайших выступлений сказать о трудности пути поэта:

— Даже Мандельштам, как видите, зарывшись в работе, оброс бородой — вот как надо работать, чтобы писать настоящие стихи!

А стихи прочел Мандельштам живые, наполненные страстью и кровью.

Это другой вопрос, что Мандельштам воспринимает эпоху не как мы. Он говорит: «Мне на плечи бросается век-волкодав...»<sup>182</sup>

Мандельштам далеко ушел от своего сухого, выточенного «Камня» и холодной «Тристия». Он умеет молчать годами. Последняя напечатанная его работа — стихи об Армении. Он прочитал их все.

Читает Мандельштам не так, как раньше. Тогда, рассказывая, он почти пел свои стихи. Теперь он их скандирует торопливым баском, монотонно, невыразительно, глотая окончания строк, но с каким-то одним и тем же упорством убеждения. То приподнимается на цыпочки, то отбивает ногой ритм. Читает негромко, и задние ряды слушающих и балкон привстают, прикладывая ладони к ушам и впиваясь глазами в его узкое лицо. Другая часть аудитории ведет себя протестующе. Я видел, как молодой парень в матроске встал во время чтения и, пробормотав: «Что же это за стихи?», ушел среди шиканья и «тише». Иные бежали после первого отделения.

Поразило на вечере много почтенных, седых, в опрятных воротничках мужчин и немолодых, с худыми шеями, в слежавшихся платьях женщин — это все старые поклонники Мандельштама, пришедшие еще раз, может быть в последний, послушать своего поэта и не узнавшие его в новых стихах.

---

Своим вечером Мандельштам остался недоволен. «Пришли, — говорит, — какие-то академики да старушки».

---

Рассказывают, после этого выступления он позвал к себе в гостиницу на чай Тихонова, Тынянова, Слонимского, Эйхенбаума, еще кого-то. Чай начался мирно, с тихого позвякивания ложечек в стаканях. Но кончился скандально.

После чаепития и чтения стихов хозяин неожиданно встал и сказал:

— Ну, а теперь поговорим по существу.

Первым взял слово Николай Тихонов:

— Мы знали до сих пор западника Мандельштама. Теперь после его стихов об Армении мы узнали, что он и восточник, и т.д.

В таком же роде с некоторыми вариациями стали выступать и другие. И вечер покатился растущим снежным комом. Но вдруг в прения врезался сам Мандельштам. Ему не понравились речи. Он начал с того, что выбралил всю современную поэзию, перешел к отдельным характеристикам и раскричался:

— У кого же я должен учиться, кого я буду читать сегодня? Не Слонимского же.

И свежий ком, так тщательно набравший свой объем, раскололся и рассыпался. Представляю вежливую, застенчивую улыбку сидящего тут же Слонимского, недоумевающее молчание Тынянова и мрачный взгляд Тихонова, которым он подарил свою трубку. А Мандельштам уже кричал:

— Русская поэзия для меня существует только до сороковых годов...

---

Мандельштам — поэт и прозаик — обилен и торжественен, как летний ливень. Его словарь — крупный, шумный дождь, где метафоры ослепительны, как молния, и сила образов подобна раскатам грома. В его стихах нет чувств, он не сентиментален. Его проза капризна, как ребенок. Дети иногда смеются, иногда сердятся. Мандельштам не умеет смеяться. Он — разгневанный ребенок, ссорящийся с нами, с нашим временем. Но когда он спокоен, он доходит до эпоса. Тогда его проза размеренна и полновесна. Тогда он умеет быть ясным и простым до хрестоматийности:

«Две черствые липы, оглохшие от старости, подымали на дворе коричневые вилы. Страшные какой-то казенной толщиной обхвата, они ничего не слышали и не понимали. Время окормило их молниями и опоило ливнями — что гром, что бром — им было безразлично.

Однажды собрание совершеннолетних мужчин, населяющих дом, постановило свалить старейшую липу и нарубить из нее дров.

Дерево окопали глубокой траншеей. Топор застучал по равнодушным корням. Работа лесоруба требует сноровки. Добровольцев было слишком много. Они суетились, как неумелые исполнители гнусного приговора.

Я подозвал жену:

— Смотри, оно сейчас упадет.

Между тем дерево сопротивлялось с мыслящей силой, — казалось, к нему вернулось полное сознание. Оно презирало своих оскорбителей и щучьи зубы пилы.

Наконец, ему накинули на сухую развилину, на то самое место, откуда шла его эпоха, его летаргия и зеленая божба, петлю из тонкой прачечной веревки и начали тихонько раскачивать. Оно шаталось, как зуб в десне, все еще продолжая княжить в своей

ложнице. Еще мгновение, — и к поверженному истукану подбежали дети». (Путешествие в Армению. «Новый мир»)¹⁸³.

Женщины, желающие заслужить благосклонность Мандельштама, слушайте, что он требует от вас.

Он признается:

«Не знаю, как для других, но для меня прелесть женщины увеличивается, если она молодая путешественница, по научной командировке пролежала пять дней на жесткой лавке ташкентского поезда, хорошо разбирается в линнеевской латыни, знает свое место в споре между ламаркистами и эпигенетиками и неравнодушна к сое, к хлопку или хондрилле».

По-видимому, названия «соя», «хлопок», «хондрилла» звучат для Мандельштама экзотически, как ушам европейца пышные восточные имена. Мне это напоминает одного узбекского поэта, который родился на хлопковом поле, живет рядом с хлопковым полем и умрет, наверное, на нем; так вот, когда этот поэт впервые приехал в Ленинград, он больше всего удивлялся обилию воды. «В Неве — вода, в каналах — вода, в фонтанах — вода, зачем так расточительно?» — спрашивал он, вспоминая, что на его родине земля орошается искусственно и вода до революции была на вес золота, водой торговали, из-за нее убивали, воду давали в приданое... Он большими глазами смотрел на клюкву, бруснику и свежие грибы; люди, разбивавшиеся в их названиях, вызывали его уважение.

---

У Мандельштама есть такие строчки:

Вспомнишь на даче осу,  
Детский чернильный пенал  
Или чернику в лесу,  
Что никогда не собирал...¹⁸⁴

Кто-то сказал:

— У Мандельштама всегда эти «никогда» и «навсегда», не может быть, чтобы он никогда не собирал грибов и ягод в лесу!

А вот почти биографическая справка из «Путешествия в Армению»:

«В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни, я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами. Больше грибов мне нравились готические хвойные шишки и лицемерные жолуди в монашеских шапочках...»

Лето. Столовая Дома писателей на улице Рубинштейна<sup>185</sup>. Вольф Эрлих за обедом рассказывает о Доме отдыха писателей в Коктебеле. О ссорах Белого с Мандельштамом.

— Но это еще что! Там творились более замечательные вещи. Историю с собачкой слышали?

Мы поднимаем от тарелок головы.

— Мандельштамы завели обычай после обеда выбрасывать кости за окно. И приучили подбирать их какую-то собаку. Так прошло недели две. Собака привыкла к этим косточкам, задолго до обеда садилась перед окном и ждала. И вот однажды костей не было. То ли обед был без костей, то ли объедки выбросили в другое место. История об этом умалчивает. Словом, собачка осталась без обеда. Она посидела, подождала положенное ей время, а затем стала скулить — сначала тихонечко, вполголоса, а потом разошлась и показала все свои собачьи способности. Сперва никто не обратил внимания. Но когда собачий вой перешел на непрерывку и принял угрожающие размеры, — забеспокоились: послеобеденный мертвый час ожил. Первым всполошился Мандельштам. В ни в чем не повинную собаку полетели первые камни словесных угроз и пшиканья. Не подействовало. Угрозы сделались конкретными в виде пустых спичечных коробков и тюбиков из-под зубной пасты. Ну что можно еще найти в комнате дома отдыха, чтобы прогнать собаку! Но и это не помогло. Нервы у всех пошли на повышение. Запахло бурей. Первого взорвало Мандельштама: он вдруг ну кричать, топать и закатил такую истерику! А вы же знаете — когда Мандельштам хочет, он умеет показывать. Администрация дома отдыха — «ах», «ох», туда-сюда и растерялась. Что делать? Мандельштам потребовал удавить собаку. И так как ни вой собаки, ни крики Мандельштама не прекращались, администрация пошла навстречу: оттащив кое-как собаку от дачи, решили ее уничтожить... Но когда это решение дошло до детского населения писательской дачи, — дети в ближайшей балке устроили конспиративное собрание. Тут выяснилось, что собаку зовут Бобка, что она пользуется популярностью среди всей ребячьей колонии и вообще были установлены некоторые полезные собачьи качества. Было высказано даже пожелание: взять шефство над этим пострадавшим Бобиком. Собрание прошло дружно и организовано. После кратких и горячих прений была принята единогласно единственная в своем роде резолюция: «Бобика оставить в живых, Мандельштама удавить». Резолюция эта и была преподнесена администрации дома отдыха.

Вообще, в быту О.Э.Мандельштам — нетерпимый человек. Мало того, что вспылчив. Он остро самолюбив. Не переносит критических замечаний о своих стихах. Рассеян. Забывчив. Так забывчив, что не привык возвращать даже денежных долгов. В издательских кругах он давно окружен незавидной славой мастера брать авансы под свои несуществующие книги.

Кто-то рассказал, что, катаясь однажды в обществе двух знакомых девушек и своей жены на лодке в Павловске, почитав им стихи и проведя веселую прогулку на воде, он, сойдя первым на землю и подав руку жене, помахал легко на прощанье ручкой и ушел, не заплатив лодочнику на берегу. Расплачиваться пришлось скромным студенткам. В то же время, если у него заводятся деньги, — а иногда за сборники стихов он получает сразу большую сумму, — он тут же, не раздумывая, тратит их, дает в долг, покупает ненужные вещи и через два дня сам занимает, просит авансы, заключает новые договоры.

Раз он разобиделся на Алексея Толстого — будто бы тот неодобрительно отозвался о бывшей русской интеллигенции. Рассердившийся поэт вознамерился тотчас отплатить тому пощечиной. Кто-то сказал, что Толстого нет в Ленинграде. Мандельштам вечером поехал в Москву. Не нашел и поехал домой. Судьба как нарочно сыграла с ним шутку: в том же поезде ехал и А.Толстой. Но, как в хорошей мелодраме, они не увидели друг друга. И только на вокзале в Ленинграде Мандельштам с удивлением обнаружил удаляющуюся спину обидчика. Догонять было уже поздно. Да и пыл, по-видимому, отгорел. Но все-таки слово, данное в присутствии нескольких человек, надо было сдержать.

В Гослитиздате на Невском, 28, Мандельштам все же нашел Толстого. Подошел. Быстро пробормотав что-то невнятное вроде того, что вот вам за русскую интеллигенцию, щелкнул слегка того по носу пальцем и убежал. Ничего не подозревавший Алексей Николаевич, зная сумасшедший характер Мандельштама, удивленно пожал плечами: «Какой-то ненормальный дурак!» Смысл этого жеста так и остался для окружающих непонятным.

Отвечая же нехотя на настойчивые расспросы своих жадных до сенсации слушателей и слушательниц, Мандельштам бросил, морщась, с досадой: «Да в общем, дорогая, это была скорее мифическая пощечина!» А Алексей Николаевич, говорят, после этого долго сидел, отдуваясь, на скамейке в садике против Русского музея и с недоумением ворчал<sup>186</sup>.

Кто-то рассказал историю с Лавреневым.

— В Коктебеле в этом году Лавренев занимал отдельный флигель. Отдыхающие возьми да и повесь над крышей флигеля двухцветный флаг — синяя и белая полоса — в знак лавреневского романа «Синее и белое». Однако иначе на это посмотрели сельсоветчики. К Лавреневу — депутация. Так, мол, и так, что такое, буржуазный флаг, демонстрация и прочее! А Борис Андреевич — любитель подобных происшествий! Вышел к депутации и произнес речь. Тут-де, дорогие товарищи, страшного ничего нет, это знак физкультурной организации, я — член такого-то физкультурного общества. Ему не вняли и потребовали флаг снять. Лавренев уперся. Произошли горячие дебаты. И дело было доведено до феодосийского Совета... Там посмеялись и дело прекратили...

---

К концу обеда в столовую приходит Лев Вайсенберг<sup>187</sup>. Он только что из Мурманска. Плавал на траулере до Новой Земли.

— В Мурманске в это лето, — говорит он, — целый сезон. Ученые, киноактеры, журналисты, летчики. Все это блестящее общество ест, пьет, снимается, плавает на траулерах, ледаколах и прочее. Словом, в этом году в Мурманске арктический сезон. Для Мурманска это событие. Там до сих пор видели только мурманов да треску... А как нас встречают, если бы вы знали! Ну, что я здесь? Так, какой-то последний ишак. А там слово «писатель» открывает все двери. Даже Новой Земли.

— Ну, а женщины на траулере были?

— К сожалению, на нашем траулере была только одна женщина — буфетчица, жена повара. Причем самое примечательное было то, что стоило мне с ней заговорить, сейчас же справа или слева появлялся мрачный повар и демонстративно точил полуаршинный кухонный нож, — здесь Вайсенберг, изображая повара, несколько раз быстро поворачивает на столе свою ладонь вверх и вниз, вызывая наш смех.

— Естественно, я свои ухаживанья дальше не мог простираť. Между прочим, — говорит далее Вайсенберг без всякого перехода, — если есть у вас полчаса свободного времени, могу прочесть небольшой рассказ. Совсем небольшой. Хотите?

Снова сели. Закурили.

Лев Маркович начал читать свой новый рассказ.

Вайсенберг всегда поражает меня своим вымытым видом. Высокий, опрятный мужчина — он постоянно в нарядном галстуке, в чистом воротничке, выбрит. Волосы его блестят и аккурат-

но разделаны, — как будто он все дни проводит в парикмахерской.

Римский писатель Овидий Назон, живший много веков назад, в третьей части своей «Арс аматориа» предупреждает:

«Берегитесь, красавицы, только мужчин, хвастающихся своей вылощенной красотой и тщательно причесывающихся...»

---

— Вы знаете, что было самым удивительным при встрече с писателями десять лет назад?

— Ну?

— Самовары!

— То есть?

— Прихожу к Замятиным — пьют чай из белого сверкающего — рюмочкой — самовара. Прихожу к Кузмину — на столе желто-брюхий самоварище. У Фроманов кипит уютный, обжитый «самовар-чбй», как выражаются в Узбекистане, где Фроман прожил юность. ЛаврENEвы пьют из высокого, с изящными ушками, серебристого самоварика, похожего на щегольской сапог. Мать Рождественского, угощая, потчует, как другом дома, ласковым, в морщинках самоварушкой. И только у Тихоновых пили чай из старого крашеного металлического чайника. Чувствуете мое провинциальное сердце, определяющее отношение современников к современности по предметам домашне-бытового обихода?

---

Тихонова редко встретишь в театре. От него не услышишь ни о современных постановках, ни о современных актерах, ни о художниках. Кто его пока писал? Радлова-Шведе<sup>188</sup>. На ее портрете он сух и мертв.

Он из пород бродяг Джека Лондона, Киплинга, но не бродяг Горького, Свирского<sup>189</sup>, Глеба Успенского. Трагедия сердца и ума, «проклятых» русских вопросов, для него пока не существует. Он человек нашей эпохи со всеми ее достоинствами и недостатками. Пока у него одна тема — Азия. Он сделал ее по-своему: отбросил настоящую Азию и приготовил по-тихоновски — из смеси упорства советских пограничников, удивления ребенка и философии мужества с иронией северянина. В Советскую Среднюю Азию он ездил три раза. И Азия не поддавалась. Он плюнул и поехал в этом году в Дагестан — в другую Азию. Ему предлагали Памир. «Мне там делать нечего», — сознался он.

---

Павленковская «Пустыня»<sup>190</sup> книга без интриги. Но в ней есть материал. Павленко сделал много, чтобы его срезать, обкромсать, запихать в сюжетные рамки. Книга стала похожа на разрубленную змею. Но, по написаным законам пустыни, разрубленные змеи, говорят, срastaются. Павленко об этом знает и оставляет книгу такой, какая она есть.

Павленко лиричен по-расейски — расплывчато, без соли. Отсюда незапоминаемость его пейзажей. К пустыне он подошел как ученый школьник — с перочинным ножиком, рулеткой и добрыми намерениями. На зубы побоялся ее положить. А настоящие обитатели пустыни пробуют на зуб европейские золотые монеты — не фальшивы ли. Павленко не хватает тихоновского мужества и резкости. Павленко на протяжении всей книги ни разу не рассердился, не озлился. А Тихонов в стихах о пустыне скалил зубы, рычал и нападал. Тихонов брал Азию в лоб. Это, конечно, не от храбрости. Это прием. В Малую Азию Павленко поехал более подготовленным, чем в Среднюю. В его руках там была история и литературные традиции. У Средней Азии есть история, но традиций нет. Фениморов Куперов, Джеков Лондонов, Кипплингов, Клодов Фареров Средняя Азия не имела. Разоблачать же Каразиных, Стремоуховых, Марковых можно только как описателей-колонизаторов, но не писателей русской экзотики, вроде Марлинского на Кавказе<sup>191</sup>.

---

Павленко, Тихонову, Вс. Иванову и другим, ездившим бригадой в Туркмению, «бригадный» метод работы только мешал. Связывал местом, временем, настроением, задачами. Вопросы и темы надо было как-то разделить. Из этого деления, как потом признался Тихонов, ничего доброго не вышло. Каждый лез в область другого.

---

Николай Тихонов летом ездил на Кавказ. Поездка высушила его. Ветер дорог вытер его лицо. Мужественная мрачность залегла толстыми и кривыми складками от острых скул к подбородку. Провали щеки зияют, как горные впадины. Оттопыренный подбородок являет упорство и твердость скалы. Сжатый рот, кажется, прячет не зубы, а клыки. Губы сухи. И в светлых глазах застыл жесткий отблеск ледяных глыб. Он реже смеется. И

смех его похож на сухой стук падающих в ущелье камней — они скачут и через три шага их уже не слышно из пропасти.

Таким увидел Николая Тихонова карикатурист Антоновский<sup>192</sup>. /.../<sup>193</sup>

---

Мария Константиновна Тихонова сидит с ногами на диване, кутаясь в широченную кавказскую черную бурку, курит и рассказывает о проведенном лете.

— У меня лето прошло несуразно. Колька мне его испортил. Ждала, что он уедет раньше. А он весь июнь работал. Почему-то считают, что в это время его надо сторожить. Потом он уехал в Дагестан. А я провела месяц на даче под Ленинградом. Скучно было, хотя народ ко мне и наезжал. Но я люблю бывать одна и иметь свой угол. Повесила простыню. Однако не выдержала и сбежала домой... Нигде почти не бываем... Хотя нет... Недавно были в ТюЗе. На премьере «Клада» — Шварца<sup>194</sup>.

Она натягивает на плечи сползающую бурку, поджимает ноги и продолжает:

— Занятная пьеса. Они там проделывают такие штуки! Скачут по горам: им приходится прыгать по двигающимся конструкциям. Просто акробатические трюки... Много, правда, в пьесе лишнего.

За стеной телефонный звонок. Из другой комнаты выходит Николай Семенович и идет к телефону.

— Николай Семенович эти три дня был болен, — говорит тихо Мария Константиновна. — Грипп. И мне пришлось вести все сношения с внешним миром. Телефонные разговоры с редакциями, издательствами, писателями. То телеграммы. Потом целые дни у нас народ... Его постоянно донимают... У него просто нет покоя... Ну, а вы где бываете?

Рассказываю о виденном на днях балете «Дон-Кихот».

— Говорят, что в дореволюционное время балет был суше, танцоры были связаны полупридворным этикетом. А теперь у них и жесты свободнее и танец полнее...

— Н-е-е-т, — обиженно тянет Мария Константиновна. — Не этикет. Другая школа была. Другие условия. Вот вы говорите: Нижинский. Он же делал на сцене невозможные вещи. Вы знаете, однажды в Париже с его постановки публика встала и ушла. Знаете, что он сделал? Шел балет — я не знаю, как он называется, — одним словом, танец нимф и сатира. Кончается сцена тем, что нимфы убегают, оставляя в руках сатира шарф. И сатир — его исполнял Нижинский — с этим шарфом проделывает (тут Мария

Константиновна затягивается папиросой), — проделывает полную любовную сцену со всеми натуралистическими подробностями...

— Ну, балет раньше, — говорит она улыбаясь, — был несравненно лучше. Я видела Карсавину: это великолепно. Сама некрасивая. Ключицы торчат. Худенькая. Но танцевала бесподобно... Павлову... Нет, вру, не видела... Кшесинская мне не нравилась. Высокая эта полька. Она вся на чисто классическом балете. Нет, все сухо как-то у ней было.

Папиросу — в пепельницу.

— Я не помню всего. Но возьмите фокинские постановки. Фокин мог проделывать свои штуки, только опираясь на всю ту школу танца, которую давала старая балетная система, когда девочек буквально с детства ломали...

Возвращающийся Николай Семенович (телефон в коридоре, коммунальная квартира) вставляет:

— Балет у нас как-то оторван от всего. Где-то в стороне.

Разговор переходит на другую тему.

— Нет, вы смотрите, как растет народ, — говорит Николай Семенович, — дочку Фромана еще не видел. Сколько ей? Год? Уже? Я до сих пор даже сына Слонимского не видал. А ведь ему уже два года<sup>195</sup>...

— Ну что ты, — замечает Мария Константиновна, — только год. Он же ровесник с Наташиным...

---

— Есть ли у тебя платок? — спрашивает Мария Константиновна у собравшегося уходить Николая Семеновича. Он в меховой куртке и теплой кепке.

— Есть, — обшаривая свои карманы, отвечает он.

— А то, знаете, если не посмотришь, и платка не окажется, или еще, чего доброго, вдруг откуда-то салфетка возьмется.

— Да, да, салфетка... — басит он. — Ах, да, приезжает на днях дочь Эренбурга из Парижа, вот-вот, в «Астории» с ней обедали, случайно салфетка в карман попала...

Мария Константиновна смеется:

— Нет, за всем надо самой следить, и чтобы платок был и чтобы... Не положи под нос мыла, без мыла умоемся...

---

Николай Баршев постарел, потишел. Потерял свою начинавшуюся полноту и добродушие. В его словах теперь часто сквозит ирония.

Он говорит Всеволоду Рождественскому: «Нелады, Севушка, у меня с эпохой».

Он давно оставил свое инженерство. Работает в Издательстве писателей. Пишет мало.

Желая пошутить, он говорит за чаем в гостях о своей жене Людмиле Ильиничне<sup>196</sup>:

— Да вы не обращайтесь на нее внимания, она у меня ведь тае...

---

— Вы не знаете, чей я ученик? — подходя к обеденному столу, спрашивает Вольф Эрлих. — Я сам час назад об этом узнал. Оказывается, мой учитель Готье.

— Что же, это не так плохо, — отвечает серьезно Михаил Фроман.

— Я тоже думаю. Об этом мне сегодня сообщил Макарьев<sup>197</sup> в «Литературной». Придется, видимо, почитать Готье.

— Могу вам дать своего. В переводе Гумилева.

— Но это еще не все. Макарьев дает мне в учителя еще и Эредиа.

— Что же — и цитаты Макарьев приводит?

— Это было бы самое замечательное. Но Макарьев считает это лишним. Нет, подумайте, кто пишет...

---

Темно-лиловые крашенные стены комнаты Вольфа Эрлиха не знают ни красок акварелей, ни линий графики, ни пятен цветного масла. Они пусты. И только на одну из них забрался странный зверь, похожий на чучело серо-зеленого хамелеона с большими стеклянными глазами и длинным хвостом. Это противогаз. Зачем он здесь? Может быть, это нарочитая деталь обстановки? Но это единственное «украшение» маленького кабинета.

Эрлих, как и некоторые теперешние поэты-книжники, страдает «смирдинизмом», то есть собиранием по всем книжным лавкам и киоскам «Старой книги» изданий Смирдина. Желательно в его издании — книги Пушкина. Они стоят на полках рядом с большими томами медицинских словарей — наследством отца.

Сейчас Эрлих читает Стэнли — путешествие в Африку в поисках Ливингстона<sup>198</sup>. Он в восхищении от методов его работы и организации этого предприятия.

Читал нам отрывки из предисловия.

Слушали: полувнимательно — Борис Корнилов на стуле; небрежно — жена Корнилова, Ольга Берггольц<sup>199</sup>, лежа на кожаном диване.

У Корнилова не очень приятное лицо. И держится он отчужденно. Не то обозлен на что-то, не то недодрался с кем-то. Весь вид его говорит: мол, у меня есть поважнее дела, чем сидеть тут с вами, но уж посижу, послушаю.

Эрлих давно забросил сапоги. Потолстел. Стал самоуверен. У него появился, если сравнивать с 1926 годом, округленный жест, твердость в шаге. Даже к ошибкам и потерям человек привыкает. Эрлих не нашел еще ни настоящих друзей, ни себя в стихах. И в том и другом он идет не по тому пути. Ходят слухи, что он дружит с Николаем Тихоновым. Не верится. По-моему, у Тихонова нет настоящих друзей среди поэтов. Друзьями Тихонова числятся города и страны.

---

Стоят солнечные дни октября. Гуляем с М. Фроманом по Фонтанке. Он в пальто. Везет детскую колясочку: в прошлом году у него родилась дочка. Он — заботливый отец. Говорим о его последних стихах, напечатанных в №9 «Литературного современника»; его литературные друзья называют их «страшными»<sup>200</sup>. М. Козаков даже набросился на него: «Ты что, с ума сошел? Зачем это, кому это надо — гроб, похороны?»

Михаил Александрович рассказывает: «Вы знаете, когда я задумал, я сам не знал, как это все выйдет. Думал, это будут длинные стихи, боялся не уложиться, — так захватила меня эта тема. Хотелось о многом сказать... И вот, представьте, — вышло, и совсем немного», — как бы удивляясь самому себе и в то же время сам не понимая, как это ему удалось.

Стихи примечательные, и на первый взгляд — странные. Самое удивительное, — для меня, по крайней мере, — это неожиданная мысль изложить все именно таким приемом — при помощи заглядыванья в будущее увидеть свой, ну что ли, итог жизни, свое место «в строю», свою «каплю меда», как он выражается в стихах. Напрашивается и другая мысль: у него только что появился ребенок, казалось, перед ним развертывается новая жизнь, какая-то еще неиспытанная сторона личной жизни, и вдруг мысли о воображаемом конце. Но, с другой стороны, может быть, это обстоятельство и толкнуло его на некое, что ли, подведение черты своей прошлой жизни. Воспитанный, как и многие из его поколения, на пушкинском отношении поэта к жизни, его роли в общественном развитии, впитавший в себя дух борьбы Пушкина за

независимость поэта, — он, конечно, не мог не думать последние годы и о своем месте среди современников. Можно было избрать другой путь формы, иной прием, но он выбрал именно этот, показавшийся ему наиболее ярким, поражающим воображение и одновременно близким после повести «Смерть Чичикова».

Стихи начинаются так:

Умру: весенним днем положат  
Меня, как в пламя, в красный гроб...

.....

И за высоким катафалком,  
Как сквозь ненастье, стужу, ночь,  
Пойдут, в отчаянии жалком,  
Седая мать, жена и дочь...

Но не в этом главное, а в другом:

Что я не трутень бесполезный,  
Не подхалим и не ханжа,  
И не наемником железной  
Служил, Республике служа...

Не для себя любя свободу,  
Я твердо верен был труду  
И моего, хоть капля, меду  
Найдется в зреющем саду.

---

Сегодня на собрании в Книгоиздательстве Писателей впервые увидел Миролюбова — бывшего издателя до революции «Журнала для всех»<sup>201</sup>. Худущий, высоченный, с белой длинной просвечивающей бородой, с замогильным голосом — настоящее привидение с того света. Он хорошо знает издательское дело, и его опыт, видимо, пригодился сегодня.

Тут же сидел хрупкий, розоволицый Иннокентий Оксенов, всегда выступающий почему-то с обидой в голосе и старающийся выдвинуть свою точку зрения. Ему возражал Сергей Спасский<sup>202</sup>, которого редко можно понять, что он защищает; на его маскообразном лице трудно что-нибудь увидеть, — про таких говорят: человек — ни рыба, ни мясо. Пылко выступал С.Емелин<sup>203</sup> — служащий в каком-то издательстве корректором; он много лет работает над пушкинской эпохой, написал повесть «Зеленая лампа», готовит большую работу по истории Летнего сада. Там же в первый раз встретил Лебеденко, автора интересной книги «Тяжелый дивизион»<sup>204</sup>, заглавие которой, говорят, он долго не мог найти,

и ему придумал редактировавший книгу Маршак. Лебеденко весь вечер просидел молча и все чему-то улыбался. Полный, мало-подвижный, он производил впечатление очень делового человека, прошедшего большую жизненную школу, которая, наверное, и помогла ему так вкусно сдобрить довольно «тяжелый» роман.

---

Вечером в одной из гостиных Дома писателей на улице Воинова Анна Радлова читает свой перевод шекспировского «Отелло».

Уже девять часов. Ждать больше некого. Слушателей не так много.

Большинство не любит ее переводов пьес Шекспира, о них судят по спектаклям в театре, руководимом С.Радловым — ее бывшим мужем<sup>205</sup>. Говорят, ее переводы не соблюдают точно текста, напитаны отсебятиной. Корней Чуковский даже выступил в газете (не то в «Известиях», не то в «Литературной»), изобличая А.Радлову в искажении подлинника<sup>206</sup>. Искушенная часть театральная аудитория шокирована свободным обращением переводчицы с автором XVI века.

А мне кажется, пусть слово переведено не так точно, только был бы в нем понятный нам запах времени и событий. Когда в спектакле «Ромео и Джульетта» старый отец бранит свою дочь и бранит так, что кажется, стены краснеют от его крепкой и сочной речи, я чувствую настоящее возмущение оскорбленного отца — он резок, прям и груб. И, пожалуй, это больше соответствует нравам эпохи и тогдашнему уровню отношений родителей к детям, чем академически чинный, литературный перевод иных ученых переводчиков.

Если мы не знакомы с некоторыми вкусами, понятиями, взглядами человека XVI века, не имеем большого образования и пришли в первый раз на Шекспира, — нам иногда не все понятно. Нам подавай настоящую жизнь, а не исторические разыскания из ученых словарей. И если в уста кормилицы переводчица вкладывает более понятное нам слово «водка», а не то название напитка, который пили в те времена и для перевода которого потребовалось бы знать, из чего и как он готовится или еще что-нибудь, то думаю, что это не ошибка.

Защищая свои принципы перевода, Анна Радлова пишет «О моей работе над переводом "Ричарда"»: «Перед переводчиком, если он не совсем ремесленник, непременно должен со всей полнотой и жгучестью стоять вопрос о "собеседнике". На этот вопрос я уверенно и убежденно отвечаю: собеседником переводчи-

ка Шекспира должен быть не некий абстрактный человек, русский эквивалент современного англичанина, а нынешний советский зритель, для которого Шекспир должен быть так же понятен, так же во всем реален и ясен, как понятен, ясен и реален он был для шекспировского зрителя. Мы не имеем права переводить Шекспира языком Ломоносова или Кантемира, не имеем права уснащать его для "старинности" никакими "поелику", "супротив" или "вотще", которыми, кстати сказать, переводчики часто пользуются не только для старинности, но и для "красоты и торжественности", прикрывая бедность своего языка...

Мои противники скажут, что я провозглашаю уличный, газетный, засоренный и текучий язык. Неправда, я не говорю, что в Шекспира надо вводить слова: "пока", "всего" или "извиняюсь"...

Мы стольким жертвуем при переводе, что должны воспользоваться единственным преимуществом, которое может иметь перевод Шекспира перед подлинником: сделаем Шекспира понятным и современным, передадим ощущения не нынешнего англичанина, наслаждающегося лицемерием и слушанием "старинного театра", а иной раз нуждающегося в допинге для восприятия классика в виде фраков и джаз-бандов, а ощущения тех людей, для которых Шекспир — не вчерашний, а сегодняшний день, тех, для кого Шекспир — реальнейшая из реальностей...

Мы должны помнить о том, что переводим не для ученых, которые могут читать Шекспира по-английски, а для широчайших масс, для сотен тысяч и миллионов».

Так она писала в брошюре, изданной Музеем Большого драматического театра им. Горького в 1935 году<sup>207</sup>.

Анна Радлова — крупная высокая брюнетка. Большие толстые брови. Удлиненное лицо с волевыми, мужскими чертами. Уже немолода. Сочный громкий голос. Держится корректно. Одевается с изяществом когда-то интересной женщины. Раньше про таких говорили: дама из хорошего общества. Теперь, правда, это звучит иронически. Читает сдержанно, без декламационной аффектации, уверенно. Видимо, готова защищаться. Но, к сожалению, выступающих нет.

Мягкий свет ламп. Пышная мебель, бронза, панно, ковры, тяжелые портьеры на окнах, — словно эта обстановка нарочно закрывает вход широкому слушателю. Всего человек тридцать—сорок. Писателей среди них мало. Как будто пришли не слушать, а отдать долг вежливости. Случайные же гости-любители боязливо ступают по мягким коврам и молчат.

---

Широкая седая Ольга Форш сидит в глубоком кожаном кресле таким архиереем от литературы и басом рассказывает о Сологубе:

— Умный был старик. Но злой. Никому простить не мог своей неизвестной молодости, своего инспекторства. Долго ему пришлось ждать признания. Обижен был. Но умница. Понимал многое.

— Сердитый был, — говорит Эрлих. — Вы знаете, как он молодых встречал? Приходит к нему такой поэт. Сологуб вежливо его встречает. Указывает, где снять пальто. Ведет в кабинет. Предлагает стул. Сам садится напротив. Все это методично, деловито. Поэт мнется, не знает, с чего начать. Проходит минута, другая. Оба молчат. Наконец хозяин подчеркнуто спокойно спрашивает: «С кем имею честь молчать?» Гость, путаясь и запинаясь, говорит, что он — поэт.

— Поэт? — переспрашивает Сологуб. — Кто же это вам сказал?

Гость смущен и возмущен: — М... м... как кто?.. Я так думаю.

— Ах, вы-ы... Ну и что же?

— Хочу прочесть вам стихи.

— Стихи пишете?

— Да...

И только после этого Сологуб разрешил: «Ну прочтите».

Поэт читает. Хозяин слушает молча, спокойно, не прерывая ни словом, ни жестом. После чтения внимательный слушатель делает замечание о неудачных рифмах. Поэт робко пытается оправдать свои рифмы.

— А вы знаете, что такое рифма?

Обиженный таким вопросом, молодой поэт начинает сыпать цитатами из Жирмунского, Томашевского, Шувальковского<sup>208</sup>, из всех знакомых ему книг о поэзии и стихосложении.

— Нет, — твердо и ясно говорил Сологуб, — не это называется рифмой. Вы не знаете, что такое рифма. — И раздельно: — Рифмой называется такое явление в стихах, когда одному слову соответствует другое, такое слово, какому надлежит быть здесь, в конце строки, и никакое другое.

— Ну, Сологуб и не это еще проделывал, — вставляет, смеясь, Фроман. — Помните, когда в первые годы революции обсуждался вопрос, как можно использовать закрытый Казанский собор, Сологуб надоумил Шишкова<sup>209</sup> предложить устроить в

соборе писательский пантеон. Шишков и выступи на открытом собрании с этим предложением ко всеобщему недоумению. Только Сологуб мог придумать такую злую шутку.

Разговор переходит на современников, на печатающиеся сейчас в «Звезде» «Похищение Европы» Федина и «Возвращенную молодость» Зоценко<sup>210</sup>.

Форш поднимает толстые брови:

— «Молодость» интересно задумана, а конец он схитрил. Но мы понимаем, понимаем, — улыбается она, — в чем тут дело. У Федина есть хорошие страницы... Но все-таки кое-где этикие неточности. Как это у него... насчет рыб?.. И брызнула, говорит, горячая кровь. А рыбы-то хладнокровные! — ехидно замечает она. — И еще там место есть... краб, говорит, пятится... А краб ведь не рак, он не пятится...

— А слышали, Тынянов о Пушкине пишет роман?

— Да, да. Это очень интересно. Ответственная работа. Посмотрим, как он там сделает. Ведь он сталкивает Пушкина с историческими лицами. А это страшно. Вы помните, у меня Гоголь и Иванов так и идут отдельно, нигде не сталкиваясь...

Затем, вспоминая о своей работе над романом «Одеты камнем», она с веселыми морщинками вокруг глаз рассказывает, как спустя некоторое время после выхода в свет этой книги однажды снова пришла в Петропавловскую крепость. Ведь, начиная роман, Ольга Дмитриевна каждый день бродила по крепости. Бывало часами думала, воображая ужасы заключения в Трубецком бастионе, вдыхая его могильный дух, который вот-вот рассеется свежим воздухом революции.

— Я считала своим долгом — воскресить для будущего то, чего забыть никогда нельзя. И вот как-то, уже после которого издания книги, пошла еще раз взглянуть на знакомые стены. И попала на экскурсию. Молоденькая девушка-экскурсовод водит нас по камерам и объясняет, как по бумажке. После лекции я спросила о чем-то — уж не помню, о чем, — она сразу потеряла свой книжный тон и ответила с милой такой улыбкой, снисходя к моему незнанию: «А если вам, бабуся, хочется знать об этом по-подробнее, прочитайте книжку Ольги Форш "Одеты камнем"»...

Затем (не помню уж связи) о Шкловском — почему тот в последнее время не пишет.

— Нет, не скажите, с ним что-то случилось, такой интересный, остроумный...

— Исхалтурился, — замечает Фроман.

— Да что вы! Нет, что-то странное... — не соглашается она.

---

Кстати, еще о Сологубе. Как-то вспоминал З.Штейнман:

— Мы были тогда дерзкими вапповцами. Никого не щадили, тем более Сологуба. Он был председателем писательского союза. Мы — я, Тверяк, Горелов<sup>211</sup>, Корнилов — выступали почти на каждом собрании, ругались, ссорились, дерзили открыто. Помню, на одном заседании рыжий, здоровый Гизетти<sup>212</sup> кричал нам: «Не будьте Бенкендорфами для современной русской литературы!» Мы ему отвечали: «Может быть, мы и Бенкендорфы, да вы, к сожалению, не Чернышевские!» Федор Сологуб сердился на нас здрóрово, но не уступал. Под конец какого-то собрания, помню, он сказал: «Вот тут против меня выступали молодые люди. Мне их выступление напоминает одного из моих персонажей из "Мелкого беса": Передонов пришел в парикмахерскую и попросил побрить кота. Так поступают и эти молодые люди со мной. Но ведь это невозможно!»

Рассказывают, на другой день смерти Ф.Сологуба появилась в «Вечерке» статья З.Штейнмана — конечно, разносная и издевательская по отношению к покойному<sup>213</sup>. Кто-то вырезал ее из газеты и повесил на стене в Доме печати с такой надписью жирным карандашом: «Осиновый кол в гроб великого писателя!»

Таковы были нравы и отношения.

---

По Невскому шел Алексей Толстой. В сером костюме, с перекинутым на левую руку летним пальто, не торопясь, он переходил мост через канал Грибоедова у Дома книги. В полных губах — большая сигара — может быть, сигара, привезенная им из Европы, откуда он только что вернулся. Крупный, тяжелый, коротконогий, он шел, как всегда почему-то немного сердитый, оглядывая прохожих, дома и улицу глазами хозяина, давно не бывавшего дома, и заставлял любопытных оглядываться на его не по-невски сытую и гладкую фигуру.

Трудно его слить с нашим бытом. Он вываливается из него анекдотами, какими-то смешными и нелепыми рассказами и устойчивыми историйками о его привычках, вкусах, образе жизни.

Вот.

В первые годы революции в Ленинграде продавалось много старинных вещей, мебели, безделушек. И не только в антикварных магазинах, но и у частных лиц. Толстой скупал, говорят, это все возами. Когда же этой старины накапливалось так много,

что уже некуда было ставить и развешивать, — начиналось одаривание:

— Уважаемый (имярек), — начинал Алексей Николаевич, — хочу вам сделать маленький подарок. Есть у меня одна старинная вещица замечательной работы, семнадцатый век! Хочу вот преподнести вам...

Уважаемый имярек, польщенный и довольный, кланялся. Из вежливости сначала отказывался. Потом благодарил, а поскольку настойчивость Алексея Николаевича росла и горячела, смущенно умолкал.

— Вы будете признательны мне. Это же произведение искусства! Людовик. Прелестный пустяк! Фонарик семнадцатого века! А как попал сюда — о, это, батенька, целая история. Я вам как-нибудь расскажу ее...

Гость еще раз бормотал благодарности, а хозяин властно брал его под руку и вел.

— Пойдемте, я вам покажу.

Шли куда-то в темный коридор, спускались и поднимались по лестнице и наконец попадали не то в кладовку, не то в бывшую ванную.

— Вот! — вдохновенно протягивал руку в угол Алексей Николаевич.

В темном углу, прислоненный к двум стенам, стоял позеленевший от ржавчины и согнутый временем и судьбой полусаженный уличный фонарь. Такие фонари два века назад висели на площадях или под арками высоких ворот.

Ошарашенный гость вдруг немел. Стоял пораженный, испуганный. Почти в ужасе.

А хозяин нахваливал:

— Прекрасная работа! Пожалуйста! Я рад, что хоть чем-нибудь угодил вам. Куда прикажете доставить?

Но тут гость мгновенно приобретал дар речи и начинал с обратной силой в спешном порядке отказываться от подарка. Ведь, не дай бог, он действительно может стать в одну секунду обладателем столь могучей вещицы.

И когда наконец решительность гостя брала верх, — Алексей Николаевич менял тон:

— Черт возьми! Вы — десятый! Ну никто, положительно никто не берет. Уж я и так и сяк. Нет, не уговоришь. Ну, куда мне деть этот фонарец? А? Посоветуйте. Уж я дворнику говорю: «Стащи ты, Кузьма, его хоть в Мойку, что ли!» Боится. «Увидят, говорит, хлопот не оберешься». А ведь жалко! Семнадцатый век!

---

Николай Тихонов серьезно занят Востоком. Восток становится главной темой его последних стихов и прозы. Он не только ездит, но и изучает материалы о дореволюционном прошлом и настоящем. Рассказал об интересных письмах матери афганского короля Аммануиллы Хана к Ленину, о любопытных записках турецкого посла при афганском эмирском дворе.

— Я хочу написать роман из жизни среднеазиатских республик, только еще не решил — сейчас буду писать или потом.

Мне кажется, из прошлых лет Средней Азии его должна заинтересовать фигура Скобелева<sup>214</sup>. Он как-то к слову отозвался о приказах этого генерала как об образце военной краткости и точности. В уста героя, читающего приказы генерала Скобелева в рассказе «Бирюзовый полковник»<sup>215</sup>, он вкладывает такую реплику: «Полковник вдохновился. — Или дальше, — читал он: — ”при езде по улицам казаки бьют жителей нагайками, сбивают с голов продавцов корзины с лепешками и фруктами, пьянствуют, приво-дят женщин и после зóри производят в помещениях своих бессмысленный шум“. — Какая проза! Так только Гоголь писал. Вы посмотрите, как это внушительно и легко. А вот дальше. — ”Лошадь должны быть наскаканы, а так называемую джигитовку, то есть чрезмерное нагибание тела, поднимание с земли рукою разных предметов и всякое бесцельное кувыркание, как вредное акробатство, воспретить...“ Полковник читает дальше: ”Когда раздается священный бой к атаке, в эту великую святую минуту артиллерия должна забыть себя. Артиллерия должна беззаветно лечь вся, точно так же, как беззаветно ляжет вся пехота, атакуя противника».

---

Тихонов любит толстые папиросы. Когда ему предлагают папиросы с тонким мундштуком, он возмущается:

— Ну, что это за папиросы! Мне сегодня работать надо. Не люблю я этих папирос, их в руке не ощущаешь.

---

На Невском слышал, как одна шляпа сказала другой:

— Посмотри скорей направо, вон Чумандрин!

— Где, где?

— Да вон же, вон, в синей рубашке.

— Толстый?

— Ну да!

— Ну-у-у! — раздосадованно протянула вторая.

Через несколько минут в вестибюль нового писательского дома на улице Рубинштейна, в тесный вестибюль, наполненный десятками пальто, шляп, едкими запахами столовой, вламывается Чумандрин.

— Михаил Федорович, вам звонили, — докладывает швейцар.

— Не знаете, откуда?

— Не сказали.

— Ну, позвонят еще!

В этом «ну» и «еще» была такая уверенность в себе, в своей необходимости для тех, кто позвонит, — что нельзя было в это не поверить. А год-два назад — после опубликования известного решения ЦК от 23 апреля — я видел его растерявшимся полководцем, покинутым своими солдатами; в своей растерянности он лишь сердито огрызался. Но прошло достаточно времени, чтобы подумать, обсудить, отдохнуть, съездить на Дальний Восток и прийти в себя.

Через несколько минут он уже спускается с третьего этажа.

Взвалив на плечи темно-зеленый рюкзак, пыхтя трубочкой, он уходит походкой застоявшегося апшерона. На нем только темно-синяя домашняя рубашка с засученными до локтей рукавами, коломянковые брюки и мягкие домашние туфли на босу ногу. Открытая голова. Лето. Он едет на дачу.

---

На днях мельком увидел Юлия Берзина<sup>216</sup>, и тотчас всплыло, как несколько лет назад он и его два компаньона приехали в Ташкент. На них были черные тяжелые костюмы, накрахмаленные воротнички, темные фетровые шляпы. А в тени стояло тридцать пять градусов по Цельсию. Обычное лето.

Жара их поймала врасплох, голыми руками, в несколько минут. Я застал всех трех в огромной комнате гостиницы распластанными, мокрыми, растекающимися в духоте четырехчасового ташкентского солнца. Полураздетые, растерзанные пытками своего неожиданного врага, они были прикованы к постелям, не в силах ни подняться, ни даже рассердиться. Передо мной лежали задыхающиеся рыбы, волею рыбака выброшенные на горячий прибрежный песок.

Это были: Юрий Берзин, врач Фридлянд<sup>217</sup>, нашумевший своей книгой «За закрытой дверью», и неизвестный мне дорожный их спутник, какой-то текстильный работник.

Взглянув на очкастого, большеухого Берзина, маленького, безусого, почти юношу, — вы никогда не скажете, что это автор «Конца девятого полка», «Форда», «Завоевателей и мелочей». Так он не похож на писателя. К тому же он не развязен. Не кричит. Не сплетничает. Не хвастается. О маститости не помышляет. Берзин лишь хочет быть путешественником в поисках прекрасного — может быть, сердца, может быть, — города, а может быть, — прекрасной фразы. Но он еще не научился путешествовать...

Мы пошли. Это был послеобеденный час, час стояния ташкентского солнца и пыли. Воздух накаливается до возможных пределов. Еще час-полтора, и день начнет клониться к коротким сумеркам. В этот душный и пыльный промежуток времени в те годы бодрствовали одни поливальщики улиц.

Смуглый узбек-поливальщик, без рубахи, в одних белых, закороченных до колен штанах, босиком, становится с двумя огромными ведрами воды посередине улицы — вода берется тут же в арыке, мутная, грязная, глинистая — и, взмахнув ведром справа налево, широким радужным веером разбрасывает воду по пыли. Летят брызги, тяжелые и грязные от пыли. Белая обувь и платье прохожих становятся пятнистыми. Надо иметь большое искусство, чтобы не попасть под этот фонтан.

Шашеломленные этим невиданным зрелищем, мои спутники шараялись от каждого взмаха поливальщика... Потом мы шли по задворкам Старого города. Об этом Берзин рассказал в своей книге «Путешествие». Рассказал глазами ленинградца, не бывавшего ни на каком Востоке. У него нет красок романтики и пафоса тихоновских «Кочевников», зато нет и пошлятины Синицына — одного из героев Всеволода Иванова в его книге о Средней Азии, написанной в пору поездки писательской бригады по Туркмении; нет у Берзина и наивности и беспомощности Павленко. Берзин просто не видел, не слышал, не нюхал, не почувствовал Средней Азии. Хлопок и вода! — вот Средняя Азия в эти годы. А как Берзин описал свою поездку в Пахта-Арал? В эту кузницу, лабораторию, школу хлопководства? Смотрел и не видел. И только потом на обратном пути, трясясь на стареньком «Форде» ночью на железнодорожную станцию, задал несколько наивных и беспомощных вопросов своему спутнику — это, кажется, был известный в Средней Азии энтомолог Головизнин<sup>218</sup>. Впоследствии последний рассказывал мне об этой поездке. Но что же можно узнать в течение получаса о такой большой богатой стране!

Нельзя отговариваться тем, что ошибки книги — это корректорские ошибки. «Путешествие» — это книга летних заработков, отхожие промыслы писателя, потому неудача.

---

— Ну? — удивляется Фроман. — Тридцать восемь тысяч за год? За что же?

— За сценарий. Правда, он не пошел. Но потом еще рассказы, книжка... — коротко отвечает Берзин.

— И все истратили?

— Да, — крайне смущенно отвечает Берзин и пожимает плечами, удивляясь сам.

— Хоть пригласили бы бутылочку распить, — смеется непьющий Фроман.

— Честное слово, с удовольствием. Заходите. Давайте условимся.

— Да что теперь! — машет рукой Фроман.

---

Об этом человеке Александр Блок сказал: «русский дэнди».

Представьте себе крепко сбитого, высокого мужчину, с точно вымеренным английским пробором светлых волос, в тонких золотых очках, с породистым лошадиным лицом, где большое место уделено хорошо выбритому квадратному подбородку, и в модно сшитом костюме; прибавьте холеные барские манеры, уверенные жесты карточного игрока — и вот вам внешний портрет завсегдатая литературных вечеров, дискуссий, встреч. Он остроумнейший собеседник, блестящий переводчик Дос-Пассоса и неповторимый создатель дерзких, крылатых в литературных кругах «мо».

Это Валентин Стенич.

Он владеет редкой способностью — необыкновенно быстро в общем разговоре перехватить инициативу в свои руки и с неприужденностью завязанного банкмета весь вечер держать ее на своих острогах.

Вот как он рассказывает:

— Идем на днях из распределителя с нашим доктором Фридлиндом. Доктор вздыхает и сетует: «Да, тяжело нашему брату писателю!» — «А разве ваш брат писатель?» — спрашиваю.

И доволен.

Но больше всего мне понравился его ответ по делу драматургов «братьев» Туров<sup>219</sup>.

Сидят они однажды в гостях и слушают увлекательный рассказ своего товарища по перу драматурга Прута<sup>220</sup> о недавней поездке за границу. Мелькают интересные встречи, неожиданные социальные контрасты, меткие подробности чужой жизни. «Ду-

маю, — говорит Прут, — написать пьесу, материал сам идет в руки». Загоревшись от всего услышанного, Туры пришли возбужденные домой и в две-три недели, ничего не говоря Пруту, но используя его рассказ, накатали очередную пьесу. Пьесу принял театр. Узнав об этом, возмущенный Прут стучит в товарищеский суд. И вот, в кулуарах во время суда кто-то спросил, ахая, у Стенича: «Что же теперь будет?» — «А что-нибудь одно, — ответил Стенич: — или Прута поТУРят, или Туров поПРУТ!»

Посмеиваясь над чужими переводами, он никогда не выхваляет своих — наоборот, даже умаляет их значение. На что Николай Чуковский, его друг и приятель, всегда горячо возражает: «Ну что вы! Ваши превосходные переводы никогда не нуждаются в похвалах!»

На литературных собраниях Стенич не в силах сдержаться, чтобы не подать свои остроты с места. Президиум его не останавливает — едкое слово, сказанное неожиданно, ошеломляет. Впрочем, не все относится к нему терпимо. Он заносчив и самоуверен. Его словечки иногда больно жалят. Услыша ответную неуклюжую реплику или брань, он напускает на себя нахала и громко говорит, как древний Святослав: «Иду на вы!», предупреждая окружающих: «Посмотрите, сейчас будет нечто интересное». Снимает перчатку и дает увесистую пощечину «обидчику». За один такой выпад против Льва Савина он был на время исключен из Союза. Но ничто не меняет его образа мысли и жизни. Поэтому его многие не любят — есть в его жизни какие-то темные пятна, как в судьбе любого карточного игрока.

Иногда вижу его гуляющим по Невскому или Гостиному Двору. С крепкой палкой, в светлом пальто с широким поясом, в желтых больших ботинках, ходит он медленно в толпе, то остановится, заложив руки с палкой за спину, перед витриной с готовым платьем и бельем или у ювелирной выставки, внимательно рассматривает и, не торопясь, идет дальше, выделяясь своей крупной фигурой и твердой походкой.

---

Давно не видел Тихонова. И сегодня почти не узнал. Он встал зубы, бросил курить (надолго ли только?), пополнел. Рассказывает, что прожил целый месяц в Петергофе, отдыхал, пил пиво.

Прошу у него что-нибудь для «Вечерней красной газеты», в которой работаю. Он долго и молча роется в каких-то бумагах, перебирает страницы, наконец без большого желания находит, по его мнению, подходящее.

— Ну вот, мой перевод из Табидзе<sup>221</sup>.

Садится за большую пишущую машинку «Ленинград» и мимоходом: «За нее еще платить надо три тысячи!» И печатает двумя указательными пальцами, оттопырив локти и с силой удара по клавишам.

Мария Константиновна о чем-то его спрашивает.

— Подожди, Маруся, — говорит он, не оборачиваясь, занятый своим непривычным делом, и, потеряв какую-то букву, долго ищет, потом с досадой бьет по ней и продолжает дальше. Так напечатал при мне шестнадцать строк стихотворения Табидзе.

---

В 1935 году Николай Тихонов уехал в Париж на конгресс в защиту мира и прогресса. Он — член советской делегации. Сейчас он бродит по странам Европы, где никогда не бывал. Планы его обширные — Франция, Австрия, Англия.

---

Спустя некоторое время после выпуска М.Зошенко «Воспоминаний о Синягине»<sup>222</sup> в Союз писателей явился неизвестный солидный человек и протестовал против опубликования в книге его ранних фотографий (оказался в действительности жив и здоров). Смелись. Успокоили.

Известно, что Зошенко вклеил в эту книгу старые неизвестные фотографии, приобретенные им случайно у какого-то фотографа, и превратил их в портреты своих героев!

---

Читатель, живущий вдалеке, услышав знакомую фамилию автора веселых рассказов Зошенко, ждет встретить в жизни полнокровного человека, толстошекого весельчака, с энергичными жестами сангвиника. Нет, у Михаила Зошенко неподвижное, смуглое до черноты лицо, худые щеки, бледные безжизненные губы. Он смотрит на вас усталыми глазами. Его жесты сдержанны, походка медлительна.

Вот, не торопясь, подняв руки, он с небрежным изяществом снимает нарядные серые перчатки, потом строгую серую шляпу и спокойно садится. Кажется, нет большей разницы между воображаемым и действительным обликом писателя. Он испытал в жизни много профессий, и трудно сказать, какая отразилась

на нем наиболее всего. Как серьезный юморист, он молчалив и даже мрачен. Сидя на заседаниях редакции «Литературного Ленинграда», он лишь изредка позволяет себе среди хорошо знакомых сотрудников газеты «разойтись» и сделать несколько остроумных замечаний.

Придя в гости, он может весь вечер просидеть молча, в углу, между роялем и столиком для нот, рассматривая старые семейные альбомы. Известно, что Гоголь был ипохондриком. Трагическая судьба писателей, умеющих писать смешное.

Это не только отталкивание от среды и внешней обстановки. Это и свойство таланта.

Но драма Зошечко еще и в другом. Прообразы героев его рассказов растут вместе с изменяющимися формами нашей жизни. Постепенно городской полуграмотный, малокультурный мещанин обрывает новыми привычками, в его языке появляются производственные слова, в газетах он читает не только «происшествия» и объявления, но и передовицы, у него в комнате появилось радио, дети его получают высшее образование, он ходит в кино и театр, летом ездит по путевке месткома в дом отдыха — медленно, тяжело его сознание перестраивается. Писатель не может не видеть эти изменения, но он видит и другое — что скрывается за этой внешней культурой — болезни роста человека, «родимые пятна» прошлого, то, чего не должно быть в будущем, — наши пороки, наши случайные и «неслучайные» несчастья.

Всеволод Рожественский рассказывал на днях, как на одном небольшом читательском собрании кто-то вставил в разговор реплику: «А ведь ваш-то герой, товарищ Зошечко, теперь кончается!» На что Михал Михалыч сердито бросил с места: «А это мы еще посмотрим!»

---

В коридоре Гослитиздата стоит Федин — высокий, четкий, в темно-сером, с квадратными плечами пальто, держа в руках шляпу. Он пополнил и не похож на свои прежние фотографии. Он принимает деятельное участие в делах Литиздата. У него, по рассказам, весьма деловой подход к работе издательства, он умеет разбираться в запутанных счетах бухгалтерии, умеет отстаивать свое мнение, спорить с ним трудно, поэтому там его недолюбливают. Он может быть крепким редактором, независимым и самостоятельным. Ходят слухи, что он мечтал издавать «Дневник писателя» по типу «Дневника писателя» Достоевского. Но это в наше трудное время невозможно.

---

В 1926 году в Ленинграде впервые появились уличные радиорепродукторы. Помню, висели две черные трубы на углу Гостиного и бывшей Думы и собирали по вечерам толпы прохожих. Ни в одной писательской квартире еще не было радиоприемников. Прошло восемь—десять лет — и теперь, пожалуй, не найти ни одного писателя, у кого бы дома не гремело радио. Михаил Фроман даже ворчит, если, придя усталый домой, слышит по городской трансляции громкую музыку или чье-то выступление. Зато аккуратно выслушивает вечером «Последние известия». Всеволод Рождественский, тот стал за эти годы просто радиоманьяком. Целые ночи напролет, бывало, летал по эфиру с наушниками. Часто менял системы своих приемников и писал стихи о радио. Борис же Лавренев привез из путешествия по Европе какую-то необычайно сложную радиомашину. Целый комод. Она стояла у него прямо на полу, вызывая удивление гостей и гордость хозяйина. Теперь у него опыт радиолюбителя. По вечерам он наматывает катушки, что-то вертит, крутит, развинчивает в своем новом компактном приемнике на столе и весьма доволен.

---

На концерте Сергея Прокофьева исполнялось несколько небольших музыкальных пьесок к кинокартине «Подпоручик Киж». Это иллюстрация. Композитор уловил канцелярский и барабанный стиль эпохи, созданной автором, и перебил его мелодией простой русской песенки.

На концерт пришли Юрий Тынянов, Николай Никитин, Михаил Слонимский. Тынянова не узнал. Маленький, домашний, с мутными глазами преждевременно родившегося ребенка. Он стоял в большом фойе Филармонии и раскланивался, поворачиваясь на кукольных ножках направо и налево. Весь какой-то комнатный, с втянутой в плечи головой и неподвижными руками. У Никитина — только очкастые глаза, как будто больше ничего нет. Слонимский — за эти годы уже прояснившаяся фигура — руки в брюки, широко расставленные ноги, распрямленная грудь и вообще сознание: я — дома, словно раньше он всюду чувствовал себя, как в гостях.

Рассказ «Подпоручик Киж», благодаря кинематографу, стал известен широкому читателю. И даже в громадном доме, где живет писатель, дети, увидев его во дворе, кричат: «Подпоручик Киж! Подпоручик Киж идет!»

Когда я изредка вижу его, всегда почему-то задумчивого, полугрустного, мне нелегко смотреть на него — все кажется, какая-то боль сдает его. Ходят слухи, что он болен какой-то загадочной болезнью, называемой рассеянным склерозом. А может быть, он молчалив оттого, что так долго, так внимательно изучал пушкинскую и грибоедовскую эпоху, так глубоко ушел в книги, в свои думы о прошлом, что ему стало трудно смотреть на современность — как после темноты видеть солнце.

Но современность помогла ему полнее увидеть своего «Кюхлю». Читая, не замечаешь собственных слез. В эту книгу он вложил много юношеского чувства. Она написана, как говорят, на одном дыхании. «Вазир Мухтар» же сделан только головой. И потому эта умная книга не вызывает у читателя сердечного отклика. Автор до того был углублен в историю, в свои мысли о ней, что даже не заметил, — признался он в сборнике «Как мы пишем», — близкой связи двух похожих фамилий — «Грибоедов» и «Грибов», что могло изменить освещение поэта-дипломата и его слуги — молочного брата<sup>223</sup>. А может быть, эта «забывчивость» шла от его еще непонятой болезни?

Он хотел быть точным не только в чувствах. У одного моего приятеля, жившего в Средней Азии, он спросил — верно ли он описал в романе Персию, не наврал ли чего-нибудь: «Ведь я там не мог быть, а знаю ее лишь по книгам». Думаю, он понимал, что Персия осталась, в общем, и теперь такой же. Но личные впечатления от страны могли бы изменить кое-что в романе, — он ведь видел ее глазами Грибоедова, и только.

---

На прошлой неделе насмешил Михаил Эммануилович Козаков. Идет собрание редакции «Литературного современника» с молодыми авторами на дому у редактора З.Лозинского<sup>224</sup>. Чинно. Серьезно. Скучно. Через полчаса вбегает запоздавший зам. редактора Козаков, на лету здоровается, быстро схватывает обстановку и с места в карьер бросает: «А где жратва?». Хохот. На столе моментально появляются чай и гора бутербродов. И сразу языки развязываются. Собрание оживает.

---

Вечером провожаем Всеволода Александровича на юг. Едет отдыхать и работать. В Ленинграде уже прохладно, лето конча-

ется. А когда Всеволод возвратится — будет холодно. Потому на нем осеннее пальто.

Долгие сборы, кажется, кончились. Суета улеглась. Все стоим. Последние минуты. Надет через плечо ремешок фотоаппарата. На полу ждет перевязанный ремнями чемодан и толстенький баульчик с едой, куда заботливая мама что-то еще пытается втиснуть.

— Да подожди, подожди, — внезапно вспоминает она, — а взял ли ты с собой иголку? Вдруг дорбóгой пуговица оторвется или еще что...

— Да что ты, мама!

— Нет, нет, как хочешь, а я тебе... Сейчас, сейчас... Я воткну ее вот сюда, в отворот пальто. Да не уколись, смотри. А нитки положу в карман.

— Мамочка! Ну что ты делаешь...

— Ну ладно, ладно. Не говори. Помолчи. Ну сели, посидим!

Садимся по старому обычаю — кто на что. Молчим несколько секунд. Мать вздыхает, что-то хочет еще сказать на прощанье. Но уезжающий сын нервничает, торопит. Прощальные поцелуи, объятия. Старенькая мама торопливо украдкой крестит его. Все что-то говорят, напутствуют, советуют. Никто никого не слушает. Наконец спускаемся по лестнице. Сверху еще кричат: «Не простудись!...»

И сразу после светлой теплой комнаты — ночной город, фонари, свежий воздух...

Всеволод Александрович облегченно вздыхает и громко смеется: «Нет, люблю я русские проводы...»

---

Март 1936 г. Хоронили Михаила Кузмина. Последнее время он недомогал. Желтел. Худел. Глаза ввалились. Еще ниже опустились выпуклые веки. Его положили в больницу. Через месяц он умер. Оттуда его и выносили. Это больница на Литейном, бывшая Ольденбурга — теперь имени Жертв революции<sup>225</sup>.

Зимний день. Серый мокрый снег. Жиденский оркестр в милейских шинелях и штатских пальто, набранный наспех Союзом писателей. Перед воротами больницы человек сорок друзей и знакомых. Все молчаливы.

Вынесли гроб. Как всегда суетясь, поставили на катафалк, обставили горшочками цветов.

Шли по Литейному, потом по Невскому, по Лиговке, к Обводному. Крупный мокрый снег падал на открытый катафалк. Ор-

кестр играл нестройно что-то незапоминающееся, все время было слышно только одну трубу. На Волково кладбище пробирались по узким грязным переулочкам. Почему-то большая улица была закрыта — может быть, из-за ремонта или строительства. Слева шли заборы и деревянные дома, справа — зимний в снегу канал. Навстречу по узкой дороге ехала большая неуклюжая телега. Возница в желтом кожаном полушубке, идя возле лошади, во весь голос кричал на похоронную процессию русские слова, страшные и обидные. Катафалк накренился, объезжая телегу. Писатели шептались, возмущаясь. Но какое дело было прохожим до этих людей, идущих за гробом, — мужчин в очках, в мокрых шляпах, кепках, женщин в промокших шубках, стареньких пальтецах, в шапочках. Обошли осторожно телегу.

Всю длинную дорогу шли пешком, вели разговоры о своем, житейском, вполголоса — как всегда на похоронах. Он лежал заколоченный и, как всю свою жизнь — мирный, скромный, тихий. Прислушивался и, наверно, улыбался в темноте всезнающей и всепонимающей улыбкой. Он любил жизнь, людей, их суету, праздники и будни. Не умел долго сердиться. Ему нравилось ходить в гости. В гостях пить чай, болтать, ахая и сокрушаясь или смеясь и иронизируя; расспрашивал молодежь о ее жизни, любовно заглядывая в глаза, как старик, вспоминающий свою молодость. Но никогда не сливался с окружающими. Всегда оставался самим собой, верный своим вкусам и сердцу, влечениям и мыслям. Если рассказывал о себе — то простодушно, наивно и откровенно.

Рассказал однажды, как любит читать Лескова: «Прочту всего — начинаю с начала, и так из года в год».

На улице носил очки. Был близорук. «Только по лестнице, — говорил он, — не умею спускаться в стеклах — спотыкаюсь». Носил шляпу и темное короткое пальто. Выходя из дому, собирался обычно долго, хлопотливо, как женщина. Уже одевшись, целовал в губы своего друга. Высокого. Большелицего. С серыми глазами — развязными и неумными. Михаил Алексеевич работал над воспитанием друга долго и упорно. Он был прилежный воспитатель, заботливый старый друг. Учил писать того романы. Кажется, одна книга увидела свет. Тот и рисует — это сплошь эрос, нарочитая беглость рисунка. В его альбомах вырезки из журналов на эти же темы.

В их общей комнате было все, как у женщин: зеркала, туалет, мягкая мебель, на туалете пудреницы, флаконы, коробочки, бонбоньерки, ножички, губные и гримировальные карандаши. Полунарядно. Разбросанно. Пестро.

В столовой — овальный стол без скатерти, шкаф с книгами, на стенах картины без рам. Над столом электрическая лампа. Неуютно, но привычно. Толстая неуклюжая женщина — молчаливая эстонка в головном платке по-деревенски — вносит самовар. А чай разливает сам хозяин. Это все еще к 1926 году.

Теперь квартира все та же. Только нет гостеприимного хозяина, чуткого и внимательного, заботливого. Ушел он тихо и незаметно, как будто в гости.

Однажды он вспомнил. Гумилев рассказал ему о новой поэтессе — Анне Ахматовой. Потом познакомил. Она читала стихи. «Длинные стихи, — рассказывал Михаил Алексеевич, — и все одно и то же: поднимаюсь на гору да поднимаюсь». Он вспоминает это весело и как бы мысленно разводя руками перед современной Ахматовой. И в голосе его нежность к ней и любовь.

Последние годы переводил торжественное «Прощание Гектора с Андромахой». Великолепен его «Золотой осел» Апулея. Для театра перевел оперетту «Цыганский барон»<sup>226</sup>. Последней его книгой стала книга стихов «Форель разбивает лед».

Дошли до Волкова, и катафалк свернул налево — на Лютеранское. Там вдруг выяснилась ошибка, — возвратились на Волково.

Еще не верилось в его смерть. У раскрытой могилы торопились говорить о будущем, о его месте, которое ему принадлежит в будущих поколениях поэтов.

Выступал Виссарион Саянов. Говорил о «клартэ»<sup>227</sup> поэзии Кузмина, о высоком чувстве поэта, о ясности и классицизме в его стихах. Говорил Михаил Фроман — о человеке, о чуткости и изяществе его. Всеволод Рождественский сказал: «Мы хороним сегодня последнего символиста». Выступило человек пять. Последним — его друг. Рассказал о последних днях поэта дома и в больнице. Рассказывал, как свой домашний человек. Надо ли это было или нет — никто не знал. Поэт он был со своим лицом. Его не спутаешь ни с кем.

Хоронили недалеко от Литераторских мостков, но в стороне от знаменитых могил, где над одной из аллей висела дощечка: «Писательский заповедник». Чья-то грустная выдумка!

Опять шел влажный пышный снег. С деревьев падали крупные капли.

Белое кладбище. Черные железные вычурные кресты, завитые решетки. Черно-белая гамма. Загородная тишина. В чистом воздухе далеко слышно каждое слово, каждый звук.

Опустили. Зарыли. Насыпали холм. Потоптались немного. И ушли. Промерзшие, мокрые, шли к трамваям быстро, оживленно.

А Кузмин умер.

И «В оркестре пело раненое море»<sup>228</sup>, — так он писал когда-то.

---

18 июня 1936 г.

Умер Горький.

---

Никогда его не видел, не слышал.

Но был один день в моей жизни, когда он заставил увидеть и услышать его.

Уходили последние летние дни 20-го года, конца гражданской войны с басмачеством в Фергане, когда я впервые прочитал его «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом».

Лев Толстой в нашем представлении был подобен далекому богу. Горький превратил бога в близкого человека. Это было потрясающее открытие. Великий Лев Толстой в его книге плакал, смеялся, сердился, осуждал, ошибался, жил всем понятными радостями, горестями, пороками, полный человеческих противоречий. И все-таки могучий.

Поражала необычная писательская форма письма. Она была изобретательна. В ней лежала тайна. Казалось, каждую страничку этой маленькой книжки в белом картонном переплете надо смотреть сквозь свет, приложить к уху — не шевелится ли там что-нибудь, — чтобы найти секрет этой удивительно живой жизни.

Сегодня этих тридцати страничек не заменят мне триста страниц Булгакова, четырехтомная толстовская биография Черткова, многочисленные воспоминания многочисленных воспоминателей.

И ничто не может сравниться с ними по силе впечатления — ни прочитанный в 1916 году его ранний рассказ «Товарищ», попавший в самое сердце тех радостно-беспокойных провинциальных дней, когда юность жадно прислушивалась к надвигающейся революции; ни увиденный через семнадцать лет в Ленинграде «Егор Булычев» в Большом Драматическом с Монаховым, обрадовавший возрождением традиций русской классики после всех агитационных и лозунговых пьес, когда на сцене было больше лестниц и клятв, чем подлинно живых людей; ни редкие по своей откровенности «Мои университеты», ни даже сама его смерть.

Это лучшее, что написано Горьким, и лучшая книга о Толстом. Так еще никто не писал. Так мог написать о Толстом только русский талант, и только Горький — на разделе между XIX и XX в.

---

Конец лета 1937 года. Еще одна смерть.

Алексею Толстому пришла телеграмма из Парижа: умер Евгений Замятин<sup>229</sup>. Послала жена. Они дружили семьями.

Замятин уехал во Францию в конце 1931 года. Помог ему Горький<sup>230</sup>. По дороге — в Праге он сделал доклад о советской драматургии. В «Литературной газете» был помещен по этому поводу издевательский фельетон. Замятин напечатал в «Литературной» же разъяснительное письмо, доказывая рядом фактов несостоятельность утверждений фельетониста, в том числе, помню, была и такая фраза: мол, фельетонист, обвиняя меня в чтении для чужаков, не заметил присутствовавшего на этом докладе советского посла<sup>231</sup>...

Лет пять или около этого он прожил во Франции, имея советский паспорт.

Константин Федин в свою поездку в Европу в 1933-1934 гг. (он лечился в Италии и затем ездил в Париж) виделся с Замятиным.

— Если Евгений Иванович не возвратится — для него все будет кончено, он уже больше не напишет ничего значительного, — сказал, приехав, Федин.

/.../<sup>232</sup>

---

Утро. Открыта балконная дверь. Воздух шевелит тонкий волосок на голове Ирины Павловны Рождественской<sup>233</sup>. Она вытирает пыль, переставляя с места на место книги и вещи на бюро Всеволода Александровича.

— Видели, что мы вчера купили в Лавке писателей? Замятин — «Блоха», Добужинский — «Письма об Италии», К. Чуковский — «Некрасов как художник»<sup>234</sup>. Да нет, вы посмотрите, что там есть.

На первой странице читаю: «Единственной Анне Андреевне Ахматовой. Евг. Замятин». Добужинский и К. Чуковский — ей же, причем Чуковский добавляет: «и дать прочитать Рыковой»<sup>235</sup>.

— Что же это?

— Мы сами не понимаем. При нас принесла в лавку какая-то женщина. Мы тут же купили. На книгах карандашом: три рубля, один рубль, два рубля.

— Или украдены или... неужели продает?

— Странно вообще, — добавляет Всеволод Александрович. — Мы решили с Ириной осторожно узнать через кого-нибудь и потом под благовидным предлогом возвратить.

— Да, но почему? Денег нет? Есть нечего? Но как же это?

— Ничего не понимаю... А вот моя книжка.

— Но в магазинах ее еще нет.

— Дня через два будет. Вы возьмите, просмотрите; потом скажете мне откровенно и дружески, нам скрываться нечего...

Говорит о своей «Луизе»:

— Три года я прошибал театр...

Ирина Павловна простужена. Вчера в холодный день несколько часов провела на Волковом кладбище, показывая его приехавшей из Москвы тетке. Сейчас собирается ехать с теткой в Петергоф — показывать фонтаны.

— У Ирины две страсти, — говорит с иронической улыбкой Всеволод Александрович, — любовь к родственникам и домашнему хозяйству. А показывать — это у нее от музея. Как там любит показать товар лицом, так и тут.

Через полчаса мать Всеволода Александровича сетует:

— Вот и живи с молодыми. Нет, старикам с молодежью трудно. Будь я на месте мужа, запретила бы ездить в такой день, а вот теперь Ирина еще больше простудится.

— Мамочка, если бы я выразил свои неудовольствия — последствия были бы ужасны. Тут, знаешь, нельзя.

Он ложится на диван. Мы пьем чай.

— Что это у тебя за книга, мама?

— Я люблю старые книги. Вот рисунки храма, а теперь этот храм снесли.

— Чьи это? Витберга? Но этот проект не осуществлен. В Москве строили по типу царскосельского.

— А вот еще твоя книга — из римской жизни.

— Петрония? Но тут же, мамочка, непристойности.

— Ну, — засмеялась, — я теперь так привыкла к этому. В наше время приходится так часто слышать всякое, что это уже не удивляет.

— Вы посмотрите, сколько я книг переплел за это время! Рублей на триста. Переплетная наша, союзная. Неплохие переплеты... Книги меня ждут. А читать все некогда. Этот год был у меня трудный. Работал много. Гюго — «Эрнани», «Луиза», «Фра-Дьяволо», «Помпадурша»; «Избранное»<sup>236</sup>...

Немного погода:

— Сегодня, кажется, хороший день. Мне хочется погулять с фотоаппаратом. Пойдемте в Летний сад. Вы там давно были?

В трамвае:

— Правду сказать, я никакой бы рецензии на свою книгу не хотел. Хвалить, наверное, не будут. А ругать — я и сам знаю

давно за что. Исправить меня уже не исправишь. Пишу, как умею. Читателя своего, думаю, имею. Читатель меня знает.

В Летнем саду.

На берегу пруда толпа. Кто-то бросает в воду хлебные крошки. Мелкая рыбешка хватается быстро и жадно.

— Посмотрите, клюет. Вот, вот! Другая. Опять! Какая схватка у них там. Одна у другой отнимает.

Несколько шагов дальше.

— Здесь мы сделаем первый снимок. Становитесь у дерева. Так. Хорошо. Теперь вы меня.

Всеволод Александрович нынче увлекается фотографией. Как всякий новичок, он фотографирует все и всех.

Тут же рассказывает о лете:

— Самое главное — это поездка в Казахстан, общение с живыми людьми.

Около памятника Крылову кто-то с нами здоровается. Всеволод приподнимает шляпу и шепчет мне:

— Это Феона́. Актер Музкомедии. С дочкой...

Остановившись у памятника:

— Вот бы хорошо его снять. Да здесь нельзя. Достопримечательности сада запрещено фотографировать.

Группа девочек играет с собачкой. Собачка взлохмачена и возбуждена. Собачку поят из детского ведерка.

— Она пить хочет. Посмотрим.

Дальше:

— Крепкий памятник. Собственно, это был спокойный неторопливый человек. Толстый, неповоротливый. Но как писал! Я недавно купил старую книгу басен. Вот «Ворона и лисица». У Лафонтена, я бы сказал, тоньше, вежливей, по-французски, галантнее. — Всеволод Александрович читает по-французски. — Но зато басня теряла свою остроту. А у Крылова? Сила какая, конкретность. Это не только перевод, но перевод по-русски, на русскую обстановку. Ну вот как это: «Отнес полчерепа медведю топором...» Изобразительность какая! Или:

Вертит очками так и сяк,  
То к темно их прижмет,  
То их на хвост нанижет,  
То их понюхает, то их полижет...

— Вот мы и у Невы. Вы оглянитесь — нет сторожей? И идите. Я отмечу место.

Еще раз фотографируемся.

Проходя мимо дворца Петра:

— Читаю Мережковского. Добросовестно. Знает материал. Алексей Николаевич (Толстой) еще может где-нибудь приврать, а этот нет. Ближе к действительности.

В аллее:

— Мне бы теперь самое время стихи писать. Со мной происходят странные вещи. Я как-то глубже стал на все смотреть. Что раньше замечал, теперь меня меньше занимает. Напротив, в то, что ускользало, теперь пристальней всматриваюсь. Хочу писать стихи так, как хочу, вне зависимости от кого-нибудь. Собственно, так и нужно писать стихи.

Потом обедаем в каком-то кавказском ресторанчике на Невском. Харчó. Шашлык по-кавказски. Легкое кисловатое вино.

— Я люблю театральные кулисы. Это смешение игры и действительности. Радамеса, в своем египетском наряде, в антракте прикуривающего у помрежа в пиджаке. В балете меня всегда поражает дисциплина. Все рассчитано до минуты, до каждого такта. Там даже пол разлинован. А сколько там легенд! Преданий! А курьезов всяких! Как-то раз в опере «Сказка о царе Салтане» царевич пустил, по ходу действия, стрелу из колчана. Сверху должно было упасть чучело убитой птицы. Стрела нечаянно попала в валенок сидевшего где-то на верхотуре, свесив ноги, задремавшего рабочего сцены. Валенки-то возьми да и свались на сцену! Публика хохотала так, что пришлось дать занавес... Зимой на «Лебедином» за кулисами можно услышать: «Лебеди, кто там сморкается? Сейчас выход! — и прибавил со смешной ужимкой: — Какой уж там флирт! Теперь все балерины Гегеля изучают»...

---

1938 г. Умер Куприн<sup>237</sup>. Зеленое загородное лето. Синие теплые дни. Поэтому этот мертвый гость из двадцатилетнего прошлого заставил приехать с дач немногих писателей. Писательская Москва все же прислала делегацию во главе с Константином Фединым.

В Доме писателя на Неве тесно и душно. Идет гражданская панихида. Речи. Цветы и зелень в кадках. Пышный оркестр. Шопен. На высокий помост протискивается отдать последнее «прости» старик в прозодежде — в синем халате библиотекаря или архивариуса, за ним обветшалые женщины в черном — это, видимо, старые друзья покойного. Какой-то молодой человек обливает слезами свой черный костюм. У него красное и мокрое лицо. У изголовья гроба стоит Федин и бросает исподлобья сердитые взгляды.

Утомительно долгие сборы к выносу. Торопливый полушепот: «Берите вот здесь», «Поворачивайте», «Выше держите». Неуклюже повертываясь на углах лестницы, выносят на руках то, что осталось от этого писателя.

Лежит он, седенький, высохший, с острым красным носиком, худой и лысый. А его представляешь крупнотелым, жирным и пьяным Гамбринусом на толстой бочке, с виноградной лозой в одной руке и кубком вина — в другой. В нашей памяти он живет земной, крепко пропахший суетой человеческой жизни. Актер. Офицер. Гуляка. Бабник. Чувственник. Он любил цирк и кулисы театра, кабаки и конюшни. Знал толк в лошадях, собаках, вине, понимал любовь и женщин. Он был дегустатором жизни, вкусным рассказчиком о ее трагическом, нежном и смешном. Но больше всего он любил Москву и свою большую Россию, такую нелепую, простую, мятущуюся, гордую и близкую.

В 1917-1918 годах он потерял ее. Уехал. Где-то скитался, путешествовал, бедствуя и негодуя. Вспоминал и ждал. Через двадцать лет вернулся. Ходил по улицам Москвы и Ленинграда, читал вывески, ничего не узнавал, не находил, не чувствовал. Все переменялось. Ушла его жизнь. И годов позади легло много. Ничего не вернуть. И тогда понял — пора умирать. Заболел.

В переулке улицы Воинова много солнца. Весь катафалк в венках. Есть венок от сына и дочери — где-то остались в Европе. Медленно тронулись. Катафалк в шесть лошадей, парами, цугом. Толпа сначала человек пятсот. За ней автомашины. Музыка. Запужен Литейный и Невский. Движение встало. За черной колесницей жена в трауре, затем она пересела в авто. За гробом писателя. Вот Владимир Луговской<sup>238</sup>. Высокий, энергичный шатен с длинными, словно нарисованными бровями, аккуратный и громкий. Пониже его — тихий, большеносый Зошенко со сладким, застенчивым лицом. Потом мужественный, в сером Федин. Все пышно и официально. Улица жаждет зрелища. Толпа все увеличивается.

Так проехал по Невскому в последний раз его старый завсегдашней, гуляка и добрый рассказчик.

---

Одни уходят. Другие приходят. У каждого поколения свои задачи, свои решения. Оглядываясь назад, видишь много изменений. Десять лет — немалый срок.

Кое-кто переехал в Москву: Толстой, Федин, Каверин, Лавренев. В ленинградских журналах за десятилетие появились новые

имена. Одни раньше, другие — позже. Поэты Елена Вечтомова, Александр Гитович, Леонид Равич, А.Прокофьев, Елена Рывина, И.Колтунов, А.Решетов; прозаики Е.Шереметьева, Геннадий Гор, Н.Вагнер, П.Капица, Л.Брандт; драматурги Е.Шварц, Александр Розен<sup>239</sup>. Одни бегут «догнать летящую под парусами страну», — как писала в 1927 году Мария Комиссарова. Ей вторил Николай Браун: «Это она — снеговая моя страна, костромская моя жена». Иные, как М.Бернович, «и солнце, раненное в сердце, везут на тучах в лазарет»<sup>240</sup>, стремились вливать новое вино в старые меха. Третьи, как Юрий Инге<sup>241</sup>, подражая Тихонову, развивают в себе его инерцию:

Там пел поток, грохочущий и буйный,  
Родившийся в синюющих снегах,  
Здесь шел огромный, заскорузлый буйвол,  
Столетие несущий на рогах.

Николай Тихонов давно перестал ходить в «молодых поэтах», у него уже есть подражатели. Еще в 1928 году молодой критик В.Друзин предупреждал: «Было бы очень печально, если поэтический молодняк просто бы пошел по следам Тихонова — это значило бы, что появились в массовом количестве эпигоны Тихонова (одиночки уже есть). У Тихонова надо учиться основному: умению современный материал делать литературно-значимым, умению отбирать из богатого технического наследства отживших поэтических течений нужное для нашей эпохи», и, перечисляя «учителей» Тихонова — Гумилева, Хлебникова, Пастернака, призывал оценивать Тихонова «в связи с основными устремлениями современной поэзии»<sup>242</sup>...

## ПРИМЕЧАНИЯ

В примечаниях используется следующее сокращение:

ВМВ — Воспоминания о Максимилиане Волошине / Составление и комментарии В.П.Купченко и З.Д.Давыдова. М., 1990.

<sup>1</sup> Эпиграф — цитата из статьи В.Ф.Одоевского «Как пишутся у нас романы» (Современник: Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Т.3. СПб., 1836. С.50-51; статья подписана: С.Ф.). Цитата, неточно приводимая Басалаевым, исправлена по тексту «Современника».

<sup>2</sup> *Дом Печати* находился в 1926 в здании бывшего Юсуповского дворца (Мойка, 94). В дальнейшем неоднократно менял свое местоположение. Во второй половине 1920-х здесь часто проводились «литературные собрания» членов Ленинградского отделения Всероссийского Союза Поэтов (ЛО ВСП) — так называемые «пятницы». В них принимал участие и

Н.С.Тихонов. Например, 2 декабря 1927 в ковровой комнате Дома Печати проходило закрытое собрание ЛО ВСП (25 человек), специально посвященное чтению Тихоновым его новой поэмы «Выра».

<sup>3</sup> Из стихотворения «Поиски героя» (1925), вошедшего в одноименную книгу (Л., 1927), но впервые опубликованного в альманахе «Ковш» (Кн.3. Л., 1925. С.37).

<sup>4</sup> *Мария Константиновна Тихонова* (урожд. Неслуховская, 1891-1975) — жена Н.С.Тихонова с 1922.

<sup>5</sup> Вышедшая в свет весной 1922 «Орда» была издана Тихоновым на средства от продажи двух пар белья и двух седел (см. об этом: Тихонов Н.С. *Моя жизнь // Красная панорама*. 1926. №41. С.7).

<sup>6</sup> Поэтическое содружество «*Островитяне*» в 1921-1923 объединяло четырех молодых поэтов: Н.С.Тихонова, К.К.Вагинова, П.Н.Волкова и С.А.Колбасьева и ставило своей задачей «борьбу с духом академизма и цеха в поэзии, комнатного затворничества» (Н.С.Тихонов). В деятельности этой литературной группы принимали участие также Е.Г.Полонская, В.А.Рождественский, В.И.Лурье, Ф.М.Наппельбаум и некоторые другие поэты. См. подробнее: Anemone A., Martynov I. *The Islanders Poetry and Polemics in Petrograd of the 1920s // Wiener Slawistischer Almanach*. 1992. Bd.29. P.107-126; Дмитренко А.Л. К истории содружества поэтов «Островитяне»: машинописный альманах // *Русская литература*. 1995. №3.

<sup>7</sup> Сергей Адамович *Колбасьев* (1898-1937 или 1938) — поэт и прозаик, морской офицер. В июне 1921 в Крыму познакомился с Н.С.Гумилевым, который «привез и привел» его в Дом Искусств (Чуковский Н. *Литературные воспоминания*. М., 1989. С.88). О том, что Колбасьев фигурирует в стихотворении Гумилева «*Мои читатели*», свидетельствует в своих воспоминаниях Тихонов (см.: Тихонов Н.С. *Устная книга // Тихонов Н.С. Собр. соч.*: В 7 тт. Т.6. М., 1986. С.23). Имеются в виду следующие строки этого стихотворения:

Лейтенант, водивший канонерки  
Под огнем неприятельских батарей,  
Целую ночь над южным морем  
Читал мне на память мои стихи.

Очевидно, Тихонов показывал Басалаеву поэму Колбасьева «Открытое море» (Пб.: «Островитяне», 1922), поскольку до 1930 она оставалась единственным произведением Колбасьева, вышедшим отдельным изданием. Подробнее о Колбасьеве см.: Кондрияненко В. «...Ветер отвечает кораблю» // *Литературное обозрение*. 1987. №10. С.108-109; Колбасьева Г.С. *Сергей Колбасьев // Жизнь Николая Гумилева*. Л., 1991. С.315-317.

<sup>8</sup> Очевидно, имеются в виду очерки Н.С.Тихонова «В кишлаках (Долина Зеравшана)», напечатанные в вечерних выпусках «Красной газеты» в 1926 (21 октября. С.2; 23 октября. С.2; 1 ноября. С.2).

<sup>9</sup> В 1920-е Е.И.Замятин преподавал на кораблестроительном факультете Петроградского Политехнического института, выпускником которого являлся сам.

<sup>10</sup> Первое представление пьесы Замятина «Блоха» в постановке Алексея Денисовича Дикого (1889-1955) состоялось 11 февраля 1925 на сцене Второго МХАТа. Речь идет об афише, выполненной художником спектакля Б.М.Кустодиевым. См. репродукцию в кн.: Дикий А. Повесть о театральной юности. М., 1957. Между С.344 и 345.

<sup>11</sup> Ср. со словами Е.И.Замятина из его письма к Л.Н.Замятиной от 6 февраля 1925: «С утра с Чеховым, Диким и другими режиссерами сидели, делали замечания по вчерашней репетиции, сделали много купюр» (ОР РНБ. Ф.292. Ед.хр.10).

<sup>12</sup> Подробности расхождений А.Дикого и Е.Замятина в интерпретации основной идеи «Левши» содержатся в их переписке: «Мне кажется, — писал А.Дикий 10 февраля 1924, — что судьба русского гения, изобретателя — вот главная мысль автора: не русский гений, не торжество его, а судьба. Это то, что умиляет и волнует меня в произведении». 22 февраля Е.Замятин отвечал: «Вот в чем горе: как она, блоха, есть существо очень прыгучее, то и вышло, что укусила она меня и Вас в очень разных местах — это я вижу по Вашему письму /.../ Для меня основное в (будущей) пьесе — не торжество русского гения (как Вы меня поняли) и не судьба русского гения (как Вы понимаете "Левшу"), а русская сказка» (Цит. по: Дикий А. Статьи. Переписка. Воспоминания. М., 1967. С.286, 290).

<sup>13</sup> В 1919-1922 Замятин читал курс «Техника художественной прозы» на семинаре в литературной студии Дома Искусств. Большинство участников этого семинара в 1921 образовали литературное содружество «Серрапионовы братья». Лекции Замятина, читанные будущим серапионом, недавно опубликованы А.Н.Стрижеввым (Литературная учеба. 1988. №5. С.130-143 и №6. С.79-107).

<sup>14</sup> Правильное название — «О том, как исцелен был отрок Еразм». Отдельное издание вышло в 1922 с рисунками Б.М.Кустодиева.

<sup>15</sup> Здесь совмещены два разных эпизода из биографии Замятина. Первый его рассказ «Один», написанный «одним духом» в перерыве между работой над дипломными проектами, был опубликован в журнале «Образование» (1908. №11. С.17-48). Редактором беллетристического отдела этого журнала, действительно, был Михаил Петрович Арцыбашев (1878-1927).

В 1911 Замятин был выслан из Петербурга. «Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою, — в Лахте. Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — "Уездное"». (Автобиография 1928 г. Цит. по: Замятин Е. Избранные произведения. М., 1989. С.41). Повесть «Уездное» была впервые напечатана в журнале «Заветы» (1913. №5. С.46-99), а затем вошла в состав первого сборника Замятина «Уездное: Повести и рассказы» (Пг., 1916).

<sup>16</sup> Людмила Николаевна Замятина (урожд. Усова, 1883-1965) — жена Е.И.Замятина. Работала акушеркой в Петропавловской больнице.

<sup>17</sup> Иванов-Разумник (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов, 1878-1946) — критик, публицист, журналист. Жил в (Царском) Детском Селе (Колпинская ул., дом 20).

<sup>18</sup> Е.И.Замятин жил в доме 36 по Моховой улице.

<sup>19</sup> Слова Замятина отсылают к событиям 1922-1924, когда над ним нависла угроза высылки из России. В ночь с 16 на 17 августа 1922 Замятин был арестован и вскоре в составе большой группы философов и историков должен был быть выслан из России. Однако благодаря вмешательству друзей (П.Е.Щеголев, Ю.П. и Е.Б.Анненковы, Б.Пильняк) Замятин был освобожден, а высылка была «отложена до особого распоряжения». Поэтому неустойчивое положение Замятина продолжалось до августа 1924, пока дело не было закрыто. Подробнее об этом см.: Замятин Е.И. Письмо А.К.Воронскому / Публ., сопроводит. текст и прим. А.Ю.Галушкина // De Visu. 1992. №0. С.12-23; Мальмстад Д., Флейшман Л. Из биографии Замятина (по новым материалам) // Stanford Slavic Studies. V.1. Stanford, 1987. P.103-152.

<sup>20</sup> Михаил Александрович Фроман (наст. фам. Фракман, 1891-1940) — поэт, прозаик, переводчик. Муж И.М.Наппельбаум с 1925. В альбоме Басалаева имеется его запись: «Дорогой Басалаев, мало, что Вы хороший человек и поэт, Вы еще настоящий Туркестанец, все это вместе взятое заставляет меня крепко любить и помнить Вас. М.Фроман. 21/XI 1928. Ленинград».

<sup>21</sup> Портрет Н.С.Гумилева кисти Н.К.Шведе-Радловой. См. комм. к воспоминаниям О.М.Грудцовой в настоящем издании (С.118-119).

<sup>22</sup> Единственная книга стихотворений М.А.Фромана «Память» вышла в Ленинграде в 1927.

<sup>23</sup> Вторая цитата — из стихотворения «Не подходи, не жги знакомыми словами...», третья — из стихотворения «Табак — в табакерке, бумага — в столе...». Эти стихотворения вошли в книгу И.М.Наппельбаум «Мой дом» (Л., 1927). Источники двух других цитат неизвестны.

<sup>24</sup> О кружке «Звучащая Раковина» см. комм. к воспоминаниям О.М.Грудцовой в настоящем издании (С.115). Впервые стихи И.М.Наппельбаум были опубликованы в коллективном сборнике этого кружка (Звучащая Раковина: Сб. стихов. Пб., 1922. С.67-70).

<sup>25</sup> Вольф Иосифович Эрлих (1902-1937) — поэт. Родился в Симбирске, там же в июне 1919 закончил школу. В этом же году поступил на историко-филологический факультет Казанского университета. В сентябре 1921 перевелся на третий курс факультета общественных наук Петроградского университета (литературно-художественное отделение). Когда и по какой причине Эрлих покинул университет, установить по материалам его студенческого дела (ЦГА СПб., Ф.7240. Оп.5. Ед.хр.4913) не удалось. Оста-

вил воспоминания о Есенине «Право на песнь» (С.А.Есенин в воспоминаниях современников. Т.2. М., 1986. С.319-353).

<sup>26</sup> В 1926 у Эрлиха вышли две книги для детей. «Волжье солнце» ([Л.], 1928) — его первая книга стихотворений «для взрослых».

<sup>27</sup> В 1926 А.А.Ахматова жила в служебном флигеле Мраморного дворца — ул. Халтурина (Миллионная), дом 5, кв.12.

<sup>28</sup> 28 сентября 1945 Ахматова записала в альбом Басалаева стихотворение «Не знала б, как цветет айва...» (впервые с подробным комментарием опубл.: Рейн Е. «...С радостью вписываю в альбом Иннокентия Мемноновича...» // Вопросы литературы. 1981. №6. С.311-313). Сохранились две книги с дарственными надписями Ахматовой Басалаеву: «Ин. Басалаев / в знак / душевной приязни / А.Ахматова / 9 февраля / 1961 / Ленинград» (Корейская классическая поэзия / Перевод А.Ахматовой. М., 1958. Тит.л.); «Ин. Басалаеву / хоть такую / Ахматова / 27 апр. / 1961» (Ахматова А. Стихотворения. М., 1961. Тит. л.). Обе книги хранятся в собрании Е.М.Царенковой (Санкт-Петербург).

<sup>29</sup> «В одну из последних встреч с И.М.Басалаевым А.Ахматова, читая его "Записки", так прокомментировала это место: "И когда вы видели меня в 26 году — это был дом казенный, и вещи были не мои, и никакой 'моды на круглые столы', как вы пишете в своих воспоминаниях, не знала» (примечание М.М.Кралина — со слов И.М.Наппельбаум — в кн.: Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма. Л., 1990. С.566).

<sup>30</sup> Эта фотография работы П.Н.Лукницкого опубликована в кн.: Лукницкая В. Перед тобой земля. Л., 1988. Между С.352 и 353.

<sup>31</sup> Литературный дебют Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) традиционно связывают с его публикацией в «Зеленом сборнике стихов и прозы» (СПб., 1905), вышедшем в декабре 1904. Строго же говоря, впервые оригинальное стихотворение Кузмина было напечатано в его нотном сборнике «Три романса», который увидел свет еще в 1898. См. об этом: Дмитриев П.В. К вопросу о первой публикации М.Кузмина // Новое литературное обозрение. 1993. №3. С.155-158.

<sup>32</sup> «Бродяга-поэт» Всеволод Иванович Шманкевич записал в альбом Басалаева стихотворение «Наточкины проводы с Брянского вокзала...»

<sup>33</sup> Имеется в виду стихотворение «Выноска третья» из цикла «Панорама с выносками» (впервые опубл.: Костер. Л., 1927. С.47).

<sup>34</sup> Силуэт Кузмина работы Елизаветы Сергеевны Кругликовой (1865-1941) опубликован в кн.: Кругликова Е. Силуэты современников. 1: Поэты. М., 1921. С.18.

<sup>35</sup> Дмитрий Васильевич *Петровский* (1892-1955) — поэт.

<sup>36</sup> Петр Васильевич *Орешин* (1887-1938) — поэт и прозаик.

<sup>37</sup> *Михаил* Леонидович *Слонимский* (1897-1972) — прозаик. В 1919-1920 был секретарем у М.Горького. См. об этом: Слонимский М. Книга воспоминаний. Л., 1966. С.24-52.

<sup>38</sup> *Мариэтта* Сергеевна *Шагинян* (1888-1982) — поэтесса, прозаик, критик.

<sup>39</sup> *Николай* Корнеевич *Чуковский* (1904-1965) — поэт и прозаик, сын К.И. Чуковского. После выхода в свет первого и единственного сборника стихов «Сквозь дикий рай» (Л., 1928) перешел на прозу.

<sup>40</sup> *Иннокентий* Александрович *Оксенов* (1897-1942) — критик, поэт, переводчик. С 1921 до своей гибели в блокаду работал в ленинградском Рентгенологическом институте. Был ответственным секретарем журнала «Вестник рентгенологии и радиологии».

<sup>41</sup> Книга И.А. Оксенова «Лариса Рейснер: Критический очерк» вышла в свет в ленинградском издательстве «Прибой» в 1927.

<sup>42</sup> «Ленгиз» располагался на проспекте 25 Октября (Невском), в доме 28, в здании нынешнего «Дома книги».

<sup>43</sup> *Илья* Александрович *Груздев* (1892-1960) — прозаик, драматург, литературовед и критик. Долгие годы занимался изучением биографии и творчества М. Горького.

<sup>44</sup> *Анна* Дмитриевна *Радлова* (урожд. Дармолатова, 1891-1949) — поэтесса, переводчица.

<sup>45</sup> *Владимир* Александрович *Соловьев* (1907-1978) — поэт и драматург. *Борис* Иванович *Соловьев* (1904-1976) — поэт и прозаик, литературный критик.

<sup>46</sup> *Лидия* Алексеевна *Чарская* (наст. фам. Чурилова, 1875-1937) — поэтесса и прозаик. В 1925-1929 под псевдонимом «Н. Иванова» выпустила несколько книжек для детей. О жизни Чарской после 1917 см.: Глоцер В.И. Письмо Чарской Чуковскому // Русская литература. 1988. №2. С.186-190; Полонская Е. Из литературных воспоминаний / Предисл. и публ. В.Бахтина // Час пик. 1994. 21 сентября. №37. С.15.

<sup>47</sup> *Николай* Валерьянович *Баршев* (1888-1938) — прозаик и поэт. Работал в Министерстве путей сообщения, после революции — на Октябрьской железной дороге. В соавторстве с П.Я. Гордеенко написал книгу «Техническая и коммерческая эксплуатация ж[елезных] д[орог]» (М.; Л., 1927). «Когда стал железнодорожником, написал стихи. Были они для домашнего употребления, но судьба вызволила из беды, перевела на прозу /.../ Крестными отцами моими в литературе считаю Всеволода Рождественского и Валентина Кривича. Это они убедили меня, что мне нужно писать. Надеюсь, что когда будет нужно, они так же сумеют и разубедить меня в этом» (Баршев Н. Вокруг да около // Красная панорама. 1926. №24. С.11). Недолгое время (март-апрель 1922) Баршев в компании с поэтами Дм. Дориним, Н. Кашменским и Грааль-Арельским входил в «Кольцо поэтов имени К.М. Фофанова», в 1923-1924 публиковал стихи в альманахах «Стожары». В 1926 вышли его первые книги рассказов «Гражданин вода» и «Прогулка к людям». Подробнее о нем: Никольская Т. Строка из «Свитка скорби» // Литературное обозрение. 1990. №6. С.111-112.

Воспоминание об одном из литературных вечеров в квартире Баршева см.: Борисов Л. За круглым столом прошлого. Л., 1971. С.130-139.

<sup>48</sup> *Студия* Александра Николаевича *Морозова* (с 1926 — «Театр Ансамбля») располагалась по адресу: Стремянная, 11, кв.10. Вс. Рождественский сотрудничал в студии А.Н.Морозова. В январе 1926, например, здесь в его обработке была поставлена «Битва жизни» по Ч.Диккенсу (см.: Рабочий и театр. 1926. №5. 2 февраля. С.8).

<sup>49</sup> Рассказы Баршева «*Боязнь пространства*» и «*Обмен вещест*в» вошли в его книгу «Прогулка к людям» (Л., 1926).

<sup>50</sup> *Павел* Николаевич *Медведев* (1892-1938) — критик и литературовед. Подробнее о нем см.: Медведев Ю.П. «Нас было много на челне...» // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1992. №1. С.89-108.

<sup>51</sup> *Михаил* Эммануилович *Козаков* (1897-1954) — прозаик.

<sup>52</sup> Борис Андреевич *Лавренив* (1891-1959) — поэт, прозаик, драматург. Познакомился с Басалаевым в начале 1920-х в Ташкенте. Сохранилась его книга «Сорок первый» ([Харьков, 1926]) с дарственной надписью: «Тов[аришу] Басалаеву на добрую память о ташкентских днях. Б.Лавренив 20/IX [19]26» (собрание Е.М.Царенковой). В 1920-1923 Лавренив активно сотрудничал в туркестанских газетах и журналах («Красноармейская газета», журналы «Отклики», «Новый мир» и многие другие).

<sup>53</sup> *Михаил* *Голодный* (наст. имя и фам. Михаил Семенович Эпштейн, 1903-1949) — поэт, входил в литературную группу «Перевал». *Михаил* Прокофьевич *Герасимов* (1889-1939) — поэт, входил в литературную группу «Кузница».

<sup>54</sup> Евгений Андреевич *Панфилов* (1902-1941) — поэт. Виссарион Михайлович *Саянов* (1903-1959) — поэт, прозаик, критик.

<sup>55</sup> Ленинградская Ассоциация Пролетарских Писателей (*ЛАПП*) являлась отделением соответствующей Всероссийской Ассоциации. В 1926 в ЛАПП входили литературные группы «Алые вымпела», «Смена», «Резец», «Стройка», «Красная Звезда». Кроме того, имелся так называемый «актив ЛАПП», который включал в себя и литературные группы, и отдельных писателей. Е.А.Панфилов входил в актив ЛАПП.

<sup>56</sup> Ср. с названием одной из книг В.М.Саянова: «Фартовые года» (Л., 1926).

<sup>57</sup> Поэты Иосиф Павлович *Уткин* (1903-1944), Александр Ильич *Безыменский* (1898-1973), Александр Алексеевич *Жаров* (1904-1984).

<sup>58</sup> *Михаил* Аркадьевич *Светлов* (1903-1964) — поэт. Его знаменитая «Гренада» была написана в 1926.

<sup>59</sup> *Обуховская больница* (основана в 1779, ныне — ряд клиник Военно-Медицинской академии). Была широко известна в Петербурге своим психиатрическим отделением.

<sup>60</sup> *Леонид Ильич Борисов* (1897-1972) — прозаик и поэт. Автор изданной машинописным способом книги стихотворений «По солнечной стороне» (Пб., 1921). В 1915-1927 печатал стихи в петербургских альманахах и журналах, в 1921 был принят в Петроградское отделение Всероссийского Союза Поэтов (см. об этом: Борисов Л.И. Воспоминания о Н.С.Гумилеве // Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С.167). В первой половине 1920-х — постоянный посетитель литературного салона Виктории Чекан. В автобиографической заметке (1923) Борисов писал: «Сознательно называю себя поэтом с 23-л[етнего] возраста /.../ Считаю, что в искусстве важнее всего — форма. Нет ни пролетарского, ни буржуазного искусства. Есть только различные степени дарований /.../ Надеюсь, что буду нужен, как поэт, в период времени от 1924-1932 гг.» (ОР РНБ. Ф.414. Ед.хр.1). Однако с конца 1920-х Борисов выступал в печати исключительно как прозаик.

<sup>61</sup> *Илья Иванович Садофьев* (1889-1965) — поэт.

<sup>62</sup> Григорий Эммануилович *Сорокин* (1898-1954) — прозаик и поэт. Стихи на библейские темы составили его книгу «Галилея» (Л., 1925).

<sup>63</sup> Речь идет о стихотворении Н.А.Заболоцкого «*Красная Бавария*», вошедшем в его книгу «*Столбцы*» (Л., 1929).

<sup>64</sup> Имеется в виду стихотворение В.А.Рождественского «*Бахчисарай*» («'Селям Алейкюм!' Здравствуй, брат...»), вошедшем в его книгу «*Большая Медведица*» (Л., 1926).

<sup>65</sup> Алексей Петрович *Крайский* (наст. фам. Кузьмин, 1891-1941) — поэт.

<sup>66</sup> *Павел Николаевич Лукницкий* (1902-1973) — прозаик и поэт. С 1923 собирал материалы к биографии Н.С.Гумилева. По словам Н.Я.Рыковой, «черты Павлика Лукницкого были столько же комичны, сколько же и трогательны, потому что проистекали от глубокой любви к искусству».

<sup>67</sup> В 1920-е Б.А.Лавренев испытал сильнейшее влияние творчества Н.С.Гумилева, что отразилось, прежде всего, на его стихах того времени. Творчеству Гумилева Лавренев посвятил статью, в которой называл его «последним романтиком в дни расцвета машинизма, урбанизма и материализма» (Лавренев Б. Поэт цветущего бытия / Публ., подготовка текста, предисл. и прим. Б.А.Геронимуса // Звезда Востока. 1988. №3. С.152). Памяти Гумилева посвящено его стихотворение «Знать, напрасно было молиться...» (опубл.: Н.С.Гумилев в переписке П.Н.Лукницкого и Л.В.Горнунга / Публ. И.Г.Кравцовой (при участии А.Г.Терехова) // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С.541-542). По мнению Н.Я.Рыковой, в образе Миши Котикова, героя романа К.Вагинова «*Козлиная песнь*», отражены отдельные черты не только П.Н.Лукницкого, но и Б.А.Лавренева.

<sup>68</sup> Басалаев гостил в «Доме поэта» в сентябре 1929. 25 марта Вс. Рождественский писал ему: «Приезжайте в Коктебель к началу сентября (луч-

шее там время года). Ваше устройство у М.А. я уже беру на себя — его можно считать делом решенным, так как у меня в этом отношении *carte blanche*. Помните — помещение Вам ничего не будет стоить. Только дорога до Феодосии и питание на месте (есть базар и обычные лавчонки, пансион полный на даче 2 р. 50 к. в день, но вполне можно обходиться и без него). Я предполагаю жить в этих местах сентябрь м[есяц]» (ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.314. Л.11об.-12). 15 мая Рождественский сообщил, что написал Волошину письмо и что в Коктебеле «уже готово гостеприимство» (Там же. Л.17).

Из письма от 5 октября: «Вы в К[октебеле] оставили после себя самое дружеское воспоминание. И я этому радуюсь от души, ибо люблю "дом поэта" и живущих в нем» (Там же. Л.23об.). Дневниковые записи, которые Басалаев вел в Коктебеле, послужили основой для настоящей главы. Интересно, что Рождественский, приступая к своим воспоминаниям о Волошине, писал Басалаеву с фронта 15 июня 1944: «Вот когда пригодились бы мне Ваши давние записи о М.А.Волошине» (Там же. Л.100об.).

<sup>69</sup> *Гали* — так называли в «Доме поэта» Галину Николаевну Кошелеву (в замужестве Розанову, 1900-?), но она была служащей Госплана. Киноактрисой была отдыхавшая в Коктебеле Галина Сергеевна Киреевская (1897-?).

<sup>70</sup> Заключительные строки стихотворения «Как в раковине малой — Океана...» (1918).

<sup>71</sup> *Аскания-Нова* — прозвище Елизаветы Владимировны Козловой (1893-1976) — орнитолога, жены одного из руководителей заповедника Аскания-Нова. *Ася* — Раиса Моисеевна Гинцбург (1907-1965) — поэтесса.

<sup>72</sup> Строки сонета «Над зыбкой рябью вод встает из глубины...» (1907) из цикла «Киммерийские сумерки».

<sup>73</sup> Первые строки стихотворения (1912), вошедшего без названия в книгу Волошина «Иверни» (М., 1918).

<sup>74</sup> Последние строки стихотворения «В мастерской» (1905). Гипсовый слепок со скульптуры египетской царицы Таиах сохранился до наших дней в Доме-музее Волошина в Коктебеле. О пребывании Волошина в Африке документальных сведений нет. Исследователи склонны видеть в этом легенду, придуманную самим Волошиным. Подробнее см.: Купченко В. Муза меняет имя? // Советский музей. 1985. №3. С.42-44.

<sup>75</sup> Одну из своих акварелей Волошин подарил и Басалаеву. Она сохранилась в его альбоме. Имеются монограмма и две даты: создания «3.V.29» и вручения подарка «10.IX.29».

<sup>76</sup> *Далик* — Даниил Дмитриевич Жуковский (1909 - около 1939) — сын поэтессы Аделаиды Казимировны Герцык (1874-1925) и переводчика Дмитрия Евгеньевича Жуковского (1866-1943).

<sup>77</sup> Василий Иванович *Суриков* (1848-1916). Речь идет о монографии Волошина «Суриков», созданной в середине 1910-х, но опубликованной посмертно (Л., 1985).

<sup>78</sup> О том, что стихотворный цикл Гумилева *«Капитаны»* был написан летом 1909 в доме Волошина, пишет в своих воспоминаниях Е.И.Дмитриева (Черубина де Габриак). Однако некоторые другие свидетельства противоречат этому. См. об этом комм. М.Д.Эльзона в кн.: Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С.560-561.

<sup>79</sup> Сергей Андреевич *Котляревский* (1873-1939) — историк, юрист, в прошлом — приват-доцент Московского университета, член ЦК детской партии. Его жена Екатерина Николаевна — врач.

<sup>80</sup> Леонид Петрович *Гроссман* (1888-1965) — поэт и литературовед. Аделина Ефимовна Ефрон (псевд.: *Адалис*, 1900-1969) — поэтесса.

<sup>81</sup> Ср. с надписью Е.И.Замятина на четвертом томе его «Собрания сочинений» (М., 1929), подаренном Волошину: «Милому хозяину Коктебельского Волхоза (Волошинского Вольного Волшебного Хозяйства) в день 17-VIII-1929» (цит по: ВМВ. С.707).

<sup>82</sup> Строки сонета «Полдень» (1907) из цикла «Киммерийские сумерки».

<sup>83</sup> Последняя строфа стихотворения «Моя земля хранит покой...» (1910).

<sup>84</sup> Имеется в виду Сергей Александрович *Адрианов* (1871-1942) — критик, публицист, историк литературы, переводчик. С 1909 заведовал отделом критики журнала «Вестник Европы»; Зоя Петровна *Лодий* (1886-1957) — камерная певица, педагог.

<sup>85</sup> Илья Николаевич *Бороздин* (1883-1959) — археолог, работал в московской секции Государственной Академии истории материальной культуры, заведовал отделом Советского Востока музея восточных культур.

<sup>86</sup> Об этом случае, произошедшем в 1912, вспоминает также Л.Никулин, находившийся среди зрителей литературно-музыкального вечера с участием М.Волошина и А.Толстого (Никулин Л. Годы нашей жизни. М., 1966. С.260-261). Рассказ М.Зощенко «Случай в провинции» написан в 1924.

<sup>87</sup> Басалаев не столько цитирует, сколько пересказывает статью в словаре. Некоторые фактические неточности устранены по тексту статьи (Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. Т.XLI (81). С.381.

<sup>88</sup> Григорий Спиридонович *Петров* (1868-1925) — писатель, священник. Член редакций газет «Русское слово», «Правда божия».

<sup>89</sup> Об инциденте со столбами писали не только мемуаристы (В.В.Вересаев, Ю.Л.Оболенская), но и петербургские «Биржевые ведомости» (1914. 2 июля). См.: ВМВ. С.304, 443-444, 672-673.

<sup>90</sup> Далее Басалаев пересказывает биографию Волошина — не столько по рассказам последнего, сколько по известным печатным источникам.

Например, он почти целиком приводит автобиографию поэта из антологии И.С.Ежова и Е.И.Шамурина «Русская поэзия XX века» (М., 1925. С.568).

<sup>91</sup> Мы опускаем рассуждения мемуариста о русском символизме и о месте Волошина в этом литературном течении.

<sup>92</sup> Стихотворение В.А.Рождественского «Коктебельская элегия», впервые напечатанное в его книге «Земное сердце» (Л., 1933. С.64).

<sup>93</sup> Строки сонета Волошина «Полдень» (1907) из цикла «Киммерийские сумерки».

<sup>94</sup> Из стихотворения «Как в раковине малой — Океана...» (1918).

<sup>95</sup> Строки сонета «Старинным золотом и желчью напитал...» (1907) из цикла «Киммерийские сумерки».

<sup>96</sup> Ирина Дмитриевна *Зеленская* (1895-1981) — переводчица, библиотекарь.

<sup>97</sup> Мария Степановна Волошина (ур. Заболоцкая; 1887-1976) — вторая жена Волошина (фактически с 1922, официально с 1927).

<sup>98</sup> Далее Басалаев пересказывает известную «репинскую историю» — конфликт между Репниным и Волошиным, толчком к которому послужило «нападение» А.Балашова на картину И.Репина «Иван Грозный и его сын Иван» 16 января 1913. См. об этом, например, снабженную комментарием републикацию статьи Волошина «Репинская история» (ВМВ. С.294-301, 669-671). В ранней редакции «Записок» в этом месте имеется небольшая главка, которую приводим целиком: «Шел разговор о белых в Крыму. Дом Волошина часто оказывался то во владении белых, то красных. Однажды Волошину пришлось плыть в лодке с красными матросами. Путь был прегражден французами. Владея французским языком, Волошин сумел быстро сговориться и объяснить встретившимся, в чем дело. Лодка прошла. Красноармейцы говорили: "Здорово вы их уели, товарищ Волошин. По-ихнему вы говорите, чисто буржуй!"» (ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.25. Л.38).

<sup>99</sup> Надежда Викторовна *Литвинова* (1893-?) — художница. Известен ее работы литографированный портрет Волошина (1932), который Э.Ф.Голлербах находил одним из «наиболее правдивых, то есть сочетающих внешнее и внутреннее сходство» (ВМВ. С.505, 701).

<sup>100</sup> «*Алюминиевым инженером*» называли Василия Александровича Пазухина (1889 — 1950-1960-е), профессора Московской горной академии, специалиста по гидрометаллургии и металлургии цветных металлов. У него было три сына — Вадим (1923-1943), Александр (р.1919) и Северин. Средний сын, Александр, является автором воспоминаний «Записки из дома Волошина» (1970-е. Рукопись. Архив Дома-музея М.А.Волошина в Коктебеле), «Всеволод Александрович Рождественский в Доме Максимилиана Александровича Волошина, 1928-1932 годы» (Июнь 1983. Авторизованная машинопись. Собрание М.В.Рождественской).

<sup>101</sup> Опушен фрагмент, почти целиком состоящий из цитат: Басалаев приводит фрагменты из книги Волошина «Лики творчества» о Вилье де Лиль Адане, Барбэ д'Оревилли, Анри де Ренье и пр.

<sup>102</sup> «Сказание об иноке Епифании» было закончено Волошиным в февралю 1929. Епифаний — духовный наставник протопопа Аввакума, был сожжен вместе с ним в 1682.

<sup>103</sup> В память этой беседы на чердаке Волошин записал в альбом Басалаева последнюю строфу своего стихотворения «Доблесть поэта»:

В дни революции быть человеком, а не гражданином:  
Помнить, что знамена, партии и программы  
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.  
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:  
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту!

19.X.25

Коктебель

Иннокентию Мемноновичу — в память  
беседы ночью на чердаке 10.IX.29.

Максимилиан Волошин.

<sup>104</sup> По поводу стихотворения «Стенькин суд» Волошин писал: «Мой замысел был — дать только психологическую картину исконного русского мятежа и связать ее, не намекая на это, с современностью» (из письма к Ю.Л.Оболенской от 1 февраля 1918, цит. по комм. В.П.Купченко в кн.: Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С.619).

<sup>105</sup> Замятин подарил Волошину I том своего «Собрания сочинений» (М., 1929) с такой надписью: «Дорогому Максимилиану Александровичу Волошину на память о вечерах в Коктебеле от Е.Замятина (читать надо не "Евгения", а "Епифания" — ибо судьба моя — судьба Епифания-инока). 6-IX-1929» (Цит. по: ВМВ. С.707).

<sup>106</sup> Опушен небольшой фрагмент, содержащий размышления Басалаева о жизни и духовных исканиях Волошина в годы войны и революции 1917.

<sup>107</sup> Речь идет о книге Ильи Львовича Сельвинского (1899-1968) «Записки поэта» (М.; Л., 1928). На обложке работы Эль Лисицкого — портрет главного героя, поэта Евгения Нея, от имени которого ведется повествование. По замечанию Вс. Рождественского, этот портрет — «замаскированное посвящение Ник. Гумилеву» (помета рукой Рождественского на полях машинописи публикуемого текста).

Настоящим прототипом Евгения Нея (но только не портрета на обложке!) послужил поэт С.Е.Нельдихен (1891-1942). Не углубляясь в подробности, отмечу лишь, что пародирование Сельвинским стиля и образности некоторых произведений Нельдихена вызвало в свое время крайнее раздражение последнего.

<sup>108</sup> Первые строки стихотворения В.А.Рождественского «Вино» (1929), вошедшего в его книгу «Земное сердце» (Л., 1933).

<sup>109</sup> О пении этих стихов М.С.Волошиной вспоминают также Е.Я.Архиппов (ВМВ. С.598) и Н.К.Чуковский (Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С.128).

<sup>110</sup> Маргарита Васильевна *Сабашникова* (1882-1973) — первая жена Волошина, художница.

<sup>111</sup> *Василий* Александрович *Десницкий* (1878-1958) — литературовед и совчиновник.

<sup>112</sup> Двоюродная сестра В.А.Десницкого Екатерина Ивановна Десницкая (1888-1960) в 1906 вышла замуж за сиамского принца Чахрабона (1883-1920). Подробнее см.: Купченко В. Принцесса Катя Десницкая // Уральский следопыт. 1985. №11. С.55-57; Скворцов В. Принцесса Катя Десницкая // Огонек. 1986. №41. С.28-30 и №42. С.26-28.

<sup>113</sup> Сергей Сергеевич *Заяицкий* (1893-1930) — прозаик, поэт, переводчик.

<sup>114</sup> Василий Дмитриевич *Шервинский* (1850-1941) — профессор медицины, был директором Московского института экспериментальной эндокринологии, в ведении которого находился обезьяний питомник в Сухуми.

<sup>115</sup> Сергей Васильевич *Шервинский* (1892-1991) — поэт, переводчик.

<sup>116</sup> *Вера* Михайловна *Инбер* (1890-1972) — поэтесса.

<sup>117</sup> *Юрий Николаевич Тюлин* (1893-1978) — композитор.

<sup>118</sup> Речь идет о развернувшейся кампании по чистке Федерации объединения советских писателей (ФОСП). Травля Пильняка и Замятина, опубликовавших свои произведения за границей, началась со статьи Б.Волина «Недопустимые явления» (Литературная газета. 1929. 26 августа. С.1) 9 сентября исполбюро ФОСП вынесло решение по делу Пильняка и Замятина: «Факт издания ими за границей своих произведений может быть расценен только как проявление вредительства интересам советской литературы и всей советской страны» (Красная газета. 1929. 9 сентября. Веч. выпуск. С.1). В начале сентября Замятин пишет из Крыма письма в редакцию «Литературной газеты» и в правление ВСП, в которых подробно разъясняет обстоятельства издания романа «Мы». В «Литературной газете» было опубликовано только более позднее (от 24 сентября) письмо Замятина, где он заявил о своем выходе из ВСП (Литературная газета. 1929. 7 октября. С.4). Подробнее об этом см. комм. Евг. Барабанова в кн.: Замятин Е. Сочинения. М., 1988. С.526-541.

<sup>119</sup> *Ефим* Давидович *Зозуля* (1891-1941) — прозаик.

<sup>120</sup> Прозаики Всеволод Вячеславович *Иванов* (1895-1963), Иван Алексеевич *Новиков* (1877-1969), Сергей Николаевич *Сергеев-Ценский* (наст. фам. Сергеев, 1875-1958).

<sup>121</sup> *Якубинский* Лев Петрович (1892-1945) — языковед и научный администратор.

<sup>122</sup> *Гипромез* — Государственный союзный институт по проектированию металлургических заводов; Борис Дмитриевич *Четвериков* (1896-

1981) — прозаик, поэт; Николай Николаевич *Никитин* (1895-1963) — прозаик.

<sup>123</sup> Пьеса Бен Секта и Ч.Мак-Артура «*Сенсация*» была переведена З.А.Венгеровой. Замятин отредактировал пьесу для театра, и в мае 1930 она была впервые показана в Москве, в Театре имени Вахтангова, а в июне — в Ленинграде, на сцене бывшего Александринского театра.

<sup>124</sup> Имеется в виду рецензия М.А.Зенкевича на книгу В.А.Рождественского «Гранитный сад» (Л., 1929), напечатанная в «Новом мире» (1930. №2. С.227).

<sup>125</sup> Письмо от 10 июня 1930. Басалаев приводит его с некоторыми сокращениями. Ср. с автографом: ОР РНБ. Ф.1076. Ед.хр.314. Л.35-36.

<sup>126</sup> Юрий Николаевич *Либединский* (1898-1959) — прозаик.

<sup>127</sup> Виктор *Маргерит* (1866-1942) — французский прозаик.

<sup>128</sup> Рахиль (Роза) Ароновна *Ковнатор* (1899-1977) — прозаик, историк, публицист.

<sup>129</sup> Дмитрий Исаевич *Лаврухин* (наст. фам. Георгиевский, 1897-1939) — прозаик, журналист. Речь идет о его первой книге «По следам героя: Записки рабкора» (Л., 1930).

<sup>130</sup> Речь идет о статье И.Дмитроченко, В.Лозина и А.Решетова «Паточка оранжевых знамен. О творчестве А.Прокофьева», напечатанной в газете «Наступление» (1932. 28 марта) (указано И.В.Ханукаевой).

<sup>131</sup> Повесть Н.С.Тихонова «Война» вышла отдельным изданием в Ленинграде в 1931.

<sup>132</sup> *Леонтий* Иосифович *Раковский* (1896-1979) — прозаик.

<sup>133</sup> *Слава* *Платоновна* Цукерваник (ум. после 1964) — сестра первой жены И.М.Басалаева (Рахили Платоновны Цукерваник), преподаватель литературы.

<sup>134</sup> Зелик Яковлевич *Штейнман* (1907-1967) — критик.

<sup>135</sup> Михаил Гаврилович *Майзель* (1899-1937) — критик, литературовед.

<sup>136</sup> Надежда Давыдовна *Вольпин* (р. 1900) — переводчица.

<sup>137</sup> Имеется в виду постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций», согласно которому РАПП была ликвидирована.

<sup>138</sup> Сергей Антонович *Клычков* (1889-1937) — поэт.

<sup>139</sup> *Петр* Константинович *Губер* (1886-1940) — прозаик и литературовед.

<sup>140</sup> Валентин Осипович *Стенич* (наст. фам. Сметанич, 1898-1938) — переводчик, критик.

<sup>141</sup> Михаил Федорович *Чумандрин* (1905-1940) — прозаик. С конца 1920-х — один из руководителей ЛАПП.

<sup>142</sup> Надежда Январевна *Рыкова* (р. 1901) — поэтесса, переводчица, литературовед.

<sup>143</sup> *Лев Савин* (наст. имя Савелий Моисеевич; 1891-1947) — прозаик.

<sup>144</sup> Николай Леопольдович *Браун* (1902-1975) — поэт, переводчик.

<sup>145</sup> Николай Васильевич *Слепнев* — литературный критик.

<sup>146</sup> Владимир Яковлевич *Зазубрин* (наст. фам. Зубцов, 1895-1938) — прозаик, один из создателей и руководителей Союза сибирских писателей (1926-1928).

<sup>147</sup> Николай Григорьевич *Свирин* (1900-1937) — критик. Один из основателей и активный деятель ЛОКАФа (Литературного объединения Красной Армии и Флота). ЛОКАФ (1930-1934) ставило своей задачей создание произведений о войне и Красной Армии, воспитание творческих кадров из среды красноармейцев. С 1931 выходил одноименный ежемесячный журнал (с 1933 — «Знамя»).

<sup>148</sup> Елена Михайловна *Тагер* (1895-1964) — прозаик, переводчик.

<sup>149</sup> Николай Николаевич *Асеев* (1889-1963), Семен Исаакович *Кирсанов* (1906-1972) — поэты.

<sup>150</sup> Имеется в виду книга Н.Н.Асеева «Стальной соловей» (М., 1922).

<sup>151</sup> *Дом печати* в Москве располагался на Никитском бульваре, дом 8а. Служил целям «политического и производственного воспитания кадров печати, объединял работников газеты, журнала и книги» (Вся Москва. [М.], 1931. [Отдел] III. С.267).

<sup>152</sup> Имеется в виду книга Н.Н.Асеева «Самое лучшее: Избранные стихи». (М., 1926).

<sup>153</sup> Имеется в виду неоконченная поэма «Смерть Оксмана».

<sup>154</sup> «*Лирическое отступление*», «*Семен Проскаков*» — поэмы Н.Н.Асеева.

<sup>155</sup> По-видимому, речь идет о поэме «Товарищ Маркс» (отдельное издание — [М.], 1933).

<sup>156</sup> «*Малолетний Витушишников*» — повесть Ю.Н.Тынянова (1933).

<sup>157</sup> Михаил Матвеевич *Казмичев* (?-1960) — поэт, переводчик.

<sup>158</sup> Виктор Андроникович *Мануйлов* (1903-1987) — литературовед, критик, поэт.

<sup>159</sup> Борис Иванович *Извеков* (1891-?) — доцент Ленинградского электротехнического института, специалист по динамической метеорологии. Дружил с В.А.Рождественским, вместе с ним ездил в Коктебель к М.А.Волошину.

<sup>160</sup> *Надежда Александровна* Бринкман — приятельница В.А.Рождественского.

<sup>161</sup> Речь идет о публикации: Пушкин А.С. Три письма к неизвестной / Пояснительная статья и комм. Т.Зенгер // Звенья. II. М.; Л., 1933. С.201-221.

<sup>162</sup> Андрей Венедиктович Федоров (р.1906) — литературовед, критик, переводчик.

<sup>163</sup> Очевидно, имеется в виду статья С.М.Городецкого «Некоторые течения в современной русской поэзии» (Аполлон. 1913. №1. С.46-50). О какой точно статье Г.В.Иванова идет речь, установить не удалось.

<sup>164</sup> Николай Федорович Монахов (1875-1936) — актер.

<sup>165</sup> Михаил Моисеевич Ботвинник (1911-1995), Соломон Михайлович Флор (1908-1983), Александр Александрович Алехин (1892-1946) — шахматисты. Матч Ботвинника с Флором проходил в Москве и Ленинграде с 28 ноября по 19 декабря 1933.

<sup>166</sup> Белый А. Из книги «Начало века» // Новый мир. 1933. №7/8. С.260-293.

<sup>167</sup> Джон Дос Пассос (1896-1970) — американский писатель.

<sup>168</sup> Виталий Валентинович Бианки (1894-1959) — прозаик, детский писатель.

<sup>169</sup> Марина Николаевна Чуковская (1905-1992) — переводчица, мемуаристка, жена Н.К.Чуковского.

<sup>170</sup> Воеводин В., Рысс Е. Литература или сочинительство // Красная газета. 1933. 13 декабря. №285. Вечерний выпуск. С.3. В статье идет речь о книгах Н.К.Чуковского «Повести» (Л., 1933) и М.И.Жестева «Новеллы о чувствах» (Л., 1933).

<sup>171</sup> Георгий Николаевич Гайдовский, Дмитрий Миронович Стонов — московские литераторы. О каких их произведениях идет речь, установить не удалось.

<sup>172</sup> Мария Ивановна Комиссарова (1904-1994) — поэтесса.

<sup>173</sup> Дневник фрейлины А.А.Вырубовой печатался в альманахе «Минувшие дни» (1927. №1 и 1928. №2, 3, 4). Публикация сразу же вызвала сомнения в подлинности дневника и стала предметом полемики в прессе. Авторами дневника в устной традиции Ленинграда считались журналист З.С.Давыдов (1892-1957) и О.Брошниковская. Предполагают также, что к этой подделке имели отношение П.Е.Щеголев и А.Н.Толстой. Подробнее см.: Рейсер С.А. Основы текстологии. Л., 1978. С.107; Лурье Ф.М. Хранители прошлого. Л., 1990. С.157-158. Ср. также: Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная хроника. Кн.2. Париж, 1988. С.180.

<sup>174</sup> Повесть «Клятва в тумане» была впервые напечатана в «Звезде» (1932. №10-11. С.107-150), а на следующий год вышла отдельным изданием.

<sup>175</sup> «Точное описание путешествия из Кара-Калы в Кызыл-Арват в ночь с 25 на 26 мая с.г. на полутонке системы "Форд"» вошло в книгу «Кочевники (Очерки Туркмении)» (М., 1931).

<sup>176</sup> Рассказ «*День отдыха*» был впервые опубликован в «Литературном современнике» (1933. №10. С.3-13).

<sup>177</sup> «*Вечный транзит*» — рассказ Н.С.Тихонова, впервые напечатанный в одноименной книге (Л., 1934).

<sup>178</sup> Рассказы Н.С.Тихонова в «Ниве» печатались в 1918 (см. библиографию: Николай Семенович Тихонов / Составитель А.С.Морщикина. Под ред. В.А.Шошина. Л., 1975. С.9-10).

<sup>179</sup> Творческий вечер О.Э.Мандельштама в Капелле состоялся 23 февраля 1933.

<sup>180</sup> Борис Михайлович Эйхенбаум (1886-1958) — литературовед.

<sup>181</sup> Борис Матвеевич Лапин (1905-1941), Захар Львович Хацревин (1903-1941) — прозаики, в 1930-е работали в соавторстве.

<sup>182</sup> Строка из стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...». О том, что Мандельштам читал это стихотворение на вечере в Капелле, вспоминают и другие мемуаристы.

<sup>183</sup> «Путешествие в Армению» было напечатано в «Звезде» (1933. №5. С.103-125).

<sup>184</sup> Цитата из стихотворения «Не говори никому...» (1930).

<sup>185</sup> Имеется в виду Дом-коммуна (ул. Рубинштейна, 7), построенный в 1931 по проекту А.А.Оля и «в народе» получивший название «Слеза социализма». Дом был устроен по принципу гостиницы: в квартирах не было кухонь, при входе — общая раздевалка с дежурным швейцаром. В Доме-коммуне жили многие писатели: О.Берггольц, М.Фроман, А.Штейн, Ю.Либединский и другие. Подробнее см. посвященные этому дому «Листики воспоминаний» И.М.Наппельбаум (Вечерний Петербург. 1994. 10 февраля. №29. С.3).

<sup>186</sup> «История с пощечиной» зафиксирована рядом мемуаристов. В частности, ее приводит в своих воспоминаниях Н.К.Чуковский (см.: Чуковский Н. Литературные воспоминания. Указ. изд. С.165-166).

<sup>187</sup> Лев Маркович Вайсенберг (1900-1973) — прозаик.

<sup>188</sup> Портрет Н.С.Тихонова маслом был выполнен Н.К.Шведе-Радловой в 1932.

<sup>189</sup> Алексей Иванович Свирский (1865-1942) — прозаик.

<sup>190</sup> Речь идет о повести Петра Андреевича Павленко (1899-1951) — «*Пустыня*» (отдельное издание — Л., 1931).

<sup>191</sup> Николай Николаевич Каразин (1842-1908), Михаил Борисович Стремоухов (1866-?), Евгений Львович Марков (1835-1903), Александр Александрович Бестужев-Марлинский (1797-1837) — прозаики.

<sup>192</sup> Речь идет о дружеском шарже работы художника Бориса Ивановича Антоновского (1891-1934), опубликованном в газете «Литературный Ленинград» (1934. 3 января. №1. С.4).

<sup>193</sup> Опушена пространная цитата из: Тихонов Н. К годовщине постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года // Звезда. 1933. №5. С.147-148.

<sup>194</sup> Премьера спектакля по пьесе Е.Л.Шварца «Клад» состоялась в ленинградском ТЮЗе 8 октября 1933 (режиссер Б.В.Зон, художник М.А.Григорьев, композиторы Н.М.Стрельников и С.Н.Митин).

<sup>195</sup> Речь идет о Екатерине Михайловне Фракман (в замужестве Царенковой, р.1932) и Сергее Михайловиче Слонимском (р.1932).

<sup>196</sup> Людмила Ильинична Баршева (урожд. Крестинская, около 1909-1982) — вторая жена Н.В.Баршева. После развода с ним, в 1935 вышла замуж за А.Н.Толстого.

<sup>197</sup> Леонид Федорович *Макарьев* (1892-1975) — драматург.

<sup>198</sup> Имеется в виду книга английского путешественника Г.-М.Стэнли «Как я отыскал Ливингстона» (СПб., 1874).

<sup>199</sup> Борис Петрович *Корнилов* (1907-1938), Ольга Федоровна *Берггольц* (1910-1975) — поэты.

<sup>200</sup> Речь идет о стихотворении М.А.Фромана «Умру: весенним днем положат...» (Литературный современник. 1933. №9. С.93).

<sup>201</sup> Виктор Сергеевич *Миролюбов* (1860-1939) — издатель, редактор, журналист.

<sup>202</sup> *Сергей* Дмитриевич *Спасский* (1898-1956) — поэт, переводчик, прозаик.

<sup>203</sup> Степан Степанович *Емелин* (1895-?) — прозаик.

<sup>204</sup> Речь идет о романе Александра Гервасьевича *Лебеденко* (1892-1975) «Тяжелый дивизион» (Л., 1932).

<sup>205</sup> Сергей Эрнестович *Радлов* (1892-1958) — театральный режиссер, в 1914-1926 — муж А.Д.Радловой.

<sup>206</sup> К.И.Чуковский обвинил А.Д.Радлову в том, что ее переводы Шекспира «не передают ни поэтичности шекспировских стихов, ни их красоты». Главный же их порок он увидел в «полном уничтожении интонаций Шекспира» (Чуковский К. Искалеченный Шекспир // Правда. 1940. 19 января. №19. С.4). См. также: Чуковский К. Астма у Дездемоны // Театр. 1940. №2. С.98-109).

<sup>207</sup> Источник цитаты: Радлова А. О моей работе над переводом «Ричарда» // Шекспир В. Жизнь и смерть короля Ричарда Третьего. Л., 1935. С.39.

<sup>208</sup> *Шульговский* Николай Николаевич (1880-?) — стиховед. Вероятно, речь идет о кн.: Шульговский Н.Н. Теория и практика поэтического творчества: Технические начала стихосложения. СПб.; М., 1914.

- <sup>209</sup> Вячеслав Яковлевич *Шишков* (1873-1945) — прозаик, драматург.
- <sup>210</sup> Эти произведения были напечатаны в «Звезде» в 1933; «Похищение Европы» в №4-8, 11, 12, «Возвращенная молодость» в №6, 8, 10.
- <sup>211</sup> Алексей Артамонович *Тверяк* (наст. фам. Соловьев, 1900-1937) — прозаик. Анатолий Ефимович *Горелов* (1904-1995) — критик, литературовед.
- <sup>212</sup> *Газетти* Александр Алексеевич (1888-1938) — литератор и общественный деятель.
- <sup>213</sup> Ср.: «Федор Сологуб останется в истории русской литературы как величайший художник слова. Но Федор Сологуб останется в истории русской литературы как величайший художник, *не сумевший* встать на вершины человеческой мысли. Эти вершины — только в революции» (Штейнман З. Федор Сологуб // Красная газета. 1927. 6 декабря. №328. Вечерний выпуск. С.2).
- <sup>214</sup> Михаил Дмитриевич *Скобелев* (1843-1882) — русский военачальник.
- <sup>215</sup> Рассказ «*Бирюзовый полковник*» вошел в книгу Н.С.Тихонова «Рискованный человек» (Л., 1927).
- <sup>216</sup> Юлий Соломонович *Берзин* (1904-1942?) — прозаик.
- <sup>217</sup> Лев Семенович *Фридлянд* (1888-1960) — врач, автор вышедшей в 1927-1928 пятью изданиями книги «За закрытой дверью. Записки врача-венеролога». Впоследствии писал популярные книги о медицине, преимущественно для детей.
- <sup>218</sup> *Головизнин* Дмитрий Дмитриевич — энтомолог.
- <sup>219</sup> *Братья Тур* — коллективный псевдоним Леонида Давидовича Тубельского (1906-1961) и Петра Львовича Рыжей (р.1908).
- <sup>220</sup> Иосиф Леонидович *Прут* (р.1900) — драматург.
- <sup>221</sup> Тициан *Табидзе* (1895-1937) — грузинский поэт.
- <sup>222</sup> Речь идет о книге М.Зощенко «М.П.Синягин. (Воспоминания о Мишеле Синягине)» (Л., 1931).
- <sup>223</sup> См.: Как мы пишем. [Л., 1930]. С.164-165.
- <sup>224</sup> Залман Борисович *Лозинский* — редактор журнала «Литературный современник», преподаватель, историк, профессор Государственного педагогического института имени А.И.Герцена.
- <sup>225</sup> Ныне — Мариинская больница (Литейный, 56).
- <sup>226</sup> «*Прощание Гектора с Андромахой*. Перевод из "Илиады" Гомера», выполненный М.А.Кузминым, напечатан в «Звезде» (1933. №6. С.69-73). Перевод «*Золотого осла*» Апулея вышел отдельным изданием в Ленинграде в 1929. Оперетта И.Штрауса «*Цыганский барон*» в марте 1932

была поставлена на сцене ленинградского Театра музыкальной комедии. По поводу этой постановки критик А.Дорохов писал: «Особенно ценна /.../ та внутренняя проработка спектакля, которая говорит не просто об освоении, но о критическом преодолении материала. Задача здесь была весьма трудна. "Цыганский барон" в своем первобытном виде является типичным милитаристским произведением, образцом так называемой "военной оперетты". Автору нового текста (М. Кузьмин) [Так! — А.Д.] и режиссуре пришлось немало поработать, чтобы очистить пьесу от этого душка "венско-гусарской" военной романтики. Совершенно изменена интрига, почти заново написан последний акт, дана новая, резко отличная трактовка отдельных ролей» (Дорохов А. «Цыганский барон» в Музкомедии Госнардома // Рабочий и театр. 1932. №8. С.18). Цензурный экземпляр либретто (текст И.Шнитцера по повести М.Июкая «Саффи») в переводе М.Кузьмина сохранился в отделе рукописей и редких книг Санкт-Петербургской Театральной библиотеки имени А.В.Луначарского (шифры: Ia (A) // Ш-934/12.8).

<sup>227</sup> Clarté (*франц.*) — свет, ясность.

<sup>228</sup> Из стихотворения М.А.Кузьмина «Первый удар», вошедшего в цикл «Форель разбивает лед».

<sup>229</sup> Е.И.Замятин умер в Париже 10 марта 1937.

<sup>230</sup> Подробнее об этом см.: Примочкина Н.Н. М.Горький и Е.Замятин (к истории литературных взаимоотношений) // Русская литература. 1987. №4. С.158-160.

<sup>231</sup> Речь идет о статьях М.Скачкова «Гастроли Евгения Замятина» и «Пражские защитники Е.Замятина» (Литературная газета. 1932. 4 февраля. №6. С.1 и 11 марта. №12. С.1). «Письмо в редакцию» Е.И.Замятина было напечатано в «Литературной газете» (1932. 17 сентября. №42. С.4), в «Известиях» (18 сентября. №259. С.4) и в «Последних новостях» (Париж) (20 сентября. №4199. С.5).

<sup>232</sup> Опущены некоторые подробности биографии Е.И.Замятина, пересказываемые Басалаевым по известным печатным источникам, а также полностью приводимый им рассказ Замятина «Правда истинная».

<sup>233</sup> *Ирина Павловна Рождественская* (урожд. Стуккей, 1906-1979) — жена В.А.Рождественского.

<sup>234</sup> Имеются в виду книги: Замятин Е. Блоха. Л., 1926; Добужинский М. Воспоминания об Италии. Пб., 1923; Чуковский К. Некрасов, как художник. Пб., 1922.

<sup>235</sup> *Наталья Викторовна Рыкова* (1897-1928) — одна из близких подруг А.А.Ахматовой.

<sup>236</sup> Речь идет о переводах из Виктора Гюго и о работе над книгой «Избранные стихи» (Л., 1936).

<sup>237</sup> Александр Иванович *Куприн* умер 25 августа 1938.

<sup>238</sup> *Владимир Александрович Луговской* (1901-1957) — поэт.

<sup>239</sup> *Елена Андреевна Вечтомова* (р.1909) — поэт, прозаик, критик; *Александр Ильич Гитович* (1909-1966) — поэт, переводчик; *Леонид Осипович Равич* (1908-1957) — поэт, прозаик; *Елена Израилевна Рывина* (1910-1985) — поэтесса; *Иосиф Григорьевич Колтунов* (1910-1950) — поэт; *Александр Ефимович Решетов* (1909-1971) — поэт; *Екатерина Михайловна Шереметьева* (р.1901) — прозаик; *Геннадий Самойлович Гор* (1907-1981) — прозаик; *Николай Петрович Вагнер* (1898-1988) — прозаик, драматург, поэт; *Петр Иосифович Капица* (р.1909) — прозаик; *Лев Владимирович Брандт* (1901-1949); *Евгений Львович Шварц* (1896-1958), *Александр Германович Розен* (1910-1978) — драматурги и прозаики.

<sup>240</sup> Из стихотворения *Михаила Петровича Берновича* (1912-1967) «Осень» (Литературный современник. 1933. №9. С.94).

<sup>241</sup> *Юрий Алексеевич Инге* (1905-1941) — поэт.

<sup>242</sup> См.: *Друзин В. О поэзии Николая Тихонова // Звезда. 1928. №10. С.170.*

Составитель примечаний сердечно благодарит М.Ю.Любимову, М.В.Рождественскую и Е.М.Царенкову за ценные консультации, существенно облегчившие ему работу.

\*\*\*

В воспоминаниях А.А.Ванеева «Два года в Абези», опубликованных в 6-м выпуске альманаха «Минувшее», на страницах 55, 57, 71 и 76 упоминается заключенный «Роберт Николаевич Ланг». Здесь ошибка, vznikшая, вероятнее всего, при переписке рукописи в «самиздате». На самом деле, речь идет о *Николае Робертовиче* Ланге (1900, Москва — 1962, Ленинград), моем дяде. Он был не «социалистом» (с.55), а анархомистиком, войдя еще в 1922 во Всероссийскую Федерацию анархистов-коммунистов (ВФАК), созданную в 1918 А.А.Карелиным. В 1925 Н.Р.Ланг окончил Московский Институт Востоковедения им. Нариманова и был направлен экономистом в Наркомторг Дальневосточного округа. В феврале 1928 он вернулся в Москву, где вошел в Анархистскую секцию Кропоткинского Комитета, создав при Кропоткинском музее Библиографический кружок по изучению научного наследия П.А.Кропоткина и М.А.Бакунина. Первый его арест произошел 5 ноября 1929; постановлением ОСО ОГПУ Н.Р.Ланг был заключен на 3 года в Верхне-Уральский политизолятор, после чего последовала трехгодичная ссылка в Восточную Сибирь и поражение в правах по возвращении. Второй арест произошел в 1941, после чего он был осужден на 3 года ИТЛ, а 25 марта 1950 ОСО МГБ СССР осудило его на новый срок — 10 лет ИТЛ, которые он отбывал в Коми АССР, откуда был освобожден в 1956. Реабилитирован в августе 1992.

Любопытно упоминание Ванеевым на с.113 некоего «египтолога», чью фамилию мемуарист не называет и чью историю передает весьма неточно. «Египтолог» — доктор исторических наук, позднее член-корреспондент Академии Наук СССР Михаил Александрович Коростовцев (1900-1980), с которым именно в Абези сдружился Н.Р.Ланг. Обстоятельства ареста М.А.Коростовцева достаточно любопытны и характерны для эпохи, к тому же вносят необходимые коррективы в изложенную мемуаристом версию.

М.А.Коростовцев, если не ошибаюсь, — племянник академика А.М.Панкратовой, в конце 1940-х — начале 1950-х работал корреспондентом ТАСС в Египте, но на свою беду увлекся приехавшей в Каир англичанкой-египтологом, за которой он и отправился в пустыню. Об этом предосудительном увлечении в партийное бюро Посольства СССР в Египте было тотчас же сообщено его женой, В.М.Коростовцевой, за чем по-

следовал арест их обоих и эвакуация в Москву, после чего он попал в Абезь, а его жена — в мордовские женские лагеря. А.А.Ванеев запомнил верно, что источником угнетенного состояния «египтолога» были мысли о жене, только не из-за ее ареста, а из-за ее доноса. Стоит сказать, что и после выхода на свободу научная карьера и членство в КПСС не позволили М.А.Коростовцеву разорвать этот постылый для него брак, заставляя искать утешений на стороне.

Еще одна неточность в 6-м выпуске «Минувшего» связана с упоминанием А.А.Солоновича в воспоминаниях М.Н.Жемчужниковой о Московском Антропософском обществе. Публикатор, Дж. Мальмстад, опираясь на работу Р.Авгич'а, в примечании 49 (на с.42) пишет, что после ареста 24 апреля 1925 А.А.Солонович был отправлен на Соловки, не замечая при этом, что двумя страницами далее (с.44) мемуарист сообщает, что Солонович исчез после ареста 1930 и, по слухам, «погиб во время одного из нередких тогда лагерных бунтов».

И то, и другое не соответствует действительности.

Сейчас, на основании документов Центрального Архива КГБ СССР, можно утверждать, что Алексей Александрович Солонович (1887-1937), доцент МВТУ, один из секретарей ВФАК, ближайший сотрудник, а затем и преемник А.А.Карелина по анархо-мистическому движению, член Кропоткинского и Карелинского комитетов, действительно был арестован 24 апреля 1925, но осужден 26 июня 1925 ОСО ОГПУ только к 3 годам концентрационного лагеря и помещен в Суздальский концлагерь (Спасо-Ефимьевский монастырь), откуда был освобожден и возвращен в Москву уже через 3 месяца, благодаря хлопотам руководства МВТУ и А.А.Карелина через А.С.Енукидзе. Следующий арест настиг его 11 сентября 1930, после чего Постановлением ОСО ОГПУ от 13 января 1931 Солонович был осужден к 5 годам концлагерей, но 10 июня 1933 досрочно освобожден и выслан на оставшийся срок в Нарымский край, в с.Каргасок. В третий раз он был арестован в Каргасоке 21 января 1937, через месяц поступил в больницу ОМВ УНКВД Новосибирска, где объявил голодовку и скончался 4 марта 1937 «от сердечной недостаточности». /.../.

23 декабря 1992

\*\*\*

А.Л.Никитин

В 12-м выпуске альманаха помещена обширная подборка писем Зинаиды Николаевны Гиппиус к Акиму Львовичу Вольтскому (публикация А.Л.Евстигнеевой и Н.К.Пушкаревой). В предисловии к письмам публикаторы цитируют книгу профессора Темиры Пахмус «Hippius Z.N. Between Paris and St.Peterburg». Urbana, 1975. Книга эта была выпущена Иллинойским университетом по-английски, и выдержки из нее даются в обратном переводе. К сожалению, при этом появляются значительные разночтения с оригиналом, предварительно опубликованным г-жой Т.Пахмус (Возрождение. 1969. №211. Июль. С.36-41) и оставшимся неизвестным А.Л.Евстигнеевой и Н.К.Пушкаревой. Госпожа Темира Пахмус указала редакции на ошибку и любезно предоставила нам оригинальные тексты, которые мы с благодарностью и воспроизводим:

Стр.	Строка	Следует читать
275	37 св.	Это мои мысли так меня переломали.
275	39-40	Никогда не приходила мне в голову мысль о любви... Флексера. Я всегда радовалась его хорошему ко мне отношению. Мы были далеки — но я знала, что он ко мне — хорош.
275	44	Мы много говорили о любви: само вышло.
275	45-47	могу писать письма только к человеку, с которым чувствую телесную нить, <i>мою</i> . Говорю о хороших письмах, о тех моих «детях», в которых верю.
276	10-17 сверху	«Чудесной» любви он не вместит, власти особенной, яркой — я не имею; — не в моем характере действовать из-за каждой мелочи, как упорная капля на камень; я люблю все быстрое и ослепительное, а не верное подпольное средство. Он уступает мне во всем — но тогда, когда я устану, брошу, забуду, перестану желать уступки. Я не хитрая, а с ним нужна хитрость. Затем: он человек анти-художественный, не тонкий, мне во всем далекий, чуждый всякой красоте и моему Богу.
276	19-24	Батюшки! Целый год прошел. Тягота и мука. О чем же писать? Тягота, мука, никакой любви, моя слабость. Но безнадежно все ухудшается... Эту тетрадь ненавижу. Узость ее, намеренная, мне претит. И сейчас едва пишу. Взять ее — кажется, что я только и живу любовью, любовными психологиями, да своими мерзостями. Здесь одна сторона моей жизни, немаловажная, но все-таки одна. Я из этих рамок не выйду, нет смысла. Но претит. Скучища!
276	26-29	Опять больше года прошло... Мне надо продолжать мою казнь, эту тетрадь, «сказки любви»... то, с чем жить не могу и без чего тоже, кажется, не могу. Даже не понимаю, зачем мне эта правда, узкая, черная по белому.
276	29-32	/.../ (я отказалась печататься в <i>Северном Вестнике</i> из-за уродства Флексеровых статей) — послужило толчком к разрыву. Еще совсем весной мы делали вид, что в дружбе... но мы были уже обозленные враги.

\*\*\*

/.../ В «Воспоминаниях и размышлениях» М.С.Немцова (Минувшее. Вып.14) на с.99 утверждается, что автор этой статьи Немцов был арестован в июле 1941 года и что вместе с ним «трудились и другие "враги народа": И.П.Граве — фактический изобретатель знаменитых "катюш"....».

На самом деле профессор И.П.Граве был арестован в июле 1938, просидел 11 месяцев, а в 1940 получил орден Ленина за свои научные труды, а в 1942 — Сталинскую премию I степени. И второе, автор не изобрел «катюшу», он изобрел снаряд, который затем был применен в минометах «катюша».

Об этом я писал статью в журнале «Изобретатель и рационализатор» №10, 11 за 1988 г. Статья называлась: «И все же, кто изобрел снаряд для "катюши"?!». Поводом для написания статьи послужил спор, развернувшийся в прессе в 1986-1987.

Там же на с.136 утверждается, что Граве «бывший генерал от артиллерии царской армии», и что из репродуктора он услышал, что ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

В действительности, октябрь 1917 застал Граве — преподавателя Михайловской артиллерийской академии в звании «полковника гвардейской легкой артиллерии», а Сталин присвоил ему звание генерал-майора только в 1942, в этом звании он и умер.

/.../

18 марта 1994

Г.А.Назаров,  
инженер и журналист

\*\*\*

В 18-м томе альманаха помещена публикация А.Сергеева и А.Тюрина «История полувековой дружбы».

В комментариях к этой ценной публикации допущены некоторые досадные ошибки. Так, дочь В.И.Вернадского Н.В.Вернадская-Толль была врачом-психиатром<sup>1</sup>, а не художником, как это указано в комментариях (с.381). Эта ошибка, видимо, основана на том, что в письме 1920 г. (с.384) В.И.Вернадский назвал свою дочь «талантливой художницей»: в то время она увлекалась рисованием, а медицинское образование получила позже.

Допущена путаница в комментариях, касающихся сыновей А.В.Гольштейн от ее первого брака: Льва и Валериана Николаевичей Веберов.

<sup>1</sup> Н.В.Вернадская-Толль: Штрихи к портрету // Прометей. М., 1988. С.120-131.

После развода с Н.К.Вебером и отъезда в 1876 за границу А.В.Гольштейн взяла с собой не обоих сыновей, как это написано в комментариях (с.354), а только старшего сына Льва. Валериан Николаевич Вебер, впоследствии известный русский геолог и палеонтолог, остался с отцом в Петербурге, где и прожил всю свою жизнь<sup>2</sup>. Его поездки к матери за границу были эпизодическими. В последний раз — после большого перерыва — они виделись, по-видимому, в 1926. Во всяком случае, в июле—октябре 1925 А.В.Гольштейн ждала его в Париже (с.407, 410), а в 1926 В.Н.Вебер был в научной командировке во Франции<sup>3</sup>.

Путаница с братьями Веберами порождена и тем, что им обоим в комментариях приписывается домашнее имя «Мака» (с.362, 370). Однако из приведенных выше сведений однозначно следует, что Мака — это только Л.Н.Вебер (см. с.361, 369, 375, 416, 420). Что же касается младшего брата, В.Н.Вебера, то он в письмах своей матери (см. с.369, 407) фигурирует как «Макуся» («Макуська»). При такой интерпретации все становится на свои места.

«Леля», упоминаемая на с.369, — это жена В.Н.Вебера Елена Васильевна. Мария Васильевна Вебер (урожд. Якунчикова), упомянутая на с.370, была женой Льва Николаевича, а не Валериана Николаевича.

Отмеченные ошибки в комментариях, разумеется, не снижают ценность упомянутой публикации, посвященной другой теме — дружбе между В.И.Вернадским и А.В.Гольштейн. Письмо В.И.Вернадского В.Н.Веберу от 12 декабря 1939, опубликованное в другом месте<sup>4</sup>, — еще одно свидетельство этой полувековой дружбы.

А.В.Лапо

---

<sup>2</sup> Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Т.2. М., 1993. С.118; Вернадский В.И. Письма Н.Е.Вернадской. 1889-1892. М., 1991. С.51; Марковский А.П., Чернышева Н.Е. Валериан Николаевич Вебер // Выдающиеся ученые Геологического комитета — ВСЕГЕИ. Л., 1984. С.32-53.

<sup>3</sup> Марковский А.П., Чернышева Н.Е. Указ. соч. С.35.

<sup>4</sup> Там же. С.53.



***ANNEX***



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*

- Абрикосова см. Крамарж Н.П.  
Аввакум Петрович 390, 485  
Августин Блаженный 159  
Авдеев Ф. 329  
Аврех А.Я. 292  
Агафангел, митр. (Преображенский А.Л.) 337  
\*Адалис см. Ефрон А.Е.  
Адамович Г.В. 24, 116, 255, 259, 264-266, 269  
Адрианов С.А. 394, 395, 483  
Азадовский К.М. 114  
Айхенвальд Ю.И. 245  
Акиньшин А.Н. 323, 329  
Аксаков И.С. 185  
Аксакова-Сиверс Т.А. 489  
Аксельрод М.М. 103, 132  
\*Алданов М.А. 262, 271  
Александр, архим. (Филиппенко) 331  
Александр II, имп. 184  
Александров Р. 113  
Алексеев Н. 125  
Алексей Николаевич, вел.кн. 17  
Алексий, еп. (Буй А.В.) 322-325, 327-331, 333-336, 339, 341, 342, 344-346, 349, 351, 352  
Алехин А.А. 429, 489  
Алферов К.Д. 181  
Альтман Н.И. 384  
Амвросий, схиеромон. см. Анувий, иеромон.  
Аманулла-Хан, афг. король 456  
Амфитеатров А.В. 138, 215, 223, 224, 227  
Анастасий, архиеп. (Добрадин А.М.) 350  
Анатолий, архиеп. (Каменский А.) 335  
Анатолия, мон. (Сушкова) 330, 331  
Андре Ю.Ю. 249  
Андреев Л.Н. 96  
Андреев Ф.К. 343, 344, 346-348  
Андрей, архиеп. (Ухтомский А.А.) 321  
Андриевский (Андреевский) И.А. 322, 324, 333, 344, 350, 351  
Андроникашвили Э.Л. 136, 154, 156  
Андроников И.Л. 136, 152, 154, 156  
Андроников (Андроникашвили) Л.Н. 136, 146, 147, 151, 156  
Андроников М.М. 181, 182  
Андроникова Е.Я. 136, 147  
Андрониковы, семья 136, 159  
Андрусова В.Н. 195  
Анненков Ю.П. 124, 125, 477  
Анненкова Е.Б. 477  
Анненский В.И. см. \*Кривич В.  
Анненский И.Ф. 374  
Антоний, иеромон. 332  
Антоний, митр. (Храповицкий А.П.) 291  
Антониони М. 32  
Антонов-Овсенко В.А. 22, 114  
Антонова, большевичка 48  
Антонова-Овсенко В.В. 22  
Антоновский Б.И. 445, 490  
Анувий, иеромон. (Капинус А.А.) 333, 356  
Анчутина Н.К. 218

\* Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (\*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Апулей 467, 492  
 Арбузов, знакомый Оболенских 195  
 Ардов В.Е. 71  
 Ардовы, семья 70  
 Артамонов, знакомый О.М.Грудцовой 58, 59  
 Архангельский А. 327, 329  
 Архипов В.М. 218  
 Архиппов Е.Я. 486  
 Арцыбашев М.П. 366, 476  
 Арьев А.Ю. 254-272  
 Асеев Н.Н. 30, 422-424, 436, 488  
 \*Аскания-Нова см. Козлова Е.В.  
 Асмус В.Ф. 106  
 Астров Н.И. 181  
 Астровы, семья 181, 182  
 Ауслендер С.А. 173, 175  
 Ауслендер С.Е. см. \*Нельдихен  
 Ахмадулина Б.А. 67  
 \*Ахматова А.А. 23, 28, 39, 62, 63, 67, 69-71, 75, 108, 115, 116, 129, 130, 170, 259, 361, 369, 370, 384, 436, 467, 469, 478, 493  
 Ашурков, офицер 144, 145, 147, 149, 157, 194, 195  
 Ашурковы, семья 168  
  
 Бабицкий Б.Я. 49, 127  
 Байрон Дж.Н.Г. 423  
 Бакунин А.И. 204  
 Бакунин М.А. 495  
 Бакунина-Осоргина Т.А. 200, 208  
 Балаховская-Пети С.Г. 235, 240, 242  
 Балашов А. 484  
 Балиев Н.Ф. 182-184, 221  
 Балтрушайтис Ю.К. 202  
 Бальмонт К.Д. 130, 163, 406  
 Барабанов Е. 486  
 Барбе д'Оревильи Ж.А. 485  
 Баршев Н.В. 378-380, 415, 446, 447, 479, 480, 491  
 Баршева Л.И. 447, 491  
 Барятинский В.В. 238  
 Барышников М.Н. 72  
  
 Басалаев И.М. 359-361, 362-474, 474-494  
 Батюшков К.Н. 256  
 Бах И.С. 40  
 Бахвалов Б. 202-205, 208  
 Бахтин В.С. 479  
 \*Башкирцева М.А. см. Гнуни М.А.  
 Безыменский А.И. 381, 385, 480  
 Бек А.А. 9, 129  
 Беккер К. 162  
 Беккер Ш. 162  
 Белавский П. 333  
 Белецкий С.П. 291  
 Белинский В.Г. 66  
 \*Белый А. 125, 237, 246, 248, 252, 367, 392, 411, 412, 429, 440, 489  
 Беляков А.А. 285  
 Бенедиктов В.Г. 163  
 Бенеш Э. 241  
 Бенкендорф А.Х. 454  
 Бен Сект 487  
 Бенуа А.Н. 213, 499  
 Беранже П.Ж. 400  
 Берберова Н.Н. 24, 116, 268  
 Бергавинов С.А. 300  
 Берггольц О.Ф. 448, 490, 491  
 Бердяев Н.А. 200, 249, 288  
 Берестинский М.И. 61, 128  
 Берзин Ю.С. 457-459, 492  
 Берия Л.П. 332  
 Бернацкие, семья 245  
 Бернович М.П. 474, 494  
 Бернс Р. 93  
 Бернштейн И.И. см. \*Ионов И.И.  
 Бертрам М. 200  
 \*Бестужев-Марлинский А.А. 444, 490  
 Бетховен Л. ван 40  
 Бианки В.В. 429, 489  
 Биеринг Э.Ф. 137  
 Бирюков П.И. 277-280, 282, 284, 285, 310, 314-319  
 Бисмарк О. фон 192  
 Биценко А.А. 303, 306, 314  
 Бишарев О. 119  
 Благодравов Г.И. 37, 45, 126  
 Блинов, инженер 35

- Блок А.А. 21-23, 28, 57, 67, 90, 95, 100, 101, 106, 108, 119, 125, 126, 137, 138, 143, 144, 171, 181, 193, 255, 257, 307-309, 373, 429, 432, 459  
 Блок Г.П. 138  
 Блохин Н.Н. 83, 84  
 Бобровский П. 195, 197  
 Богданович А.И. 98, 132  
 Богданович Т.А. 98, 99, 132  
 Богомолов Н.А. 113, 170  
 Богославская К.Л. 219, 220  
 Бокк Р.Г. см. Каценеленбоген  
 Бонч-Бруевич В.Д. 275, 277, 279, 282-288, 290-310, 314, 315  
 Боров Ю. 129  
 Борисов И.П. 186, 189  
 Борисов Л.И. 121, 382, 383, 480, 481  
 Борисова В.Л. 121  
 Борман А.А. 247, 250  
 Боровой Л.Я. 96, 132  
 Бороздин И.Н. 394, 395, 483  
 Бороздины, семья 394, 395  
 Борх Б.Н. 261, 268  
 Ботвинник М.М. 429, 489  
 Боткин В.П. 160  
 Боткин С.Д. 214  
 Боткины, семья 160  
 Брамсон Р.М. 131  
 Брандт Л.В. 474, 494  
 Браун Н.Л. 71, 130, 421, 431, 432, 474, 488  
 Браун Н.Н. 71, 130  
 Бринкман Н.А. 426-428, 488  
 Брокгауз Ф.А. 397, 483  
 Брошниковская О.Н. 489  
 Бруни А. 270  
 Бруни А.А. см. Исакова А.А.  
 Бруни К. 262, 270  
 Бруни Л.А. 70, 130, 262, 270  
 Бруни Н.К. 70, 130  
 Бруни Ф. 270  
 Бруштейн А.Я. 105, 132  
 Брюллов К.П. 270  
 Брюсов В.Я. 173, 263, 271, 392, 406, 411  
 Буденный С.М. 300  
 Булгаков В.Ф. 468  
 Булгаков С.Н. 252, 291, 292  
 Булгакова Е.С. 75, 78, 130  
 \*Бунаков И. см. Фондаминский  
 Бунин И.А. 234-246  
 Бунина В.Н. 234-236, 239-242, 245  
 Бурлюк Д.Д. 260, 267, 268  
 Бурлюк М.Н. 260, 267  
 Бурцев В.Л. 141, 244  
 Бутузов С.А. 322, 323, 324, 328, 345, 351  
 Бухштаб Б.Я. 185, 190, 191  
 Быкова А.Л. 69, 86, 129  
 Быкова Е.Л. см. \*Луговская М.  
 Быстревский К. 333  
 Бычков А.Ф. 191  
 Бычков И.А. 189, 191  
 Бялик Б.А. 65, 128  
 \*Вагинов К.К. 8, 25, 115, 117, 118, 120, 121, 263, 272, 475, 481  
 Вагинова А.И. см. Федорова А.И.  
 Вагнер Н.П. 474, 494  
 Вагнер Р. 106  
 Вайсенберг Л.М. 442, 443, 490  
 Вайсфельд И.В. 10, 59, 61, 64, 66, 128, 129  
 \*Валентинов Н. 285  
 Ван Гог В. 109  
 Ванеев А.А. 495, 496  
 Варлаам, еп. (Лазаренко Г.Я.) 324, 344-346, 351  
 Васильевский И.М. 237  
 Васильева Е.Б. 29, 122  
 Вассиан, иеромон. (Молодцкой) 330, 331  
 Ватто А. 256  
 Вахтангов Е.Б. 203  
 Вебер В.Н. 498, 499  
 Вебер Е.В. 499  
 Вебер Л.Н. 498, 499  
 Вебер М.В. 499  
 Вебер Н.К. 499  
 Вейдле В.В. 265  
 Вейнемейнен, влад. дачи 187, 188

- Венгеров С.А. 136, 162, 163  
 Венгерова З.А. 487  
 Вениамин, митр. (Казанский В.П.) 321  
 \*Венский Е. 138  
 Венустов В. 333  
 Вербов М.А. 229  
 Вергилий 191  
 \*Вересаев В.В. 403, 483  
 Верлен П. 267  
 Верн Ж. 374  
 Вернадская Н.Е. 499  
 Вернадская-Толль Н.В. 498  
 Вернадский В.И. 498, 499  
 Вертинский А.Н. 40  
 \*Вертов Д. 44, 126  
 Верюжский В.М. 333, 346  
 Вечтомова Е.А. 474, 494  
 Виардо П. 165  
 Видгоф Л.М. 124  
 Вильгельм II, имп. 153  
 Вилье де Лиль Адан Ф.О.М. 485  
 Винберг А.В. 137  
 Винберг В.К. 137, 142, 147, 168, 170, 178  
 Винберг Е.А. 177, 178  
 Винберг Е.Н. 146, 147, 153  
 Винберг О.В. см. Оболенская О.В.  
 Винберги, семья 136, 146  
 Виноградов П.Г. 243  
 Виноградская С.С. 82-85, 131  
 Витберг А.Л. 470  
 Вихман О.М. см. \*Зив О.М.  
 Вишневская И.Л. 132  
 Владимир, еп. (Горьковский В.П.) 322, 323  
 Вовси В.С. 56  
 Воеводин В. 430, 489  
 Вознесенский А.А. 67, 71  
 \*Волин В. см. Эйхенбаум В.М.  
 \*Волин Б.М. 413, 486  
 Волков, зам. нач. Управления 40, 44  
 Волков П.Н. 115, 475  
 Волошин М.А. 361, 385-391, 393, 395-399, 401-412, 415, 416, 474, 482-486, 488  
 Волошина Е.О. 397, 398  
 Волошина М.С. 402, 405, 408, 484, 486  
 \*Волынский А.Л. 26, 119, 496, 497  
 Вольпин Н.Д. 420, 487  
 Вольский Н.В. см. \*Валентинов  
 Воровская Н.В. 22  
 Воровский В.В. 22, 114  
 Воронин Е.З. 330, 353  
 Воронков А. 343, 349  
 Воронский А.К. 477  
 Воронцов М.С. 427  
 Воронцова Е.К. 427  
 Ворошилов К.Е. 215  
 Воскобойников, деятель ИПЦ 332  
 Вотчал Б.Е. 99, 132  
 Врангель Н.Н. 264  
 Врангель П.Н. 196, 218, 235  
 Вырубова А.А. 432, 489  
 Вяземский П.А. 181, 256  
 Гаген-Торн Н.И. 125  
 Гайдовский Г.Н. 430, 489  
 Гак А. 113  
 \*Гали см. Кошелева Г.Н.  
 Галушкин А.Ю. 224, 477  
 Гарибальди Дж. 154  
 Гвоздева В.Ф. см. Шухаева В.Ф.  
 Гвоздева М.Ф. 219, 220  
 Гегель Г.В.Ф. 472  
 Гейзер М. 127  
 Гейнике И.Г. см. \*Одоевцева И.В.  
 Гейнц А.Ф. 221  
 Гелих А. 132  
 Георгиевский Д.И. см. \*Лаврухин  
 Герасимов М.П. 381, 480  
 Гервег Г. 90  
 Гермоген, еп. (Долганев Г.Е.) 291  
 Геронимус Б.А. 481  
 Герцен А.И. 62, 88, 90  
 Герцык А.К. 482  
 Гершензон М.О. 158-161, 163, 171, 172, 177, 245  
 Герштейн Э.Г. 71, 130

- Гесиод 400  
 Гессен И.В. 240  
 Гете И.В. 85, 146, 165, 190  
 Гизетти А.А. 454, 492  
 Гильдебрандт О.Н. 120  
 Гинцберг-Осоргина Р.Г. 201, 205  
 Гинцбург И.Я. 225  
 Гинцбург Р.М. 387, 390, 404, 405, 482  
 Гиппиус В.В. 182, 183  
 Гиппиус З.Н. 189, 235, 239-242, 245, 253, 262, 263, 269, 271, 288, 290, 496, 497  
 Гирс М.Н. 213  
 \*Гитлер А. 56, 57, 305  
 Гитович А.И. 474, 494  
 Глинка-Маврин Г.Н. 231  
 Глинка-Маврин И.Н. 231  
 Глоцер В.И. 479  
 Гнуни М.А. 37, 49, 126  
 Гнуни Н.А. 10, 125, 126  
 Гоголь Н.В. 183, 453, 456, 462  
 Голицишев-Кутузов А.А. 259, 265  
 Голлербах Э.Ф. 484  
 Голль Ш. де 99  
 Головизнин Д.Д. 458, 492  
 \*Голодный М. 78, 131, 381, 480  
 Голуб Л.В. 58, 128  
 Голубкина Л.В. 79, 131  
 Гольштейн А.В. 498, 499  
 Гомер 387, 492  
 Гончаров И.А. 259, 267  
 Гор Г.С. 474, 494  
 Гордеенко П.Я. 479  
 Горелов А.Е. 454, 492  
 Горнунг Л.В. 481  
 Горовиц В.С. 34, 124  
 Городецкий С.М. 264, 428, 489  
 Гортинский С.Д. 322, 325, 327-329, 344, 350  
 Горфинкель Д.М. 115  
 \*Горький А.М. 21, 24, 90, 93, 113, 117, 154, 195, 224, 230, 243, 373, 374, 376-378, 382, 409, 429, 443, 468, 469, 478, 479, 493  
 Готье Т. 447  
 Гоцци К. 203  
 \*Грааль-Арельский 264, 479  
 Граве И.П. 498  
 Градовская Е.Г. см. Шульгина  
 Граф Г.К. 213  
 Грачева А.М. 125  
 Гребенщиков Г.Д. 238  
 Гревениц Б.Н. 217, 218  
 Грефе А. 397  
 Грибоедов А.С. 62, 183, 425, 464  
 Григ Э. 76  
 Григорьев А.А. 159, 165, 166  
 Григорьев Б.Д. 221-224  
 Григорьев М.А. 491  
 Гримм Д.Д. 244  
 Гриневич, поэт 251  
 Гронский П.П. 147  
 Гроссман Л.П. 392, 483  
 Гротская З.В. 185  
 Грудцов А.В. 32  
 Грудцов В.К. 14, 29-35, 51, 122  
 Грудцова О.М. 7-11, 11-111, 111-132, 477  
 Грудцова Т.А. 31, 32  
 Груздев И.А. 377, 378, 479  
 Губер П.К. 420, 487  
 Гудзий Н.К. 92, 132  
 Гумилев Н.С. 7, 15, 22-28, 111, 112, 114-118, 120, 124, 125, 147, 263, 264, 271, 272, 361, 364, 368, 381, 384, 391, 407, 428, 429, 447, 467, 474, 475, 477, 481, 483, 485  
 Гуревич А.Я. 139  
 Гуревич В.Я. 149, 150, 156  
 Гуревич Елена Н. 142, 144, 146, 152, 154, 156, 159, 166  
 Гуревич Елизавета Н. 152, 154, 156, 159, 166  
 Гуревич Е.Я. см. Андроникова  
 Гуревич Л.И. 146, 147, 158, 166  
 Гуревич Л.Я. 136, 137, 139, 140, 142-150, 154-159, 166-169, 178, 182, 193  
 Гуревич Я.Г. 152  
 Гуревич Я.Я. 147-152, 156, 157, 166

- Гуревичи, семья 135, 136, 142  
 Гутт, родственник Б.Д.Григорьева 223  
 Гучков А.И. 292  
 Гюго В. 470, 493
- Давыдов Д.В. 163, 165  
 Давыдов З.Д. 474  
 Давыдов З.С. 489  
 Данилов В.А. 285  
 Данте А. 143  
 Дарвин Ч. 164  
 Дармолатова А.Д. см. Радлова  
 Даутендей М. 241  
 Дезобри, поэт 251  
 Дейч Е.К. 8, 10  
 Дейч Л.Г. 285  
 Демиденко Г.Г. 309  
 Демир П. 177  
 Державин Г.Р. 163, 165  
 Десницкая Е.И. 410, 486  
 Десницкий В.А. 409, 410, 486  
 Дзержинский Ф.Э. 305, 306  
 Дзюбинские, семья 155, 183  
 Дзюбинский В.М. 155  
 Дикий А.Д. 365, 476  
 Диккенс Ч. 480  
 Димитрий, архиеп. (Любимов Д.Г.) 322, 324, 325, 327, 328, 335, 339-341, 343, 344, 346, 349, 351, 352, 356  
 Димитров Г. 131  
 \*Дионео см. Шкловский И.В.  
 Дитерихс фон Дитрихштейн В. 251  
 Дмитренко А.Л. 7-11, 111-132, 359, 474-494  
 Дмитриев И.И. 179, 184  
 Дмитриев Н., чл. «Звучащей Раковины» 115  
 Дмитриев П.В. 478  
 Дмитриева Е.И. 483  
 Дмитроченко И. 487  
 Добкин А.И. 10  
 Добролюбов А.М. 139  
 Добужинский М.В. 114, 118, 225, 469, 493
- Доливо-Добровольский А.И. 26, 119  
 Долинский М. 113  
 Дорин Д. 479  
 Дорогавцева, игуменья 325  
 Доронченков И.А. 135, 210-233  
 Дорохов А. 493  
 Дос Пассос Дж. 429, 459, 489  
 Достоевский Ф.М. 67, 100, 102, 108, 159, 161, 164-166, 174, 180, 181, 462  
 Драбкина А. 103  
 Дроздов А.М. 246  
 Дроздова З.В. 184  
 Дружинин П.А. 125  
 Друзин В.П. 474, 494  
 Дулов Н.Н. 325, 328, 329, 343, 344, 348, 349  
 Дюкас И. 259, 260, 267
- Евгений, еп. (Кобранов) 337  
 Евреинов Н.Н. 114  
 Евстигнеева А.Л. 496  
 Евтушенко Е.А. 71  
 Ежов И.С. 484  
 Ежов Н.И. 46  
 Екатерина II, имп. 16, 387  
 Еленевская см. Бурлюк М.Н.  
 Ельяшевич В.Б. 240, 241  
 Ельяшевич Ф.О. 241  
 Емелин С.С. 449, 491  
 Емельянова И. 107  
 Енукидзе А.С. 496  
 Епифаний, инок 485  
 Ермаков Н.Д. 223  
 Ермолинская Т.А. 12, 25, 57, 62, 63, 71, 86, 111  
 Ермолинский С.А. 62, 111, 128  
 Есенин С.А. 26, 31, 119, 120, 369, 374, 375, 385, 429, 478  
 Ефрон А.Е. 392, 483  
 Ефрон И.А. 397, 483
- Жаров А.А. 381, 385, 480  
 Жданов А.А. 70  
 Жданов В.А. 113  
 Жегин Н.Т. 113

- Жекулин Н.С. 240  
 Жемчужникова М.Н. 496  
 Жестев М.И. 430, 489  
 Жид А. 259, 266  
 Жидяев И. 325, 328  
 Жирмунский В.М. 452  
 Жуков Д.А. 141  
 Жуковская В.А. 289, 290, 292  
 Жуковский Д.Д. 390, 405, 482  
 Жуковский Д.Е. 482
- Заболоцкий Н.А. 95, 147, 383, 481
- \*Зазубрин В.Я. 422, 488  
 Зайцев К.И. 234  
 Зайцев П.Н. 125  
 Замятин Е.И. 114, 240, 360, 364-368, 370, 392, 393, 406, 413-415, 422, 443, 469, 476, 477, 483, 485-487, 493  
 Замятина Л.Н. 367, 370, 393, 443, 469, 476, 477  
 Зандрок И.В. см. Оболенская И.В.  
 Заяицкий С.С. 410, 486  
 Збарский Б.И. 88, 131  
 Зеелер В.Ф. 212, 218  
 Зеленская И.Д. 402, 484  
 Зенгер Т.Г. 488  
 Зенкевич М.А. 416, 487  
 \*Зив О.М. 27, 115, 120  
 \*Зиновьев Г.Е. 188, 299-302  
 Злобин В.А. 189  
 Зобнин Ю.В. 111  
 Зозуля Е.Д. 413, 486  
 Зон Б.В. 491  
 Зошенко М.М. 27, 70, 381, 396, 421, 453, 461, 462, 473, 483  
 Зубарев Д.И. 276  
 Зубов В.П. 221  
 Зубцов В.Я. см. \*Зазубрин В.Я.
- Ибсен Г. 171  
 Иванникова Н.М. 118  
 Иванов, делегат XIII съезда РКП(б) 300  
 Иванов Вс. Вяч. 81, 130, 414, 444, 458, 486
- Иванов Вяч. Вс. 71, 130  
 Иванов Вяч. И. 171, 172, 288  
 Иванов Г.В. 24, 116, 254-258, 258-263, 264-272, 428, 489  
 Иванов С.В. 137  
 \*Иванов-Разумник Р.В. 367, 477  
 \*Иванова Н. см. \*Чарская Л.А.  
 Иванова Н.В. см. Мышевская  
 Иванова Т.В. 71, 130  
 Иваск Ю.П. 259, 262, 265  
 Ивинская О.В. 107, 132  
 Игнатий, архим. (Бирюков) 325, 327  
 Игнатъев А.А. 127  
 Игнатъевы, семья 52, 127  
 Иероним, иеромон. 331  
 Извеков Б.И. 426, 488  
 Извольский А.П. 396  
 Измайлов А.А. 259, 266  
 Иксуль фон Гильдебранд В.И. 230-232  
 Иларион, мон. см. Андриевский  
 Илиодор, иеромон. (Труфанов С.М.) 288  
 Ильина Л.И. см. Гуревич Л.И.  
 \*Ильф И. 100  
 Ильяшенко, ремонтёр 186  
 Ильяшенко В.С. см. \*Федина В.С.  
 Инбер В.М. 411, 486  
 Инге Ю.А. 474, 494  
 Иоанн, архиеп. (Поммер И.) 348  
 Иоанн Кронштадтский (Сергиев И.И.) 355  
 Иоанникий, архиеп. 341  
 Иоасаф, еп. (Попов П.Д.) 327-330, 340, 341  
 Иокай М. 493  
 \*Ионов И.И. 19, 20, 113  
 Иосиф, игум. (Яцук) 325, 326  
 Иосиф, митр. (Петровых И.С.) 320-322, 334-337, 340, 343, 344, 346, 349, 352  
 Исаков С.К. 262, 270  
 Исакова А.А. 262, 270
- \*К.Р. см. Константин Константинович, вел.кн.

- Каблиц И.И. см. \*Юзов
- \*Каверин В.А. 126, 224, 473
- Кадочников В.И. 64, 65, 128
- Казмичев М.М. 426, 427, 488
- Кайлинский, проф. 179
- Калинин М.И. 299, 301, 302
- Кальдерон де ла Барка П. 165, 170
- \*Каменев Л.Б. 172, 305
- Каменева О.Д. 171, 172
- Каменский В.В. 385
- Каминская А.Г. 70, 71, 130
- Каминский, деятель ИПЦ 332
- Каминский И.Г. см. Стеблин-Каминский И.Г.
- Кантемир А.Д. 451
- Капица П.И. 474, 494
- Каплан-Ингель И.И. см. Слонимская И.И.
- Каплун Б.Г. 36-40, 42-49, 124-126
- Каплун С.Г. см. Спасская С.Г.
- Каразин Н.Н. 444, 490
- Карамзин Н.М. 170
- Кардовский Д.Н. 123, 219-221
- Карелин А.А. 495, 496
- Карельский, иосифлянин 326
- Карпов Е.П. 122
- Карсавина Т.П. 446
- Карташев А.В. 235, 236, 243-245
- Карташевы, семья 242
- Карцев, иосифлянин 326
- Катуар Е.А. 242
- Катуары, семья 250
- Кауфман Д.А. см. \*Вертов Д.
- Каценеленбоген Р.Г. 29, 30, 122
- Кашменский Н. 479
- Кельсиев В.И. 285
- Керенский А.Ф. 138, 139, 143, 149, 151, 154, 156, 429
- Кеосаян Э.Г. 128
- Кибальник С.А. 117
- Кибардин А. 333
- Кинкулькина Н.М. 11, 122
- Киплинг Дж.Р. 25, 443, 444
- Киреевская Г.С. 482
- Кирилл, митр. (Смирнов К.И.) 337, 350
- \*Киров С.М. 48
- Кирсанов С.И. 422-424, 488
- Кишкин В.А. 39, 41-44, 46
- Клибанов А.И. 286
- Климов М.М. 127
- Климовы, семья 52, 127
- \*Клычков С.А. 420, 487
- Клюев Н.А. 270, 295
- Ключников Ю.В. 237
- Книппер-Чехова О.Л. 90
- Кнорринг И.Н. 265
- \*Княжнин В.Н. 158, 159
- Ковалев С.М. 353
- Коварский Н.А. 115
- Ковнатор Р.А. 417, 487
- Ковнер В.В. 18, 113
- Козак Б. 29
- Козак Е.Б. см. Васильева Е.Б.
- Козак М.М. см. Лурье М.М.
- Козаков М.Э. 380, 416, 420, 421, 448, 464, 480
- Козинцев Г.М. 32, 123, 127
- Козлова Е.В. 387, 402, 482
- Коковцов В.Н. 291
- Колбановский А.Э. 117
- Колбасьев С.А. 364, 475
- Колбасьева Г.С. 475
- Колеров М.А. 135, 234-253
- Колобаев, сов. чиновник 182
- Колосков, лидер трезвенников 316
- Колтунов И.Г. 474, 494
- Комарович В.Л. 136, 161, 162, 170-174, 176, 180, 181, 183
- Комиссарова М.И. 71, 130, 432, 474, 489
- Кондаков Н.П. 243
- Кондратьев А.А. 161
- Кондрьяненко В. 475
- Кони А.Ф. 187
- Константин Константинович, вел. кн. 184, 258, 259, 264, 265
- Корево Е.Н. 232
- Корнилов Б.П. 448, 454, 491

- Корнилова Л.К. 10, 11, 79, 124, 127, 130, 131  
Коробкова Э.А. 193  
Короленко В.Г. 90, 132, 199  
Коропчевский, родственник Винбергов 177  
Коростовцев М.А. 495, 496  
Коростовцева В.М. 495, 496  
Корф, баронесса 269  
Корыстин П. 326  
Костомолоцкий А.И. 32, 123  
Котенков, сотр. ИСЧ Свирлага 352  
Котляревская Е.Н. 391, 483  
Котляревский С.А. 391, 483  
Кошелева Г.Н. 386, 410, 482  
Кравцов В. 330, 331  
Кравцова И.Г. 481  
Крайнева Н. 361  
\*Крайский А.П. 383, 415, 481  
Кралин М.М. 11, 478  
Крамарж К.П. 239-242  
Крамарж Н.П. 241, 242  
Крандиевская-Толстая Н.В. 237  
Красиков П.А. 300, 306  
Крашенинников Н.П. 181  
Крестинская Л.И.  
см. Баршева Л.И.  
Крестинский Н.Н. 305  
\*Кречетов С. см. Соколов С.А.  
\*Кривич В. 479  
Кропоткин П.А. 495  
Круглеевская В.В. 307  
Кругликова Е.С. 372, 478  
Крывелев И.А. 285  
Крылов И.А. 471  
Крюков Ф.Д. 151  
\*Крюковский Я. см. Гуревич Я.Я.  
Куза В.В. 56, 128  
Кузмин М.А. 24, 27, 111, 113, 115, 116, 120, 259, 264, 271, 371, 372, 395, 432, 433, 443, 465-468, 478, 492, 493  
Кузьмин А.П. см. \*Крайский  
Кузьмин-Караваев В.Д. 149  
Кузьмин-Караваев Д.В. 149  
Кузьмина Е.А. 49, 50, 127  
Кульбин Н.И. 264  
Купер Дж.Ф. 444  
Куприн А.И. 90, 112, 235, 244, 245, 472, 473, 493  
Куприна-Иорданская М.К. 473  
Купфер М.Е. см. Левберг М.Е.  
Купченко В.П. 474, 482, 485, 486  
Кускова Е.Д. 155, 156, 158, 263, 271, 272  
Кустодиев Б.М. 476  
Кутлер Н.Н. 209  
Кшесинская М.Ф. 446  
Кэррол Л. 239  
Лавренев Б.А. 381, 384, 415, 420, 442, 443, 463, 473, 480, 481  
\*Лаврухин Д.И. 417, 487  
Лавуазье А.Л. 182  
Лазаревский Б.А. 251  
Лазаревский В.А. 141  
Лазебный В.М. 38-47  
Ланг Н.Р. 495  
Ландау Г.А. 262, 270, 271  
Ландау М.А. см. \*Алданов М.А.  
Лансере Е.Е. 118  
Лапин Б.М. 436, 490  
Лапо А.В. 498, 499  
Ларионов М.Ф. 260, 267  
Ларошфуко Ф. де 262  
Лафонтен Ж. де 471  
Лебеденко А.Г. 449, 450, 491  
Левберг М.Е. 21, 22, 114  
Левенфиш Е.Г. 227, 229  
Левин Л. 130, 131  
Легкобытов П.М. 287-291, 307-310  
Лежонов А.М. 113  
\*Ленин В.И. 19, 24, 35, 37, 47, 66, 83, 113, 117, 129, 131, 276, 277, 285-287, 291, 293, 295-297, 303-307, 309, 347, 409, 456  
Леонов Л.М. 58, 128  
Лепешинская О.В. 47, 126  
Лепешинский П. 309  
Лермонтов М.Ю. 67, 165, 175, 226-228, 257, 425  
Лесков Н.С. 466

- Лесман М.С. 118  
 Лессинг Г.Э. 54  
 Либединский Ю.Н. 416, 421, 422, 425, 487, 490  
 Ливингстон Д. 447, 491  
 Ливишиц Б.К. 25, 118, 423  
 Линде П.Ф. 221  
 Лисицкий Л.М.(Э.) 485  
 Литвинова Н.В. 404, 484  
 Лодий З.П. 394-396, 483  
 Лодий П.А. 396  
 Лозин В. 487  
 Лозинский З.Б. 464, 492  
 Лозинский М.Л. 25, 114, 118  
 Лозовский Н.К. 49, 50  
 Ломоносов М.В. 451  
 \*Лондон Дж. 443, 444  
 \*Лопе де Вега 163  
 Лосев А.Ф. 343, 347  
 Лосский Б.Н. 124  
 Лосский Н.О. 124, 164, 166  
 \*Лотреамон де, гр. см. Дюкас И.  
 \*Луговская М. 67-69, 71, 73, 76, 78, 80-82, 86, 108, 129  
 Луговская Т.А. см. Ермолинская  
 Луговской В.А. 8-11, 17, 25, 33-35, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 61-64, 67-88, 104, 108-111, 128-131, 473, 494  
 Лукницкая В.К. 111, 120, 478  
 Лукницкий П.Н. 25, 111, 118, 384, 436, 478, 481  
 Луначарский А.В. 31, 193, 215, 219, 300, 301  
 Лунц Л.Н. 26, 115, 120  
 Лурье А.С. 270  
 Лурье В.И. 115, 118, 475  
 Лурье М.М. 29, 30, 121-123  
 Лурье С.В. 245  
 Лурье Ф.М. 489  
 Львов Л.И. 249  
 Любимова М.Ю. 210, 494  
 Людовик IX, король 254, 255  
 Ляцкий Е.А. 251  
  
 Мазкин И. 329  
 Майзель М.Г. 420, 487  
 Майков А.Н. 160, 259, 265  
  
 Мак-Артур Ч. 487  
 Макарьев Л.Ф. 447, 491  
 Макрина, мон. (Масловская) 327  
 Максим, еп. (Жижиленко М.А.) 327  
 Маликов А.К. 199  
 Мальмстад Дж. 125, 477, 496  
 Мандельштам Н.Я. 70, 71, 436, 438, 440, 441  
 Мандельштам О.Э. 67, 124, 147, 262, 266, 270, 436-441, 490  
 Мануйлов В.А. 426, 427, 488  
 Мануил, еп. (Лемешевский В.В.) 348  
 Маргарита, мон. (Чеботарева) 333  
 Маргерит В. 416, 487  
 Мария Павловна, вел.кн. 270  
 Марк, еп. см. Новоселов М.А.  
 Марков В.Ф. 254-272  
 Марков Е.Л. 444, 490  
 Марковский А.П. 499  
 Маркс К. 293, 424  
 \*Мартов см. Кравцов В.  
 Марчевский Е.С. 322, 325  
 Маршак С.Я. 93, 421, 431, 450  
 Маслов Г.В. 132  
 Махно Н.И. 147  
 Махов М.М. 181  
 Маяковский В.В. 30, 31, 90, 118, 124, 211, 267, 270, 375, 385, 413, 414, 419, 420, 424, 432  
 Медведев П.Н. 380, 480  
 Медведев Ю.П. 480  
 Медведева С.В. см. Фортунато  
 Медынцева Г.Л. 185  
 Межиров А.П. 71  
 Мейерхольд В.Э. 28, 197, 221  
 Мекк Н.Ф. фон 20, 113  
 Мелхесидек, иеромон. (Хухрянский) 325-327, 329  
 Мельгунов С.П. 288, 294  
 Менцель А. 121  
 Мережковский Д.С. 188, 189, 235, 239-242, 245, 246, 271, 307, 429, 472  
 Метерлинк М. 198

- Мизина Л.С. 90  
Миллер В.Ф. 8, 27, 28, 115, 121  
Миллер О.В. 11, 121  
Миллер Ф.Ф. 180, 181  
Миллер Ю.В. 11  
Милюков П.Н. 240  
Миролюбов В.С. 449, 491  
Митин С.Н. 491  
Митурич П.В. 262  
Михаил Александрович, вел. кн. 143, 144  
Михайлов А.Д. 285  
Михайлов Н. 306, 314  
\*Михоэлс С.М. 51-53, 56, 79, 87, 88, 127, 131  
Мичурин Г. 123  
Мишарин А.Н. 10, 66  
Модзалевский Б.Л. 189, 191  
Молас А.Н. 215  
Молас Б.Н. 215  
Молас Н.Б. 215  
Молас Н.П. 215  
\*Молотов В.М. 54, 87  
Монахов Н.Ф. 428, 468, 489  
Монтень М. де 110  
Морев Г.А. 120  
Морозов А.Н. 379, 480  
Морозова О.Г. 135, 136  
Моршихина А.Н. 490  
Москвин А.Н. 49, 127  
Мочульский К.В. 237  
Муравьев М.Н. 88, 131  
Муравьев Н.К. 137  
Муратов М.В. 297  
Мышевская Н.В. 261, 268  
\*Н.Г. 126  
Набоков В.В. 135, 239, 261, 262, 268-271  
Набоков В.Д. 261, 269  
Набокова Е.И. 261, 269, 270  
Навашин, ветеринар 184  
Нагевский Д.И. 189, 191  
Назаров Г.А. 498  
Найман А.Г. 71, 130  
Наполеон I, имп. 75, 187  
Наппельбаум И.М. 7, 8, 11, 12, 15, 21, 23-27, 29, 31, 33, 64, 79, 82, 84, 109, 113-121, 123, 128, 263, 272, 360, 361, 368, 369, 429, 443, 477, 478, 490  
Наппельбаум Л.М. 7, 8, 11-13, 15, 20, 21, 26, 33-35, 56-60, 79, 80, 113, 124, 130, 131  
Наппельбаум М.С. 7, 8, 11-28, 30-32, 34, 35, 56, 59, 61, 80, 88, 104, 106, 109-116, 119, 122, 123, 263, 271, 272, 369  
Наппельбаум О.М. см. Грудцова О.М.  
Наппельбаум Р.Л. 7, 11-13, 15-17, 19, 20, 32, 34, 56, 59, 60, 109, 110, 128  
Наппельбаум Р.М. 7, 8, 20, 34, 59, 109  
Наппельбаум Ф.М. 7, 8, 11, 12, 15, 20, 21, 23-25, 27, 29, 31, 50, 55, 56, 59-61, 85, 86, 97, 104, 109, 112-117, 119, 121, 263, 272, 475  
Наппельбаум Э.Л. 10, 11, 75, 80, 124, 130  
Наппельбаумы, семья 8, 111, 114-116  
Наровчатов С.С. 9, 52, 109, 127, 129  
Наумова А. 15, 18, 19  
\*Не-Буква см. Василевский И.М.  
Неелова Е.С. см. Булгакова Е.С.  
Неизвестный Э.И. 72  
Нейгауз Г.Г. 107, 132  
Некрасов Н.А. 88-90, 101, 115, 131, 432, 469, 493  
\*Нельдихен С.Е. 27, 120, 121, 485  
Немцов М.С. 498  
Неслуховская М.К. см. Тихонова  
Нижинский В.Ф. 445, 446  
Никандр, архим. (Стуров) 323, 327, 333  
Никитин А.Л. 495, 496  
Никитин А.М. 151, 152  
Никитин Г. 328, 329  
Никитин И. 201

- Никитин Н.Н. 415, 463, 487  
 Никитина Е.Ф. 161  
 Николаев, сотр. ИСЧ Свирлага 352  
 Николаевский Б.И. 291  
 Николай I, имп. 138, 264, 425, 426  
 Николай II, имп. 75, 138, 144, 291, 324  
 Николай Николаевич, вел. кн. 232  
 Никольская Т.Л. 120, 121, 479  
 Никольский А.И. 136, 144, 145, 147, 148, 152, 153, 155, 156, 167, 168, 174, 179, 182-184, 188, 196-198  
 Никольский С.А. 136, 138, 140, 144-147, 153, 157, 166-169, 171, 180, 193, 194  
 Никольский Ю.А. 135-142, 142-198, 237  
 Никитаев А.Т. 119  
 Никулин Л.В. 125, 483  
 Нилин П.Ф. 100  
 Ницше Ф. 192, 193  
 Новгородцев П.И. 244  
 Новиков И.А. 414, 486  
 Новоселов М.А. 291, 343, 344, 346-348  
 Новосельцев П.И. 322, 324, 344, 350  
 Ногтева М.В. 11, 130  
 Нольде Б.Э. 240  
 Нюрнберг Е.С. см. Булгакова
- Оболенская А.В. 140-142, 174, 175, 195, 197, 198  
 Оболенская И.В. 137, 141, 142, 167, 168, 174, 175, 194-198  
 Оболенская Л.В. 142  
 Оболенская Н.В. 142  
 Оболенская О.В. 142, 157, 195  
 Оболенская Ю.Л. 483, 485  
 Оболенские, семья 136, 140-142, 152, 170, 177, 195, 242  
 Оболенский А.В. 140, 141, 157, 194-198
- Оболенский В.А. 137, 141, 142, 152, 157, 168, 178, 195, 223  
 Оболенский С.В. 140, 157, 194-196  
 Овидий 194, 195, 443  
 Овчаренко Я.П. см. \*Приблудный И.  
 Огарев Н.П. 88, 102, 132  
 Огарева М.Л. 88  
 Одоевский В.Ф. 474  
 \*Одоевцева И.В. 24, 25, 116-118, 255, 256, 258, 263, 268, 271, 272  
 Озеров Л.А. 71, 130  
 Озерская-Тарковская Т.А. 70, 130  
 Оксенов И.А. 377, 449, 479  
 Оксман Ю.Г. 123  
 \*Олимпов К.К. 264  
 Олеша Ю.К. 9, 82, 105, 131  
 Оль А.А. 490  
 Ольденбург С.Ф. 137  
 Орел П.А. 85, 131  
 Орешин П.В. 375, 478  
 \*Осинский Н. 304, 306  
 \*Осоргин М.А. 199-209  
 Остроухов И.С. 160-162  
 Оуэн Р. 302
- Павел, еп. (Кратиров Д.) 329  
 Павленко П.А. 444, 458, 490  
 Павлов И.П. 125  
 Павлова А.П.(М.) 446  
 Павловский А.И. 359-361  
 Пазухин А.В. 484  
 Пазухин В.А. 404, 484  
 Пазухин В.В. 484  
 Пазухин С.В. 404, 484  
 Палицын А. 324  
 Панаева А.Я. 88  
 Панина С.В. 218  
 Панич М.С. 84, 131  
 Панкратова А.М. 495  
 Панфилов Е.А. 381, 480  
 Паскаль Б. 262  
 Пастернак Б.Л. 28, 67, 81, 94, 95, 106-108, 129, 130, 147, 375, 385, 474

- Паустовский К.Г. 410  
Пахмус Т. 496  
Первенцев А.А. 109, 132  
Перепелкин В.П. 345, 346, 352  
Персиани И.А. 232  
Перц В.Г. 8, 361  
Пети Е.Ю. 235, 240, 242  
Петр, архиеп. (Зверев В.К.) 323, 338, 339, 350  
Петр, митр. (Полянский П.Ф.) 321, 334-336, 341  
Петрановская Н.В. 113  
Петрановский В.П. 111  
Петрарка Ф. 189  
Петров Г.С. 398, 483  
\*Петров Е.П. 100  
Петров С.С. см. \*Грааль-Арельский  
Петровский Д.В. 375, 478  
Петроний Г. 470  
Пешков З.М. 195  
\*Пиэф Э. 102  
Пикассо П. 106  
Пилкина М.К. 236  
\*Пильняк Б.А. 118, 295, 296, 385, 413, 414, 430, 431, 477, 486  
Пироженко И.И. 322, 324, 344, 350  
Пискановский Н.А. 324, 344, 349, 350  
Пискановский С.Г. 322  
Питирим, иг. (Шумских) 323, 327  
Плансон Н.К. см. Шведе-Радлова  
Платон 178, 193  
Платонов С.Ф. 28, 121  
Плеханов Г.В. 286  
Подгорный В.Ф. 345, 346, 351  
Подгорный С. 351, 352  
Подкопаев, сотр. угрозыска 338  
Покровская Е. 186  
Поликовская Л.В. 199-209  
Полина Львовна, родственница Ильяшевичей 241  
Полонская Е.Г. 475, 479  
Полонская Ж.А. 160, 196  
Полонский А.Я. 184, 185  
Полонский Я.П. 147, 160, 162, 174, 176, 180, 182, 184, 185  
Польский М. 333  
Поляков, иосифлянин 326  
Поплавский Б.Ю. 264  
Попов А. 329  
Поповский М.А. 276, 297  
Потоцкая-Михозлс А.П. 51-53, 56, 57, 87, 127  
Правов И.К. 30, 123  
Преображенская О.И. 30, 123  
\*Приблудный И. 26, 119  
Примочкина Н.Н. 493  
Пришвин М.М. 288-290, 307-309  
Пришвина В.Д. 307  
Прозоров Н.К. 343, 346, 348  
Прокофьев А.А. 417, 474, 487  
Прокофьев С.С. 463  
Протопопов А.Д. 182  
Протопопов Д.Д. 181, 182  
Пругавин А.С. 285, 287, 291, 292  
Пруст М. 259, 266, 428  
Прут И.Л. 459, 460, 492  
Пугачев Е.И. 406  
Пумпянский Л.В. 119  
Пуни А.Ц. 219, 220  
Пуни И.А. 219-221  
Пунина И.Н. 71, 130  
Пургольд А.Н. см. Молас А.Н.  
Путинцев Т.Ф. 303  
Пушкарева Н.К. 496  
Пушкин А.С. 62, 67, 112, 118, 152, 163, 176, 181, 183, 246, 259, 265, 266, 270, 271, 368, 385, 386, 425, 427, 433, 434, 447, 448, 453, 474, 488  
Пушкин В.Л. 184  
Пшибышевский Б.С. 113  
\*Пяст В.А. 26, 119  
Рабинович, инженер 35  
Рабинович М.М. 53-55, 58-60, 108, 127  
Равич Л.О. 474, 494  
Рагинский-Карейво Т.Г. 27, 115, 121

- Радлов Н.Э. 25, 118, 138, 225  
 Радлов С.Э. 25, 118, 450, 491  
 Радлов Э.Л. 25, 26, 119  
 Радлова А.Д. 25, 118, 120, 378, 450, 451, 479, 491  
 Разин С.Т. 406  
 \*Ракитин Ю.Л. 197  
 Раковский Л.И. 418, 419, 487  
 Раковский Х.Г. 286  
 Раскин, нач. железной дороги 38, 43  
 \*Распутин Г.Е. 288, 291-293, 308  
 Ратькова М.Е. см. Левберг М.Е.  
 Рейн Е.Б. 478  
 Рейсер С.А. 489  
 Рейснер Л.М. 377, 429, 479  
 Рейтлингер Е.Н. 252  
 Рейтлингер Ю.Н. 252  
 Рембо А. 267  
 Ремизов А.М. 125, 240, 245-250, 267, 307  
 Ремизова-Довгелло С.П. 247-250  
 Ренье А.Ф.Ж. де 428, 485  
 Репин И.В. 218  
 Репин И.Е. 100, 105, 210, 214-229, 231-233, 484  
 Репин Ю.И. 214  
 Репина В.И. 214-216, 223, 225, 227, 229-232  
 Репина Н.И. 214  
 Репина Т.И. 214  
 Рерих Н.К. 401  
 Решетов, сотр. ГПУ 202, 203, 206  
 Решетов А.Е. 474, 487, 494  
 Ричард I, король 255  
 Ричард III, король 491  
 Робеспьер М. 137, 144  
 Рогинский А.Б. 276  
 Родзянко М.В. 291  
 Родичев Ф.И. 137, 244  
 Рождественская И.П. 469, 470, 493  
 Рождественская М.В. 484, 494  
 Рождественский В.А. 25, 118, 360, 372-375, 377-383, 387, 389-393, 396, 397, 399-401, 403, 405-409, 413, 415, 416, 422, 426-429, 432, 433, 436, 443, 447, 462-465, 467, 469-472, 475, 479-482, 484, 485, 487, 488, 493  
 Розанов В.В. 249, 263, 272, 307  
 Розанова Г.Н. см. Кошелева Г.Н.  
 Розен А.Г. 474, 494  
 Роллан Р. 243  
 Романовы, династия 432  
 Ромм М.И. 49, 59, 126, 127  
 Ростан Э. 22  
 Ростовцев М.И. 244  
 Ростропович М.Л. 72  
 Рудяк И. 123  
 Рукавишникова Е.И. см. Набокова Е.И.  
 Рукавишниковы, род 270  
 Румянцев А.М. 10, 11  
 Рутман М. 113  
 Рыбина Е.И. 474, 494  
 Рыжей П.Л. 459, 460, 492  
 Рыков А.И. 301  
 Рыкова Н.В. 469, 493  
 Рыкова Н.Я. 421, 481, 488  
 Рысс Е. 430, 489  
 Рязанова Л.А. 307  
 Сабашников М.В. 408  
 Сабашников С.В. 408  
 Сабашникова М.В. 408, 486  
 Савин Л. (С.М.) 421, 425, 460, 488  
 Савинков Б.В. 207  
 Савинов А.И. 111, 112  
 Савинов О.А. 111, 112  
 Савицкий П.Н. 234, 238, 240  
 Савонарола Дж. 137  
 Садовской А.Б. 186, 188, 197  
 Садовской Б.А. 135, 138, 142, 160-167, 169-198, 226, 228  
 Садофьев И.И. 383, 481  
 Сажин В.Н. 361  
 Самойлов Б.М. 354  
 \*Самойлов Д.С. 71  
 Самохвалов А.Н. 27, 120  
 Самоцвет В.Н. см. Хитрово В.Н.

- Сапунов Н.Н. 197  
 Саранчева Л.Я. 186  
 Саянов В.М. 381, 436, 467, 480  
 Свердлов Я.М. 114, 195  
 Светлов М.А. 9, 381, 382, 480  
 \*Светлова Е.К. см. Соколов-  
 ская С.И.  
 Свирин Н.Г. 422, 488  
 Свирский А.И. 443, 490  
 \*Северянин И. 264  
 Седова М.В. 11  
 Сейфуллина Л.Н. 44  
 Сельвинский И.Л. 385, 407, 411,  
 485  
 Семенов, сотр. ГПУ 201  
 \*Семенов (Васильев) Г.И. 224  
 Серафим, архиеп. (Самойло-  
 вич С.Н.) 334, 335, 337, 338  
 Серафим, еп. (Протопопов А.А.)  
 330  
 \*Серафимович А.С. 208  
 Сервантес С.М. де 67  
 Сергеев, сотр. ИСЧ Свирлага  
 352  
 Сергеев А.А. 498  
 \*Сергеев-Ценский С.Н. 414, 486  
 Сергей, еп. (Дружинин И.П.)  
 340, 346  
 Сергей, патр. (Старгород-  
 ский И.Н.) 320, 322-324, 330,  
 331, 334-340, 343-346, 350, 351  
 Серебряков Л.П. 37, 38, 126  
 Сидельникова М.Д. 141  
 Сидоров А. 343, 349  
 Симонов К.М. 9  
 Симонов Р.Н. 37, 126  
 \*Сирин В. см. Набоков В.В.  
 Скачков М. 493  
 Скворцов, сотр. НКВД 42  
 Скворцов В. 486  
 \*Скворцов-Степанов И.И. 299,  
 300  
 Скобелев М.Д. 456, 492  
 Слепнев Н.В. 421, 488  
 Сливкин А.М. 32, 47-51, 123, 126  
 Сливкина М.П. 32, 35, 47, 49-51  
 Слонимская И.И. 26, 120, 375  
 Слонимский М.Л. 26, 117, 120,  
 375, 376, 381, 420-422, 437, 438,  
 446, 463, 478  
 Слонимский С.М. 446, 491  
 Слуцкий Б.А. 71  
 Смирдин А.Ф. 447  
 Смирнский П. 332  
 Смирнов И.Н. 38, 126  
 Смирнова, врач 160  
 Соболев А.Л. 125  
 Соколов П.Ф. 270  
 Соколов С.А. 248  
 Соколова А.А. см. Исакова А.А.  
 Соколовская С.И. 49, 127  
 Солженицын А.И. 72, 102, 103,  
 105, 106, 108  
 Соллертинский И.И. 26, 119  
 Соловьев А.А. см. \*Тверяк А.А.  
 Соловьев Б.И. 378, 381, 383, 436,  
 479  
 Соловьев В.А. 378, 479  
 Соловьев В.С. 160  
 \*Сологуб Ф.К. 115, 307, 408, 452-  
 454, 492  
 Соложенкина С.Л. 11  
 Солонович А.А. 496  
 Сомов П.О. 194, 195  
 Сомовы, семья 194, 195  
 Сорокин Г.Э. 383, 481  
 Софронов А.В. 66, 109, 128  
 Спасская В.С. 125  
 Спасская С.Г. 36, 51, 124, 125  
 Спасский С.Д. 35, 36, 109, 124,  
 125, 449, 491  
 Спесивцева О.А. 36, 47, 125, 126  
 \*Сталин И.В. 39, 45, 47-49, 51, 57,  
 69, 75, 82, 83, 85, 87, 109, 129, 332,  
 498  
 \*Станиславский К.С. 123  
 Станюкович А.К. 111  
 Стасов В.В. 216, 217  
 Стасова С.В. см. Фортунато С.В.  
 Стеблин-Каменский И.Г. 322,  
 324, 325, 328, 329, 338, 339, 344  
 \*Стендаль 67  
 \*Стенич В.О. 26, 119, 421, 424,  
 459, 460, 487

- Степанов И.М. 229  
 Степанов С.Н. 322, 325, 344, 346  
 Стольберг В. 230  
 Столяров, чл. «Звучащей Раковины» 115  
 Стонов Д.М. 430, 489  
 Стоюнина М.Н. 124  
 Страхов Н.Н. 180, 181  
 Стрельников Н.М. 491  
 Стремоухов М.Б. 444, 490  
 Стрижев А.Н. 476  
 Струве, семья 237  
 Струве Ал.П. 168, 169, 234, 242, 243  
 Струве Арк.П. 242, 248, 252  
 Струве Г.П. 136, 139, 145, 147, 157, 159, 234-237, 239, 240, 242-252, 261, 268  
 Струве Е.А. см. Катуар Е.А.  
 Струве К.П. 237, 242, 247, 248, 252  
 Струве Л.П. 242, 252  
 Струве М.Г. 249  
 Струве Н.А. 234-242, 245, 247, 249, 250, 252  
 Струве П.Б. 135, 136, 142, 154, 234-253  
 Струве Ю.Ю. см. Андре Ю.Ю.  
 Струков П. 329  
 Стуккей см. Рождественская И.П.  
 Стэнли Г.-М. 447, 491  
 Суворин А.С. 90  
 Сувчинский П.П. 238  
 Суриков В.И. 390, 482  
 Сургучев И.Д. 251  
 Сурина Н. 115  
 Сурков А.А. 74  
 Сэтерленд М. 132  
 Сюннерберг К.А. 21, 114  
 Сюннерберг П.К. 21, 114  
 \*Т.М. 162  
 Табидзе Т.Ю. 461, 492  
 Таганцев В.Н. 24  
 Тагер Е.М. 89, 131, 132, 422, 488  
 Тагор Р. 106  
 Тальма Г.А. 218  
 Тарковский Анд.А. 66  
 Тарковский Арс.А. 24, 67, 70-72, 109, 130  
 Татлин В.Е. 262, 270  
 Твардовский А.Т. 67  
 \*Твен М. 100  
 Тверской К.К. 114  
 \*Тверяк А.А. 454, 492  
 Тейлор Р. 127  
 Терехов А.Г. 481  
 Тескова А.А. 266  
 Тизенгаузен О.О. 27, 115, 120, 121  
 Тименчик Р.Д. 114, 117  
 Тиняков А.И. 139  
 Тиртей 145  
 Тиссэ Э.К. 49, 127  
 Тихонов М.В. 64, 65, 128  
 Тихонов Н.С. 8, 118, 263, 272, 360, 362-364, 368, 376, 381, 383, 416-419, 421, 434-438, 443-446, 448, 456, 460, 461, 474, 475, 487, 490-492, 494  
 Тихонова М.К. 363, 443, 445, 446, 461, 475  
 Тихоновы, семья 111  
 Тихомиров Н. 343, 349  
 Тихон, архим. (Кречков) 325, 326  
 Тихон, патр. (Белавин В.И.) 321, 336, 349, 350  
 Тойкко, магистр 217  
 Толстая А.Л. 277  
 Толстой А.К. 160, 184  
 Толстой А.Н. 127, 228, 237, 396, 441, 454, 455, 469, 472, 483, 489, 491  
 Толстой Л.Л. 277  
 Толстой Л.Н. 64, 67, 108, 276, 277, 280, 316, 347, 376, 468  
 Толстые, семья 52, 127  
 Томашевская З.Б. 129  
 Томашевский Б.В. 452  
 Трауберг И.З. 53, 55, 58, 127  
 Трауберг Л.З. 32, 123, 127  
 Трегубов И.М. 277-282, 284, 285, 297-299, 303-305, 310, 314-319  
 Триоле Э. 76, 130  
 Трифена, мон. 331

- Троцкая (Троцкая) З.И. 10, 11, 36, 53, 55, 76, 79, 123, 124
- \*Троцкий Л.Д. 48, 156, 172, 286, 295, 296, 300, 304, 305
- Трубецкие, семья 245
- Тубельский Л.Д. 459, 460, 492
- \*Тур, бр. см. Тубельский Л.Д., Рыжей П.Л.
- Тургенев И.С. 88, 146, 160-162, 164-166, 170, 172, 177, 179, 180, 184, 187, 376
- Тынянов Ю.Н. 120, 123, 205, 417, 421, 424-426, 437, 438, 453, 463, 464, 488
- Тыркова А.В. 245-247
- Тюленев, ген. 59
- Тюлин Ю.Н. 411, 486
- Тюрин А.Н. 498
- Тютчев Ф.И. 159, 177, 183
- Уитмен У. 90, 101, 432
- Уланова Г.С. 118
- Урицкий М.С. 36, 124, 217
- Усова Л.Н. см. Замятина Л.Н.
- Успенский Г.И. 443
- Уткин И.П. 381, 385, 480
- Утченко С.Л. 21, 114
- Уэллс Г. 90
- Фадеев А.А. 65, 66, 68, 75, 88, 416
- \*Фарер К. 444
- Федин К.А. 26, 117, 360, 361, 417, 427, 453, 462, 469, 472, 473
- \*Федина В.С. 160-162
- Федоров, поэт 251
- Федоров А.В. 428, 489
- Федорова А.И. 25, 115, 117
- Федорова Н.М. см. Кинкулькина
- Феллини Ф. 32
- Фену А.Н. 213, 214, 218
- Феона А.Н. 471
- Фет А.А. 138, 147, 160-162, 164, 165, 169, 170, 172, 174-177, 179-181, 184-186, 189-191, 193, 376
- Фет И.-П. 162
- Фефур И.С. 131
- Фиалкина, профсоюзная деятельница 432
- Фибих К. 241
- Фидлер Ф.Ф. 114
- Философов Д.В. 189, 287
- \*Финн К.Я. 109, 132
- Флавиан, митр. 291
- Флакс Б.Е. 112
- Флейшман Л.С. 477
- Флобер Г. 108, 165, 189
- Флор С.М. 429, 489
- Фокин М.М. 446
- Фолкнер У. 67
- Фондаминский И.И. 242
- Фортуато С.В. 217
- Форш О.Д. 118, 417, 426, 452, 453
- Фофанов К.К. см. \*Олимпов К.К.
- Фофанов К.М. 479
- Фрадкин Б.М. см. \*Волин Б.М.
- Фракман Е.М. см. Царенкова
- Франк С.Л. 241, 249
- Франко Баамонде Ф. 254
- Френкель З.Г. 155
- Фридлянд Л.С. 457, 459, 492
- Фридлянд Н.Ф. 34, 124
- \*Фроман М.А. 26, 33, 119, 120, 128, 360, 368, 383, 418, 421, 422, 429, 431, 432, 443, 446-449, 452, 453, 459, 463, 467, 477, 490, 491
- Ханукаева И.В. 487
- \*Хармс Д.И. 383
- Хацревин З.Л. 436, 490
- Хемингуэй Э. 62, 67, 76, 130
- Хижняков В.В. 155
- Хилков Д.А. 285
- Хитрово В.Н. 18, 21, 112-114, 117
- Хлебников В.В. 259, 260, 262, 267, 270, 371, 474
- Ходасевич В.Ф. 24, 115, 116, 165, 175, 183, 231, 232, 246, 247, 269
- Хрущев Н.С. 25, 72, 82, 85
- Царенков А.И. 84, 85, 131
- Царенкова Е.М. 7, 8, 10, 11-111,

- 119, 120, 124, 128, 131, 361, 362-474, 478, 480, 491, 494  
 Цветаева М.И. 15, 35, 73, 107, 112, 147, 250-252, 259, 266  
 Цедилин И. 354, 355  
 Цейтлин М.З. 55, 128  
 Циммерман М.А. 240  
 Цукерваник Р.П. 487  
 Цукерваник С.П. 419, 420, 487
- Чайковский П.И. 20, 113  
 Чакрабон, принц Сиама 410, 486  
 Чаплин Ч.С. 53
- \*Чарская Л.А. 378, 479  
 Чекан В. 116, 481  
 Червинская Л.Д. 259, 265  
 Чернов В.М. 154, 285  
 Черногузов Н.Н. 160, 162, 184  
 Черносвитов К.К. 181  
 Чернышева Н.Е. 499  
 Чернышевский Н.Г. 454  
 Чертков В.Г. 276, 277, 468  
 Чертков Л. 120  
 Черток С. 113
- \*Черубина де Габриак см. Дмитриева Е.И.  
 Чесунов М. 306, 314  
 Четвериков Б.Д. 415, 486, 487  
 Чехов А.П. 67, 72, 90, 100, 101, 138, 163, 231, 394  
 Чехов М.А. 476  
 Чешихина В.В. 180  
 Чиликин, прот. 322, 324, 344, 350  
 Чириков Е.Н. 238, 239, 251  
 Членова см. Наппельбаум Р.Л.  
 Чуев А. 239  
 Чуковская Л.К. 89, 91-94, 96, 98-100, 102, 103, 106, 107, 132  
 Чуковская М.Б. 29, 30, 55, 89, 94, 96, 121  
 Чуковская М.К. 92  
 Чуковская М.Н. 91, 94, 96, 98, 132, 429, 489  
 Чуковский Д.Н. 93  
 Чуковский Е.Н. 99, 100
- \*Чуковский К.И. 8, 9, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 45, 49, 55, 85, 87-108, 114, 115, 120, 121, 126, 131, 132, 187, 223, 225-230, 431, 432, 450, 469, 479, 491, 493
- Чуковский Н.К. 7, 27-29, 89, 91-95, 97-100, 104, 107, 108, 115, 116, 119, 120, 132, 376, 429, 430, 460, 475, 479, 486, 489, 490
- Чулков Г.И. 264  
 Чумандрин М.Ф. 421, 425, 456, 457, 487  
 Чуриков И.И. 316  
 Чурилова Л.А. см. \*Чарская Л.А.
- Шагинян М.С. 376, 404, 479  
 Шаляпин Ф.И. 125, 374, 429  
 Шамурин Е.И. 484  
 Шалорин Ю.А. 114  
 Шварц Е.Л. 24, 26, 92, 116, 117, 445, 474, 491, 494  
 Швегла А. 241  
 Шведе-Радлова Н.К. 25, 118, 443, 477, 490  
 Шевцова-Споре Л.А. 232  
 Шевченко Т.Г. 139  
 Шевырев С.П. 189, 191  
 Шейнин Л.Р. 87, 131  
 Шекспир У. 428, 450, 451, 491  
 Шеншин А.Н. 162  
 Шеншина Е.П. см. Беккер Ш.  
 Шеншина М.П. 190  
 Шенье А.М. 182  
 Шервинский В.Д. 410, 411, 486  
 Шервинский С.В. 411, 486  
 Шереметьева Е.М. 474, 494  
 Шерих Д.Ю. 10, 117  
 Шилова Е.С. см. Булгакова  
 Широков, муж Т.А. Луговской 62  
 Шишкина-Цур-Милен Н.А. 15, 111  
 Шишкины, семья 111, 112  
 Шишков В.Я. 452, 453, 492  
 Шкаровский М.В. 320-356  
 Шкловский А.В. 225  
 Шкловский В.Б. 114, 210, 224-228, 230, 233, 385, 410, 453  
 Шкловский И.В. 228

- Шманкевич В.И. 371, 478  
 Шмелев И.С. 241, 244, 245  
 Шмигалева А. 323  
 Шнитцер И. 493  
 Шолохов М.А. 416  
 Шопенгауэр А. 192  
 Шостакович Д.Д. 26, 118, 119, 124  
 Шошин В.А. 490  
 Шпанов Н.Н. 58, 128  
 Штейгер А.С. 258, 259, 264-266  
 Штейн А.П. 490  
 Штейннигер В.И. 181  
 Штейнман З.Я. 419, 454, 487, 492  
 Штраус И. 492  
 Штут С.М. 361  
 Шульгин Вас. Вит. 141, 154, 253  
 Шульгин Вен. Вас. 141  
 Шульгин Д.В. 141  
 Шульгина Е.Г. 141  
 Шульговский Н.Н. 452, 491  
 Шумихин С.В. 113, 135-198  
 Шумяцкий Б.З. 50, 127  
 Шушаев В.И. 219-221, 223, 224  
 Шушаева В.Ф. 219-221
- Шапов А.П. 285  
 Шеголев П.Е. 137, 185, 223, 477, 489  
 Щепкин Н.Н. 181, 182  
 Щерба Л.В. 28, 121  
 Щербина Н.Ф. 182  
 Щетинин А.Г. 288-291, 307
- Эйзенштейн С.М. 61, 63, 64, 128  
 Эйзлер А.Е. 226  
 Эйхенбаум Б.М. 136, 139, 144, 145, 147, 163, 165-167, 169, 182, 436, 437, 490  
 Эйхенбаум В.М. 144, 147  
 Эккерман И.П. 427  
 Эльзон М.Д. 116, 483  
 Ельяшевич В.Б. см. Ельяшевич  
 Элюар П. 260, 267  
 Энгельгардт С.В. 189-191  
 Эпштейн М.С. см. \*Голодный М.  
 Эренбург И.Г. 446
- Эренбург И.И. 446  
 Эредиа Ж.М. де 447  
 Эрлих В.И. 119, 369, 440, 447, 448, 452, 477, 478  
 Эрлих С.К. 118  
 Эрль В.И. 121  
 Эрмлер Ф.М. 49, 127  
 Эткинд А.М. 275-319  
 Эткинд Е.Г. 71, 130  
 Эфрон А.С. 15, 112  
 Эфрос А.М. 109  
 Эфрос Э.Г. 122
- Юденич Н.Н. 212  
 Юдина М.В. 70, 107  
 \*Юзов 285  
 Юзовский И.И. 109, 132  
 Юнге Э.А. 397  
 Юнгер В.А. 184  
 \*Юркун Ю.И. 24, 116, 466  
 Юсупов Ф.Ф. 387
- Яблоновский А.А. 245  
 Якобсон Р.О. 227, 228  
 Яковлев А.Е. 220, 221  
 Яковлев Ф. 325-327, 329  
 \*Яковлев Я.А. 49, 127  
 Яковлева В.Н. 217  
 Яковлева Е.П. 210, 221  
 Яковлева Л.Н. 216-218  
 Якубинский Л.П. 414, 415, 486  
 Якунчикова М.В. см. Вебер М.В.  
 Янгиров Р.М. 234, 239-243  
 Янгфельдт Б. 228  
 Яновский В.С. 265  
 Ярков И.П. 297  
 \*Ярославский Е.М. 300  
 Ясвойн В.И. 112
- ...
- Anemone A. 475  
 Avrich P. 496  
 Baschmakoff N. 212, 213  
 Briton C. 222  
 Cohn N. 285

Fedorowskij N. 117  
Fodor A. 276  
Gautier W. 191  
Leinonen M. 212, 213  
Lemmens A. 222  
Luukkanen A. 300  
Martynov I. 475  
Nappelbaum I. см. Наппельба-  
ум И.М.

Petit E. см. Пети Е.Ю.  
Petit S. см. Балаховская-Пети  
Rancoure-Laferriere D. 289  
Rothe H. 258  
Schribner B. 285  
Stites R. 276  
Stommels S.-A. 222  
Svegla A. см. Швегла А.  
Tumarkin N. 296

## АННОТАЦИИ

### В о с п о м и н а н и я

Ольга Грудцова. **ДОВОЛЬНО, Я БОЛЬШЕ НЕ ИГРАЮ...** По-  
ведь о моей жизни. Публикация Е.М.Царенковой, предисло-  
вие и примечания А.Л.Дмитренко.

Дочь знаменитого фотографа-портретиста М.С.Наппельбаума повеству-  
ет о литературном и кинематографическом быте Москвы и Ленинграда  
1920-1960-х. В предисловии и примечаниях — обширные материалы о  
малоизвестных деятелях культуры. 4 + 101 + 22 с.

### И з и с т о р и и о б щ е с т в е н н ы х н а с т р о е н и й

**СУДЬБА ЮРИЯ НИКОЛЬСКОГО.** (Из писем Ю.А.Никольского  
к семье Гуревич и Б.А.Садовскому. 1917-1921). Публикация  
С.В.Шумихина.

Молодой талантливый литературовед в гуще гражданской войны, перед  
лицом крушения старой жизни: фронт, Петроград, Москва, Крым, эми-  
грация, тайное возвращение в Россию, арест, смерть в тюрьме. 8 + 57 с.

### Л.Поликовская. **М.А.ОСОРГИН В СОБСТВЕННЫХ РАССКАЗАХ И ДОКУМЕНТАХ ГПУ.**

Материалы следственного дела писателя перед его высылкой из России  
в 1922 г. подтверждают абсолютную достоверность его текстов и со-  
держат колоритные детали эпохи, не известные мемуаристу. 10 с.

И.А.Доронченков. **ПЕТРОГРАД—КУОККАЛА.** Через границу.  
1920-е годы.

На материале писем из архива И.Е.Репина рассмотрены бытовые, пра-  
вовые, моральные и культурные аспекты жизни русских эмигрантов в  
Финляндии. Уникальность пространственного и социального положения

художника позволяет рассмотреть проблему «рубежа» в отечественной культуре XX в. 24 с.

**М.А.Колеров. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И «РУССКАЯ МЫСЛЬ» (1921-1923).** Новые материалы.

Переписка членов семьи П.Б.Струве с И.А.Буниним, А.М.Ремизовым, М.И.Цветаевой и др. русскими литераторами воссоздает детали зарубежного бытия известного отечественного журнала. 20 с.

**ТУЛОН... ТАМАНЬ... ТУМАН.** Письмо Георгия Иванова Владимиру Маркову. Публикация А.Арьева.

Поэт подводит итог своим взглядам на искусство и отношениям с современниками. 4 + 6 + 9 с.

**И з и с т о р и и р е л и г и о з н ы х д в и ж е н и й**

**Александр Эткинд. РУССКИЕ СЕКТЫ И СОВЕТСКИЙ КОМУНИЗМ: ПРОЕКТ ВЛАДИМИРА БОНЧ-БРУЕВИЧА.**

Выявляются культурологические и психологические мотивы попытки большевиков использовать сектантов в политических целях. Анализируются архивные документы вождей РКП(б) и лидеров религиозных общин, искавших контакта с новой властью. 36 + 9 с.

**ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХИИ.** Публикация М.В.Шкаровского.

Документальное описание попыток духовенства страны найти альтернативу полному подчинению Церкви государству и ее уходу в подполье, т.е. создать легальную церковную оппозицию (1927-1947). В примечаниях к документам — обстоятельные справки о деятелях Православной Церкви 1920-1940-х. 14 + 23 с.

**Д н е в н и к и , з а п и с н ы е к н и ж к и , м а р г и н а л и и**

**Иннокентий Басалаев. ЗАПИСКИ ДЛЯ СЕБЯ.** Предисловие А.И.Павловского, публикация Е.М.Царенковой, примечания А.Л.Дмитренко.

Содержат описание литературной жизни 1920-1930-х. Среди героев К.К.Вагинов, М.А.Волошин, М.А.Кузмин, Н.С.Тихонов. 3 + 113 + 21 с.

**ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ**

Письма читателей с поправками и дополнениями к материалам предыдущих выпусков «Минувшего».

Аппех

## ABSTRACTS

### Memoirs

Olga Grudtsova. ENOUGH OF ME. I DON'T PLAY ANY MORE. (The Tale of my Life). Edited by E.M.Tsarenkova, foreword and comments by A.L.Dmitrenko).

The famous portrait-photographer M.S.Nappelbaum's daughter tells about everyday life of writers and photographers in 1920-s and 1930-s Moscow and Leningrad, her contemporaries such as V.A.Lugovskoy and K.I.Chukovsky, her close friends. Foreword and comments content a lot of information about the Nappelbaum family, little-known cultural figures and yet unstudied traits of the soviet age. 4 + 101 + 22 p.

### From the History of Public Movements

YURI NIKOLSKY'S FATE. (From Y.A.Nikolsky letters to the Gurevitch family and to B.A.Sadovskoy. 1917-1921). Edited by S.V.Shumikhin.

This is the story of a young gifted specialist in literature in the Civil war, facing the distruction of old life and the permanent necessity of choice: front, Petrograd, Crimea, emigration, secret return to Russia, arrest, death in prison. During all that he was intensively studying Turgenev, Dostoevsky, Fet, Polonsky. The notes content references to persons and events mentioned. 8 + 57 p.

L.Polikovskaya. M.A.OSORGIN IN HIS OWN ACCOUNTS AND GPU DOCUMENTS.

Investigation documents of M.A.Osorgin before his deport from Russia in 1922 confirm the authorship of his writings and picture some vivid features of that age, unknown to the author of memoirs. 10 p.

I.A.Doronchenkov. PETROGRAD—KUOKKALA. Over the frontier. 1920s.

The everyday, juridical and cultural aspects of russian emigrants in Finland are studied using the letters from I.E.Repin's archive. The unique territorial and social situation of the artist reflect the problem of «the border» in russian culture of XXth century. 24 p.

M.A.Kolerov. RUSSIAN WRITERS AND «RUSSKAYA MYSL» (1921-1923). New materials.

The correspondence between P.B.Struve family and I.A.Bunin. A.M.Remizov, M.I.Tsvetaeva and other russian writers pictures the development of the famous

magazine abroad and reveals the conflict between the inertial ambitions of P.B.Struve as a political figure and the real emigrant life. 20 p.

**TOULONS... TAMAN... TUMAN.** Georgy Ivanov's letter to Vladimir Markov. Edited by A.Aryev.

This is an extremely sharp and sincere letter of a poet who resumes in the end of his life his opinions of art and attitude to the contemporaries. The commentary incorporates additional materials on the history of emigrant artistic movements. 4 + 6 + 9 p.

#### From the History of Religious Movements

**A.Etkind. RUSSIAN SECTS AND THE SOVIET COMMUNISM:  
VLADIMIR BONCH-BRUEVICH'S PROJECT.**

There are traced here cultural and psychological reasons of bolshevist's attempt to use the sects for political purposes. The archive documents of communist and religious leaders looking for contacts are used here. 36 + 9 p.

**THE TRULY-ORTHODOXES IN VORONEZH BISHOPRIC.** Edited by M.V.Shkarovsky.

This is a documentary description of russian clergy's attempts to avoid total submission of church to the state as well as going underground. That could be attained only by organizing of a legal clerical opposition. The information about the movement and repressions against its participants is extracted from local OGPU—NKVD archives. The notes content references to the Orthodox Church figures in 1920-1940s. 14 + 23 p.

#### Diaries, Notebooks, Marginalia

**I.Basalayev. NOTES FOR MYSELF.** Foreword by A.I.Pavlovsky. Edited by E.M.Tsarenkova. Notes by A.L.Dmitrenko.

These notes picture the literary life in 1920-1930s. Among the characters are K.K.Vaginov, M.A.Froman, V.A.Rozhdestvensky, M.A.Voloshin, M.A.Kuzmin, N.S.Tikhonov, V.I.Ehrlich. There are also added some details to the biographies of Akhmatova, Gorky, Yesenin, Mandelstam and other writers. The notes include additional material on the mentioned figures and events. 3 + 113 + 21 p.

#### From the Editorial Correspondence

The readers' letters with corrections and additional notes on the preceding issues. 6 p.

#### Annex



## СОДЕРЖАНИЕ

### Воспоминания

- Ольга Грудцова. **ДОВОЛЬНО, Я БОЛЬШЕ НЕ ИГРАЮ...**  
Повесть о моей жизни. Публикация Е.М.Царенковой,  
предисловие и примечания А.Л.Дмитренко. . . . . 7

### Из истории общественных настроений

- СУДЬБА ЮРИЯ НИКОЛЬСКОГО.** (Из писем Ю.А.Никольского  
к семье Гуревич и Б.А.Садовскому. 1917-1921).  
Публикация С.В.Шумихина. . . . . 135
- Л.Поликовская. **М.А.ОСОРГИН В СОБСТВЕННЫХ  
РАССКАЗАХ И ДОКУМЕНТАХ ГПУ.** . . . . . 199
- И.А.Доронченков. **ПЕТРОГРАД—КУОККАЛА.**  
Через границу. 1920-е годы. . . . . 210
- М.А.Колеров. **РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И «РУССКАЯ МЫСЛЬ»  
(1921-1923).** Новые материалы. . . . . 234
- ТУЛОН... ТАМАНЬ... ТУМАН.** Письмо Георгия Иванова  
Владимиру Маркову. Публикация А.Арьева . . . . . 254

### Из истории религиозных движений

- Александр Эткинд. **РУССКИЕ СЕКТЫ И СОВЕТСКИЙ  
КОММУНИЗМ: Проект Владимира Бонч-Бруевича.** . . . . . 275
- ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХИИ**  
Публикация М.В.Шкаровского. . . . . 320

### Дневники, записные книжки, маргиналии

- Иннокентий Басалаев. **ЗАПИСКИ ДЛЯ СЕБЯ.** Предисловие  
А.И.Павловского, публикация Е.М.Царенковой, примечания  
А.Л.Дмитренко. . . . . 359

- Из редакционной почты. . . . . 495

- Аппенх . . . . . 503

**Учредители АО «Издательство "Феникс"»**

Издательство «Atheneum», Париж;  
Российский институт искусствознания;  
Школа-студия (вуз) им. Вл.И. Немировича-Данченко  
при МХАТ им. А.П. Чехова;  
Союз театральных деятелей России;  
Международная конфедерация театральных союзов

**МИНУВШЕЕ**  
**Исторический альманах**  
**19**

**ATHENEUM • ФЕНИКС**

Редактор Е.В. Русакова  
Корректор М.В. Серпокрылова  
Наборщик И.М. Курдина

ЛР №090022 от 10.X.1991

Подписано в печать 15. 03.1996. Формат 60 x 88 1/16. Бумага офсетная №1.  
Печать офсетная. Объем 33 п.л. + 1 п.л. вклейка.  
Тираж 2400 экз. Заказ №3075

Издательство «Феникс»: 103009, Москва, Тверская ул., 6, стр. 7.

E-mail: [orders@phenix.spb.su](mailto:orders@phenix.spb.su)  
World Wide Web:  
[HTTP://www.dux.ru/win/guest/phenix/pap.html](http://www.dux.ru/win/guest/phenix/pap.html)

Санкт-Петербургская типография №1 РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9-я лин., 12.